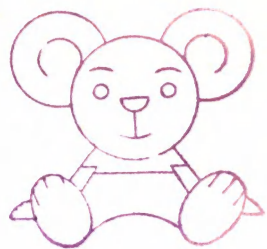


МАРИЯ МАРИЧ



**ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ**









МАРИЯ
МАРИЧ

**К НЕВЕДОМЫМ
БЕРЕГАМ
ТРИНАДЦАТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
РАССКАЗЫ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1971

P2

M26

Оформление художника
Н. АБАКУМОВА

7 — 3 — 2
71 — 71



**К НЕВЕДОМЫМ
БЕРЕГАМ**

*Повесть о жизни и плаваниях
полярного исследователя
Федора Литке*



Имя Федора Петровича Литке — одного из замечательных русских географов XIX века, выдающегося мореплавателя и адмирала русского флота, основателя и многолетнего руководителя Русского географического общества, президента Российской Академии наук — широко известно в нашей стране.

Разносторонний ученый, честный, прямой и исключительно гуманный человек, Литке был горячим патриотом. В глухие времена николаевской реакции он неизменно выступал как передовой и прогрессивный деятель русской культуры, все свои силы, энергию и знания отдавал плодотворному служению отечественной географии и науке.

Велики заслуги Ф. П. Литке в исследовании Северного Ледовитого океана. Его работами 1821—1824 гг. были значительно пополнены сведения русской географии о Новой Земле. Картами Ф. П. Литке полярные мореплаватели пользовались почти в течение целого столетия. Дальнейшие экспедиции военных моряков-гидрографов П. К. Пахтусова (1832—1835), А. К. Цивольки и С. Моисеева (1838) получили в исследованиях Ф. П. Литке прочную основу, что позволило уже к сороковым годам XIX века дать вполне достоверную карту далеких новоземельских островов.

К сожалению, в вопросе о практическом использовании морского пути в устья великих сибирских рек Оби и Енисея Ф. П. Литке стоял на неправильных позициях. Встретив во время своих походов на пути к Новой Земле тяжелые льды, Ф. П. Литке пришел к ошибочному выводу о том, что «морское сообщение с Сибирью принадлежит к числу вещей невозможных». Этим, в частности, объясняется крайне отрицательное отношение Ф. П. Литке к предложениям горячего поборника Северного морского пути М. К. Сидорова, который в шестидесятых годах прошлого века тщетно добивался поддержки своих проек-

тов в Географическом и Вольно-Экономическом обществах. Ошибки Ф. П. Литке в этом вопросе, несомненно, объясняются скудностью сведений об арктических льдах, в силу чего ледовая обстановка в отдельные тяжелые годы принималась за обычное состояние льдов в северных морях.

Повесть М. Д. Марич подробно рассказывает о жизни и плаваниях Ф. П. Литке в те годы, когда он имел возможность целиком отдавать свои силы любимому делу. Позже, по прихоти царя Николая I, Ф. П. Литке был вынужден в трудных условиях заниматься весьма своеобразной педагогической деятельностью. Он вынужден был отказаться от участия в путешествиях и исследованиях родной страны. Но именно в этот период своей жизни Ф. П. Литке заложил основы нашего Географического общества и его замечательных работ, которые дороги сердцу каждого советского человека.







Глава I

«Академия есть собрание ученых людей, называемых академиками, которые стараются познавать различные действия и свойства всех пребывающих в свете тел и через свое испытание и науку один другому показывать, а потом общим согласием издавать в народ». Так гласил один из пунктов устава Академии наук — высшего научного учреждения России, возникшего по мысли Петра I.

Проектируя создание Академии наук, Петр писал: «Зделать Академию. Аныне приискать из русских, хто учен и к тому склонность имеет». В числе ученых, приглашенных в Академию, был магистр философии дед Федора Петровича Литке. Академия заключила с ним контракт, по которому магистр определялся конректором академической гимназии.

Этот ученый оставил труды по физике, химии и философии. Наряду с теоретическими работами, он многие годы занимался педагогической деятельностью.

Из академической гимназии дед Ф. П. Литке перешел на должность ректора в Петропавловскую школу, за-

тем — преподавателем в Морской корпус, а позже переселился в Москву, где читал лекции в Московском университете.

Из четырех его сыновей два старших, окончив Морской кадетский корпус, участвовали в войне с Турцией и проявили себя отличными офицерами. Третий сын умер в молодости. Петр Иванович — отец Федора Петровича Литке — тоже принимал участие в победоносных походах русской армии против турок в качестве адъютанта знаменитого екатерининского фельдмаршала князя Репнина.

Репнин покровительствовал своему адъютанту и после окончания походов. Когда Петр Иванович женился на дочери московского врача, Анне Ивановне Энгель, Репнин предложил ему место управляющего своим богатым именем Репьевка.

Кроме управления имением, Петр Иванович занимался своей любимой наукой — химией. Ему усердно помогал крепостной Репнина, молодой парень Федор Кормилкин.

За маленький рост и светлые, прозрачные глаза, за необычайную опрятность и юркость Петр Иванович прозвал своего помощника-лаборанта «Пробиркой».

Федор выучился грамоте самоучкой, еще когда был пастухом и зачитывался книжками, добытыми разными путями. Желание «дойти до всего своим умом» жило в нем неотступно.

Особенно увлекался Федор химией. Именно по этой причине он и попал в лабораторию к Петру Ивановичу Литке.

Работая под его руководством, Федор ощущал, будто у него растут крылья.

Как радовались Петр Иванович и Федор, когда опыты, которыми они занимались, проходили успешно! Петр Иванович решил перенести их из лаборатории на репьевский купоросный завод и обратился к Репнину с просьбой продать ему этот завод.

«Надеясь впротчем приобрести от сего и материальные выгоды, — писал Петр Иванович, — стремлюсь я главным образом найти простор для своих химических экспериментов. В сем деле обрел я достойного себе помощника — крепостного человека вашего сиятельства — Федора Кормилкина, состоявшего ранее в пастухах».

Вскоре от Репнина пришло ответное послание:

«Помочь вам на устроение вашего и ваших домашних состояния я не откажусь, особливо потому, что я могу умереть, и вы с семьей останетесь в нужде. И потому вы можете купоросный завод считать своим. Но я не стану корыстоваться кровавым вашим потом, не продам завод вам, а так отдам; сие мне разницы в моих делах никакой не сделает. Боюсь я только, чтобы ваше химическое при-
страстие вместо прибыли вам разорения не произвело. Пожалуй, мой друг, сего остерегись. Не следует тебе также сманивать мужицких детей на неподобающую им стезю науки. Опасаюсь, как бы Федька Кормилкин не послужил моим смердам ложным к сему примером».

Петр Иванович даром завода не принял и заметно охладел к химии, что заставляло Федора глубоко стра-
дать. Вместо лабораторных опытов Петр Иванович стал заниматься переводами философских статей, литературой и математикой.

Окрестные помещики охотно посещали дом Литке, где их ожидала интересная беседа с образованным и умным хозяином.

В разговорах отца с гостями дети часто слышали сло-
ва: «благоденствие народов», «нравственные начала», «реформы», а однажды увидели в окованном ларце, хра-
нившемся в отцовской спальне, необыкновенного вида перчатки, циркуль и фартук.

Мать, как умела, объяснила детям мистическое зна-
чение этих предметов — знаков масонской ложи «вольных каменщиков»; и дети поняли, что эти «вольные каменщи-
ки» вовсе не похожи на каменщиков крепостных, которые строили усадебные конюшни, амбары и дороги; строили, одетые в ветхие рубахи грубого полотна, в лаптях и бо-
сые, с повязанными лычком волосами; строили от зари до зари, с кратковременными перерывами на полдник, когда, усевшись вокруг общей миски, черпали из нее де-
ревянными ложками квас с редькой или пустые щи...

Дети представляли себе, что «вольные каменщики» должны построить красивые дома, в которых будут жить умные и справедливые люди, такие, как их отец. И люди эти будут стараться, чтобы не только им самим, но и всем на земле жилось хорошо.

Дни в Репьевке шли довольно однообразно. Выдаю-
щимися событиями для всей семьи были наезды в имение

ее покровителя — Репнина — да празднование именин и рождений всех домочадцев.

Однажды князь Николай Васильевич приехал в Репьевку вместе со своим секретарем Петром Панкратьевичем Панкратьевым. Сестра жены Литке — Елизавета Ивановна — приглянулась ему с первого же знакомства. Сватом был сам Репнин.

Девушка согласилась на предложение Панкратьева. Свадьбу сыграли через неделю, и Елизавета Ивановна уехала с мужем в Киев.

Семья Литке быстро разрасталась, и недостаток в средствах стал ощущаться все острее. После долгих обсуждений супруги решили, что Петру Ивановичу следует отправиться в Петербург для подыскания более доходной службы.

Накануне отъезда, зайдя зачем-то в лабораторию, Петр Иванович увидел там Федора, который осторожно укладывал в ящики колбочки и приборы.

— Не унывай, Пробирушка,— потрепал он Федора по плечу.— Авось еще и достигнешь...

— Где уж мне,— безнадежно махнул рукой Федор.— Новый-то управитель меня сызнава к стаду определил...— А вещицы-то сии я на всякий случай схороню...— с невыразимой горечью прошептал Федор. И он любовно продолжал укладывать несложное оборудование доморощенной лаборатории.

При протекции Репнина Петру Ивановичу удалось определиться на должность советника таможенных дел.

Перевезя из Репьевки семью, он с увлечением занялся новой деятельностью. За составление морских тарифов Екатерина II наградила его бриллиантовым перстнем, а по службе он был произведен в коллежские советники. Следующей ступенью по лестнице карьеры Петра Ивановича, уже при Павле, было назначение членом Коммерц-коллегии и инспектором петербургской и кронштадтской таможен.

Подросших детей определили в учебные заведения: Евгения — в Морской корпус, Наталью и Анну — в Екатерининский институт. Младшие дети оставались на попечении матери и няни Настасьи, которая нянчила еще Анну Ивановну.

Семья жила дружно. Анна Ивановна умело сводила концы с концами, и в петербургском доме Литке, как и в

Репьевке, часто бывали гости, ценившие в хозяевах не только радушие, но и «приверженность просвещению».

Однако это семейное благополучие было внезапно оборвано.

«Приближался первый и несчастнейший час моей жизни,— говорит в своей автобиографии Федор Петрович,— 17 сентября 1797 года сделался я убийцей моей матери. Появление мое на свет пережила она не более двух часов».

Смерть любимой жены привела Петра Ивановича в отчаяние. Нянька Настасья стала зорко следить за каждым его шагом, опасаясь, как бы он не наложил на себя руки. По ночам она чутко прислушивалась, как Петр Иванович часами шагал по своему кабинету, а потом уходил в спальню. Старуха кралась за ним на цыпочках и, заглянув в замочную скважину, видела по обыкновению одно и то же: Петр Иванович, словно окаменев, стоял у изголовья широкой кровати, на которой скончалась жена...

Настасья старалась привлечь внимание безутешного вдовца к осиротелым детям. По утрам она приводила их к отцу, заставляя рассказывать, что кому снилось и что хотели бы они съесть за обедом. Потом она просила Петра Ивановича, чтобы он сам заказывал блюда стряпухе; советовалась с ним, что надеть на детей, когда она собиралась с ними в церковь или на прогулку, а вечерами непременно приглашала его в детскую, чтобы он благословил «невинных херувимчиков» на сон грядущий.

Петр Иванович рассеянно слушал детский лепет, безучастно заказывал кухарке блюда, подсказываемые Настасьей, машинально опускал на головы детей, уже лежавших в постелях, свою худую, холодную руку.

Больше всего хлопот доставлял новорожденный. Родственники настойчиво советовали выписать из Киева жившую там в семье Панкратьевых тещу Петра Ивановича— Елизавету Каспаровну Энгель. Она очень любила внучат и в письмах к покойной Анне Ивановне всегда давала ей советы о воспитании детей.

Хлопоты по переезду Елизаветы Каспаровны из Киева взял на себя живший в Петербурге ее сын Федор Иванович Энгель.

Пока шла переписка и приготовления к приезду бабушки, новорожденного отдали на попечение вдовы, квар-

тировавшей с тремя дочерьми неподалеку от Литке. Эти женщины выразили горячее желание ухаживать за младенцем. Когда Петр Иванович приезжал, все они, и в особенности самая младшая — Катенька, выказывали ребенку нежнейшее внимание.

С приездом бабушки жизнь в осиротелом доме стала налаживаться. Елизавета Каспаровна прежде всего приказала выскоблить полы, протереть запыленные стекла, оклеить свежими обоями стены и заново переложить дымившие печи. В квартире стало уютнее, светлее и теплее. Светлее стало и на сердце у всех ее обитателей.

Бабушка привела в порядок одежду детей: кое-какие материнские платья перешила девочкам на бурнусики и пелеринки, а из платьев, которые уже были девочкам тесны, сшила куртки для младших братьев.

Старшие мальчики продолжали учиться в Морском корпусе, Наталья и Анна в Институте благородных девиц, Владимира и Розу обучала грамоте бабушка, а за Федей ходила старуха Настасья.

По праздникам старшие дети приходили домой, где их неизменно ожидали какие-нибудь бабушкины презентики, а Настасья подавала к чаю пончики с таинственной начинкой, секрета которой никому не открывала.

Весь этот наладившийся было жизненный строй неожиданно рухнул: едва миновал год после смерти жены, как Петр Иванович женился на той самой Катеньке, которая с такой трогательной заботой относилась к маленькому Феде, пока он находился в доме ее матери.

Екатерина Андреевна была более чем на тридцать лет моложе мужа.

«Она была весьма хороша собой, — вспоминает о ней в своей автобиографии Федор Петрович, — но, кроме этого, не имела ни одного качества, которое давало бы ей право быть подругой такого человека, как мой отец. Ума весьма ограниченного, образования никакого, характера тяжелого, двуличного, она не имела даже и той простой сердечной доброты, которою прикрываются многие недостатки. Да и нравственностью она была далеко не Лукреция».

Войдя в семью мужа, Екатерина Андреевна быстро сбросила с себя наигранный облик доброй и ласковой женщины, в которой Петр Иванович надеялся найти хорошую жену и мать для своих детей. Скоро он понял

свою ошибку. Мысль о ее непоправимости угнетала его до такой степени, что он совершенно изменился — никто не узнавал в этом хмуром, замкнутом и ко всему равнодушном человеке прежнего Петра Ивановича, слывшего душой общества. Нравственное состояние повлияло и на его служебную деятельность: начальство предложило ему выйти в отставку. Глубоко обиженный этим, Петр Иванович совсем перестал появляться на службе.

Министр коммерции, граф Румянцев, пригласил его к себе для объяснений.

— Почему вы, милостивый сударь мой, не подаете прошения об отставке? — строго спросил он.

— Я, ваше сиятельство, жду, чтобы вы показали мне пример, — с язвительной усмешкой ответил Петр Иванович.

Само собой разумеется, что после этого ответа его служебная карьера была кончена.

От создавшейся в семье обстановки больше всего страдали дети. Они стали чуждаться всегда мрачного и молчаливого отца, боязливо жались к бабушке и старой няньке.

Мачеха требовала, чтобы дети «знали свое место», то есть чтобы они не смели выходить за пределы отведенной им в мезонине детской, чтобы они не шалили, не разговаривали громко.

Екатерина Андреевна уверяла, что от детского шума она испытывает «жестокую мигрену и дрожание нервов». В доме не стало слышно детского смеха, даже маленькому Феде было категорически запрещено ездить верхом на палочке с лошадиной головой и медными бубенцами.

Нянька Настасья сокрушенно качала головой, а вечерами истово молилась перед образом Анны Пророчицы, чтобы она «воззрела на малых сирот и заступилась перед божьей матерью за их ангельские души».

Укладывая Федю спать, она пела ему грустные колыбельные песни. Одну из них про «кота-воркота», у которого была мачеха лиха, Федя запомнил на всю жизнь.

А когда мальчик подрос, няня рассказывала ему занимательные сказки. Из них особенно трогала Федю сказка о мальчике-сироте. Этот мальчик вырезал из плакучей ивы, росшей на материнской могиле, чудесную дудочку. Когда, играя на ней, он жаловался на свою сиротскую долю, дудочка отвечала ему материнским голосом.

Настасья выразительно передавала разговор, якобы происходивший между мальчиком и матерью при посредстве дудочки:

— Матушка родная, вымолви словечко,
Вымолви словечко, дай мне утешенье!

— Дитятко родное, у тебя есть ныне матушка другая.

— Ох, она не мать мне — мачеха лихая:
Чешет — так под гребнем кровь ручьем сочится,
Режет ломоть хлеба — ножиком грозитя.

В этой сказке была для маленького Феди неуловимо сладкая горечь. Он часто просил рассказать ее и, слушая, незаметно вытирал слезы. Если нянька засыпала, не успев закончить, мальчик сам досказывал уже наизусть выученную сказку.

Бабушкино заступничество за детей вело к частым семейным ссорам. Прислуга постоянно менялась. Никто не хотел служить у сварливой молодой хозяйки. Тогда Екатерина Андреевна завела своих прислужников, внесших в дом сплетни, интриги и ябеды. Только Настасья, поклявшаяся Анне Ивановне незадолго до ее кончины не оставлять сирот, пока не подрастут, терпела все обиды и придирки «бессовестной трясогузки», как она называла Екатерину Андреевну.

Однажды Настасья возвращалась с Федей из Летнего сада. Неожиданно со стороны Михайловского замка показалась группа всадников. В одном из них, коротконогом, курносом, с оттопыренными губами и тугой косицей, торчащей из-под «поперешной» шляпы, Настасья узнала царя Павла Петровича. Бухнувшись на колени прямо в снег, она стащила с мальчика шапку и торопливо приказала:

— Скорей кланяйся царю-батюшке! Да понижее, понижее!

Мальчик мотнул взъерошенной головой и во все горло крикнул:

— Здравствуй, царь!

Кустики рыжеватых царских бровей взлетели к самому пудренному парик, выпуклые глаза с красными жилками на белках встретились с веселым голубым детским взглядом. Мальчик с одинаковым любопытством смотрел и на царя, и на гарцовавшую под ним белую, как недавно выпавший снег, лошадь.

Мгновенье Павел о чем-то раздумывал, потом, погрозив ребенку коротким, затянутым в замшевую перчатку пальцем, прищипорил коня. За ним помчались остальные всадники.

Народ испуганно ломил перед ними шапки и шаркался врассыпную.

— Ахти мне, ахти! — причитала над мальчиком нянька. — Погрозился на тебя царь-государь — загонят теперь нас с тобою в тартарары! И папеньку и бабенку загонят: зачем-де эдакого непочтительного барчонка воспитали. А уж меня, дуру старую, всенепременно загонят, что не выучила тебя, несмышлениша, уму-разуму... Куда Макара телят не гонял загонят...

Когда Настасья рассказала дома о приключившейся с ними на прогулке оказии, мачеха своими белыми, в сверкающих кольцах руками отхлестала старуху по щекам, а мальчика крепко отодрала за уши.

В этот день Петр Иванович обедал с детьми в мезонине. Впрочем, обедали только дети. Ни бабушка, ни отец к кушаньям не прикоснулись.

Наутро бабушка отправилась к сыну — Энгелю. Он жил холостяком в огромной, заставленной мебелью и книжными шкапами квартире.

Елизавета Каспаровна упрекала сына, зачем он уговорил ее переехать из Киева в Петербург, где ей приходится терпеть обиды от невестки. Энгель оправдывался тем, что никак не мог ожидать от Петра Ивановича такой скорой женитьбы на подобной девице, а затем предложил матери переехать к нему. При этом он поставил условие — чтобы мать никогда не вмешивалась в его холостяцкую жизнь.

Старуха разгорячилась еще больше:

— А на кого же я покину внучат?!

Энгель предложил, чтобы мать взяла с собой и внучат.

— Что за пустяки ты говоришь, — всплеснула руками Елизавета Каспаровна, — слыхано ли дело, чтобы при живом отце девочек к дяде-холостяку переселять? Вот если бы ты женился...

— Затруднительно это, маменька, — с улыбкой возразил сын. — Вот Петр Иванович с маху женился, и сами видите, что получилось...

— Вольно ж ему было на семнадцатилетней девчонке жениться, — спорила мать. — И нечего тебе с Петром равняться. Он вдовцом с кучей ребятишек остался, а ты для любой девицы — завидный жених. Образования университетского, танцор преотличнейший, манеры бонтонные...

Федор Иванович с веселой усмешкой поддакивал матери:

— По службе в Гренадерском Таврическом полку был произведен в секунд-майоры, в отставку вышел подполковником, а в иностранной коллегии с Нового года — действительный статский советник.

— Видно, жалует тебя государь Павел Петрович, — с гордостью произнесла Елизавета Каспаровна.

Присутствовавший при этом разговоре Федя услышал удивительный дядюшкин ответ:

— Будто вы не знаете, чего нынче царские милости стоят! У его величества на конце косицы имеется один заветный волосок. Как только в императорской крови закипит желчь — волосок этот мигом в колечко завьется. А утихнет гнев — волосок распрямляется. Оное явление за одни сутки по многу раз наблюдается, — а от него донельзя изменчивы и судьбы подданных...

— А все же самое подходящее теперь для тебя время супругой обзавестись, — уговаривала мать. — И годы подошли, а главное — в женатом мужчине всегда больше солидности, нежели в холостом. Ему и доверия и уважения по службе больше оказывается. Женись, Федор, а то, попомни мое материнское слово: попадешься в когти какой-либо ведьме-мегере — не пошелохнешься...

Глава II

После долгих переговоров бабушка решила переехать с Федей к сыну. К зятю она возвращалась, когда к нему приезжали на каникулы дочери. На это время она брала с собой для свидания с сестрами и Федю.

В доме у отца всем заправляла мачеха. Целый штат прислужниц и лакеев подражал ей в суровом отношении к детям. Петр Иванович, видимо все больше страдая от сознания, что брак его неудачен, часами сидел неподвижно в кресле, безучастный ко всему, что творилось вокруг.

Дети жалели отца, но выказать ему свою любовь не то боялись, не то стеснялись. Федя ненавидел мачеху. Долго не засыпая с вечера, он горячо мечтал о том времени, когда станет взрослым и сильным. Тогда он прогонит из дому мачеху со всеми ее злыми прислужниками, выбросит вслед все ее шумящие, надушенные платья, всех ее противных болонок, а когда захлопнется за мачехою дверь, расскажет отцу о своей нежной любви к нему.

Но... наступало утро. Детей будили, наскоро одевали и вели здороваться к отцу, а потом «приложиться к ручке» мачехи...

В доме Энгеля и бабушке и Феде жилось немногим лучше, чем у Петра Ивановича. Бабушка часто ссорилась с сыном. Она не могла выносить устраиваемых им довольно часто «холостяцких» пирушек. На эти пирушки в дом к Энгелю съезжались его прежние товарищи — гусары, фигурантки кордебалета, хоры цыган с бубнами и гитарами. До самого рассвета дом дрожал от плясок, раздавались песни, звенела посуда. Вся прислуга, как ошалелая, носилась по лестницам и коридорам, выполняя поручения барина и его развеселых гостей. После таких вечеринок по всему дому царил хаос, дядя ходил сердитый, и Федя старался не попадаться ему на глаза, чтобы не получить шального подзатыльника или незаслуженных «щипанцев».

Бабушка выучила шестилетнего внука читать наизусть молитвы и складывать из кубиков извечно дорогие первые слова: «папа» и «мама».

Когда Феде исполнилось семь лет, на семейном совете было решено определить его в пансион Ефима Христиановича Мейера.

Пансион помещался в мрачном доме у Тучкова моста. Так же как дом, мрачен был и сам содержатель пансиона — смуглый, остроглазый, высокий и худощавый немец, в пудреном парике с торчащей, как хвостик у фокстерьера, косицей. Мейер не только в прическе следовал павловской моде, — он глубоко чтил и те приемы воспитания, которые считались обязательными для образцового педагога царствования Павла I.

Ефим Христианович Мейер был мелочен, туп и жесток. Воспитанники не уважали его, но боялись.

В начале каждого учебного года Мейер обращался к новичкам с одной и той же «программной речью»:

— Что такое альфа?

— Не знаем...— робко, нестройным хором отвечали воспитанники.

— Первая буква греческого алфавита...

Мейер некоторое время молчал, постукивая по кафедре твердыми, как гвозди, ногтями. Потом снова спрашивал:

— А что такое омега?

Класс молчал.

— Омега — последняя буква греческого алфавита. А это что? — Мейер высоко взмахивал камышовой палкой.

— Это — палка, камышовая палка...

— Нет,— жестко отвечал Мейер,— это альфа и омега воспитания. Запомните: трость — надежней розги. Палка — надежней трости. Шпицрутен — надежней палки...

Несколько минут он молчал, как бы наслаждаясь эффектом своей речи и зоркими, злыми глазами оглядывал побледневшие лица мальчиков, потом продолжал:

— Государь-император Павел Петрович, ныне благополучно царствующий на российском троне, очень любит своих солдат и поэтому не жалеет для них ни шпицруте-нов, ни палок. Мудрый Соломон рассуждал так же, как и я, Ефим Мейер: «Кто хочет воспитать достойных молодых людей, тот не должен жалеть для них палок». Ваши уважаемые родители, ваши уважаемые опекуны доверили мне ваше воспитание. И я оправдаю их доверие в полной мере!

Как обращались с солдатами на учении, мальчики слышали от своих старших братьев, знакомых офицеров, нянек и дядек. Что же касается изречения, которое Мейер приписывал мудрому Соломону, то такового не мог подтвердить даже пансионский сторож — большой знаток Библии и Ветхого завета.

Физическое воспитание в программе пансиона вовсе отсутствовало. Не было ни гимнастики, ни игр на свежем воздухе, ни даже прогулок.

Во внеклассное время Мейер не обращал на своих воспитанников никакого внимания. Вызубрив уроки, они могли заниматься чем хотели. Младшие дрались, ссорились, играли в перышки, придумывали «дразнилки» друг другу и для учителей. Старшие читали принесенные из дому или купленные из-под полы запретные для их воз-

раста книжки, рисовали неприличные картинки и карикатуры на Мейера и его жену. Не стесняясь малышей, они рассказывали непристойные анекдоты, подслушанные у взрослых и в лакейских.

В праздничное и каникулярное время пансион пустел: воспитанники разъезжались по родным домам. Федя не любил пансиона, но и уезжал из него без особой радости.

Если дядя присылал за ним «собственный выезд», это означало, что мальчик проведет праздник в четырех стенах или, в лучшем случае, пойдет с бабушкой в гости к какой-нибудь престарелой родственнице. Дядя равнодушно выслушивал рапорт племянника о поведении, внимании и прилежании и больше им не занимался.

Реже приезжали из родного дома.

Там Федю встречал отец, неизменно грустный и молчаливый. Сестры и няня рассказывали ему о капризах матери и семейных ссорах.

Отец прежде всего просматривал принесенные детьми дневники. Если отметки в них были удовлетворительны, Петр Иванович разрешал старшему сыну Евгению или дочери Наталье доставить младшим детям какое-либо развлечение.

То-то было радости! Тотчас же после завтрака дети отправлялись на карусели, смотреть фокусников, глотавших шпаги и зажигающих у себя во рту керосин, дивиться на дрессированных блох, запряженных в микроскопическую колясочку, с кучером и седоками — тоже блохами.

В один из праздников Наталья повела братьев и сестер в Музей восковых фигур. Это был небольшой зал, где на высоких подставках группами и поодиночке стояли разнообразные восковые фигуры. При свете сальных свечей они казались мертвецами. Лиза испуганно ухватилась за сестрину шубу и, уткнувшись носом в муфточку, одним глазком косилась на желтые фигуры.

Возле одной из них француз — владелец музея — давал объяснения на ломаном русском языке:

— Вы видите, уважаемый публик, этот библейский старик Симон. И вы видите здесь цепи, которые держат его к стене. А вот прекрасная молодая дама. Она есть его дочь. Она проникла в темница к свой несчастный отец. Злые люди не позволили ей принести ему кушать, а он есть так голоден, что должен умирать совсем скоро.

Тогда эта прекрасная дама дает ему молока из свой прекрасный грудь. О, она жалеет свой отец, но злые люди не будут пожалеть она...

Француз придавал голосу волнение, искусно выжимал несколько слезинок, и зрители проникались жалостью к этим трогательным фигурам и задерживались возле них дольше, чем возле других.

Федя был взволнован до глубины души. Возвратясь домой, он подробно рассказал о самоотверженной дочери Симона и заявил с горячностью, что и сам бы не устранился никаких наказаний, если бы понадобилось помочь отцу.

Петр Иванович пристально посмотрел на мальчика и обратился к старшему сыну:

— Вот видишь, Евгений...

Евгений был скрытен, угрюм и дерзок, и слова отца относились, вероятно, к какому-то прежнему между ними разговору.

Потом Петр Иванович положил свою исхудалую руку на коротко стриженную голову младшего сына и задумчиво проговорил:

— Дитя моей скорби... моей бесконечной скорби...

Эти слова глубоко запали в душу впечатлительного мальчика, которому всегда казалось, что его — виновника смерти матери — отец любить не может.

С приближением весны здоровье Петра Ивановича стало резко ухудшаться. Когда приезжали дети, он уже не встречал их в прихожей. Они на цыпочках входили в кабинет, где отец сидел в глубоком кресле, с ногами, закутанными в клетчатый плед. Рядом на столе стояло много пузырьков и коробочек с лекарствами. Безучастно слушая рассказы детей об их жизни вне дома, Петр Иванович часто брал со стола стакан, в котором плавали кусочки лимона, и жадно отпивал несколько глотков. При этом под обвисшей желтой кожей на его худой шее, как живой, шевелился огромный кадык.

Однажды отец продиктовал Феде деловое письмо к купцу с просьбой об отсрочке долга. Прежде чем поставить свою подпись, он прочел написанные сыном строки, и лицо его потемнело.

— И это на четвертом году обучения,— с сокрушением проговорил он.— Ни одного правильно написанного слова. Чему вас обучают у этого герра Мейера?

Отец исправил письмо, дважды подчеркнув красными чернилами каждую ошибку. Чувствуя себя виноватым и в своей безграмотности, и в том, что этим так огорчил отца, Федя дал ему слово выучиться писать правильно.

Письмо было старательно переписано Федей начисто, и отец поручил ему отнести его адресату, который жил неподалеку от мейеровского пансиона.

В понедельник Федя пораньше вышел из дому, чтобы успеть выполнить поручение до начала занятий. Утро было холодное. Тулупчик на истертом заячьем меху не спасал тщедушного мальчугана от резкого ледяного ветра. Напрасно Федя все глубже втягивал голову в поднятый воротник и вновь и вновь продевал пуговицы в обтрепанные петли. Ветер распахивал полы тулупа, как будто решил непременно сорвать его с мальчика. Ветру помогала гололедица: чтобы не упасть на обледенелую мостовую, Феде приходилось балансировать руками. Поскользнувшись на ухабе, он кубарем покатился под уклон, ударился о чугунную тумбу на краю тротуара, ухватился за нее и несколько минут лежал неподвижно.

— Аль убился, паренек? — услышал он над собой голос и открыл глаза. Дворник, в белом фартуке поверх бараньего тулупа, держал его за плечо.

Больно ныло ушибленное колено. Сильно кружилась голова. Надо было идти, но оторвать заочевенные руки от чугунной тумбы мальчик не решался: чувствовал, что выбился из сил и не сможет бороться с жестоким ветром...

Через много лет, уже на склоне жизни, Федор Петрович вспоминал об этом случае: «Я не мог придумать ничего лучшего, как стоять на месте и плакать, покуда один прохожий не взял меня за руку и не помог добраться до угла».

Письмо, измятое и закапанное слезами, все же было передано купцу. Затем воспитанник предстал пред грозные очи Мейера. «Педагог» поступил с опоздавшим по всей строгости практиковавшихся в пансионе законов. Были пущены в ход «альфа и омега», и наказанному ученику объявили, что он на целый месяц лишается отпусков из пансиона.

Однако через несколько дней, когда на уроке математики ученики решали задачи, в класс вошел Мейер. Молча подойдя к Феде, он взял его за руку и повел за собой.

— За что бы это его опять ведут драть? — недоумевали ученики.

— Дурные вести о твоём отце, — сказал Мейер дрожавшему от предчувствия нового наказания мальчику. — За тобой прислали. Скорей одевайся и иди в прихожую.

При первом взгляде на заплаканную Настасью Федя догадался, что дома случилось несчастье. Прижав его к груди, Настасья жалобно запричитала:

— Сиротиночка ты моя, горемычная! Сиротиночка ты моя, круглая. Да головушка твоя бедная! Помер, помер кормилец наш Петр Иванович... Смежил на веки вечные свои ясны глазыньки... Сложил свои белы рученьки...

То, что Федя увидел дома, навсегда врезалось в его память.

Мальчика подняли, чтобы он поцеловал лежавшего на столе отца. Исхудалое желтое лицо покойника испугало Федю. Он закричал и убежал прочь.

В столовой незнакомые люди, пересмеиваясь и перекидываясь шутками, писали что-то на картонных карточках с черным ободком по краям.

— Посыпай песком, чтоб чернила не размазались, — сказал Феде один из них и подал ему фарфоровую, похожую на перечницу с дырчатой крышечкой, банку.

Федя послушно стал сыпать песком разложенные по столу квадратики. Сдувая с них песчинки, он прочел:

«Осиротелое семейство, убитая горем вдова и дети Петра Ивановича Литке извещают родных и знакомых, что супруг и родитель их оставил сей свет по продолжительной и тяжелой болезни...»

Слезы помешали читать дальше. Мальчик вытер их рукавом курточки и, дочитав траурное извещение до указания места и часа погребения, вышел из столовой. Ему хотелось поговорить с сестрой Наташей, но к ней не пустили: она заболела нервной горячкой. Младших сестер еще не привезли из института.

Настасья накормила Федю на кухне «людскими лепешками»; ничего другого без разрешения мачехи нельзя было взять.

Как неприкаянный, бродил мальчик по комнатам, пахнущим лекарствами и ладаном. Из спальни мачехи до-

носились истерические вопли. Пудель Амишка тихо лежал у порога кабинета покойного своего хозяина. Собака не изъясляла бурной радости, как обычно, когда встречала Федю, а только лизнула его в щеку.

Из-за прикрытой двери кабинета доносился разговор.

— Покойник, кроме честного имени, ничего детям не оставил,— сокрушалась бабушка.— Решительно ничего — ни жене, ни детям...

— Ну, маменька, о жене-то вам горевать не приходится,— насмешливо прозвучал голос Ангеля,— Катерина Андреевна и башмаков износить не успеет, как снова выйдет замуж.

— А чем прикажешь за девочек в институт платить да за Федора Мейеру? — сквозь слезы спросила бабушка.

— Не всем девицам на роду написано институтское воспитание получать,— возразил Ангель,— а Федора, само собою разумеется, от Мейера забрать надобно. Куда его дальше девать — подумаем. Впрочем, я постараюсь отхлопотать для сирот пенсию.

По завещанию, оставленному Петром Ивановичем, его похоронили рядом с первой женой, на могиле которой он, без ведома Екатерины Андреевны, поставил красивый мраморный памятник с трогательной надписью.

Очень скоро девочек взяли из института, а Федю из пансиона.

Покойный Петр Иванович долгое время был членом Коммерц-коллегии и инспектором петербургской и кронштадтской таможен, находившихся в ведении министерства коммерции. Во главе этого министерства все еще стоял граф Румянцев, и от него зависело назначение пенсии сиротам Петра Ивановича.

Румянцев любезно принял Ангеля, но как только услышал фамилию Литке, нахмурился. Он помнил, как не по-чиновничьи независимо держался покойный «масон», помнил о его последнем «предерзостном» ответе и остался глух ко всем просьбам и доводам Ангеля.

Хлопоты в других местах тоже ни к чему не привели: начальство недолюбливало покойного Петра Ивановича, державшегося всегда с неизменным достоинством, без тени низкопоклонства.

Не прошло и трех месяцев после кончины отца, как умерла бабушка.

Тотчас же после возвращения с кладбища, за поминальным по Елизавете Каспаровне обедом, состоялся совет — куда девать сирот.

Мачеха, уже давшая слово новому претенденту на ее руку и только дожидавшаяся конца полугодового траура, напрямик заявила, что не имеет ни малейшего намерения возиться с чужими детьми.

А сами эти дети, как стайка испуганных птичек, сбились у затянутого простыней трюмо в углу квадратного зала, где на запачканном чужими ногами полу еще валялись ветки можжевельника и белели пятна застывшего воска от надгробных свечей. Мальчики старались держаться, как взрослые, и только красные веки выдавали их печаль. Девочки чинно сморкались в белые платочки и снова складывали их в аккуратные квадратики. Наталья глядела на братьев и сестер своими красивыми, не по-юному серьезными глазами и сосредоточенно думала об ожидавшей всех их судьбе.

В столовой послышался шум отодвигаемых стульев. Поминальный обед кончился.

— Сейчас все дядюшки и тетюшки пожалуют сюда, — угрюмо сказал Александр.

— И разберут нас, как щенят у Амишки, — печально добавил Федя.

Наталья поправила черные банты в косах у сестер. Мальчики застегнули все пуговицы на курточках и выравнивали креповые повязки на рукавах.

Детей действительно разобрали родные и друзья. Петр Панкратьевич Панкратьев забрал Наталью в Киев. Аннет и Лизу увез в Радзивилов брат отца — Александр Иванович. Владимира и Розу взял к себе друг Петра Ивановича — сенатор Алексеев. Он тут же заявил о своем желании усыновить их.

Федя окончательно переселился к дяде Федору Ивановичу Энгелю вместе со старой няней и никому не нужной Амишкой.

Отведя племяннику угол в одной из проходных комнат, дядя, казалось, вовсе забыл о его существовании. Надзор за мальчиком Энгель поручил обруселому немцу Петерсону, проживавшему в его доме неизвестно почему и для чего. Петерсон был занят какими-то делами, ради которых часто уезжал в Ригу. О воспитании он не имел ни малейшего понятия. Попечение его о Феде выража-

лось в том, что изредка, поймав мальчика на какой-нибудь шалости, он отвешивал ему полновесную оплеуху.

Предоставленный большею частью самому себе, Федя проводил время среди дядиных слуг, прислушиваясь к сплетням, касавшимся жизни барина и его приятелей.

Застав однажды племянника в лакейской, Энгель сделал ему строгое внушение за «недозволительное якшание с людьми»... В свое оправдание Федя пожаловался на отсутствие товарищей и скуку.

— Потерпи немного, будут у тебя недолго товарищи,— пообещал дядя.

И действительно, скоро Энгель взял в дом и поселил вместе с племянником двух сыновей своего приятеля, прижитых в незаконном браке с актрисой одного из театров.

От этих сверстников Феде не поздоровилось.

Братья, более сильные, по всякому поводу нещадно его колотили.

Жаловаться на них было некому, а если до дядиного слуха доходил Федин плач или шум ссоры,— он появлялся с ремнем или розгой и порол, не разбирая дела, всех троих.

Утешала Федю нянька Настасья. Когда он прибегал к ней в каморку с залитым слезами лицом, она клала его голову к себе на колени и грозила обидчикам:

— Ужо доберусь я до вас, озорники эдакие! И кого же обижают? Сиротинушку мою горемычную. Ну, полно, полно, Феденька. Ну-ка, погляди, что я для тебя припасла.— И она угощала Федю сладкими турецкими стручками, мятными пряниками и медовыми коврижками.

В часы мира мальчики любили сидеть на подоконнике: окно их комнаты выходило на Невский проспект, где то и дело происходило что-нибудь интересное. С оглушительным звоном проносились пожарные в медных касках. С барабанным боем маршировали солдаты. Проезжали свадебные кареты, на козлах которых рядом с кучерами, перевязанными по рукаву яркими платками, сидели важные лакеи. Свистели будочники, гуляли щеголихи.

Игры, которыми забавлялись беспризорные дети, были и глупы и вредны. Любимая забава заключалась в бросании друг в друга подушек с того самого дивана, на котором все трое спали. При этом подымалась пыль, от которой чихала даже Амишка, тоже принимавшая участие в игре.

Часто мальчики самовольно уходили из дому, в особенности если узнавали от слуг, что в городе ожидается какое-нибудь уличное зрелище. Однажды Федя едва не замерз, когда выбежал из дому посмотреть фейерверк по случаю приезда в Петербург прусского короля. На счастье мальчика, какая-то сердобольная купчиха взяла его под свой лисий салоп и приказала:

— Топочи ножками, батюшка! Изю всех силушек топочи!

Летом 1809 года Энгель снял дачу на Каменном острове. Рядом, в доме актера Рахманова, поселилась мать товарищей Феде, добрая женщина, ласково принимавшая сверстников своих сыновей, в том числе и Федю. У Рахманова бывало много актеров, литераторов, художников. На столе, протянувшемся во всю длину веранды, с утра до поздней ночи кипел «неугасимый» самовар, стояли стеклянные кувшины с холодным квасом, и каждодневно, ровно в двенадцать часов дня, «по пушке» посередине этого стола появлялась большая миска с ботвиньей.

На веранде у Рахмановых Федя впервые услышал пение знаменитого тенора Самойлова — зачинателя замечательного актерского рода Самойловых. Здесь он в первый раз увидел баснописца Крылова, услышал, как тот с неповторимым выражением лукавства, ума и добродушия читает свои басни. Бродя по острову, мальчик наблюдал, как живописцы переносили на полотно перламутровые воды Финского залива с бездыханными в тишине белой ночи парусами кораблей.

Посещавший дачу Рахманова переводчик пьес Коцебу — Краснопольский часто развлекал гостей собственноручно приготовленным фейерверком. Дети наперебой помогали ему: терли уголь, набивали гильзы; а когда наступал вечер и в небо рассыпающимися каскадами взлетали разноцветные огни, восторгу детворы не было границ.

Иногда Краснопольский водил мальчиков на прогулку в Строгановский сад. Там, среди хозяйских гостей и посторонних посетителей, которых Строганов допускал «на променады» в свой сад при условии «соблюдения приличий и опрятности в туалете», заложив руки за спину, прогуливался генерал Багратион.

Указывая на него мальчикам, Краснопольский говорил:

— Генерал сей рожден для свершения великих подвигов. Он воевал против шведов, турок и французов. В прославленном Италианском походе Суворов называл Багратиона своею правою рукой. При наступлении Багратион — всегда в авангарде. А когда при отступлении Кутузов поручил ему защиту арьергарда нашей армии, Багратион всего лишь с шестью тысячами солдат выдержал в сражении под Шенграбенем натиск тридцатитысячной армии французов и спас русскую армию от разгрома. О, я не сомневаюсь, что Багратион был, есть и будет гордостью русской армии и неизменным соучастником ее побед.

Мальчики с восхищением следили за шагавшим по аллеям Багратионом, а когда однажды им пришлось столкнуться с ним лицом к лицу, они вытянулись по-военному и отдали ему честь.

Генерал взглянул на них из-под густых бровей и ответил на приветствие с той же серьезностью, как отвечал козырявшим ему офицерам, только в прищуренных глазах его вспыхнула ласковая усмешка. Мальчики от счастья и гордости словно приросли к месту.

Фигура Багратиона, будто отлитая из бронзы, его орлиный профиль и смеющийся взгляд навсегда сохранились в памяти Литке.

С осени Энгель перебрался на новую квартиру. Сыновья его приятеля остались жить с матерью. Вместо них постоянным компаньоном Феди стал отставной майор русской армии француз-эмигрант, кавалер де Сен-Жюль.

Кавалер этот был как бы прообразом грибоедовского «французика из Бордо». Принимаемый во многих просвещенных домах Петербурга, он неизвестно на каком основании поселился у Энгеля и вел себя так, словно оказал этим хозяину большую услугу. Он заказывал за счет Энгеля французские вина, ездил в его карете во Французский театр, сочинял для его холостых вечеринок шансонетки и, выпив бутылку-другую «Вен-де-Грав», сам распевал их во все горло, не стесняясь присутствия двенадцатилетнего мальчика.

Услышав однажды, как свободно объясняется племянник по-французски, и даже с тем же парижским «прононсом», каким обладал Сен-Жюль, Энгель велел мальчику

приходить по утрам в канцелярию и переводить на французский язык различные докладные записки и письма, делать выписки из французских журналов и т. д.

В дядиной канцелярии стояли шкафы, набитые книгами. Здесь были и карамзинские «Письма русского путешественника», и «Энциклопедия» Крюдница, и еще множество самых разнообразных по содержанию книг. Одни из них давали здоровую пищу для пытливого ума мальчика, другие только засоряли его воображение.

Умственному развитию Феди в значительной степени содействовали и дядины «понедельники». В этот день у Ангеля обедали друзья. Слушать их беседы о литературе, народном просвещении, событиях государственной и общественной жизни и главным образом о военных делах — для любознательного мальчика было настоящим праздником. Притаившись в затененном углу кабинета или за высокой спинкой вольтеровского кресла, он старался не попасть на глаза дяде, чтобы тот не выпроводил его. А когда уловка не удавалась и Ангель отправлял его спать, Федя долго лежал с открытыми глазами, думая о только что слышанном из уст взрослых людей. Эти люди казались ему необыкновенно умными, образованными и талантливыми.

В один из «понедельников» баснописец Крылов помянул мальчика и подал ему свернутый трубкой листок бумаги:

— Это я для тебя басенку придумал. Коли понравится, расскажешь ее наизусть.

Басню эту — «Лев и человек» — Федя выразительно прочел в следующий «понедельник» перед гостями. Тогда эта басня только что появилась в печати, и многие из присутствовавших слышали ее впервые. И ее содержание, и то, как она была прочитана, вызвало общее одобрение. Федю заставили повторить басню дважды. Как только он произнес первые слова: «Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», — раздались реплики: «Сколько умно! Как просто и сильно! Как глубоко подмечено!..»

Крылов, опустив тройной подбородок в белое жабо, слушал Федю, чуть-чуть прищурив умные голубые глаза...

Федя попробовал и сам писать стихи и даже роман, но стеснялся показать их кому бы то ни было. Некоторое время он хранил свои сочинения в канцелярии, а потом уничтожал без сожаления.

Шли дни. Большой радостью для мальчика были письма, получаемые от братьев и сестер. Чаше других писала из Киева старшая сестра Наталья. Однажды от нее пришло письмо в конверте с черным траурным ободком. Феде мгновенно вспомнились такие же черные полосы на извещениях, которые писались, когда отец лежал в гробу. У мальчика тревожно сжалось сердце.

Наталья сообщала, что тетка Елизавета Ивановна, у которой она жила, скончалась, к величайшему огорчению всех родственников и в особенности ее мужа, Петра Панкратьевича Панкратьева.

«Душевная его скорбь повлияла на его физические силы в такой мере, — писала Наталья, — что вряд ли он оздоровеет. Малолетних сыновей его временно взяли родственники, а я, вновь осиротелая, еду в Радзивиллов к дядюшке Александру Ивановичу и сестрицам Анне и Елизавете».

После приезда Натальи в Радзивиллов в ее судьбе произошла неожиданная перемена. Проезжавший через Радзивиллов командир отбитого у турок в Афонском сражении корабля «Сед-эль-бахр» капитан-лейтенант Иван Саввич Сульменев предложил Наталье свою руку и сердце.

Девушка согласилась связать свою судьбу с почти незнакомым ей человеком. Сразу же после свадьбы Наталья уехала с мужем. Спустя некоторое время они поселились в Кронштадте, куда Сульменев был назначен командиром одного из корабельных экипажей. В семье очень беспокоились о судьбе Натальи. Но вскоре от нее получили письмо. Она, отнюдь не жалуясь на свою семейную жизнь, писала, что муж ее «хотя и не отличается светскостью манер», совершенно пленил ее «добротою душевною и чувствительностью необычайною».

Как Наталья Петровна и предполагала, здоровье Панкратьева не улучшилось. Не прошло и полугода после смерти жены, как он скончался, оставив на имя Ангеля письмо, в котором, в память некогда существовавшей между ними дружбы, просил «призреть двух отроков» — двух своих сыновей. Старший сын Панкратьева Никита, который в это время был адъютантом у Михаила Илларионовича Кутузова, привез обоих младших братьев к Ангелю.

К мальчикам приставили учителей, чтобы подготовить их в военное училище. Вместе с ними стал учиться и Федя. Гувернер Панкратьевых, слывший отъявленным

вольтерьянцем и якобинцем, присылал своим бывшим воспитанникам много книг. Среди них были сочинения Вольтера, Руссо, Мольера, Расина, труды по математике, физике, естествознанию. Федя с увлечением читал эти книги.

Поездки в Кронштадт к Сульменевым доставляли Феде много радости. В доме Сульменевых царил спокойная атмосфера, свойственная семьям, где между супругами установлена крепкая дружба. Здесь Федя находил и ласку, и сочувствие, и поддержку, которых ему так не хватало в неприятном доме дяди.

Энгель и прежде мало интересовался племянником, а к этому времени сбылось предсказание бабушки: Федор Иванович попался «в когти ведьмы».

Как-то незадолго до отъезда братьев Панкратьевых в училище, мальчики чинно сидели за столом в ожидании выхода дяди. Наконец дверь распахнулась, и на пороге показался Федор Иванович под руку с худощавой дамой в шумящем зеленом шелковом платье. Дама вертела непомерно маленькой головой и с высоты своего роста оглядывала сидящих за столом зеленоватыми, колющими глазами.

Старая Настасья едва не выронила из рук кофейника и, отвернувшись, стала осеять грудь мелкими, торопливыми крестами. Мальчики замерли. Энгель, несколько смущенный, откашлялся и начал в приподнятом тоне:

— Как некогда Людовик Четырнадцатый, так и я представляю вам мою официальную сожительницу — мадам Адамович. Прошу любить и жаловать! А кто не хочет — может убираться из моего дома ко всем чертям!

Закончив эту короткую, но выразительную речь, Энгель шумно отодвинул кресло и знаком велел Настасье подать кофе. Мадам Адамович, сев на хозяйское место, молча указала Настасье на дверь, потом обратилась к младшему Панкратьеву:

— Как тебя зовут, мальчик?

— Теофил, — робко ответил он.

— Пойди, позови лакея, Теофил. Я не люблю, когда за столом прислуживают женщины, да еще такие старые. Только пусть он не забудет натянуть перчатки. Я не люблю, когда лакеи подают кушанья без перчаток...

— Настоящая ящерица, — шепнул Владимир Панкратьев Феде. — Хорошо, что мы скоро уезжаем.

— Вы-то уезжаете... — тяжело вздохнул Федя. Он ед-

ва удерживался от слез, глубоко обиженный за свою старую няньку.

В очередной приезд к Сульменевым Федя рассказал о мадам Адамович.

Возмущенная до глубины души, Наталья Петровна отправилась к дяде для объяснений. Она убеждала его определить Федю в только что открывшийся Царскосельский лицей, директором которого был Энгельгардт, давнишний приятель Энгеля. Дядя торжественно обещал хлопотать об этом, и Федя, достав программу для поступающих в лицей, стал усиленно готовиться к экзаменам. Он много слышал из разговоров старших об этом учебном заведении и мечтал сделаться лицеистом.

Но время шло, и Энгель, занятый хлопотами по устройству навалившейся на него кучи родственников мадам Адамович, забыл о своем обещании. Федя боялся напомнить ему об этом, чтобы не вызвать укоров в неблагодарности и надоедливости. При малейшей возможности мальчик старался попасть на катерок или пассажирский бот, курсировавший между Петербургом и Кронштадтом, и отправлялся к Сульменевым.

Во время поездок Федя перезнакомился с матросами и боцманами и очень полюбился им за смешленость и любознательность, в особенности ко всему, что относилось к морскому делу. Они уже знали, кто он, где живет, знали, что он приходится родственником капитану Сульменеву, доброта и справедливость которого были известны кронштадтским морякам. Они разрешали мальчику делать несложные работы на катере: вытянуть кливершток, раздернуть грота топенант, а иногда — даже постоять на руле.

В матросских кубриках юрких одномачтовых катеров будущий знаменитый мореплаватель впервые услышал чудесные рассказы о дальних вояжах, о разных морских «бывальщинах», о сенявинских походах.

Поздоровавшись с сестрой и зятем, Федя убегал в кронштадтский порт, где всегда находил для себя интересное занятие.

Привязав к длинной нитке ключ, он измерял глубину порта, зарисовывал стоящие на рейде корабли, катался на ялике под парусом, наблюдал, как работает «огненная» машина для осушения доков...

И был счастлив.

Глава III

У Сульменевых часто собирались моряки — приятели Ивана Саввича. Федя не раз слышал, как они возмущались политикой правительства, и в особенности отношением его к морскому флоту.

Александр I не разделял взгляда своего великого пращура, который в предисловии к Морскому уставу собственноручно написал: «Была убо Россия в древние времена мужественна и храбра, но не довольно вооружена... И как политическая пословица скажет о государях, морского флота не имеющих, что те токмо одну руку имеют, а имеющие флот — обе».

Придавая флоту не меньшее значение, чем сухопутным войскам, в укреплении «российского потентата», Петр I за одно только десятилетие своего царствования в три раза увеличил бюджет морского ведомства, создав к концу первой четверти XVIII века флот из ста кораблей. Для подготовки личного состава эскадры он основал Навигацкую школу в Москве и Морскую академию в Петербурге. Наиболее образованных и способных своих офицеров посылал за границу для обучения корабельному мастерству, сам ему обучался и, учредив Адмиралтейств-коллегию, сам руководил ею.

Начиная с победы под Азовом, которая открыла русским доступ к Черному морю, русский флот к началу царствования Александра I уже проделал славный исторический путь.

Гангутская победа заставила Швецию заключить Ништадтский мир, по которому Россия получила искони принадлежавшие ей земли Лифляндии, Эстляндии, Ингрии, части Карелии и Финляндии. Каспийская флотилия присоединила к России такие порты, как Дербент и Баку, и провинции Гилянскую, Мазандеранскую и Астрабадскую.

В последующие за Петром царствования строительство флота шло гораздо медленнее. Однако это не помешало тому, чтобы русские корабли под Очаковым заставили турецкий флот отойти к Константинополю; чтобы русский флот во время Семилетней войны помог своим сухопутным силам взять прусскую крепость Кольберг; чтобы русская эскадра показала чудеса храбрости в Средиземном море; чтобы она одержала блестящие победы при Чесме и Патрасе; чтобы заново созданный черноморский

флот утвердил за Россией незыблемое господство над Крымом, Кавказским побережьем и Новороссией и, одерживая победу за победой, сделался полновластным хозяином на старинном Русском море.

Екатерина II в указе об учреждении «Морской Российской флотов и адмиралтейского правления комиссии для приведения флота к обороне государства в настоящий добрый порядок» писала: «Что флотская служба знатна и хороша, то всем известно, но насупротив того столь же вредна и опасна, почему более милость и попечение заслуживает».

Благодаря выросшему могуществу своего флота Россия смогла в конце XVIII века продиктовать наиболее сильным тогда морским державам — Англии, Франции и Испании — «Правила для освобождения морской торговли от притеснений». Для поддержания этих правил, а также для «покровительства чести Российского флага и безопасности русских торговых кораблей против кого бы то ни было, — предупреждалось в этих правилах, — Россия повелит выступить в море значительной части своих морских сил».

Командный состав флота стал пополняться более талантливыми и образованными моряками, а о матросах англичанин Травенин, служивший в русском флоте, писал: «Нельзя желать лучших людей, ибо неловкие, неуклюжие мужики под вражескими выстрелами скоро превращались в смышленных, стойких и бодрых воинов».

В начале своего царствования Александр I наметил ряд преобразований государственного управления. Среди других министерств было создано и министерство военноморских сил. Во главе его стал образованный и честный адмирал Мордвинов. Через три месяца этот уважаемый в морской среде адмирал был заменен контр-адмиралом Чичаговым, выдвинувшимся на столь важный пост из сухопутных поручиков благодаря протекции. За несколько лет своего пребывания на посту морского министра этот баловень судьбы, который кое-что знал по книгам и ничего — по опыту, по словам своего современника вице-адмирала Головкина, «подражая слепо англичанам и вводя нелепые новизны, мечтал, что кладет основной камень величию русского флота... Испортив все, что оставалось во флоте и наскучив верховной власти наглостью и

расточением казны, удалился, поселив презрение к флоту в оной и чувство глубокого огорчения в моряках».

На пост морского министра был назначен маркиз де Траверсе — француз, неудачно командовавший перед этим Черноморским флотом, но сумевший снискать расположение влиятельных особ, и в том числе Аракчеева, веселым нравом, отменностью манер и умением ладить с сильными мира сего.

Наскучив выслушивать жалобы о безотрадном положении в морском ведомстве, царь решил учредить особый Комитет образования флота, которому повелел обращаться лично к нему «во всех мерах, каковые токмо нужным почтено будет принять к извлечению флота из настоящего мнимого его существования и к приведению оного в подлинное бытие».

Во главе этого комитета был поставлен граф Воронцов, тоже англоман, презиравший все русское и не постыдившийся в докладной записке царю писать: «По многим причинам, физическим и локальным, России нельзя быть в числе первенствующих морских держав, да в том ни надобности, ни пользы не предвидится... Довольно, если морские силы наши будут устроены на двух только предметах: обережение берегов и гаваней наших на Черном море, имев там силы, соразмерные турецким, и достаточный флот на Балтийском море, чтобы в оном господствовать. Посылка наших эскадр в Средиземное море и другие экспедиции стоили государству много, делали несколько блеску, а пользы никакой».

Эти высказывания графа Воронцова, того самого Воронцова, который через много лет сыграл такую гнусную роль в судьбе Пушкина, настояв на высылке его из Одессы в глухое село Михайловское, не вызвали возмущения царя. У Александра I, видимо, была такая же короткая память в отношении славного пути русского флота, как и у его бессовестного сановника.

Маркиз де Траверсе делал вид, что в его ведомстве все благополучно, а его покровитель Аракчеев в беседах с царем не забывал с похвалой отозваться о рачительности морского министра.

Ведя непрерывные войны, Александр I часто менял политику, заставляя флот то сражаться против своих вчерашних союзников, то вести действия совместно со

вчерашними врагами. Это вызывало серьезное недовольство флотских.

— Маркизу и дела нет, что в ведомстве его царит лихоимство и казнокрадство. Даже высшие чины потакают плутам из опасения, чтобы взяточники и мошенники не сделали доносу на них самих,— с сокрушением говорил Сульменев.— При последнем смотре строящихся кораблей мачты переносили с одного на другой, как в военных поселениях, когда их осматривает царь, переносят жареного гуся из одной избы в другую. Денег тратится куча, а флота, достойного России, нет... Все лучшее наши флотоводцы уходят на суда Русско-Американской компании, уплывают в дальние вояжи. Возьмем, к примеру, Крузенштерна, Лисянского, Головнина...

Слушая разговоры моряков, Федя проникался еще большим интересом ко всему, что касалось моря, флота, морских битв и путешествий. В мыслях ему рисовались дальние вояжи и необыкновенные приключения на островах, населенных дикими людьми.

Все тетрадки его были испещрены рисунками галер, фрегатов, бригов, шлюпок, брандеров. Иногда он переносил эти рисунки на картон и, вырезав корабли, расставлял их в боевом порядке с пушечными жерлами, направленными в сторону врага.

Иван Саввич одобрительно относился к занятиям мальчика. Зная, что Наталье Петровне тяжело обращаться к Энгелю, он сам поехал к нему с просьбой определить Федю в Морской корпус.

— Так ведь Наталья просила о лицее,— удивился Энгель.

— В лицее уже давно идут занятия...

— Да, да, а я, признаться, забыл,— смутился Энгель. — Но уж маркизу де Траверсе непременно о Феде замолвлю словечко. Я ведь часто бываю у его превосходительства.

Как Сульменевы и предполагали, обещание осталось обещанием. Жаловаться на свое положение в дядином доме Федя перестал, но Наталья Петровна видела, что брат ее страдал не только от необходимости жить в этом «вертепе», но и от полной неопределенности своего будущего.

Федя повзрослел, редко улыбался, стал необычайно молчалив и задумчив. После переезда Сульменевых в Петербург он почти все время проводил в их доме.

Приближался 1812 год. Поражения под Аустерлицем и Фридландом и мир, заключенный в Тильзите, были для русского народа незаживающими ранами.

Казалось, в России нет ни одного человека, который не хотел бы рассчитаться с французами.

— Оба мои брата, недавно вышедшие в отставку, вернулись добровольно в свои полки, — рассказывал у Сульменевых один из товарищей Ивана Саввича.

— Мои мальчишки ревмя ревут, чтобы я их незамедлительно перевел из частного пансиона в военное училище, — сообщал другой, — я и знакомство на этот счет имею подходящее, да военные училища укомплектованы до отказа...

— А мои хлопцы в частном пансионе, но прилежание имеют только к военным дисциплинам, — говорил третий. — Нынче военные науки штудировуются даже в университетах.

— Я намерен в книжную лавку заходила, так покупатели все, как один, требуют патриотических сочинений, — сообщила Наталья Петровна. — Да и в театрах публика желает видеть пьесы патриотического содержания.

— И успех оных пьес определяется именно содержанием, а отнюдь не их художественными достоинствами, — добавил Иван Саввич. — Не так ли, Феденька?

Федя понял, что зять имеет в виду трагедию Озерова «Дмитрий Донской», которая была в это время «гвоздем» театрального сезона. Федя смотрел ее с Натальей Петровной трижды и всякий раз неистово аплодировал, когда актер патетически восклицал:

Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!
или:

От нашей храбрости нам должно ждать управы,
В крови врагов омыть прошедших лет позор
И начертать мечом свободы договор!

О предстоящей войне толковали во всех слоях русского общества: в казенных учреждениях и великосветских салонах, в офицерских собраниях и морских клубах, на званных обедах и балах, по деревням, где шли рекрутские наборы, и в солдатских казармах, во флотских экипажах и на кораблях, в лавках и на рынках, в театрах и на улицах — везде рассуждали о необходимости отомстить

врагу, вернуть отечеству былое его достоинство и возродить славу русского оружия.

Формирование резервов шло по всей России. Укомплектовывались части регулярной армии, инспектировались интендантские склады, заключались подряды на поставку необходимых для армии обмундирования, фуража и т. п.

В Петербурге была построена флотилия из ста трехпушечных канонерских лодок, предназначенная для действий в Рижском заливе под начальством контр-адмирала Моллера. Командиром одного из отрядов этой флотилии был назначен Иван Саввич Сульменев.

Предстоящая разлука с мужем огорчила Наталью Петровну. Она готовилась в скором времени стать матерью и почему-то решила, что непременно умрет при родах. Чтобы развлечь ее, Сульменев накануне отъезда повез жену и Федю в Петергоф полюбоваться фонтанами.

Как зачарованный, стоял Федя перед самым большим фонтаном. Фонтан изображал Самсона, раздирающего пасть бронзовому льву. Иван Саввич объяснил символическое значение этой группы:

— Лев — государственный герб Швеции. Сей страшный хищник был изображен на гербе Карла Двенадцатого. Самсон, раздирающий пасть этому зверю, — Полтавская победа, одержанная русскими над шведами в день святого Самсона.

Потом Сульменев повел своих спутников по роскошным дворцовым залам. От пышной позолоты, отражавшейся в бесчисленных подвесках хрустальных люстр и во множестве зеркал, рябило в глазах. Один из огромных залов назывался «Чесменский». Иван Саввич объяснил содержание картин Гаккерта, украшавших зал. Полотна эти с большой точностью отражали эпизоды из истории побед русского флота над турецким.

— Обрати, Феденька, особое внимание на эту картину. Видишь смятение на вражеских судах и зловещее зарево? Видишь, как оно отражается в пенных волнах? Зарево это означает пожар турецких кораблей, подожженных нашими брандерами. Командиром одного из них, погибшего в сем сражении, был твой дядюшка — лейтенант Федор Литке.

— Тебя в честь него Федором назвали, — сказала Наталья. — Так пожелал увековечить его имя покойный

папенька. Он хотел, чтобы в нашей семье это имя переходило из поколения в поколение.

— Я помню, что папенька высказывал еще желание, чтобы этот Федор непременно был моряком, — с волнением проговорил Федя, — исполнится ли эта батюшкина воля, как вы полагаете, Иван Саввич?

— А то как же, — просто ответил Сульменев на вопрос, от решения которого зависело исполнение заветной Фединой мечты. — Только я все думаю, — шутливо продолжал Иван Саввич, — кто из тебя выйдет: великий мореплаватель, российский Баренц, или Гаклюйт, который большую часть своей жизни посвятил описанию мореплаваний и открытий.

Федя вспыхнул и с укором посмотрел на сестру. Конечно, от нее узнал Сульменев о его мечтаниях.

На обратном пути, когда разговор снова коснулся желания Феи посвятить свою жизнь морю, Сульменев уже серьезно сказал:

— Ты должен хорошо запомнить: морское дело больше, чем какое-либо иное, требует всесторонней образованности. Имеешь ли ты намерение сделаться исследователем морей и океанов или распространителем навигационных познаний, допрежь всего тебе следует заняться математикой. Это, братец мой, наука всех наук, входящих в состав великой науки морского дела.

В самый день отъезда Сульменев подарил Феде готовальню и объяснил назначение каждого предмета, лежащего в ее лиловых бархатных гнездышках.

— Учись чертить. Вычерчивай отдельные детали корабля. Черти карты. Наноси на сетку по указанной широте и долготе отдельные пункты земного шара на суше и воде... Знакомься с жизнью великих мореплавателей. Я оставляю тебе письмецо к библиотекарю Морского корпуса. Хороший старик, знающий. Он тебя нужными книгами снабжать будет.

Среди версишцы экипажей, в которых ехали матери, жены, сестры и дети, провожавшие уходивших со своими частями на театр военных действий сыновей, мужей и отцов, двигалась и извозчицья пролетка с Натальей Петровной и Федей.

За заставой надо было расставаться. Иван Саввич, с тревогой вглядываясь в побелевшее лицо жены, сказал:

— Тебе, Федор, поручаю попечение о Наташе. Ты уже взрослый, и лишнего говорить по этому поводу не приходится. Обещаю в самом недолгом времени походатайствовать перед кем следует об определении тебя во флот.

Федя молча крепко обнял зятя.

— А мне пообещай, что мы никогда не будем больше расставаться,— попросила мужа Наталья Петровна.— Пообещаешь — и я буду спокойно ждать твоего возвращения.— В ее налитых слезами глазах была такая тоска, что Сульменев готов был пообещать все, что угодно...

После отъезда зятя Федя сшил тетрадь, написал на ней «каждодневные занятия» и стал заносить в нее все, что было прочитано о том или ином великом мореплавателе, что было выучено наизусть, что вычерчено, какие задачи и теоремы были решены.

Библиотекарь, прочтя учтивое письмо Сульменева, в котором Иван Саввич называл его «покровителем просвещения подрастающего поколения», выразил полную готовность снабжать мальчика книгами и учебниками.

Федя не только читал биографии знаменитых путешественников-исследователей неизвестных вод и стран — Христофора Колумба, Васко де Гама, Магеллана и других. Он вычерчивал пути следования их кораблей, мысленно всматривался вместе с ними в небесные светила, следил за стрелками компаса, крепил паруса вместе с матросами, переносил непогоды, знакомился с туземцами, охотился за акулами. Вместе с русским казаком Семеном Дежневым он с изумленной радостью открыл пролив, отделяющий Азию от Америки. Он помогал братьям Лаптевым, плывя с ними на дубель-шлюпках, исследовать берега Северной Азии, а когда судно было затерто и раздавлено льдами,— сухопутным путем, на собаках, изучал с ними очертания Таймырского полуострова. Он прошел со штурманом Челюскиным до самой северной оконечности крайнего мыса азиатского материка...

Выходя темной ночью на крыльцо, Федя подолгу смотрел на небо, отыскивая на нем те звезды и созвездия, которые были нанесены им на плоский круг «северного полушария», срисованный из книг по астрономии.

Хуже обстояло дело с математикой. Наталья Петровна вынесла из института очень скудные понятия об этой науке и при всем желании могла помочь Феде только в решении арифметических задач да алгебраических упражнений с одним неизвестным. Дальше Феде пришлось «доходить своим умом» или пользоваться объяснениями случайных учителей. Из них наиболее часто Федя обращался к братьям Сафоновым — товарищам Ивана Саввича по прежней службе во флоте. Сульменев очень просил их «в случае чего» позаботиться об его семье.

Сложные алгебраические формулы со степенями, корнями, скобками, плюсами и минусами, казавшиеся непреодолимыми, как заторы полярного льда у мыса Челюскина, все же пробивались упорной настойчивостью ученика.

А решение геометрической теоремы связывалось у Феде с открытием неизвестной лагуны или островка, на который еще не ступала человеческая нога.

Но в его прилежные занятия все больше и неотвратимей вторгалась жизнь: наступало время, о котором спустя четверть века Пушкин писал:

Тогда гроза двенадцатого года
Еще спала...— Еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

По Петербургу двигались войска, ехали обозы с провиантом, снарядными ящиками. Лихо проносились конница, тяжело тащились многоупряжные пушки и гаубицы. Из деревень подходили новобранцы.

Сопровождая сестру в церковь, Федя слушал горячие молебны о сохранении жизни отцов, мужей и сыновей, обо всем российском воинстве и о даровании победы русскому оружию над «врагом и супостатом Бонапартием». И недавние мечты о дальних вояжах в неведомые страны и моря сменились у юноши твердым намерением послужить отечеству хотя бы в качестве юнги или гардемарина.

Этими своими планами он прежде всего поделился с братьями Сафоновыми. Бывать в их холостяцкой квартире, полной всяких интересных вещей, привезенных из заморских стран, слушать интересные были и небылицы, которые любили рассказывать эти старые моряки, всегда доставляло Феде большое удовольствие.

Особенно занятым рассказчиком был старший из братьев — Африкан, потерявший в битве с турками обе ноги, однако ходивший на костылях с тем же независимо молодецким видом, с каким хаживал раньше по палубе, даже во время бурь и непогод.

Африкан говорил совершенно серьезно об исполинских бочках выпитого им рома, об акулах, «нырявших под экватор и всплывавших у тропиков Рака и Козерога», и еще о множестве якобы происшедших с ним случаев, в которых действительность переплеталась с явным вымыслом.

— Полно, Африкан Павлович, — бесцеремонно останавливала его Наталья Петровна, если ей случалось слышать эти фантастические повествования, — не забивайте мальчику головы пустяками, а то он и в самом деле поверит вам...

Сафонов в ответ добродушно уверял:

— Ей-ей, все как по-писаному было. — И показывал Феде шлем из перьев, якобы подаренный ему негритянской красавицей, полюбившей его до такой степени, что «даже кожа у нее посветлела», или будто бы выигранную на пари у японского адмирала «чесалочку» — крошечную человеческую ручку с ноготками, выточенную из слоновой кости.

Мелочи эти заставляли Федю верить в правдоподобие рассказов Африкана.

Младший Сафонов когда-то служил под командой адмирала Сенявина и участвовал в Турецкой кампании. Хорошо владея кистью, он изобразил на полотнах гибель своего корвета, эпизод из пребывания в турецком плену и возвращение русского флота в Одессу. Эти картины служили как бы иллюстрациями к рассказам обоих братьев.

Живым свидетелем многих событий их прошлого был и шкипер Соколов, служивший с Сафоновыми на одних и тех же кораблях. Он часто приглашал Федю покататься по заливу на своем ялике.

Мальчик с нетерпением ждал, когда шкипер усядется за руль и, раскурив трубку крепчайшего табаку, начнет рассказывать занятные истории.

Соколов как-то прочел книгу о древнем палеозое, когда всю нашу планету покрывала вода. И с тех пор он утверждал, что именно эта эра была «золотым веком» человечества.

Хотя в книге ничего не говорилось о людях, Соколов уверял, что они, несомненно, жили и в те отдаленные тысячелетиями тысячелетий времена. Он говорил, что и тогда люди были не лишены слабостей, от которых он сам не может отделаться до сих пор.

— Ты только представь себе, Федюшка, — говорил он, поворачивая руль, — что за вольготная жизнь была у наших с тобою прапрадедов во времена этой самой палеозойской эры! К примеру сказать, захотелось кому-нибудь из них в праздничный день пивца испить — плыви в любую пивнушку или трактир. А ежели к пиву еще и раков поесть охота, — протяни плавник — они у тогдашних людей вместо рук были — и такого граптолита-рачищу зацепишь, что целому кубрику при тех дюжинах бутылок одного хватит...

Федя заливался смехом, а Соколов, улыбаясь одними глазами, изображал на лице обиду за несерьезное отношение к его словам.

Братья Сафоновы разделяли стремление Феде поступить во флот и уговаривали только повременить:

— А вдруг флот и без тебя справится с врагом, и русская географическая наука зря лишится в будущем крупнейшего ученого... — говорил Африкан с улыбкой.

Возвратясь однажды от Сафоновых, Федя долго стучался у дверей сульменевского дома. Наконец на крыльцо вышла незнакомая женщина в белой косынке и халате.

— К сестрице вам сейчас нельзя, молодой человек, — сказала она строго, — а вы поспешайте домой и пришлите сюда нянюшку. Да скажите, чтобы не мешкала... Так приказала Наталья Петровна на случай вашего прихода.

Федя заволновался. Он хотел спросить, не понадобятся ли его услуги, но в эту минуту из спальни сестры доносился протяжный стон.

— Идите, идите, молодой человек,— еще настойчивей повторила женщина и даже подтолкнула Федю.

К удивлению извозчика, Федя, не торгуясь, вскочил в пролетку и помчался домой. Вбежав в каморку уже полуслепой Настасьи, он долго не мог перевести дыхания...

Всмотревшись в его расстроенное лицо, старуха с беспокойством спросила:

— Аль с Наташенькой...

— Извозчик дожидается... Скорей, няня, скорей!

С несвойственной ее годам подвижностью Настасья отбила перед иконой несколько земных поклонов, зажгла лампаду и накинула на плечи салон...

Тревога за сестру мешала Феде заснуть. Только под утро он задремал, сидя на маленькой скамейке, на которой обычно грелась перед печкой Настасья.

Приснилось Феде, будто он стоит у лафета на боевой позиции. Мимо бегут с ружьями наперевес солдаты. Многие из них падают. «Я убит или только ранен?» — думал он во сне, ощущая большую неловкость во всем теле. «Ранен, разумеется, только ранен,— радостно билось в мозгу,— и ранен в ноги, оттого так трудно встать, хотя Иван Саввич требует этого...»

И в самом деле кто-то тряс его за плечо и требовал:

— Да вставай же, Феденька, вставай!

Он открыл глаза. Перед ним стояла нянька: ее лицо лучилось улыбкой.

— С племянничком поздравляю,— ласково погладила она Федю по всклоченной голове.— Ай да дядюшка! Спит спокойненько, когда его в крестные отцы приглашают...

Через час Федя был у сестры. Осторожно поцеловав ее в бескровные губы, он подошел к новорожденному, который показался ему старичком-лилипутиком, смешно причмокивающим крошечным, как розовая пуговица, ртом.

— Мы его назовем в честь нашего покойного папеньки,— слабым, но счастливым голосом проговорила Наташа,— он будет тоже Петром Ивановичем.

Феде очень хотелось, чтобы мальчика назвали Михаилом: Михаил Илларионович Кутузов к этому времени сделался всенародным героем.

По мере все более глубокого вторжения наполеоновских полчищ в пределы России настроение в Петербурге становилось с каждым днем тревожней.

Провожая уходивших на войну солдат и ополченцев, жители столицы взволнованно кричали им:

— Пойдите за Россию, братцы! Не жалеете за отчизну жизни, а мы ваших сирот пригреем! Жен, матерей не оставим!

Торговцы бросали воинам калачи и сайки. Новобранцы пели веселые с присвистом песни и высоко подкидывали в воздух шапки.

— А ну, барчуки, становись в наши ряды! — откликнулся однажды один из них, услышав, как случайный Федин сосед крикнул:

— Обороняйте Расеюшку, солдатушки!

— Чай она и вам родная! — подмигнул высокий ополченец и ловко поймал на палец брошенную из толпы баранку.

У Феде вспыхнули щеки.

В тот же вечер он заявил сестре:

— Воля твоя, Наташа... Завтра же пойду проситься в ополченцы.

Сестра полугрустно, полунасмешливо поглядела на него:

— А на кого же ты меня покинешь? Разве не ты обещал Ивану Саввичу...

Федя молча опустил голову и долго сидел неподвижно. Он хорошо помнил поручение Сульменева заботиться о Наташе, но все-таки не переменял своего намерения идти в ополченцы. Он даже решил просить дядю, чтобы тот посодействовал ему в этом.

Как-то в конце августа, узнав от лакея, что «его превосходительство находится в кабинете», Федя на правах родственника вошел без доклада. Энгель стоял посреди большой, заставленной книгами комнаты, прижав руки к вискам. Все лицо его было мокро от слез.

— Дядюшка! Что с вами?!

— Разве ты не слышал: Москва сдана... — И снова с отчаянием схватился за голову. — Ступай в угловую диванную! Там Никита Панкратьев... Нынче прибыл. Он при Кутузове состоял... Иди, иди, он тебе все расскажет...

Федя опрометью кинулся в диванную.

Никита лежал одетый и в запыленных сапогах, закинув руки за голову. Они обнялись.

— Никитушка, ты весь горюшь! Ты болен! — воскликнул Федя.

— Душа, брат, болит, — тихо произнес Никита, — а что пред такую болью страдания телесные! Впрочем, я, кажется, действительно занемог...

Услышав от Никиты подробности сдачи Москвы, Федя горько заплакал.

— Никитушка, определи меня в армию, — молил он сквозь слезы, — будь другом, братец дорогой! Ну, хочешь, я пред тобой на колени стану, в землю тебе поклонюсь...

— Успокойся, Федя. — Никита спустил с дивана ноги. — Я тебя отлично понимаю. Теофил и Владимир тоже собираются в армию. Понятно, что и им неймется вступить в ряды защитников отечества. Обещаю тебе заодно поговорить о вас троих, с кем надлежит.

По настоянию Федя он скрепил свое обещание торжественной клятвой.

Наталья Петровна, узнав о болезни Никиты, приехала его навестить. Она велела Феде прежде всего напоить больного липовым цветом. Федя бросился на кухню за кипятком и чаем для сестры.

Кухарка положила на тарелку несколько пирожков для Натальи Петровны. Расставив на подносе посуду и угощение, Федя понес его в диванную, но, проходя через столовую, на беду, столкнулся с мадам Адамович.

— Куда это? — строго спросила она, ткнув пальцем в поднос.

Федя чистосердечно признался, кому предназначалось угощение.

— У меня в доме кушанье подают только в столовую, — важно произнесла Адамович и, взяв из рук мальчика поднос, поставила его на буфет. — У меня в доме не трактир, чтобы по номерам фрыштыки разносить...

Ни сестра, ни Панкратьев ничего не спросили у Федя, но по его багровому лицу, по сжатым кулакам догадались, что произошло. Посидев еще немного, Наталья уехала. Вскоре после ее отъезда стал собирать свои вещи и Никита.

— Передай дядюшке, что мне удобнее будет жить у моего денщика, — сказал он расстроенному Феде. — Да не падай духом, все устроится. Я, может быть, с самим

Кутузовым о тебе поговорю,— уже с обычной веселостью добавил он.

Энгель, узнав от мадам Адамович, что Наталья Петровна ужасно обидела ее, «отказавшись пожаловать к общему столу», вызвал к себе Федю и стал жестоко упрекать и его, и Панкратьева, и, главным образом, Наталью в невоспитанности и бессердечии. Как ни боялся племянник разгневанного дядюшки, слышать оскорбления по адресу любимой сестры он не смог.

— Если я виноват перед вами, меня и браните,— едва сдерживая гнев, проговорил мальчик,— но прошу вас не трогать сестру...

— Скажите на милость, какой Валентин из гетевского «Фауста» объявился,— язвительно усмехнулся Энгель.— Прекрасно, это доказывает только, что ты любишь Наталью. Но я-то знаю, что это за особа...

— Неправда! — закричал Федя. — Вы не знаете и не можете знать о Наташе ничего дурного! — Боясь, что больше не сможет совладать с собой, он выбежал из кабинета.

Жизнь в доме Энгеля после этого стала для Феди еще тяжелее.

Глава IV

Осенью в Петербурге еще не знали, что собирается предпринять Наполеон после занятия Москвы. На всякий случай из столицы вывозили музейные ценности и учебные заведения.

Энгель почти не разговаривал с племянником. Он молча клал перед ним то или иное «отношение» и ногтем отмечал страницу, которую Федя должен был переписать или перевести.

«Кому и зачем я нужен?» — думал мальчик. Казалось, даже сестра Наталья тяготится его посещениями, потому что и у нее в доме он оставался грустным и молчаливым.

Особенно угнетало Федю сознание, что в такое тяжелое для родины время он, пятнадцатилетний юноша, остается только пассивным свидетелем всех обрушившихся на нее бедствий.

Он сделал попытку самостоятельно определиться в один из добровольческих отрядов. Офицер, принимавший

ополченцев, снисходительно улыбнулся в ответ на его просьбу:

— Молоды-с, сударь мой, самостоятельно решать столь важные жизненные шаги. Извольте принести согласие родителей.

— У меня нет родителей...

— Ну, опекуна.

— Молоко на губах не обсохло, а туда же, воевать, — презрительно поглядел на Федю дядя в ответ на просьбу мальчика дать требуемое офицером письменное согласие опекуна.

В мокрое, серое утро, когда небо над Петербургом казалось выстеганным из коричневой ваты, а выпавший снег сразу сделался похож на кофейную гущу, за Федей пришла от Натальи Петровны девушка, нянчившая маленького Петрушу.

— Очень о вас беспокоится сестрица. Что давно не были, Федор Петрович? И на племяша поглядеть не хотите, а у него уже два зубика прорезались.

Наталья Петровна не упрекала брата за долгое отсутствие. Она вся светилась радостью.

— Читай, какое письмо прислал Никита! Ведь это же прекрасно, о чем он пишет!

Федя схватил письмо.

«...Наполеон уже дважды присылал к Михайле Илларионовичу своих послов на предмет мира. Две недели тому назад побывал в ставке фельдмаршала с предложением одного мира Лористон. Мне собственными ушами довелось слышать, как Кутузов весьма холодно отвечал сему маркизу, что русский народ смотрит на наполеоновские полчища точно так же, как некогда на вторгшиеся в русские земли орды Чинхис-хана. Лористон стал было уверять, что, дескать, не французы сожгли древнюю Москву. А фельдмаршал ему в ответ: «Знаю, сударь мой, отлично знаю, ради чего была принесена русским народом сия великая жертва». Лористон уехал не солоно хлебавши. А через две недели прибыл к нам от маршала Бертье полковник Бертеми. Вскрыв привезенный им пакет, Михайло Илларионович небрежно пробежал его одним своим глазком, пожевал по-стариковски губами и с эдакой нарочито обходительнейшей улыбочкой вымолвил: «Право, милостивый государь мой, уж и в толк не возьму, что мне

вашему императору отвечать о причинах, по коим он до сего времени не получил от государя Александра Павловича ответа на предложение о мире. Полагать можно, что повезший оное письмо в Петербург господин Яковлев задержался в дороге по случаю распутицы...» Мы, свитские, едва удерживались от смеха, глядя, как веселая, с хитрецей усмешка так и порхает по фельдмаршалу лицу. Но вдруг лик сей нахмурился, любезнейший тон, коим за минуту до того изъяснялся Михайло Илларионович, сменился ледяною стужею: «Что же касается недовольства вашего императора поведением русского народа, то передайте, сударь мой, чтобы господин Бонапарт не изволил сетовать на наш народ, что в борьбе за очищение от врага своей земли он не делает различия между способами, принятыми или непринятыми в обычных войнах...»

...Военное счастье явно перешло в руки наших войск. «Завоеватель Европы» уже покинул Москву. За ним последовал и маршал Бертье с оставленным в Москве корпусом. Французы спешат убраться восвояси, да пусть-ка попробуют прорваться сквозь рогатки, уготовленные для сих непрошенных гостей Кутузовым и мужицкими отрядами...

Федя не замечал, что по его лицу катились слезы. Неприятности, связанные с пребыванием в дядином доме, казались ему теперь ничтожными пустяками, которым стыдно придавать значение в такие великие дни. А желание принять участие в борьбе за освобождение родины стало еще неудержимей.

За голодной, оборванной и замерзающей наполеоновской армией, в панике бегущей из России, отступал и французский флот. После того как вражеские суда покинули Ригу, флотилии, в которой служил Сульменев, было приказано отправиться на зимовку в Свеаборг. Иван Саввич вскоре прислал жене письмо, чтобы и она с сыном туда приехала.

— Наташенька, возьми меня с собой! — взмолился Федя. — Не могу я дольше оставаться в дядином доме, да и вообще не могу так, без толку жить, когда место мое во флоте или, на худой конец, в сухопутных войсках. Возьми меня в Свеаборг!

В голосе Феде была такая мольба, что Наталья Петровна, даже не запросив мужа, дала свое согласие.

Федя знал, что в Свеаборг переводятся Морской корпус и Штурманское училище. Воспитанников этих учебных заведений отправляли на фрегате «Поллукс», которым командовал сослуживец и давнишний приятель Сульменева. Узнав, что Наталья Петровна собирается в Свеаборг, он с готовностью вызвался помочь ей в переезде.

Накануне отплытия из Петербурга Наталья Петровна и Федя отправились на кладбище попрощаться с могилами отца, матери и бабушки.

Плакучие ивы над могилами разрослись, и узорная тень их листвы падала на уже пожелтевшую любимую бабушкину «богородицыну» травку.

Наталья Петровна тщательно протерла запылившуюся золоченую надпись на памятнике над материнской могилой и прочла вслух стихи, сочиненные отцом:

Здесь... Ах, здесь покоится прах
Незабвенной супруги моей...
Нежность, любовь и смиренность с светлым умом
В образе милом ее столь гармонично сплетались...

Федя окопал все три холмика, выкопал сорняки, загнувшие еще цветущие маргаритки.

Брат и сестра молча постояли у дорогих могил, потом, поклонившись до земли каждой в отдельности, пошли домой.

Прощание с дядей было очень коротко:

— Посмотрим, как ты поладишь со своей сестрицей, когда вместо гостя станешь сульменевским приживалкой,— сумрачно сказал Энгель.

Какое это было плавание! Балтийское море расстилось перед восторженным взором мальчика необъятным серо-голубым простором. Свежий ветер вздымал сверкающие под солнцем волны. Раздув паруса, «Поллукс», как большой, сильный лебедь, плыл, покачиваясь на этих веселых волнах.

Все казалось Феде прекрасным: и шум воды под рулем фрегата, и монотонная переключка штурманского ученика с рулевым:

— Право одерживай!

— Есть, право одержано!

- Так держи!
- Есть, та-а-ак!

Наталья Петровна не могла дозваться брата поест: он боялся пропустить что-нибудь из жизни фрегата и непрерывно носился с одного его конца на другой.

— Да не вертись ты под ногами, — прикрикнул на него капитан, поднимаясь на ванты с подзорной трубой. — Ведь вот какой непоседа! И все-то ему надобно знать...

Свеаборг был переполнен: там стояли военные части и, кроме того, ко многим из зимующих здесь офицеров приехали семьи. В небольшом городке не хватало квартир.

У Ивана Саввича здесь, как почти в любом порту, оказались друзья-приятели. Петр Александрович Опочинин, товарищ Ивана Саввича по Морскому корпусу, служивший в это время в Свеаборге контрольным советником, выделил для Сульменевых крошечную комнатку в своем доме. Для Федей в ней решительно не было места, и его поместили в семье старого моряка и приятеля Ивана Саввича — Егора Еремеевича Куличкина.

В Свеаборге стояла готовая к отплытию в Англию эскадра адмирала Кроуна. Куличкину понадобилось побывать на одном из кораблей эскадры, и он взял с собой своего юного квартиранта.

Затаив дыхание, наблюдал Федей за приготовлениями к выходу эскадры в море, слушал распоряжения офицеров, команду капитанов...

Едва Куличкин с Федей сошли на катер, как с адмиральского корабля прогремели пушечные залпы — сигнал к выходу эскадры в море.

— Ты не думай только, что это нам салютуют, — шутливо предупредил Куличкин, но Федей не слышал его: не сводя глаз, он следил за вытягивающимися в море кораблями. Они напоминали больших птиц, которые расправили белые крылья и вот-вот взмахнут ими и унесутся вдаль...

Один из эскадренных кораблей, «Саратов», не успев отойти от Свеаборга, наскочил на мель. Последствия этого были настолько серьезные, что судно вышло из строя, и начальство приказало разобрать его.

Подружившись с командой, которая выполняла это задание, Федя добился разрешения помогать ей и смог тщательно ознакомиться с устройством судна.

Когда к пострадавшему кораблю можно было подъезжать по гладкому, как стекло, льду на извозничьих санях, с «Саратова» снимали огромные мачты. Стоя на верхней палубе, Федя внимательно наблюдал эту операцию. Во время поднятия гротмачты переломилась стрела.

— Литке! — испуганно крикнул старший офицер. — Прочь отсюда!

Мальчик едва успел отскочить, как раздался грохот падающего дерева и стон раненого матроса. Его немедленно отправили на извозничьих санях в госпиталь. Федя пристроился на облучке рядом с извозчиком.

У Куличкиных Феде сказали, что Наталья Петровна присылала узнать, не вернулся ли он. Оказалось, грохот на «Саратове» был слышен в городе. Зная, что брат находится на этом корабле, Наталья Петровна очень беспокоилась. Увидя его невредимым, она обрадовалась, а Сульменев строго сказал:

— Довольно баклуши бить, Федор! Надо на службу поступать, а то ты вроде фонвизинского недоросля живешь, с тою лишь разницей, что Митрофан большею частью проводил время на голубятне, а ты — на сидящем на мели корабле.

— Федя уже не раз просил об определении на службу, — заступилась за брата Наталья Петровна. — Во флот хочет...

— Ни о какой иной службе и не мечтаю! — с жаром перебил сестру Федя.

— Мечтают только институтки, — строго проговорил Сульменев, — а моряки действуют. Надо действовать. Прежде всего подготовься к экзаменам. Держать их будешь осенью. Приведи в порядок свои знания. Без удостоверения о степени твоей подготовки никто тебя на флот не примет. Необразованный моряк все равно что судно без парусов...

— Я, Иван Саввич, в ваше отсутствие астрономию изучал. Теперь я в учении о сферических координатах уже изрядно разбираюсь.

— Ну, что ж, это похвально, — смягчился Сульменев. — В мореплавании светила над пустынями океана то же, что вехи на земных путях.

— По географии я тоже многое прошел. Желаете, по немой карте из Петербурга в Великий океан проплыву, называя моря, заливы и проливы? — предложил Федя.

— А какие он красивые пейзажи рисует, — похвалила брата Наталья Петровна, — и африканские и австралийские.

Федя с Сульменевым попутешествовал по немой карте в разных направлениях, и Иван Саввич, в общем, остался доволен успехами шурина в географии.

— Наука эта, братец ты мой, — евангелие мореплавателя. А как обстоит дело с математикой?

— Я ему тут одного штурмана за десять рублей ассигнациями принаняла было, да он ушел в море, — сказала Наталья Петровна.

— Мы с ним три отдела геометрии, плоскую тригонометрию и алгебру до уравнений второй степени прошли, — с гордостью сообщил Федя.

Однако проверка знаний по математике дала худшие результаты.

— Я тебе говорил, Федор, что математика — наука всех наук. Без основательного ее знания тебе никогда не постичь всей совокупности наук, входящих в состав великой науки морского дела. Вся астрономия построена на математике. С нею неразрывно связана физика, метеорология, химия, космография... На ней зиждется морская артиллерия. Без математических расчетов и чертежей дерево и металлы, из коих сооружаются всякого рода морские суда, останутся только грудой мертвых материалов.

— Я теперь займусь математикой со всем старанием, Иван Саввич. Вы мне только объясните...

— Сиди и слушай! — перебил Сульменев. — Кроме умения назвать моря и океаны, государства и города, ты должен знать, какие где горы и реки, какие где произрастают растения, какие водятся животные, какая почва, климат, а главное — какие где живут люди, какие у них нравы и обычаи, чем они промышляют, какому богу молятся, на каком языке говорят. Думал ли ты когда-нибудь, сколько языков должен знать образованный путешественник?

— Мосье Сен-Жюль находил, что я недурно изъясняюсь по-французски, — сказал Федя.

— Гм, — усмехнулся Сульменев, — этого очень мало. Моряк должен владеть многими языками. Мало ли к ка-

кому берегу пригонят ветры твое судно. Нужно и характер выработать. Моряк должен быть не только образованным, но и сильным, ловким, настойчивым, а главное — подготовленным к всевозможным неожиданностям, которые поминутно подстерегают его в море. Вот сейчас ты поеживаешься от непогоды, проникающей через плотно закрытые окна нашей комнатухи. А представь себе, что ты новичок-гардемарин, находишься в эти часы среди бушующего моря на корабле. Тебе приказано проверить крепление парусов. Кругом тьма, собственных рук не видно. Преодолевая неистовство стихии, ты взбираешься на плохо укрепленную на высоте ста футов горизонтальную мачту, которая заставляет тебя при боковой качке судна описывать в воздухе дугу от тридцати до сорока градусов со скоростью пятнадцать — двадцать футов в секунду.

— Ну, к чему ты пугаешь его, — упрекнула мужа Наталья Петровна, — посмотри, он, бедняжка, даже побледнел...

Но Сульменев, вспоминая, должно быть, собственные переживания, не мог остановиться:

— Внизу под тобой бешено хлещет огромный парус, и каждый его удар тебе кажется пушечным выстрелом... Наконец ты спустился с окоченевшими, исцарапанными до крови пальцами, совершенно изнеможенный от стужи... И только войдешь в каюту, чтобы согреться стаканом горячего чаю или чаркой вина, как вахтенный снова призывает...

— Полно, Ваня, — решительно произнесла Наталья Петровна, — давайте лучше поговорим о чем-либо другом. Прежде всего следует подыскать для братца хорошего учителя, который сумеет подготовить его к предстоящим экзаменам.

— В учителях при нынешнем положении в Свеаборге недостатка быть не может. Здесь и Штурманское училище, и Морской корпус. Да я уж и принянял одного, — неожиданно сообщил Сульменев, — он будет давать Федору уроки и математики, и грамматики, и истории. Сии науки преподает он в низших классах Штурманского училища. Живет, правда, далековато... Да что значит для будущего мореходца преодоление пустякового земного пространства — версты, скажем, четыре-пять — в сравнении с теми пространствами земного шара, которые ему предстоит преодолевать в будущем!

— У него и шинелишка холодная, — с сожалением поглядев на брата, заметила Наталья Петровна.

Шинелишка и в самом деле плохо защищала Федю от ветра, когда он в холодные осенние, а позже и зимние дни шагал с одного конца Свеаборга на другой.

Всё подмечающие уличные мальчишки, заметив поспевшее от холода лицо и съезжившуюся фигурку Феди, дразнили его:

— Эй, барчук, должно, шинеля твоя уксусом подбита, что рожка у тебя такая кислая...

Но Федя, привычно повторяя по дороге к учителю выученный урок, не слышал этих насмешек.

В доме контрольного советника Опочинина часто собиралась молодежь, главным образом моряки. Наталья Петровна иногда отпускала туда и Федю. Ему шел уже шестнадцатый год, и сестра учила его обхождению с дамами и девицами, показывая, как надо кланяться, приглашать на танцы, как подвинуть кресло, поднять оброненный веер или платок.

Когда командир крепости разрешил морским офицерам поставить «силами любителей» спектакль «Недоросль», знакомые девицы пригласили Федю принять в нем участие.

«Уж нет ли тут намекка какого», — с обидой подумал он, предполагая, что ему дадут роль Митрофанушки, — но Феде было предложено сыграть роль... Софьи.

— У вас такая стройная фигура, и глаза голубые, и голос еще не грубый, — щебетали барышни, уговаривая смущенного юношу. — Право же, вы будете отличной Софьей.

Когда к просьбам подруг присоединилась темноглазая хохотушка Изабелла Вестингаузен, казавшаяся пятнадцатилетнему Феде красавицей, он согласился играть женские роли и в «Недоросле» Фонвизина, и в глупейшей трагедии Грузинцова «Электра и Орест».

Среди усиленных занятий морскими науками, прерываемых веселыми развлечениями, проходила зима. Великим постом Сульменев уступил наконец просьбам жены и Феди: написал письмо министру военных и морских сил. Изложив вкратце биографию молодого своего родственника, Иван Саввич перечислил, каким наукам тот обучался, и, упомянув, что «отрок сей уже проделал одну кампанию в море», — так назвал Сульменев переезд Феди

из Кронштадта в Свеаборг, — просил определить «оного Федора Литке на службу во флот».

На этом прошении министр написал: «Проекзаменовать Федора Литке и определить на гребную флотилию волонтером в должность мичмана, до высочайшего утверждения его в этом чине».

Из уважения к Сульменеву все формальности с экзаменами его родственника были соблюдены только для видимости, и «все свершилось келейно, отчасти с шуточками и прибаутками», как вспоминал об этом Федор Петрович много времени спустя.

Итак, горячая мечта юноши сбылась: он получил назначение в гребную флотилию, в отряд, которым командовал Сульменев.

Наступил день отплытия.

— Прошлый раз я оставлял тебя на брата, а нынче на сына, — шутя сказал Сульменев жене. — Смотри, Петруха, за матерью, — погрозил он ребенку.

Тот, ухватив отцовский палец, потянул его в рот.

— Я надеюсь, что вы будете предостерегать друг друга от опасностей и напоминать друг другу обо мне... — грустно проговорила Наталья Петровна.

Галет «Аглая» был уже далеко от берега, а Наталья Петровна, прижимая сына к груди, все еще махала снятым с головы кисейным шарфом.

Призвав Федю к себе в каюту, Сульменев заговорил с необычной строгостью:

— Запомни хорошенько: здесь, на галете, я — командир двадцати одной лодки. Ты — гардемарин. Твое ближайшее начальство — командир «Аглаи». Он — недурной моряк, но человек дурной: развратник и пьяница. Держись от него подальше, но служебные поручения выполняй неукоснительно. Флаг-офицер Богданович — человек весьма приличный. Затем — штурман... — Коротко, но четко обрисовав весь экипаж галета, Сульменев прибавил: — Всею флотилией командует капитан-командор граф Гейден. Его флаг на шлюпе «Лизетта». Служи честно и отнюдь не рассчитывай на мое родственное покровительство. Смотри же не осрами меня и сам не осраись...

До Риги флотилия шла, держась неподалеку от живописных берегов. Еще во время пути флаг-офицер Богда-

нович обратил внимание на новичка-гардемарина. Юноша был необыкновенно старателен, трудолюбив и развит.

Много знавший, много видевший во время дальних плаваний, хорошо к тому же образованный, умелый рассказчик, Богданович с удовольствием беседовал с Федей, за что юноша платил ему горячей признательностью.

В Риге флотилия задержалась на два месяца, так как граф Гейден получил приказ дожидаться здесь дальнейших распоряжений.

Отправляясь на берег, Богданович брал с собою и Федю, к которому все больше и больше привязывался.

— С Ригой связаны замечательные страницы истории нашего отечества, — рассказывал он Феде. — Между прочим, Петр Великий после Полтавской победы двинул сюда полки, и Рига была взята нашими войсками...

— Ах, Лука Федорович, как удивительно, что мы с вами шагаем по тем самым улицам, по которым ходил сам Петр Великий, высокий, в ботфортах, с дубинкой в руках, в кафтане с развевающимися полами!..

Зайдя однажды к Богдановичу в каюту, чтобы пригласить его на очередную прогулку, Литке нашел его бледным и расстроенным.

— Что с вами, Лука Федорович?

— Так ты еще не знаешь, какое несчастье постигло Россию? Получены депеши о кончине Михаила Илларионовича Кутузова...

Федя схватился за сердце.

— Когда? Где?

— Скончался шестнадцатого сего апреля в Бунцлау, где стояла наша Главная квартира...

Слезы полились у Феде ручьем.

— Плачь, дружок, плачь, — печально продолжал Богданович. — Вся Россия оплакивает своего Кутузова. Судьба оказала ему великую честь освобождения отечества от Наполеона. Прискорбно, что он не дожил до освобождения от сего изверга и всей Европы. Наши войска уже заняли и продолжают очищать ее территорию от врага; хотя он еще огрызается и пытается поодиночке разбить наших союзников, но песенка его спета. Я слышал подробности о занятии Дрездена Давыдовым. Жители встречали русские войска не то что радушно, а с восторгом. Будем надеяться, что и нашу флотилию невольгит пошлют в дело.

— Дожить бы только до такой минуты! — горячо вырвалось у Феде.

Минута эта наступила в середине лета, когда прибыл приказ — для оказания поддержки сухопутным войскам идти к Данцигу, который был блокирован русскими судами под начальством адмирала Грейга.

К крепости флотилия подошла не сразу. Ей было приказано стать в бухте Путцигер-Вик и здесь подготовиться к предстоящей операции. В связи с этим Сульменев и Богданович большую часть времени проводили на берегу, принимая боеприпасы и другие военные грузы. Предоставленный самому себе, Федя в свободное от служебных обязанностей время запоем читал книги из походной библиотеки Богдановича.

Кроме нескольких трудов по астрономии и географии, в этой библиотечке были сочинения Вольтера, Руссо, стихи Державина и Батюшкова. Некоторые из них Федя пробовал переводить на французский язык.

На одной странице томика державинских стихов были подчеркнуты слова: «шекснинска стерлядь золотая, каймак и борщ... сластей и ананасов горы... и алиатико с шампанским, и пиво русское с британским, и мозель с зельтерской водой», — а на полях против этих строк рукою Богдановича написано: «Как же сочетать в Державине обжору с автором полной философической премудрости оды «Бог»?»

И Федя глубоко задумывался над сложностью человеческой природы, над непонятными сочетаниями самых противоположных черт в характерах людей, которых он знал, или тех, о которых прочел в книгах.

Все это было непонятно и бесконечно интересно начинающему вдумываться в жизненные явления юноше. На непрестанно возникавшие перед ним вопросы он искал ответа в книгах и у людей.

Но книг на «Аглае» было мало, а люди, теперь его окружавшие, были заняты большими и серьезными делами: в конце августа гребную флотилию потребовали к самому Данцигу.

Об операциях под Данцигом Федор Петрович Литке вспоминает в своей автобиографии: «Двадцать второго августа велено было бомбардирским судам бомбардировать крепость. Они подошли к берегу, насколько позволяла глубина, бросили несколько бомб в Вейксельмюнде и ото-

шли. Двадцать третьего августа сухопутные войска атаковали форштадт Лангфур, лежащий близ берега, а флотилии, вероятно для диверсии, велено было атаковать батареи Вестер-Платте. Затем нас отправили обратно в Путцигер-Вик, но не надолго. Скоро нас потребовали снова к Данцигу. Приготовлен был десант. Командирам лодок даны были указания о порядке высадки и пр. Четвертого сентября произошло дело, оно продолжалось целый день до вечера, отряды сменялись перед Вестерплаттскими батареями, на самом близком пушечном выстреле. Бомбардирские суда бросали бомбы, палили... Моя роль в этих делах состояла в разъезде на катере между лодками и в передаче приказаний отрядного начальника. Большой трусости я не чувствовал, да, сказать правду, и опасности большой не было. Ядра перелетали через головы или рикошетировали вблизи».

В описываемой баталии, когда Литке под ядрами разъезжал на катере между ведущими бой судами, поблизости от него взлетела на воздух лодка. «Командир ее уцелел только по случаю,— вспоминал позже Федор Петрович, словно забыв уже о словах: «да, сказать правду, и опасности большой не было»,— у командира лодки была такая потеря в людях, что он поехал к отрядному командиру просить позволения выйти из линии; но не успел он доехать до отрядного командира, как его лодку взорвало. Уцелел только он да четыре гребца. Вообще потери наши составили убитыми и ранеными до четырехсот человек».

Когда флотилия отошла на зимовку в Кенигсберг, многие из участников осады Данцига получили награды. Гардемарин Федор Литке был произведен в мичманы и награжден военным орденом св. Анны 4-й степени.

— Как бы порадовалась Наташа, увидев тебя в этом мундире с орденами,— проговорил Сульменев, когда новопеченный мичман предстал перед ним во всей красе парадной своей формы.— Бедная наша Наташа,— дрогнувшим голосом проговорил он после долгого молчания,— ведь Петенька наш... умер...

Через несколько дней, когда Федя, сидя по обыкновению с книгой, дожидаясь возвращения зятя, нарочный привез пакет из банковской конторы города Кенигсберга. Вскоре пришел и Сульменев. Он торопливо сломал сургучные печати, разорвал конверт, быстро пробежал письмо.

— Извольте готовиться в путь, мичман, завтра выезжаем в Петербург! — воскликнул он радостно.

Федя даже привскочил на месте:

— Не может быть! Вы, наверно, шутите, Иван Савич?

Но Сульменев неожиданно обхватил его своими сильными руками и, подняв, как ребенка, закружил в воздухе:

— Назначение высшего начальства, Феденька! Поведем три миллиона русских ассигнаций в Петербург. Приказывают взять конвой из моряков и одного-двух мичманов. Мне достаточно тебя одного.

— Какие ассигнации? Для чего? — недоумевал Федя.

Сульменев объяснил, что ходившие тогда по Германии русские деньги обменивались повсеместно в банковских конторах, а затем транспортировались в Россию. Одну из таких партий поручили сопровождать Сульменеву. Само собою разумеется, что это поручение как нельзя больше соответствовало его желанию повидаться с женой.

Фургоны, в которых ехали Сульменев и его спутники, тащились по приморским глышам и валунам, часто уходя колесами в воду. Усталые лошади то плелись, едва передвигая ноги, то, нахлестанные раздраженными почтарами, бросались в галоп — и тогда пассажиры, подпрыгивая на своих сиденьях, ударялись головой о железные перекрытия фургона, прикусывали язык и немилосердно толкали друг друга... Возницы ругались по-русски, по-немецки и по-польски, проклиная свою судьбу, лошадей, начальство и пассажиров... На третий день появились покрытые снегом поля. На первой же станции решили пересесть в сани.

Забыв о своем мичманском достоинстве, Федя упросил бородатого возчика разрешить ему править каурой кобылкой, которая на бегу весело потряхивала гривой.

— Ну ты, разлюбезная! — подбадривал ее Федя когда-то слышанным понуканьем.

Приободрились и моряки-конвойные, которые тоже пересели в широкие сани. Скоро Сульменев услышал, как они стройно запели любимую им песню: «Не белы снега выпадали...» Прислушиваясь, Федя сначала тихо, а потом все громче и громче стал им подтягивать. А еще через короткое время к молодым голосам присоединился и густой бас Сульменева...

Проехав верст десять на облучке, Федя сел рядом с Сульменевым, подгреб под бок побольше соломы и, прислонив голову к плечу Ивана Саввича, заснул таким крепким сном, каким может спать только шестнадцатилетний юноша на морозе, после долгого утомительного пути.

В Петербурге, не дожидаясь, пока зять передаст привезенные деньги в Петропавловскую крепость, где находился Монетный двор, Федя нанял извозчика в Галерную гавань. Здесь, по возвращении из Свеаборга, жила на старой квартире Наталья Петровна.

Она встретила брата, держа на руках пятимесячную дочь.

— Я назвала девочку Надежда, — говорила Наталья Петровна, — я мечтала, что она возвратит мне счастье жить вместе с вами. И вот моя надежда сбылась...

Наступающий Новый, 1814-й год встретили в тесном семейном кругу. После долгих месяцев походной жизни, и в особенности после тяжелого пути из Кенигсберга в Петербург, домашний уют был невыразимо приятен.

В начале января через свою двоюродную сестру, Аннет Фурман, которая жила воспитанницей в семье Олениных, Литке попал к ним в дом. Здесь бывало наиболее образованное общество тогдашнего Петербурга.

Алексей Николаевич Оленин был в то время президентом Академии художеств и директором императорской Публичной библиотеки. Его жена — дочь основателя придворной капеллы певчих — унаследовала от отца страсть к музыке и пению.

У Олениных постоянно собирались артисты, художники, музыканты и литераторы: Крылов, Гнедич, Батюшков, Жуковский, а позже — Пушкин, Дельвиг, Вяземский, Плетнев и многие другие.

Один из современников Оленина так описывает его дом: «Подобного дома трудно было бы тогда сыскать в Петербурге... Нигде нельзя было встретить столько свободы, удовольствия и пристойности вместе, такой взаимной нежности, такого доброго согласия, столь образованной приветливости. Всего примечательнее было искусное сочетание всех приятностей европейской жизни с обычаями русской старины. Гувернантки и наставники, французы, англичанки и дальние родственницы, проживающие барышни-воспитанницы, несколько подчиненных, обратившихся в домочадцев, наполняли дом сей, как Ноев ковчег,

составляя в нем разнородное, но согласное общество, и давали ему вид трогательной патриархальности. Я уверен, что Крылов более всех умел окрасить его в русский цвет. Заметно было, как приятно было умному и уже пожилому холостяку давать себя откармливать и баловать. Посещаемый знатно и лучшим обществом петербургский дом сей был уважаем и мог почитаться образцовым».

Федор Петрович сравнивал себя с теми светскими юношами, которых встречал в оленинской гостиной, и находил, что собственная его застенчивость и неуверенность делали его смешным и неинтересным в глазах хозяев и гостей.

Наталья Петровна догадывалась о переживаниях брата.

— Все это оттого, что и мачеха и дядя постоянно внушали тебе, да и всем нам, чтобы мы не лезли гостям на глаза, — говорила она, — а ведь у тебя, Феденька, решительно не должно быть никаких оснований к робости. Погляди на себя в зеркало — какой ты стал молодец! И манеры у тебе вовсе не моветонные, и разговор приятный.

На вечерах у Олениных Федор Петрович познакомился с Батюшковым, поэзией которого так увлекался во время стоянки флота под Данцигом; здесь он слушал Гнедича, когда тот читал свой перевод «Иллиады»; здесь он увидел кудрявого, смуглого юношу в лицейском мундире, которого привел Василий Андреевич Жуковский. Юноша этот был Пушкин — он говорил по-французски, как настоящий француз, был порывист, резв, танцуя, смешил свою даму и сам заливался заразительным смехом. В доме Олениных Федор Петрович пожал руку тому самому Озерову, чьей пьесе «Дмитрий Донской» так горячо аплодировали в театре.

Однажды за ужином, когда подали огромного осетра, актер Каратыгин, сидевший напротив Крылова, сказал: — А я видел еще большего, величиной от меня до Ивана Андреевича.

Крылов встал с места и отодвинулся в сторону.

— А вдруг хвостом меня заденет ваша рыбища, — лукаво подмигнул он Каратыгину и, встретив восхищенный взгляд Феде, улыбнулся ему, как старому знакомому.

Аннет скоро посвятила кузена в «тайну», о которой знала вся молодежь, танцевавшая в оленинской гостиной:

поэт Гнедич сделал ей предложение, и Оленина, ее благодетельница, «велит идти за него», хоть «кривой поэт» не был мил девушке...

Федя очень жалел свою хорошенькую кузину. Жалел ее и поэт Батюшков, жалел до такой степени, что сам предложил ей руку и сердце... Тогда, по совету кузена, Аннет бросилась в ноги своей благодетельнице и объявила, что решительно не может выйти за Гнедича.

Но Батюшков, болезненный и нервный, показался Олениным совсем не подходящим женихом. Они написали в Дерпт отцу девушки, а тот, не долго думая, потребовал дочь к себе.

Вопреки желанию Натальи Петровны, Федя отправился к Энгелю просить его вступить за Аннет. Энгель принял его сдержанно: не поздравил с успехом по службе, но и не упрекал, как раньше, в непочтительности и неблагодарности. Он даже подарил молодому моряку «Элементарный курс морской тактики». Подарок пришелся племяннику по душе. А когда Энгель велел передать Аннет, чтобы она больше не считала себя бесприданницей, так как он выдает ей вексель на свой дом, Федор Петрович был совсем растроган.

Аннет все же покорилась отцовской воле и уехала в Дерпт воспитывать маленьких братьев и сестер, родившихся от второго брака отца.

Судьба ее была очень тяжела. Когда она умерла, Федор Петрович записал в своем дневнике: «Потеря жестокая для всех, ее знавших. В моей жизни оставляет она новую, ничем не заменимую пустоту... Необыкновенный ум, твердый и благородный характер, теплое сердце, любезность и веселость — этими качествами привлекала она к себе любовь и уважение и распространяла вокруг себя гармонию и счастье, невзирая на то, что жизнь ее совсем не была усеяна розами».

Глава V

По окончании войны Сульменев должен был отправиться в Кенигсберг, где стояла гребная флотилия, — ее было приказано отвести в Свеаборг. Федор Петрович поехал вместе с Иваном Саввичем. Лодки быстро шли под огромными латинскими парусами, и через два дня после

выхода из Кенигсберга флотилия уже бросила якорь в Свеаборге.

Военная молодежь города находилась в приподнятом, «победном» настроении. В доме адмирала Бодиско устраивались любительские спектакли, танцевальные вечера. Адмирал почти по-родственному отнесся к молодому Литке, с отцом которого некогда состоял в тесной дружбе.

Федор Петрович чувствовал искреннюю к себе симпатию всей адмиральской семьи, и в дружественной атмосфере его застенчивость как будто растворялась.

Среди девиц, постоянно посещавших вечера в доме адмирала, бывала черноглазая дочь капитан-лейтенанта Вестингаузена — Изабелла. Она давно нравилась Федору Петровичу.

Чувство это, глубоко таимое, теперь так изрядно захватило его, что он даже загрустил, когда пришлось покинуть Свеаборг.

Ивану Саввичу поручили отвезти в Петербург казенное золото и серебро. Федор Петрович должен был сопровождать его. С грустью расстался Литке с милой сердцу девушкой. Впрочем, переезд в Петербург, встреча с любимой сестрой, с родными, друзьями и развлечения столичной жизни быстро отвлекли юношу от воспоминаний об Изабелле.

Петербургская зима прошла интересно. Младшие Панкратьевы вернулись с войны: Владимир — капитаном гвардейской артиллерии, Теофил — гвардейским егерем. Товарищи детства мечтали о дальнейшем служении родине, ходили в театры, танцевали на балах.

Федор Петрович не переставал заниматься морским делом и теоретически и практически. Он наблюдал небесные светила с учителем Морского корпуса, пользуясь с его разрешения приборами физического кабинета.

В начале 1815 года отпуск кончился. Мичману Литке следовало возвратиться к месту службы в Свеаборг. Впервые он уезжал один, и Наталья Петровна очень беспокоилась о его дальнейшей судьбе. Однако старые знакомые — Опочинины и Вестингаузен, в особенности Изабелла — тепло встретили Литке, а адмирал Бодиско оставил его при себе для особых поручений.

Когда открылась навигация, капитан-лейтенант Вестингаузен взял мичмана под свою команду на галет «Аглая», уже знакомый Федору Петровичу по прошлому

году, когда он в должности гардемарина начинал свою службу во флоте.

«Аглая» занимала брандвахтенный пост на малом западном фарватере к Гельсингфорсу. Почти полгода оставаясь на этом галете, Литке не переставал и здесь с увлечением заниматься теорией и практикой морского дела. «Навигация» Гамалея была ему в этом большим подспорьем. Что касается самой службы, в узком смысле этого понятия, то Федор Петрович характеризует ее так:

«Если бы цель была показать молодым офицерам, как служба не должна отправляться, то нельзя бы ничего лучшего придумать. Мичманы на вахте спали, чему вахтенные лейтенанты подавали пример. Я был на вахте у лейтенанта Панкрата Глазатова. Раз ночью он мне говорит: «Ну, мичман, паруса и снасти в твоей власти», — а сам завалился на рундук и заснул. Скоро ветер зашел, и я вышел из ветра и не знал порядочно, как распорядиться. Разбуженный шумом, Панкрат первым делом счел ругаться».

Командир «Аглаи» тоже подавал пример такой «службы»:

«Капитан наш каждый вечер имел свою партию бостона, — вспоминал Литке, — а к ночи раздевался совершенно и ложился на койку. Тогда являлся к нему сказочник из матросов, который, присев на корточки у койки, говорил ему сказки, пока капитан не засыпал. Какова школа для молодых офицеров!»

Неожиданно плавание Федора Петровича чуть не прервалось. В марте все русское общество было взволновано известием о высадке Наполеона, бежавшего с острова Эльба. Его победоносное овладение Парижем, из которого едва успел бежать Людовик XVIII, прекратило разногласия среди держав, объединившихся на Венском конгрессе. Создалась новая коалиция европейских государств против Наполеона, объявленного «узурпатором» и «врагом человеческого рода».

Россия в числе других стран двинула во Францию свои войска.

Молодежь снова рвалась на поля сражений. Стал добиваться разрешения участвовать в походе и Федор Петрович. Но и на этот раз его постигла «неудача»: пока рассматривалась его просьба, Наполеон был разбит под Ватерлоо и «сто дней» вторичного его владычества над

Францией оказались последними днями его политического существования.

Через месяц после этой битвы, при попытке бежать в Америку, Наполеон был отправлен англичанами на остров Святой Елены, где он, как известно, и умер спустя шесть лет.

Так и не удалось осуществить Федору Петровичу свое пламенное желание «сделаться истребителем зарвавшегося корсиканца». Пришлось продолжать службу на «Аглае», стараясь все время совершенствоваться в теории и практике морского дела.

Возвратившись из плавания в Свеаборг, Федор Петрович получил письмо от Сульменева. Описывая, как радостно отозвалась в сердцах русских людей весть об окончательном пленении Наполеона, Иван Саввич не мог не подтрунить над шурином: «А тебе, ваша милость, не пришлось и ста дней повоевать. Не пришлось тебе и отпустить усы, и на коня сесть. Бонапарт разбит навеки, и война окончательно завершена».

В эти дни скоропостижно скончался адмирал Бодиско.

«На меня этот случай произвел впечатление потрясающее, такое, какое могла бы произвести кончина отца моего, если б в то время я не был еще ребенком,— вспоминает Федор Петрович,— живые чувства юноши не испытывали доселе такого удара и были поражены тем сильнее. Печаль моя была непритворна, и я не скрывал ее».

Назначенный на место умершего Бодиско новый адмирал — Гейден, тот самый, который командовал гребной флотилией, участвовавшей в осаде Данцига, хорошо знал мичмана Литке — и разрешил ему длительный отпуск в Петербург для свидания с родными.

В доме сестры, матери уже двух девочек, Федора Петровича встретили с обычным радушием.

Иван Саввич после окончания военных действий был назначен помощником директора Морского корпуса, и на отведенной ему казенной квартире по-прежнему встречались друзья-моряки.

Патриотические чувства, разлившиеся по стране, как река в половодье, казалось, никогда не войдут в берега.

Петербург, как и вся Россия, жил в это время особенной жизнью, о которой так прекрасно живописует А. С. Пушкин в своей «Метели»:

«...Война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни... Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове «отечество»! Как сладки были слезы свидания!..»

Однако пронесшаяся военная гроза давала себя знать: еще не высохли безутешные материнские слезы, еще ходили по городам в трауре вдовы и дочери; еще служились по церквам панихиды «по убиенным на поле брани»; еще шли по дорогам к столицам обездоленные погорельцы и старики с нищенской сумой... Еще щедро подавали «ради Христа» в протянутые руки сирот...

В институтах благородных девиц воспитанниц уже не штрафовали за то, что они говорили не по-французски, а по-русски. Французские романы уступили место русским. Из опустевшего Французского театра публика перешла в Малый русский, где зрителей чаровали Яковлев, Самойлов, Брянский, Колосова и сестры Семеновы. Эти сестры, по признанию публики, перещеголяли французских актрис Жорж и Филис изяществом и благородством своей игры.

Маленькая Сульменева получила в подарок от дяди Феди кубики, из которых составлялись картинки с карикатурами на «Наполеона Бонапартия — корсиканского кровопийцу». Например, на кубике с буквой «з» был изображен Наполеон с заячьей головой, ведущий на помочах своего сына, а под картинкой стихи:

Гуляй, мой милый сын,
Будь истый корсиканец!
Будь зол, как черт,
Будь подл, как я,
И трус, как заяц.

А отец принес девочке куклу Василису — румяную, в деревенском сарафане, которая «одна дюжину бонапартиевых шаромыжников выловила из лесу».

В честь победы, одержанной над Наполеоном, устраивались пышные празднества и народные гулянья.

На одно из таких празднеств отправились в Петергоф Сульменевы с молодой компанией, в которой был, конечно, Федор Петрович.

Финский залив сиял огнями. Разноцветные фонарики целыми гирляндами украшали многочисленные лодки и корабли. В прозрачном сумраке белой ночи бело-голубое небо сливалось с таким же бело-голубым морем; по иллиuminованному площадкам парка двигались толпы нарядных людей. Оркестры не переставали играть победные марши, вальсы и полонезы.

У фонтана «Самсона» компания остановилась, любуясь радугой переливающихся струй.

К Сульmeneву подошел офицер в морской форме и молча положил руку ему на плечо.

— Какими судьбами?! — радостно приветствовал его Иван Саввич.

— Да теми же, что и ты, милый друг. Как же я рад тебя видеть! Да ты, говорят, больше не плаваешь.

— Будущих мореходцев воспитываю, — со вздохом ответил Сульменев. — А ты все в плаваниях?

— Иначе не умею, — тряхнул офицер длинными кудрями, в которых поблескивали серебряные нити, — на той неделе отправляюсь на «Кутузове» в дальний вояж. Я ведь и поныне в Северо-Американской компании служу...

Сульменев представил старого друга жене и остальному обществу. Пока тот беседовал с дамами, Литке прошептал зятю на ухо:

— Иван Саввич, голубчик, попросите его взять меня с собою. Хочу наконец в настоящее плаванье...

— А что, разве скучно в адъютантах? — спросил Сульменев, и в голосе его было явное одобрение.

— Невмоготу, Иван Саввич...

— Подумаю, — пообещал Сульменев, — да только на мой взгляд не со службы в Северо-Американской компании надобно тебе начинать.

Дома разговор возобновился.

— Компания эта учреждена для промыслов на земле Северо-Западной Америки и во всей северо-восточной части Великого океана, а также и на островах, принадлежащих нашему отечеству по праву открытия: на Алеутских и Курильских... — рассказывал Иван Саввич. — Дело коммерческое, а еще больше колонизаторское. Оно, ко-

нечно, обширнейшее, да ведь у тебя-то склонность больше к наукам, к исследованиям, к трудам теоретическим. Коли просишь, могу потолковать о тебе, но смысла не нахожу.

Посоветовавшись, как всегда, когда дело касалось судьбы Федора Петровича, с женой, Иван Саввич, по всей вероятности, не очень-то хлопотал об устройстве мичмана в это путешествие.

— Подожди немного,— говорил он,— я имею для тебя в виду гораздо более интересное и полезное плавание. Потерпи уж маленько.

Время шло. Пришлось возвратиться в Свеаборг, где Федора Петровича ожидало новое назначение — адъютантом адмирала Гейдена. В доме этого образованнейшего для того времени адмирала Литке довольно скоро сделался своим человеком.

Гейден разрешил ему пользоваться своей библиотекой. С не меньшим увлечением, чем чтению, предавался Литке и практическим занятиям со штурманом Никифоровым, учителем младших адмиральных детей. Никифоров объяснял молодому адъютанту, как пользоваться разнообразными морскими приборами на практике; а практика эта была не за горами: Федор Петрович верил, что Иван Саввич непременно сдержит свое обещание, и готовился к предстоящему плаванью.

И Сульменев обещание сдержал.

Однажды во время беседы Литке с приятелем — лейтенантом Муравьевым, Федору Петровичу подали письмо. На конверте был сульменевский почерк.

«Я тебя запродам,— писал Иван Саввич.— В начале следующего года снаряжается экспедиция в Камчатку под начальством известного всем морякам, да небезызвестного и тебе, Василия Михайловича Головнина. По моей просьбе он обещал взять тебя с собою...»

Горячая радость охватила Федора Петровича. Он не стал даже читать дальше.

— Итак, сбылась моя заветная мечта! — в восторге проговорил он, еще раз прочтя товарищу эти знаменательные строки.

— Как я тебе завидую, Федор,— искренне признался Муравьев.— Попасть под командование Головнина — счастье для начинающего моряка! Василий Михайлович Головнин — искуснейший и опытнейший мореплаватель.

— Он и пишет прекрасно,— сказал Литке,— я зачитыв-

ваюсь недавно вышедшими записями о его приключениях в плену у японцев.

— А мне довелось присутствовать в одной компании, когда Василий Михайлович вспоминал об этом. Какой он рассказчик — заслушаться можно! — восхищался Муравьев. — Будь другом, Федя, попроси зятя замолвить словечко и за меня. То-то будет славно, когда мы вместе с тобою очутимся на корабле!

Письмо к Сульменеву было написано, и вскоре от него пришло известие, что Головин зачислил в свой экипаж и Муравьева.

Предстоящее плавание побудило Федора Петровича вновь перечитать сочинения Крузенштерна, Лисянского, Сарычева, Кука и других кругосветных путешественников. Он делал выписки из этих книг, перерисовывал приложенные к ним карты.

Сульменев сообщил, что на «Камчатку» — так называлось судно, отправляющееся в экспедицию, — Головин взял и штурмана Никифорова, который плавал с ним на «Диане».

Прощаясь со своими офицерами, уходившими в плавание с Головинным, адмирал Гейден произнес напутственную речь, заключавшую в себе целый «кодекс нравственных правил», необходимых, по его убеждению, для каждого моряка.

— Превыше всех чувств, молодые люди, ставьте чувство дружбы, — поучал адмирал. — Но будьте осмотрительны в выборе друга, ибо дурной друг способен принести вам куда больше вреда, нежели дурной враг. А имея настоящего и достойного друга, можно не опасаться целой фаланги врагов.

Напутствие оказалось пророческим: в этом плавании Литке на всю жизнь обрел себе друга. Это был Федор Петрович Врангель, второй мичман на «Камчатке», впоследствии знаменитый мореплаватель и ученый.

Об их полувековой дружбе биограф Литке — академик Безобразов — пишет:

«Дружба барона Врангеля с графом Литке, неизменно продолжавшаяся с их первой молодости до глубокой старости, заключала в себе много трогательного. Она доказывает, между прочим, теплую сердечность их обоих, несмотря на то, что оба они жили преимущественно умственной жизнью. Непрерывным, взаимным обменом мыс-

дей они, при различии своих характеров, друг друга пополняли, друг друга воспитывали и друг другу духовно помогали и взаимно нравственно поддерживали в своей деятельности».

Глава VI

Приехав в Петербург, Литке, прежде чем отправиться на «Камчатку», приобрел, в числе необходимых для дальнего плавания вещей, объемистую тетрадь для ведения ежедневных записей и альбом, в который он собирался зарисовывать виды и пейзажи. Купил он и ящичек акварельных красок. На обложке тетради Федор Петрович размашисто написал: «Мысли, воспоминания и впечатления».

Едва «Камчатка» покинула кронштадтский порт, как Федор Петрович раскрыл альбом и стал набрасывать эскиз соседнего с портом маяка на фоне осеннего солнечного дня. Но вдруг маяк начал шататься, как будто невидимая сила раскачивала его из стороны в сторону. Голова у художника отяжелела, руки странно задрожали...

— Ого, братец, да ты совсем зеленый, — раздался рядом голос Муравьева, — ну, ничего — привыкнешь...

Литке отошел на правый борт шканцев, но Муравьев предупредил его, что правая сторона предназначена для командира судна и вахтенного офицера. Федор Петрович перешел на левую сторону.

— Вы, господин мичман, кажется, не видите, что здесь «линия лога», — строго заметил ему штурман.

Морская болезнь давала себя знать, и Литке, поспешно направляясь к борту, не заметил скрученного спиралью каната, споткнулся и упал на пушечный лафет.

— Ты что пачкаешь пушку! — крикнул ему злобно второй лейтенант, Филатов. — Не успели от берега отойти, а ты уже онучи сушишь, — грубо пошутил он.

Этот Филатов, по словам Литке, был «пренегодный человек и посредственный офицер». На «Камчатку» он попал только потому, что плавал на «Диане», а к диановцам Головнин всегда относился благосклонно. Впоследствии Филатову пришлось навсегда оставить службу во флоте. Будучи командиром «Аякса», он посадил его на мель у берегов Голландии и, бросив на произвол судьбы, объявил погибшим. К великому конфузу горе-командира, голландские рыбаки спустя некоторое время сняли «Аякс» с ме-

ли и привели в ближайший порт. Комиссия, принимавшая корабль, обнаружила исчезновение судовой кассы.

Чувствовал себя Литке в первые дни плавания так, что ему было вовсе не до пейзажей, а в журнале «мыслей, воспоминаний и впечатлений» кроме первой строки: «В погожий день конца августа 1817 года мы снялись с якоря», — довольно долго ничего не появлялось.

В Портсмуте «Камчатка» запаслась свежей провизией, водой, канатами и кое-какими инструментами. Команде было разрешено сойти на берег.

Ощущение тверди под ногами для Литке, измученного приступами морской болезни, было, по его словам, самым приятным впечатлением от этого города.

Из гардемарин, бывших на «Камчатке», Литке сблизился еще с недавно окончившим Царкосельский лицей Федором Матюшкиным и с братьями Лутковскими.

Перед самым отплытием на Камчатку Головин обрuchился с сестрою Лутковских, но к ним он тем не менее был так же строг и взыскателен, как и к остальным членам экипажа.

Матюшкин много рассказывал о лицейской жизни, в особенности о Пушкине, которого любил больше всех лицейских товарищей.

— Вы увидите, Александр Пушкин превзойдет своим талантом и Державина, и Батюшкова, и Жуковского, — восторженно говорил он. — Пушкин создаст российской поэзии небывалую славу!

Стихи Пушкина он, кажется, знал наизусть все и цитировал их по всякому подходящему и неподходящему поводу.

Когда садились за стол, Матюшкин любил декламировать «Пирующих студентов»:

Друзья, досужий час настал,
Все тихо, все в покое.
Скорее скатерть и бокал!
Сюда, вино златое!

Вместо «златого вина» мичманам и гардемаринам подавался к столу обыкновенный русский квас, но это несколько не смущало Матюшкина и, поднимая стакан, он провозглашал:

Пейте за радость
Юной любви —
Скроется младость,
Дети мои...

Выполняя обещание, данное Пушкину, он старательно записывал в свой дневник все, что могло бы в дальнейшем послужить предметом для пушкинской музыки.

Постепенно заполнялась и тетрадь «мыслей и наблюдений» Литке. После отплытия из Портсмута он записал:

«Капитан меня невзлюбил, главным образом, по собственной моей вине, но отчасти и вследствие разных случайностей, для меня неблагоприятных. Излишняя живость характера, необдуманность, избалованность прежними начальниками, в первое время незнание порядка службы (где мне было этому научиться?) — все это должно было в глазах капитана давать мне вид какого-то шалопая».

По молодости лет Литке не мог понять истинного отношения к себе Головнина. Он видел только его холодность и строгую требовательность. А между тем именно к нему особенно внимательно и сочувственно относился Василий Михайлович. От Сульменева он знал биографию Литке — его тяжелое детство, сиротство и безрадостное отрочество, которые напоминали Головнину его собственные детство и юность: он тоже рано осиротел, рано был определен в Морской корпус, где воспитание новичков мало чем отличалось от мейеровского, рано узнал горечь одиночества, так же пристрастился к книгам и так же мечтал сделаться отважным исследователем неизвестных стран и морей.

Суровая школа жизни научила Головнина быть сдержанным, замкнутым, таить свои чувства. Где же было юному Литке разгадать сложный и сильный характер знаменитого мореплавателя!

— Не принимай так близко к сердцу замечаний капитана, — успокаивал Врангель друга. — Зря ты выдумываешь, что он к тебе излишне требователен. Василий Михайлович очень справедлив. Делай свое дело старательно, и вот увидишь, он тебя оценит, как ты того заслуживаешь...

Разрешая мичманам пользоваться своей библиотекой, Головнин предупредил:

— Бóльшая часть книг — английские. Кто этого языка не знает, тому нечего делать в моей библиотеке. Вы, например, — обратился он к Литке, — как мне известно от достопочтенного Ивана Саввича, обучались в пансионе господина Мейера. А немец сей, наверно, никако-

го другого языка, кроме своего, не признавал. Не правда ли?

— В некоторой степени так, господин капитан. Однако ж я постараюсь непременно восполнить этот пробел...

— Ну, что ж, извольте постараться, — сказал Головин, — а через некоторое время я полюбопытствую узнать о ваших успехах.

Английский язык сначала показался Федору Петровичу очень трудным. Грамматику пришлось изучать заново, синтаксис — тоже. Но основная беда была в скудном запасе слов, которым располагал Литке.

— Давай вместе читать Ванкувера, — предложил Врангель. — Его «Voyage of discovery to the North Pacific Ocean and round the World»¹ — очень интересное и полезное для нас чтение. Именно таким способом тыполнишь запас слов, которые пригодятся тебе как мореплавателю и исследователю. Я уже осилил часть этого труда — описание побережья Америки от Калифорнии до Аляски. Между прочим, Ванкувер побывал и в русских владениях на американском материке.

С Ванкувером дело шло вначале очень туго, но постепенно, с помощью словаря и Врангеля, который отлично знал язык, страницы переворачивались не так уже медленно. Заключительные же главы Литке прочел бегом и без словаря.

Спустя несколько месяцев Головин, застав Литке в библиотеке за английской книгой, спросил:

— Словариком пользуетесь, господин мичман?

Литке, вытянувшись во фронт, ответил по-английски:

— Разрешите изложить содержание книги?

Головин удивленно поднял бровь:

— А ну-ка...

Мичман сначала неуверенно, а потом все живей и живей по-английски рассказал содержание лежавшего перед ним «Сборника с описанием кораблекрушений английских кораблей за вторую половину восемнадцатого века».

— Отлично, господин мичман, — похвалил Головин, тоже по-английски, и взгляд его серых глаз потеплел.

Старший лейтенант Муравьев, подражая капитану, старался быть требовательным к подчиненным.

¹ «Путешествие по исследованию северной части Тихого океана и вокруг света». Ванкувер, участник плаваний Кука, описывал места, куда держала путь «Камчатка».

— Увы, мой друг, — сказал он как-то Литке, заметив неисправность в судовом журнале, — здесь, на борту «Камчатки», вы — старший мичман, а я — старший лейтенант. Я вынужден сделать вам замечание, а вы обязаны исправить свою ошибку, не вступая со мною в пререкания.

— Да я и не вступаю...

— А как прикажете понять эту вашу реплику?

Федор Петрович только пожал плечами.

— И это движение также недопустимо, — резко проговорил Муравьев.

А через несколько дней Литке не без некоторого удовлетворения слушал, как Головнин «распекал» самого Муравьева.

— Да что вы, батенька мой, все время с клотиком носитесь! Извольте запомнить, что судить о нас будут не по блочкам и прочим пустякам, а по тому, что мы с вами сделаем хорошего или дурного на том конце света, куда мы сейчас направляемся.

В другой раз, на рассвете, Головнин приказал позвать к себе Муравьева. Тот долго не показывался. Тогда Головнин сам отправился в офицерскую кают-компанию. Увидев Муравьева еще не одетым, он с насмешкой спросил:

— Да, никак, вы, батенька мой, халат носите? А почему бы в таком разе и ночной колпак не напялить? Да вы, сударь, где находитесь? На море или, быть может, в деревне пребывать изволите? Вы, думается мне, на корабле, а не в опочивальне...

Сам Василий Михайлович, находясь в море, спал сидя в кресле. На люди выходил всегда в наглухо застегнутом мундире, выбритый, подтянутый, но без всякого щегольства.

Щегольства ни в одежде экипажа, ни в убранстве судна он не любил.

— Палуба — не танцевальный паркет, — говорил он, — и навоживать ее до блеска не к чему. Пусть люди лучше тратят драгоценное время на изучение своего корабля. Надо, чтобы рулевой в любой момент умел заменить марсового, а марсовый — рулевого... Надо, чтобы команда знала, какие страны мы посещаем, что за народы в них проживают и до каких пределов простираются владения

нашего отечества. А то для многих из них что Аляска, что Алешки — все едино...

— Вот вы, Литке, я слышал, одолели сочинение Ванкувера о его совместных путешествиях с Куком. Что бы вам рассказать команде о странах, которые они посещали, вычертить курс их плавания, рассказать об успехах и ошибках. Ведь были ошибки, а? — неожиданно спросил Василий Михайлович.

— Так точно, — ответил Литке. — Кук имел неосторожность стрелять в дикарей на одном из Новогебридских островов и тем внушил туземцам превратное представление о белых людях.

— Так вот, расскажите обо всем этом матросам.

С этого времени Федор Петрович стал знакомить матросов с содержанием прочитанных книг и даже задавал им выучивать записанные Куком слова различных диких племен.

Такие пересказы прочитанного оживляли однообразные занятия команды и очень нравились матросам. В благодарность они во время вахты обучали молодых мичманов ловко взбираться на мачты, крепить и снимать паруса, исправлять сломанную стеньгу...

От Портсмута до Рио-де-Жанейро «Камчатка» шла с попутными ветрами и, даже попав в пояс безветрия, не испытала внезапно возникающих здесь шквалов и изнуряющей жары.

Только одно событие нарушило это безмятежное плавание.

В бело-розовой дымке утреннего тумана, сквозь которую уже обрисовывались прибрежные леса Бразилии, было замечено судно, шедшее под всеми парусами на сближение с «Камчаткой».

— На мое мнение, Василий Михайлович, это судно пиратское, — сказал стоящий на вахте Матюшкин, подавая Головнину подзорную трубу.

— На чем основано ваше мнение, гардемарин? — спокойно спросил Головнин, пристально всматриваясь в судно.

— Известно, что не вся эскадра Наполеона сдалась победителям. Остатки ее корсарствуют во многих частях Атлантики. А здесь, у берегов богатой Бразилии с ее алмазами и прочими богатствами...

— У вас весьма романтическое воображение, господин Матюшкин, — обронил Головнин. — Однако ж прикажите приготовиться к бою и поднять флаг.

Через несколько минут русский военно-морской флаг, поднятый на кормовом флагштоке, заплескался в легких порывах ветра. С пушечных жерл были сняты чехлы. Артиллеристы придвинули ящики со снарядами. Все сто тридцать человек экипажа «Камчатки» с волнением ждали приближения неизвестного судна.

Матюшкин незаметно горячо пожал руки Лутковским, Врангелю, Литке и, верный своей привычке, продекламировал с чувством:

Прости навек, очарованье,
Отрада жизни и любви!
Приблизьтесь, о друзья мои:
Благоговенье и вниманье!

Головнин отдал приказ идти на сближение с «противником». В это время на неизвестном корабле подняли английский флаг.

Прошло не более четверти часа, как с обоих близко подошедших один к другому кораблей раздались веселые приветствия:

— How do you do, mister Golovnin!¹

— How are you, old fellow!² — отвечал Головнин, узнав в капитане «пиратского» корабля Гикей, с которым сдружился во время пребывания в Англии.

Головнин пригласил капитана на свой корабль. Во время завтрака выяснилось, что англичане тоже приняли «Камчатку» за пиратское судно. Вдоволь насмеявшись, Гикей попрощался со всем экипажем и, очень довольный встречей, предложил Головнину бразильского сахара, которым был заполнен трюм английского судна.

— У меня есть наш, русский, — отказался Василий Михайлович и подарил гостю «на пробу» с полпуда прекрасного свекловичного сахара. Отведав его тут же на палубе, Гикей пришел в восторг и попросил еще.

После ответного визита Головнина на английский корабль «Камчатка» продолжала путь к Рио-де-Жанейро.

Едва она бросила там якорь, как на ее борт поднялся адъютант короля, поздравивший «достопадного

¹ Здравствуйте, мистер Головнин! (англ.)

² Здорово старина! (англ.)

капитана Головнина с прибытием в португальские владения». Адъютант любезно предложил свое содействие в пополнении запасов русского судна, но Головнин отказался, уверив, что ни в чем не нуждается.

Отправляясь с визитом к русскому консулу, Головнин взял с собою нескольких офицеров, в том числе Матюшкина и Литке. Консул оказался бывшим участником кругосветной экспедиции Крузенштерна и за обедом занимал всех интересными рассказами о пребывании с Крузенштерном в Индии, встречах с туземцами, катании на слонах и т. п. Особенно внимательно слушал Литке сообщения об открытиях экспедиции и результатах ее исследований. Он расспрашивал о наблюдениях над морскими течениями, приливами и отливами, температурой и плотностью океанских вод... Уже тогда проявился особенный интерес Федора Петровича к океанографии, которой он так много занимался позже, путешествуя по Арктике и вокруг света.

Во время двухнедельной стоянки Головнин неоднократно разрешал команде сходить на берег. Красивые здания, тенистые пальмовые аллеи вдоль улиц, множество невиданных цветов, изобилие фруктов, пестрая толпа туземцев и прибывающих из Англии, Франции, Германии и, главным образом, Испании и Португалии моряков, разноречивая речь, звуки незнакомых струнных инструментов и песен, живописные окрестности Рио-де-Жанейро — все это делало пребывание на берегу необычайно привлекательным.

Каждый занимал свободное время согласно своим наклонностям. Муравьев лениво тянул сквозь соломинку туземный напиток и переглядывался с хорошенькими женщинами, одетыми в яркие костюмы, Литке и Врангель собирали коллекцию диковинных тропических растений. Когда Матюшкин переставал писать свои бесконечные письма, много бродили втроем, с интересом изучая жизнь экзотического города.

Прочитав однажды на афише городского театра, что заезжая испанская труппа ставит пьесу о Генрихе Мореплавателе — сыне португальского короля, три Федора решили посмотреть ее.

В самый разгар монолога Генриха кто-то положил на плечо Литке тяжелую руку. Федор Петрович быстро обер-

нулся. За ним, пошатываясь, стоял лейтенант Филатов.

— Уступите мне место, я близорук и со своего ничего не вижу,— потребовал он.

— Ваше место при состоянии, в котором вы находитесь,— корабельная койка,— вспыхнув, проговорил Литке,

— Как вы смеете так разговаривать со старшим офицером,— вскипел Филатов.— Я приказываю вам встать.

Литке, не отвечая, смотрел на сцену. Филатов повысил голос. На них зашикали. Кто-то свистнул...

Матюшкин взял Филатова за руку.

— Не уютно ли вам будет пойти со мною... Я провожу вас, господин лейтенант,— вы не совсем хорошо себя чувствуете.— Голос его, обычно мягкий и ласковый, на этот раз звучал так, что Филатов затих. Врангель взял его под другую руку, и вместе с Матюшкиным они вывели пьяного офицера из театра.

Как доложил Филатов Головнину о происшедшем, ни Литке, ни Врангель не узнали, но, когда они снова попросили разрешения посетить театр, Василий Михайлович сказал:

— У господина Литке несколько повышенная впечатлительность, которая отражается на его поведении вообще и при театральных зрелищах в особенности. Вы можете идти, а господин Литке пусть останется на корабле.

Литке покраснел до корней светлых, чуть-чуть вьющихся волос, но под умоляющим взглядом Врангеля сдержался и, стиснув зубы, отвел взгляд от строгих глаз Головнина.

Путь от Рио-де-Жанейро до мыса Горн и обход этого мыса были совсем непохожи на предшествовавшее плавание. Больше трех недель дули встречные ветры со штормами и дождями. На вахте одолевали стужа, сонливость и усталость. Высшим блаженством было, сменившись, снять насквозь промокшую одежду, забраться в подвесную, как люлька покачивающуюся койку и укрыться теплым одеялом.

— Нет, друзья мои,— говорил Литке, вернувшись после одной из наиболее утомительных вахт.— Я сам думал раньше: «Как поэтичен должен быть ураган в открытом океане и как красиво я буду описывать свои о нем впечатления».

чатления». Ну, что поэтичного в этом бешеном свирепстве волн, в том, как яростно хлещут паруса, как срываются они с мачт, как кренится и вот-вот уйдет в разверзающуюся пучину наша «Камчатка»...

— Уже не считаешь ли ты более подходящим сюжетом для поэзии штиль? — насмешливо спросил Матюшкин.

Литке пожал плечами.

— К чему крайности? Длительный покой, на мое мнение, — смерть. Я точно не помню, но, кажется, Шамиссо, поэт и натуралист, плававший два года тому назад вокруг света на русском «Рюрике», писал: «Если можно заставить свою фантазию изобразить более ужасное положение на море, нежели шторм, ураган или даже кораблекрушение, она покажет нашему воображению корабль, попавший в штиль, без надежды когда-нибудь из него выбраться».

— Однако Вергилий и Байрон воспевали не штиль, а именно бури и штормы, — возражали товарищу Врангель и Матюшкин.

— Разумеется, прогуливаясь по берегам Женевского озера или Венецианского залива, Байрон мог сочинять восторженные строфы о бушующей стихии. Наш Жуковский тоже мог стоять очарованный над морской бездной. Но я совершенно убежден, что, если бы хоть один из поэтов, воспевающих штормы и ураганы, хоть единый раз постоял на такой вахте, как нынешняя, многих дифирамбов этому жестокому явлению природы не появилось бы в поэзии...

Головнин замечал, как устала команда, как посерели у матросов лица, как осунулись даже такие здоровяки, как штурман Никифоров и старший лейтенант Муравьев. Однообразные меню обедов — кусок солонины и гороховая каша, а главное — очень ограниченный рацион пресной воды не содействовали бодрому настроению.

Как опытный капитан, Василий Михайлович решил устроить для экипажа какое-нибудь необычное развлечение. Накануне Нового, 1818 года Головнин приказал позвать к себе Литке.

— Я слышал не только о вашем пристрастии к посещению театров, но и ваших незаурядных актерских способностях, — сказал он. — Устройте-ка какую-нибудь веселую театральную интермедию.

«Неужто ему известно, что я исполнял женские роли?» — покраснев до ушей, подумал Литке.

— Отберите для этой цели наиболее подходящих людей из команды. Я сам приду смотреть представление.

Головнин говорил тоном приказания, но в его серых глазах светилась улыбка.

Литке рассказал своим друзьям о приказании капитана, и те охотно взялись помочь ему, причем Матюшкин оказался особенно полезен, так как имел уже опыт: в Лицее часто ставились импровизированные спектакли и интимедии.

Праздник прошел на редкость удачно. Шарады, фокусы и злободневные куплеты следовали один за другим, вызывая шумное одобрение и дружный хохот зрителей. Смеялся и Головнин, пришедший, как и обещал, на «представление».

Развлечение это сломило унылое настроение экипажа. К тому же для матросов был устроен новогодний ужин и выдано праздничное жалованье.

Наконец-то судно миновало мыс Горн. Вскоре «Камчатка» отдала якорь в портовом городе Перу — Каллао.

Тотчас же от стоявших в порту кораблей отделилась шлюпка под испанским флагом и направилась к «Камчатке». Прибывший на ней «квартирмейстер», подробно расспросив, что это за судно, куда и откуда оно идет, сообщил, что Вальпарайсо находится в руках повстанцев¹, которые располагают шеститысячным войском и крейсерами, курсирующими у здешних берегов.

На заре следующего дня в Каллао из Вальпарайсо пришли пять испанских судов, участвовавших в блокаде города.

Головнин послал Врангеля к коменданту порта узнать, будет ли он отвечать на салют «Камчатки» одинаковым числом выстрелов и сможет ли он дать Врангелю проводника для поездки в резиденцию вице-короля — Лиму. Матрос, отправившийся с Врангелем на берег для закупки

¹ Еще в конце XVIII века в Южной Америке усилилась борьба колоний за политическую независимость от Испании. Победа французской буржуазной революции и провозглашение независимости Соединенных Штатов Северной Америки окрылили повстанцев. Движение приобрело большой размах и в конечном счете после длительной кровопролитной борьбы привело к отделению южноамериканских колоний от Испании и созданию независимых государств — Перу, Чили, Аргентины и др.

провизии, привез положительные ответы. Возвратившийся к вечеру Врангель сообщил, что «вицерой» принял его весьма любезно и обещал всяческое содействие.

Затем «Камчатку» посетило еще много гостей: пышно разодетый камергер «вицероя» с письмом, в котором Головнин с офицерами приглашался на другой день в Лиму на обед, комендант крепости, за ним секретарь «вицероя», их жены и дочери, «от которых, говорит Головнин, мы не прежде захождения солнца получили покой. Несноснее всего было то, что они и кавалеры, их сопровождавшие, не знали никакого языка, кроме своего природного».

Вице-король прислал за русскими офицерами обитую внутри малиновым бархатом огромную карету, которая была запряжена шестью мулами; упряжь их покрывал серебряный позумент. Кучера, сидевшие верхом, тоже были в красных ливреях с серебряным позументом.

Прежде чем отправиться на королевский обед, Головнин со своими офицерами нанес ответный визит коменданту. Тот угостил моряков завтраком, причем просил прощения за простой сервиз и обстановку.

— В бытность мою начальником артиллерии в столице Чили Сант-Яго квартира моя подверглась нападению повстанцев, — объяснял он свою «бедность».

В прихожей королевского дворца стояла стража из гренадер, у входа во внутренние комнаты — часовые с алебардами. Король, одетый так же, как и свита, в расшитый золотом мундир, расспросив Головнина о его здоровье и о том, как протекало путешествие «Камчатки», пригласил гостей к «вицеройше», а затем все направились к столу.

— Можешь ли ты счесть количество блюд? — тихо спросил Литке своего соседа Лутковского.

— Изволь запомнить: говядина, ветчина, сосиски, голуби, индейки, — так же шепотом ответил тот и продолжал незаметно загибать пальцы, — жареный лук, соус из сборных овощей, а плодов... плодов...

— Как жаль, что ни вицеройша, ни ее прелестная дочь не говорят ни на одном языке, кроме испанского, — вздохнул старший Лутковский.

Услыхав эти слова, Головнин сказал:

— А вы — как, впрочем, и большинство дворянских наших сынков — из иностранных диалектов знаете,

конечно, только французский. По возвращении в Россию я непременно буду настаивать перед морским министром, чтобы в дальние вояжи посылались лишь те из гардемарин и офицеров, кои владеют не менее как четырьмя языками. После сего для изучения оных кадеты Морского корпуса станут употреблять всевозможное старание.

Оперная роскошь королевского дворца, наряды придворных и весь пышный ритуал приема имели, видимо, целью ошеломить гостей. Но на Головнина и его спутников все это производило впечатление театральной бутафории и развлекало в такой же степени, как недавно сыгранный на «Камчатке» спектакль.

Пока судно загружалось пресной водой и провизией, экипаж осматривал Лиму с ее старинными монастырями, арсеналом, монетным двором и пороховым заводом, который принадлежал частному лицу.

— Во время нашествия французов на Испанию я послал туда двенадцать тысяч квинталей моего пороха. Добротностью он ничуть не уступает английскому, — с гордостью сообщил владелец завода.

Узнавая в экскурсантах русских, жители города приветствовали их дружелюбными возгласами, взмахами широкополых шляп и пестрых шарфов.

— Им известно, что Россия никогда не причиняла вреда Испании, а, наоборот, избавила ее от наполеоновского ига, — объяснил переводчик, дон Абадиа.

Перед отъездом Головнин дал местному начальству прощальный обед на борту «Камчатки». От имени всего экипажа он благодарил за предоставление судну всего, в чем оно нуждалось, несмотря на затруднительное для самих испанских властей продовольственное положение из-за повстанческого движения.

При выходе с рейда Каллао Головнин отдал распоряжение салютовать крепости. В ответ на семь выстрелов, из крепости, вопреки предварительной договоренности, ответного салюта не последовало, а стоявший на рейде испанский фрегат выпалил из трех пушек.

— Возвращаться на рейд, — приказал Головнин. — Лутковский, отправляйтесь к коменданту и скажите ему, что я ожидаю обещанного салюта.

Комендант тотчас же отдал распоряжение о семикратном салюте из крепостных пушек.

Головнин велел ответить еще тремя пушечными выстрелами командиру фрегата.

— А теперь, разделившись с испанцами, в сем пустом, а впрочем, необходимом деле, идем дальше, — сказал Василий Михайлович, услышав, как отгремел последний выстрел.

Когда «Камчатка» шла вдоль берегов Чили, к ней несколько раз направлялись было повстанческие фрегаты, но, разглядев русский флаг, удалялись, не сделав ни одного выстрела.

— Весна в этом году длится для нас необычайно долго, — говорили меж собою члены команды, когда корабль уже приближался к берегам Камчатки. — В Бразилии она началась в январе, в Перу — в феврале, а сейчас май, и здесь весна, видно, только начинается.

И действительно, яркая зелень, какая бывает только ранней весной, покрывала подошвы сопок, еще белевших снегом.

Лед в Авачинской губе сломало, но продвижение по ней все же было очень затруднено. Все время наплывавшие льдины беспокоили судно. Приходилось отталкивать их шестами или рубить. В этом принимала участие вся команда. Больше недели противоборствовала льдам «Камчатка», пока наконец не вошла в Петропавловскую гавань.

Глава VII

Начальник Камчатского края и командир порта, капитан 2-го ранга Рикорд, радушно встретил «Камчатку». С Головинным он был связан крепкой дружбой, пять лет назад Рикорд увез Головнина на «Диане» из японского плена.

С большой теплотой обращались Рикорд и его жена с молодыми офицерами — спутниками Головнина. Почти каждый вечер в уютной столовой Рикордов под мурлыканье самовара велись беседы, зачастую затягивавшиеся за полночь. Иногда жена Рикорда, родом украинка, садилась за привезенное ей Головинным фортепьяно и, аккомпанируя себе, пела прекрасные украинские песни с таким чувством, как будто хотела излить в них неизбывную тоску по далекой своей Полтавщине.

Из бесед с Рикордами Литке узнал много нового о задачах экспедиции Головнина. Василий Михайлович до самого прибытия на Камчатку никогда о них своему экипажу не говорил, и большинство участников экспедиции было уверено, что, как только шлюп сдаст коменданту порта военные грузы, «Камчатка» не замедлит отправиться в обратный рейс. Братья Лутковские даже уверяли, что свадьба их сестры с Головниным состоится в текущем году.

Но Головнину предстояло еще расследовать поступившие в Петербург жалобы на действия чиновников Российско-Американской компании.

Находившаяся под особым покровительством правительства Российско-Американская компания имела очень важное значение. Она содействовала укреплению России на Тихом океане. Под ее управлением были многочисленные острова, открытые русскими людьми на севере Тихого океана, а также богатейшие, малоисследованные земли Аляски — северо-западного угла Американского континента. Правители и чиновники компании организовали здесь промысел драгоценного пушного зверя, строили города, внедряли ремесла и земледелие. С каждым годом владения компании расширялись, она присоединяла новые территории — на островах и на материке Америки.

Рассказывая Головнину об успехах, которые за последние годы были достигнуты Российско-Американской компанией, Рикорд разложил на столе большую, им самим вычерченную карту.

— Проникновение наше в направлении Калифорнии дальше залива Сан-Франциско не пошло, — говорил он, двигая карандаш вдоль западного побережья Америки. — Вот река Славянка, на которой находится самый южный пункт русских владений — форт Росс. Большие перемены произошли на исконных, старых владениях Российско-Американской компании. На Кадьяке выросла судостроительная верфь, на Ситхе — крепостные сооружения. Значительно усилены такие крепости, как Павловская, Николаевская, Воскресенская, Георгиевская. Изрядно работают, как вам известно, алеуты и эскимосы, вербуются сюда также вольнонаемные промышленные из России...

— Сие мне отлично известно, — произнес Головнин, сдвигая брови, — известно и то, как бесчеловечно обраба-

ются со всеми этими людьми компанейские чиновники. Нам с вами надлежит выявить виновников тех печальных фактов, которые имели место в здешних колониях. Это задание едва ли не главнейшее для меня в нынешнем году.

— Я очень рада, Василий Михайлович, что наконец-то обращено должное внимание на безобразия, которые творят чиновники Российско-Американской компании,— искренне проговорила жена Рикорда.— Туземцы здесь замечательные: труженики, честные, доверчивые, как дети. Уж если они при всей их невзыскательности и терпении выражали протест, то можете себе представить, как им живется!

— Да и русские живут в нестерпимых условиях, даже хлеба вдоволь не получают,— добавил Рикорд.

— Зато водки слишком много,— вздохнула хозяйка.— А какие люди! Какие замечательные люди!

На Камчатке за годы правления Рикорда многое изменилось. Камчадалы научились возделывать хлеб. Заболев, они уже не призывали невежественных знахарей, а пользовались врачебной помощью в петропавловской больнице. При торговых сделках с охотниками и рыболовами Рикорд платил им «по-божески», а беднякам выдавал прох и свинец даже бесплатно.

Больших трудов стоило Рикорду преодолеть вполне понятное недоверие камчадалов к русским; однако, видя со стороны Рикордов человеческое отношение к себе, туземцы проникались все большим и большим к ним доверием и даже стали посылать в русскую школу своих детей.

Во время пребывания в Аваче Литке несколько раз посетил уроки русского языка в местной школе. Смуглые камчадалские ребятишки, вымытые и подстриженные, в чистых рубашках, подпоясанных кушаками с начищенными медными бляхами, с трудом повторяли за учителем певучие русские слова, столь отличные от слов их родного языка, изобилующего подряд идущими согласными.

— А это коряцкий или чукотский язык? — полюбопытствовал Литке, прислушиваясь к говору детей во время перемены.

— Ни тот, ни другой,— ответил учитель.— Это смесь многих диалектов с различными наслоениями, в том числе и с русским.

— У ваших учеников очень приятная наружность,— заметил Федор Петрович.

— А какие изрядные способности у некоторых! — сказал учитель и поманил одного из мальчиков.

Тот оправил рубаху и подошел.

— Ну-ка, скажи стихи знаменитого русского партизана.

— Дениса Давыдова?

Учитель кивнул головой, и мальчик начал:

Море воет, море стонет,
И, во мраке одиноко,
Поглощен волною, тонет
Мой заносчивый челнок.
Но, счастливец, пред собою
Вижу звездочку мою,—
И покоен я душою,
И беспечно я пою...

Потом учитель с гордостью сообщил:

— Стихотворение сие было переслано мне добрым моим другом, списавшим его у самого автора...— Помолчав немного, он вздохнул:— Кабы все ранее бывшие здесь правители вели себя в отношении туземцев так, как супруги Рикорды, отцы давным-давно перестали бы преуменьшать детей своих о настороженном отношении ко всем русским. Некоторые ребята называют госпожу Рикорд матерью; в особенности доверчивы к ней девочки. Она их и русским песням выучила. И как поют! Любо послушать..

Головнин обследовал Алеутские острова, остров Кадьяк, главную резиденцию правления Российско-Американской компании — Новоархангельск и даже крайний пункт российских владений на Американском материке — форт Росс. Когда судно приблизилось к Алеутским островам, Головнин рассказал, что на некоторых из них Русско-Американская компания оставляла на десятки лет людей, которые должны были заниматься для нее промыслами. Люди эти переносили суровость природы и лишения с необычайной стойкостью и работали «не за страх, а за совесть».

На острове Медном жил промышленный Шипилин. Двадцать лет оказывал он компании своим усердием и ревностью примерную пользу. Вместе со своей женой до-

бывал он по восемьсот драгоценных котиков в год, соблюдая при этом наказ компанейских чиновников: ничего из добытого промыслом для своей одежды или пищи не употреблять. Переносили эти труженики лютую стужу и, только отчаявшись увидеть спасительное судно, сшили одежду из песцов и котиков.

Много горя видел и другой промышленный — Яков Мыньков, не один год находившийся в полной заброшенности на острове, охраняя промысловое добро.

Все, что экспедиция увидела и услышала на Алеутских островах, подтвердило жалобы коренных жителей и русских «промышленных». Промышленными называли здесь всех, кто по вольному найму или по собственной инициативе занимался промыслами: охотой, рыболовством, разработкой земных недр.

Островитяне обитали в жалких подобиях человеческих жилищ. Компанейские чиновники жестоко их обирали. Почти поголовная неграмотность мешала этим труженикам защищать свои права. Доведенные до отчаяния, они иногда брались за оружие; но всякий протест подавлялся жесточайшим образом, а положение угнетенных становилось еще тяжелее.

Головнин лично выслушивал челобитчиков. Неотлучно присутствовавший при нем Литке должен был записывать их жалобы.

Кроме того, Головнин разрешил Литке посетить их жилища, чтобы лично убедиться, в чем эти люди особенно нуждаются.

Федор Петрович подарил некоторым алеуткам мыла, угостил патокой и пшенной кашей их ребятишек и так сумел расположить к себе обитательниц островов, что они, как старшему брату, поверили ему свои горести и просили защиты.

Ломаным русским языком, жестами и слезами поведали они о вымирании своих детей, об отсутствии самых необходимых жизненных средств, о чиновниках, которые обижают женщин, а мужчинам вместо жалованья дают водку...

Обо всем этом — и слышанном и виденном — Федор Петрович составил подробную докладную записку. Не дожидаясь, пока она дойдет до Петербурга и ей будет дан тот или иной ход, Головнин сменил некоторых, особенно ненавистных населению, чиновников и разрешил

нескольким сибирякам, давно уже закончившим работу по указанному при вербовке сроку, вернуться на родину.

По приказанию Головнина писарь Савельев написал под диктовку неграмотных рабочих письма в далекие деревни России, а фельдшер Скородумов привил детворе оспу.

На других островах Алеутской гряды — Укамока, Угака, в Павловской гавани которого Головнин решил пробыть несколько дней не только для проверки навигационных приборов, но и для «исследования поступков служителей Российско-Американской компании в отношении к жителям», — положение было не лучше.

Чтобы подробнее узнать обо всем, что в этих местах творили чиновники, Головнин обратился к проживавшему здесь монаху Герману, который пользовался уважением туземцев. Монах подтвердил жалобы челобитчиков и даже скрепил их собственноручной подписью.

Этот монах пробовал сеять на острове Еловом пшеницу и ячмень. Алеуты всячески помогали ему, но если какая-то доля посеянного и вызревала, то для семян зерна не годились.

После трехмесячного плавания от одного острова к другому «Камчатка» пошла наконец в обратный путь.

Первую остановку сделали на Сандвичевых (Гавайских) островах. Богатейшая растительность островов, мягкий и теплый климат привели в восхищение весь экипаж.

Стройные, красивые туземцы, почти обнаженные, при разговоре с русскими приветливо улыбались, показывая ослепительно-белые зубы. Они принесли на корабль бананы, табак, виноград и угощали путешественников, не требуя платы. Головнин в сопровождении офицеров посетил короля Сандвичевых островов — Тамеамеа. Король угостил их обильным обедом и необычайно ароматным кофе. Он даже разрешил одному из туземцев, по имени Лаури, уйти на «Камчатке» в дальнейшее плавание.

Тамеамеа дал такое разрешение, зная, что островитяне, побывавшие длительное время на кораблях белых людей, возвращаются обогащенные познаниями и становятся полезнейшими его подданными.

Головнин охотно принял Лаури на свой корабль, и вскоре этот красивый, веселый, сильный и добродушный парень стал любимцем всего экипажа.

Литке взялся обучать его арифметике и русскому языку, умению носить европейскую одежду, обращаться с корабельными приборами.

Учитель не мог нахвалиться способностями своего ученика.

— А я не вижу в этом ничего особенного, — сказал однажды по этому поводу Головин. — Уверю вас, что природа не расточает своих даров на какой-нибудь единственно любимый ею уголок или народ. Ум и дарование достаются от нее в удел всем смертным, где бы они ни родились. И если бы возможно было несколько сот детей из разных частей земного шара собрать и воспитать по правилам, принятым в образованном обществе, то, может быть, из числа их — с курчавыми волосами и черными лицами — более вышло бы великих людей, нежели из родившихся от европейцев. Между дикими имеются люди, одаренные пронизательным умом и необыкновенной твердостью духа. Тайнственность огнестрельного оружия изумляет диких и вселяет им ужас до тех пор, покада они не увидят, как заряжают европейцы ружья. Пушечный выстрел с корабля производил и должен производить страх. Но когда дикие приметят, что оружие сие бывает гибельно только с некоторыми приготовлениями, они уже не так его страшатся. И сам Кук, и многие из его соотечественников погибли от неумеренной доверенности к огнестрельному оружию, которым они думали привести дикарей в ужас. Приняв первый огонь, дикари не дали белым вновь зарядить ружей, стремительно бросились на них со своим первобытным оружием и положили конец их жизни...

Обеспечив себя водой и провизией, «Камчатка» взяла курс на Филиппинские острова. Однако довольно скоро выяснилось, что запасов для дальнейшего пути не хватит. Тогда Василий Михайлович, к всеобщему удовольствию, приказал идти к острову Гуахану, самому большому в группе Марианских островов; Гуахан славился дешевой дичью, домашней птицей и другими продуктами.

Дешевизна эта объяснялась тем, что Марианские острова, расположенные в стороне от главного судоходного пути, в те времена редко посещались кораблями.

Лаури еще до захода на остров Гуахан рассказал экипажу об удивительных марианских петухах.

— Они вот какие, — блестя агатовыми глазами, показывал Лаури на метр от палубы, — а какие сильные! Какие сильные! — еще не умея выразить свои мысли по-русски, он напрягал бицепсы, перекачывавшиеся под его коричневой кожей. — Мой дед привез одного на Гавайи, так он переклевал всех гавайских петухов...

Матросы и офицеры были захвачены зрелищем петушиного боя, которым не замедлили угостить русских моряков правители Марианских островов. Сам Головин искренне восхищался «великанами куриного племени, задорными драчунами», яростно насакивавшими один на другого под одобрительные крики зрителей.

Фельдшер Скородумов и штурман Никифоров то и дело подзадоривали разъяренных петухов:

— А ну, Петя, поддай этому черномазому, поддай под микитки!

Но огромный черный, как ворон, петух, вцепившись в «Петю», так трепал его, что ярко-рыжие перья летели в стороны, как из распоротой перины. Лаури, одетый в белые брюки Литке, приплясывал от удовольствия. Жестоко общипанный «Петя» имел все же настолько храбрый вид и так порывисто бросался в новые схватки с «черномазым», что Филатов, который успел уже где-то хлебнуть хмельного, плакал от восторга и требовал, чтобы ему дали обнять этого петушиного тореадора.

— Подумать только, что такими же кровавыми драками их предков, — Головин кивнул на катавшихся по окровавленному песку петухов, — любовались побывавшие здесь в прошлом веке Кук, Ванкувер и Лаперуз...

В конце боя он предложил обладателю рыжего петуха продать его на «Камчатку».

После долгого раздумья владелец спросил за него десять пиастров, заведомо зная, что продажа не состоится. В переводе на русские деньги это составляло цену тройки хороших лошадей.

Целые страницы в своих журналах исписали и Литке, и Матюшкин, и Врангель о Марианских островах, об их замечательной природе, веселых жителях, обильной и разнообразной снеди, петушиных боях и испанских чиновниках, важно расхаживающих по этим чудесным островам, находившимся в ту пору под испанским владычеством.

На пути от Гуахана к Манилле на шлюпе обнаружили повреждения, требовавшие ремонта,

Едва «Камчатка» вошла в манильский порт, как местный губернатор, находящийся на испанской службе француз Эшаппар, прислал на шлюп своего адъютанта с приветствием русским морякам, предложением всяческих услуг и приглашением к обеду.

Два маленьких сына Эшаппара обратили на себя внимание Федора Петровича. Эти мальчики, не смеющие взять с блюда ни одного куска без пугливо-вопросительного взгляда в сторону расфранченной мачехи, напомнили Литке его собственное детство, и ему показалось, что мадам Эшаппар даже похожа на его мачеху, Екатерину Андреевну.

После обеда, когда все сидели в гостиной за кофе и ликерами, Литке подошел к стоявшим в сторонке мальчуганам и, погладив по голове младшего, спросил:

— Чего бы вы хотели больше всего на свете?

Старший ответил, не задумываясь:

— Я хотел бы жить в России, я так много слышал о ней... Ваш народ — самый храбрый, ведь он победил нашего Наполеона, которого никто не мог победить.

Мальчик как будто предвидел свое будущее: через десять лет Литке, который к тому времени стал известным всему миру мореплавателем, увез его в Россию.

Для ремонта, необходимого «Камчатке», в манильском порту не было технических средств, и, по совету губернатора, Головинн отвел судно в порт Кивитту.

— Ах, друзья мои, — говорил в тот же день Матюшкин Литке и Врангелю, — Василий Михайлович напрямик заявил, что с Филиппин «Камчатка» пойдет к острову Святой Елены. Если нам удастся повидать знаменитого пленника, я напишу о нем Пушкину, все-все опишу: и природу острова, и людей, окружающих Наполеона, и его самого...

Почти месяц продолжался ремонт «Камчатки». В нем принимал участие весь экипаж судна, а также местные грузчики, конопатчики, такелажники, маляры...

Новый, 1819 год встречали в свежевыкрашенных, проветренных и просушенных помещениях за прекрасным ужином, присланным на шлюп все тем же гостеприимным Эшаппаром. Спустя еще две недели «Камчатка» понеслась к мысу Доброй Надежды.

Давно не приходилось команде выносить такие яростные схватки с океанскими бурями и грозами, какие то и дело возникали при переходе от Филиппин к берегам Африки.

Казалось, водной пустыне не будет конца. Тоска по земле становилась все нестерпимей. Воображение смущало людей: они принимали нависшие по горизонту облака за леса и горы и, не желая больше верить ни картам, ни приборам, жадно вглядывались в призрачную «землю».

Когда однажды Лутковский, стоявший на вахте, неистово закричал:

— Судно! Я вижу судно! — ему никто не поверил.

И даже когда движущаяся вдаль темная точка стала различима и без подозрной трубы, над Лутковским еще подшучивали:

— Акула высунулась воздуху хлебнуть, а он ее за судно принял!

Но Лутковский не ошибся: темная точка увеличивалась с каждой минутой, и скоро все увидели, что к «Камчатке» мчится небольшой шлюп под английским морским флагом.

Это было сторожевое судно, офицеры которого учинили Головнину подробнейший допрос о целях приближения «Камчатки» к острову Святой Елены. Головнин ответил им, что желает дать команде кратковременный отдых после двухмесячного плавания в океане. Удовлетворенные его ответом, англичане повернули обратно, пригласив Головнина идти следом за ними.

Когда ясно обозначились неприступные, мрачные скалы острова, английский шлюп сигналами рапортовал сторожевому посту о желании русского судна войти в гавань. Разрешение было дано, и «Камчатка» стала на рейде. До самого утра вокруг нее сновали дозорные английские шлюпки.

В полдень «Камчатку» посетили различные должностные лица. Из разговоров Головнин понял, что сойти на берег ему не удастся.

В числе гостей к обеду явился и начальник приставленной к Наполеону русской охраны — полковник Бельмен. Он много рассказывал о «пленнике Европы», и молодые офицеры — Лутковский, Литке, Врангель и Матюшкин — слушали его с жадным интересом.

— Что делает по целым дням сей развенчанный герой? — спросил Матюшкин.

— К вашему сведению, молодые люди, он вовсе не чувствует себя развенчанным. Мне известно, что он пишет собственную историю и, подобно Юлию Цезарю, о себе говорит в третьем лице.

— К нему решительно никого не пускают? — задал вопрос Литке. — Неужели он больше никого не интересуется, как только сторожей?

Бельмен улыбнулся.

— Увы, английский губернатор разрешает только очень и очень немногим свидание с Наполеоном. Между прочим, наш узник никогда не садится во время приема — из опасения, чтобы посетитель не посмел сделать того же в его присутствии.

— Это уже определенно мания величия, — пожал плечами Головин.

— По этому поводу Наполеон однажды сказал мне: «Пусть меня закуют в цепи, но отдают должное уважение».

Вечером Литке записал в свой журнал:

«После длиннейшего перехода из Маниллы — бесплодная остановка у острова Святой Елены...»

Сделал в своей записной книжке запись и Матюшкин. Как всегда, верный себе, он закончил ее пушкинскими стихами:

Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрачны думы.
Он новую в мечтах
Европе цепь ковал. И, к дальним берегам
возведши взор угрюмый,

Свирепо прошептал:
«Вокруг меня все мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не вззоет над могилой,
Я здесь один, мятежной думы полн»...

Так и не побывав на берегу, Головин на следующий день двинулся в дальнейший путь.

Всходило и заходило солнце, менялись ветры, штили нарушались внезапно налетавшими ураганами, небо, голубевшее бирюзой, заволакивалось свинцовыми тучами... А за бортом перекатывались все те же извечные волны —

то мелкие, как рябь прудка, то огромные, как горная гряда.

— Кончится ли когда-нибудь эта необъятная пустыня?! — вырывались восклицания то у одного, то у другого из плывших на «Камчаке».

Иногда, собравшись на шканцах, мичманы и гардемарины уныло распевали:

Друзья, вселенная красна,
Но если поразмыслить строго,
Найдем, что мало в ней вина,
Зато воды уж слишком много...

— А сколько, например? — подойдя однажды неслышно к этому хору, спросил Головнин.

Молодые люди смущенно молчали.

— Вода покрывает свыше семидесяти процентов всей поверхности земного шара, — ответил за них Головнин. — Площадь мирового океана, то есть Тихого, Атлантического, Индийского, Северного и Южного Ледовитых, со всеми примыкающими к ним морями и заливами определяется приблизительно свыше трехсот с половиной миллионов квадратных километров... Воды, по которым мы с вами плывем, отнюдь не пустыня, как их несправедливо назвал кто-то из вас. В них кипит жизнь. В этих глубинах свои горы и низменности, свои долины и скалы, своя растительность, свое разнообразнейшее население, свои климаты. Изучает все это обширнейшая наука — океанография, возникшая еще в глубокой древности у финикиян.

Этот разговор Головнина послужил началом целого цикла его бесед о Геродоте, Аристотеле и других греческих и римских ученых, которые еще до начала новой эры внесли ценный вклад в изучение строения земного шара.

Одну беседу он посвятил изучению карт Птолемея, другую — компасу, вывезенному арабами из Индии, третью — рассказам о портуланах — географических картах XIII века, и т. д.

Он заставлял молодых офицеров определять физические и химические свойства воды на разных глубинах океана, изучать морские течения по сносу лота, направление и силу ветров,

Литке заносил все свои наблюдения в журнал, добавляя к ним сведения, почерпнутые из бесед с Головниным и из указанных им книг.

Чем больше увлекались молодые люди этими работами, тем быстрее шло время.

После семидесятичетырехдневного плавания «Камчатка» вошла в район Азорских островов и стала на рейде у острова Фаял. Головнин решил дать команде отдых. Утомленному длительным переходом экипажу Фаял показался «настоящим раем».

Целых семнадцать дней ощущали счастливые моряки под ногами не качающуюся палубу, а твердую землю, покрытую роскошной тропической растительностью, вдыхали аромат цветов, слушали разноголосые хоры птиц.

«Натуралисты», как шутливо называли на «Камчатке» Литке и Врангеля, увидев однажды на банановом дереве снегиря, совсем такого, какого можно встретить под Петербургом, не хотели верить своим глазам. Бросились к справочнику по орнитологии. Среди тропических птиц о снегире, конечно, в нем не упоминалось. Столь же непонятно было появление по вечерам над белыми палатками моряков «родных» летучих мышей. А когда, собирая для коллекции различные минералы, наткнулись в траве на лютики, за разъяснением этой неожиданности обратились к Головнину.

— Явление весьма частое, — объяснил Василий Михайлович. — И семена европейских цветов, и европейские птицы заносятся сюда ветрами... Однако придется оставить на время коллекционирование и заняться более насущным в настоящий момент делом. Вам, Врангель, поручаю следить за погрузкой на «Камчатку» свежих фруктов, вина и пресной воды. А вы, мичман, — обратился он к Литке, — извольте заняться гидрографическими исследованиями.

С утра и до позднего вечера, с коротким перерывом на обед, Литке передвигался в шлюпке вдоль острова, нанося на карту малейшие изгибы его береговой линии, делая непрерывные промеры лотом и зарисовывая, разнообразно получаемым данным, рельеф морского дна. Особенно тщательно производил он промеры у берега, опасаясь пропустить какую-нибудь банку или мель.

Когда лодка стала опускаться на глубину до двухсот метров, Головин, следивший за работой Литке, сказал, что материковая отмель кончилась и работы можно прекратить.

Как ни прекрасен был Фаял с его кущами деревьев, плодами, цветами и приветливым населением, все же к концу отдыха команда начала тяготиться вынужденным бездельем и тропической жарой. Только Лаури чувствовал себя отлично и таскал семипудовые мешки с грузом так же легко, как папоротниковые матрасы, которыми славился этот остров.

На восемнадцатый день «Камчатка» подняла паруса, взяв курс к берегам Англии. Этот почти двухмесячный переход сопровождался теми же теоретическими и практическими занятиями, что и путь от острова Святой Елены до Азорских островов. Сознание, что каждый день плавания приближает «Камчатку» к родной земле, вливало бодрость и разгоняло уныние, невольно охватывающее людей среди бескрайних, однообразных просторов океана.

В золотой июльский день на горизонте показалась изломанная темная линия берегов Южной Англии. В тот же день, еще до захода солнца, «Камчатка» стала на якорь в Портсмутском порту.

Предстоял еще длинный путь, но океаны пересекать уже не придется, и все с нетерпением ждали окончания погрузки на «Камчатку» топлива, воды и провизии.

Выйдя из Портсмута в середине августа, «Камчатка» в первых числах сентября проплывала вдоль берегов Финского залива. В сорока километрах от Кронштадта какое-то судно с обломанными мачтами несло к берегу и непременно разбилось бы о камни, если бы «Камчатка» не догнала его и не взяла на буксир.

Так, ведя на канате изуродованное бурей купеческое судно, вошла «Камчатка» в Кронштадт, пробыв в плавании двадцать четыре месяца и десять дней.

Едва были спущены паруса, как на шлюп поднялся морской министр маркиз де Траверсе в сопровождении чиновников. Он поздравил экипаж с благополучным прибытием в отечественные воды, Головина — с чином капитана 1-го ранга, мичманов — с производством в лейтенанты, а гардемарин — в мичманы.

Глава VIII

Наталья Петровна уговорила Литке съездить в Вильну и Радзивилов, повидаться с сестрами.

С удивлением и гордостью смотрели сестры на своего брата — лейтенанта, которого не видели с самой кончины отца. А Федору Петровичу казалось невероятным, что эти солидные матери семейств и хозяйки гостеприимных домов — те самые тоненькие с тугими косицами институтки, которые при встрече делали реверансы и украдкой от старших читали сентиментальные романы.

Зиму 1849/20 года Федор Петрович провел в Петербурге. Интересный собеседник, отличный танцор, любитель театра, музыки и литературы, он был везде желанным гостем. Но чаще всего бывал он у Опочининых и Олениных, у которых, как и прежде, собирались наиболее интересные люди тогдашнего общества. В эту же зиму Литке стал посещать лекции в университете, хотя к практическим работам, по формальным причинам, допущен не был.

— Смотри, брат, не заучись, — посмеивался над ним Сульменев, забыв, очевидно, о том, что сам недавно доказывал необходимость для моряка всестороннего образования.

— Ты не огорчайся, Феденька, что тебя не зачисляют в студенты, — успокаивала брата Наталья Петровна, — наш папенька вовсе не знал университета, а каким был образованнейшим человеком! А тебе всего только двадцать три года. Для такого возраста ты даже слишком начитан. А сколько видел стран! Сколько народов!

В это время в доме Сульменевых частым гостем был Головнин. Он крестил у них четвертого ребенка, и дети любили его больше, чем многих других отцовских друзей. В особенности радовались они, когда Василий Михайлович приводил с собою Лаури. Сандвичанин умел забавлять их пением веселых песенок на родном и русском языке, который он смешно искажал. Лаури восхищал детей необычайной силой. Он привязывал к себе четыре стула и, рассадив на них ребят, кружился наподобие карусели.

— Он только у вас и оживляется, — говорил о Лаури Головнин, — а дома заметно стал тосковать. Должно

быть, по своей родине. Особенно сделалось это заметно с тех пор, как Лаури впервые увидел снег.

— Ему, конечно, очень холодно в нашем петербургском климате,— с сочувствием проговорила Наталья Петровна.

— Я ему волчью шубу подарил, да он ее не носит. Говорит, что жалеет. А я так полагаю, что просто он не умеет носить такую тяжелую одежду. Это вам не фиговый листок или банановый пояс.

Из детской донесся оглушительный шум ударов по медному тазу и детским барабанам.

— Вот такую музыку Лаури любит,— улыбнулся Головин,— а мелодичной и нежной вовсе не признает. Недавно заставил он меня из-за этого испытать необычайный конфуз.

И Василий Михайлович рассказал о поступке Лаури:

— Были у меня недавно гости и среди них знаменитая наша певица, имени которой из-за этого самого конфуза я не называю. Сколько она ни пела, гости все просили бисировать. Вдруг подходит к ней Лаури и во всеуслышание заявляет: «Не хрессо, не хрессо». — И вдобавок прижал одну руку ко рту, другую к сердцу. Сердечно, мол, прошу замолчать.

Однажды Лаури один пришел к Литке и стал со слезами просить отвезти его на родину.

Федор Петрович пообещал ему похлопотать об этом. Чтобы развлечь Лаури, он заставил племянников поиграть с ним в домино. Сандвичанин был очень доволен, когда выигрывал. Но как только проиграл несколько копеек, отнял их у выигравших и, спрятав в карман, заявил:

— Не умею.

Этими двумя словами он выражал всякое свое недовольство. Взял его как-то Федор Петрович на военный парад. Лаури довольно равнодушно смотрел на прохождение пехоты, но когда галопом пронеслась конница и медные трубы оркестра загревели под барабанный аккомпанемент, Лаури пришел в неистовый восторг: он запылал на месте, захлопал руками и стал издавать гортанные восклицания.

Многочисленная публика, и в особенности столичная полиция, не знала, что и думать об этом смуглолицем, немного странно одетом и очень странно ведущем себя «петербуржце».

Литке едва уговорил его поскорее уйти домой.

Просьбы о возвращении на родину стали все настойчивей. Лаури, не желавший или не умевший носить теплой зимней одежды, часто простуживался и стал замечать хиреть.

Наконец Головнин сообщил ему, что просьба его уважена — он отправится на Гавайи с уходящим туда судном. Лаури необычайно обрадовался, но, узнав, что повезет его не «Камчатка», а совсем другой корабль, пришел в отчаяние и заявил, что в таком случае лучше он умрет в России. Насилу его утешили тем, что на предполагаемом к рейсу судне будет служить несколько матросов с «Камчатки».

Федора Петровича к моменту отплытия Лаури в столице не было, но Головнин растроганно передал ему, как плакал Лаури и от радости, что едет на возделенную свою родину, и от горя, что расстанется с друзьями, и в особенности с «Лицке».

— А все же я был прав, взяв Лаури в Россию, — закончил Головнин. — Пребывание его здесь принесет немалую пользу нашим мореплавателям, которым доведется приставать к Сандвичевым островам. Благодарность и преданность Лаури русским, несомненно, должны расположить к нам его единоплеменников, которым он все расскажет. А понятие, которое гавайские старшины получают из его рассказов о могуществе России, заставит их, вопреки проискам американцев и англичан, уважать превыше всех народов, известных этому племени, — русский народ.

Литке искренне скучал некоторое время по Лаури.

— А хотели бы вы снова отправиться в те экзотические края? — спросил его как-то Головнин.

— Нет, Василий Михайлович, — после некоторого раздумья ответил Литке, — теперь мне хотелось бы побывать в Северном Ледовитом океане. Уж очень много интересного пришлось мне слышать и читать о плаваниях в его водах...

— Повлю на слове, — проговорил Головнин. — Я вас направлю в Архангельск, откуда в непродолжительном времени уходит экспедиция в Кронштадт. Командир экспедиции — капитан Руднев — хорошо мне знаком. Идут в Кронштадт корабль «Три святителя» и два фрегата — «Патрикий» и «Меркуриус».

— Опять в море? — вздохнула Наталья Петровна.

— Непременно в море, Наташа,— оживился Федор Петрович.

— Одним словом — моряк,— выразительно и с явным удовольствием произнес Головнин.

— Только вы, Василий Михайлович, не упустите времени...

— За мною дело не станет, лишь бы распутица не мешала вам добраться до Архангельска.

Распутица в эту весну была, действительно, страшная, но все же Литке успел вовремя прибыть к месту своего нового назначения.

Корабль «Три святителя», на который был определен Федор Петрович, уже грузился. Грузы подвозили на парусных лихтерах и на недавно построенном бриге «Новая Земля», с которым в дальнейшем была так тесно связана судьба Федора Петровича.

Лейтенант, к которому Литке попал под вахту, по выражению Федора Петровича, «аза не смыслил в своем деле». Но это обстоятельство мало беспокоило «подвахтенного». Отбыв положенное время на своем служебном посту, он уходил в отдельную каюту, где мог всецело отдаваться чтению взятых с собою книг о крае, который собирался посетить.

Еще в отрочестве, во время прогулок из Петербурга в Кронштадт, Федор Петрович наслушался от катерных матросов о «чудных жителях» Кольского полуострова — «лопарях»: ростом они по этим рассказам были «от горшка два вершка», но обладали какою-то таинственной силой, которая давала их колдунам возможность распоряжаться ветрами: завязывать их в узелки и по желанию выпускать на волю.

Литке прочел книгу Шеффера «Histoire de la Laponie». Автор объяснял, что легенды об особой способности лопарей к колдовству основаны на шаманском культе, на изолированности и отдаленности отдельных поселков этого народа друг от друга. Он описывал миролюбие лопарей, особое ведение оленеводческого хозяйства, их охоту, рыболовство.

Однако, выходя на берег у отдельных лопарских селений и внимательно приглядываясь к их жителям, Литке решительно ничего «колдовского» не замечал. Наоборот: лопари охотно и без торгашеской жадности отдавали пуш-

нину, рыбу и ягоды морякам, предоставляя им самим определять плату.

Федор Петрович записывал названия поселков, обычаи и нравы лапландцев, имена некоторых их старшин, лапландские слова и выражения. Само собой разумеется, что гидрографические работы велись им и в этом плавании с особенной тщательностью.

За то, что Литке все время уединялся и мало бывал в кают-компании, где по вечерам развлекались офицеры, они прозвали его «раком-отшельником», но Федор Петрович только посмеивался, слушая язвительные шутки.

В конце плавания, продолжавшегося немногим более двух месяцев, Федор Петрович писал в своем журнале:

«Плавание было благополучное и в существе не заключало ничего замечательного, но собственно для меня представило довольно много нового и необыкновенного в том порядке или, лучше сказать, беспорядке, каким велась служба».

Вернувшись, Федор Петрович вместе с братом Александром снял небольшую квартиру. Братья тщательно обрабатывали научные материалы, собранные в последнем плавании. Работа эта требовала посещений адмиралтейской библиотеки, куда Федор Петрович всегда отправлялся с удовольствием: он делал необходимые ему выписки из соответствующих источников, получал различные справки и читал хранившиеся на полках и в шкафах библиотеки интереснейшие и редчайшие книги по истории русского флота, а также о русских исследователях — «открывателях новых земель».

Среди домов, в которых Литке часто бывал в эту зиму, был и дом Бестужевых.

В один осенний день Федор Петрович рано вышел из адмиралтейской библиотеки и решил навестить Бестужевых, зная, что братья находились в это время в столице. Особенно хотел Федор Петрович повидать Михаила, тоже недавно вернувшегося из Архангельска.

Он нанял извозчика, но на Литейном проспекте путь пролетке преградили конные отряды. Испуганные люди толпились на тротуарах.

— Семеновцы бунтуют, — ответил кто-то на вопрос Литке. — Сейчас их за это в крепость прогонять будут...

Бестужевы были очень взволнованы.

— Довести русского солдата, да еще солдата Семеновского полка, до возмущения мог только такой негодяй, как их полковой командир Шварц, — с негодованием говорил Михаил Бестужев. — Все думали, что после Павла Петровича пруссаческое засилие кончилось, по крайней мере в армии, что над русским солдатом, которого в Париже осыпали цветами, уже не будут нещадно издеваться...

— Вы слышали, что преображенцы и лейб-гренадеры, которых послали к семеновским казармам, выражали бунтующим сочувствие? — спросил старший из Бестужевых — Александр, уже приобретающий литературную известность под псевдонимом «Марлинский». — Говорят, послали егерей...

— Я видел конную гвардию, — сказал Литке, — народ тоже явно сочувствует семеновцам.

— Семеновцы показали необычайную дисциплину ума и сердца, — вмешался в разговор третий Бестужев — Николай, — то, что я слышал от офицеров этого полка о солдатах, наполняет мое сердце гордостью в такой же степени, как сегодня оно наполнено скорбью за их будущее. От «шварцев», управляющих судьбами русских людей, нельзя ожидать пощады.

— Неужели не найдется русский Риего? — спросил опять Александр. — С такими молодцами, как семеновцы, он куда больше успел бы, чем оный испанец...

— Покойный батюшка в своем труде «Опыт военного воспитания» весьма назидательно говорил о гуманных мерах, коими можно достичь превосходных результатов для поддержания в войсках надлежащей дисциплины, — сказал Михаил. — Но что поделаешь, когда государь слушает только Аракчеева и его ставленников.

— Солдаты называют Аракчеева — Огорчеевым, — с грустной усмешкой проговорил Николай.

— Нет, нет, эдак невозможно жить! — горячо воскликнул Александр.

Суд над семеновцами был скорый. Часть солдат прогнали сквозь строй, часть сослали в Сибирь, остальных заключили в крепость.

Один из батальонов семеновцев, предназначенный к заключению в Свеаборгской крепости, отправляли из Кронштадта в Свеаборг на фрегате «Патрикий», где тогда служил Литке.

Федору Петровичу удалось избавиться от этой, по собственным его словам, «очень неприятной» кампании только потому, что он был в это время в Петербурге.

Бунт Семеновского полка и жестокая расправа с его участниками потрясли передовое русское общество.

В Петербурге только и толковали, что о героическом поведении семеновцев. Когда они направлялись под конвоем в Петропавловскую крепость, народ всячески выражал им свое сочувствие: кто бросал деньги, кто сайку, кто теплые рукавицы.

Молодежь, даже девицы, больше не декламировала чувствительных стихов, в которых воспевались «краса лужков, лазурь небес, и сельская жизнь, и злачны нивы», а списывала друг у друга ходившие по столице стихи Рылеева «К временщику».

Зайдя к Владимиру Ивановичу Штейнгелю, с которым он познакомился у Бестужевых, Федор Петрович прочел эти стихи, лежавшие на письменном столе хозяина. В стихах были густо подчеркнуты строки:

Тиран, вострепещи! Родиться может он —
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
О, как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!

Прочтя эти строки, Литке глубоко задумался. Он понимал, что в них звучит не только протест против самодержавного произвола, но и угроза деспотизму, призыв к его ниспровержению...

Литке знал, что среди пострадавших от репрессий правительства, испуганного солдатским бунтом, было много его знакомых, что в доме Бестужевых открыто высказывалось негодование поведением властей, что Бестужевы чаще стали бывать у Рылеева на «русских завтраках» и что «завтраки» эти носят очень бурный характер, потому что обсуждаются на них такие важные вопросы, как «быть или не быть России свободной и просвещенной...».

Штейнгель, привыкший видеть Литке всегда спокойным и уравновешенным, предпочитавшим больше слушать своих собеседников, чем говорить самому, был поражен его расстроенным видом и взволнованными словами.

— Все это невыразимо тяжело, — говорил Федор Петрович, шагая по комнате. — И то, что солдат одного из лучших полков довели до такого отчаяния, и то, что те-

перь их расшвыривают по Сибири и окраинам, а вместе с ними и многих отличнейших офицеров... Я вижу многое, что свидетельствует о бедственном положении моих соотечичей... Но что же мне делать, если все силы и склад моего ума направлены только на занятия науками...

Штейнгель, все время молча слушавший его, прервал с упреком:

— Кроме свойств ума, мой друг, необходимо обладать и благородными свойствами души и сердца. Мы с вами часто бываем у Бестужевых. Каждый из братьев, отдавшись чистой науке, литературе и искусству, смог бы, безусловно, достичь в этих областях высоких степеней. Но все Бестужевы по развитию их нравственной личности представляют образец сосредоточия самых замечательных черт передовых людей нашего времени. Все они — патриоты и, следовательно, не способны стоять в стороне от свершения судеб своего отечества...

— Уж не прикажете ли и мне искать путей к вступлению в Тайное общество, о существовании которого шепчутся по всем укромным уголкам столицы? — глухо спросил Литке.

Штейнгель пристально посмотрел в его нахмуренное лицо.

— Это, сударь мой, дело ваших убеждений и совести.

Играя как-то с Сульменевым в шахматы, Головин неожиданно обратился к Литке:

— Скучаете по морю, господин лейтенант?

— Очень скучаю, Василий Михайлович, — искренне ответил Федор Петрович.

— Я и сам скучаю, — вздохнул Головин. — Право, на «Диане» или на «Камчатке» было куда интересней, чем в морском министерстве. Министр говорит, что я ему очень нужен. К сожалению, я не могу сказать обратного...

Сульменев сделал ход конем, и Головин опять углубился в созерцание шахматной доски.

За ужином он многозначительно сказал Наталье Петровне:

— Не вздумайте только сватать братцу невесту. Не хорошо оставлять молодую жену, когда идешь в дальнее плавание.

— Василий Михайлович,— обратился к нему Литке,— вы разве знаете что-нибудь обо мне? Не томите, скажите пожалуйста.

— Немного терпения, господин лейтенант.

Через несколько дней Литке срочной депешей вызвали в морское министерство. Маркиз де Траверсе, сославшись на отличные рекомендации, которым он в отношении лейтенанта Литке располагает, поздравил Федора Петровича с назначением начальником экспедиции, которая «по высочайшему повелению» должна направиться в Северный Ледовитый океан.

— Что не удалось в позапрошлом году лейтенанту Лазареву, должно удасться в нынешнем лейтенанту Литке,— сказал министр.— В вашем распоряжении будет военный бриг «Новая Земля».

— Я видел его в Архангельске,— сказал Литке,— однако не успел основательно с ним познакомиться...

— И тем не менее,— перебил министр,— я не сомневаюсь, что Головин не стал бы вас рекомендовать в начальники подобной экспедиции, если бы не был уверен, что вы отлично справитесь с возлагаемыми на вас обязанностями. Надеюсь, препятствий к выходу в море не имеется?

— Никаких, ваше высокопревосходительство. Хотя нынче...

— Само собой разумеется, что вам не ставится задачей осмотр всего Северного океана. Цель экспедиции — обозреть берега Новой Земли, определить географическое положение ее главных мысов, точную величину самого острова и измерить длину пролива Маточкин Шар,— если, конечно, этому не помешают льды или какие-нибудь иные вмешательства.

При последнем слове Литке едва сдержал улыбку. «Живет в России, руководит столь важным министерством, а русскому языку никак не научится»,— подумал он.

А министр, путая русскую речь с французской, продолжал давать указания о времени отправления в путь, о месте, с которого следует начать изучение Новой Земли, о продвижении в глубь берега и т. п.

В заключение он передал молодому начальнику экспедиции предписание, в котором говорилось, что, «имея пра-

во располагать курсами брига смотря по приметам, капитан его должен помнить о главнейшем попечении, которое заключается в сохранении самого брига и здоровья экипажа».

На прощанье министр не советовал оставаться зимовать на Новой Земле.

— Но, если обстоятельства вас к тому принудят, — прибавил он, — то, предусмотрев такую возможность, я распорядился погрузить на бриг избяной сруб с двумя... каминами.

Литке опять едва не рассмеялся: в его представлении возможная зимовка на суровом северном острове никак не вязалась с каминами — принадлежностью комфортабельного кабинета или гостиной.

На следующий день Федор Петрович получил в государственном Адмиралтейском департаменте книги, карты, хронометры, а также другие, могущие ему понадобиться в экспедиции, инструменты и стал готовиться к отъезду в Архангельск.

Родные и друзья тепло провожали Литке. Братья Бестужевы снабдили его географическими картами, которые хранились еще у их отца, Александр преподнес Федору Петровичу свой новый роман, а Николай — свои «Записки о Голландии».

Девицы Оленины подарили Федору Петровичу стихи Жуковского и рукописные вольнолюбивые стихи Пушкина, высланного за них в Кишинев. Наталья Петровна собственноручно за несколько дней связала для брата теплые гарусные носки и нагрудник из верблюжьей шерсти.

Сульменев не скрывал своей зависти.

— Поверь мне, друг Федор, — говорил он, — что я себе не мыслю большего наслаждения, нежели каждодневное и каждочасное продвижение вперед под распушенными парусами, гонимыми любым ветром — от едва уловимого дуновения зефира до буйного урагана. Не обижайся, Наташа. Ты и дети наши составляете отраду моей жизни, но, кабы мне было предложено встать вместо Федора на капитанский мостик «Новой Земли», благословил бы я вас от всей души и помчался бы в Архангельск с превеликой радостью!

— Право, Ваня, ты в некоторой степени напоминаешь мне шкипера Соколова, который уверяет, что

райское житье для людей было, когда всю землю покрывала вода. Помнишь, Феденька, как ты смеялся его рассказам?

Иван Саввич ласково погладил склоненную над рукодельем голову жены.

Федор Петрович видел, как повисли на ее ресницах слезинки и как она незаметно смахнула их мизинцем.

А Сульменев продолжал с увлечением:

— Напрасно англичане считают себя первыми мореплавателями. Нет, нет! Российский флот куда старше британского. Уже тысячу лет назад русские струги, ладьи и челны бороздили реки и моря. Еще летописец Нестор упоминал о судах, на коих Аскольд и Дир проникли в Золотой Рог и обложили Царьград. А походы на ту же Византию Олега и Игоря, когда русские корабли без числа покрывали собою море! А походы на Крым Святослава, а угон Владимиром Ярославичем двадцати четырех греческих галер, захваченных у берегов Черного моря!.. Плохо— ох, как плохо, что нет у нас истории всех морских походов, битв, изысканий, открытий, одним словом — нет у нас истории русского мореплавания, не знаем мы как следует даже имен наших мореходцев, не знаем всех открытых ими земель.

Сульменев помолчал, раскурил трубку и сквозь клубы синего дыма пристально поглядел на шурина.

— Вот выпало тебе на долю счастье обозреть неведомые еще земли и моря твоего отечества. Это большая честь, Федор. Помнишь свои отроческие мечты? Пришла пора осуществить их. Смотри, чтобы ни мне, ни Головинну не было за тебя стыдно, а сестрам и братьям твоим — больно...

Упаковав полученные в Адмиралтейском департаменте карты, книги и инструменты, Литке отправился на перекладных в Архангельск. Весна 1821 года была ранняя. Очистившись от льда в начале апреля, Нева спокойно катила свои воды к Финскому заливу. Но чем дальше отъезжал от Петербурга Федор Петрович, тем медленнее тащились сани: они то проваливались в талый снег, то завязали в грязи, то скользили по подмерзшему кособогу и едва не опрокидывались.

Казалось, утомительному пути не будет конца.

Но вот вдали показалась извилистая, блестящая под солнцем лента еще покрытой льдом Северной Двины, зо-

лотые маковки церквей, высокие мачты стоящих в порту кораблей... Проехали еще несколько верст, и перед глазами раскинулся древний русский город — Архангельск.

Он возник в XVI веке вокруг стоявшего здесь монастыря Михаила Архангела. Первые жители — стрельцы и «посадские людишки» — занимались торговлей, пушным и рыбным промыслом.

На Архангельских верфях с 1694 года по указу Петра Великого начали строить торговые и военные фрегаты, шлюпы, бриги, яхты, пинки, шхуны, плавучие батареи и канонерские лодки.

В 20-х годах XIX века Архангельск был одним из крупнейших русских портов. В нем почти всегда среди русских кораблей стояли суда под различными иностранными флагами, а на пристанях, в трактирах и на улицах слышался разноязычный говор заморских купцов и матросов.

Большую часть улиц зимой заносило снежными сугробами, среди которых пешеходы протапывали узенькие тропинки. Летом снег сменяла непролазная грязь или пыль, тучами вздымавшаяся при порывах ветра. В центре города на не в пример другим вымощенной улице находился губернаторский дом.

На базарной площади в огромном Гостином дворе купцы продавали ситцы и кумачи, бархат и сукно, кружева и коромысла, полотна и гармоники, собольи и беличьи меха, китовый ус и сало, треску, сельдь и т. п.

В Архангельске Литке посетил губернатора и других начальствующих лиц, имевших отношение к экспедиции, а затем занялся своим бригом.

Осмотрев «Новую Землю» и ознакомившись с экипажем, он остался доволен: судно имело хорошие мореходные качества. Ему было придано четыре гребных суденышка. Экипаж составляли опытные моряки. Бриг был вооружен тремя пушками, которые предназначались для сигналов и салютов.

Литке сделал подробную опись находившегося на бриге провианта и инвентаря. Научное оборудование составляли три термометра, ртутный барометр и один инклинометр. В кладовых судна, кроме хлеба, соли, крупы, муки и пресной воды, были также клюква, перец, чеснок, десять ведер рому, сто ведер сбитню, восемь пудов хрену и пр.

Четырнадцатого июля — в день выхода в море — Федор Петрович с первыми проблесками зари был на бриге.

Стоя на носу, он задумчиво глядел вперед, в серовато-голубую даль океана, едва отсвечивавшую малиновыми бликами еще невидимого солнца, и вспоминал «покушения россиян к отысканию новых земель в Ледовитом море».

Готовясь к экспедиции, Литке внимательно изучал эти предшествовавшие ему «покушения» и причины их неудач.

Некоторые из этих причин он считал основательными, другие относил за счет нерешительности командиров, неудовлетворительного оснащения кораблей и их слабых морских качеств.

«Лазарев утверждает, что берега Новой Земли недоступны, — размышлял Федор Петрович, — посмотрим, посмотрим... Лишь бы только выдержал трудности пути мой бриг да была здорова команда. Провизией судно снабжено хорошо, теплая одежда для экипажа имеется, противоцинготные средства, какие только можно было найти, взяты, штаб-лекарь Смирнов свое дело знает. Офицеры — лейтенант Лавров, мичман Чижев, штурман Федоров — дельные молодые люди... Матросы — отборные ребята».

Все приготовления к экспедиции были закончены, и «Новая Земля» направилась к устью Двины. По обычаю, из-за множества мелей и банок, скрытых в дельте реки, суда, выходявшие из Архангельска, до Мудьюгского острова провожали опытные лоцманы. Поднявшись на «Новую Землю», они прежде всего потребовали «по чарочке на расставаньице».

— В удовлетворении сего должно быть весьма осторожно, — предупредил Литке кладовщика, — меня предупредили, что меры на этот счет они не знают.

Однако и после нескольких чарок лоцманы искусно провели бриг по трудному фарватеру и, пожелав новоземельцам доброго пути, повернули свою лодку обратно.

Первые дни судно продвигалось медленно. Погода стояла туманная, капитан почти не покидал мостика. Только на третью бессонную ночь Литке решился все же спуститься в каюту и немного соснуть. Но едва он опустил голову на подушку, как почувствовал резкий толчок — бриг мгновенно остановился.

Федор Петрович выбежал на палубу. Не оставалось сомнения, что корабль сел на мель. Литке распорядился облегчить судно, сняв с него наиболее тяжелые грузы. В это время наступил отлив; бриг, обнажаясь все больше, стал крениться набок. Опасаясь, как бы он не перевернулся, командир приказал делать подставки под судно. «В малую воду,— вспоминал об этом случае Федор Петрович,— бриг обсох совершенно. Служители и офицеры ходили вокруг него по чистому песку. Судно, всем вооруженное, стоявшее на песчаном острове, внезапно, как бы неким волшебством, возникшим из бездны моря, не имевшего никаких видимых пределов, представляло зрелище единственное в своем роде. Остров вскоре долженствовал опять покрыться водою, и нельзя было предвидеть, что́ тогда будет с бригом... Все меры к спасению его были приняты, и при полной воде был он благополучно стянут с мели, после нескольких жестоких ударов, не причинивших ему, однако же, никакого повреждения».

Через неделю после выхода из Архангельска бриг вступил в воды Северного Ледовитого океана. Погода стояла такая же пасмурная, да еще подули леденящие встречные ветры, не дававшие возможности продвигаться вперед до начала августа. Наконец попутные ветры понесли бриг к северо-востоку.

На утренней заре вахтенные доложили капитану, что на горизонте показалось неизвестное судно. Литке быстро взмошел наверх и схватил подзорную трубу. Не судно, а целый флот шел навстречу «Новой Земле»...

Когда с первыми лучами солнца туман стал рассеиваться, оказалось, что за «флот» приняли ледяные громады, плывшие непрерывной вереницей, одна за другой. Бриг повернул к югу.

На другой день путь снова преградили льды, шедшие сплошными полями на всем видимом в подзорную трубу пространстве.

Бриг начал лавировать, уклоняясь от льда: он шел то к югу, то сворачивал на восток, то брал курс на запад.

Иногда Литке казалось, что по широким разводьям можно продолжать курс на север, что вдали по этим разводьям плывут корабли с распущенными парусами, и баталер готовился отдать приветственный салют. Но призрачные «корабли» оказывались только громадными ледяными глыбами.

Темные разводья смыкались... Бриг поспешно менял курс, чтобы не быть разбитым о ледяную скалу или затертым в бескрайних ледяных просторах.

Таковыми же призрачными оказывались зачастую и контуры неизвестных берегов.

Когда же случалось увидеть подлинную землю, то достичь ее было совершенно невозможно из-за непреодолимых льдов.

Почти две недели судно провело в беспрестанной и безуспешной борьбе со льдами.

Настроение команды падало. Из матросского кубрика теперь не доносились веселые песни, не слышно было разразительного хохота, сопровождавшего обычно рассказы и шутки кормчего Смиренникова, выдавшего виды на своем веку.

Литке с глубокой морщиной на лбу, появлявшейся у него в минуты напряженного раздумья, шагал по палубе, заложив руки за спину.

Лекарь Смирнов перелистывал какие-то медицинские книги и требовал для своих лекарств спирту в подозрительно больших дозах:

— Нет, капитан,— сказал он как-то Литке,— нет, что ни говорите, а человеку земля дороже всего... Люди издревле плавают по морям и рекам. Придет время — они покорят и воздух. А все же милее и ближе земли, да еще родной земли,— ничего быть не может...

Экипаж не знал покоя ни днем, ни ночью, ни во время штиля, ни при ветрах; он все время был настороже: бриг двигался в густом тумане, и опасность удариться о невидимые подводные льды или наскочить на ледяную гору подстерегала его неотступно.

При штиле его относило и вплотную прижимало к краям ледяных полей, от которых часто приходилось отталкиваться шестами.

«И при дневном свете опасность была велика, а по ночам,— пишет Литке,— нас окружали со всех сторон мелькавшие сквозь мрак, подобно призракам, ледяные исполины. Мертвая тишина прерываемая была только плеском волн о льды, отдаленным грохотом разрушавшихся льдин и изредка глухим воем моржей. Все вместе составляло нечто унылое и ужасное».

Приближалась осень. Зная из опыта предшествующих мореплавателей, что задерживаться дольше в тех

широтах, где находился бриг (71—72°), не имеет смысла, Литке решил до следующего лета отложить дальнейшие попытки проникнуть к Новой Земле.

Но на третий день после принятого решения, когда «Новая Земля» поджидала благоприятного ветра для возвращения, неожиданно показалась неизвестная суша, на северной оконечности которой высилась куполообразная гора со снежной вершиной.

Все бросились к картам выяснять, что это за земля.

По карте государственного Адмиралтейского департамента приблизительно в этом районе должен был находиться мыс Бритвин, но очертания его на карте совсем не соответствовали этой неожиданно появившейся суше.

Кликнули Смиренникова, дважды побывавшего на Новой Земле. Он долго смотрел в подозрную трубу и наконец решительно заявил, что такого берега не припоминает, но возможно, что бриг находится у Новой Земли, неподалеку от пролива Маточкин Шар.

Пролежав ночь в дрейфе, «Новая Земля» стала продвигаться вдоль гористого берега к северу, надеясь найти Маточкин Шар. Сквозь облака виднелись хребты и утесы, покрытые снегом или желтеющие каменными грядками. Редкие морские птицы да вынырнувший морж или морской заяц были единственными живыми существами в этой мертвой стране. Береговая линия была изрезана бухтами, которые путешественники часто принимали за пролив. Мыс, замыкавший одну из бухт, Литке назвал в честь своего помощника, старшего лейтенанта, — мысом Лаврова. Продвигаясь все дальше к северу, увидели гору, похожую на церковь с очень высокой колокольней, — ее назвали горой Головнина, которого знал и уважал весь экипаж брига. Она находилась на 74° северной широты.

Идти дальше было опасно, и Литке приказал повернуть к югу.

Снова потянулись уже знакомые остроконечные вершины, дикие скалы...

Маточкин Шар, который, по описанию Розмыслова, должен был находиться именно в этих широтах, нигде не обнаружили, хотя, как оказалось впоследствии, дважды прошли мимо него.

По мере продвижения к югу, раза два заметили на берегу признаки человеческого жилья. Предполагая, что это

убежище потерпевших кораблекрушение, Литке приказал стрелять из пушки. Эхо многократно повторяло выстрелы, но люди возле хижин не показывались.

Спустя некоторое время в одной довольно большой губе увидели две избы. Намерение рассмотреть их поближе едва не привело судно к гибели: приближаясь к берегу, оно наскочило на подводные камни. Пришлось с осторожностью удалиться в открытое море.

Все чаще попадались льды. Сперва одиночные, они были как будто разведчиками надвигающейся ледяной армады; потом целые стены льда, зеленовато-прозрачные и таинственные, стали возникать перед бригам, преграждая ему путь.

Температура резко упала. Почти не переставая, валил крупными хлопьями снег, все больше и больше суживая видимый горизонт.

Надвигалась зима.

Рассчитав, что от места, в котором находился бриг, до Архангельска плавание должно длиться не менее месяца, Литке твердо решил отказаться от всяких дальнейших поисков земли и, как только удалось выбраться из льдов, пошел к юго-востоку.

Прошли мыс Канин, Орлов Нос, Святоносскую губу и другие географические пункты. Литке старательно исправлял неправильность их положения на карте.

Через Белое море из-за непрерывных встречных ветров плыли около недели.

Наконец показалась Никольская башня, где два месяца тому назад архангельские лоцманы пожелали «Новой Земле» благополучного плавания.

По обычаю, те же лоцманы, которые провожали корабль до Мудьюгского острова, выходили и встречать его.

Однако, к великой досаде всего экипажа, стремившегося как можно скорей сойти на берег, лоцманы не показывались. Попробовали привлечь к себе внимание стрельбой из пушек, но и тогда от берега не отошел ни один баркас. Стали жечь фалшфейеры — яркие, вроде бенгальских, белые огни — и это не имело успеха.

Идти без помощи опытных лоцманов было опасно, и скрепя сердце Литке решил ждать до утра.

На другой день, когда солнце стояло уже в зените, на брига услышали приближающуюся песню: от Мудьюгского острова шел к «Новой Земле» лоцманский баркас.

Русобородый, широкоплечий рулевой приветливо махал шапкой: экипаж узнал в нем лоцмана, который в свое время с таким искусством, умело обходя мели, вилия от бакена к бакену, делая зигзаги от одной стороны фарватера к другой, вывел их бриг в море. Знакомы были и лица его товарищей.

Как и два месяца назад, взойдя на корабль, русобородый поклонился в пояс и напомнил об обычае «починать дело с чарочки».

Судя по виду прибывших, чарочка ими была выпита уже не одна. В этот день, по словам лоцманов, в городской гавани происходила первая расторжка привозной морской и двинской рыбы, отмечавшаяся по обыкновению большим «гуляньем» рыбаков и всех причастных к морю тружеников.

Не удивительно, что лоцман путал баканы и вскоре посадил бриг на мель.

Тогда от берега Мудьюгского острова отчалил второй баркас — на помощь оплошавшим товарищам шли лоцманы, «гулявшие» на этом острове.

Литке надеялся, что прибывающая вода поможет свести бриг с мели. Но лоцманы не стали дожидаться прилива.

— Митрий, спускай футшток! — раздалась команда.

— Есть спускать футшток! — откликнулся невидимый Митрий, и цигарка осветила отмеченную на футштоке глубину.

Через несколько минут снова звучала команда, и снова откликались хриплые голоса Митрия, Архипа и Прошки, старательно промерявших глубину фарватера и указывавших, куда класть руль.

В непроглядной тьме они вели судно, изредка переругиваясь по-русски, по-английски и однажды, к большому удивлению Литке, по-испански.

Наконец «Новая Земля» бросила якорь в южной бухте Мудьюгского острова.

— Вот пример соединения различных качеств архангелогородского лоцмана, — сказал Литке, когда все, усталые и взволнованные последним переходом, уселись за стол, — невоздержанность в вине и замечательное знание лоцманского дела, соединенное с поразительной решительностью!

На другой день бриг пришел в архангельский порт,

Зная, что в Петербурге будет трудно спокойно привести в порядок материал, собранный за время плавания, Федор Петрович, под видом необходимости надзора за разгрузкой брига, целых три месяца оставался в Архангельске.

Наняв комнату, он, к удивлению хозяев, по целым дням, а иногда и далеко за полночь просиживал над грудой бумаг и над большими листами, на которых разноцветными карандашами старательно вырисовывал различные линии и кружочки.

Литке подводил итог своим наблюдениям: он вычерчивал береговую линию Новой Земли в той части, которую ему удалось увидеть, сравнивал свою карту с Поспеловской, случайно попавшей к нему, и, находя в них сходство, радовался правильности своих зарисовок и чертежей. Только изучив карту Поспелова, Литке понял, что несколько раз прошел мимо Маточкина Шара, не заметив его. Почти все пункты, лежащие южнее Маточкина Шара, совпадали у обоих исследователей. Севернее Маточкина Шара экспедиция Поспелова не поднималась, и отрезок берега от этого пролива до Крестовой губы Федор Петрович проверил по картам «промышленных людей»...

Подводя итоги своего первого северного плавания, Литке не сваливал неудачи на суровую природу Арктики. Он признавал собственные ошибки, неправильность расчетов, поздний выход в плавание. Главным же своим недостатком считал отсутствие опыта и слабую подготовку. И все же он с удовлетворением отмечал, что экспедиция значительно пополнила карту Новой Земли.

Свой доклад морскому министру Литке закончил такими строками:

«При всем неуспехе своем, экспедиция сия доказала совершенную неосновательность мнения, будто бы берега Новой Земли от накопившихся годами льдов сделались недоступными, ибо мы нашли оные от широты 72° к северу на неопределенное расстояние, может статься до самой северной оконечности, от льдов совершенно свободными...»

Глава IX

Не успел Федор Петрович привести в порядок материалы, собранные в экспедиции 1821 года, как последовало распоряжение морского штаба о ее продолжении в

1822 году. Так как море вокруг Новой Земли освобождалось от льда не раньше июля, инструкция государственного Адмиралтейского департамента предписывала экспедиции в первую половину лета осмотреть берега Лапландии. Затем следовало промерить глубины всех якорных мест Лапландии, испытать грунт, изучить уровень приливов и отливов, направление течений, зарисовать береговую линию и виды встречных земель. Требовалось также, чтобы экспедиция провела астрономические наблюдения, исправила ошибочное положение отдельных островов на старых картах и описала характер встречных льдов.

— Кроме этого,— добавил читавший инструкцию адъютант морского министра,— надлежит вам, Федор Петрович, четыре раза в сутки записывать показания термометра и барометра, а при высадке на сушу наблюдать по инклинатору наклонение магнитной стрелки. Его высокопревосходительство маркиз де Траверсе поручил мне обратить на это ваше сугубое внимание.

Литке пожал плечами. «Почему именно на это я должен обратить сугубое внимание — одному господу богу известно», — подумал он.

— Остальное извольте дочитать сами.— И адъютант протянул Федору Петровичу глянцевитый лист бумаги.

В инструкции еще указывалось, что капитан должен записывать в судовой журнал «все происшествия, кои будут случаться в период экспедиции от начала до конца, не оставляя ничего без замечания, внося в оный всё, что покажется новым и стоящим любопытства не только по морской части, но и вообще во всем том, что служит к распространению познаний человечества».

— Однако обширность заданий приводит меня в смущение,— вырвалось у Литке.

— Не скромничайте, Федор Петрович.— Адъютант слегка дотронулся до плеча собеседника.

— А когда же к Новой Земле? — спросил тот.

— Извольте прочитать до конца.

«От берегов Лапландии,— гласила инструкция,— надлежит вам плыть в конце июля к Новой Земле, с тем чтобы непременно достигнуть ее северной оконечности и, определив широту оной, возвратиться к Маточкину Шару. Из сего пролива произвести обследование северо-восточного и юго-восточного берегов острова».

Наталья Петровна была искренне огорчена радостью, с которой ее любимый брат собирался в новую экспедицию.

— Ты вовсе отбился от нашей семьи,— не удержалась она от упрека.

— Полно, Наташа, ты говоришь так, будто я от нечего делать собираюсь на прогулку,— возразил брат.— А что касается твоей семьи, то я уже давно считаю ее и моею. Но пойми, море — моя стихия.— И он с таким энтузиазмом стал рассказывать сестре о предстоящей экспедиции, что в конце концов она и сама заинтересовалась ею. Узнав, что в составе экипажа находится шкипер Соколов, тот самый, который катал когда-то Федю в своем ялике по Галерной гавани, Наталья Петровна обрадовалась: шкипер с давних пор был искренне привязан к теперешнему своему начальнику.

Снова по весенней распутице отправился Федор Петрович в Архангельск. Некоторые речки тронулись, и их приходилось переходить вброд, держа над головой ящики с поклажей.

Приближаясь к Архангельску, Литке узнал от жителей попутных деревень, что Двина уже вскрылась. Для середины апреля это было необычно рано.

«Значит, можно будет сразу вывести бриг в море,— рассуждал Федор Петрович.— Только бы не потребовалось большого ремонта».

Однако, к огорчению всего экипажа, ремонт потребовался капитальный. Когда же «Новая Земля» была готова к плаванию, как нарочно, задули встречные ветры. Даже хладнокровный Литке начал терять терпение.

— Тебе не кажется, Федя, что наш лодман больно уж осторожен? — спросил Федора Петровича его брат Александр, который в качестве мичмана тоже отправлялся в экспедицию.

— Нет, не кажется,— ответил Литке, но голос его звучал неуверенно.

А через несколько дней на борту брига появился новый лодман.

— Будем сниматься,— приказал Литке.

Вздулись паруса, и бриг, где дрейфуя, где лавируя, поплыл вниз по реке.

Белое море встретило его сильным ветром, на вторые сутки перешедшим в жестокий шторм. Когда густой ту-

ман немного рассеялся, с палубы увидели лодчонку под парусом, которая как будто бы в отчаянии барахталась среди разъяренных волн.

— Надо оказать помощь, — сказал Литке.

Но сидящие в лодке прокричали, что они плывут на крестины и в помощи не нуждаются. Не было на бриге ни одного человека, который не подивился бы смелости и жизнерадостности приморских жителей, отправившихся в гости в такой шторм.

— Кто у моря-океана возрос — тому ничто не страшно, — уверенно проговорил лоцман.

«Новая Земля» взяла курс к Канину Носу, намереваясь проверить сведения, полученные о нем во время предыдущей экспедиции.

Однако изменившееся направление ветра вскоре заставило бриг повернуть к Иоканским островам, лежащим по западную сторону Святого Носа. После двухнедельного плавания высадились на остров Сальный.

Изумрудно-зеленая трава, цветущая морозка и земляника показались путешественникам сказочно прекрасной растительностью, а дикий лук — изысканным лакомством. Лука здесь росло много, и корабельный повар сделал большие запасы его.

Посреди острова высился крест с надписью: «1786 год». Слова, стоявшие под этими цифрами, совсем стерлись, и разобрать их не удалось.

Литке прежде всего начал искать подходящее место для своей походной обсерватории. Он нашел его у ручья, впадающего в маленькую гавань, удобную для лодок, которые должны были курсировать между кораблем и берегом. Когда все необходимые для наблюдений приборы были перевезены, Литке отрядил лейтенанта Лаврова и штурмана Софронова для описи берегов Сального, а сам занялся астрономическими наблюдениями, изучением отклонения магнитной стрелки, возвышения уровня воды во время прилива и спада во время отлива.

Вечером все собрались у костра и варили уху из свежей семги. Дым разгонял мошкар. Неожиданно от берега подошла группа лопарей. С ними был русский священник в длинной рясе с развевающимися из-под широкополого «полуцилиндрия духовного образца» светлыми волосами. Он радостно приветствовал моряков и с удовольствием принял приглашение разделить их трапезу.

За ужином отец Иоанн (так звали священника) с интересом расспрашивал, кто состоит ректором духовной академии, справляются ли в столицах посты, все ли говорят и т. п. На эти вопросы никто толком ответить не мог, и Литке попросил священника рассказать о нравах и обычаях местных жителей. Отец Иоанн, оказавшийся хорошим рассказчиком, сообщил, что остров Сальный принадлежал в конце прошлого века ворожее, имевшей дар «предвещать» судьбу младенцев, еще находящихся во чреве матери. Когда царица Наталья Кирилловна, жена Алексея Михайловича, была беременна, ворожея эта предсказала, что у царицы родится сын, который прославит Россию превыше всех прочих царей. В награду за предсказание ворожея получила этот остров, приносящий тогда большой доход, так как на нем водилось множество тюленей.

Пока священник рассказывал, лопари сидели молча, сложив на коленях руки. Уловив паузу, один из них подошел к отцу Иоанну и твердо произнес:

— Плыть время, батюшка. Нам до становища еще три воды плыть...

Отец Иоанн объяснил, что лопари считают расстояние «водами», то есть числом попутных шестичасовых течений. Каждая «вода» составляет примерно тридцать верст.

На опись Иоканских островов ушло несколько дней. Во время обследования придумывали названия для некоторых из них. Самому большому дали имя Безыменный. Другой остров прозвали Обсушной, по той причине, что риф, которым он соединяется с берегом, в малую воду высыхает настолько, что по нему, как по мостику, перебегают олени. Самые маленькие островки, расположенные в устье речки Иоканки, были названы Усть-Иоканскими.

Когда «Новая Земля» готовилась отплыть от острова Сального, из-за берегового уступа показалась ладья, над которой высилось «полуцилиндрие» отца Иоанна. Увидав бриг, он приветливо замахал руками, а сопровождавшие его лопари дружно налегли на весла.

Ладья вплотную подошла к бригу. Отец Иоанн после напутственного благословения и сердечных пожеланий вдруг попросил:

— А не найдется ли у вас какой-либо книжицы светской для моей пощады? Ее медом не корми, а только предоставь роман, в коем речь шла бы о высоких чувствах.

Младший Литке спустился к себе в каюту и вынес оттуда «Бедную Лизу» Карамзина и последнюю повесть Бестужева-Марлинского.

Передавая их отцу Иоанну, он сказал:

— В сих произведениях имеются и чувствительные сердца, и неслыханные страсти, и романтические подвиги... Смею вас заверить, что матушка пощада не один раз прольет над ними слезу.

Литке исследовал обширный район Мурманского берега от мыса Святой Нос на северо-востоке до мыса Клятвы на северо-западе. Он измерил на этом пространстве всю береговую линию, глубину и размеры каждой бухты, исследовал ее грунт, направление господствующих здесь ветров и течений, проходимость проливов между островами для разного рода судов и указал наиболее правильный курс, которого должны держаться мореплаватели при той или иной погоде, в те или иные часы суток, в то или другое время года. Затем он занялся описанием суши, прилегающей к этой части океана.

В двух милях от устья Иоканки, в бухточке, окруженной горами, находилось лопарское селение. Литке подробно расспросил у жителей и записал, где охотятся лопари, какую рыбу едят, какую продают, где пасут оленей летом и зимой, откуда приходят к ним за семгой и мехами ладейщики, где лопари пилят сосну для выделывания своих, похожих на корыто, кережек-санок, как устраивают вежи — конусообразные жилища из хвороста и ваlejника, покрытые дерном и мхом.

В начале июля «Новая Земля» отправилась к Канину Носу.

В пути экипаж любовался великолепием полуночного солнца, и Литке отметил ошибочность указания Мертенса, что «на полуночном меридиане солнце сиянием своим подобно бывает луне».

«Оно, конечно, светит не столь ярко, как в ясный полдень, — записал Литке, — но сияет всегда, когда оно мало возвышено над горизонтом. В полночь оно сияло во всем своем блеске».

Хорошая погода стояла недолго. Неожиданно вокруг брига за клубился густой туман. Солнце едва проглядывало сквозь него тусклым белесоватым пятном. Туман сопровождался полным штилем, и весь экипаж томился от безделья. Однако Федор Петрович умел найти себе занятие при любых условиях. Он читал книги, взятые из отлично составленной судовой библиотеки, исправлял ошибки в чужих и ранее составленных собственных картах.

К себе самому как к командиру судна Литке относился с тою же требовательностью, как и к любому члену экспедиции.

Однажды, когда «Новая Земля» стояла на мели у одного из Семи островов, внезапно налетевший ураган грозил разбить судно в щепы. Вспоминая позже о своих распоряжениях во время опасности, Федор Петрович дал им резкую оценку:

«Я приказал травить канат и тем едва не погубил всего дела. До скалистого берега оставалось не более кабельтова¹. Уже были принесены топоры, но расторопность и ревность людей избавили нас от неминуемой беды. Матросы успели поднять якорь и отойти на глубокую воду».

Сходя на берег, Федор Петрович проявлял интерес не только к его географическому положению и природе. Внимание его неизменно занимали и люди, населяющие эти земли.

На островах Харлова он подметил, что лопари при ловле семги и пикшуя используют в качестве приманки мелкую рыбешку — «песчанку», которая ловится крайне оригинальным способом. После отлива лопари вилами разгребают песок и почти на каждом шагу находят зарывшуюся в нем песчанку. Рыбу хватают и швыряют обратно со всего размаха, чтобы оглушить. Если не сделать этого, песчанка зароется еще глубже.

В бухте Щербиниха Литке участвовал в лопарской охоте на зайцев, в бухте Ринда собирал вместе с поморками грибы. Во всех лопарских селениях моряков принимали с большим радушием, и они имели возможность отведать любимые лопарские кушанья.

На острове Кильдине старики лопари пожаловались Федору Петровичу на купца Попова. Этот купец развел

¹ Морская мера длины, равная 185,8 метра ($\frac{1}{10}$ морской мили).

огромные стада оленей, которые паслись без всякого присмотра. Попов разрешал лопарям употреблять оленину в пищу при условии, что за каждый пуд оленьего мяса лопари должны давать ему пуд рыбы и, кроме того, возвращать оленью шкуру. И не было случая, чтобы лопари обманули купца.

С Поповым Федор Петрович познакомился в городе Кола, куда отправился на шлюпке с несколькими офицерами и гребцами, чтобы сдать почту и пополнить запасы продовольствия.

— Нам, русским, следует всячески искать доверия и расположения поморов, а вы жестоко их эксплуатируете, — сказал Попову Федор Петрович.

— Помилуйте-с, — возразил купец, — какая же эксплуатация, ежели я при всяком случае отпускаю им в пользование моих олешек и взимаю за такую мою доброту рыбешкой, коей море полным-полно.

— А я бы на месте лопарей безо всякого вашего разрешения брал оленей, сколько им надобно.

— Буде лопарь похитит хоть единого из моих оленей, — нахмурился купец, — выловлю все оное зверье и вовсе перестреляю. Так-то милостивый государь мой...

Городничий Колы оказывал экспедиции всяческое содействие в закупке продовольствия и даже устроил парадный обед для офицеров. Хозяева, в домах которых остановились гребцы-матросы, не захотели отставать от губернатора в гостеприимстве. Вследствие этого Литке пришлось поутру собирать своих матросов в разных концах города.

Описывая образ жизни кольских обывателей, Литке попутно критикует петербургское общество:

«Чиновничество и купечество кольское ведут образ жизни мало различествующий от столичного. Они так же сходятся по вечерам на партию бостона или виста. Так же заботятся о происшествиях в Греции и Новом Свете, узнавая о них только тремя неделями позже жителей Петербурга. Они не имеют недостатков в потребностях, необходимых при политических прениях: напитки и колониальные продукты, которые они получают из Архангельска и отчасти из портов Норвегии, у них немногими процентами дороже, чем в сих местах».

К этим рассуждениям Федор Петрович сделал примечание:

«Заниматься политикой научили колян англичане, которые в 1809 году останавливались в Екатерининской гавани и посетили их на двух вооруженных шлюпах. Города и жителей англичане не тронули, но сожгли несколько ладей. Коляне приготовились сделать англичанам достойный отпор, как только те вновь покажутся. Однако ж англичане больше не приходили».

Морякам не хотелось уходить из гостеприимной Колы. Из-за еще не выветрившегося угощения гребцы дремали над веслами, и шлюпка то и дело натывалась на мель.

Убедившись, что люди не способны грести, Федор Петрович приказал пристать к берегу. Матросы тотчас же упали на траву и заснули мертвым сном. Под вечер их разбудила веселая песня. Пели ее кольские девушки-«моршницы». На этих местах росла знаменитая «айновская» морощка, которую отправляли в Петербург «к высочайшему столу».

Девушки затеяли пляску, игры. Матросы, забыв об усталости, с увлечением играли с ними в горелки.

Обстоятельно описав все попутные бухты и губы Кольского залива, Литке особенное внимание уделил Екатерининской гавани. Об англичанах, неоднократно посещавших эту гавань, Федор Петрович не без злой иронии записал: «До какой степени английские мореходцы сведущи в положении не только своих, но и чужих гаваней, можно судить по такому случаю: капитан некоего английского судна сознательно поставил свой бриг в полную воду на риф. Он знал отлично, что во время отлива вполне успеет отремонтировать оное».

В Екатерининской гавани моряки видели остатки строений середины XVIII века, которые назывались «казармами» в память стоявшей здесь некогда русской эскадры.

Наступил август, и Литке решил отправиться к Новой Земле, хотя по инструкции Адмиралтейского департамента бригу надлежало обследовать еще остров Витсена. В реальное существование этого острова Федор Петрович не верил, о чем и записал в судовом журнале: «На одной только карте, приложенной к описанию Северных

рыбных промыслов, нашел я замечание, что остров сей открыт в 1688 году, но в тексте о нем ни разу не упоминается. В почтенном древностию своею Голландском Зеефакеле, над островом Витсеном изображен корабль, а возле него шлюпки, гоняющиеся за китом. Сие делает вероятным, что какой-нибудь из китоловных кораблей, которые около 1688 года не ограничились еще Шпицбергом и Баффиновым заливом, но простирали поиски свои иногда далее к востоку, приняв туман за землю, что, как известно, в возвышенных широтах случается весьма часто, по возвращении в Голландию, сообщил мнимое открытие соотечественникам своим».

Литке обратил внимание еще и на то, что ни рыбопромышленники, пересекающие океан в месте предполагаемого расположения острова, ни Лазарев не видели здесь признаков земли.

В густом тумане бриг осторожно, но неуклонно продвигался к Новой Земле. На заре пятых суток впервые увидели берег с выделяющейся куполообразной горой.

— Вон и бухта Безыменная,— подтвердил Смиренников, который и на этот раз находился на бриге,— и островок посередине!

Увидя по северную сторону горы, которую стали называть «Первоусмотренной», новую губу, Смиренников закричал:

— Не сомневайтесь, ваше высокоблагородие, не сойти мне с места, коли это не Грибовая губа.

— А мне кажется, что мы находимся против устья Маточкина Шара,— заявил Александр Литке.

Старший брат молчал.

— Дозволь исследовать! — попросил Александр.

— Ну, что ж, отправляйтесь со штурманом,— проговорил Литке.

На этот раз предположение Смиренникова подтвердилось: это была, действительно, Грибовая губа, а не Маточкин Шар, до которого, сообразуясь с прошлогоднею картою, плыли вдоль берега еще часов восемь.

Смиренников был горд, что первым обнаружил верные признаки пролива.

— Здорово, Паньков! — заорал он во все горло при виде низенького беловатого островка, лежащего под самым берегом,— здорово, старый знакомый! Я на этом острове целое лето прожил, каждую его ложбинку помню. В ско-

рости и мыс Столбовой покажется, и еще островишко будет — Матюшев, а там и Маточкин...

Только стоя у самого входа в пролив, Литке понял, почему в прошлый раз не заметил его устья: слишком близко створялись между собой подходящие к самым берегам пролива расположенные по обеим его сторонам горы и мысы Черный и Бараний.

Произведя наблюдения, Литке нашел, что Розмыслов неправильно указал на карте широту Маточкина Шара.

С каждым часом пребывания у пролива погода, до того благоприятствовавшая исследованию, ухудшалась. Барометр падал, сгущался туман, весь небосклон заволокло коричневыми тяжелыми тучами.

Все предвещало бурю, и надо было торопиться уходить от берега.

— Значит, ваше высокоблагородие, не будем заходить в пролив? — заглядывая Литке в глаза, спросил Смиреников.

— Я просил называть меня по имени и отчеству, — строго сказал Литке. — Заход в пролив отложим до другого раза, — и, указав на скалистые берега, добавил: — Соседство больно неприветливое...

Под хлынувшим проливным дождем, при усиливающихся порывах ветра, бриг взял курс на север.

Когда небо слегка посветлело, Литке прикрепил к столу карту и стал зарисовывать линию берега.

«Новая Земля» медленно продвигалась к северу, Литке наносил на карту берег, никем до сих пор не исследованный, и тут же давал названия заливам, мысам и островам.

Залив у мыса Сухового был назван именем сухощавого штурмана Софронова, низменный округлый мыс — именем второго штурмана, приземистого крепыша Прокофьева. Одиноким остров Литке назвал в честь своего друга, который в это время путешествовал на северо-востоке Сибири, островом Врангеля, а губу у северной оконечности Новой Земли — губою Сульменева. Высокой горе, похожей на военную палатку, было дано имя Крузенштерна, «сколь славное в ученом мире, столь же драгоценное для всех знающих ценить достоинства, соединенные с благородством души».

За тремя островами, названными островами Панкратьевых, встретились первые льды.

Барометр все падал, но бриг шел к северу. В каждом вновь показывающемся мысе моряки видели самую северо-восточную оконечность Новой Земли.

Наконец показался крутой мыс, занесенный снегом. По мнению Литке, это был мыс Желания, показанный на корабельных картах как самая северная оконечность Новой Земли. Тщательно определив широту и долготу мыса¹, Федор Петрович решил обогнуть Новую Землю с севера и пройти в Карское море.

Однако чем ближе к ночи, тем чаще стали встречаться густые льды. Наступивший мрак затруднял ориентировку.

Когда рассвело, надежда пройти в Карское море рухнула: перед бригом расстилалась необозримая ледяная пустыня с выпирающими из нее во множестве остроко-нечными ледяными утесами.

В густом, как вата, тумане бриг при полном штиле повернул на юго-запад и стал вслепую продвигаться к Маточкину Шару.

Приходилось часто промерять дно, изобилующее ме-лями и подводными скалами, и напряженно прислуши-ваться к отдаленному треску разбивающихся льдин.

В эти дни Литке писал на страницах своего дневника: «Пустота, нас окружающая, превосходит всякое описание. Ни один зверь, ни одна птица не нарушают кладбищен-ской тишины. К сему месту можно по всей справедли-вости отнести слова стихотворца:

И мнится: жизни в той стране
От века не бывало...

Чрезвычайная сырость и холод вполне соответствуют такой мертвенности природы. Термометр стоит ниже точ-ки замерзания. Мокрый туман проникает до костей. Все это вместе производит неприятное впечатление на тело, равно как и на душу. Мы начинаем уже воображать, что навсегда отделены от всего обитаемого мира. Невзирая, однако ж, на то, со свойственной русским мореходцам бес-печностью, пели и забавлялись по обыкновению, сколько позволяли обстоятельства».

¹ Литке ошибся, приняв за мыс Желания мыс Нассау, пока-занный под этой широтой на карте Баренца.

Рассказы Смиренникова о пребывании у печорских туземцев действительно вызывали у матросов взрывы хохота.

— По совести говорю вам, братцы, никак я не могу понять, почему эти самые самоеды до такой степени своих женщин не уважают. Упаси бог, переступит самоедка рыбацкие или охотничьи снасти! Мужик ни в какую не пойдет с такими снастями на лов, покуда не «очистит» их. На сей предмет кладет он рядышком две головешки, на них кусок оленьего сала, а на него, поверх звериной шкуры, — снасти, и давай окуривать да покрикивать, будто ворон: кар-кар-кар! И эдак ручищами, будто птица крыльями, машет, — рассказывал Смиренников.

Шкипер искоса поглядывал на Смиренникова, своего постоянного конкурента в сочинении разных небылиц.

— А кормят женщин хуже, нежели упряжных собак. Правда, бить не бьют, — продолжал Смиренников. — А до чего честный народ! Уж если самоед что пообещает, обязательно выполнит, особенно если съест собачье сердце.

— Зачем? Для чего? — посыпались вопросы.

— Клятва у них такая, — веско проговорил шкипер. — Съест самоед вареное собачье сердце, а потом берет в зубы медвежью губу и говорит: «Как я кусаю твою губу, так ты меня искусай, если я солгу». Белый медведь у них — самый почетный зверь. Они и кости его не бросают, а в землю зарывают... Чудной народ, а правдивый, — закончил он.

Когда бриг достиг Маточкина Шара, Федор Петрович с обоими штурманами, братом и доктором Смирновым сошел на берег у Староверского становища. На одном берегу речки Маточки моряки увидели опрокинутые рыбацьи карбасы и растянутые невода, а на другом — полуразвалившуюся избу. Неподалеку от нее стояло несколько крестов. Следуя обычаю, Литке распорядился поставить крест и в память пребывания здесь «Новой Земли».

Экипажу хотелось поохотиться, но никто не видел ни птицы, ни зверя. Собрали только несколько образцов растений и камней.

Вечером было решено через Маточкин Шар не идти, так как приближалась осень и для тщательного описания пролива не хватило бы времени. Литке приказал взять курс на юг, с тем чтобы обследовать южное побережье

Новой Земли и остров Вайгач. В описании Маточкина Шара на карте Розмыслова Литке исправил только одну ошибку — в определении широты.

В эти дни весь экипаж обсуждал, откуда произошло название «Маточкин Шар».

Многие уверяли, что «шаром» мореходы называют всякий пролив. Штурман Софронов возражал:

— Проливы, соединяющие одно и то же море, имеют совсем иное название — салмы.

— Может быть, это самоедское слово? — спросил Литке.

— Никак нет, — отвечал Смиренников, — от самоедов я его ни разу не слыхал.

Такие же споры вызвало и слово «Маточка». Одни уверяли, что оно означает «речка», другие говорили, что по всей Архангельской губернии «маточками» называют маленькие деревянные компасы.

Из-за штителя бриг почти не двигался. Неожиданно увидели моржа, вынырнувшего у самого судна. Смиренников схватил ружье и выстрелил. Морж исчез. Все всматривались в море, но поверхность его оставалась пустынной.

— Ничего, ничего, — шептал Смиренников, — всплывет. Непременно всплывет...

В самом деле, вскоре показалась голова раненого моржа. Он беспрестанно окунал ее в волны и пропускал сквозь ноздри фонтаны воды. Смиренников вопросительно взглянул на Литке.

— Догнать на шлюпке, — приказал тот.

Погоня за моржом продолжалась довольно долго. Он прятался в волнах, нырял и выплывал там, где охотники совсем его не ожидали. В него попало несколько спиц и носков¹, но зверь еще был жив. Наконец Смиренников добил его ловким ударом острого носка.

Через четверть часа морж лежал на палубе. Глаз, в который попала пуля, успел вытечь и закрыться плотной, как клеенка, пленкой. Судя по клыкам, это был молодой морж, однако из него натопили больше шести пудов сала.

— Матерый бы моржище вышел, кабы до старости дожить довелось, — заметил Смиренников.

¹ Спицы и носки — приспособления для охоты на моржей.

Следующие ночи были ясные. Звезды и луна сияли так, что вахтенные приняли восходящую Венеру за зарево пожара. По небу каждые две-три минуты перекидывались гигантские сполохи яркого северного сияния. До самого утра экипаж оставался на палубе, любуясь его феерической красотой.

27 августа бриг подошел к мысу Гусиному, возле которого едва не погиб год назад.

Большой залив, лежащий между этим мысом и мысом Бритвин, Литке занес на свою карту под именем залива Моллера.

— Только бы господин начальник Морского штаба не посчитал сего к нему внимания за желание смягчить вину малой успешности нашей экспедиции, — сказал Федор Петрович брату.

— Будто он тебя не знает, — пожал плечами Александр Литке. — Всякому ясно, что в его лице нами отдана честь Морскому штабу.

— Это-то так, дружок, — задумчиво ответил Литке. Описать южный берег Новой Земли не пришлось: не успел бриг отойти от Гусиного мыса, как поднялась буря.

Ранняя полярная осень с ураганными ветрами и штормами, с густыми туманами и холодными частыми дождями заставила Литке прекратить дальнейшие работы. Борясь с непогодой, «Новая Земля» пошла к Архангельску, куда прибыла в начале сентября 1822 года.

Взяв с собою материалы, добытые в экспедиции, Федор Петрович отправился в Петербург.

Глава X

Высшее начальство осталось довольно результатами второй экспедиции, и весь экипаж «Новой Земли» был представлен к наградам. Однако непредвиденные обстоятельства чуть не помешали дальнейшей деятельности Федора Петровича.

Во время его отсутствия одна из сестер Литке — Елизавета — вышла замуж. Желая воспользоваться своей долей из скромного отцовского наследства, она обратилась к опекуну — дальнему родственнику, сенатору Болгарскому. Тот ответил дерзким письмом, в котором сообщал, что

отказывается от каких бы то ни было в отношении ее обязательств.

Тогда Елизавета Петровна написала жалобу матери царя Александра I Марии Федоровне. Делу дан был ход. В ответ на запрос Болгарский изобразил Елизавету Петровну «злостной стяжательницей, которая из-за строптивости права и необузданности языка возвела сущую напраслину» на него, «человека почтенного и всеми уважаемого».

Это письмо было переслано Елизавете Петровне. Оскорбленная, она обратилась к Федору Петровичу, прося защиты.

Прочитав письмо, Литке спрятал его в карман и несколько раз молча прошелся по комнате, потом сел к столу и стал быстро писать на вырванном из записной книжки листке.

Листок этот был на другой день получен Болгарским. Федор Петрович в непреклонной форме требовал от «господина подьячего до мозга костей сатисфакции за неучтивые выражения в отношении некоей молодой особы».

В планы бывшего «подьячего» никак не входило подставлять свою грудь под пулю дуэльного пистолета, и он отправился к начальнику Морского штаба Моллеру с жалобой на молодого офицера, который не имеет никакого почтения «ни к чинам, ни к сединам, что не может не внушать сомнений в его истинной благонадежности»,

Моллер немедленно приказал вызвать к себе Литке.

— Никогда не поверил бы, что серьезный офицер способен совершить столь опрометчивый поступок, — отчитывал он Федора Петровича. — Неужто вы не осведомлены о том, что Болгарский ныне уже сенатор — сиречь сановник, стоящий на страже государственного законодательства...

— Можно только сожалеть о законодательстве, на страже которого стоят подобные лица, — твердо проговорил Литке,

Моллер даже руками всплеснул:

— Да вы в своем уме? С кем вы вздумали тягаться! И когда?! Накануне назначения в третью экспедицию! Или житейское море для вас заманчивей моря Северного? В таком случае начальником экспедиции придется назначить лейтенанта Лаврова, а вас, сударь мой, посадить

под арест. В вояжах по Ледовитому океану Дон-Кихоты Ламанские ни к чему!

У Федора Петровича сжалось сердце.

— Что мне с вами делать? — спросил начальник штаба.

— Что вам будет угодно, ваше высокопревосходительство...

— Мне угодно принять должные меры, чтобы замять поднятую вами историю с этим нелепым вызовом. Мыслимо ли портить карьеру из-за такой малости... Ведь я представил вас к чину капитан-лейтенанта — и вдруг...

Узнав о происшедшем, Наталья Петровна пришла в необычайное волнение:

— Не хватает, чтобы ты рисковал не только карьерой, но самой жизнью из-за корыстолюбия этого «подъежого»! Бога ради, поезжай к Болгарскому, извинись — п делу конец!

Федор Петрович отрицательно покачал головой.

Тогда Наталья Петровна, поборов свою неприязнь к Энгелю, отправилась просить его уладить дело.

Словно сговорившись с Моллером, Энгель упрекал племянника в донкихотстве, легкомыслии и даже бретерстве.

— Подумаешь, какой Валентин! Он еще в юности нанес мне обиду из-за тебя, а сейчас из-за Елизаветы поставил на карту столь блестяще начатую карьеру!

Терпеливо выслушала Наталья Петровна брань по адресу любимого брата, надеясь, что в конце концов дядя все уладит.

Так и случилось.

О чем говорил с Болгарским Энгель — осталось тайной, но на другой день он снова приехал к сенатору уже с племянником и произнес за него несколько невнятных слов извинения.

— Ах, молодость, молодость... — начал было в ответ Болгарский, но дядя и племянник поспешили откланяться.

История эта была скоро забыта.

При новой встрече с Литке Моллер пожал ему руку и торжественно объявил:

— Повелено продолжить экспедицию вашу к Новой Земле, господин капитан-лейтенант. Рад первым поздравить вас с этим чином. Лаврова поздравьте с орденом святого Владимира четвертой степени, вашему брату по-

жалован орден святой Анны третьей степени. Остальному экипажу — единовременное награждение годовым окладом жалованья.

Литке поблагодарил.

— В сей, третьей, экспедиции вам надлежит, — продолжал Моллер, — определить широту и долготу острова Колгуева, закончить недовершенную в прошлый раз опись Лапландского берега до нашей границы со Швецией, выяснить точное положение мыса Желания и мыса Оранского, проверить длину Маточкина Шара, указанную Размысловым, описать Югорский Шар и Вайгачский пролив, а также самый остров Вайгач. Если обстоятельства позволят, — пройти в Карское море для описания восточной части Новой Земли. — Моллер подписал инструкцию и протянул ее Литке. — Все предначертания настоящей инструкции вы имеете право выполнять, сообразуясь со временем и обстоятельствами, по вашему собственному усмотрению.

Еще раз поблагодарив от своего имени и от имени экипажа «Новой Земли» за награды и вновь оказываемое доверие, Литке откланялся.

Чтобы не подвергнуться обычным неприятностям, связанным с путешествием во время весенней распутицы, Федор Петрович выехал из Петербурга, не дожидаясь, пока с колпинских заводов будут получены все заказанные для экспедиции инструменты. Захватив только самое необходимое, он двинулся в путь, — но и на этот раз дорога была тяжелая. Приходилось из саней переходить в телегу, из телеги в лодку... Путь лежал через ледяные равнины, поля и балки, на дне которых уже чернела весенняя вода.

В Архангельске следовало прежде всего найти лодманов для экспедиции. Архангельские моряки хорошо знали капитана Литке и относились к нему с большим уважением, поэтому из лодманов, желавших поступить на борт «Новой Земли», Федор Петрович мог выбрать лучших.

— Хоть я грамоте не шибко знаю, но, между прочим, прихожусь единокровным сыном Алексею Откупщикову, по прозвищу Пыха, — с достоинством сказал один из них. — Слышал, чай, про такого лодмана, ваше высокоблагородие? Его не то что вся округа беломорская знала, а ежели в море белые медведи встречались, то и те в пояс кланялись. Родитель мой, царствие ему небесное, до са-

мых Доходов¹ плавал... По всей Мезени первым мореходом славился...

— А что как сын не в отца? — спросил Литке.

— Коли сумлеваешься — дело твое, ваше высокоблагородие, — с тем же достоинством ответил Откупщиков и надел шапку, которую до этого держал в руках.

— Шуток не понимаешь, лоцман. Давай документ.

Второй лоцман отрекомендовался кольским мещанином — Матвеем Герасимовым.

Об этом прославленном моряке, носившем в петлице Георгиевский крест, Литке много слышал. Особенно известна была в морской среде история героического подвига Герасимова в 1810 году, когда мирные отношения между Россией и Англией были нарушены и англичане, учитывая отсутствие у России в то время сильного военного флота в водах северных морей, вели себя вызывающе. Нападая на русские торговые суда, они захватили в плен «Евплус Второй» — судно, везшее в Норвегию проданную ей рожь. Вел «Евплус» опытный мореход Матвей Герасимов. Воспользовавшись тем, что буксировавший его к берегам Англии военный корабль, по приказанию капитана, обрубил во время урагана буксирный канат, Герасимов арестовал английскую команду, запер ее в каюте и повернул свое судно в норвежский порт.

— Так ты и есть тот самый Герасимов? — приветливо улыбнулся Литке.

— Выходит, что так, — отвечал лоцман.

Застенчивая улыбка омолодила его точно из меди отлитое лицо.

— Любопытствую повидать Новую Землю, — сказал он просто и полез за пазуху доставать паспорт.

Успех экспедиции во многом объяснялся хорошей работой лоцманов, за что они и были награждены медалями после ее окончания.

На борту «Новой Земли» собрался весь старый экипаж. Новичками были только лейтенант Завалишин и штурман Ефремов.

Одиннадцатого июня 1823 года бриг вышел в море. В первые дни, как и в начале прежних экспедиций, погода мешала плаванию. Бриг попал в жестокий шквал, который едва не выбросил его на берег. Несколько раз судно садилось на мель. Потом наступил штиль, и бриг

¹ Так поморы называли мыс Желания.

беспомощно болтался на одном месте. Наконец подул желанный северо-западный ветер, и «Новая Земля» за три дня дошла до Иоканских островов.

Подробное описание морского берега — залива за заливом, мыса за мысом, губы за губой — Литке начал с Обсерваторской бухты, в которой еще сохранились колышки, которые в прошлом году крепили палатку. Менялась на картах исстари прочерченная береговая линия, исправлялись названия. С трудом догадался Литке, что Сванекрист, Светенноис, Конденоис, Панфалотки голландских географов — не что иное, как русские Ивановы кресты, Святой Нос, Канин Нос, Панфиловка.

«Из Белого моря уродцы сии были изгнаны картою генерал-лейтенанта Кутузова, — шутливо объясняет Литке, — прогнать их с берега, омываемого океаном, представлено было нам».

Бриг продвигался все дальше и дальше на северо-запад. Литке использовал каждую свободную минуту для научных наблюдений. С нетерпением ожидал он 26 июня: в этот день предполагалось затмение солнца. Федор Петрович раскинул на одном из Семи островов походную обсерваторию, приготовил инструменты, но ему не повезло: из-за наплывших туч не удалось увидеть ни затмения, ни даже краешка самого затмеваемого светила.

Это очень расстроило Федора Петровича, и он с необычным безразличием выслушал лейтенанта Завалишина, вернувшегося со своими спутниками после осмотра островов. Они сообщили о растительности, источниках пресной воды, состоянии грунта и силе течения во время прилива и отлива в проливах между этими островами.

Вопреки ожиданиям, погода наутро прояснилась, и корабль взял курс на глубокую Териберскую губу, в которой, по словам лоцмана, можно было вполне безопасно стоять «сколько хошь» на якоре.

Литке, Завалишин и штурман Ефремов сейчас же занялись всесторонним изучением нового места, а оставшая команда «Новой Земли», воспользовавшись небывало теплой погодой, быстро соорудила на берегу походную баню. Вымывшись, матросы перестирали все белье, вымыли палубу, мебель, высушили бочки и вновь наполнили их пресной водой.

При устье реки Териберки, впадающей в губу, исследователи нашли крупное рыбацье становище,

Федор Петрович разговорился с помором, который более полувека занимался промыслом. Старик с увлечением рассказывал о различных способах ловли рыбы. Он говорил о «ярусах» — двухверстной длины канатах, к которым прикрепляют на небольшом расстоянии одну от другой веревочки с крючками. Показывал, как наживлять на крючок целую рыбешку — песчанку, как спускать «ярус» на дно, сколько «вод», то есть сколько раз по шесть часов, держать его в море и т. д.

Сыновья его, коренастые бородачи, с ласковой усмешкой слушали своего престарелого отца, но поправлять его не осмеливались даже тогда, когда он, увлекшись, рассказывал о ловле наваги явно неправдоподобные вещи:

— И до того прожорлива рыбешка эта, что одна другую слопать силится. Потянешь из проруби одну, а за нею другая тянется, которая ей в хвост вцепилась, за другой — третья...

Литке обратил внимание, что лоцман Герасимов, который так уговаривал идти в Териберскую бухту, ходит сам не свой: все время озирается по сторонам, вздыхает, а за обедом почти не прикоснулся к еде. Вечером Федор Петрович вызвал Герасимова к себе в каюту и стал расспрашивать о причине его грусти.

Герасимов сперва отнекивался, но после того, как Литке, пожав плечами, с недовольством сказал: «Ну, что ж, ступай отдыхать», — лоцмана вдруг точно прорвало. С волнением, от которого и без того обветренное, красное лицо его сделалось багровым, Герасимов рассказал, что каждый камешек в Териберской бухте напоминает ему о пережитом пятнадцать лет назад несчастье. Тогда был у него здесь дом, была жена, веселая, работающая, домовитая и такая певунья, что, бывало, еще берег далек, а уж звонкий голос ее к самой ладье, на которой он с лова возвращался, будто на волнах приплескивался... Ладно жили, зажиточно... Своих детей не было — чужих сирот вскармливали-вспаивали.

— Как придет троицын день — престольный в становище праздник, — так во чьей избе пир горой? — вспоминал Герасимов. — В Герасимовой. У кого пироги всех румяней, рыбица всех жирней? У Герасимовой хозяйки. У кого брага хмельней? Всё у нас... В самый троицын день подошли к острову Кильдину три аглицких военных корабля и стали на якорь. Мы со свояком в ту пору за

китом гонялись. Отчалили от одного корабля, полсотни пушек на нем насчитали мы со свояком, два карбаса и легли курсом напрямик к нашему становищу. Мы за ними... Да где нам угнаться за военными гребцами! Карбасы будто на крыльях неслись. Как шли мы мимо Соловецкого становища, что на Кильдине с правой руки стояло, видим — вместо него только остатки срубов догорают. А когда стали к Териберке подплывать, увидели и над нею пожарище... И ярче всех моя изба пылает... Вот и забирает меня кручина, ваше высокоблагородие. Кабы знал, что так горько-то мне будет, не стал бы зазывать вас сюда... — Герасимов провел рукавом по глазам и торопливо ушел.

Литке открыл журнал и, изложив вкратце только что слышанное, прибавил от себя:

«Итак, теперь не подлежит уже сомнению, что все сии наездничества производимы были военными судами первой мореходной державы — державы, кичащейся наибольшим просвещением, правомыслием и человеколюбием! Кто бы мог это подумать? По принятым правилам народным, взять имущество неприятельское позволительно: это всеми почитается добрым призом и неоспоримую собственностью взявшего; но сжечь, разорить, без цели и намерения, скудный приют мирных безоружных рыбаков — есть подвиг, которым погнушался бы норманн IX века. Что, например, сказали бы господа английские публицисты, если бы русское военное судно забралось в какой-нибудь Брасса Саунд и все там разорило?»

Неутомимо проверяя астрономические, физические и географические данные, добытые во время первого плавания в этих водах, Литке вел свой бриг через Кильдинский пролив к Поган-Наволоку, за которым лежали еще не обследованные берега и острова.

У Мотовского залива «Новая Земля» стала на якорь. Обследуя его берега, Литке встретил рыбака из Колы, который ловил здесь семгу. Он сообщил, что на днях в Колу поедут лопаи ближайшего становища. Его угостили, одарили солью и попросили передать в Колу с лопарями наиболее срочные донесения для отправки в Петербург. Литке купил у нового знакомого свежей семги и просил привести молодого оленя — весь экипаж скучал по мясной пище. Рыбак сказал, что ни одного оленя сей-

час нельзя найти поблизости: тучи комаров, пригнанные южным ветром, заставили оленей уйти от моря.

— Повремените,— успокаивающе говорил рыбак,— как подует ветер с севера да понесет комаров на тундру, оленьки стрелою оттуда один за другим к морю побегут...

Бухта, в которой два дня стоял бриг, получила его имя — «Новая Земля». Литке обнаружил, что бухта эта омывает не остров Рыбачий, как это было показано на старых картах, а перешеек, соединяющий материк с полуостровом. Изучив геологическое строение этого перешейка, Федор Петрович сделал вывод, что «полуостров сей некогда отделялся от матерой земли». Исходя из этого, он вывел общее заключение, что многие земли Русской Лапландии появились в результате постепенного поднятия суши в районе Северного океана.

Однажды Федор Петрович разграфлял очередную страницу журнала, отмечал широту, долготу, склонение компаса, наклонение магнитной стрелки и прочее. Вдруг до него донесся зычный голос лоцмана Откупщикова:

— Глядите, глядите, вот они, коровы. Стоят белехоньки, словно из снега вылеплены!

Литке бросился на палубу и устремил подозрную трубу на что-то белевшее в конце выступающего в море мыса.

— Где ты видишь коров, дядя Алеша? — спрашивали Откупщикова матросы.— Уж не приснились ли они тебе с похмелья?

— Да разве не видите, вон они все трое рядышком стоят.

Федор Петрович рассмотрел три больших белых камня, по очертаниям действительно похожих на коров.

— Не извольте сомневаться, ваше высокоблагородие,— продолжал Откупщиков,— мы сейчас в Мотовском заливе. Коровы эти всегда морякам правильный путь указывают. Сейчас и китов на берегу повстречаем: их здесь завсегда океан выбрасывает. «Принимайте, мол, люди добрые, от меня подарочки». А лопари тут же на берегу подарки располосовывают и с иного по десяти бочонков жиру набирают.

Откупщиков говорил правду. В Мотовском заливе попадались огромные, до ста десяти футов длины, мертвые и живые киты. Из-за одного такого гиганта произошла однажды на бриге суматоха. Дело было в сумерки. Стояв-

ший на вахте матрос заметил под самым носом корабля крутые буруны и поднял тревогу. Неожиданно «бурун», оказавшийся китом, щелкнул серпообразным хвостом, вода хлынула на палубу и едва не смыла матроса, подавшего сигнал тревоги.

По пути к Варангер-фиорду «Новая Земля» проплыла мимо Айновских островов, как и в прошлом году покрытых красно-рыжей морошкой.

— Небось вспоминается летошняя пляска и горелки с поморками, — подшучивал над молодыми матросами Смиренников.

Литке делал вид, что не замечает желания матросов сойти на берег и не слышит слов Смиренникова. А тот рассказывал певучим говорком:

— Как будем проходить устье Печенги, увидим остатки обители преподобного Трифона Чудотворца. Здешних лопарей обратил он в христианскую веру превеликое множество... Неподалеку от обители его стоял в старину монастырь Живоначальные Троицы. Царь Иван Васильевич Грозный пожаловал тому монастырю весь русский берег Лапландии со всеми жителями, со всем морским выметом: китами, моржами и всяким иным зверьем.

Матросы слушали его, не отрывая глаз от полян морошки, по которым двигались женские фигурки с берестовыми лукошками.

— Куда же девался монастырь? — спросил Федор Петрович.

— От стариков приходилось слышать, что более двухсот лет назад был он разорен шведами. От всех строений монастырских осталась ныне в Печенге одна ветхая часовенка. Постоянного пастыря при этой церквушке нет, а приезжает время от времени из Колы тамошний священник, и тогда стекаются к нему лопари со всей округи. У них сходиться в Печенгу — все едино как в России к киевским мощам.

Дойдя до самого западного пункта Варангского залива, Литке нанес на карту мыс Киберг — последний на русском берегу Лапландии. Таким образом, первое задание Адмиралтейского департамента экспедиция выполнила в довольно короткий, по сравнению с прошлогодним, срок: была только середина июля.

Бриг направился к Новой Земле. Первые дни погода стояла пасмурная, Федор Петрович, не оставляя подзор-

ной трубы, уверенно вел корабль в непроницаемом тумане. Северный ветер донес «Новую Землю» до мыса Долгого за четыре дня. Можно было рассчитывать, что скоро бриг войдет в устье Маточкина Шара, но внезапно ветер переменился, и сильное течение стремительно погнало «Новую Землю» в море. Федор Петрович решил идти к мысу Желания, чтобы начать исследование Новой Земли с северных ее пределов.

За бригом неслись стада гагар, чаек и других птиц, которых экспедиция в этих широтах раньше не встречала.

— В прежние путешествия мы прибывали сюда позже, когда птицы уже отлетали от берегов Новой Земли, — объяснял экипажу Литке.

Неожиданно термометр стал падать. Показались первые льды. К вечеру они закрыли горизонт. Всматриваясь в необозримые ледяные поля, Литке как будто узнавал в них те, которые и в прошлом году остановили продвижение «Новой Земли» к северу.

Как ни обидно было, пришлось повернуть на юг...

Пробираясь вдоль кромки льда, «Новая Земля» снова подошла к устью Маточкина Шара и на этот раз благополучно вошла в него.

Федор Петрович поручил своим помощникам исследование пролива, а сам высадился на берег для астрономических наблюдений. После нескольких часов работы он поднялся на прибрежный утес. Замечательная картина дикой северной природы открылась перед его взором. Остроконечные утесы и горы были разделены ложбинами, над которыми нависали снежные арки. Водопады шумели под этими арками, рассыпая множество сверкающих брызг. На уступах скал, бесстрастно устремив глаза в просторы океана, сидели белые совы, постоянные обитательницы Новой Земли.

Осторожно ступая, Федор Петрович приблизился к одной из них, чтобы узнать, видит ли она при дневном свете. Птица повела в сторону человека прозрачным, круглым глазом и, расправив крылья, грузно перелетела на вершину соседнего утеса. Взять сову живьем никому из членов экспедиции не удалось. К ужину настреляли много куликов. Видели оленей, но погоня за ними была безуспешна. Несколько раз закидывали невод, однако ни одной рыбы не поймали.

Лейтенант Лавров, вернувшись с Маточкина Шара, с гордостью разложил перед товарищами большую красивую шкуру убитого им белого медведя. Было решено, как только экспедиция вернется в Петербург, передать шкуру в музей Адмиралтейского департамента.

Лавров сообщил, что прошел пролив до восточного его выхода, затертого непроходимыми льдами. Тщательно измерив длину всего Маточкина Шара, он высчитал, что она на три мили больше, чем показывал Размыслов пятьдесят пять лет тому назад. Реки, помеченные Размысловым, на самом деле оказались только ручьями.

— В них не везде и ведром воды зачерпнуть можно, — докладывал Лавров. — Изб, пригодных для зимовья, мною вовсе не обнаружено, но плавнику много, можно набрать дров на всю зиму. Встречал я целые стада моржей...

Из донесения Лаврова о состоянии льдов в Маточкином Шаре Литке стало ясно, что пройти через пролив к восточному берегу Новой Земли не удастся, и он приказал идти к Карским Воротам.

Далеко за полночь сидел Федор Петрович, склонившись над картой.

Заливы... бухты... губы... мысы... острова и островки — сколько их, старательно вычерченных! В сносках молодой исследователь давал объяснения о происхождении названий.

Вот Строгановская губа:

«Название оной связано с преданием о проживавших здесь новгородских переселенцах Строгановых, бежавших в столь далекие суровые земли во времена Ивана Грозного. Имеется сказание, будто бы в гости к Строгановым являлись какие-то уродцы с железными носами и зубами».

Мыс Мучной «получил свое название из-за шести мешков муки, о коих упоминает Баренц».

Губа Черная «связана с черной судьбой целого старообрядческого рода Пайкачевых, которые бежали на Новую Землю, претерпев на родине гонения за свою веру».

Федор Петрович дословно приводит в журнале рассказ Откупщикова о судьбе этих старообрядцев: «Слышал я от купца Афанасия Харная, он и посейчас торгует ситцами в деревне Долгощелье, пришел будто он весною в ту губу. Кругом ни души и тишина, как на погосте. И вдруг видит — лежат все Пайкачи бездыханные, в бе-

лых смертных саванах, а сами черные, как уголья. Выкопал Харнай со своими молодцами могилу братскую и предал покойников земле... С того времени и кличут бухту Черною...»

Широты и долготы всех перечисленных географических пунктов Литке указывал с точностью до одной секунды. В проливах и гаванях лот опускали каждые четверть часа, часто брали пробы грунта, и Литке мог указать мели и буруны тоже с предельной точностью.

Но вот бриг достиг Карских Ворот. Все видимое пространство Карского моря было совершенно свободно от льда. Это создавало заманчивую возможность осмотреть восточный берег Новой Земли.

Литке был в нерешительности. Он понимал, что причина отсутствия льдов — западные ветры, дующие уже несколько дней. Переменись ветер — и льды вернутся. В этом случае экспедиция не успела бы ни описать восточного берега Новой Земли, ни исполнить тех статей инструкции, которые касались островов Вайгача, Колгуева, а также Канина Носа. Близость сентября заставляла опасаться еще и худшего: затертое льдами судно не успеет высвободиться из них до заморозков и вынуждено будет зимовать в открытом море.

Неожиданное событие положило конец сомнениям и указало единственный для брига путь.

Уже несколько времени тревожила Федора Петровича перемена цвета воды, которая сделалась зеленоватою и мутною. Он обратил на это внимание лоцмана и испытывал у него, нет ли тут каких мелей.

— Да не беспокойтесь, ваше благородие, море тут везде чистое, — уверял Откупщиков.

Все же Литке приказал часовым не сходить с фокарей, чтобы не прозевать опасности. Лот бросали через каждые четверть часа. Глубина быстро возрастала, и Федор Петрович совершенно успокоился. Вдруг судно сильно ударилось носом. Затем удары стали следовать один за другим со страшным треском. Скоро вышибло руль из петель, сломался верхний его крюк, корма была разбита вдребезги. Море вокруг судна покрылось обломками. Казалось, «Новая Земля» разваливается на части. Удары были так сильны, что ртуть в барометре, висевшем в капитанской каюте, в двух местах разделилась.

— Рубить мачты,— раздался спокойный голос Литке среди общего замешательства.

Но едва матросы схватились за топоры, как сильный ветер неожиданно снял судно с камней и погнал вперед.

Опасность, однако, не миновала: приближалась ночь, все свирепей завывал ветер, а судно было лишено управления. И вот весь экипаж во главе с капитаном принялся укреплять руль. Через полтора часа дружное «ура» известило об окончании работы.

Лощман Откупщиков долго сокрушался по поводу неизвестно откуда появившейся в этих местах «банки».

— Ну, как тут догадаться о ней, коли льда поблизости и в помине не было... Уж он бы всенепременно застрял на такой банке...

Вернувшись к себе в каюту, Литке записал: «В морских делах не следует жертвовать удобствами, даже малейшими, для красоты...» Он думал при этом о неправильном устройстве крючев, мешавшем быстро переместить руль в случае аварии.

Повреждения, причиненные бригу, были настолько серьезны, что не могло быть и речи о продолжении экспедиции. Литке приказал взять курс на Архангельск. По пути остановились у острова Колгуева и подробно описали его.

Плавание продолжалось относительно благополучно; уже миновали Канин Нос, когда мощная волна внезапно ударила в недостаточно укрепленный руль, и «Новая Земля» снова осталась без управления.

Волны перекатывались через бриг, бросали его из стороны в сторону, сбивали с ног матросов. Наконец невероятными усилиями всей команды руль подняли на палубу. На нем не было ни единого крюка. Всмотревшись в оставшиеся от них изломы, Литке увидел, что крюки изъела ржавчина, образовавшая раковины величиной с палец. Это заставило Федора Петровича написать в журнале несколько горестных и гневных строк: «Если бы люди, занимающиеся приготовлением столь важных для корабля вещей, помышляли, что от совершенства работы их будет зависеть участь нескольких десятков или сот сограждан их, сохранение для государства знатных сумм и даже некоторым образом слава отечества, то, конечно, избегали бы того нерадения, которое в делах их иногда

примечается и которое по справедливости должно быть поставлено наряду с величайшими преступлениями».

Повторную починку руля произвели не столько следуя указаниям авторов теоретических трудов «О рулях» — капитана Багнольда и члена Адмиралтейского департамента Глотова, сколько опытности и смекалке матроса Филарета Абросимова.

Глядя, как матросы оковывают взятые с катеров блоки, Абросимов категорически заявил:

— Никчемушная затея это.

— То есть, как это «никчемушная»? — строго спросил Литке.

— А так, ваше высокоблагородие. Не удержится на этих блоках руль, нипочем не удержится. А куда проще, кабы вот так сделать...

И Абросимов толково и убедительно предложил свой план ремонта. Он вовсе не был прост, однако его единодушно одобрили не только матросы, но и сам Литке.

На палубе соорудили кузницу, и работа закипела. Она не прерывалась до тех пор, пока не починили руль и не поставили его на место.

Федор Петрович приписал успех работы необыкновенному усердию и самоотверженности матросов.

— Даже тогда, когда людям был дан для обеда полу-часовой отдых,— рассказывал он впоследствии об этом эпизоде,— выпив только по чарке вина и взяв по сухарю, возвратились они поспешно к своей работе, и не прежде кто-либо из них подумал о упокоении, как когда все уже было кончено и приведено в должный порядок.

В последний день августа 1823 года «Новая Земля» вошла в Архангельскую гавань.

Третья экспедиция Литке по изучению северных окраин России, омываемых Ледовитым океаном, и острова Новая Земля была закончена.

Когда «Новую Землю» ввели в речку Соломбалку и опрокинули для тщательного осмотра, ужас объял всех при виде зияющих ран судна, на котором всего только несколько дней тому назад люди плавали в опасных водах Белого моря.

«Греп был раздроблен в лучинки,— описывает Литке повреждения «Новой Земли»,— все железные скрепления исковерканы, а медные изломаны; в корме киля вовсе не было и нижняя часть старпоста была наружи; во

многих местах как в носу, так и в корме шпангоуты были видны, так что нашим спасением обязаны мы были сплошному набору брига, ибо никакие помпы не могли бы преодолеть течи, если бы обнаружились незаделанные спации».

«Еще два-три подобных удара кормою, — заключает Литке, — тронулись бы транцы — и соотчичи наши, вероятно, и до сей минуты не знали бы, где и какая постигла нас участь».

Глава XI

Федор Петрович вернулся в Петербург накануне Нового года. Передав в Адмиралтейский департамент все материалы и карты, он окунулся в столичную жизнь.

Много удовольствия доставляла ему возня с племянниками и племянницами — детьми Натальи Петровны. Дети любили его. Девочки вышили для дяди комнатные туфли и кисет, мальчики забрасывали его вопросами о приключениях «Новой Земли».

Федор Петрович ходил в театры и на концерты, бывал у Олениных, Врангелей, Бестужевых.

В доме Бестужевых, как и прежде, собирались интересные люди, главным образом литераторы, и среди них Пушкин и Рылеев. Читали стихи, воспевающие свободу, равенство и братство...

Александр Бестужев с гордостью показал Федору Петровичу свое детище — журнал «Полярная звезда».

Михаил Бестужев рассказал ему о возмутительной истории: лейтенант Торсон сконструировал военный корабль нового типа и подал его чертежи в Морской штаб и морскому министру. Маркиз де Траверсе и Моллер чертежи одобрили, но сооружение по ним корабля поручили не Торсону, а другому лицу. Таким образом, они отняли у Торсона честь изобретения судна.

Николай Бестужев — в то время начальник морского музея при адмиралтействе — поддержал брата:

— История возмутительная, да все же случай частный. А что делается с музеем — сокровищницей по истории русского флота?! Всюду хаос, пыль, плесень... В драгоценнейших манускриптах не хватает страниц! В бумагах Петра и его сподвижников иные страницы утеряны,

иные вовсе изгрызены мышами. Никто этими бесценными документами не интересуется. Да и чего ради станут ими дорожиться Моллеры и Траверсе? Что им за интерес до истории русского флота, да и до всей нашей истории...

И вот Литке снова стоит перед начальником Морского штаба, который вызвал его, чтобы сообщить о новом поручении — четвертой экспедиции к Новой Земле для «довершения начатого обозрения той страны».

По лицу молодого исследователя Моллер видел, что тот не очень обрадован.

— С меня довольно и первых трех экспедиций, ваше высокопревосходительство, — сказал Литке, — и я хорошо не понимаю, чего еще хотят от меня.

Моллеру цель предстоящей экспедиции тоже была не совсем ясна. Поэтому он предложил самому Литке выработать окончательные параграфы инструкции. Федор Петрович отказался.

— По моему разумению все, что для указанной цели возможно было совершить на парусном судне, не приспособленном к борьбе со льдами, совершено было, — холодно проговорил он.

— Попробуйте еще раз обойти мыс Нассавский, определить местоположение берегов, простирающихся к северо-востоку до самой северо-восточной оконечности Новой Земли. И если льды не воспрепятствуют, пройдите восточным берегом Новой Земли до Маточкина Шара и даже до Вайгачского пролива, — предложил после некоторого раздумья министр.

— Таковые покушения мои экспедиции производили трижды. Попытки проникнуть к восточному берегу Новой Земли оказались безуспешными по причине льдов, которые, по известиям многих, прежде меня пробиравшихся в те страны мореходцев, почти никогда тех берегов не оставляют...

— Ежели льды не позволяют вам и на сей раз обойти северный край Новой Земли, обратитесь к югу, — возразил Моллер. — Станьте у Маточкина Шара, дождитесь, пока западные ветры отнесут льды от берега, и отправляйте для описи восточного берега штурманов на байдаках или иных гребных судах к северу и югу. Пожалуй, лучше даже начать опись с южной стороны. Еще почти век тому назад лейтенант Муравьев, видя Карское море чистым от льдов, чему и вы в своей последней экспеди-

ции самоличным свидетелем были, полагал, что именно с него-то, с этого моря, и следует починать исследование... Впрочем, любое направление вы вправе избрать сами. Морское министерство и государственный Адмиралтейский департамент твердо убеждены, что никто другой не в состоянии выполнить предначертаний, помеченных в сей инструкции,— Моллер побарабанил сухими пальцами по лежащей перед ним бумаге,— как именно вы.

Федору Петровичу хотелось скорей уйти, чтобы не слышать фальшивых похвал Моллера, его скрипучего, монотонного голоса.

— По случаю отправления вашего в четвертый раз,— говорил Моллер,— подчиняются вам также и экспедиции штурмана Иванова на реку Печору и еще одного штурмана, который назначается на транспортном судне для довершения промера глубин Белого моря...

Моллер еще раз предложил Литке дополнить или изменить инструкцию, но Федор Петрович только дождался минуты, когда ему можно будет удалиться.

Старая нянька, уже плохо различавшая из-за сильно ослабленного зрения валета от короля, предсказала своему любимцу Феденьке счастливую путь-дорогу. Однако уже по пути к Архангельску случилось несчастье. Лошади во время сильной вьюги сбились с дороги и полетели в овраг. Сани опрокинулись, придавив Федора Петровича с братом, матроса, сопровождавшего их, и возчика. Поверх саней оказался только мальчонка — сын возчика. Плача, он бегал вокруг саней и теребил на них рогожи. Рогожи прорвались, через них прошел воздух, который привел в чувство прежде всего возчика. Он выбрался из-под саней, перевернул их и помог стать на ноги офицерам. Матрос неподвижно лежал в стороне, на снегу.

Выплывшая из-за туч луна осветила его безжизненное лицо с широко открытыми глазами, неподвижно устремленными в далекое небо.

— Преставился,— проговорил возчик и, сняв шапку, перекрестился...

Помощи ждать было неоткуда. Путники выпрягли лошадей, втащили сани на гору, положили в них мертвого матроса и медленно двинулись дальше.

В Архангельске Литке сразу же занялся приготовлениями к выходу в море трех судов: для экспедиции в Печору, в Белое море и на Новую Землю.

В середине июля все три экспедиции отправились в путь.

Неприветливо встретило своенравное Белое море бриг, уже не раз рассекавший его воды. Особенно тяжело пришлось «Новой Земле» в горле Белого моря, отделяющем южную часть моря от той, которая между Святым и Каниным Носом граничит с Баренцевым морем.

У острова Моржовца Литке сделал первые наблюдения полуденной высоты солнца и вывел широту острова, — она вполне соответствовала широте, указанной на карте.

Следующие наблюдения были проведены на хорошо знакомых местах: в Обсерваторской бухте, где ничего нового, кроме необыкновенно сильной грозы с крупным градом, наблюдать не пришлось, и на Канином Носу. Литке установил разницу его положения против установленной прежде в $2'45''$.

Стояла сравнительно благоприятная погода. Бриг плыл с переменными ветрами, все время в окружении многочисленных стай морских птиц. Только через месяц после выхода из Архангельска встретились первые льды. Искусно лавируя среди них, судно неуклонно держало путь к берегам Новой Земли. Иногда бриг буквально протирался сквозь льды, пока снова не выходил на чистую воду.

Наконец показались заветные берега. Подойти к ним не удавалось из-за встречного ветра, а когда его направление изменилось, все пространство, отделявшее бриг от острова, покрылось сплошным льдом.

В экспедициях прошлых лет на этой широте ($75\frac{1}{2}^{\circ}$) льдов еще не было, из чего Литке заключил, что лето этого года будет гораздо льдистее и поэтому не удастся не только обойти мыс Нассавский, но даже достигнуть прежних широт. Литке повел корабль к северо-западу, намереваясь пройти между Новой Землей и Шпицбергом.

Плавание протекало в невероятно тяжелых условиях: «Стесненные с одной стороны сплошными льдами, — говорит Литке, — с другой — берегом, а посередине — множеством ледяных гор, и окруженные сверх того густым туманом, который ограничивал зрение на расстоянии

100 сажен, имели мы весьма беспокойную лавировку, которою сверх того еще мало выигрывали от частых перемен ветра, невыгодно для нас располагавшихся».

Преодолеть льды не представлялось никакой возможности. Пришлось возвратиться к острову Вайгач, чтобы от него начать исследование восточного берега Новой Земли.

Неудача расстроила Федора Петровича. Он часами молча всматривался в беспредельные ледяные поля, казавшиеся совершенно неподвижными.

— Ты не первый и не последний мореходец, которому приходится признавать себя неспособным к преодолению льдов, — утешал его брат...

Федор Петрович составил четыре записки на русском, французском, немецком и английском языках. В них он обозначил время, широту и долготу места нахождения брига и просил всех, кто когда-нибудь найдет эти записки, непременно сообщить об этом российскому правительству.

Записки он просунул в пустую бутылку и засмолил глубоко продавленную в бутылочное горло пробку.

Выйдя на палубу, Литке бросил бутылку в море. Ее зеленоватое стекло долго поблескивало среди морской зыби, отражая косые лучи солнца.

— Между прочим, — задумчиво глядя на все отдаляющуюся бутылку, говорил Федор Петрович, — капитаны Росс и Парри находили, что таким образом можно получать самые надежные сведения о течениях, господствующих в морях. Они даже имели для сей цели специальные металлические сосуды с герметической закупоркой.

Лавируя среди льдов, бриг продвигался на юг. Ослепительный блеск ледяных башен, столбов и диковинных скал сменялся сплошным туманом, при котором продвижение даже на малых парусах было полно опасности. Однажды, во время бури, матросы увидели на парусах и снастях своего корабля молодых ястребков. Им обрадовались, как вестникам недалекого берега.

И действительно, через несколько часов показалась северная оконечность острова Вайгач. За ней открылось Карское море, свободное от льдов. Золотые солнечные блики сверкали в его вздымавшихся волнах.

Экипаж повеселел: наконец-то удастся проникнуть к неведомым восточным берегам Новой Земли! Но не

успел бриг проплыть и нескольких миль, как у самого порога Карского моря появились, словно всплывшие из его глубин, льды.

— Хоть неделю будем дожидаться западных ветров,— упрямо заявил Литке, всматриваясь в даль.

Бриг лавировал в беспокойных водах между берегами. Литке пытался производить научные наблюдения, но это плохо удавалось из-за бесконечных изменений местоположения корабля.

В один из дней вахтенный заметил два карбаса, плывшие со стороны Вайгача.

— Ей-ей, это их благородие штурман Иванов,— заявил Смиренников.— Даже видать возле него печорских самоедов,— приврал он.

Литке только поглядел на него строгими светлыми глазами.

Неожиданное появление карбасов в таком безлюдном месте очень удивило моряков. Еще более удивились они, когда карбасы, не обратив никакого внимания на подаваемые с брига приветственные сигналы, продолжали свой путь.

Только пушечные выстрелы заставили их остановиться и, видимо, после довольно долгого колебания повернуть в сторону брига.

— А что я говорил? — радовался Смиренников.

В баркасах действительно были ненцы, направлявшиеся для промыслов на Новую Землю.

После настойчивых уговоров ненцы решились взойти на палубу. Один из них, хорошо говоривший по-русски, объяснил:

— Ребята наши таких больших суден отродясь не видывали и что вы за народ — не знали. Вот и опасались близиться.

С большим любопытством гости рассматривали бриг.

— Будто домком живете,— удивлялись они, увидев корабельную кухню.

Литке распорядился выдать в подарок гостям мешок сухарей и несколько веревок. Ненцы вначале отказывались от подарков, так как им нечем было «отдарить», но потом с благодарностью приняли и сухари и веревки, которые, по-видимому, пришлось им особенно по вкусу. Уже перед самым расставанием Федор Петрович спросил, не слышали ли они чего-нибудь об экспедиции Иванова.

— Слыхали, батюшка, слыхали,— сразу ответило несколько голосов.— С Печоры идет он к Вайгачу на двух карбасах. Сваты оттуда были, так сказывали...

Это известие порадовало экипаж. Через час гости покинули бриг.

Надежда пройти к восточным берегам Новой Земли постепенно испарялась: ветер пригонял все новые и новые массы льдов, загромаздивших Карское море.

«Сидеть в таком море и ждать погоды явно бессмысленно,— решил наконец Литке.— И не только бессмысленно, но и опасно: август на исходе, впереди ураганы, ненастья, мрак...»

— Идем к Колгуеву! — раздалась капитанская команда.

Дули слабые ветры, и до Колгуева плыли целых четыре дня. Остановились у западного берега, и Литке сделал несколько астрономических наблюдений, уточнив долготу острова.

Переменные ветры беспредметно гоняли «Новую Землю» по морю еще несколько дней. В один из них около солнца появились будто три обрывка разорванной радуги фиолетово-сине-красно-оранжевого цвета. Они держались в небе около часа, и Федор Петрович смог зарисовать это дотоле невиданное явление природы в своем журнале.

На следующий день у мыса Городецкого экипаж наблюдал второе, не менее интересное явление: вверху дул западный ветер и довольно быстро гнал судно, а понизу гулял ветер с востока, от которого мачты клонились к воде. Само же море в это время было гладко, как зеркало.

В Беломорском горле бригу пришлось вынести четырехдневную борьбу с уже не один раз испытанным здесь водоворотом.

У Мудьюгского острова «Новая Земля» встретилась с кораблями двух других экспедиций, благополучно возвращавшихся из своих плаваний по Белому морю и Печоре. Команды дружески отпраздновали эту встречу.

Дожидаясь прибытия архангелогородских лоцманов, Литке успел сделать свои последние в этой экспедиции наблюдения, определив широту и долготу башни на Никольской косе.

Последняя запись, которой закончил Федор Петрович судовой журнал четвертой экспедиции, гласила:

«Больных в продолжение сего похода имели мы весьма мало. В сем, и в одном только сем отношении были мы ныне столько же счастливы, как и в прежние экспедиции».

Глава XII

— Чем же можно объяснить, что препятствия, от льдов постоянно встречаемые мореходцами, бывают столь различны? — спросил маркиз де Траверсе Федора Петровича, когда тот закончил в Морском штабе доклад о своей последней экспедиции.

— Я полагаю, — ответил после короткой паузы Литке, — что количество льдов в том или ином месте зависит не столько от географической широты места или средней температуры года, сколько от стечения обстоятельств, зачастую считааемых случайными...

— Не можете ли назвать их? — спросил Моллер.

— Думается мне, количество льдов может зависеть от большей или меньшей стужи, царствовавшей в тех местах в зимние и весенние месяцы; от большей или меньшей жестокости ветров, дувших в разные времена года, от направления их и даже от последовательного порядка, в каковом они переходили от одного направления к другому. И, наконец, от совокупного действия всех этих причин не только в указанных местах, но и на реках, кои ниспосылают к сим местам свои льды.

Маркиз достал коробку сигар, пододвинул Моллеру и Литке.

— Не угодно ли?

Моллер с удовольствием закурил, Федор Петрович отказался. Маркиз отстегнул от часовой цепочки один из брелоков — крошечный перламутровый ножичек — и обрезал кончик сигары. Аромат «гаваны» разлился по обширному кабинету.

— Так вы полагаете, господин капитан-лейтенант, — после некоторой паузы снова заговорил министр, — что имеются все же средства для достижения северного и восточного берегов Новой Земли?

— Не сомневаюсь, ваше высокопревосходительство. Даже с теми средствами, коими я располагал, если б только употребить на это все лето, Остановившись у

Маточкина Шара, с первым западным ветром надлежит идти к восточному берегу, покуда ветер сей удалит от него льды. Весьма полезно было бы учредить на каком-либо возвышенном береговом месте сигнальный пост, с коего мореходцы должны извещаться о движении льдов.

— А если льды внезапно нажмут с востока,— спросил Моллер,— ведь тогда гибель судна неминуема?

— Вовсе нет,— возразил Литке.— В таком случае экипаж пешком дойдет льдами до Никольского Шара, где до самого сентября всегда можно встретить самоедские промышленные карбасы. Они и перевезут мореходов на матерой берег. Но есть и еще один путь к достижению желаемого,— помолчав, добавил Федор Петрович.

— К примеру? — разом спросили оба сановника.

— Можно предварительно перевезти на Новую Землю потребное количество оленей и устроить зимовку в Никольском Шаре. Изобилие выкидного леса не составит зимующим трудности в ограждении себя от зимних стуж прочным жилищем. С наступлением весны по надежному насту надлежит им двинуться на север. До Маточкина Шара они дойдут в весьма ограниченное время и восточный берег южной части острова смогут осмотреть за одну треть летнего времени; остальное теплое время — употребить для осмотра берега северной части острова. По протяженности он втрое длиннее, и эта часть исследования представит, несомненно, больше трудностей не только по своим размерам, но и по причине более сурового климата. Однако и сии трудности почитаю возможным преодолеть.

Литке говорил с такой уверенностью, что министр и начальник Морского штаба слушали его, не прерывая.

— Если бы наши отечественные экспедиции располагали судами, могущими смело входить во льды, не опасаясь быть проломленными или раздавленными, то русские мореходцы свершили бы дела, кои, несомненно, превзошли бы достижения иноземцев.— Последнюю фразу Литке проговорил взволнованно, с несокрушимым убеждением.

Старики переглянулись. Маркиз вставил в глаз монокль и пристально смотрел сквозь него на молодого энтузиаста.

— Мне докладывали о вашем предположении относительно существования неизвестных земель выше северо-восточной оконечности Новой Земли,— заговорил мар-

киз после некоторого молчания,— не о них ли мечтания ваши?

— Так точно, ваше высокопревосходительство.

— Так не угодно ли вам будет проехаться в пятый раз? — шутливо спросил Моллер.

— Как будет приказано, ваше высокопревосходительство,— спокойно ответил Литке.— Однако же для пользы дела почитаю необходимым привести в должное состояние весь материал, накопившийся за годы моих плаваний. Это надлежит сделать, дабы последователи мои и я сам смогли бы извлечь из сего опытного материала возможную пользу в новых покушениях на арктические страны.

— Справедливое суждение,— проговорил Моллер,— придется предоставить вам таковую возможность; тем паче, что она в дальнейшем будет содействовать осуществлению важнейших целей.

Вскоре после этого разговора последовал приказ о причислении Литке к Адмиралтейскому департаменту, с тем, чтобы Федор Петрович мог приготовить к печати собранные им исследовательские материалы.

Работа, которой теперь был занят Литке, отнимала все его время. Энгель предложил племяннику заниматься в его кабинете, так как сам он большею частью жил на своей зимней даче, за городом. Федор Петрович воспользовался этим предложением только частично: лучше всего ему работалось в адмиралтейской библиотеке. Разложив перед собой карты, записки, заметки, книги и свой судовой журнал, он погружался в работу, не замечая, как проходили часы. Когда последний посетитель покидал библиотеку и служители начинали тушить оплывшие свечи, Литке с сожалением отрывался от своих записок и выходил на освещенные газовыми и керосиновыми фонарями улицы города.

Прошло несколько месяцев, как Федор Петрович оставил борт «Новой Земли», а он все еще не мог насладиться ощущением петербургской «тверди», ровными, широкими проспектами и улицами, высокими красивыми домами, памятниками, мостами. Не покидало его и чувство удовольствия оттого, что мостовые не качаются под ногами, дома, дворцы и памятники не пошатываются из стороны в сторону, кругом светло,людно...

Иногда он по привычке отставлял от края стола стакан или какой-нибудь другой предмет, опасаясь, как бы

они не опрокинулись «при качке», а ложась спать, машинально укреплял тяжелыми книгами приготовленный на ночь графин с водой.

Спускаясь однажды по лестнице Адмиралтейского департамента, Литке столкнулся с Врангелем, который накануне возвратился из экспедиции по обследованию северо-востока Сибири. Не веря собственным глазам, они бросились в объятия друг другу, тут же, на лестнице, стали забрасывать один другого вопросами, перебивая и перебивая с темы на тему.

— Что же мы тут стоим, — наконец опомнился Врангель, — смотри, как нетерпеливо поглядывает на нас швейцар: ведь «присутственные часы» давно кончились... Пойдем ко мне или к тебе. Нам ведь потребуется, по крайней мере, сорок дней и сорок ночей, чтобы наговориться вдоволь.

— Нет, этого совершенно недостаточно, — возразил Литке, — нам надо поселиться вместе.

— Я с величайшей радостью, и работать будем вместе. Как это будет замечательно!..

Вскоре друзья нашли подходящую квартиру на Васильевском острове, откуда было недалеко до адмиралтейской библиотеки и Академии наук. С ними поселился и младший брат Федора Петровича — Александр, переведенный к этому времени в Морской гвардейский экипаж.

Жизнь их была наполнена творческим трудом, чтением, дружескими беседами, спорами. Вместе посещали театры и друзей. Бывали у Олениных, обедали несколько раз у Завалишиных, но чаще всего проводили вечера у братьев Бестужевых, где по-прежнему собирались многие передовые и талантливые люди того времени.

«В зиму 24/25 года, — повествует в своей автобиографии Литке, — мы часто бывали приглашаемы на чашку чая к Бестужевым, и после мы вспоминали с Врангелем, что из всех бывавших у них только мы не попали в декабристы. Никогда с их стороны не было попытки вовлечь нас в Тайное общество, ниже намека. Видно, не доверяли нам. В то время было в моде бранить правительство. Да, сказать правду, и поводов к тому было довольно. Впоследствии мне пришло на память, что в подобных разговорах с Николаем Бестужевым, с которым я был

особенно дружен, он часто говорил: «Чем хуже, тем лучше».

Но как ни конспирировали братья, Литке и Врангель стали догадываться, что сами Бестужевы и многие из их кружка в какой-то степени причастны к Тайному обществу, которое, по слухам, ставило своей целью изменение государственного строя России.

Такое общество действительно существовало. Корни его зарождения уходили еще к тому времени, когда Александр Радищев впервые поднял голос против бесчеловечного произвола государственной власти.

Александр I, находясь в начале царствования под влиянием своего воспитателя, республиканца Лагарпа, и таких друзей юности, как Сперанский и Мордвинов, создал комитет, который должен был заняться вопросами преобразования существующего в России государственно-го и общественного строя.

Но, едва закончив Отечественную войну, правительство круто повернуло в сторону реакции. На арену государственной власти выступил жестокий временщик Аракчеев. Офицерская молодежь, отличившаяся во время войны против Наполеона, видела, какие чудеса самопожертвования и патриотизма показал русский народ в борьбе с врагом. Она прониклась чувством глубокого уважения к народу и считала вполне справедливыми сетования ратников на то, что, избавив родину от чужеземцев, они, возвратясь к мирной жизни, испытывают прежнее тиранство от своих господ-крепостников.

Прогрессивные идеи, бывшие ранее достоянием отдельных представителей русского общества, стали темой оживленных бесед и споров в кружках передовой — главным образом военной — молодежи. Возникла мысль об объединении стремящихся к обновлению русской жизни «истинных и верных сынов отечества» в Союз спасения, поставивший своей целью работать на пользу «гражданского счастья отечества». Чтобы осуществить это «счастье», учредители общества считали необходимым воздействовать на правительство для переустройства общества по правилам «нравственности и патриотизма».

Союз спасения не разросся в более или менее влиятельную политическую организацию. Его устав был сожжен, и возникло новое общество — Союз благоденствия.

Члены Союза должны были содействовать общему образованию, гуманному обращению с крепостными, распространению правил нравственности, борьбе с лихоимством и «нелепой приверженностью ко всему иностранному». Любопытно, что в уставе общества был пункт о предоставлении женщинам «нового поприща действий в распространении возвышенных чувств любви к отечеству и истинному просвещению». В уставе Союза благоденствия не было требования об отмене крепостного права, а упоминалось лишь о гуманном обращении с крепостными и о необходимости запрещения торговать ими. Определенной политической программы и у этого общества тоже не было. Оно только призывало своих членов содействовать всем «занятиям и помышлениям, последствием коих явится общее благо, и споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия».

Однако действия правительства все больше и больше шли вразрез с интересами народа и вызывали негодование тех членов Союза благоденствия, которые искренне стремились к более справедливому устройству народной жизни.

Наиболее прогрессивная часть Союза требовала перехода от мирной пропаганды к революционным действиям.

Союз благоденствия распался для того, чтобы снова возникнуть уже в виде Тайного общества, имевшего целью ниспровергнуть самодержавную власть путем насильственного военного переворота. Общество имело два разветвления: Северное и Южное, к которому позднее присоединилось наиболее демократическое Общество соединенных славян.

19 ноября 1825 года в Таганроге неожиданно умер Александр I. По законам престолонаследия трон должен был занять следующий по старшинству брат, наместник в Варшаве, Константин. Ему и приносили присягу по всей стране и в самом Петербурге. Присягнул ему и младший брат Николай.

Но на заседании Государственного совета было объявлено о наличии завещания покойного императора: престол после смерти Александра передавался не Константину, который заранее от царствования отрекся, а Николаю.

Напрасно некоторые сановники возражали, что распоряжаться троном никто не может, что «мертвые воли не

имеют», — претензии Николая на трон были непоколебимы. Константин из Варшавы не приехал, а только прислал частное письмо, подтверждая свое отречение.

Николая, грубого солдафона, выше всего на свете ставившего «фрунтовую» службу, в армии не любили.

В России наступило, как тогда говорили, «междоусобице при двух царях». Этим обстоятельством и решили воспользоваться вожди Северного тайного общества для свершения если не переворота государственного, к которому еще далеко не все было подготовлено, то хотя бы для политической демонстрации протеста.

Многие члены Общества на собрании у пламенного вождя Северного общества поэта Рыльева обещали поднять солдат. Местом сбора революционных войск определили Сенатскую площадь в день 14 декабря, когда была назначена переприсяга Николаю.

Николай Бестужев, капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа, привел на площадь восемь своих рот. Среди командиров рот был и брат Федора Петровича — Александр Литке. Александр и Михаил Бестужевы пришли с ротами Московского полка, Сутгоф — с ротами лейб-гренадер. Всего восставших войск собралось до трех тысяч человек.

Выстроившись в каре, эти войска ожидали распоряжений своих начальников. Однако назначенный диктатором князь Трубецкой, не веря в успех восстания, вовсе не появился на площади. Бестужев как моряк отказался принять команду над пехотой. Пущин, любимый друг Пушкина, согласился, но он не был военным, и солдаты его совсем не знали. В это время Николай приказал стягивать присягнувшие ему войска ко дворцу и пушечными ядрами подавить революционное выступление.

Вот как описывает Литке этот исторический день:

«Когда уже начинало смеркаться, работу мою прервал поспешно вошедший мой денщик: «Ваше высокоблагородие, Семеновский полк опять бунтует». (Тогда у всех в памяти была Семеновская история.)

— Что ты врешь?!

— Так точно, — на Исаакиевской площади много войска.

Одевшись в мундир, я побежал туда. На Румянцевской площади узнаю от встретившихся знакомых, что

происходит какой-то кавардак, что Милорадович ранен... Иду на Исаакиевский мост.

В конце его меня останавливает цепь Преображенского полка. Стою. Вижу, у угла сената, лицом к площади стоит полк, кажется Литовский. Ружья у ноги, какие-то крики, то «ура», то что-то другое. Солдаты, чтобы согреться, толкуются на месте, бьют в ладоши. На лево, к Адмиралтейству, вижу большую группу султанов. Между обеими сторонами — люди, ходящие взад и вперед. Стою, ничего не понимаю и, озябнув, иду домой.

Вскоре раздались пушечные выстрелы. Бегу опять назад и прихожу на Румянцевскую площадь в ту самую минуту, когда картечный снаряд, пущенный по бегущим врассыпную через лед солдатам, ударил в угол Академии художеств. Тут узнаю, что на площади был и Гвардейский экипаж, в котором служил брат Александр. Отобедав, я пустился его разыскивать.

На улицах везде бивачные огни. Меня несколько раз останавливали. Наконец я добрался до казарм Гвардейского экипажа, в которых слышу «ура».

Выходит командир экипажа. Спрашиваю его о брате. «Ничего не могу сказать...»

Дорого пришлось заплатить декабристам за тот «глоток свободы», который они испили в день 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге и во время восстания Черниговского полка на юге.

Выдающиеся деятели Тайного общества — Рылеев, Пестель, Бестужев-Рюмин, Каховский и Муравьев-Апостол — были повешены, сто двадцать один человек сосланы «навечно» и на разные сроки в каторгу.

Среди пострадавших были друзья Литке — Бестужевы, брат лейтенанта Завалишина — Дмитрий Завалишин, Торсон, Лутковский и другие...

Перепуганный призраком революции, Николай не верил наступившему успокоению. Он поклялся, что революция не проникнет в Россию, пока в нем «сохранится дыхание жизни». Этот человек, по выражению Энгельса, «самодовольная посредственность с кругозором ротного командира», пустил в ход для искоренения «крамолы» всю свою холодную жестокость, весь свой палаческий «талант». Несмотря на усиленную работу учрежденного

Николаем корпуса жандармов во главе с Бенкендорфом, царь сам вмешивался во все проявления общественной жизни, беспощадно расправляясь со всеми и со всем, что казалось ему «неблагонадежным».

Глава XIII

После отъезда Врангеля в новую экспедицию Литке, переселившись к Сульменевым, вновь засел за работу над книгой. Он написал более семисот страниц, изложив на них свое четырехкратное путешествие со всеми подробностями, не забывая ни о малейшем событии, приключении или наблюдении.

Наметив различные варианты, посоветовавшись с Сульменевым и друзьями, он дал книге название: «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению императора Александра I на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-лейтенантом Федором Литке».

Эпиграфом к своей книге Федор Петрович взял фразу из Гумбольдта: «Une volonté forte et une persévérance active ne suffisent pas toujours pour surmonter les obstacles»¹.

По поводу содержания книги Литке в предисловии к ней написал: «Я хотел дать отчет о каждом моем шаге, представить читателю полную, простую, без прикрас картину всех моих действий и через то привести его в состояние быть моим судьей... Подробности мореходные в морских путешествиях были всегдашним источником жалоб со стороны читателей. «К чему эти NO и NW?» — говорят они. На сие отвечаю: я никогда не мог надеяться сделать мою книгу общезанимательною... Единообразное, по большей части неуспешное плавание, страна бедная во всех отношениях — вот предмет моей книги. Я должен был ограничиться старанием быть полезным и решился лучше подвергнуться опасности быть скучным, нежели неясным и не довольно точным».

Опасения Литке были неосновательны. Книга до сих пор читается с большим интересом. По словам биографа

¹ Сильная воля и упорная настойчивость не всегда приводят к преодолению препятствий (франц.).

Литке, академика Безобразова, она внесла новый свет в географическую науку по отношению ко всему европейскому северу и может служить другим мореплавателям образцом для подражания. Еще до выхода книги в свет отдельные ее главы печатались в научных журналах.

Известный ученый и мореплаватель Эрман перевел книгу Литке на немецкий язык, назвав его путешествия «достославным предприятием», в котором русский моряк превзошел всех своих предшественников «научным тщанием и беспристрастием своих суждений».

Закончив книгу, Литке принялся за составление «Введения» к ней, которое вылилось в «превосходнейший, интереснейший трактат, заключающий в себе исторические сведения о прежних плаваниях русских и иностранных, происходивших в тех водах, причем сделана мастерская критическая оценка достоверности каждого сведения». Так рассматривал это «Введение» крупнейший русский ученый Веселаго.

«Оно важно не только в историческом отношении, но и как руководство для каждого мореплавателя в арктическом океане», — сказал о «Введении» академик Струве, спустя более полувека после выхода книги в свет, на торжественном собрании Академии наук, посвященном памяти Федора Петровича Литке.

В начальных строках своего «Введения» автор категорически заявил, что первыми открывателями Новой Земли, без сомнения, были русские. В доказательство этого он цитирует летописи Нестерову, Российскойскую, Двинскую и Новгородскую. В книге итальянского писателя XVII века Мавро Урбино Федор Петрович нашел подтверждение того, что Новая Земля была открыта русскими. «Русские, плавающие по северному морю, открыли около ста семи лет тому назад, — сообщал Урбино, — остров, дотоле неизвестный, обитаемый славянским народом и подверженный вечной стуже. Он превосходит величиною остров Кипр и показывается на картах под названием «Новая Земля».

Затем Литке перешел к изложению истории путешествий многочисленных иноземных авантюристов и разведчиков, которые, имея целью отыскание северо-восточного пути в Индию, Китай и Японию, так или иначе были связаны с далеким северным островом.

Талантливое перо Литке оживляло перед читателями картины далекого прошлого.

Сквозь льды неведомого северного пути плывут в середине XVI века на восток корабли, снаряженные хищными английскими купцами. Только одному кораблю удастся пройти в Северную Двину, и его капитан — Ченслер, добравшись до Москвы и выдав себя за английского посла, кладет начало торговле между Англией и Москвой.

Вслед за Ченслером на розыски морской дороги в таинственные страны востока идет корабль «Искатель» под командованием капитана Бурро. Доплыв до Кольской губы, Бурро берет к себе на корабль двух русских кормщиков. После многих дней плавания один из них, по имени Гаврила, показал капитану видневшийся в океане остров, называя его «Новая Земля». Однако попытки достичь берегов этого острова потерпели неудачу. Бурро некоторое время плавал у острова Вайгач, пытался проникнуть через Югорский Шар в Карское море, но, не добившись этого, повернул обратно.

Вслед за англичанами стали бороздить воды северного пути голландские корабли. Им тоже не терпелось урвать свою долю доходов от выгодной торговли с Россией, Сибирью, а быть может, с Китаем и Индией. В июле 1594 года отправляются в плавание капитаны Баренц и Най. Баренц решил обойти Новую Землю с северо-запада, надеясь, что в этом направлении он встретит более легкие льды.

Через месяц плавания «Посланнику» Баренца открылась Новая Земля. Команда во главе с Баренцем сошла на сушу, где были найдены следы пребывания русских промышленников — развалины хижин и несколько крестов. Устремившись отсюда к северу, «Посланник» достиг 77°55' северной широты, но был остановлен льдами. Из-за льдов Баренц не заметил пролива Маточкин Шар; возможно, что как раз этим проливом он смог бы пройти в Карское море. Литке объяснил «промах» Баренца тем, что «пролив сей в умеренном от берега расстоянии весьма трудно приметить, а Баренц, кроме того, плыл мористее обыкновенного. Как бы он скорбел, если бы знал о своей ошибке».

У острова Долгого Баренц заметил судно, шедшее с востока. Это был «Лебедь», на котором плавал капитан

Най. Он рассказал Баренцу о благополучном своем прохождении через Югорский Шар и о том, как он со своей командой, обследуя остров Вайгач, нашел на одной его оконечности несколько сот деревянных ненецких идолов, а на другой — высокий крест со стертой от долгого времени надписью. По этим признакам он назвал уходящие в море полосы земли мысом Идолов и Крестовым мысом. «Лебедь» дошел до реки Кары. Дальше на восток океан был чист от льдов,

— Я совершенно убежден, — заявил Най, — что прямой путь в Китай и Индию теперь открыт.

Когда корабли вернулись в Голландию, Най высказал свое предположение как непреложный факт. Это сообщение вызвало сенсацию.

Голландцы снарядили в 1596 году новую экспедицию на восток. Баренц получил приглашение от купеческой компании участвовать в ней в должности обер-штурмана при капитане Гемскере.

Как и в прошлое свое плавание, Баренц снова достиг Оранских островов, а затем обогнул Новую Землю с севера. У Ледяной гавани, на восточном берегу, мощные льды взяли корабль в плен. Это произошло недалеко от берега. Высадившись, люди построили себе из плавника хижину, в которую перенесли провиант и оружие.

«Существование их было ужасно, — пишет Литке. — Лютые морозы превращали в лед даже крепкое вино. От полярной стужи остановились часы. Метели то и дело заносили хижину, и людям по несколько дней приходилось откапывать себя. Когда удавалось собрать плавнику, зажигали внутри хижины костер и жадно грелись возле него. Привлеченные запахом дыма, к хижине сходились целые стада белых медведей. Их разгоняли несколькими ружейными выстрелами; из сала убитых устраивали светильники, а шкуры шли на одеяла. Но патронов было мало, и их надо было беречь. 4 ноября скрылось солнце, и несчастных страдальцев окружила безрассветная полярная ночь».

Белые медведи улеглись на зимнюю спячку. Вместо них к хижине стали приходить песцы. Их ловили капканами, мясо употребляли в пищу, а шкуры — на одежду. По мере возможности мореплаватели старались устраивать развлечения: купались в бочках с подогретой водой,

состязались в беге и силе, играли в мяч, чтобы размять ноги.

На исходе третьего месяца полярной ночи на горизонте появился край солнца. Этот коротко мелькнувший луч зажег надежду на спасение. Полярная ночь длилась еще две недели, но солнце задерживалось на небосклоне все дольше. Между плавучими льдами стали появляться разводья. Люди с жадностью всматривались в необозримые просторы океана. Они определили широту места, в котором находились — 76° , — и рассчитали, что в мае, когда море очистится ото льда, можно будет пуститься в обратный путь на тех шлюпках, которые удалось снять с судна. Состояние же самого судна было безнадежное.

Шлюпки эти старались всячески приготовить к предстоящему плаванию, но при отсутствии строительных материалов и инструментов, а главное, при большой изменчивости людей, дело подвигалось медленно.

Наконец пришел желанный день. Перед отплытием все скрепили своими подписями акт, в котором была описана история плавания и зимовки. Один экземпляр акта спрятали в трубе оставляемой хижины и по одному экземпляру взяли на каждую из двух шлюпок, чтобы в случае гибели одной из них этот документ остался в другой.

«Плавание этих отважных людей, — говорит Литке, — было предприятием гибельным, колыми паче под утесистыми, окруженными льдом берегами и в бурном море».

Во время плавания Баренц, уже давно хворавший, скончался (1597 год). Путешественники остались без опытного начальника. Только спустя месяц, показавшийся вечностью, они добрались до Строгановской бухты, где их спасли русские промышленники.

Описание путешествий XVII века Литке начал с Генри Гудсона, который дважды пытался пройти на восток, но из-за непреодолимых льдов даже до устья Оби доплыть не смог. Позднее Гудсон решил попробовать проникнуть в Тихий океан, пробираясь вдоль берегов Северной Америки. В честь «покушений» и открытий, сделанных Гудсоном, его имя получили большой залив, река и пролив между Баффиновой Землей и полуостровом Лабрадор, соединяющий Гудсонов залив с Атлантическим океаном.

Во время последнего путешествия Гудсона (1610 год) взбунтовавшаяся команда связала Гудсона, его сына и пять верных ему матросов и высадила их в открытом море в шлюпку. Больше их никто не видел.

Путешествие датской экспедиции 1653 года, на одном из трех кораблей которой служил лекарь де Ламартиньер, привлекло внимание Литке анекдотическими повествованиями этого морского «барона Мюнхгаузена». В виде типичных примеров выдумки Федор Петрович приводит следующие строки лживого горе-исследователя: «Чтобы заставить ветер дуть в благоприятном для нас направлении, купили мы у полярных кудесников за фунт табаку ветру в трех узелках. Развязав первые два узелка, плыли мы благополучно в течение долгих дней. Но вот дошла очередь до третьего. Освободившийся из него ветер превратился в такую свирепую бурю, что мы все поняли — это нам наказание свыше за нашу связь с нечистой силой».

Вспомнились при чтении этой истории Федору Петровичу узелки лапландских кудесников, и он задумался над живучестью нелепых суеверий и выдумок.

«Достопримечательное описание сие содержит двенадцать печатных листов и приносит честь плодovitому на выдумки воображению господина де Ламартиньера», — шутит Литке. Однако со свойственным ему беспристрастием он старался найти и в этом «Мюнхгаузенском» документе крупинцы истины.

Заслуживающими внимания Литке считал сообщения о Новой Земле, сделанные шкиперами китобойных судов — Фламингом и Снобеггером. Они установили, что количество льдов у этого острова различно в разные годы и в разные времена каждого года и что на Новой Земле есть руды, содержащие серебро, а также разные сорта розового и черного мрамора, образцы которого они привезли в Голландию.

Фламинг достиг Оранских островов, видел Маточкин Шар и «открыл» остров Витсен.

Но англичане не унимались, слишком заманчивым было проникнуть в страны, сулившие огромные прибыли от торговли и грабежа.

В 1676 году англичанин Вуд вдруг решил, что проход на востоку надо искать между Новой Землей и Шпицбергом. Он убедил короля дать ему для этой цели фре-

гат «Спидвель»; кроме того, собрал среди богатых своих соотечественников средства для приобретения еще одного судна — «Проспероза», командование которым поручил капитану Флаусу.

Дойдя до берегов Новой Земли, сплошь окаймленных льдами, экспедиция попала в шторм. Корабль Вуда бросило на мель, где он развалился в щепы. Экипаж, потеряв несколько человек, выбрался на берег. «Просперозы» не было видно. Отчаяние охватило моряков. Каждый предлагал свой план спасения, зачастую совершенно фантастический. Желая предупредить попытки, заранее обреченные на неудачу, Вуд прибегнул к совершенно недопустимому, по мнению Литке, приему: он разрешил экипажу пользоваться спасенными с корабля спиртными напитками в неограниченном количестве, надеясь, что в состоянии опьянения никто не станет рисковать. Только через десять дней с борта проходившей мимо «Просперозы» увидели горящие костры. Капитан Флаус подошел к острову и спас незадачливых мореплавателей.

Чем больше Литке читал книг о полярных плаваниях англичан, голландцев, датчан, тем больше он убеждался, что неудачи сопутствовали им главным образом по простой причине: все эти мореплаватели были в Арктике чужаками. Там, где иноземцы терпели бедствия и мучения, где льды непреодолимо преграждали им путь, там русские плавали издавна, плавали в баркасах, ладьях, кочах, шхунах и карбасах, плавали для «промыслов у торгов». Свидетельством этого были приметные деревянные знаки — кресты и остатки изб, которые неизменно находили иностранцы на самых крайних пределах своих плаваний.

«Морем-океаном, мимо Пустозерский острог в далекую Сибирь» ходили поморские промышленники еще в первой половине XVI века. Выйдя из Северной Двины, они плыли «подле берег и через губу пособным ветром с запада на восток, влево море, а вправо земли». Чтобы избежать продолжительного пути вокруг Канина Носа, промышленники пользовались «чешским волоком» и, пересекши губу того же наименования, шли до Русского Заворота, сворачивали к югу в Печорскую губу, а из нее «большим морем-океаном на урочище Югорский Шар».

«К великому каменному острову Вайгачу» из-за льдов не подходили, а плыли прямо в Карскую губу. Продолжительность пути бывала различной в зависимости от попутных или встречных ветров. Отправляясь из Двины с «Петрова заговенья», приходили к устью реки Мутной, впадающей в Карскую губу, на «Успеньев день» или на «Семень день». Следовательно, на этот путь уходило от двух с половиной до трех месяцев, а «коли бог не даст пособных ветров», — кочи возвращались с Пустозера. Ходили слухи, что «пинежанина Фомку Борисова заняли великие льды», сквозь которые он храбро пробивался целые четыре недели, а двинянин Кондрашка Курочкин устроил поход на кочах с Турухана и чрез устье Енисея выплыл в Студеное море, которым «ходят немцы (немцами называли в те времена всех иностранцев. — М. М.) к Архангельскому городу из своих земель».

Тобольские воеводы, князь Куракин и Иван Булыгин, оценив значение морского пути в Сибирь, писали в послании к царю: «И мы, холопы твои, в Мангазею и Енисею приходу чаем немецких торговых людей, потому что река Енисея угодна, рыбы в ней много, а живут по ней пашенные татаровя, и зверь по ней дорогой, а им ходить с товарами податно».

В этом же письме воеводы выражали опасение, что, прослышав про новый путь морем, как бы «воинские многие люди, приехав, сибирским городам какой поруки не учинили» да как бы не вышло так, что жители сибирские «только поедут большим морем и учнут торговать с немцы и с русскими людьми, утаясь к Югорскому Шару, на Колгуеве, на Канином Носу, государевой казне потерю причинят».

Из Москвы пришел через год указ, запрещавший русским людям под угрозой «великой опалы» ходить в Мангазею морем.

Торговые поморские люди, в свою очередь, подали челобитную, в которой просили об отмене этого указа, чтобы им «вперед без промыслов не быть», и уверяли, что «государевой соболиной казне в их бесторжишке убытку не будет». Однако воеводы привели такие политические и фискальные соображения против отмены указа, что из Москвы снова пришел «крепкий заказ» — «чтобы никакой человек тем заповедным путем из большого моря-окияна в Мангазейское море ни из оног моря в большой

окиян никто не ходил. И тем людям за то их воровство и измену быть казненным злыми смертями, и дома их велим разорити до основания». На волоке между рекой Мутной и Зеленой «для береженья проходу торговых людей» был построен «острожек», куда на время навигационного пути из Березова посылались служилые люди.

Морской путь для предприимчивых поморских мореходов был надолго закрыт, но сведения о заповедной «морской дороге океанскою проливою» не усыпили все же интереса к ней среди морских ходоков Поморья.

В 1633 году казак Ребров спустился по реке Лене в море Лаптевых. Через несколько лет после него десятник Елисей Буза доплыл тою же Леной до реки Оленек, а еще несколько лет спустя, в 1648 году, казак Семен Дежнев сделал величайшее географическое открытие, установив, что Азия отделена от Америки проливом.

Нередко и русские терпели кораблекрушения и бедствия.

Кораблекрушение, которое потерпел в 1690 году кормщик Родион Иванов и его спутники в Карском море, у Шараповых кошек, и поведение этих отважных мореходцев представляют исключительный пример мужества и выносливости. Спасаясь от страшной стужи, они сделали хижину из глины, смешанной с моржовой и тюленьей шерстью и кровью, питались размоченными в пресной, из талого снега, воде собственными полушубками и сапогами, израсходовав все огнестрельные запасы, неделями не выходили из хижины и умирали от скорбута (цинги). Из одиннадцати человек к весне осталось только четверо. Спасло их промысловое русское судно.

В начале XVIII века проблемой плаванья в ледовых морях заинтересовался Петр Великий. Он придавал большое значение торговле с богатыми восточными странами и искал морских к ним путей. Не зная о том, что Федот Алексеев и Семен Дежнев совершили плавание из Колымы в Тихий океан, доказав тем, что Азия отделяется от Америки проливом, он приказал отправить экспедицию под командованием приглашенного еще в 1704 году на службу в русское флоте датчанина Беринга для исследования северо-восточного побережья Азии.

Во время первого своего плаванья в 1728 году Беринг открыл острова Святого Лаврентия и Святого Диомида, посетил бухты Святого Креста и Преображения. След-

ствие густых туманов он, плывя проливом, не видел другого — американского берега.

Вернувшись в 1730 году в Петербург, Беринг предложил правительству проект экспедиции, вошедшей в историю под названием Великой Северной. Цель ее была настолько обширной, что «едва ли найдем подобную в летописях морских открытий», отметил Литке. Экспедиция должна была исследовать весь северный берег России от Архангельска до Берингова пролива, Камчатку, острова на севере Тихого океана и Северо-Западную Америку.

Участвовало в экспедиции 580 человек. Она состояла из нескольких отрядов. Во главе одного из них, предназначенного для описи берега от Архангельска до устья Оби, стояли лейтенанты Муравьев и Павлов.

Выйдя из Белого моря, их суда «Экспедицион» и «Обь» взяли курс на остров Вайгач. Сделав во время недолгой стоянки беглый обзор этого острова, они пошли дальше через Югорский Шар в Карское море и достигли широты $72^{\circ}35'$ у западного берега Ямала. Дальше к востоку экспедиции проникнуть не удалось из-за густых туманов и тяжелых льдов. Пришлось вернуться и зазимовать в устье Печоры. Такая же неудача преследовала их и в следующем, 1734 году.

Недостойное поведение лейтенантов Муравьева и Павлова вызвало сильное недовольство жителей Пустозерска. Посылались жалобы в Петербург. «За многие непорядочные, ленивые и глупые поступки» Муравьев и Павлов были разжалованы в матросы.

По распоряжению Адмиралтейств-коллегии на Архангельской верфи построили два новых палубных судна. В устье Печоры был послан лейтенант Малыгин. Приняв на себя командование экспедицией, он вышел в море на отремонтированном «Экспедиционе», но через несколько дней большие льдины отнесли судно на мель и так покалечили его, что Малыгину осталось только спасать людей и грузы. Отремонтировав второе судно — «Обь», Малыгин снова вышел в плавание. Льды со всех сторон окружали судно. За месяц плавания «Обь» пришла в полную негодность. Якоря приходилось не раз отрубать, а затем искать их среди льдов в густом тумане; на судне то и дело обнаруживалась течь; снасти покрывались таким толстым слоем льда, что судно не поддавалось управле-

нию. Добравшись с превеликими трудностями до острова Долгого, «Обь» надолго застряла здесь.

В это время, после шестинедельного плавания, сопряженного с преодолением льдов, пришли к Малыгину выстроенные в Архангельске новые дубель-шлюпы под начальством лейтенантов Скуратова и Сухотина.

Отослав Сухотина на «Оби» в Архангельск, Малыгин вышел на новых судах в Югорский Шар. Несколько раз он посылал своих людей на оленях в горы острова Вайгач, чтобы осмотреть состояние моря. Результаты обследования были все те же: покуда можно было видеть в самые сильные подзорные трубы, океан покрывали сплошные льды. Пришлось до весны отстаиваться в устье Кары. Жилище построили из привезенных досок. Для топки употребляли кустарник. Питались рыбой, выловленной в Каре. Кроме того, в распоряжении экспедиции был табун оленей. Зимой, для сбережения провианта, большинство команды переехало в Обдорск. На судне осталось для караула двенадцать человек.

Следующий, 1737 год выдался более легкий. Экспедиция достигла острова Белого, обогнула полуостров Ямал. В проливе между Ямалом и островом Белым из-за встречных ветров и большого количества мелей болтались целый месяц. Прошло еще несколько недель, покуда Малыгин достиг наконец устья Оби.

Приказав Скуратову увести оба судна на зимовку в реку Сосву, впадающую в Обь, а потом доставить их в Архангельск, Малыгин сушей отправился в Петербург, чтобы доложить об окончании экспедиции.

Пролив, отделяющий остров Белый от полуострова Ямал, был назван именем отважного Малыгина.

Подводя итоги пятилетней экспедиции Муравьева и Малыгина, Литке писал:

«Нет сомнения, что экспедиция сия могла бы совершить более, чем было сделано лейтенантом Муравьевым и прочими. Берега, исследованиям их подлежавшие, осмотрены были поверхностно, за исключением немногих мест, описанных подробно. Астрономические наблюдения их были сколь малочисленны, столь же и недостоверны. Наблюдения физические были как бы совершенно чуждым для них предметом; но было бы несправедливо отнести это на счет управляющих экспедицией: они исполнили все, что им было возможно; из них наипаче Малы-

гин и Скуратов отличались всеми достоинствами, коим мы удивляемся в первейших и наиболее славимых мореходцах: решительностью, осторожностью, неутомимостью. Но препятствия физические были столь велики, а, напротив, средства, им данные, столь недостаточны, что более должно удивляться тому, что совершено ими, нежели тому, что не сделано».

Внимание Литке привлекают и путешествия к Новой Земле, совершенные кормщиками Юшковым и Саввой Лошкиным около 1760 года. Эти мореходцы были убеждены, что на острове есть богатые залежи серебра, которое лежит на поверхности, «как некоторая накипь». Юшков погиб в пути, а Савва Лошкин обошел вокруг Новой Земли и оставил по себе много преданий, связанных с его двухлетним пребыванием на суровых восточных берегах острова.

Легенды о богатствах, заключенных в недрах Новой Земли, не переставали привлекать предприимчивых купцов. Один из них Бармин — богатейший в Архангельском крае — снарядил за свой счет кочмару — трехмачтовое судно, поднимающее около восьми тонн груза. Командовал кочмарой штурман «порутческого ранга» Федор Розмыслов. Помимо поисков серебра, ему было дано еще и правительственное задание: произвести опись пролива через Новую Землю и «примечание сделать, не будет ли способов впредь испытать с того места (из восточного устья Маточкина Шара.— М. М.) воспринять путь в Северную Америку».

Литке сожалел, что не мог подробно ознакомиться с инструкцией Розмыслову. Ее текст в судовом журнале он не нашел, а «Архангельская губернская архива», где можно было бы разыскать этот документ, сгорела в 1779 году.

Журнал Розмыслова Литке внимательно прочел, а одну из цитат выписал для себя на память. «Наше судно,— писал Розмыслов,— противными ветрами ходить весьма не обыкло; неспособность оного известна, и ничего доброго надеяться не можно; сложение оного не позволяло ни на парусах ходить против ветра, ниже лавировать, ниже дрейфовать; когда оное имеет ветер с кормы, то большой парус нарочито способствует, но если ветер переменился и стал противен, то должно подымать другой малый парус и возвращаться назад».

Розмыслов внес немалый вклад в исследование Новой Земли. Он открыл новую — «Незнаемую» губу, произвел съемку Маточкина Шара, обследовал прилегающие к этому проливу горы, в которых «никаких отменностей как руд, минералов отличных и неординарных камней» не нашел. Во время пребывания в бухте Тюленьей он вел регулярные наблюдения над погодой. Эти наблюдения долгое время оставались единственным материалом для суждения о климате восточного берега Новой Земли.

На новоземельских горах Розмыслов видел диких оленей, песцов, волков, а у берегов — много белых медведей, моржей, тюленей, чаек и диких гусей, прилетавших сюда на короткое лето.

Выйдя на следующий год, после тяжелой зимовки, из Маточкина Шара в Карское море, кочмара встретила льды, получила повреждение, и ей пришлось повернуть обратно. В западном устье Маточкина Шара отважные мореплаватели принялись за ремонт судна. Однако тяжелобольные люди ничего не могли сделать. В это время на промысловой ладье в Маточкин Шар пришли кормщики Ладыгин и Ермолин. Они стали убеждать Розмыслова оставить кочмару. Вняв их «резонам», Розмыслов со своими оставшимися в живых спутниками перешел на ладью, и все они благополучно достигли в сентябре 1769 года Архангельского порта, пробыв в плавании более года.

«Экспедиция Розмыслова не удовлетворила, по-видимому, ни которой из сторон, в снаряжении ее участвовавших, — писал Литке. — Хозяин судна в расчетах своих обманулся во всем пространстве. В гидрографическом отношении сделано было также не весьма много...

Но путешествие сие заслуживает нашего внимания с другой стороны: оно живо напоминает нам мореходцев пятнадцатого и шестнадцатого века; мы находим в нем те же малые средства, употребленные на трудные и опасные предприятия, ту же непоколебимость в опасностях, ту же решительность, которая исключает все мысли, кроме одной — как вернее достигнуть до предположенной цели».

Следующая экспедиция на Новую Землю была отправлена в 1807 году на средства государственного канцлера графа Румянцева для отыскания полезных ископаемых. Экспедиция шла на тендере «Пчела», по своим качествам

не превосходившем розмысловскую кочмару. Руководил этой экспедицией горный чиновник Лудлов, а «Пчелой» командовал штурман Пospelов. Лудлов обнаружил в новоземельских горах медный колчедан, гипс и серу и уверял, что, кроме этих, обнаруженных им минералов, Новая Земля хранит в своих недрах огромные богатства. Штурман Пospelов исправил старые карты новоземельского берега от Костина Шара до Маточкина Шара.

В 1819 году русское правительство снарядило экспедицию под начальством лейтенанта Лазарева, человека мнительного и бездарного. Ей поручалось произвести опись всего южного берега острова Новой Земли, а также попытаться обойти остров с севера. Экспедиция эта была неудачна. Ни разу Лазарев не высадился на берег. Три члена команды умерли, многие вернулись в Архангельск больными.

Составляя «Введение», Литке отдал должное всем своим предшественникам. Он отметил, что Баренц проплыл вдоль северо-западного берега Новой Земли, что Розмыслов измерил Маточкин Шар, которого Баренц в своем плавании не заметил, что Пospelов, проплыв Костин Шар, установил широту южной оконечности Новой Земли и составил карту западного берега острова от Маточкина Шара до Гусиной Земли.

Глава XIV

В мае 1826 года с Охтенской верфи спустили на воду давно строившиеся здесь для кругосветного плавания шлюпы «Сенявин» и «Моллер».

Командиром «Моллера» был назначен капитан-лейтенант Станюкович — отец знаменитого впоследствии писателя, командиром «Сенявина» — Литке.

Назначение несказанно обрадовало Федора Петровича: осуществлялась его давняя мечта о самостоятельном «кругосветном вояже», когда можно будет производить научные наблюдения в разных областях морского дела.

В состав экипажа «Сенявина» входили трое ученых: Мертенс, Постельс и Китлиц. Мертенс был специалистом в области медицины и ботаники, Китлиц — зоолог и орнитолог. Профессор Постельс занимался зоологией, антропологией, минералогией и, кроме того, хорошо рисовал.

В середине лета оба судна были приведены в Кронштадтский порт, чтобы погрузить на них все необходимое для трехлетнего плавания. В Адмиралтейском департаменте Литке получил инструкцию, подробно излагавшую задачи экспедиции.

Инструкция предписывала по прибытии «Сенявина» в Уналашку отделиться от капитан-лейтенанта Станюковича, чтобы описать земли чукчей, коряков и полуостров Камчатку.

Так как опись Азиатского берега должна была начаться с Берингова пролива, а лучшим временем для прохода через него считался июль, то по выходе из Уналашки «Сенявин» должен был взять курс к Восточному мысу; после точного определения его долготы предписывалось найти долготы противолежащего мыса Принца Валлиса и находящихся между ними островов.

При описи земель, населенных чукчами и коряками, инструкция обязывала заходить во все заливы, которые могут при этом открыться. В особенности подробно надлежало исследовать так называемое «Анадырское море» — огромный залив, в котором находятся другие, меньшие — Ночен и Онемен, — со впадающей в него рекой Анадырь. Устье реки и неизвестные ее берега предстояло исследовать на гребных судах.

С такою же подробностью следовало описать Олюторский залив и весь берег, лежащий от него на север и юг.

По окончании описи Камчатского берега предписывалось зайти в Петропавловск и оттуда отправить в Петербург донесения о результатах работы. Опись берега Охотского моря назначалась на следующий год.

Возвращаясь с юга, где экспедиция должна была провести зимние месяцы, следовало прорезать гряды Курильских островов, войти в Охотское море, держать далее курс к северной оконечности Сахалина, а оттуда начать описание берега, лежащего между Сахалином и Удским острогом, Шантарских островов и Тугурского залива.

После окончания всей этой описи «Сенявину» предстояло направиться к северному берегу Охотского моря для описания Тауйского, Пенжинского и Ижигинского заливов.

Окончив их опись, бриг должен был следовать вдоль западного берега Камчатки к Курильским островам, опре-

деляя, где только возможно, их географическое положение (долготу), а затем, вернувшись в Петропавловскую крепость, вместе со Станюковичем идти в Кронштадт.

Заканчивалась инструкция следующими строками:

«Относительно занятий ваших во время зимних месяцев, которые должны вы провести в тропиках, то сие совершенно предоставляется вам, приводя только вам на вид, что надлежит вам исследовать все пространство, в коем находится архипелаг Каролинских островов, начиная от островов Маршала до Пелевских островов, и простирая ваши исследования до самого экватора; острова Марианские и остров Юалан представляют вам удобные места освежения.

Западнее островов Маршала не надобно вам ходить, ибо пространство, лежащее на восток от сих островов, предписано капитан-лейтенанту Станюковичу.

Если вы по каким-либо обстоятельствам возвратитесь одни в Россию, то желательно, чтобы вы осмотрели северную сторону Соломоновых островов, потом северную сторону Новой Ирландии и Нового Ганновера и острова, лежащие в небольшом расстоянии от оных. Напоследок выходите Молукским морем в Южный Индийский океан одним из проливов, лежащих на запад от Новой Голландии (Австралии). Для дальнейшего плавания вашего вокруг мыса Доброй Надежды кажется излишним давать вам наставления».

Читая инструкцию, Федор Петрович невольно останавливался на знакомых по плаванию с Головинным названиях. Перед глазами всплывали картины тропической природы, суровые берега Аляски и многое из того, что он видел и пережил в первом плавании вокруг света на «Камчатке», плавании, из которого он, неопытный мичман, возвратился через три года настоящим моряком, да еще «моряком школы Головина».

Теперь ему, сравнительно еще молодому человеку, не достигшему и тридцатилетнего возраста, поручалось плавание, которое выполняли до него только немногие опытейшие моряки. И мысль Литке невольно возвращалась к этим его предшественникам.

За двадцать три года до «Сенявина» на кораблях «Надежда» и «Нева» отправились из Кронштадтского порта в первое русское кругосветное плавание Крузенштерн и Лисянский, в прошлом участники морских сраже-

ний со шведами, образованнейшие офицеры и начальники многих дальних плаваний.

Крузенштерн на борту «Надежды» вез в Японию русского посланника Резанова. Побывав в Дании и Англии, суда вышли в океан. В пути на обоих кораблях делались астрономические наблюдения, определялась температура воды на разных глубинах, ее плотность и соленость, велись и другие научные исследования. На островах, куда заходили для пополнения запасов продовольствия, находившиеся на судах ученые и сам Крузенштерн собирали редчайшие экземпляры растительного и животного мира для научных коллекций. Пройдя Канарские острова и остров Святой Екатерины, губернатором которого был потомок Васко де Гама, у мыса Горн корабли перенесли традиционный жесточайший шторм. Вскоре после выхода в Великий океан корабли потеряли друг друга.

Через одиннадцать месяцев после выхода из Кронштадта «Надежда» снова вошла в русские воды и бросила якорь в Петропавловской гавани. Это было первое судно в истории русского флота, совершившее небывалый переход. Освободившись от привезенных на Камчатку грузов и приведя в полный порядок свой корабль, Крузенштерн направился в Японию. Проходя мимо Курильских островов, экипаж любовался дымящимися вулканами, и матросы по-своему переименовали эти острова в «курящие». Жестокий тайфун едва не погубил «Надежды». Ровно через месяц по выходе из Петропавловска она прибыла в Нагасаки.

Оставив русского посланника Резанова у японцев, Крузенштерн поплыл в Японское море, исследовал его, нанес на карту берега Сахалина, потом вернулся к Формозе и уже отсюда пошел на Макао, где занялся обменом камчатской пушнины на чай, фарфор и шелка. К Макао подошла вскоре и «Нева». Обратный путь на родину корабли держали через Зондский архипелаг, от острова Явы к берегам Африки, пересекая Индийский океан. Обогнув мыс Доброй Надежды, экспедиция после трехлетнего отсутствия вошла в Кронштадтский порт.

В библиотеке Литке, взятой им на «Сенявин», были книги Крузенштерна и Лисянского, напечатанные через несколько лет после их возвращения из кругосветного плавания.

Крузенштерн назвал свою работу: «Описание кругосветного путешествия на кораблях «Надежда» и «Нева» 1803—1806 гг. с атласом на 104 листах», а Лисянский — «Описание кругосветного путешествия корабля «Нева» в 1803—1806 годах».

После этого русские корабли почти ежегодно стали отправляться в кругосветные плавания.

В 1807—1809 годах на «Диане» ходил в плавание В. М. Головнин. Спустя четыре года, в 1813—1816 годах, на корабле «Суворов» плавал М. Н. Лазарев. Еще не закончилось это путешествие, как на «Рюрик» вышел в кругосветное плавание О. Коцебу. Затем в 1817—1819 годах отправился в новое плавание Головнин, на этот раз на шлюпе «Камчатка». В 1819—1821 годах на кораблях «Восток» и «Мирный» плавали Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев. Они совершили исследования, прославившие их имена в веках: открыли шестой континент — Антарктиду. В 1823—1826 годах на корабле «Предприятие» снова вышел в кругосветный вояж Коцебу.

И вот теперь в кругосветное плавание уходил Литке...

Федору Петровичу на какой-то миг показалось, что он стоит на борту «Камчатки», что он, как это было десять лет назад, один из мичманов ее экипажа... Но нет, — он капитан на борту «Сенявина».

Литке почти не покидал корабля, наблюдая за погрузкой продовольствия, снарядов, инструментов, приборов и т. п.

«Скорей, скорей в море!» — не оставляло его нетерпеливое желание.

Когда «Сенявин» вышел на рейд, неделя, которая потребовалась на окончательную подготовку и отплытие, показалась Литке и всему его отлично подобранному экипажу бесконечной.

В середине августа, после осмотра шлюпа начальством, Литке получил приказание сниматься при первом попутном ветре.

На заре 20 августа задул легкий юго-восточный ветер, и «Сенявин», «Моллер» и несколько торговых судов вышли в море.

Пройдя Толбухин маяк — в двенадцати с половиной километрах за Кронштадтом, — Литке собрал на палубе весь экипаж и внимательно оглядел матросов, лейтенантов — Завалишина и Аболешева, мичманов — Ротманова,

Глазенапа, Крузенштерна — сына знаменитого мореплавателя, штурманов — Нозикова и Орлова... Все шестьдесят два человека экипажа смотрели на своего капитана, ожидая, что он скажет.

Литке поднял руку. Вахтенный начальник скомандовал: «Смирно», — и Федор Петрович заговорил:

— Я хочу не только поздравить вас с выходом в дальнейшее плавание, но также изъяснить вам те особые обстоятельства, в коих нам предстоит находиться во время вояжа. Я хочу говорить не о вашей исполнительности к службе, которая для меня несомнительна, а о том, чтобы каждый из вас, кроме служебной исполнительности, носил еще в своем сердце любовь к морю, а наипаче всего любовь к своему «Сенявину», потому что коли будете любить свой корабль, то полюбите и службу и море. Обычно говорят, что по шлюпке видят, каков корабль, по кораблю — какова эскадра. Но я вам скажу больше того. Помните, что мы идем в кругосветный вояж, что за нами далеко и надолго останется Россия, что с флагом нашим на «Сенявине» мы несем славу, честь, величие и гордость нашей дорогой родины. И я уверен, что вы высоко будете держать честь нашего военного флага. Я уверен, что всякое дело, какое бы нам ни предстояло, вы выполните самым старательнейшим образом. Благодарю за быстрое вооружение корабля и надеюсь и впредь видеть от вас такое же усердие в работе.

Команда дружно ответила: «Рады стараться!»

А за чаем в капитанской каюте, где собрались только офицеры, Литке высказал им свои взгляды на отношения, которые должны существовать между офицерами и матросами:

— Вы знаете, что наш шлюп укомплектован отборною, лучшею во флоте командою и каждый наш матрос постарается служить превосходнейшим образом. Вы все прекрасно образованные и воспитанные молодые люди. Я полагаю, что ввиду столь удачного подбора личного состава команды шлюпа мы сможем обойтись без рукоприкладства и телесных наказаний. Я далек от мысли ограничивать ваши права, предоставляемые морским дисциплинарным уставом, на основании которого вы можете наказывать линьками провинившихся матросов, но, разумеется, вы сами со мною согласитесь, что лучше не пользоваться буквою старого закона. Как просвещенные,

гуманные начальники, вы всегда найдете в каждом случае для провинившегося культурные меры воздействия, кои, несомненно, принесут больше пользы службе, нежели грубые и унижающие человека наказания. Я убежден, что, применяя словесные разъяснения, выговоры, назначения на штрафные работы, содержание на баке или в карцере и другие подобные исправительные средства, мы достигнем более хороших результатов, чем пользуясь линьками и розгами. Я надеюсь, что на «Сенявине», при культурном воздействии начальников на подчиненных, служба не только не пострадает, но и выиграет.

Офицеры пообещали командиру помнить его наставление.

Первые часы плавания прошли спокойно. Но вот горизонт стал покрываться густым дымом: вокруг Петербурга и Кронштадта в то лето горели леса, и дым пожара щ разносило ветром по окрестностям и далеко в море. В удушливой мгле «Сенявин» пробыл двое суток. На третий день судно вышло из полосы дыма, но после полудня небо стало заволакиваться грозowymi облаками, которые слились в сплошную черную тучу. Неожиданно из нее вытянулся похожий на хобот гигантского слона смерч.

Устремляясь к морю, смерч как будто притягивал к себе кипящие волны. За первым смерчем последовал второй, потом еще и еще. Весь экипаж собрался на палубе, дивясь невиданному зрелищу.

— В каждом грозовом облаке скрывается вихрь с горизонтальной осью, — объяснил Литке. — Иногда он может загнуться и принять характер вихря уже с вертикальной осью. Тогда происходит явление, которое мы сейчас наблюдаем. Воздух в сем вихре вращается и одновременно стремится ввысь, унося за собою из моря столб водяной пыли...

Приближаясь к берегам Дании, «Сенявин» попал в полосу бурь.

Большая часть экипажа жестоко страдала от морской болезни. Литке, прекрасно переносивший любую качку, уверял своих спутников:

— Приход бурь на новоселье имеет и свою выгоду: испытываются качества судна, открываются недостатки

в устройстве и размещении корабельного оборудования... Молодые люди, считающие себя прирожденными моряками, приходят к мысли, что человек все же земноводное создание и стихия его — не вода, а земля...

— Федор Петрович, неужели нет никакого средства против проклятой морской болезни? — спрашивали молодые офицеры. — Ведь вы десять лет не расстаетесь с морем и, наверно, знаете...

— Средств очень много, — невозмутимо отвечал Литке. — Лорд Байрон, например, во второй песне «Чайльд-Гарольда» уверяет, что лучшее средство против этой болезни — бифштекс. Наш судовой доктор рекомендует соленую рыбу с достаточной порцией вина или водки. Мертенс предлагает сорок пять капель опиума. В сем средстве есть резон: человек крепко засыпает, и никакие мучительные позывы не в силах его разбудить. Наши матросы знают еще одно средство, заслуживающее внимания, по крайней мере, своей простотой. Они советуют новичкам запастись достаточным количеством земли или ила, добываемого при первом подъеме якоря со дна моря, и, при первых приступах болезни, размешать в воде и выпить. С моей точки зрения, средство сие не более верное, нежели бифштекс лорда Байрона...

— Так, выходит, Федор Петрович, что никаких средств нет, — прервал его кто-то срывающимся от отчаяния голосом.

Литке подумал для виду и тем же невозмутимым тоном ответил:

— Имеется одно: надо сойти на сушу, пусть даже на лед в Северном океане. Средство это проверено нами в четырехкратном путешествии на Новую Землю. Но, к сожалению, лекарства этого нет в аптеке «Сенявина», и я советую другое, очень древнее лекарство, рекомендуемое при любых страданиях.

— Назовите же его, бога ради, — взмолился уже целый хор голосов.

— Мужество и терпение. Сию смесь применяли многие знаменитые мореплаватели...

В Копенгагене страдающие морской болезнью применили одно из «верных средств» — сошли на землю. Здесь сделали запасы свежей провизии и рома, написали письма домой и передали их капитану Лазареву, возвращавшемуся со своими судами из Архангельска в Кронштадт.

Отдохнув неделю, снова вышли в море.

«Моллер» ушел вперед. «Сенявин» медленно плыл к берегам Англии. Вот уж и известный плавучий маяк на Галлоперской мели. Море сильно волновалось, и маяк качало так, что голова кружилась только от одного его вида. Весь экипаж обсуждал положение живущих в нем людей.

— Можно себе представить, как их укачивает, — сказал мичман Крузенштерн, все еще находившийся под впечатлением морской болезни.

— Смотрителями этого маяка, — сказал Литке, — назначаются только старые, выслужившиеся моряки. Закоренелая привычка к морю делает такое их положение, — он кивнул на качающийся маяк, — вполне сносным.

Когда, пройдя Дуврский пролив, «Сенявин» остановился у острова Уайта, на его борт приехали наниматься лоцманы. Они стояли, засунув руки в карманы широких брюк, и с видом собственного достоинства и полнейшего равнодушия ждали появления капитана.

Едва только Литке вышел на палубу, навстречу ему бросился коренастый, светловолосый и светлоглазый лоцман и, выхватив из раскрывшихся в улыбке зубов прокуренную трубку с медной цепочкой, заорал на чисто русском языке, при этом еще и «окаяя»:

— Ваше высокоблагородие, Федор Петрович! Гляди-ко, когда встретиться довелось! Неужто не припомните, как мы водили «Камчатку» на Спидгедский рейд? Жеребчиков я, Павел Жеребчиков!

Литке узнал соотечественника и, по его просьбе, зачислил на «Сенявин».

В Англии предстояло закупить астрономические и физические приборы, а также специальные якоря, необходимые судам при плавании между коралловыми рифами.

Пока производились эти покупки, Литке свел знакомство с несколькими английскими специалистами в области опытной физики, географии, мореплавания и т. д. Эти ученые читали в журналах его переведенные на английский язык статьи и были рады познакомиться с их автором — одним из первых ученых, исследователей Арктики.

Добившись разрешения, Литке в Гринвичской обсерватории проводил опыты над постоянным маятником. Здесь же он тщательно проверил все астрономические приборы и инструменты.

С увлечением рассказывал он на шлюпе о своей работе.

— А вы, Федор Петрович, хоть раз за первый меридиан подержались? — пошутил однажды доктор Мертенс.

— О да, — в тон ему ответил Литке, — да еще я смазал немного земную ось, чтобы она не перетерлась, пока мы обойдем вокруг земного шара.

Но вот все приготовления к дальнейшему следованию «Сенявина» и «Моллера» были закончены.

«Моллер» вышел в океан на сутки раньше, и «Сенявин» не видел его до самого Рио-де-Жанейро.

После Портландского маяка, последнего западного пункта Европы, сенявинцы перенесли качку, перед которой предыдущая казалась сущим пустяком.

«Узник, освободившийся из неволи, — вспоминал впоследствии об этом отрезке путешествия Федор Петрович, — не с большим нетерпением и радостью перебегаешь расстояние, разделяющее его от родной земли, как мы отсчитывали каждый градус уменьшенной широты и приветствовали наконец тропическое небо, видя себя вне опасности быть отброшенными назад жестокими западными бурями».

Литке пошел к Канарским островам, так как Станюкович предполагал зайти на остров Тенериф для закупки вина и табачных изделий.

Приближаясь к Санта-Круц, сенявинцы присматривались к стоявшим на рейде кораблям.

— Смотрите! Смотрите! — неистово воскликнул вдруг мичман Крузенштерн, указывая куда-то вправо. — Видите там, приблизительно в полумиле от берега...

— По-моему, это скала, — как всегда спокойно проговорил Постельс, разглядевший своими дальнотзорными глазами выступавшие на поверхность моря контуры какого-то темного предмета.

Литке молча всматривался в него же через подзорную трубу.

— Не скала, а корма затонувшего корабля, — взволнованно объявил Ратманов,

— Да, это корма затонувшего судна, — тихо подтвердил Литке.

— Неужели «Моллер»? — одновременно спросило несколько человек.

— А вот увидим,— сказал Литке и отдал приказ идти к этому судну.

Приближаясь к нему, сенявинцы увидели, что на берегу белеют палатки, видимо, спасшихся с этого судна людей. Быстро наступавшая ночь помешала рассмотреть корму погибшего корабля и тех, кто расположился на берегу в белых палатках.

Сенявинцы были сильно встревожены и делали всевозможные предположения. Неожиданно к ним подошел английский бриг, и его командир сообщил, что интересующий их корабль — гаванский и затонул он во время свирепствовавшей здесь в последние несколько дней сильной бури.

О «Моллере» ни он, ни кто другой ничего не слышали.

Навестив, как полагалось делать по прибытии в тот или иной порт, главных должностных лиц и закупив вина, рому и табаку, Литке решил осмотреть город, перенесший ураган и наводнение.

Китлиц, Мертенс и Постельс со своими помощниками отправились в глубь острова, чтобы собрать образцы субтропической флоры, фауны и минералов. Переводчик дон Педро Родригес, приезжавший на «Сенявин» вместе с карантинными чиновниками, встретив Литке на берегу, предложил сопровождать его.

Санта-Круц был изуродован пронесшимся ураганом. По словам жителей, такого урагана не бывало ни на одном из Канарских островов. Многие здания города, разрушенные бурей и ливнем, своими обломками совершенно завалили улицы, сделав их непроходимыми.

Остывшая лава покрывала начинавшиеся тут же, у города, плантации винограда и табака.

— По-видимому, лава низверглась из образовавшихся в горах во время бури расщелин,— заявил дон Педро.

На окраинах, у развалившихся хижин, на жалких остатках домашнего скарба сидели женщины. Смуглые ребятишки, голые и худенькие, ревели, уткнувшись в материнские колени.

Глядя на них, Федор Петрович вспомнил петербургское наводнение 1824 года, о котором так много ему рассказывали, когда он вернулся из последнего плавания на Новую Землю.

Особенно потряс его тогда рассказ Натальи Петровны о двоюродной сестре — Аннет, той самой, к которой ког-

да-то сватались Гнедич и Батюшков. Ко времени наводнения она была уже вдовою с двумя малолетними детьми. Спасаясь на чердаке маленького домика на Васильевском острове, она старалась прежде всего успокоить перепуганных детей. Показывая им на бушующие вокруг волны, она говорила, что сейчас приплывет корабль и возьмет их отсюда, что на корабле будет тепло и светло и всем им дадут горячего молока и калачей. Только вечером ее и детей, посиневших от стужи, сняли с чердака в лодку, приплывшую по уже спадавшей воде...

Возвращаясь к «Сенявину», Литке увидел прибитые к берегу обломки кораблей. Дон Педро сообщил, что уже стало известно о гибели десяти судов. Неподалеку от мала из воды торчало жерло унесенной из крепости пушки.

— А сама крепость пришла в полную негодность и потеряла всякое право носить это почетное звание, — рассказывал дон Педро.

К вечеру на шлюп возвратились ученые. Они были довольны экскурсией и готовились на следующий день повторить ее. Однако Литке приказал немедленно идти в море.

— Помилуйте, Федор Петрович, — взмолился Мертенс, — разве это возможно? Ведь мы не успели обозреть даже главнейших естественных достопримечательностей острова...

— Я видел интереснейший экземпляр ящерицы, — так же взволнованно говорил Китлиц, — но не смог поймать ее. Я дал себе слово завтра непременно найти такую же. Мы уже запаслись разрешением губернатора углубляться в желательном для нас направлении...

— Очень, очень жаль, господа, но вынужден отказать вам в продлении нашего здесь пребывания, — решительно заявил Литке.

Натуралисты, обычно добродушные и стоворчивые, настаивали, горячились, но не смогли уговорить Литке отменить принятое решение.

Едва «Сенявин» вышел в море, как попал в полосу безветрия. Ученые, не переставая, подтрунивали над несговорчивым капитаном: от берегов Тенерифа не удавалось отойти в течение нескольких дней.

— Не правда ли, Федор Петрович, как величественна эта гора? — ехидно спрашивал Постельс.

— Хорошо было бы приобрести еще тот бочонок рому, который совсем дешево обещал доставить нам на «Сенявин» один виноградарь, — громко вздыхал Мертенс, знавший, что Литке переплатил за вино.

— Хорошо было бы, дорогие энтузиасты науки, — отвечал Литке, — если бы тот замечательный голубь, которого поймал доктор Мертенс, оказался на нашем корабле в роли голубя мира. «Моллер» не зашел на Тенериф и плывет теперь в тропиках при благоприятных ветрах, а мы, потеряв на остановку один день, десять — болтаемся на одном месте.

Наконец желанный пассат погнал корабль к тропикам. Ветры сопровождались ливнями.

При дальнейшем продвижении к югу снова наступило безветрие и невыносимая жара.

Шестого декабря, когда на «Сенявине», как и на всех русских судах, где бы они ни находились, праздновалось «тезоименитство» царя, подул юго-восточный пассат, который за одну неделю помог «Сенявину» пересечь экватор.

Переход через экватор был ознаменован традиционным празднеством.

Федор Петрович вспомнил, как Головин поручил ему когда-то поставить «силами любителей» спектакль для команды «Камчатки». Распорядившись о выдаче всем праздничного пайка, капитан самолично помогал обставить «нептуналий» по всем правилам старины.

— В наш век, — говорил он, — игрище это стало выводиться из обыкновения, как остаток времен варварских, даже на английских судах, где сей обряд был соблюдаем с некоторого рода даже торжественностью.

— А я рад, что эти глупые представления выходят из моды, — заметил Завалишин.

— Едва ли есть чему радоваться, — возразил Литке, — «нептуналий» — обряд весьма полезный. Он развлекает, веселит людей, утомленных единообразием морской жизни. Всякий пекущийся о своих людях капитан должен поощрять их не только к сему, но вообще ко всякому роду игрищ и забав...

По южную сторону экватора океан был необычайно оживлен. То в одном, то в другом месте появлялись акулы. Высоко над волнами проносились летающие рыбы. За ними, всплескиваясь при звуках, похожих

на револьверный выстрел, охотились бониты и албикоры. Схватив добычу, они сами часто попадали в пасть акулы, приближения которой в пылу погони не замечали.

Матросы словили несколько бонитов. Как только рыб вынули из воды, они из красных сделались синими. Между натуралистами возник спор о причинах этого.

— Я полагаю, что дело в преломлении и отражении лучей света,— предположил Китлиц.

— А не от самой ли воды зависит перемена окраски,— возразил Мертенс.

В самый разгар их спора несколько пестрых летучих рыб шлепнулось на палубу, Постельс быстро взял цветные карандаши и тут же зарисовал неожиданных посетителей.

В следующие дни на корабле появились и более солидные гости: матросы соорудили гигантские удочки, вернее, огромные крюки, и выловили двух акул. Одну из них Мертенс немедленно препарировал и тщательно записал все ее анатомические особенности. На другой Китлиц обнаружил прилипшую рыбку — держиладию, или, как ее немедленно окрестили матросы, «прилипало».

— Акул часто сопровождают и другие рыбешки — «спутницы», или, как их еще называют, «лоцманы», — рассказывал окружавшим его сенявинцам Китлиц. — Трудно даже объяснить, почему сии маленькие существа остаются неразлучными спутниками такого чудовища; причем следуют они за акулой в удивительном порядке. Наибольшая из них плывет над спинным плавником акулы, а меньшие — перед самым ее носом, и так близко, что могут касаться ее усами...

— Ну, скажи на милость! — ахали матросы, слушая ученого.

— А вы заметили, как вели себя вчера дельфины? — спросил Мертенс. — Они шли целыми шеренгами, эскортируя «Сенявин», как почетный караул.

— Это как когда, господин доктор, — возразил Литке, — поутру я наблюдал другую картину: дельфины плыли парочками, точно под руку.

— А которые постарше, — заметил боцман, — так те ровно старухи к обедне плывут: неторопливо, честь по чести...

«Сенявин» плыл уже третью неделю.

Литке строго следил, чтобы жизнь на корабле проходила по раз установленному порядку. С утра, по свистку вахтенного, начинались морские учения: артиллерийские упражнения, управление парусами, их постановка и уборка, тревоги — пожарная и водяная.

В одиннадцать часов дня из камбуза в больших баках приносили обед, причем неизменным «дежурным блюдом» были щи — то с солониной, то с рыбой: свежего мяса в таких отдаленных от берегов водах, конечно, не бывало.

До двух часов дня команде предоставлялось право отдыхать, петь песни или веселиться — по ее усмотрению,

Любимой у моряков «Сенявина» была та же песня, что и на «Камчатке». Федор Петрович с того времени и полюбил эту простую русскую песню, которой по его просьбе выучил сенявинцев мичман Крузенштерн.

Плакала, рыдала,—

затягивал ее обычно высоким тенорком матрос Ванюшин, а остальные дружно подхватывали:

Русою косою слезы вытирала.

Через три недели «Сенявин» бросил якорь у Рио-де-Жанейро, а через полчаса на его палубу поднялся капитан «Моллера» — Станюкович.

Глава XV

Из Рио-де-Жанейро оба корабля вышли одновременно и, гонимые попутными ветрами, быстро продвигались к югу.

Команда готовилась к неизбежным бурям вблизи мыса Горн, а натуралисты с увлечением ловили все живое, что только встречалось по пути. В случае удачной «охоты» сенявинцы приглашали к себе гостей с «Моллера». Близость двух судов, затерявшихся в необозримых просторах океана, не давала людям чувствовать себя одинокими.

— Приятно видеть,— говорил Литке,— что на свете, кроме нас, есть и другие человеческие существа. Между судами рождается такая же близость, как между обитателями одного и того же судна. К тому же присоединяет-

ся смутное чувство о необходимости взаимной помощи. Судно, оставшееся одно посреди океана, уподобляется человеку одинокому в бескрайней степи...

И действительно, чувство одиночества охватило сенявинцев, когда, приблизившись к мысу Горн, они встретились с первыми порывами здешних бурь и в ответ на свои сигналы не получили с «Моллера» никакого отклика.

Десять дней бушевал шторм, но корабль неуклонно шел к цели и в конце февраля миновал Огненную Землю. Небо почти три недели не очищалось от свинцовых туч. Люди жадно ловили редкие солнечные лучи, которым удавалось проникнуть сквозь плотные облака. Особенно угнетали холодные и сырые ветры, пронизывавшие до костей.

— Скажи на милость, — рассуждали между собой матросы, — на суше от таких сквозняков чем только человек не заболит: и ревматизм, и прострелы, и колотье всякое — то в ухе, то в боку. А в море тебя насквозь продувает изо дня в день вот уж скоро месяц, а глядишь, никто и не чихнет лишний раз.

— Суша человека балует, — говорили старые моряки. — Как мороз ударит, так каждый на печь норовит забраться. А чтобы в дождь или выюгу из избы нос высунуть, — ни боже мой...

— Глядите, какой барин нашелся, — иронически заметил кок, вышедший подышать свежим воздухом. — А кто же вместо тебя дровишки из лесу по осени или в самые лютые морозы возит? Просто жизнь у нас на корабле правильная. Да в ветрах здесь много соли, а соль — не только в пищу идет, но и всякому живому организму на пользу.

Чем южнее продвигался «Сенявин», тем становилось теплее. Холодные ветры сменились прибрежными муссонами. Корабль плыл, держась не далее восьми миль от берегов Южной Америки.

Однажды на рассвете все высыпали на палубу полюбоваться замечательным зрелищем: на еще темном ночному небу четко вырисовывалась зубчатая цепь горных вершин, освещенная невидимым солнцем. По мере того как солнце поднималось, несущиеся по небу облака и острые вершины Анд окрашивались во все цвета радуги.

Литке стоял немного в стороне, досадуя на своих спутников, которые как будто потеряли дар речи и только

выкрикивали что-то нечленораздельное, захлебываясь от восторга.

«И для чего они тшятся передать другим свои чувства? Чувства сии неизъяснимы,— думал Федор Петрович,— неизъяснимы, подобно великолепию самого зрелища. Ну кто же сможет передать эти переливы цветов с возвышением солнца? Как они неподражаемо прекрасны!»

Когда солнце поднялось, исполинские горы стали как бы погружаться в бездну и вскоре скрылись из глаз в розовом тумане. К полудню туман рассеялся и с борта корабля стали заметны две острокопечные горы.

— Это Перси на мысе Биобио,— сказал, взглядевшись в них, Литке.— Скоро увидим Битые Горшки.

И действительно, после полудня гряда каменьев, напоминающих черепки разбитой глиняной посуды, целыми холмами стала вырисовываться на северной оконечности губы Зачатия; в этой губе Литке надеялся встретиться с «Моллером» или хотя бы навести о нем справки.

Как только корабль стал на якорь, натуралисты сошли на берег, предупредив, что не вернутся ночевать, чтобы не потерять ни одной лишней минуты.

Отдав распоряжение купить в соседней деревушке продукты, Литке занялся очередными астрономическими и магнитными наблюдениями. Скоро палатку, в которой он работал, окружила группа мальчиков. Они с любопытством осматривали астрономические приборы и вслух дивились множеству цифр, заносимых Литке на страницы своего дневника.

Неплохо владея испанским языком, Федор Петрович как мог объяснял мальчикам, что означают записи, а когда закончил работу, попросил их принести для продажи что-нибудь из провизии. Ребята вприпрыжку помчались к своим «ранчо» и вскоре вернулись с курами, яйцами, вином...

На «Сенявине» долго еще делились впечатлениями от пребывания на берегу и даже спорили, что вкуснее — русские щи или олла, которой туземцы потчевали своих гостей.

Из-за безветрия «Сенявин» в течение почти двух недель едва продвигался дальше. Но зато, когда подул желанный южный ветер, шлюп под всеми парусами понесся к Вальпарайсо. Он вошел в гавань как раз в тот мо-

мент, когда ожидавший его здесь уже двенадцать дней «Моллер» был готов к дальнейшему следованию. После недолгой беседы капитаны обоих кораблей решили, что впредь дожидаться «Сенявина» «Моллер» не будет и, пожелав друг другу успеха, расстались.

Сильный ветер гнал от берега огромные, перемешанные с песком волны. Навстречу шлюпкам сенявинцев высыпали лодочки, которые, наперебой подставляя свои спины, предлагали морякам сойти по ним на берег. Во время сильного прибоя этот способ доставки пассажиров с кораблей, прибывающих в бухту, лишенную пристани, издавна практиковался в Вальпараисо.

Губернатор — дон Франциско де Ластра — выразил в приветственной речи к морякам свое искреннее желание, чтобы пребывание «господ русских на берегу было бы для них столь же полезно, сколь и приятно».

С интересом осматривали мореплаватели городок, расположенный на уступах гор, утесах и скалах. Вместо улиц от дома к дому вились узкие крутые тропинки. Вырубленные в камнях домики под черепичными и пальмовыми крышами высились одни над другими, как сабли горцев.

Вскоре компания разделилась. Естествоиспытатели направились в горы, а Литке и мичман Ратманов пошли осматривать адмиралтейство и крепость. Адмиралтейство представляло собой довольно пустынное место с несколькими полузарытыми в прибрежном песке пушками и якорями, двумя-тремя полусгнившими шлюпками и строением, похожим на длинный сарай.

— Стоящая здесь мертвая тишина, — сказал Федор Петрович Ратманову, — делает сие место более похожим на кладбище, нежели на колыбель чилийского флота.

В крепости стояло восемь запыленных пушек и два заржавленных полевых орудия.

К полудню все собрались во французской гостинице. За обедом было два гостя: ученый натуралист доктор Пешпиг, уже несколько лет путешествовавший по Америке и изучавший ее естественные богатства, и французский консул, с которым Федор Петрович познакомился несколько лет тому назад в Архангельске.

Литке был необычайно оживлен.

— Узнать человека на одном конце света, — говорил он, — и встретиться с ним через несколько лет на другом,

почти в антиподах, есть один из приятных сюрпризов, коими по временам скрашивается странническая жизнь. Вы радуетесь, встретя человека, который вам сколько-нибудь напоминает об отечестве, наипаче, если этот человек умный и образованный.

Гость поблагодарил за эти любезные слова, а потом сказал с улыбкой:

— Я меньше всего ожидал встречи с мосье Литке на суше. Все, что я имею честь знать о нем, убеждает меня, что достойнейший этот мореплаватель признает достойнейшим местом для человека в сей жизни — только море. Сойдя же на сушу, он начинает страдать «береговою» болезнью и поспешает на корабль елико возможно скорее...

— Нет, нет, — запротестовал Литке, — уверяю вас, что монотонность корабельной жизни в конце концов надоедает, и все мы с удовольствием проводим несколько часов и интересной беседе. Кроме того, как вам известно, некоторую часть астрономических и физических наблюдений должно проводить на суше, что я неукоснительно и выполняю.

— Надеюсь, что при всегдашней ясности здешнего неба вы будете вполне довольны учеными наблюдениями, — сказал губернатор с гордым видом, как будто всегдашняя ясность неба над Чили объяснялась не чем иным, как административными достоинствами начальника этого края.

— Судя по экспонатам, показанным нам мистером Пеппигом, — вступил в разговор Мертенс, — можно было ожидать, что вся флора и фауна окрестностей Вальпарайсо совершенно исчерпана сим достопочтеннейшим естествоиспытателем. Однако ж и нам, российским ученым, весьма посчастливилось в сем отношении. После обеда мы приглашаем всех желающих полюбопытствовать. — И Мертенс сделал пригласительный жест по направлению разложенных в стороне груд камней, кусков дерева, пучков трав и цветов и еще чего-то шипящего и шевелящегося в жестянках, банках и деревянных ящиках.

— А завтра, — подхватил Постельс, — мы собираемся совершить экскурсию в Кильоту. Говорят, что, хотя городок сей и находится всего в четырнадцати лигах от

Вальпарайсо, тамошняя природа являет совсем иной характер, и мы надеемся найти редкости...

Губернатор предупредил экскурсантов, что дорога в Кильоту нелегка и далеко не безопасна: надо преодолеть семь гор, называемых «Семью сестрами». Горы эти покрыты дремучим лесом и кишат разбойничьими шайками.

— При встрече с незнакомым человеком обязательно показывайте пистолеты, — посоветовал губернатор. — Здешние разбойники имеют похвальную привычку не нападать на вооруженных. На всякий случай вас будет сопровождать один из моих чиновников.

Тащиться в Кильоту верхом по жаре было действительно очень тяжело, и уже на половине пути экскурсанты изнемогали от усталости. Им навстречу тянулись к Вальпарайсо запряженные мулами и сильными, как буйволы, лошадьми бесчисленные возы, нагруженные виноградом, арбузами, фигами и яблоками. Фрукты, которые путешественники покупали у владельцев возов, утоляли жажду только на короткое время.

Солнце уже клонилось к западу, когда вдали, у первой гряды уходящих к Кёрдильерам выступов гигантской горной цепи, показался зеленый оазис — возделенная Кильота.

— Ну, вы как хотите, — сказал Постельс, — а мы отправляемся немедленно в окрестности, чтобы рисовать, стрелять, ловить, ботанизировать... — И вместе с Мертенсом они скрылись из виду, даже не условившись как следует о месте встречи.

По мере того как спадала жара, у домов стали появляться люди. Хозяйки предлагали путникам воспользоваться их гостеприимством, но в душных домиках было так тесно и грязно, что, несмотря на усталость, решили искать другого пристанища. В городе оказалась гостиница, содержатель которой, англичанин Гринвуд, предоставил в распоряжение гостей большой сарай.

— Гостиница моя не рассчитана на такое большое число посетителей, — извинился Гринвуд, — зато в сарае просторно и притом же сколько угодно чудесного ночного воздуха...

После ужина, к которому вернулись и ученые, очень усталые, но довольные, всем захотелось поскорее улечься в постель. Но любезный хозяин не предупредил своих постояльцев о невероятном количестве блох.

— В чилийских домах настоящие-то хозяева — блохи, — шутил впоследствии Литке.

Всю ночь блохи не дали путешественникам сомкнуть глаз. С первыми же лучами солнца совершенно измученные путники оставили «гостеприимную» гостиницу мистера Гринвуда.

Наскоро осмотрев Кильоту, построенную, как и другие города Испанской Америки, правильным квадратом с угрюмыми каменными или мазаными домами, возле каждого из которых непременно был фруктовый сад и двор, экскурсанты отправились в обратный путь, на этот раз через городок Лимачу. Этот путь был не менее утомителен, тем более что осмотр Лимачи не представлял особенного интереса.

Правда, одно происшествие хорошо запомнилось. Едва путешественники остановились в одном дворе, чтобы закусить, как послышался грохот, и буквально у них на глазах соседний дом рассыпался, как карточный. Первая мысль Литке была о землетрясении. Его спутники, видимо, подумали о том же и в панике выскочили на середину двора, подальше от строений.

Хозяин спокойно поглядел в сторону рухнувшего дома и стал разрезать огромный арбуз.

— Кушайте, сеньоры, — пригласил он гостей. — Ничего особенного не случилось. Дому соседа надоело торчать на одном месте, вот он и развалился. У нас это случается довольно часто. Прошу вас к столу, а то запоздаете в путь.

Хотя сенявинцы не особенно верили в разбойников, которые орудовали на «Семи сестрах», тем не менее всем хотелось засветло миновать эти места. Расплатившись с хозяином, они пустили лошадей рысью. Быстрая езда на непривычно широких седлах не могла, по словам Литке, «сдружить дурных ездоков с беспокойными конями, и кавалькада представляла картину, достойную пера Сервантеса и кисти Гогарта. Страдая более или менее колик, болью в спине и пр., всякий старался придумывать положение, облегчавшее его страдания, и смеялся над другим, не замечая собственной смешной позы».

Только к полуночи с трудом добрались до морского берега и въехали в совершенно безлюдный городок Альмендраль. Оптимисты уже начали говорить о сытном ужине и прохладе свежего постельного белья, как вдруг

из темноты кто-то грозно приказал всадникам спешиться и следовать за ним. От каких бы то ни было объяснений страж порядка отказался.

Все были в недоумении, которое разъяснилось только с прибытием всей компании к высокому пригорку в центре города. Здесь, посреди огороженного щитами пространства, стоял крест с изображенным на нем распятым Христом. Крест окружало множество горящих свечей и живых цветов. Женские фигуры склонялись вокруг в молитвенном экстазе. Был страстной четверг, и, по местному обычаю, до субботы на этой неделе никто не имел права ни ездить, ни петь, ни играть на инструментах, ни даже ходить в шляпе. Нарушивший обычай подвергался штрафу.

Пока сопровождающий сенявинцев чиновник вел переговоры с администрацией города, путешественники без любопытства наблюдали, как набожные альмендралки подходили к распятию и, преклонив колени, громко каялись в грехах.

— Интересно, что здесь много грешниц и ни одного грешника,— шепнул Литке своим спутникам,— притом обратите внимание, как они твердо уверены в отпущении грехов.

Женщины действительно подходили к распятию целыми группами со смехом и шутками и после земных поклонов и кратковременной молитвы, оживленно разговаривая, отходили к небольшому торжищу, расположившемуся недалеко. Среди всякой ерунды, которую здесь продавали, русские увидели раскрашенные яйца, совсем такие, какими в ту пору христосовались по всем городам и селам России. Тут же продавались сделанные из обсахаренного теста подбоченившиеся фигурки в нелепых шапках. К большому удивлению путешественников, фигурки эти назывались *Russianos*¹.

— Однако в представлении чилийцев мы кажемся чародеями или чем-нибудь в этом роде,— пошутил Ратманов.

Мертенс и Постельс не замедлили купить себе по такой фигурке, видимо, для описания их в отделе «курьезов» своих записных книжек.

¹ Русские (исп.).

Из-за страстной недели усталые экскурсанты с трудом могли уговорить гребцов доставить их на шлюп. По этой же причине нельзя было до субботы перевезти на корабль закупленные продукты. Свободное время посвящали осмотру города, в котором на каждом шагу виднелись следы землетрясения.

В Вальпарайсо домики лепились по уступам, то прижимаясь друг к другу, то стоя в одиночестве по оврагам. Ни башен, ни высоких церковных колоколен не было. Город оставлял впечатление унылой однообразности.

— Здесь нельзя создавать иных строений, — объяснил Литке. — Я видел в прошлое мое здесь пребывание колокольни, разрушенные ужасным землетрясением. «Камчатка» прибыла в Чили, когда жители одного еще не опомнились от этого несчастья. Они были в каком-то иступленном отчаянии. И хотя землетрясения здесь нередки, привыкнуть к ним невозможно...

— Однако же привыкают жители Севера к долгой ночи, к лютым морозам, а народы экваториальные — к адовой жаре, привыкают к ежегодному затоплению своих жилищ прибрежные жители разливающихся по весне рек, — возражали Федору Петровичу его спутники.

Он пожал плечами.

— Противу всего этого человек может кое-что предпринять: от воды спасается он на гору, от огня — в поле, от стужи — теплом, от зноя — водой и густою тенью. Противу же землетрясения нет убежища; последняя надежда человека — земля — ему изменяет. Отсюда и отчаяние, коему я был очевидцем. Вот мы проезжали с вами Альмендраль. В нем тогда не осталось ни одного целого дома. А вот на той, как видите, совсем пустынной, горе высилась старинная крепость Сан-Розарио. Вряд ли чилийцы захотят когда-нибудь ее восстановить. Да и кто станет покушаться на их свободу? Испанцы? Но они отлично помнят, как взбунтовались королевские войска, посланные на бригах «Ахиллес» и «Азия» для подавления восстания мексиканцев. Экипажи этих кораблей высадили на Марианских островах своих офицеров, а сами перешли на сторону революции.

— Прислушайтесь, — вдруг вступил в разговор молчаливый Китлиц.

Все притихли. В тишине лунной ночи все явственней слышны были звуки арфы, гитары и барабана. К ним

присоединились мужские и женские голоса. Мотив ничем не напоминал унылые великопостные напевы.

— Невзирая на страстную неделю, чилийцы веселятся, — с улыбкой произнес Литке. — Этот прибрежный кабачок, кажется, вне запрета.

— Не выпить ли и нам по стакану чича? — предложил неожиданно Китлиц. — Я бы не отказался и от яичницы.

Слова его были встречены единодушным одобрением, и через десять минут вся компания разместилась в приморском кабачке, или, как здесь говорили, пульперии.

На небольшом возвышении сидели четыре музыканта — арфистка, два гитариста и барабанщик. Под их аккомпанемент несколько человек пели веселую песенку, так и подмывавшую танцевать. Скоро появились и танцоры.

Красивая женщина в пестрой юбке, с перекинутой через плечо шалью, вышла на середину зала и, гремя, как кастаньетами, жестяной погремушкой в отведенной за спиной руке, грациозно прошла по кругу. Лихо заломив шляпу и отбросив в сторону сигару, перед ней стал танцор.

— Будто «по улице мостовой» сплясать собираются, — заметил Ратманов.

— И кавалер совсем по-казацки ногами фортели выделяет, — согласился Завалишин. — Удивительно, что люди, коих разделяют океаны, могут плясать столь схоже. Как вы это объясните, господа ученые? — обратился он к натуралистам.

Китлиц был так занят своей яичницей, что, казалось, даже не слышал вопроса. Мертенс попытался провести параллель между птичьим пением и... плясками людей. Из его объяснения никто ничего не понял.

— У всех народов, во все времена, пляски служили выражением страстей, — ответил за натуралистов Литке, — и если в военных плясках человек изображал борьбу с врагом и победу над ним, то в плясках такого рода, — он кивнул на танцующую пару, — выражается взаимная склонность кавалера и дамы, кто бы оные ни были: светская дама и джентльмен, деревенская девушка и паренек или вот эти чилийцы.

— Можно мне, Федор Петрович, послать танцорке бокал пунша? — неожиданно спросил Завалишин.

— Лучше этого не делать,— запретил Литке,— я и в прошлое мое здесь пребывание неоднократно посещал с товарищами пульперии, и должно сказать, что мне ни разу не пришлось быть свидетелем неблагопристойного поведения женщин или драки мужчин.

— Может быть, это надо отнести за счет исправной полиции,— пошутил Завалишин.

Возвращаясь поздно ночью к морю, экскурсанты видели довольно комических представителей этой полиции. Одетые в экзотические костюмы, конные патрули медленно продвигались по тихим улицам заснувшего города. Однако, когда где-то поблизости возник шум, на резкий свисток патрульного откуда-то из-за угла выскочил целый отряд всадников с пиками наперевес.

Занималась заря. Сенявинцы один за другим поднимались по трапу на свое судно.

— В России сейчас к заутрене звонят,— мечтательно проговорил Ратманов.

— Да-а,— одновременно откликнулось несколько голосов и сразу же, как будто сговорившись, попросили:— Останемся здесь на первые дни пасхи, Федор Петрович,— ну хотя бы только на светлое воскресенье.

— Этого никак нельзя,— решительно ответил Литке,— сейчас апрель, следовательно, в северном полушарии настала весна, и шлюпу надлежало бы быть уже на местах действий, нам предначертанных. Между тем мы находимся от них на треть земного шара.

В это же утро «Сенявин» снялся с якоря.

Попутного ветра дождались только на шестой день после выхода в океан. Пассат сменяли штили, но судно все же плыло вперед и вперед по направлению к Сандвичевым островам, лежавшим несколько в стороне от прямого пути. Литке избрал это направление потому, что хотел проплыть пространство океана размером более четырех миллионов квадратных верст (между широтами 9° С и 14° С и меридианами 115° З и 140° З), по которому до него не проплывал еще ни один мореплаватель, но все приближавшиеся к этой зоне предполагали существование в ней острова.

В этом был уверен и Литке.

Свое убеждение Федор Петрович объяснял так:

— Большие возвышенности на земле расположены хребтами, имеющими некоторое общее направление, по

которому с низменными местами они соединяются рядом постепенно снижающихся гор. Подводные края тоже лежат обыкновенно грядами, подводное продолжение которых означает низменными островами и рифами, а более возвышенные из них образуют острова. Сандвичевы острова одни только являлись исключением из этого закона. К северо-западу продолжение их гряды намечают острова Птиц, Неккер, Гарднер и многие другие, постепенно переходящие в рифы; напротив того, к юго-востоку гряда заканчивается высочайшим на земле островом Гавай, которым цепь этих островов резко обрывается. Улыбнется ли нам фортуна в смысле отыскания новых земель или участь сия ожидает мореплавателей счастливейших нас, путь, избранный нами, будет полезен еще и в отношении наших магнитных наблюдений. Ведь, следуя принятому нами направлению, пройдем мы вблизи точки наибольшего сближения магнитного и земного экватора. Наблюдения там будут весьма важны для теории земного магнетизма, как первые, вблизи сего пункта произведенные.

Ожидая встретить новые земли, Федор Петрович приказал держать якоря в полной готовности, убавлять к ночи паруса и пр. Кроме того, он обещал награду первому, кто обнаружит неведомую сушу.

Пройдя по параллели после выхода из Вальпараисо на триста миль к западу, «Сенявин» пересек магнитный экватор в широте $2^{\circ}20'$ (южной) и долготе $132^{\circ}40'$ (западной). Литке решил потом снова повернуть к экватору во второй и третий раз для того, чтобы, определив три его точки, выяснить по ним положение магнитного экватора в отношении экватора земли.

Плавая в экваториальных водах, Литке убедился в правильности заключения, ранее сделанного адмиралом Крузенштерном: на экваторе люди меньше страдают от зноя, чем находясь от него на 10° к югу. К счастью, пошли дожди, принесшие не только прохладу и свежесть, но и изобилие пресной воды.

Солнце надолго скрылось в тучах, дождевые шквалы следовали один за другим. Попутный ветер гнал корабль, и в конце мая «Сенявин» уже пересек северный тропик.

Океан был необычайно спокоен; сквозь его зелено-синюю поверхность часто виднелись проплывающие на небольшой глубине стаи морских червей. Извлекая их при

помощи садков, натуралисты не могли налюбоваться диковинным разнообразием их расцветки и удивительно грациозными движениями.

— Право же, поражаешься неистощимости и прихотливости природы, — заявил в восторге Мертенс.

— Вид их наводит на эту мысль еще более, чем вид слона или гиппопотама, — поддержал Китлиц.

— Помните, как хорошо сказано об этом у Ивана Андреевича Крылова? — спросил Литке.

И оба ученые одновременно продекламировали:

...Чудес палата. Куда на выдумки природа таровата.

В эти дни видели и не менее удивительных, чем черви, редчайших морских животных, которых Мертенс назвал «лепасами». Они плыли целыми полосами, или, как выразился Мертенс, «фронтами», настолько сплоченными, что их не могли разъединить ни высокие океанские волны, ни скользивший по ним «Сенявин».

Глава XVI

Восточные ветры понесли бриг к западным берегам Северной Америки. На десятый день плавания сенявинцы увидели очертания горы Еджкомб, расположенной у входа в Ситхинский залив.

Вскоре навстречу бригу из Ново-Архангельской крепости приплыл опытный лоцман: он повел «Сенявин» через лабиринт островков и проливов.

Ново-Архангельская крепость, отделенная от материка Америки Хуцновским проливом, стояла на высокой скале, выступающей из воды. Русский флаг гордо развевался над портом и его окрестностями.

— Ситху справедливее было бы называть островом Баранова, — говорил Федор Петрович офицерам, впервые попавшим в эти места. — Баранов отлично придумал поставить крепость на высоком, стоящем в море утесе. С такой высоты правителю лучше наблюдать за жизнью всей округи. Раньше здесь густой лес подходил к самим селеньям, и туземцы прятались в нем. Баранов приказал вырубить лес, но, из-за необычайной влажности климата, обрубленные и обуглившиеся пни на следующий год сно-

ва покрылись густой зеленью. В крепости есть и арсенал, и адмиралтейство, и больница, и школа, и лавки... На ново-архангельской верфи строятся суда. На их шпангоуты употребляют кипарис, который здесь называют «душмянкой». На бимсы и палубы идет ель, на обшивку — лиственница. Гребные суда здешней постройки очень хороши.

— Кто живет в Ново-Архангельске? — спросил Завалишин. — Я убежден, что великое отдаление от Европы и затруднительное с нею сообщение делают пребывание здесь весьма неприятным.

— Здесь живут алеуты, креолы и в основном, конечно, русские: охотники, рыболовы, военные и компанейские чиновники с семьями. Дом правителя крепости — нечто вроде общественного собрания. Весьма важное событие в жизни сего края — прибытие военного или компанейского судна с почтою из России и с российскими жителями. Глядите, сколько народу нас встречает!

Встречать «Сенявин» собралось почти все взрослое население Ново-Архангельска во главе с начальником колоний Чистяковым. Сенявинцам немедленно отвели лучшие квартиры, в их распоряжение для разъездов по окрестностям были предоставлены байдарки и лошади. Чистяков просил, чтобы офицеры и ученые «Сенявина» обязательно приходили к нему ежедневно обедать.

— Любезность и гостеприимство господина начальника колоний могли бы украсить и менее дикий уголок земли, — сказал Завалишин через несколько дней после пребывания на Ситхе.

Сенявинцы согласились с ним.

Повар угощал соотечественников «мамаями» — большими устрицами, жаренными в масле, горбушей, кетой, малиновым киселем и т. п.

Супруга начальника развлекала гостей игрою на клавесине; сам он рассказывал много интересного о подначальном ему крае, простиравшемся от Ситхи и острова Кадьяка до форта Росс на границе с Калифорнией.

Литке и его спутники интересовались всем, что касалось русско-американских колоний. Чистяков сообщил, что в бумагах покойного Баранова — первого правителя колоний — есть много записей об экономике и народах этого края.

— Было бы весьма и весьма желательно, чтоб замечательные эти записи не были преданы забвению. Из них,

несомненно, можно составить интереснейшую книгу. Я охотно предоставляю в ваше распоряжение весь материал, какой имеется в архиве управления колониями.

Среди народов, населяющих Ситху, особенное внимание сеньявинцев привлекли колоши или колюжи, называющие себя Китха-Хан.

О происхождении колошей Чистяков рассказал интересную легенду.

Они считали основоположником своего племени мифического человека по имени Элькх. Мать его была сестрой и в то же время женой первобытного властелина земли — жестокого Китх-угин-си, который истреблял большую часть своих детей, чтобы не дать размножиться людскому племени.

Однажды мать убежала от своего жестокого мужа на морской берег, где встретила молодого мужчину. Он предсказал, что, проглотив круглый раскаленный камешек, она родит сына, которого никто не сможет погубить.

Предсказание сбылось. Родившийся младенец — Элькх — с первых же дней стал прекрасным охотником. Он убил большую белую птицу с сильными крыльями и, надев на себя ее шкуру, почувствовал, что может летать. Поднявшись за облака, он не смог управлять крыльями, так как был еще мал, и с раскаянием воскликнул: «Зачем я не остался с матерью!» Не успел он произнести эти слова, как мгновенно очутился возле материнской хижины.

Когда Элькх вырос, он отправился искать Китх-угин-си, чтобы отомстить за все ранее совершенные им злодеяния. После долгих скитаний Элькх нашел его и запер в хижине, приказав водам затопить преступника; сам же, поднявшись на крыльях высоко в воздух, кружился над бурлящими водами до тех пор, пока не почувствовал, что вот-вот упадет. Собрав последние силы, Элькх полетел в сторону и без сознания свалился на высокий камень. Из забытья его вывел чей-то сильный голос.

Элькх долго бродил в поисках зовущего, пока не увидел играющих на морском берегу бобров. Один из них довез Элькха до места, где собралось множество людей, чудом спасшихся от потопа. Здесь сидел мудрый ворон, по верованиям колош — создатель вселенной. Ворон и повелел Элькху быть родоначальником всех колош.

— Однако какое смешение легенд и мифов встречаем мы во всей этой истории! — удивился Мертенс. — Ведь тут и Сатурн, пожиратель своих детей, и Икар, взлетевший к солнцу на искусственных крыльях...

— И плывущий на дельфине Арион, — добавил Постельс.

— И наш русский Иван-царевич, только вместо волка везет его более родственный местным жителям бобер, — заметил Литке.

— Неужели вы допускаете, что колоши заимствовали свою мифологию у древних греков или римлян? — насмешливо спросил Китлиц, пристально разглядывавший перышко птички, пойманной им накануне.

— Нет, конечно, — спокойно ответил Постельс. — Однако общность мифологии говорит о том, что сказки младенствующего ума человеческого одинаковы и под светлым небом Эллады, и в диких лесах Севера.

— Между прочим, представление о вороне как о мудрейшей из птиц свойственно издревле многим народам, — сказал Китлиц. — А вот смогут ли колоши ответить, кто дал ворону такую власть?

— Я спросил об этом у одного старика колоша, который показывал мне целебные травы, растущие вокруг крепости, — отозвался Мертенс. — Вместо ответа старик многозначительно поднял кверху указательный палец и строго сдвинул брови. На эту тему колоши, видимо, не любят говорить.

— Эти мудрейшие мистические птицы выродились ныне в «полицию», — улыбнулся Литке. — Здешнее воронье уничтожает с улиц и дворов всякую падаль. Кроме того, оно гоняет свиней, безжалостно отклеывает у них хвосты. Вы заметили, что большая часть здешних свиней без хвостов? Вот и сейчас, слышите визг? Пойду посмотрю, что там творится.

Все расхохотались, а Китлиц вступился за легендарного ворона:

— Пожирает уличные нечистоты и падаль и обглаживает свиньи хвосты обыкновенный ворон «корвус корак», но есть и другие породы — ворон костеломный, ворон Стеллеров, ворон...

— Хорошо, хорошо, господин орнитолог, — перебил Постельс, — вы лучше скажите, что это за перышки у вас в руках?

— Представьте, не могу решить, чьи они. Нашел их на берегу, по строению они очень напоминают перья красно-бурой ласточки, распространенной по всей Северной Америке, и в то же время могут принадлежать «альце-до альциону». А может быть...— Китлиц задумался.— Может быть, это перышки красно-бурого медососа,— произнес он через несколько минут.— Вчера мне удалось подстрелить одного, но он упал в такую чащу, что не пришлось его отыскать.

— А какая расцветка у здешних дроздов! — воскликнул Постельс, восхищенный снежно-белым красавцем, которого ему принесли накануне мальчишки.— Я хотел нарисовать одного, но... он вырвался и улетел.

— Не хитрите, господин живописец,— перебил Китлиц,— он не вырвался. Вы сами выпустили его на волю. И это очень жаль, ибо это был действительно редчайший экземпляр снежно-белого дрозда.

— Зато я предоставил вам морского жаворонка и чаек трех видов,— возразил Постельс.— А как вам понравилось пение подорожников? На вид такие простенькие, а как поют!

— Да, замечательные птички,— согласился Китлиц.— Впрочем, насколько я заметил, их пение несколько помешало вам рисовать ландшафт?

Постельс смутился. Он думал, что спутники не заметили, как он задремал, слушая пение подорожников, а мальчишки, воспользовавшись этим, стащили у него несколько кисточек и красок. Разрисовав друг другу носы и щеки зеленой и малиновой краской, они бегали по селению, вызывая зависть своих сверстников.

Беседу прервал возвратившийся Литке; он был чем-то очень раздражен.

— Сейчас я наблюдал у конторы отвратительную сцену. Колоши и алеуты сдавали приемщику ценные шкурки птиц и бобров, а в обмен получали дешевые ситцы и платья, в которые тут же переодевались,— женщины в бурнусы и капоты, а мужчины во фризские сюртуки и фраки. Можете себе представить, как они выглядят в сем нелепом наряде, оставаясь в меховых сапогах и пуховых шляпах!

Позже Литке говорил об этом с Чистяковым.

— Что же можно поделывать, когда и колошские старшины — тайоны — обожают щеголять в мундирах воен-

ного покроя и непременно требуют от своих жен, чтобы те хоть что-нибудь носили из русского платья? Из-за нехватки ситцев и полушалков бывают большие неприятности. Иногда при дедеже этих товаров возникают кровопролитные драки.

— Воинственный народ ваши ситхинцы? — спросил Ратманов.

— Как вам сказать... Сначала неприязнь их к нам была весьма деятельна. Они пользовались всяким случаем, чтобы зарезать русского. Но постепенное сближение уже дает благотворные результаты. Многие колошанки охотно выходят замуж за русских, а отличное от таких браков потомство одинаково радует родичей с той и другой стороны. Кроме того, туземцы начинают понимать, что русские заботятся о них, устраивая больницы и школы. Супруги Рикорды для этого края сделали много добра. Всё же между собой дерутся колоши и поныне. Часто драки возникают из-за женщин. Тут бывает нечто вроде дуэли, только дерутся не два соперника, а целые группы их родственников и друзей.

— То есть возникает, как у птиц, междоусобная война? — спросил Китлиц.

— А какая, собственно, разница между войной и дракой? — улыбнулся Чистяков. — У колош ссоры бывают, очевидно, как и у всех народов: внутренние и внешние. Мы называем первые — драками, а последние — войнами. — Помолчав немного, Чистяков продолжал: — Кровавая месть за обиду — священная обязанность каждого колоша. Но наряду с такою, казалось бы, кровожадностью они очень хорошие отцы и мужья. По обычаю, младенца купают в океане всякий день, зиму и лето. Недавно я спросил одного колоша, почему он поручает чужим людям насильно окунать его детей в холодную воду; заметьте, что если ребятишки ревут, их при этом нещадно бьют. Он мне прямодушно ответил: «Я не купаю своих детей, потому что мне жалко их драть. А драть следует».

Все рассмеялись, а Федор Петрович невольно вспомнил Мейера с «его альфой и омегой»...

Накануне отплытия из Ново-Архангельска Литке устроил праздник на борту «Сенявина». Приглашены были и колоши с таким, однако, расчетом, чтобы не задеть ничьего самолюбия. Чистяков предупредил, что чувство это у них сильно развито.

Часть колошей явились в национальных костюмах, выделанных из оленьих кож, птичьих перьев и звериных шкур; другие облачились в русские платья. Гостям предложили любимую ими кашу из сорочинского пшена с патокой и горячий грог. В начале ужина едва не возникло недоразумение. Федор Петрович распорядился дать отдельные тарелки только тайонам, а для остальных поставить миски, по одной на несколько человек. Из этих мисок колоши есть не стали. Они сидели неподвижно до тех пор, пока перед каждым не был поставлен отдельный прибор.

После ужина гостям раздали подарки: мужчинам — ружья, порох, веревки, а женщинам — ленточки, бусы и зеркала, особенно им понравившиеся.

Матросы поглядывали на женщин, но подойти к ним не решались: им не нравилось, что у колошанок свозь губы в виде украшений продеты деревянные палочки. Не понравились экипажу и танцы колошей, дикие, сопровождавшиеся некрасивыми телодвижениями.

На следующий день тайоны прислали на корабль депутацию. Она поблагодарила за угощение и подарки, полученные на вчерашней «игрушке» — так называли колоши празднества. Затем депутация поднесла экипажу «отдарки» — домотканые ковры, корзинки и пуховые шляпы — и пригласила сенявинцев к себе в селение, чтобы, по принятому обычаю, устроить им ответную «игрушку».

— У нас такой обычай, — говорили колоши, — когда отпировали у одного хозяина и получили от него подарки, хозяин этот переходит по очереди в дом от одного гостя к другому. Рыбы, жира, оленины сейчас много, шукши натолкли с сельдевой икрой...

Литке поблагодарил, но от приглашения отказался, так как шлюпу пора было сниматься с якоря.

Из Ситхи «Сенявин» взял курс на Уналашку, чтобы нанять алеутов, славившихся умением лавировать среди бурунов и приставать к труднодоступным берегам на своих байдарках. Это было необходимо для дальнейших исследований.

Переход до Уналашки был очень тяжел. Дули встречные ветры, а попутные сопровождались дождями и густыми туманами. В течение двух недель «Сенявину» не удавалось пересечь гряды Алеутских островов.

Литке хотел пройти к Уналашке хотя и опасным, но значительно сокращающим путь к этому острову узким Уналгинским проливом. Когда корабль был уже на расстоянии не более двадцати миль от северной оконечности Уналашки, барометр начал стремительно падать, пошел проливной дождь, все вокруг окутала мгла. Бриг лег в дрейф.

Наутро погода не изменилась.

— Идти сейчас в опасный пролив — предприятие почти отчаянное, — говорил офицерам Федор Петрович. — Держась же в море, мы будем застигнуты надвигающимся штормом — и тогда гибель шлюпа почти неизбежна.

— Однако придется все же принять решение, — хмуро произнес лейтенант Завалишин, вглядываясь в темные тучи, обволакивающие горизонт.

— Я и принял, — подымаясь из-за стола, сказал Литек. — Курс — в пролив! Всем быть на местах готовыми действовать, как того потребуют обстоятельства.

Все встали. Корабль поплыл вперед. Навстречу ему летели стаи пугливо кричащих чаек и береговых птиц, взбудораженных надвигающейся бурей. На короткий миг сквозь туман показался островок Яичный, лежащий у самого входа в пролив. Со всех сторон виднелись прибрежные буруны. Измерили глубину. Она составляла около двадцати семи сажен. Грунт был тоже подходящий для того, чтобы стать на якорь.

— Так закончилось предприятие, которого всю опасность одни только мореходцы постигнуть могут, — со вздохом облегчения проговорил Литке, спускаясь в кают-компанию.

Он промок до костей, был очень бледен, но лицо его светилось радостью. И все же он мысленно укорял себя в риске, которому подверг судно, направив его в пролив:

«Неуместная осторожность может ввести в безрассудную решительность. И напротив того — иногда бывает нужна великая смелость, чтобы решиться быть осторожным. Опасаясь оказаться брошенным на берег ожидаемою бурей, я хотел отклонить опасность таким предприятием, которое в девяти случаях из десяти должно быть неудачно и, следовательно, гибельно».

— А бури так и не случилось, Федор Петрович, — сказал Завалишин, как будто подслушав мысли капитана. —

И непонятно, почему же так стремительно падал барометр?

Литке искоса посмотрел на него:

— А потому, сударь мой, что юго-восточный ветер нанес на берег, возле коего мы курсируем, великую сырость.

Не успел Федор Петрович переодеться, как вахтенный сообщил, что ветер разогнал мглу и впереди видны два больших утеса.

Через несколько минут Литке рассмотрел в подзорную трубу острова Спиркина и Уналагу и два острых утеса, на которых когда-то спасся Кук.

Целую ночь «Сенявин» боролся с волнами, не дававшими ему добраться до Капитанской гавани. Когда рассвело, в бухте показалась байдарка. Услышав пушечные выстрелы «Сенявина», она шла к нему навстречу. Гребцы посоветовали вести корабль не посередине пролива, где было сильное течение, а ближе к берегу.

Литке последовал этому совету, и корабль благополучно вошел в тихую Самгануду, берега которой были необычайно живописны.

— На этой губе дважды побывал Кук, — взволнованно вспоминал Федор Петрович. — Вдохновенный искатель новых земель, он, так же как и мы, любовался изумрудной зеленью этих окрест лежащих лесов, этими сверкающими водопадами... Не находите ли вы, друзья мои, что с самой Бразилии не видели мы столь веселых, словно смеющихся, ландшафтов?

— А мне более по вкусу угрюмые ситхинские леса, — сказал Завалишин. — Даже сожженные солнцем чилийские горы привлекали мой взор более, нежели эти пасторальные картинки, возле коих так и мнятся пастушки и пастушки из балетных представлений.

Литке посмотрел на вечно противоречившего ему лейтенанта, но ничего не сказал.

«Сенявин» приблизился ко входу в Капитанскую гавань. Два шестнадцативесельные байдары, посланные ему навстречу, взяли шлюп на буксир и привели к селению Иллюлюк на острове Амахнаке. Жители острова приветствовали прибывших пушечными выстрелами. Правитель Уналашки — старик Петровский — поднес им, по русскому обычаю, хлеб-соль и пригласил к себе.

Пшеница, привезенная для острова из Ситхи, немедленно была выгружена. Литке просил Петровского найти необходимых для дальнейшего плавания опытных мореходцев-алеутов, байдарку, а также продать кое-что из провизии. Алеуты были тотчас же найдены, байдарка и провизия свезены на шлюп, но поспешность эта оказалась ни к чему, так как подули неблагоприятные ветры, и пришлось пробыть на Уналашке не один день, как предполагалось, а целую неделю.

Приближалась осень, надо было торопиться с дальнейшими исследованиями, и вынужденная задержка огорчила Литке. Зато натуралисты не скрывали удовольствия от возможности побродить по новым местам.

— Не узнать всего, что встречается на пути — значит пропустить в книге природы листы, в коих, может быть, находится ключ к объяснению какой-либо из ее тайн, — ответил Постельс на укоры в излишней поспешности, с какою он и его неизменные спутники — Мертенс и Китлиц — устремлялись в неведомые ущелья, горы и леса, едва только корабль причаливал к берегу.

Федора Петровича беспокоил вид Мертенса, который совмещал напряженный труд натуралиста-исследователя с чисто врачебной деятельностью, не щадя своего слабого здоровья. Стоило кому-либо из членов экипажа заболеть, как Мертенс превращался и в сиделку, и в друга-утешителя. Если на корабле был тяжелобольной, Мертенс не покидал его даже тогда, когда представлялась возможность познакомиться с природой в еще не исследованном месте. Ни минуты не сидел доктор без дела и во время пребывания корабля в море. Он, подобно Постельсу, рисовал и раскрашивал различные экспонаты, рассматривал под микроскоп моллюсков, описывал подробно их анатомическое строение и тончайшие различия их видов.

Наблюдая, как самозабвенно работал Мертенс, переходя от ботанического ящика к микроскопу, беря в руки то перо, то кисть, Литке пытался прекратить его непосильную деятельность угрозой не разрешить ему сойти на берег при ближайшей стоянке. Но мягкий и покладистый Мертенс непреклонно и упрямо требовал такого разрешения, и Литке ничего не оставалось, как махнуть на доктора рукой.

Пока ученые занимались описанием «внешней физиогномии края», Литке в сопровождении Завалишина и Рат-

манова знакомился с бытом и правами жителей. Русских в селении жило только двенадцать человек, остальное население — до семидесяти человек — составляли алеуты. Много интересного рассказал о них местный священник Иоанн Веняминов.

Пережив на заре своей юности несчастную любовь, Веняминов добровольно отправился из столицы Восточной Сибири — Иркутска — в этот отдаленный край и посвятил свою жизнь населяющим Уналашку людям. Он изучил алеутский язык и перевел на него катехизис, с помощью которого старался привести алеутов к христианской религии. При его содействии была создана школа, где алеутская молодежь обучалась русскому языку и изучала историю великого русского государства. Алеуты постепенно начинали предпочитать больницу своим знахарям и шаманам.

Федора Петровича удивила необычайная чистота в юртах. Веняминов был доволен, что гость обратил на это внимание.

— Мои алеуты — морские казаки, — говорил он. — Они очень сметливы, трудолюбивы и необычайно ловки. Вы не глядите, что они ходят по-утиному, переваливаясь с боку на бок. Завтра вы увидите, что они вытворяют на своих байдарках.

На другой день было воскресенье, и хотя море вздымало огромные валы, разбивающиеся у скалистых берегов острова, алеуты развлекались «джигитовкой» на своих, похожих более на лыжу, чем на лодку, байдарках. Одни со свистом и веселыми восклицаниями подгребали среди бурлящих волн к самому скалистому берегу и, оттолкнув байдарку ногой, выпрыгивали на утес, рискуя разбиться насмерть при малейшей неловкости; другие опрокидывались вместе с байдаркой в воду, чтобы через одну-две минуты вынырнуть по другую сторону байдарки, не меняя позы.

— Да они и в самом деле лихие казаки! — воскликнул Завалишин.

Неожиданно неподалеку от берега всплыла туша огромного кита, убитого накануне одним из иллилюкских китобоев. Алеуты вытащили ее на берег и тут же разделили между собою китовое мясо и жир.

Мертенс, пришедший на берег после того, как кит был разрезан на куски, очень сожалел, что уже нельзя установить его породу.

Наконец погода изменилась, и «Сенявин» мог поднять паруса.

Когда трюм корабля был уже загружен всеми необходимыми продуктами, Петровский и Веняминов привезли в подарок выращенные ими впервые на этом острове картофель, репу и капусту.

Все население Уналашки, и русские и алеуты, высыпало на берег проводить корабль.

Глава XVII

В открытом океане «Сенявина» все время сопровождали сменяющие друг друга китовые стада. Молодые киты играли у самого шлюпа. Нырять друг под дружку, они выпускали высокие фонтаны воды, которые часто обрушивались на палубу шлюпа.

Руководствуясь инструкцией, Литке решил идти к острову Святого Матвея, чтобы осмотреть его и по пути проверить правильность долготы островов Прибылова, указанной на картах.

Первые дни плавания стояла прекрасная погода. Отдаленные берега островов зеленели не тронутой осенними красками листвой. Где-то далеко, у самого горизонта, высились Шишалдинская и Унимакская сопки-вулканы. Над их вершинами колебались высокие столбы дыма.

Погода стала портиться только у острова Святого Георгия, где над одним из видневшихся на берегу шалашей развевался флаг Российско-Американской компании.

«Сенявин» лег в дрейф, так как сильное волнение мешало приблизиться к острову. Литке распорядился выпалить из пушки. Не успело замереть где-то за холмами эхо выстрела, как от острова отделились две байдарки. Нырять среди валов, они устремились к «Сенявину». Из-за больших волн подняться на борт шлюпа островитянам не удалось, к великому огорчению управляющего островом — Резанцова. Привезенную ему почту сенявинцы перебросили на веревке в байдарку. Сквозь завывание бури они услышали просьбу Резанцова не отходить от берега, куда байдарки вновь не вернутся к кораблю. Надрываясь,

чтобы перекричать шум волн и ветра, сенявинцы и островитяне перебрасывались вопросами и ответами.

— Сколько у вас русских? — кричал в рупор Литке.

— Шесть человек...

— Алеутов?

— Семьдесят пять...

— Нужду в чем терпите?

— А ни в чем!

Между тем одна из байдарок, посланная Резанцовым на берег, вернулась с подарками: алеуты привезли трех живых котиков. Зверьков привязывали за передние лапки к сброшенной со шлюпа веревке и поднимали на палубу. В благодарность Литке распорядился на прощанье спустить островитянам чаю, сахару и круп.

Ученые расспрашивали Федора Петровича об острове Святого Георгия. Пригласив их и офицеров в кают-компанию, Литке достал с полки «Записки Хлебникова» и протянул книгу Завалишину:

— Прочтите вслух там, где закладка.

Завалишин прочел несколько страниц, из которых сенявинцы узнали, что остров Святого Георгия и другие, расположенные неподалеку от него, принадлежат к группе островов Прибылова. Они лежат на пути, по которому весной и осенью плывут стада котиков, направляясь то к северу, то к югу. Прибылов, исследуя места, в которых котики отдыхают и ютятся во время своих передвижений, набрел на эти острова и обнаружил огромные стада котиков и бобров. Купцы послали на богатые ценным зверем острова партии «промышленных» людей.

Только в одном 1803 году в Уналашке, куда огромными партиями свозились наскоро выделанные шкурки, их скопилось до 800 000. Сам Прибылов только за первые два года промысла добыл 40 000 котиков, 2000 бобров и 6000 песцов. Зверьки не боялись людей, и те легко убивали их палками.

За сорок лет с островов было вывезено около трех миллионов котиковых шкурок. Количество этих животных стало резко сокращаться, и они вовсе исчезли бы, если бы не вмешался Баранов, в ведение которого перешли оскудевшие пушниной острова.

— Вот уж истинно, «глуному сыну не в пору богатство», — возмущенно проговорил Федор Петрович, когда

Завалишин закрыл книгу. — Они убивали котиков более того, сколько сами могли обратить в свою пользу.

Мертенс держал на коленях присмирившего котика. Зверек, как ребенок, щурился на колеблющееся пламя свечи.

— Помню, читал я тогда в газете, — сказал Мертенс, — что для поддержания цен на этот товар, в излишке скопившийся в купеческих амбарах, сожгли семьсот тысяч бобровых и котиковых шкурок...

— Семьсот тысяч бесцельных смертоубийств, — сердито проговорил Постельс.

— А ведь я этих подаренных нам милых зверьков тоже обрек смертоубийству, — сказал печально Мертенс. — Из одного придется сделать чучело, из другого — скелет, а третьего — заспиртовать. Иначе как же я доставляю их в санкт-петербургский академический музей?

— Для пользы науки все оправдано, — проговорил Завалишин.

— Вчера залетел к нам морской попугайчик. Посадил я его в клетку, а он больше суток не прожил в неволе, — как бы оправдываясь за намерение умертвить котиков, продолжал Мертенс. — Птиц на этих островах в подозрные трубы мы видим великое множество, а пополнить ими коллекцию никак не удастся. Не подпускают к себе острова...

В матросском кубрике алеут Диомид рассказывал о повадках котиков:

— Как только солнышко повернет на весну, примерно в половине апреля, приходят они к нам с юга и ложатся там же, где останавливались в прошлые весны. Первыми вылазят на землю секачи. Выберут они себе местечко, которое повыше, и скликают своих самок. Лежит такой матерый секач на холмике и поглядывает за порядком в своем семействе. Упаси бог, подойдет к его самке какой другой кот-холостяк. Хозяин так на него накинется, так отколотит смельчака, что иной богу душу тут же отдаст.

— А ежели холостяк, к примеру сказать, сдачи даст секачу? — спросил высокий красивый матрос.

Все рассмеялись, а Диомид отвечал невозмутимо:

— Всяко бывает. Довелось мне однажды видеть, как схватился один такой смельчак с хозяином табуна. Истинный крест, от обоих куски мяса в стороны летели, и песок от крови покраснел. А малые котятки, ровно ребятишки

деревенские, на них зарились. А уж до чего эти котятки занятные. Пососут матку, а потом по бережку ползают, играют. Подойдешь к такому творению, а он ласты, вроде как ручонки, подымет и заголосит жалобно, будто пощады просит. Иной раз никак на него рука не подымается. Сивучата тоже пригожие бывают, особливо те, у коих отцы — сивучи, а матки — котиковые самки. Сложение у них и ласты — сивучьи, а шерстка, как у котика, — пушистая да густая.

Диомид порылся в глубоких карманах балахона и извлек круглый камень, величиной с куриное яйцо.

— Заветный камень, — сказал он, покачивая талисман на ладони. — Я его в брюхе сивуча нашел. Промышленные рассказывают, что сивучи глотают камни, чтоб остойчивей быть...

— Вроде балласта? — спросил кок.

— Заветный этот камень, — строго повторил Диомид и, бережно завернув в тряпицу, снова опустил камень в карман.

Почти неделю лавировал «Сенявин» у островов Прибылова. Наконец удалось подойти к острову Святого Матвея, открытому лейтенантом русского флота Синдтом во второй половине XVIII века. Якорь бросили у мыса Отвесного, получившего свое название от высокой отвесной скалы, уходящей в море.

Натуралисты в сопровождении нескольких матросов тотчас же отправились на берег. Землю покрывала тундра и мелкий тальник. Под мхом нашли корни макарши и еще какого-то растения, по виду и вкусу похожего на картофель.

Среди крутых холмов то и дело показывались остроконечные мордочки голубых и белых песцов. Они носились друг за дружкой, вспугивая стайки птиц. Удалось поймать несколько ипаток, топорков, ар и великолепный экземпляр северного ворона. Китлиц и Мертенс были в восторге.

Неподалеку от места, куда высадились сенявинцы, виднелись белые сугробы. При ближайшем рассмотрении «сугробы» оказались огромными белыми медведями, лениво дремавшими под лучами еще теплого осеннего солнца.

— Они на нас никакого внимания не обращают, — удивлялись матросы. — Может, они дохлые?

В это время у самого берега над водой всплеснулась треска. Медведи, как по команде, подняли головы и повели в сторону рыбы темными глазами.

Федор Петрович, как всегда, когда сходил на берег, проверял положение острова на карте. Зная, что в районе острова Святого Матвея Синдт открыл остров Преображения, Литке хотел отыскать этот остров, но вскоре после выхода в океан поднялась буря с густым туманом, и Федор Петрович горько пошутил:

— Теперь, пожалуй, надлежит нам более опасаться, нежели желать открытия этого таинственного острова.

Пять дней носился «Сенявин» по вздымавшимся волнам. Изредка над его мачтами пролетали птицы, но Китлиц при всем желании не мог причислить их к таким, которые указывают на близость земли.

На шестые сутки небо просветлело, туман рассеялся, и при восходе солнца на юго-западе отчетливо стали видны Командорские острова.

— Курс держать к острову Беринга,— приказал Литке.

— Какая, однако, унылая природа,— заметил Ратманов, указывая на обнаженные утесы и покрытые тундрой холмы, тянувшиеся вдоль всего видимого берега.— Неужто здесь живут люди?..

Гулкие пушечные выстрелы с «Сенявина» громыхали один за другим до тех пор, пока на ближайшем холме не показалось несколько человек.

Литке, не опуская подзорной трубы, говорил:

— Они машут нам белым платком. Будем лавировать в бухту под всеми парусами.

— Глядите, глядите,— раздались голоса позади капитана,— что за диковинное судно!

От острова к шлюпу направлялось какое-то странное сооружение. Когда оно приблизилось, то оказалось тремя сплоченными байдарками, на одной из которых был водружен кол, поддерживающий «парус» — шерстяное одеяло.

— Земляки, родимые! — кричал коренастый человек с развевающимися по ветру русыми волосами и окладистой бородой.— Я Сенков! Родион Сенков, тутошний промышленный! А это алеуты с острова Атту, сподручные мои...

— Сразу видать, что не наши,— заговорили алеуты на борту «Сенявина». — И байдарки несуразные, и обличье иное.

Сенков и его алеуты вскарабкались на борт. Завязалась оживленная беседа. Сенков сообщил, что на острове Беринга живет более сотни русских, креолов и алеутов; что все они охотятся на котиков и песцов; что компанейское селение, куда нужно было передать пакет правителя колоний, находится на западной стороне острова; что на соседнем, Медном острове вовсе никто не живет и т. д.

Алеуты рассказывали своим соплеменникам, что уже «слышат», то есть понимают по-русски, и хоть говорят покуда плохо, но непременно выучатся.

Литке решил передать пакет через Сенкова и в селение не заходить. Сенкова и его спутников угостили, выдали им кое-какие съестные припасы, и «Сенявин», гонимый юго-восточным ветром, поплыл к Авачинской губе.

Барометр стремительно падал. Небо затягивалось свинцовой пеленой. Только однажды сквозь ее плотную завесу пробились солнечные лучи, и тогда в отдалении, высоко в небе, показался снежный конус Вилучинской сопки, возвещавшей мореплавателям о близости Петропавловской гавани.

На третий день, в сумерки, увидели огни на Маячном мысу. Указывая на них, Федор Петрович сказал:

— Долго плавая в таких водах, где мореплаватель только в собственной осторожности находит безопасность, приятно видеть людскую заботу об усталых мореходцах.

Якорь бросили, когда было уже темно.

Разгрузка «Сенявина» началась на следующее утро. Жители Петропавловска давно уже ожидали грузы из Петербурга.

Через несколько дней офицеры «Сенявина» отправились к скромному памятнику Берингу.

— Сто лет назад, — сказал Литке, обнажая вместе с другими голову, — сей отважный мореплаватель, честно выполняя свои обязанности на службе в российском флоте, прошел пролив, отделяющий Азию от Америки. Он исследовал Камчатку, острова Командорские и Алеутские. Бедный сей памятник уже сейчас покосился. Видно, недолго суждено ему стоять на земле. Но имя Беринга, которым назван пролив и остров, будет жить в веках.

Минуту все постояли в благоговейном молчании, склонив головы.

Сенявинцы уже посетили всех начальствующих лиц Петропавловска, побывали на торжественных обедах и па-

радных завтраках, данных в честь их прибытия на Камчатку. Ловкостью манер и приятными разговорами офицеры успели пленить камчатских барышень.

Федор Петрович усиленно занимался географическими и астрономическими наблюдениями. Постельс писал с натуры живописные пейзажи Авачинской губы, сопки, снежную вершину Вилучинского вулкана. Затянувшаяся стоянка дала Мертенсу и Китлицу возможность пополнить свои коллекции.

Наконец разгрузка была окончена, и «Сенявин» приготовился к отплытию. Неожиданно пришло известие, что транспорт «Александр», везший почту из России, потерпел крушение. Однако почту спасли, и ее прибытия ждали со дня на день.

Камчатские сопки и берег уже белели от снега. Надо было торопиться с выходом из Петропавловска, но Федор Петрович, хорошо зная цену бодрому настроению экипажа, внял просьбам и решил подождать прибытия почты. Через несколько дней она действительно была доставлена. Больше года сенявинцы не получали вестей из дому. Раздача писем превратилась в настоящий праздник. Их перечитывали по несколько раз вслух, обсуждали, делились новостями.

Обходя корабль, Литке с удовлетворением видел потеплевшие глаза людей и слышал, как весело, с гордостью рассказывал Ванюшин о своем сынишке.

— До того шустрый парнишка, до того смысленный. Лошадей в ночное с семи лет гонял. А каково написал письмо,— сущий грамотей!

Федор Петрович тоже получил письма: одно от сестры Наташи, другое — от дорогого друга — Федора Врангеля.

Наталя Петровна сообщала, что царь посетил Морской корпус, где Сульменев был помощником директора, и, оставшись чем-то недоволен, «перво-наперво отчислил от должности моего Ивана Саввича. Каково нам теперь приходится с шестью малолетками, сам ты, Феденька, понимать можешь».

Врангель писал, что вторая его экспедиция вокруг света закончилась благополучно и что он собирается жениться.

Печаль, овладевшая Литке, когда он прочел письмо сестры, еще более усилилась от сообщения Врангеля о

предстоящей радостной перемене в его судьбе. Федор Петрович невольно думал о том, что Врангель не сможет теперь так безраздельно дружить с ним, как прежде.

Глава XVIII

Распрощавшись с Петропавловском, «Сенявин» пошел к Каролинскому архипелагу, который предполагалось обследовать в течение зимы.

Плавание продолжалось более месяца. За это время «Сенявин» тщетно пытался отыскать якобы открытые американскими мореплавателями острова Кулунас, Декстер и несколько других.

— Боюсь, что острова сии были взяты американцами со старых испанских карт, — говорил раздосадованный напрасными блужданиями по океану Литке. — По крайней мере, на одной такой древней карте мне довелось видеть какой-то *Los Colunbas*.

«Сенявину» удалось найти острова Броуна, открытые английским мореходцем Бутлером. Острова эти были кораллового происхождения, и ни на одном из них — а их насчитали тридцать — не росли ни кокосовые пальмы, ни хлебные деревья, не было на них и малейшего признака человеческого жилья.

Как всегда во время плавания, натуралисты ловили и изучали попадающиеся в океане живые существа. На этот раз особенное их внимание привлекла рыба-луна — безобразное, бесхвостое создание, которое Мертенс прозвал в насмешку «тихоокеанская красotka».

Шлюп находился в тех же широтах, что и год назад в Атлантическом океане. Ежедневно измеряли температуру воды. Литке установил, что в Великом океане температура эта на пять градусов ниже.

Держа курс все время на юг, «Сенявин» подошел к самому восточному в Каролинском архипелаге острову Юалан, на котором Федор Петрович хотел провести измерение колебаний магнитного маятника.

Внимание путешественников сразу привлекли столбы дыма, поднимавшиеся в разных местах острова. С вечера лил дождь, и пришлось штилевать в нескольких милях от берега. Едва рассвело, к шлюпу на лодке подплыли

первые островитяне. По приглашению сенявинцев они охотно взобрались на палубу и быстрыми, выразительными жестами стали звать путешественников на берег. Моряки поняли, что на берегу их ждут кокосы и прочие яства.

Особенно удивляла островитян белизна кожи сенявинцев. Приближая к плечам матросов свои оливковые плечи, они весело указывали пальцами на солнце.

— Правильно, правильно, — понимающе кивали моряки. — Это от солнышка вы тут так почернели...

Несложную одежду островитян составляли пояса из банановых волокон с мешочком спереди и украшения из раковин, зубов животных и птичьих перьев. В мочки ушей они вставляли палочки с трещотками, которые при ветре приводились в движение и нещадно трещали.

Не успела уехать первая партия гостей, как прибыла другая. В лодке сидели гребцы и пожилой юаланец, который дал понять пришельцам, что он юрось, то есть начальник.

Променяв несколько кокосовых орехов на такое же количество пуговиц, начальник этот отправился восвояси. Затем приплыла еще одна лодка: туземцы привезли кокосовые орехи и сахарный тростник для обмена на пуговицы и бусы.

Простодушные гости держали себя непринужденно, по их поведению было заметно, что они не впервые видят большой корабль и белых людей: они рассматривали все без боязни и, оживленно жестикулируя, без умолку разговаривали на своем языке.

Всему экипажу понравилась доверчивость и приветливость чернокожих.

Так прошел первый день пребывания у Юалана. За ночь шлюп отнесло миль на двенадцать. Невзирая на дальнейшее расстояние, островитяне приплывали к сенявинцам и дружелюбно, как старых знакомых, приветствовали протяжным криком: «У-э-э!» Этими же звуками они выражали свое удивление при виде фортепьяно, ножей, кузнечного меха и прочего. Увидев подзорную трубу, гость-юрось прыгнул в сторону.

— Она, видимо, напоминает ему дуло ружья, коего он имел случай испугаться, — догадался Федор Петрович, успокаивая туземца.

С каждым днем количество лодок, подходивших к «Сенявину», увеличивалось. Однажды они так стеснились вокруг корабля, что одна оказалась раздавленной. Федор Петрович приказал поднять ее на борт для починки. Островитяне с интересом наблюдали, как матросы орудовали топором и молотком. Особенно восхищало их, что гвозди, пронзив дерево, оставались на его поверхности в виде блестящих, распыснутых звездочек. Восторженное «у-э-э!» то и дело слетало с расплывавшихся в улыбках лилово-коричневых губ.

Пока ремонтировали лодку, наступила тропическая ночь. Бархатная тьма заволокла небо и океан. За бортом мерно плескались волны. Литке приказал приготовить гостям постели. Юаланцы, поняв, что их оставляют ночевать на корабле, одобрительно закивали головой, прищелкивая языком, и тотчас же улеглись на палубе, не дожидаясь ужина. Два юроря, которых Федор Петрович уже называл своими приятелями, спустились за ним в капитанскую каюту.

— Ишь, утихомирились, — кивали на островитян матросы, убирая палубу. — Подушки признают, а чтоб прикрыться — этого не понимают.

Одеяла так и остались неразвернутыми. Некоторые гости подложили их под головы поверх подушек. Казалось, они спят непробудным сном. Однако едва раздался звон тарелок, вилок и ножей, возвещавших ужин, юаланцы быстро вскочили и гурьбой отправились за матросами к столу. Они умело рассаживались и принимались за еду. Это еще раз подтвердило предположение о том, что они уже имели случай побывать в гостях у белых.

Ели юаланцы мало. Видимо, им не нравилась европейская кухня. Зато они с удовольствием выпили по бокалу вина, возглашая свое восторженное «у-э-э!» и громко щелкая языком. На десерт они съели привезенное юросем Неной очень вкусное блюдо вроде киселя из толченого кокоса и сахарного тростника.

Ужин прошел оживленно. Разговаривали гости и хозяева жестами и мимикой, часто вызывавшей взрывы хохота. Юаланцы без умолку болтали, употребляя иногда искаженные французские слова: «сивульпе», «лесакроман» и другие. Закончив еду, они направились к своим постелям и мгновенно уснули.

Едва забрезжил свет, они покинули корабль, неустанно благодаря гостеприимных хозяев.

С утра Литке приказал лейтенанту Завалишину проверить, возможно ли пройти через отвёрстие в рифе, окружающем остров Юалан. Завалишин нашел, что оно ведет в гавань, глубиной около тридцати пяти сажен. «Сенявин» прошел в нее и не успел стать на якорь, как к нему снова подъехали лодки, полные свеженапеченных хлебных плодов, кокосов и сахарного тростника.

До ночи продолжалось на палубе веселье и взаимное угощение.

Наконец гости разъехались, и на «Сенявине» все стихло.

На заре матросы, крепя снасти, ослабевшие во время разыгравшейся ночью бури, обнаружили пропажу термометра и нескольких кафельнагелей — больших железных гвоздей.

Когда об этом доложили Федору Петровичу, он нахмурился.

— Несомненно, вещи эти унесены нашими гостями. Для них гвозди — подлинная драгоценность, а мы как будто нарочно разбросали их на виду, чтобы ввести гостей в искушение. Так что здесь и наша вина: «Не клади плохого — не вводи вора в грех», — говорит пословица. Впрочем, надо во что бы то ни стало объяснить юаланцам, что они совершили неопозволительный поступок, и заставить их возвратить самовольно взятые с корабля вещи.

— Как же вы надеетесь это сделать? — недоверчиво спросил Мертенс. — Ведь такие отвлеченные понятия, как собственность, кража, самоуправство и тому подобное, весьма затруднительно объяснять жестикულიацией...

Федор Петрович задумался.

Когда на следующее утро юркие лодки юаланцев опять окружили корабль, Литке разрешил взойти на палубу только юросям по имени Сипе и Нена. Остальные с завистью поглядывали на них.

— Принесите пять таких же гвоздей, какие были украдены, и запасной термометр, — приказал Литке матросам.

Разложив принесенное на столе, Федор Петрович подвел к нему юросей и, немного погодя, спрятал под салфетку кафельнагели и термометр. Затем он указал на юаланцев, продолжавших лавировать вокруг корабля,

укоризненно покачал головой и при помощи жестов и мимики объяснил, что, пока не будут возвращены увезенные с «Сенявина» вещи, никто из юаланцев — в том числе и сами юроси — не будет допущен на корабль.

Очевидно, юроси поняли его, так как с огорченными лицами тотчас же покинули шлюп.

— Будут ли положительные результаты? — интересовались сенявинцы.

Натуралисты ушли в глубь острова. Литке приказал раскинуть свою походную обсерваторию на маленьком островке Матаньяле — том самом, на котором некогда производил свои наблюдения французский капитан Дюперре, о чем Федор Петрович знал из книги этого путешественника.

Островитяне, иногда выкрикивая свое протяжное «у-э-э!», следили за каждым движением Федора Петровича, но не переступали невысокой каменной ограды, которою была окружена «обсерватория». Только юрось Какй ежедневно приносил исследователям угощение — печеные плоды хлебного дерева.

Однажды он появился, неся на спине маленького сына. Ребенок весело помахивал над головой отца пальмовым листом, но, увидев белых, пронзительно завизжал.

— Чего он так испугался? — недоумевали помощники Федора Петровича.

— Верно, нас, белых, испугался. Ведь пугаем же мы своих ребятишек трубочистом! А чернокожие, наверное, пугали бы своих детей мельником, если бы таковые у них водились. Я читал в записках одного английского путешественника, что цвет его белого тела до такой степени был неприятен женщинам какого-то африканского племени, что вызывал у них даже приступы морской болезни.

Литке сделал навстречу Какй несколько шагов, и маленький юаланец, как птичка, забился в руках у отца. Пришлось его унести.

— Не кажется ли вам, Завалишин, что юаланские дамы избегают нас по той же причине, что африканки незадачливого англичанина? — спросил Завалишина Ратманов.

Отсутствие женщин на острове удивляло весь экипаж. Однако признать справедливыми слова Ратманова никому не хотелось.

— Наверно, мужья угнали их в глубь острова, — высказывали предположение матросы. — А может, черномазые красавицы сидят где-нибудь поблизости и исподтишка любуются нами...

Предположение это подтвердилось. Ванюшин шепотом признался, что видел женщину, пробиравшуюся в зарослях.

— Бежит в этакую, выше колен, юбочке, на шее черепашка мелкая вроде бусинок, а в ушах по цветку. Пробежала быстро, согнувшись, а на разрисованной спине — ребенок.

— И как это ты успел разглядеть и цветки и спину, коли бежала она так быстро? — недоверчиво спросили товарищи.

— У меня глаз острый, — нисколько не смутился Ванюшин. — Она даже этот цветок из уха вынула и мне бросила, — с гордостью прибавил он, протягивая товарищам немного измятый желтый цветок.

От цветка, как и от всего, к чему прикасались туземцы, пахло кокосовым маслом. Запах этот был неистребим. Юрость Нена как-то причесался гребенкой Литке, и как ее после ни мыли, она все же пахла кокосовым маслом, которым туземцы натирали свое тело.

— Брось, Ванюшин, цветик подаренный, — шутили матросы, — а то вернешься в свою деревню, девки из-за этого запаху на гулянки принимать тебя не станут.

На другое утро уже несколько матросов видели юаланок, ловивших рыбу. Перекликаясь короткими певучими возгласами, женщины тащили сеть, похожую на обыкновенный невод. Выбросив рыбу на берег, они тут же распарывали ее при помощи трех рыбьих зубов, воткнувших в деревянную рукоятку. Молодые девушки, шаловливые и веселые, как обезьянки, складывали очищенную рыбу в большие кошель и относили к палаткам юросей.

Другая группа женщин ткала из кокосовых волокон «тола» — рогожки, которыми юаланки покрываются во время сильной жары или дождя.

Матросы заметили, что возле этих ткачих прохаживались надзирательницы (как позже было установлено — жены юросей). Надзирательницы, как и их мужья, ничего не делали. Они только внимательно следили за тем, чтобы все натканное, наловленное и собранное с хлебных и банановых деревьев было отнесено в жилища юросей.

Наблюдая все это, матросы заключили:

— Стало быть, и тут барщина. Юроси со своими юросихами прохлаждаются, а простой народ — знай работает на них.

Действительно, юроси, проснувшись, долго натирались кокосовым маслом, ели подаваемые слугами блюда, а затем садились с другими юросями пить секу.

— Я почему-то уверен, что гвозди и барометр стащил кто-нибудь из юросей, — заявил Завалишин. — Ведь именно они шныряли по всем закоулкам корабля.

Через несколько дней, утром, когда все еще находились на корабле, Литке увидел приближающуюся лодку юрося Нены.

Поднявшись на палубу, Нена торжественно разложил на ней самовольно увезенные вещи, причем все они были аккуратно завернуты в банановые листья.

Федор Петрович, от души радуясь, что его опыт «воспитания» удался, подарил Нене и кафельнагелей, и обыкновенных гвоздей, и даже новенький рубанок; и сам показал, как с ним обращаться. Восторгу юрося не было границ. Он строгал все попадающиеся ему на глаза деревянные предметы и любовался стружками, прикладывая их в виде украшений то к голове, то к ушам. Вдоволь позабавившись рубанком, Нена стал усиленно приглашать сенявинцев к себе.

Федор Петрович приказал всем надеть парадную форму и вместе с офицерами, учеными и несколькими матросами отправился на берег отпраздновать возобновление дружеских отношений с юаланцами.

Юрось привел гостей — сенявинцев и туземцев — в свое жилище, обнесенное высокою стеной, сплетенной из тростника и расщепленного бамбука. С середины конусообразного потолка хижины на веревках свешивался ящик, в котором хранилась провизия. Только так можно было уберечь ее от крыс, в огромном количестве водившихся на Юалане. Опрокинутые деревянные корытца для воды служили сиденьем. В углах стояли станки для тканья тола. Несколько чистых рогож из бамбука устилали земляной пол. Усевшись на одну из них, юрось посадил возле себя Литке, Ратманова и Мертенса. Матросы разместились поодаль.

На празднестве присутствовали и женщины: две жены юрося и несколько няnek с малышами на руках. Прислу-

пиваясь к щебету женщин, сенявинцы заметили, что язык юаланок музыкальней, нежней и совсем с другими интонациями, чем тот, на котором говорили их мужья и отцы.

Вскоре после прихода гостей появились стряпуны, подпоясанные банановыми листьями, и, подобрав повыше к темени длинные волосы, торжественно, словно священнодействуя, принялись за приготовление секи. Корни растения, из которого готовился этот напиток, обломал сам юрость, после чего стряпуны стали изо всех сил толочь их камнем на каменном же столе до тех пор, пока корни не превратились в кучу волокон.

Тем временем на сосуде с водой, приготовленной для секи, сидел пожилой юаланец. Выполняя, по-видимому, магический обряд, он вертел головой, посвистывал и монотонно бормотал что-то на своем языке, иногда произнося отчетливо «юрость Лицеке» (Литке). Должно быть, это был жрец.

Бормотанье продолжалось до тех пор, пока Нена не подал жрецу рог. Протрубив несколько раз, жрец выбежал из хижины, причем все встречные шарахались от него в стороны.

После этого стряпуны положили растертые волокна в корытце и размешали их с водой. Сок из образовавшегося теста руками выжали в посуду из скорлупы кокосовых орехов.

Ни один островитянин не пригубил секи прежде гостей. Первые кокосовые чаши поднесли Литке и другим сенявинцам.

— Однако нектар сей совершенно безвкусен, — удивился Завалишин.

— И крепости нет никакой, — согласился с ним Ратманов, однако, по примеру Литке, сделал несколько глотков и закусил поджаренным плодом хлебного дерева.

Перед самым уходом, желая вызвать туземцев на танцы, два матроса сплясали русскую. Танец, по-видимому, удивил юаланцев, но не понравился им. Однако островитяне поняли, чего от них хотят. Надев браслеты, выточенные из раковин, они стали в затылок друг другу и, затянув заунывную песню, медленно переступали с ноги на ногу, выделявая руками однообразные и точные движения, при которых браслеты издавали звуки, подобно испанским кастаньетам.

— Ну уж и плясуны,— насмешливо говорили матросы,— будто кони ногами в стойле переступают!

— Настоящие механизмы,— поддерживали матросов офицеры.— И как точны, как выверены все движения!

Женщины не принимали никакого участия в танцах, и когда Ратманов попытался было пригласить одну из них, она только недоуменно подняла на него черные, как уголь, глаза.

— Подумаешь, скромница какая,— обиженно пожал плечами мичман.— Будто мы не заметили, как она переглядывалась с Ванюшиным.

— Поскольку вы не имели случая испытать строгость правил поведения юаланок, воздержитесь от поспешных заключений,— улыбнулся Литке.— Быть может, эти дамы не танцуют, чтобы не вызвать ревности своих мужей.

— Никак нет, ваше высокоблагородие,— быстро откликнулся Ванюшин,— мужья их на сей счет добродушны. Намедни чинил я сеть на берегу, вдруг подходит ко мне одна из этих черненьких, запустила пятерню мне в чуб и давай хохотать. А господин юрость тоже вскорости подошел, подперся руками в боки и тоже хохочет...

Когда сенявинцы направились к выходу, все оставшееся угощение — плоды хлебного дерева, скорлупы с секой и кокосовые орехи — по приказанию Нены было поставлено на деревянные дощечки и вынесено его свитой вслед за гостями, невзирая на их протесты. Пришлось взять подарки на корабль.

На Юалане сенявинцы пробыли три недели. Закончив свои астрономические и физические наблюдения, Литке приказал готовить судно к дальнейшему плаванию.

На этот раз натуралисты не протестовали против отплытия. Китлиц собрал все виды диких кур, желтоватых, с совершенно желтыми глазами голубиных кубарей, черных дергачей с ярко-красными ногами и ресницами, белых «мартышек» с голубым клювом, зук, синеногих куликов.

В стеклянных банках, расставленных в его каюте, плескались редчайшие экземпляры иглохвостов, игложабров, щетинозубов, рогоносов, краснобородок и других морских животных.

Мертенс заспиртовал многих насекомых. В его ящиках под стеклянными крышками пестрели засушенные бабочки. В большом бочонке плавали плоские щитообразные медузы с ветвистыми рогами и похожие на китайских

трепангов, совершенно прозрачные, с длинными щупальцами «кубышки».

Постельс неустанно зарисовывал все эти существа, пока они еще сохраняли свои живые краски.

Накануне отплытия путешественники устроили на палубе «Сенявина» прощальный ужин для юаланцев.

Поняв, что корабль готовится к отплытию, островитяне привезли сенявинцам много продуктов и подарков — черепаховых бус, бамбуковых рогож, кусков тола...

На прощальный вечер приехали и юаланки. Юорсь Сипе, дразня свою жену, показывал, как она будет плакать, когда вместе со всеми белыми уйдет с Юалана и матрос Ванюшин. Глядя на выразительные жесты и мимику юорся, матросы так и покатывались со смеху, а жена Сипе, отвернувшись от мужа, ласково поглядывала из-под длинных ресниц на красивого русского моряка.

Черные глаза женщины засветились радостью, когда Ванюшин подарил ей маленькое круглое зеркальце в блестящей жестяной оправе. Заглянув в него, она с улыбкой закивала своему отражению и, вынув один из цветов, воткнувших в тугой пучок ее смолисто-черных волос, бросила его к ногам Ванюшина. Сипе не проявил при этом каких-либо признаков ревности и даже присоединил к цветку жены трещотку, украшавшую его ухо.

Корабельный цирюльник уговорил некоторых юаланцев побриться. Они доверчиво подставили свои оливковые щеки под лезвие бритвы, но ни за что не хотели расстаться с длинными волосами, по-женски собранными на затылке.

Молодых девушек просили сплясать, но они, не трогаясь с места, упрямо повторяли:

— Шал-шал.

Пожилым юаланцам Литке показал географический атлас Крузенштерна. Узнавая в рисунках изображения знакомых предметов, островитяне выражали свой восторг протяжным «у-э-э!». А когда на одной из страниц увидели раскрашенных идолов, стали почтительно прикасаться к ним пальцами и хором произносили:

— Лелла! Эол! Лелла!

Литке заключил из этого, что юаланцы поклоняются тем же божествам, какие Крузенштерн зарисовал у нукагивцев, — только называются эти боги Лелла и Эол.

Одарив мужчин ножами, топорами, гвоздями, а женщин — пуговицами, зеркальцами и лентами, Литке пригласил всех к столу. К удивлению гостей, белые люди ели во множестве водившихся в юаланских рощах диких кур, голубей и куликов, к которым сами островитяне никогда не притрагивались. Зато вино гости выпивали до дна, едва только наполняли их бокалы.

За столом много говорили. Не беда, что слова были непонятны: по выражению лиц, интонациям голоса, жестам и путешественники и островитяне понимали, что слова эти дружественные, хорошие...

«Остров Юалан,— записывал Федор Петрович в судовой журнал,— может служить весьма хорошим пристанищем для китобойных судов, близ сих мест промысляющих, и для кораблей, плывущих в Китай восточным путем. Изобильного морского запаса здесь ожидать нельзя, но во временном продовольствии недостатка нет. Пресная вода, которую мы брали из ручейка возле селения Люаль, содержит некоторое количество соляной кислоты, но это не мешает ей быть вкусною и хорошо сохраняться.

Заканчивая описание острова, должен заявить, что оно сделано в сем судовом журнале без всякого соображения с повествованиями путешественников, посетивших Юалан прежде нас. Сделано так нарочно, для того, чтобы мои заключения остались совершенно независимыми от суждений других».

Глава XIX

«Сенявин» отправился в дальнейшее плавание по Каролинскому архипелагу. По ночам держались под малыми парусами, чтобы не натолкнуться на невидимый ночью неизвестный остров и не пропустить еще не открытой земли.

Почти все время океан был спокоен. Дни тянулись однообразно. Вынужденное бездействие утомляло экипаж больше, чем напряженная работа. Только натуралисты, казалось, не тяготились однообразной жизнью: Китлиц мастерил чучела редкостных птиц, Постельс раскрашивал наспех сделанные карандашом рисунки, Мертенс тщательно перебирал колбочки с заспиртованными личинками,

менял воду в маленьком судовом аквариуме, прикреплял крючки к ящикам с коллекциями.

Федор Петрович большую часть времени проводил у себя в каюте, проверяя карты и сверяя свои астрономические наблюдения с данными своих предшественников. В свободное от напряженной работы время он беседовал с офицерами об открытиях новых земель.

— Не следует смешивать два понятия: открытие и отыскание,— говорил Федор Петрович.— Открытие неизвестной земли — чистая случайность, а отыскание ее основано на расчетах и соображениях.

— Например? — с интересом спросило сразу несколько человек.

— Например, Кук не открыл Новые Гибриды и острова Маркиза Мендозы, а отыскал их. Когда во второй половине прошлого века между Англией и Францией возникло соревнование в отыскании новых колоний, английское правительство отправило в Тихий океан экспедицию под начальством капитана Кука. Кук отыскал названные сейчас мною острова, о существовании которых было известно, и тщательно исследовал их. А открыл Кук Сандвичевы острова и проливы, отделяющие Новую Гвинею и Новую Зеландию от Австралийского материка.

— А что он отыскивал или открыл в северных морях Тихого океана? — спросил Завалишин.

— Миновав Берингов пролив,— с готовностью рассказывал Литке,— Кук достиг семьдесят четвертого градуса северной широты, однако сплошные льды заставили его повернуть обратно.

— И он отказался от мысли проникнуть в Арктику? — снова спросил Завалишин.

— Я полагаю, что ни один настоящий мореплаватель не отказывается от однажды поставленной себе цели, и если бы дикари на Гавайских островах, где Кук решил переждать до лета, чтобы снова отправиться к северу, не убили его, кто знает, какими ценнейшими сведениями обогатилась бы наука...

— А плавание Колумба и Америго Веспучи? — вступил в разговор мичман Крузенштерн.

— Каравеллы Колумба и суда Америго Веспучи искали путь к сказочно богатым берегам Индии и Китая. Конечно, они открыли Америку, а не отыскиали ее... Колумб сначала даже посчитал Южно-Американский мате-

рик за цепь отдельных островов, протянувшихся с севера на юг. Только увидев многоводную Ориноко, он пришел к заключению, что такая большая река может протекать лишь по материку...

В ночь на новый, 1828 год «Сенявин» достиг пункта, в котором на карте пересекались пути, ранее пройденные другими кораблями. Казалось, здесь никак нельзя было ожидать неизвестного острова, однако при первых проблесках зари вахтенные увидели землю. Через несколько минут весь экипаж был на палубе. В подзорную трубу можно было разглядеть скалистые берега, густые леса и белые облачка дыма, медленно поднимающегося к розовому от зари небу в разных местах острова.

— А дымкй-то чисто наши, деревенские, — вздохнул матрос с выгоревшими до седины русыми волосами.

— Смотрите, лодки отчаливают! — воскликнул Крузенштерн.

Подзорная труба переходила из рук в руки. Действительно, возле далекого берега суетились люди, рассаживаясь в узкие, похожие на гоночные, лодки.

— Вот и доказательство случайности открытия неизвестных земель, — сказал Литке со сдержанной радостью.

Теперь уже и без подзорной трубы были видны находящиеся в лодках темные, обнаженные люди. Они что-то кричали, размахивая руками. Подплыв вплотную к кораблю, они, как их ни приглашали, не решились подняться на палубу по спущенному трапу.

Литке приказал принести большой блестящий нож и завертел им в воздухе. Тотчас же послышались восторженные возгласы туземцев, и один из них, не отрывая глаз от сверкающего на солнце ножа, быстро вскарабкался по трапу, приблизился к Литке и протянул за ножом темную мускулистую руку. Получив подарок, он прижал его к своему телу, а потом втыкал острым концом в палубу, бочки, канаты, издавая при этом отрывистые, гортанные возгласы, полные восторга.

Когда «Сенявин» двинулся в обход открытой земли, все лодки постепенно отстали, а гость, получивший нож, сидел на корточках, засунув подарок за сплетенный из коры кокосовой пальмы пояс — единственный предмет его туалета — и внимательно следил за каждым движением Литке: Федор Петрович при помощи секстана делал

наблюдения. Казалось, медная отделка прибора зачаровала туземца. Не успел Федор Петрович отвернуться, чтобы взять с табурета карандаш, как островитянин схватил так понравившийся ему предмет.

Литке и пришедшие ему на помощь матросы стали отнимать секстан. Глаза островитянина налились кровью, он визжал, кусался. Только выбившись из сил, он разжал сильные, как клещи, пальцы и бросился за борт.

Через несколько минут его темно-оливковая, как у дельфина, спина показалась недалеко от кораллового рифа, окаймляющего высокий берег.

Туземцы отличались от юаланцев не только своим отношением к чужеземцам. Они были выше, стройней юаланских друзей сенявинцев, и хотя волосы их были такие же черные, кожа имела иной оттенок — каштаново-оливковый.

Уже три часа «Сенявин» плавал вокруг острова, пока наконец в рифе не показался широкий проход в лагуну. По приказу командира лейтенант Завалишин и несколько матросов отправились обследовать открытый остров. С ними поехал и нетерпеливый Мертенс. Приказав исследователям применить оружие только в случае острой необходимости, Литке вел «Сенявин» так, чтобы ни на минуту не терять их шлюпки из виду.

Между тем туземные лодки снова окружили корабль. На этот раз в них находились груды камней и пучки стрел. Литке приказал приготовить оружие. Островитяне, несомненно, поняли, в чем дело, так как, прикрыв свое оружие циновками, стали бросать на палубу корабля кокосовые орехи, бананы и плоды хлебного дерева.

Пожаловать на борт отважились только три старика. Настороженные, подозрительные, они неуверенно, словно по льду, двигались по палубе, с любопытством осматривая и ощупывая незнакомые предметы.

Гостям подарили топоры, ножи и всякую металлическую мелочь. Они жадно хватали все, что им давали, и крепко прижимали к груди, как будто опасаясь, что у них отберут подарки. Самый старший из гостей осмелел настолько, что спустился в каюту, но, услышав бой часов, испугался, опрометью взбежал на палубу и бросился в океан. За ним последовали и его спутники. Добравшись до своих лодок, они направились к берегу. За стариками двинулась вся флотилия.

— И чего перепугались? — удивлялись матросы. — Чисто дети малые...

В это время вахтенные заметили на шлюпке, ушедшей с «Сенявина», белый флаг — сигнал опасности. Литке схватил подозрную трубу: островитяне, окружив шлюпку, забрасывали ее камнями.

— Пушечный залп в воздух! — скомандовал Федор Петрович.

Огонь и громовой раскат выстрела ошеломили дикарей. Мгновение они помедлили, затем их длинные лодки понеслись к берегу, и шлюпка с Завалишиным, Мертенсом и двумя матросами могла благополучно возвратиться к «Сенявину».

Послушать сообщение лейтенанта Завалишина о его разведке собрался весь экипаж.

— Прежде всего я хотел изыскать якорное место в углублении между рифами. Когда я оставил корабль, возле меня не было ни одной лодки, но во внешней бухте шлюпку догнали лодки, кои были у «Сенявина», а во внутренней присоединилось к ним такое же число с берега; я насчитал до сорока лодок, в которых по меньшей мере было двести островитян. Они плясали, шумели, предлагали нам свежие плоды и, хотя много препятствовали промеру дна и ширины прохода, враждебных намерений не проявляли. Однако же докучливость их возрастала с каждой минутой, они заезжали наперед шлюпки, хватались за нее и покушались снять с руля железный румпель. Один из них вынул даже стрелы, явно не с добрым намерением. Другие закричали что-то, и он спрятал стрелы. Мы повернули обратно, но продвигались между их лодками с трудом. Тот же дикарь, который собирался пустить в нас свои стрелы, зашел за корму шлюпки и, выхватив дротик, занес его надо мной. К счастью, я заметил это и выстрелил поверх его головы из пистолета. После выстрела все островитяне, как по уговору, присели в лодках и несколько минут не шевелились. Мы приналегли на весла. Когда туземцы, опомнившись от испуга, погнались за нами, прогремел ваш пушечный выстрел...

— Видно, хорошо зарекомендовали себя здесь белые, что нас так любезно встречают, — проговорил Мертенс.

Литке подумал немного, а потом сказал:

— Завтра мы опять попытаемся найти пристанище у берега, и я снова приказываю не употреблять оружия

противу жителей, иначе как в крайности и в собственную защиту.

Всю ночь лавировал «Сенявин» между низменными островками. Казалось, растущие на них деревья выступают прямо из воды. Под утро остановились против большого отверстия в рифе. Можно было предположить, что здесь находится нечто вроде гавани. На рифе стояли группы людей, спокойно наблюдая за передвижением «Сенявина».

На разведку отправились Завалишин и Ратманов. Не успела шлюпка пройти через отверстие в рифе, как островитяне с громкими криками спустили на воду свои лодки и стали окружать шлюпку, стараясь закинуть веревки за руль и уключины. На револьверные выстрелы они уже не обращали внимания. Литке приказал дать в воздух несколько пушечных залпов. Но и это не помогло.

— Чего наши смотрят,— взволнованно проговорил один из матросов.— Пристрелили бы одного — все бы и угомонились мигом!

— Чернокожие опасаются, видно, за свою землю,— откликнулся другой.

— А нам их земли не надобно. Поглядеть ведь только любопытно... Ну, слава создателю, выбрались наши...

Действительно, Завалишин и Ратманов, взволнованные и усталые, скоро поднялись на корабль.

— Нам надо держать дикарей в почтительном расстоянии, и единственное средство для сего — показать им силу огнестрельного оружия,— заявили они.

— Я почитаю такое средство слишком жестоким,— твердо сказал Литке,— и готов лучше отказаться от удовольствия ступить на открытую нами землю, нежели купить это удовольствие ценою крови не только жителей ее, но, по всей вероятности, и своих людей. Придется отправиться дальше. А эту бухту,— с улыбкой закончил он,— назовем портом Дурного Приема.

К югу от негостеприимного острова тянулась цепь других островов, тоже окруженных рифами. Продвигаясь вдоль этих покрытых зеленою небольшими островами, сенявинцы не заметили никакого признака человеческого жилья.

Высадившись на один из них, моряки поймали собаку с широким лбом, длинным опущенным хвостом, короткой жесткой шерстью и очень острыми ушами. Нрав у нее

оказался неприветливый и коварный; она никогда не лаяла, а только выла, да и то изредка; никого не подпускала к себе близко, даже матроса, кормившего ее, все время сидела под пушечным станком и рычала на всех, кто проходил мимо. В порту Лойда ее свезли на берег. Она тотчас кинулась в лес, и ее с трудом поймали, причем матросу, схватившему ее, она искусала руки. Не успели в Кронштадте сойти на землю, как собака исчезла...

Безлюдными казались и острова, лежащие несколько севернее, но вдруг среди бурунов неожиданно показалась лодка. Литке сам отправился в шлюпке навстречу неизвестным, чтобы узнать у них название открытых островов. Его попытки завязать беседу с туземцами ни к чему не привели. Размахивая красной материей, приплясывая и напевая, они говорили все сразу, очень быстро, и не обращали внимания на Литке. Потом бросили в его шлюпку несколько плодов в обмен на подаренные блестящие безделушки. Когда Литке указывал пальцем в направлении большого острова, они несколько раз повторили «Пыйнипет», но означало ли это слово название острова, Федор Петрович не мог понять.

Уходить от неизвестного острова, даже не узнав его названия, было очень обидно, и через сутки «Сенявин» снова приблизился к нему, на этот раз уже с западной стороны. Тотчас же от берега отошли четыре лодки. Островитяне, сидевшие в них, судя по скромному одеянию и более чем скромным подаркам — немного пресной воды в сосудах из листьев, — не были начальниками или старшинами племени.

Они тоже называли большой остров «Пыйнипет» и по несколько раз повторили названия мелких островов, указывая на них черными подвижными пальцами:

— Аир, Ап, Курубурай, Пингулап, Авада, Мо, Урага-ламата, Тагаик!

С согласия всего экипажа Литке назвал открытые экспедицией острова островами Сенявина «в честь достопочтенного мужа, именем которого украшено было судно».

— Жаль, чрезвычайно жаль, что нельзя посвятить исследованию этих островов несколько недель, — искренне сокрушался Федор Петрович. — В этом случае я даже решился бы во имя науки внушить жителям должное к нам уважение. Но ради немногих дней, которыми мы можем располагать, сего делать не стоит. Мы могли бы

только раздражить островитян и, не успев сдружиться с ними, приготовили бы еще худший прием для последующих мореплавателей.

Уходя от островов Сенявина, Литке определил их точное географическое положение и описал то, что удалось наблюдать: обилие дождей, растительность, базальтовые утесы, стоящие наподобие маяков по всей береговой линии... И хотя жилищ никто из членов экипажа не разглядел, дымки, поднимавшиеся в различных частях острова, и густые кокосовые рощи дали основание предположить, что островитян было немало.

Давно Пыйнипет скрылся из глаз, а сенявинцы все еще обсуждали нравы его жителей. Высказывались предположения, что они должны быть смелыми и воинственными. Об этом говорили следы ран на теле многих из них, пращи и копья, составлявшие вооружение, и употребление тритона рога, звуки которого возвещают о наступлении войны у многих племен Каролинского архипелага.

— Вы заметили, что туземцы надевают через голову кусок ткани из тутового дерева? Совсем как южноамериканский плащ «пончо»,— говорил Мертенс.

— А машут красной тканью над головой, как другие племена пальмовой ветвью в знак приветствия,— сказал Постельс.

От островов, неожиданным открытием которых гордились все сенявинцы, отправились к уже открытым, но неисследованным островам Лос-Валиентес, также принадлежащим Каролинскому архипелагу.

Острова эти, как и подобные им группы коралловых островов, показались сначала мореплавателям едва заметной бледно-зеленой полосой. Полоса эта становилась все ярче, потом под ней блеснул золотом песчаный берег. Через час можно было уже различить зеленые купы деревьев и людей, которые призывными жестами и криками манили путешественников к себе.

— Что за диковина,— удивлялись сенявинцы,— неужели у них вовсе нет лодок?

Ратманов, Мертенс и несколько матросов вызвались отправиться на остров. После некоторого колебания Федор Петрович приказал спустить для них шлюпку. По мере ее приближения к берегу, островитяне стали один за другим входить в воду. В подзорную трубу было видно,

как одни из них размахивали над головой пальмовыми ветвями, а другие подбрасывали в воздух, словно мячи, кокосовые орехи.

Ратманов и Мертенс высоко держали сверкающие на солнце ножи и разноцветные ленты.

Однако из-за прибрежных бурунов шлюпка не могла причалить к острову, и, промаявшись больше часа в безуспешных попытках, повернула к «Сенявину».

— Значит, вернулись не солоно хлебавши? — насмешливо спросил неудачников Завалишин.

— Нет, как же, соленого нахлебались вдоволь, — весело отвечал Ратманов, торопясь переменить насквозь промокшую одежду. — Как только откроешь рот, чтобы приветствовать островитян, так в него и хлынет соленая вода. Еще удивляться приходится, как мы не захлебнулись.

На островах Лос-Валиентес высадиться так и не удалось. Занеся их на свою карту в виде треугольника и пометив занимаемую ими площадь — около двадцати двух итальянских миль, — Литке поставил в графе «название» большой вопросительный знак. «Кто знает, — думал он, — не удастся ли разведать, как они называются у кого-нибудь из жителей близлежащих островов».

«Близлежащих островов» Мартлока достигли только через пять дней в хмурую, дождливую погоду. Не успели подойти к самому северному из них, как несколько весельных лодок направилось к «Сенявину». Хотя островитяне, по виду напоминавшие юланцев, охотно меняли кокосовые орехи на разные мелочи, подняться на борт сѹдна они не решались. Вскоре к «Сенявину» приблизилась и другие лодки, но уже под парусами. В одной из них сидел человек, выглядевший весьма живописно, в высокой конической шляпе, с куском яркой ткани на плечах. Ранее прибывшие островитяне почтительно посторонились перед ним.

Литке подошел к краю палубы и приветливо взмахнул платком.

Ткнув себя пальцем в лоб, человек в конической шляпе отрекомендовался:

— Тамоль Селен.

— Я тоже — тамоль, — Федор Петрович повторил его жест и высоко поднял новенький перочинный нож.

Тамоль сказал что-то своим спутникам, и те ловко швырнули на палубу три огромных кокосовых ореха. На

брошенный ему перочинный нож тамоль не обратил внимания: он показал Литке длинный поварской нож с костяной ручкой и старался дать понять, что желал бы получить такой же.

Лишнего поварского ножа на шлюпке не было, и Литке распорядился принести новый топор с острым, как бритва, лезвием. У тамоля загорелись глаза. После короткого разговора со своими спутниками он поднялся на палубу, где получил топор и вдобавок пригоршню гвоздей. После этого он спокойно прошел вместе с Литке в каюту.

Ладони его покрывал желтый порошок, такой же, каким у других островитян было натерто лицо, а руки украшала тонкая татуировка. По всему его поведению можно было заключить, что встреча с белыми людьми для него не в диковину. От тамоля удалось узнать, что остров, у которого стоял «Сениявин», называется Лугунор, а другой, расположенный южнее, — Сетоан.

Как только солнце склонилось к западу, гость затопился домой. Прыгая в свою лодку, он передал все полученные подарки матросу, стоявшему рядом.

— Гляди, не боится, доверяет нам! — удивлялись матросы.

— Да, уж пыйнипетцы так не поступили бы, — сказал Федор Петрович и, взяв у матроса подарки, перебросил их в протянутые из лодки черные руки. Топор очень понравился островитянам; указывая на него, они выражали желание получить еще один, но подняться за ним на борт решительно отказались.

На следующий день «Сениявин» лавировал вокруг открытых островов, расположенных севернее Лугунора. Жители этих островов следовали за кораблем в своих лодках, охотно меняя кокосовые орехи и свежую рыбу на изделия из железа.

Литке пригласил двух пожилых тамолей на обед. Гости, к которым позднее присоединился еще один тамоль, называвший Федора Петровича «капитал», очевидно, вместо запомнившегося ему «капитан», вели себя чинно, хвалили блюда одобрительным «мамаль» и старались ничему не удивляться. Однако, получив в подарок топоры, которые они называли «селле» и «сапе-сан», тамоли не могли не выказать удовольствия. Когда же к топорам Литке приказал присоединить белые рубахи, тамоли пришли

в восторг и поспешили на берег, чтобы скорее показать подарки соплеменникам.

Мертенс и Китлиц спорили о том, к какому роду и виду отнести редкие экземпляры выменянных у островитян рыб, а Постельс с увлечением рисовал их, передавая акварельными красками нежные переливы тонов.

За ужином естествоиспытатели упрашивали Федора Петровича задержаться здесь на несколько дней, чтобы пополнить коллекции. Литке согласился, так как и сам хотел высадиться на берег для проведения астрономических и магнитных наблюдений. Когда лейтенант Завалишин, вернувшись с разведки, сообщил, что нашел проход между окружающим острова рифом, Федор Петрович приказал идти в открывшуюся за этим проходом гавань к Лугунору.

В лодках, вновь подплывших к шлюпу, поминутно раздавались приветственные крики островитян. Сенявинцы кричали в ответ немногие слова, которые успели запомнить:

— Мамаль! Тамоль! Мамаль Лугунор!..

Как только корабль стал на якорь, на борт поднялись тамоли. Среди них особенно выделялся сообразительностью старый Эбунг. Он знал не только названия своих островов, но и многих других из Каролинского архипелага. Когда Литке, желая узнать от него эти названия, мелом нарисовал на палубе очертания островов, тамоль Эбунг, понимая кивая головой, взял мел и сам нанес на импровизированную карту целые группы других островов. При этом он не только называл их, но и старался объяснить устройство их поверхности.

По близкому созвучию названий «Фаунупей» и «Пый-нипет», «Алаун» и «Юалан» Литке догадался, что речь идет об одних и тех же островах.

— Ведь созвучные буквы у этих племен часто смешиваются, — рассуждал Федор Петрович, — и «Алау» весьма мало отличается от «Уала» и Юалана...

Долго присматривался к белым линиям, которые проводили на палубе капитан и Эбунг, тамоль Телиаур; потом взял из рук Литке мел и, отступя немного, начертил новую карту: весь архипелаг к северу от Гуахана и к западу от Леллы.

— А какие острова лежат за Леллой? — живо спросил Литке, сопровождая свой вопрос соответствующими жестами.

Телиаур показал на небо, потом присел на корточки и сделал такое движение, как будто хотел пролезть сквозь очень низкое отверстие.

Стоявший неподалеку матрос подмигнул товарищам:

— По его понятию выходит, что за Леллой небо с землею сходится и пролезть между ними нет никакой возможности.

— Господин тамоль Телиаур неплохой географ, — улыбнулся Мертенс, — что же касается его познаний из космографии, то они оставляют желать некоторого совершенствования...

Тамоль Селен, на которого не обращали внимания, подошел к Литке с обиженным видом и, указав на Телиаура, а потом на офицеров, сказал: «Тамоль-пуик», — затем ткнув пальцем в грудь себе и Литке, произнес: «Тамоль», — очевидно, давая этим понять, что Телиаур хотя и тамоль, но не такой, как он, Селен, и Литке.

Осматривая корабль, гости увидели дротики и пращи с Пыйнипета. Удивлению их не было границ. «Фаунупей! Фаунупей!» — восклицали они. В лодках, сопровождавших корабль, тоже раздалось: «Фаунупей!» — причем слово это произносилось со страхом.

— Мне сдается, что пыйнипетцы кажутся сему незадорному народу великанами и храбрецами, — предположил Литке.

Говоря о пыйнипетцах, гости становились на цыпочки, даже подпрыгивали, показывая их рост, и выражали удивление, что, побывав на Пыйнипете, путешественники благополучно унесли свои головы.

Тамоль Селен на выразительном языке жестов и телодвижений объяснил, что на Пыйнипете живут людоеды. Для того чтобы его поняли как следует, он вынул свой длинный нож и, делая вид, что отрезает от себя куски, указывал пальцем на кухонный огонь и шумно втягивал носом воздух.

— Слышите, жареной человечиною пахнет? — шутили во спросил Ратманов.

— Во всяком случае, — проговорил Федор Петрович, — из рассказов наших гостей можно вывести заклю-

чение, что обитатели Пыйнипета весьма отличаются от прочих каролинцев.

Закончив астрономические и магнитные наблюдения, Литке в сопровождении нескольких матросов отправился, как он выразился, с «визитами» к островитянам. Большое впечатление произвели на мореплавателей необычайно высокие кокосовые пальмы и хлебные деревья, раскинувшиеся густыми рощами по всему Лугунору.

— Заметьте, — указывая на них, сказал Литке: — мудрая природа в двух деревьях — пальме и хлебном дереве — снабдила человека всем необходимым: из них островитяне добывают пищу, питье, ткани, веревки, циновки, различную домашнюю утварь, материалы для строительства хижин и лодок.

— А хижины-то как крыши у русских изб, — заметил один матрос, — только вместо соломы — пальмовые листья.

— А вместо дверей — щиты из кокосовых ветвей.

На шум голосов из шалаша выглянул высокий худощавый старик. Отодвинув кокосовый щит, он пригласил чужеземцев войти. Шалаш состоял из нескольких небольших отделений, вместо окон были круглые отверстия. Хозяева радушно встретили гостей: угощали кокосовым молоком и орехами, делали разные подарки.

Путешествуя по острову в сопровождении тамоля Песенга, с которым относительно легко можно было объясняться, сениявинцы несколько раз отдыхали в специально оборудованных для этого местах: небольшое пространство, окруженное стеной, устилали кокосовые листья, над головой свешивались кокосовые орехи.

Лугунорцы вызывали к себе не меньшую симпатию, чем юаланцы. Когда Федор Петрович устраивал лабораторию, они охотно носили за своими гостями тяжелый багаж и астрономические инструменты. Молодежь с готовностью лазала за кокосовыми орехами для гостей на самые верхушки высоких пальм. Попробовали взобраться и матросы. Облюбовав пальму, футов около восьмидесяти высотой, Ванюшин с трудом поднялся по ее стройному стволу до половины — и кубарем скатился вниз.

— Это тебе не мачта, — смеялись моряки.

— Непривычное для русского матроса дерево, — сконфуженно говорил Ванюшин, потирая оцарапанные руки.

Когда Федор Петрович объяснил Песенгу, что собирается покинуть остров, тамоль показал жестами, как

будут плакать по «капитале Мицке» его единоплеменники.

На прощанье лугунорцы принесли на бриг кур, орехов и всякой всячины. В свою очередь, сенявинцы подарили им много топоров, ножей, гвоздей, безделушек, маленьких зеркалец и пестрых лент. Последним покинул палубу тамоль Селен, по местному обычаю, в знак дружбы поменявшийся именем с Литке.

Глава XX

— Вижу трехмачтовое судно,— объявил вахтенный.

Все устремились на палубу. После нескольких месяцев общения с туземцами хотелось повидать представителей цивилизованного мира, и Федор Петрович распорядился спустить шлюпку.

От неизвестного корабля тоже отошла шлюпка.

Скоро капитан трехмачтового судна мистер Фольджер сидел в кают-компании «Сенявина».

— Мое китобойное судно «Партридж»,— рассказывал он,— теперь идет к северу, потому что в тропиках китобойных судов, кажется, становится больше, чем китов.

В тот же день вечером старшие офицеры и Мертенс отправились на «Партридж». Мертенс был приглашен для осмотра имевшихся на английском корабле больных.

Фольджер охотно показывал свой корабль, вельботы, огромную печь для выварки китового жира и около тысячи бочек этого жира, натопленного с восьмидесяти убитых китов. На прощанье Фольджер передал Федору Петровичу письма в Англию.

Расставшись с «Партриджем», «Сенявин» сутки лавировал у группы островов, лежащих к юго-западу от Лугунора. От жителей этих островов узнали, что они называются Сотоан. Более подробных сведений получить не удалось, потому что островитяне боялись близко подплывать к кораблю в своих утлых лодчонках.

За ночь свежий ветер пригнал шлюп к третьей группе островов. В одной из приблизившихся к нему лодок сенявинцы, к своему удивлению, узнали лугунорца Селена. Радостно приветствуя Федора Петровича, он вместе с несколькими жителями этих островов поднялся на борт.

Они называли сенявинцев «Мамаль тамоль», дарили кокосовые орехи, восхищались полученными в ответ

подарками и с любопытством осматривали шлюп. Селен объяснил Литке, что его спутники — жители островов Эталь.

В течение следующей недели было обнаружено еще несколько островов и островков, принадлежащих к группе Намолук. Жители их доверчиво поднимались на шлюп. Один из них, назвавший себя Лугун, даже исполнил на палубе никогда невиданный сенявинцами бравурный танец. Потом он карабкался на мачты, кричал, подражая птицам и животным, кувыркался и ни за что не хотел уходить с корабля, когда тот собрался плыть дальше, к острову, открытому Квирсом.

В указанной на карте испанским мореплавателем широте и долготе острова Квирса не оказалось.

— Мы выяснили, здесь этого острова нет, — сказал Литке, — теперь нам остается решить, где он есть, ибо нет никакого сомнения, что Квирс именно где-то в этих местах видел высокую землю.

Федор Петрович был прав: на другой день увидели высокий остров. Точно установив его координаты, Литке убедился, что остров этот, под именем «Хоголе», описан капитаном Дюперре.

— Сходство положения сего острова с описаниями обоих мореплавателей дает основание предполагать тождество сих двух земель, — сказал Федор Петрович, — однако же истинное его название следует попытаться узнать от жителей. Может быть, это остров Руг, о котором говорили лугунорцы... А вот и сами островитяне.

Необычного вида лодки — красные с черными полосами и треугольными парусами — остановились саженьях в ста от брига. Из них доносился оживленный говор, похожий на спор. Федор Петрович приказал матросам помахать ножами и топорами и спустить трап.

Увидя блестящие предметы, люди в лодках еще больше оживились, но с места все же не тронулись.

— Покажите им лопаты и белые рубахи, — распорядился Литке.

Соблазн преодолел робость: первым вступил на палубу и тотчас же назвал себя тамоль Сеитип. Прежде всего он облекся в белую рубаху, потом внимательно осмотрел окружающие предметы, спустился даже в трюм, но, выйдя оттуда, бросился за борт и поплыл к лодкам.

Примеру Сеитипа последовало еще несколько человек. Они были красивее лугунорцев: носы прямее, губы не такие толстые, волосы мягче. Язык их настолько отличался от языка лугунорцев, что ни одного слова из тех, которые произносили сенявинцы на языке лугунорцев, они не понимали. И все же Федору Петровичу удалось установить название острова: это был, действительно, остров Руг.

Через двое суток плавания к северу увидели группу островов Аноним.

— Какой же это Аноним? — возмутился Федор Петрович, увидев на берегу людей. — Видно, нашим предшественникам было недосуг порасспросить у жителей, как называется их земля. Попробуем узнать это мы.

Островитяне оказались очень недоверчивы, и никто из них не захотел взойти на шлюп. Тем не менее Литке добился своего: указывая пальцами на берег, несколько человек повторило: «Писерарр. Писерарр».

Федор Петрович довольно потирал руки:

— Конечно, «Писерарр» — название острова. У Шамиссо тоже встречается это название, только несколько измененное — «Пизерас».

Много еще различных островов, как ожерелье протянувшихся с севера на юг, осмотрела экспедиция. Жители их, видимо, не впервые встречались с европейцами. Они смело поднимались на палубу и тотчас же начинали просить «найф»¹ или «лайф». Употребляли они еще несколько более или менее искаженных английских слов. Кроме того, не в пример другим каролинцам, они умело обращались с вилок и ложкой и уже познали «цену вещам»: на гвозди не обращали внимания, а когда Федор Петрович потребовал в обмен за нож несколько связок кокосовых веревок, обладатель их, иронически улыбаясь, решительно отказался от обмена.

Возле острова Оноун с окруживших шлюп лодок слышался вопрос на испанском языке:

— *Fragatta Ingles?*²

— *Fragatta Russiana!*³ — ответил Федор Петрович, приглашая на судно задавшего этот вопрос. Тот с готовностью принял предложение и объяснил, что сам он с

¹ Нож (англ.).

² Корабль английский? (исп.)

³ Корабль русский! (исп.)

острова Сотоана, бывал и на острове Гуахане, где изучил испанский язык, и очень хочет приобрести «найф».

Гость назвался Суккиземом. За ним на борту появились и его земляки. Все, как по уговору, просили ножи, удочки, не желая давать ничего в обмен, кроме летучей рыбы.

Прежде чем кок приготовил из нее отличную уху, натуралисты успели описать целых тринадцать разнообразных представительниц этой породы.

Пока происходила купля-продажа, Федор Петрович, стоя вместе с Постельсом на корме, любовался проворством и ловкостью островитян.

— Взгляните на берег,— указал Постельс.— Как это красиво!

Живописные группы детей и женщин в ярких передниках и огненно-оранжевых толах были залиты лучами заходящего в океан солнца. Весь залив казался малиновым, а густые кущи пальм — черно-зелеными. Резьба их исполинских листьев четким узором колебалась в алом небе.

— Изобрази я все это на полотне,— продолжал Постельс,— ведь не поверит никто, что картина моя — самая реальная действительность.

Федор Петрович отметил на своей карте последние, уже совсем крошечные, не более полутора сажен, безлюдные островки, едва возвышающиеся над поверхностью моря, и «Сенявин» взял курс на запад, к Марианским островам.

Так как запасы провизии на шлюпе значительно уменьшились, Литке решил зайти на остров Гуахан, славившийся изобилием мяса, рыбы и других продуктов. Кроме того, ему очень хотелось провести на этом острове опыты над отвесом, чтобы определить точную величину силы тяжести в этих местах.

С невольным волнением смотрел Федор Петрович на форты крепости Санта-Круз, в которой побывал почти десять лет тому назад. Вспомнились юношеские мечты, друзья, Василий Михайлович Головин.

Неузнаваема стала крепость. От бывшего ее оживления не осталось и следа. На дважды поданный сигнал о присылке лодмана никто не ответил.

Федор Петрович решил послать на берег разведку.

— Прежде всего, — сказал он Ратманову, — разузнайте, есть ли тут люди. Затем отправьте в Аганью матроса вот с этой запиской к губернатору.

Вернувшись, Ратманов сообщил, что в крепости живет только один старик, а губернатор Гуахана — по-прежнему дон Мединилья. Литке вспомнил, что десять лет назад этот Мединилья очень любезно отнесся ко всему экипажу «Камчатки». Вскоре явился посланец от губернатора с просьбой пожаловать в Аганью.

Губернатор торжественно приветствовал русских моряков, просил их быть как дома и приказал подать «досточтимому капитану и его офицерам» чакеты — легкие куртки, так как в тяжелых форменных мундирах было невыносимо жарко.

После обильного завтрака Федор Петрович отправился к жившему в Аганье исследователю Каролинского архипелага — дону Лупсу Торресу. Старик радушно встретил Литке и предоставил в его распоряжение свои журналы с замечательными записями о быте, нравах, происхождении и религии каролинцев.

За время двухнедельного пребывания на Гуахане «Сениявин» пополнил запасы продовольствия, натуралисты собрали обильные коллекции, Федор Петрович почерпнул из журналов дона Торреса много интереснейших сведений и очень удачно провел опыты с отвесом.

Однажды, когда Федор Петрович беседовал с губернатором, на улице послышался шум.

Выйдя на балкон, дон Мединилья позвал за собою и гостей:

— Сейчас вы увидите замечательное зрелище.

Большая толпа окружила двух огромных петухов. Федор Петрович догадался, что ему, как десять лет назад, снова предстоит наблюдать петушиный бой. Только на этот раз к ногам бойцов были привязаны наподобие шпор крошечные острые ножички.

В толпе, среди которой были и сениявинцы, заключались пари: одни ставили на белого петуха, другие — на рыжего.

Когда белый исполин стал с остервенением катать по обгаренному кровью песку огненно-рыжего, русские матросы с таким же энтузиазмом, как и гуаханцы, кричали во все горло:

— Bravo blanco!

Губернатор тоже вошел в раж:

— Ставлю пиастр за белого! Это истинный торeadор! Ставлю два пиастра!

Люди волновались, аплодировали, хохотали, свистели...

Но вот раздался удар церковного колокола. За ним другой, третий, такие же мерные и торжественные.

Толпа мгновенно притихла. Женщины опустились на колени, лицом к колокольне. Подзадоривающие петухов крики сменила общая вечерняя молитва.

Под ее благочестивый речитатив белый петух окончательно добил своего рыжего противника.

На другой день натуралисты уговорили Федора Петровича поохотиться с ними в окрестностях Санта-Круц. Литке взял ружье, но не успел он отойти от своих спутников, как раздался выстрел. Мертенс подбежал к капитану, чтобы поздравить его с удачным началом охоты, и испугался: белый чакет Литке был залит кровью. Федор Петрович случайно разрядил ружье в собственную руку.

Нелепое ранение не давало Литке, к великому его огорчению, возможности записывать свои наблюдения. Но он по-прежнему следил за подготовкой шлюпа к дальнейшему плаванию.

— Не забывайте, что при выходе из тропиков нас ожидают бури,— предупреждал он экипаж,— необходимо исправить все блоки и проконопатить тщательнейшим образом гребные суда.

Капитан потребовал, чтобы ему показали запас сухарей. Они оказались сырыми.

— Просушить сухари, а то заплесневеют! Зачем запасаете пресную воду здесь? — звучали его распоряжения. — Вон в той губе, к югу, она гораздо лучше. Сейчас же привезти на шлюп бочонок тамошней воды на пробу!

На прощальном завтраке, устроенном сенявинцами на борту своего корабля, Литке отвел губернатора в сторону и спросил у него счет за всю провизию, которую уже погрузили в трюмы.

— Помилуйте, господин капитан, за что вы хотите меня обидеть? — огорченно воскликнул дон Хосе Мединилья. — Я не хочу ничего брать со славных русских моряков. У меня на родине с глубоким уважением относятся к России и ее храбрым мореходцам. В Испании помнят капитана Крузенштерна, который побывал и в крепости, управляемой ныне мною, помнят и капитана Лисянского,

тоже побывавшего на этом острове, когда губернатором его был дон Курада, потомок Васко де Гама. А капитан Головин...— Губернатор, не найдя слов для выражения своего преклонения перед этим именем, поднял глаза и развел руками.

Литке крепко пожал руку губернатору:

— Весьма сожалею, что не имею способов отплатить за столь беспримерное гостеприимство и должен ограничиться лишь изъявлениями сердечной нашей благодарности.

Когда Мединилья спустился в свою лодку, его проводили пушечным салютом. Гребцы, одетые в красные рубашки и широкие соломенные шляпы, низко кланялись сеньявинцам и дружески кричали прощальное «адиос».

Вечером Литке диктовал Ратманову для записи в журнал:

«Губернатор есть единственный негоциант на всем острове. Он имеет в Аганье магазин, в котором недешево продаются европейские и китайские товары. Способ губернатора сообщаться с другими островами архипелага — каролинцы со своими лодками, из коих некоторое число всегда остается на Марианских островах. Для удержания их употребляются, может быть, и не всегда чистые средства, такие, к каким и везде капиталисты прибегают, чтобы закабалить работников...

Десять лет назад было здесь довольно рогатого скота. Теперь же весьма мало. Обеднение в сем и в других отношениях дон Хосе приписывает дурным распоряжениям предместника своего. Так ли это? Не является ли причиной такого обеднения, с одной стороны, стремление чиновников выжать из этого острова возможно больше для себя интересу, с другой,— беглецы с китобойных судов — европейцы. На всяком судне можно добиться чего-нибудь только трудом и прилежанием. На китоловном сверх того нужна удача в промысле. При неудаче и труды и прилежание будут тщетны. От этого матросы с сих судов весьма охотно дезертируют, а наипаче в Гуахан, где прекрасный климат, ограничивая нужды самую безделицею, дает им возможность вести жизнь праздную и беспутную, прибрав к рукам доверчивых и простодушных островитян».

«Доверчивых и простодушных», а порой и очень голодных островитян встречала экспедиция и при дальнейшем обследовании Каролинского архипелага,

Федор Петрович не пропускал даже самого незначительного клочка суши, едва заметно поднимавшегося над водой.

— Вот этот песчаный островок, по моему мнению, образовался из банки, помеченной в сем месте сто лет тому назад на карте Кановы,— указывал Литке своим спутникам на островок, напоминающий песчаную отмель.

— Среди коралловых рифов,— говорил он на следующий день,— обычно в изобилии водятся трепанги. Сегодня и мы полакомимся ими.

— Он ходит по океану, как по своему дому,— ворчал Завалишин,— и все-то ему надо осмотреть, и все-то он помнит... Право, конца не видно нашему путешествию...

— Вот теперь осмотрим еще группу Фарройлац,— как будто поддразнивая Завалишина, объявил Федор Петрович спустя три дня,— а затем уже, после обследования совсем маленькой группы Олимирао, пойдем на запад к группе Улеай. Мне надобно будет провести там несколько дней для произведения астрономических и магнитных наблюдений.

«Слава богу, отдохнем немного»,— подумал не один только Завалишин, услышав эти слова.

К общему удовольствию всего экипажа, с одного из островов группы Фарройлац вместе с ничем, кроме жестов, не понимающими жителями к шлюпу подъехал островитянин, отлично говоривший по-испански. Как впоследствии выяснилось, этому языку он научился на Гуахане. Он отрекомендовался старшиной Алаберто и со вздохом стал рассказывать об островах:

— О, наши острова — беднейшее в мире место. Здесь, кроме кокосов и рыбы, ничего нет для пищи, а когда не идут дожди,— то и для питья.

Сухарям и сухим фруктам островитяне обрадовались не менее, чем обычным подаркам — топорам и ножам.

Слушая жалобы Алаберто на свою судьбу, Федор Петрович предложил ему остаться на шлюпе. Алаберто после долгого раздумья с сожалением отказался:

— Нет, не могу. У меня здесь жена, она будет очень грустить...

— Мы можем взять и жену твою,— тоже подумав, сказал Федор Петрович.

Алаберто оглядел сидевших за столом офицеров и сокрушенно покачал головой:

— Нет, чем рисковать женой, уж лучше я останусь в Фарройлапе, как тут ни худо...

Он попросил для жены бочонок пресной воды и, вероятно для нее же, завязал в тряпицу часть предложенного ему угощения.

— Подарим ему карманный компас,— попросил Федора Петровича Ратманов.

Литке охотно согласился и тут же объяснил Алаберто, как пользоваться этим прибором.

Несколько дней прошли в обследовании группы Олимирао и множества лежащих в ней островков и рифов. Туземцы прищывали к борту «Сенявина», горя желанием получить топор, ножницы или что-нибудь в этом роде. Один из них украл несколько гвоздей. Федор Петрович приказал задержать тамоля, объяснив ему, что его отпустят, как только унесенные гвозди будут возвращены на корабль.

Тамоль, отыскавший в лодке своих соотечественников украденное и вернувший его, был для примера награжден самым крупным и блестящим топором.

Наконец показался долгожданный Улеай. Завалишин немедленно отправился выбрать якорное место между мелкими островами, а к шлюпу собралось более полусотни лодок. Некоторые островитяне, тыча себя в грудь пальцами, кричали: «Пилот! Пилот!»

— Может быть, они обозначают этим словом свое лощманское искусство? — предположил Крузенштерн.

— Пустите одного «пилота» на борт,— распорядился Литке.

Оказалось, что слово «пилот» было равнозначно слову «тамоль».

Завалишин указал, где можно стать на якорь, и шлюп вошел в лагуну. Здесь, в первый раз за время плавания в Каролинском архипелаге, сенявинцы увидели сооружение из камней, похожее на пристань.

Каждый, как всегда, занялся своим делом.

Федор Петрович приказал раскинуть палатку своей походной обсерватории и начал астрономические наблюдения.

Китлиц, Мертенс и Постельс, захватив ружья, капканы и сачки, отправились на охоту. Выстрелы заставляли жителей пугливо прятаться в заросли.

Был день пасхи, и матросы, свободные от работ, завязали с жителями веселую и шумную меновую торговлю, получая в обмен на железные и жестяные вещи раковины, ткани, рыбу и огромных морских ежей.

Ванюшин с несколькими товарищами отправился прогуляться по острову. Грозное «фарак, фарак» раздавалось за их спиной всякий раз, как только моряки приближались к местам, где находились женщины.

— Науке уже известно много интересного о нравах и обычаях каролинцев, — рассказывал вечером Постельс, — в особенности об их отношении к женщинам. Обличив жену в измене, муж несколько дней не пускает ее к себе в дом, а соблазнителя жестоко наказывает. До вступления в брак молодым девушкам разрешается целые ночи петь и плясать с мужчинами, зато матери семейств должны соблюдать предельную скромность. Однако у их женщин много преимуществ: улейки работают гораздо меньше мужчин; пресной водой, которой не всегда хватает мужчинам и для питья, они имеют право пользоваться даже для купанья, особенно в период беременности...

На заре «Сенявин» снялся с якоря. Несколько дней он лавировал вдоль последней группы Каролинского архипелага — Зурыпыг, а потом резко повернул к северу — к островам Бонин-Сима.

Глава XXI

— Вот вы радовались: «Погода больно хороша!» — а я говорил вам: «Не сглазьте». Так и вышло! — ворчал старый матрос на товарищей. — И дождь не дождь, а как будто весь океан на нас обрушился. Настоящий бус, про который один старикан с Охотска рассказывал...

Сквозь густую пелену мелкого дождя сенявинцы едва разглядели на северо-востоке низменный голый островок с обрывистыми берегами. Федор Петрович долго смотрел на него в подзорную трубу, потом так же долго рассматривал английскую карту и наконец заявил:

— Это остров Розарио. Англичане, побывавшие здесь в тысяча восемьсот первом году на корабле «Наутилус», справедливо переименовали его в остров Неудачи. Буруны омывают его берега, а бесплодные скалы сулят мореплавателям, если судьба закинет его на этот остров, голодную смерть. Поэтому добровольно мы к нему не пойдем. По

моим расчетам, при таком, как сейчас, ходе нашего шлюпа мы достигнем островов Бонин дня через два.

На следующий день Китлиц первым увидел стада береговых птиц, а еще через день «Сенявин» подошел к цепи островов, утопающих в роскошной зелени, с высокими, покрытыми лесом горами.

Хотя положение этих групп островов не соответствовало тому, как они были обозначены на английских картах, Литке не сомневался, что «Сенявин» достиг островов Бонин-Сима.

— Этот высокий утес очень похож на Бабушкин камень в Авачинской губе, — заметил мичман Крузенштерн, указывая на необычайно живописную скалу на одном из островов. — О, да там, кажется, люди!

Не успел он произнести эти слова, как послышались ружейные выстрелы.

— Я вижу английский флаг в их руках. Смотрите, они машут нам! — воскликнул Ратманов.

Хотя уже смеркалось, Литке приказал Ратманову немедленно отправиться в шлюпке на берег. Мертенс и Китлиц попросили разрешения сопровождать его.

— Подождали бы до утра, ведь Ратманову надлежит на рассвете вернуться на корабль, — возразил было Федор Петрович.

— А мы останемся. — Китлиц с жадным нетерпением смотрел на остров. — В этих чудесных лесах, наверно, настоящее птичье царство.

Привезенные с берега люди оказались боцманом Витрином и матросом Петерсеном с английского китобойного судна, потерпевшего кораблекрушение. Они рассказали, что еще в июне прошлого года капитан английского шлюпа «Блоссом» Бичи описал эти острова.

— Достоправный этот капитан оставил нам план гавани для судов, которым случится сюда заходить, — говорил боцман, — и вообще он так тщательно описал всю группу, что, даю честное слово старого моряка, ни одному капитану не удастся найти и фута, не обследованного мистером Бичи. Вы будете иметь возможность убедиться в моей правоте, как только ступите на берег порта Лойда, то есть гавани, названной так капитаном Бичи.

— Однако же вы здесь разбились... — возразил Литке.

— В этой беде меньше всего можно винить мистера Бичи, — горячо вступился за своего соотечественника боц-

ман, — над нашим бедным «Вильямом» с самого начала осени тяготело какое-то проклятие: еще до катастрофы срубленное дерево случайно убило нашего капитана. Не прошло и десяти суток после этого, как внезапно налетевший ураган сорвал «Вильяма» с якорей и бросил на камни. Судно разлетелось вдребезги. Поэтому мы называли лагуну, в которой произошла катастрофа, «Бухтой кораблекрушения». Экипаж спасся. Удалось спасти и часть груза — спермацетовый жир. Это, как вам, конечно, известно, драгоценный груз. О, мы еще получим за него в свое время неплохие барыши. В прошлом году хозяин «Вильяма» прислал сюда другое судно. Оно забрало людей и часть спасенного груза. Мы с Петерсеном остались стеречь остальное. Не угодно ли осмотреть наше хозяйство? — предложил боцман.

Жилище Петерсена и Виттрина было устроено из остатков разбитого судна. На его дверях они даже вырезали свои имена. Внутри стояли койки, стол, сундук, скамья, остатки китобойных орудий. На видном месте лежала «Британская энциклопедия» и Библия. Рядом с хижинкой помещался хлев с десятью йоркширскими поросятами.

— Это потомство свиней, спасшихся при кораблекрушении, — пояснил боцман, — благодаря им к завтраку и обеду у нас всегда мясо. Но жаль убивать поросят: мы очень привязались к ним — единственным нашим землякам на этом заброшенном на краю света клочке земли.

Петерсен выдрессировал одного из «земляков»; смешно поворачиваясь, тот показал гостям старинный матросский танец.

Хотя шлюп недолго пробыл у островов Бонин-Сима, все же было сделано много: Литке провел наблюдения над колебанием маятника, Мертенс и Китлиц обогатили свои коллекции новыми экземплярами, Постельс набросал несколько живописнейших пейзажей.

Матросы во время нахождения шлюпа во внутренней гавани заделали обнаруженное ниже ватерлинии отверстие, которое давало большую течь. Водой из вырытого «робинзонами» колодца наполнили бочки, в трюм погрузили оставшийся груз «Вильяма». В наспех сооруженный на палубе хлев поместили поросят.

На прощанье боцман Виттрин написал на дверях жилища рядом со своим именем дату отплытия и, захватив

«Британскую энциклопедию» и Библию, отсалютовал острову тремя ружейными выстрелами.

Глядя на удаляющийся берег, матросы говорили:

— Поселить бы здесь наших мужичков, то-то возделали бы они землю. Богатая земля — а пустует, вроде девки-вековуши зря на белом свете живет...

От порта Лойда «Сенявин» направился к северной группе островов Бонин-Сима. По пути осмотрели ранее обследованные капитаном Бичи острова Кетера и Парри и, не задерживаясь на их берегах, пошли прямо к Камчатке. Температура с каждым днем падала, и матросы, привыкшие к тропической жаре, даже при трех градусах выше нуля поговаривали о том, что «хорошо бы шубейки накинуть».

Попутные ветры сменялись встречными. Иногда шлюп попадал в полосу штиля. Федор Петрович хмурился: май был на исходе, и следовало дорожить каждым днем для предстоявшего плавания в северных водах.

Вот и долгожданные высокие сопки.

Петропавловцы встретили «Сенявина» еще приветливей, чем в первый его приход.

— Добро пожаловать, родные наши! — неслоь с берега.

— Здорово, братцы! — отвечали матросы, узнавая знакомых камчадалов.

Литке было предоставлено удобное помещение, где он мог спокойно обрабатывать собранные за зиму материалы, вычерчивать карты, производить расчеты...

Однажды доктор Мертенс сказал капитану, что Завалишин не может участвовать в дальнейшем плавании, ибо состояние его здоровья внушает серьезные опасения.

— Отправьте его в Россию, Федор Петрович. На днях в Охотск выходит транспорт, на коем можно создать подходящие условия для больного.

У Завалишина был тяжелый характер, но трудолюбие его и опытность покрывали этот недостаток.

— В Завалишине я лишаюсь старшего после меня офицера и дельного помощника, — со вздохом произнес Литке. — Его отсутствие будет весьма чувствительно, но тем неосмотрительнее было бы рисковать жизнью этого офицера.

Покинул шлюп и Китлиц, соблазнившись возможностью принести за лето пребывания на Камчатке больше пользы для естественных наук, чем за время дальнейшего плавания с экспедицией.

Осталось на берегу также несколько матросов-пекарей, чтобы приготовить из закупленной в Петропавловске ржаной муки сухари для дальнейшего плавания; Федор Петрович опасался, что имевшегося на шлюпе провианта не хватит до Маниллы.

Петерсен предложил проводить «мистера» Завалишина до Охотска.

— Кстати, я уже имел возможность договориться о поступлении на службу в Российско-Американскую компанию, — с важностью добавил он.

— А вы, мистер Виттрин? — обратился Федор Петрович к боцману.

— Если вам будет угодно, я пойду с вами. Покуда мы будем прохладиться на севере, английское правительство заселит Бонин-Сима — кое-что я уже прослышал об этом, — а тогда мне незачем будет возвращаться в Англию. Лучше уж я выпишу свою Лизбет в порт Лойда. Мы с нею разведем таких поросят...

Федор Петрович похлопал размечтавшегося боцмана по плечу.

— Во всяком случае, — сказал он с улыбкой, — в Лондон я вас доставлю. А насчет дальнейших планов торопиться, по-моему, нечего...

Глава XXII

Продвигаясь вдоль берегов Камчатки на север, Литке решил определить точное географическое положение важнейших пунктов полуострова, чтобы на обратном пути подробно описать по частям пространство между этими пунктами.

Используя удивительно мягкую погоду, он производил съемку прекрасно видимых издали гор — от самых незначительных «востреньких» холмов до снеговых вершин Кроноцкой и Ключевской сопки.

После неоднократных тщательных измерений Федор Петрович воскликнул:

— Если Кроноцкая сопка выше Этны, то Ключевская выше Монблана на целых восемьсот футов! Я полагаю,— продолжал он,— что вершина этого потухшего вулкана должна быть непременно конической. Как досадно, что за нее зацепилось облачко. После вершин Гималайского хребта Ключевская сопка превосходит вышиною все до сих пор измеренные вершины азиатских гор.

В последующие дни Федор Петрович отметил на своей карте сопки, лагуны, кошки¹, мысы Столбовой и Озерный, несколько серебристых излучин рек, речек, ручьев...

На короткое время погода испортилась. Затем небо снова прояснилось, и при первых лучах солнца показался, словно всплыв на поверхность океана, Карагинский остров. По сведениям, которые со слов жителей камчатского побережья передал Федору Петровичу начальник края, на западной стороне этого острова имелась глубокая гавань.

Литке приказал держать курс к Карагинскому острову.

«Увериться в справедливости существования оной гавани,— рассуждал Федор Петрович,— весьма важно, поелику она даст возможность описать прилежащие к ней берега даже в осенние месяцы, когда мы будем возвращаться из северных широт».

Когда «Сениявин» подошел к острову, Литке приказал Ратманову отыскать гавань, а сам занялся обычными научными наблюдениями. Мертенс и Постельс отправились на очередную свою охоту, алеуты, взятые из Петропавловска, испросили разрешения пройти подальше в глубь острова.

Едва Литке расположился в походной обсерватории, как и его и приборы облепила туча комаров. Федор Петрович распорядился разжечь посреди палатки костер и продолжал вести наблюдения.

Первыми вернулись натуралисты. За три часа скитаний вдоль извилистой речки, обнаруженной неподалеку от места высадки, Мертенс подстрелил двух уток, а Постельс — грузного гуся, мясо которого оказалось совсем несъедобным, вероятно из-за почтенного возраста птицы.

— Уж очень дики здешние утки и гуси,— сконфуженно оправдывали ученые свою неудачную охоту.— Они

¹ Кошка — длинная невысокая гора, возвышающаяся над морской поверхностью.

решительно не имеют никакого представления об охотниках и вообще об охотничьем этикете...

— А вы ожидали, что они из вежливости позволят убивать себя? — насмешливо спросил Федор Петрович.

Два матроса непрерывно махали над ним ветвями, отгоняя тучи комаров. Однако это мало помогало: лицо и руки Литке были покрыты волдырями, расчесаны и измазаны кровью.

— Позволяете же вы этим разбойникам высасывать свою кровь! — воскликнул Мертенс, отчаянно отгоняя комаров. — Разве дым не выгонял сих кровопийц из палатки?

— Дым от здешнего топлива настолько едок, что вместе с комарами выгнал и меня, — ответил Литке.

Алеуты возвратились с богатой добычей: они набили около двухсот ар. Черное мясо этих птиц и их яйца оказались очень вкусными. Алеуты рассказали, что видели следы медведей и красных лис, но не встретили ни одного человека.

Ратманов вернулся на второй день. Он поднялся на двадцать миль к северу, однако гавани не обнаружил.

— И все же мы ее найдем, — выслушав мичмана, твердо сказал Литке. — Карагинский остров, несомненно, значительно протяженнее, нежели он показан на прежних картах, и гавань находится, вероятно, намного севернее.

Литке оказался прав. Снявшись с рассветом, шлюп направился вдоль берега на север и к полудню вошел в отыскиваемую гавань.

Здесь «Сенявин» простоял несколько дней. Ветер стих, и вместе с наступившим штилем поднялся такой туман, что в двух саженьях не было ничего видно. Возле самого судна играли большие стада косаток и тюленей.

В речке Игнилковской, куда во время прилива заносило рыбу, наловили камбалы, кунжи и вахни. Рыбы было очень много, и матросы засолили ее несколько бочек. Мертенс, найдя какую-то съедобную траву, собственноручно приготовил из нее вкусный салат.

Федор Петрович был в отличном расположении духа.

— Теперь, после описания сего острова, пройдем мы миль пять к северу и станем возле острова Верхотурского, где водится много черно-бурых лис; камчадалы по каким-то религиозным мотивам не трогают их.

Однако Федор Петрович ошибся: прошли пять миль, десять, двадцать, но никакого острова не обнаружили.

Ночью с борта корабля наблюдали необычайное зрелище: лес, покрывающий берег Камчатки, пылал яркими огненными струями, иногда напоминавшими гигантские свечи, зажженные в ряд, как будто для освещения исполинского коридора.

— Вот к чему приводит неосторожность охотников, — сказал Литке. — Смолистые кустарники и сухостой, покрывающие матерой берег, могут гореть неделями, месяцами, пока благодетельный дождь не прекратит губительного огня...

— Куда же все-таки девался Верхотурский островок? — спрашивали Федора Петровича офицеры.

— Никуда не девался. Где был, там и стоит. Несообразности в сведениях, кои мы получили от полудиких камчадалов через полудиких же переводчиков, неизбежны. Зачастую переводчик, не имея и отдаленного понятия, о чем его спрашивают, передает спрашиваемому, в свою очередь, совершенно запутанный вопрос. Теперь судите, каким может быть ответ, который тем же путем возвращается к вопрошающему.

Найденный наконец Верхотурский островок находился на расстоянии пятидесяти, а не пяти миль от Карагинского. Вслед за ним описали несколько мысов матерого берега и, миновав остров Святого Лаврентия, вошли в Берингов пролив. Вершины азиатских и американских гор казались в туманной дали океана таинственными островами.

Во время остановки в губе Святого Лаврентия к борту «Сенявина» сразу же после того, как он стал на якорь, подъехало много байдарок с чукчами.

— Тарóва! Тарóва! (искаженное русское «здорово») — кричали они еще издали, а поднявшись на палубу, сняли шапки и низко поклонились.

Федор Петрович одарил их нюхательным табаком, до которого чукчи были большие охотники.

Несколько дней экипаж исправлял повреждения на корабле, а Федор Петрович проводил очередные астрономические и физические опыты. Чукчи постоянно появлялись то на корабле, то возле палатки капитана. Они были неизменно приветливы и с благодарностью принимали подарки — папуши нюхательного табаку, или, как они говорили, «прошку». Некоторые, желая получить его побольше, просили «прошки» для своих единоплеменников,

которые будто бы иначе не верят, что русские дружески расположены к чукчам.

При общении с чукчами произошло два курьезных случая.

Старый чукча, поклонившись Литке в пояс, снял шапку и погладил себя по голове.

Литке никак не мог понять, чего ждет от него старик. Тогда тот сдернул с капитана фуражку, провел рукой по его белокурой голове и вежливо повторил несколько раз:

— Тарова! Тарова!

— Вот он и преподавал мне урок учтивости, — улыбнулся Федор Петрович.

На другой день дюжий чукча помогал Федору Петровичу переносить тяжелые ящики походной обсерватории. В знак признательности Федор Петрович ласково потрепал силача по щеке.

Не долго думая, чукча размахнулся и так ударил Литке по лицу, что тот едва устоял на ногах.

Федор Петрович невольно схватился за пистолет, но чукча ласково улыбался, видимо очень довольный, что сумел хорошо выразить свою приветливость.

— Ты что, ополоумел! — бросились было на чукчу матросы, но Литке спокойно остановил их:

— Каждый выражает свои чувства, как умеет. Я его потрепал по щеке, — он решил ответить тем же, но рукой, больше привыкшей к обращению с оленями, нежели с такими людьми, как мы.

Чукча продолжал дружелюбно улыбаться, кланялся и делал пригласительные жесты в сторону становища, где находилось его жилище.

За шесть оленей, пригнанных по просьбе Литке, он спросил всего только топор, ножницы, медный котелок и несколько пачек табаку. Федор Петрович прибавил к этому немного бус и пачку иголок, которые здесь высоко ценились. За иглу чукотские девушки и женщины плясали, пели и охотно помогали сенявинскому коку свежевать оленьи туши. При этом помощницы с удовольствием облизывали свои окровавленные руки и высасывали кровь из еще теплого оленьего сердца.

— До чего кровожадные бабы! — хмуро покачивали головой матросы.

— Хорошо, что мы, моряки, не очень разборчивы, когда дело касается свежинки,— сказал наблюдавший одну из таких сцен Федор Петрович,— а то одного взгляда на этих чукотских стряпух было бы достаточно, чтобы на несколько дней испортить аппетит и навсегда поселить в себе отвращение к оленьему мясу.

Воды, в которых плавал «Сенявин», вызывали в воображении Федора Петровича картины далекого прошлого. Здесь побывали Дежнев, Чириков, Беринг. Спустя четверть века в этих водах плавал Кук. Он свел знакомство с нашим соотечественником Серафимом Григорьевичем Измайловым.

«Как потешно называет его Кук в своем журнале: «Эрафим Грегориов син»,— с улыбкой вспоминал Литке.— Однако ж английский мореплаватель с должным уважением отзывается об осведомленности Измайлова в географии сих малоисследованных вод и берегов».

Пролив, в котором лавировал при слабом ветре «Сенявин», отделял Азиатский материк от большого острова Аракамчечен. Выйдя на его берег, Литке и естествоиспытатели поднялись на вершину на редкость красивой горы. Отсюда открывалась обширнейшая панорама от губы Святого Лаврентия до острова того же названия.

— Назовем эту гору Афонской, а пролив — именем достоправного адмирала Сенявина, в память одержанной им двадцать один год назад победы при Синопе,— предложил Литке.— Ведь с тех пор сии два имени сделались неразлучными для каждого россиянина, а наипаче каждого русского мореходца.

В этот день в честь Ратманова была названа удобная гавань, обнаруженная им на западном берегу Аракамчечена. На острове Иттыгране, лежащем к югу от Аракамчечена, самую высокую гору называли горой Постельса.

Бродя вдоль берегов Аракамчечена, Постельс зарисовывал необычайно живописные вершины некоторых гор.

— Не кажется ли вам, Федор Петрович,— спросил он,— что название «кубок дьявола», встречающееся на некоторых английских картах для обозначения зазубренных краев вершин, как нельзя более подходит к вершинам, которые мы сейчас обзревали?

— Совершенно верно, — согласился Литке, — причем «кубков» этих так много здесь, что из них можно напоить всю адскую челядь. Однако нам пора на шлюп.

Едва байдара вышла на середину пролива, как поднялась буря, сопровождавшаяся проливным дождем. Байдару заливало сверху и с боков, и пригнать ее к берегу удалось с большим трудом.

Промокшие до костей исследователи, к величайшей своей радости, набрали на юрту. Однако радость их была преждевременной: в юрте невозможно было оставаться из-за плошки с прогорклым моржовым жиром, которая немилосердно чадила. Пришлось укрыться в вынесенных из байдары брезентовых палатках. Старик — хозяин юрты — обещал на заре сходить к оленным чукчам и попросить у них оленины, так как сухари промокли и путешественникам нечем было утолить голод. Когда поутру Литке и Постельс вошли в хозяйскую юрту, там никого не было. Перед уходом Литке все же оставил хозяевам котел, топор, табак и несколько иголок.

Экспедиция продолжала работу в проливе Сенявина.

Южную береговую оконечность этого пролива назвали мысом Мертенса, чем доктор был крайне польщен.

Федор Петрович расспрашивал чукч о Беринге, но среди них не осталось никаких воспоминаний об этом замечательном мореплавателе.

Когда «Сенявин» проходил мимо крайней оконечности Чукотского носа, Федор Петрович увидел на востоке темную полосу земли.

— Ровно сто лет назад, — сказал он, указывая на водное пространство между материком и землей, — здесь плыл на своем судне капитан Беринг. Это было десятого августа тысяча семьсот двадцать восьмого года. Будет справедливо, если мы назовем эту оконечность мысом Столетия. Беринг назвал мыс Чукотским, видимо, по той причине, что впервые встретился здесь с чукчами.

Лавируя вдоль Чукотского полуострова, экспедиция стремилась не только обрисовать его береговую линию, но, по возможности, познакомиться с бытом и нравами населяющих этот край людей.

Прежде всего внимание исследователей привлекла разница между оседлыми и оленными чукчами.

Оленные чукчи постоянно кочевали и, доходя до русских селений, завязывали с русскими торговые сноше-

ния. Эти чукчи были посредниками в торговле между своими оседлыми соплеменниками и русскими. Скупая у оседлых моржовые лахтаки и тюленьи невыделанные шкуры, они возили их на ярмарки в Колыму, Ижигу и Анадырь, где продавали этот товар, а также живых оленей, моржовый зуб, лисьи и куньи шкуры и все, что им давала охота в море и на суше.

Получив в обмен разного рода изделия из чугуна и железа, ситец, а главное, табак, они честно выделяли из этого товара то, что по их расчетам приходилось на долю оседлых, и отвозили в их становища.

Оседлые чукчи, или намоллы, отличались от оленных — кочевников — и по языку и по внешности: они были более низкорослы и плосколицы. Их юрты и землянки, построенные гораздо солидней, чем палатки кочевников, образовывали нечто вроде маленьких деревушек.

Литке очень хотелось подробнее разузнать о религии чукчей, в особенности после встречи с одним молодым представителем этого племени.

Хатыргин, — так звали этого чукчу, — повторив несколько раз обычное «тарова!» — стал отбивать земные поклоны и истово креститься до тех пор, пока его не остановили. Отдышавшись, он пригласил путешественников к себе в юрту. После обычного обмена подарками завязалась беседа. Однако такие абстрактные понятия, как «бог», «религия», «бессмертие души» были недоступны переводчику, и ничего путного от Хатыргина в области религии добиться не удалось.

Сенявинцы обратили внимание на маленькую шуструю девочку с тугими, как змейки, смоляно-черными косицами, подававшую угощение вместе со старухой — матерью хозяина. Освободившись, девочка стала играть с упряжными собаками: садилась на них верхом, трепала за уши... А собаки, видимо довольные, норовили лизнуть ее в смуглую щечку.

— Пригожая девочка, — похвалил Мертенс, — это твоя дочь?

— Нет, это моя жена, — ответил Хатыргин.

По лицам гостей он понял, что они возмущены, и обратился к переводчику:

— Скажи моим гостям, что мы часто покупаем себе в жены маленьких девочек. Ведь они гораздо дешевле,

чем взрослые женщины. Правда, такая покупка — риск: девочка может умереть, прежде чем вырастет и станет женой. Но если с нею обращаться бережно, можно дождаться свадьбы...

Во время одного «приема» у сеньявинцев среди гостей выделялась чукотская супружеская пара, одетая не так, как их соплеменники: муж в зеленом полушубке и русском картузе, а жена поверх камлейки была повязана алым русским полупалком. Они крестились почти каждый раз, как подносили ко рту кусок хлеба или ложку супа.

Литке спросил у этого усердного христианина, как его крещеное имя. Чукча в ответ только закивал отрицательно головой: он забыл это имя. Но, желая доказать, что он действительно крещеный, чукча, порывшись за пазухой, извлек деревянный футляр, в котором хранилась аккуратно сложенная книжица, и осторожно, как драгоценность, протянул ее Литке и Мертенсу.

Мертенс, водрузив очки, с любопытством наклонился над книжкой. В ней были записаны десять заповедей на русском языке и несколько молитв, переведенных на чукотский. На одном листе было написано: «Книжица сия подарена чукче Василию Трифонову при крещении оного отцом Иоаном Трифоновым». Мертенс прочел эти слова вслух.

Услышав их, чукча радостно закивал головой и, тыча себя в грудь, повторял:

— Василий! Василий!

— А знаешь ты записанные здесь молитвы?

Молитв чукча не знал.

— Ну, какой же он православный, — говорили матросы, — он и имени своего крещеного не помнит, не то что бы молитвы...

Во время угощения Василий опрокинул один за другим два стакана водки и при этом даже не закусил ничем. Матросы весело шутили:

— А может, из него выйдет настоящий русский мужик?

По этому же поводу пошутил и Литке:

— Гость наш дал нам убедительнейшее доказательство частых своих сношений с просвещенными европейцами. До сих пор водки не спрашивал у нас ни один из чукчей.

Многие чукчи, встреченные при исследовании Анадырского залива, никак не могли понять, для чего сенявинцы посетили их края: моряки не вели с чукчами крупной торговли, а ограничивались лишь незначительным обменом. Так как научные цели были непонятны чукчам, Литке объяснил им, что экспедиция хочет разыскать удобные гавани, куда можно будет приходить русским торговым кораблям.

— Я мог бы нагрузить моржовым зубом весь ваш корабль, — с достоинством сказал один старик чукча, выслушав это объяснение.

Всячески стараясь расположить к себе местное население, Литке не скупился на подарки — топоры, котлы, иголки.

Однажды Литке приказал матросам позабавить гостей пляской. Чукчам очень понравилась русская плясовая, но их попытки повторить танец оказались безуспешными. Зато матросы не переставали дивиться фокусам шаманов.

Сбросив с себя кухлянку, один из них разделся до пояса, взял гладкий камень, пошептал над ним и протянул Федору Петровичу.

— Камень как камень, — улыбнулся Литке.

Камень поддерживали и другие сенявинцы. Шаман потер его руками, и камень исчез. Через секунду шаман показал опухоль возле локтя, величиной с исчезнувший камень, затем опухоль очутилась на боку, тоже под кожей, а после взмаха короткого ножа камень был снова в руках у шамана.

— Чистая работа, — восхищались матросы.

Резкое изменение погоды заставило экспедицию довольно долго задержаться на берегу. Устроили палатку для офицеров и землянки для матросов. Время проходило в научных занятиях и общении с чукчами.

По ночам в темном небе вспыхивали яркие всполохи северного сияния. Чукчи, указывая на них, произносили нараспев:

— Ром-ай-ай, — но что это значило, так и не удалось выяснить.

Как-то Федора Петровича навестили жители соседнего становища. Один из них, одетый в синий балахон, с

колокольчиком на кушаке, заявил, что его крестил на Колыме русский «комичар» (комиссар).

Федор Петрович стал было расспрашивать, как чукча понимает свою новую религию. Но тот неожиданно выбежал из палатки, помчался к своей байдаре, схватил шкурку красной лисицы и, возвратясь, бросил ее к ногам изумленного Федора Петровича. Потом, став на колени, принялся отбивать земные поклоны.

— Он решил, что вы священник, — смеялись офицеры.

Как ни убеждали чукчу, что он ошибся, он ни за что не хотел взять обратно свой подарок.

— Сколько у тебя жен? — спросил Литке.

Чукча опять выбежал из палатки и вернулся с молодой женщиной.

— Вот сколько у меня жен, — сказал он и смиренно добавил: — Православному больше одной не полагается.

Когда же Литке стал раздавать гостям подарки, этот чукча попался:

— Дай иголок и для другой моей жены, а то женщины из-за иголок подерутся.

— Так сколько же у тебя жен, православный? — спрашивали чукчу матросы, когда он пришел к ним в землянку.

В ответ гость только подмигивал с хитрецей.

Закончив опись залива Святого Креста, Литке решил осмотреть устье реки Анадырь, так как оно по-разному обозначалось на картах. Однако наступившее ненастье принудило шлюп повернуть к югу. В сумеречном свете раннего утра на пятый день показались мрачные, покрытые снегом утесы.

— Сообразуясь с журналом Беринга, мы можем признать эти утесы мысом Святого Фаддея, — сказал Федор Петрович.

Следующий крутой и высокий выступ был назван мысом Наварин, а высокая гора на нем, хорошо видимая издали, — горой адмирала Гейдена, командовавшего русским флотом в морской битве при Наварине.

Крепкий восточный ветер гнал «Сенявина» к мысу Олюторскому. Бури сменялись одна другой, не давая экипажу передышки в борьбе с морской стихией.

Федор Петрович сидел в своей каюте, склонившись над картами, когда матрос Ванюшин доложил посиневшими вздрагивающими губами:

— Павел Жеребчиков, сходя с фор-марса, оборвался и скатился на руслени. Господин лекарь приказали доложить, что положение пострадавшего серьезное.

Федор Петрович тотчас же отправился к Жеребчикову. Матрос лежал на лазаретной койке, закрыв глаза. Грудь его часто вздымалась. Мертенс с нахмуренным лицом что-то мешал в фарфоровой мисочке.

— Бедняга вряд ли оправится, — сказал он Литке по-французски. — Тяжелый ушиб печени...

— Я и сам понимаю... — неожиданно проговорил по-французски Жеребчиков и замолчал, не закончив фразы. Еще чаще, еще порывистей стала вздыматься его грудь.

— Он, ваше благородие, против Наполеона воевал, гнал его до самого Парижа, вот и выучился по-ихнему, — объяснил Ванюшин, вытирая глаза.

Бури становились все яростней. На четвертый день после того, как миновали мыс Олюторский, небо немного посветлело, и на бледной его лазури стали все ясней вырисовываться очертания Ключевской сопки. Федор Петрович попробовал определить ее высоту, но волны швыряли корабль, и октант невозможно было удержать в руках.

Весь берег до Кронцкой сопки и самую гору покрывал снег. Снежная буря свирепствовала и в Авачинской губе.

Подходя к Петропавловской гавани, сенявинцы увидели стоящий на якоре шлюп «Моллер» и радостно отсалютовали ему пушечными выстрелами.

Глава XXIII

Посещение «Моллером» и «Сенявиным» Петропавловской гавани внесло много оживления в жизнь камчатской столицы.

Офицерская молодежь с удовольствием принимала участие в банкетах и особенно в балах, которые давал в честь обоих кораблей новый начальник края Голенищев.

Однако Литке и Станюковичу не терпелось поскорее выйти в обратное плавание. К концу октября все приготовления к отплытию были закончены, и оба шлюпа покинули камчатские берега. Свежий северо-западный

ветер быстро погнал корабли. Встретиться условились под Новый год в Маниле. Литке решил вернуться в северную, еще не обследованную часть Каролинского архипелага, а Станюкович пошел прямо к Маниле.

Почти целый месяц «Сенявин» пересекал Тихий океан, держа курс к группе островов, которые, по собранным в первом обследовании Каролинского архипелага сведениям, должны были находиться в широте острова Писерарра, на долготе 20°. Только к концу ноября показалась эта группа островов, окруженная опасным коралловым рифом. С его южной стороны к «Сенявину» направились две лодки. Среди чернокожих островитян был белый человек. Ветер трепал его светлые волосы. Еще издали человек этот на хорошем английском языке стал просить, чтобы его взяли на борт.

Ловко вскарабкавшись по трапу, он назвал себя Вильямом Флойдом, матросом с потерпевшего крушение английского китобойного судна.

— Позвольте мне прежде всего принять европейский вид,— сказал он.— Я хотел бы побриться, постричься и чем-нибудь прикрыть мою наготу.

Оставшиеся в лодке островитяне что-то кричали ему громко и настойчиво, но Флойд не обращал на них никакого внимания. Приведя себя в порядок и обрядившись в матросский костюм, он, с наслаждением глотая грог, рассказал, что острова, у которых сейчас находится «Сенявин», называются по самому большому из них группой Мурилле; что в нескольких милях к западу находится группа Нанану, состоящая из тринадцати островов, расположенных неподалеку друг от друга: что острова обеих групп мелки и окружены опасными подводными рифами; что благодаря частым дождям здесь много пресной воды; что здешние жители смирны и доверчивы и охотно обменивают кокосовые орехи и рыбу на железные и стальные изделия.

Федор Петрович надеялся при посредстве Флойда получить от туземцев более подробные сведения об островах, но надежды его не оправдались: Флойд не считал нужным изучить туземный язык. Вместо этого он научил островитян нескольким английским словам, которыми при разговорах с Федором Петровичем каролинцы старались щегольнуть.

У одного из островов группы Мурилле шлюп стал на якорь. Среди гостей, поднявшихся на палубу, находился старый знакомый, Суккизем, побывавший на «Сенявине» во время его стоянки близ острова Оноун. Суккизем даже показал подаренный ему тогда Федором Петровичем нож. Гости допоздна оставались на палубе, развлекая хозяев танцами и пением.

Старых знакомых встретили и у группы Фарройлац, где Федор Петрович проверил правильность научных наблюдений близ Улеая. К большому огорчению Литке, среди жителей первой группы не было Алаберто, удивившего сенявинцев знанием испанского языка. Зато улеайский тамоль Аман, который поменялся с Мертенсом именами, выразил при виде русских моряков восторженную радость:

— Фрагатта Фарак Руссиа! — кричал он, а за ним и его соплеменники. — Фарак Улеай! Маулик! Маулик! — Это, должно быть, означало благодарность улеайцев за то, что путешественники, побывав в России, снова вернулись к ним. Островитяне уверяли, что их жены тоже очень обрадовались, когда увидели в море «Сенявина».

Один из гостей, тамоль Тапелигар, не желая уходить с «Сенявина», когда корабль уже направлялся в дальнейший путь, слукавил, уверяя, что утонет, если оставит шлюп, который уплыл так далеко от берега.

— Ты же говорил, что ходил на своей лодчонке до острова Фаиса? — поймал его Литке.

— У меня была тогда большая лодка, — старался выпутаться тамоль.

— Не больше этих, — возразил Федор Петрович, указывая на две лодки с островитянами, которые провожали шлюп дружественными: «Алиос, капитал! Алиос, фрагатта!» — на исковерканном испанском языке.

На других островах архипелага выражение «алиос» или «лиос» употреблялось в самых различных значениях. Так, когда у тамоля, приплывшего к «Сенявину» с острова Наиса, разбилась лодка, он заявил:

— Фрагатта алиос!

— Алиос найф! — вскрикнул другой островитянин, уронив нож в море.

А один почтенный старик, указывая на свое изможденное тело, закрывал устало глаза и повторял все то же многозначашее «алиос».

— Алиос! Алиос! — сопровождали сенявинцев прощальные клики, когда шлюп уходил с каждого обследованного островка северной части Каролинского архипелага.

А островкам этим, казалось, не будет конца. Уже обследовали Могмог, Запац, Нголи, Ламониур, Паллы...

Когда миновали высокий Фаис, Федор Петрович сказал:

— Нынешнюю ночь будем держать курс к норд-весту и поутру выйдем в широту островов, открытых испанским мореходцем Эгой.

Офицеры только переглянулись между собой. Утром действительно показались среди океана два небольших острова.

— Это Эар и Хиелап, — назвал их Федор Петрович. — Они необитаемы, а вот на тех, что дальше, должны быть люди. — Внимательно посмотрев в подзорную трубу, он закричал: — К нам идут лодки. Держать наветречу!

Но не успел шлюп проплыть и нескольких сажен, как едва не сел на мель.

— Опп! Опп! — кричали с лодок, видимо предупреждая об опасности, и для большей убедительности некоторые туземцы, нырнув, вынесли на поверхность зажатый в черных руках песок.

Островитян пригласили на шлюп, где они немедленно стали выбирать себе среди экипажа друзей. При этом они тянули моряков за палец, как будто пробуя, кто кого перетянет.

Тамоль Элубоут выбрал своим другом Литке. В обмен на полученные подарки он привез на другой день связку вяленой рыбы и, к радости естествоиспытателей, двух больших черепах.

Осматривая шлюп, гости надолго останавливались перед портретами, украшавшими кают-компанию. Их поражало, что люди, изображенные на портретах, как будто следили за каждым их шагом. Один особенно любопытный островитянин даже заглянул за раму. «Откуда и когда ознакомились они с этим «зельем»? — удивлялся Литке, наблюдая, с каким удовольствием раскуривали туземцы «тавахо», то есть табак, которым их угощали сенявинцы.

— Ну, теперь уж в Манилу? — неоднократно спрашивали капитана офицеры, когда шлюп покинул последний в этой группе остров Фалалеп.

Литке пристально смотрел в подзорную трубу на темнеющие в восточном направлении островки.

— Мне очень хотелось бы исследовать еще и эти, — сказал он, указывая на темные точки.

Сильное западное течение и большая зыбь не давали шлюпу возможности плыть к этим точкам. Пришлось взять курс к Маниле.

Плавание по Восточно-Китайскому морю неожиданно затянулось: почти две недели не было ветра, и шлюп едва продвигался вперед. По ночам звезды горели немигающими бледными огнями, зодиакальный свет придавал небу бледно-желтую окраску.

— Вроде северного сияния, — говорили матросы, глядя на желтые всполохи, — только сполохи держатся подолгу.

— Нет, на севере сияние куда красивее! — сказал Литке, услышав это сравнение.

Спустя некоторое время подул желанный ветер, и к Новому году «Сенявин» пришел в Манильский порт, где его уже ожидал «Моллер».

Глава XXIV

После долгого, утомительно-однообразного плавания Манила показалась земным раем.

Испанцы, китайцы, малайцы, тагалы оживленными толпами непрерывно двигались по улицам города, оглашая воздух веселым смехом и разноязычным, оживленным говором.

Особенно понравилась сенявинцам старая Манила с ее средневековой испанской крепостью, старинными памятниками, соборами и домами с железными решетками на окнах.

Сенявинцы накупили в многочисленных лавках и палатках душистых сигар, а в подарок женам, сестрам и дочерям — безделушек и легких тканей из пальмовых волокон.

Очень был доволен Литке приобретением для шлюпа знаменитого манильского троса. Изготовленный из волокон бананового дерева, трос этот не набухал в воде и отличался большой прочностью.

Литке отыскал семейство Эшаппаров. Его встретил высокий красивый юноша, и Федор Петрович не сразу узнал в нем мальчика, который десять лет назад признался ему в своем заветном желании уехать в Россию. Его брат Педро тоже выглядел совершенно взрослым. Не узнал Федор Петрович и отца юношей. Эшаппар постарел, обеднел и сразу стал жаловаться, что не может дать своим детям хорошее образование.

— Желаете ли вы по-прежнему, мосье Диего, отправиться в Россию? — спросил Федор Петрович старшего сына Эшаппара.

— О да! — с горячностью ответил Диего. — И Педро тоже хотел бы последовать за мной, — прибавил он, указывая на младшего брата.

— А что вы собираетесь делать в России?

— Я изрядно изучил механику и смогу строить машины для моей новой родины, — быстро проговорил Диего, — а Педро... Он будет хорошим солдатом для русской армии. Он читал о ваших замечательных полководцах и преклоняется перед ними. О, он очень славный юноша, наш Педро! — с гордостью закончил Диего.

Эшаппар не возражал против отъезда сыновей, а мачеха с готовностью принялась снаряжать их в далекий путь¹.

Сенявинцы пробыли в Маниле семнадцать дней.

Печальное событие — смерть Жеребчикова, так и не поправившегося после падения с марса, — омрачило настроение моряков. В течение нескольких дней с палуб «Моллера» и «Сенявина» не было слышно ни смеха, ни песен, ни веселого треньканья балалайки...

Новый, 1829 год команды обоих кораблей встречали вместе.

За праздничным ужином Станюкович произнес речь:

— Третий раз встречаем мы новогодний сочельник далеко от родины, вдали от родных и друзей. Сердца наши полны желанием как можно скорее возвратиться в

¹ Оба брата оправдали доверие Литке: старший был в России произведен в полковники инженерных войск, младший совершал чудеса храбрости и пал в стычке с горцами во время завоевания Кавказа.

пределы любимого отечества, и никаким штормам, никаким ураганам не удастся воспрепятствовать нам в достижении его заветных берегов!

Дружное «ура» прокатилось по кают-компаниям и эхом откликнулось в матросских кубриках обоих кораблей.

Через несколько дней шлюпы снялись с якорей.

В Зондском проливе им пришлось укрыться от жестокой бури. Здесь пережидало ураган много кораблей, приплывших со всех концов земного шара. На кораблях, как и на манильских улицах, слышался разноязычный говор и пение. Между судами, украшенными национальными флагами, шныряли юркие лодки с голландскими чиновниками.

Под видом поисков контрабанды чиновники эти бойко торговали фруктами, овощами, рыбой, табаком и другими товарами.

— Ишь ловкачи, — кивали на них русские матросы, — и службу вроде исполняют, и себе не в убыток работают...

Во время этой вынужденной стоянки сенявинцы ловили рыбу, собирали в тропических рощах близлежащих островков бананы, лимоны, ананасы.

Постепенно тяжелые облака, нависшие над горами Суматры, стали уплывать к юго-западу, небо поглубело, и корабли один за другим пошли через Зондский пролив. Тронулись и русские шлюпы. Не успели они уйти в океан, как на «Сенявине» появились больные. Мертенс озабоченно переходил от койки к койке: за несколько часов слегло десять человек.

— Неужто холера? — с тревогой спрашивал Литке, помогая доктору ухаживать за больными.

— Если да, то пока в очень легкой форме.

И в самом деле, уже на другой день заболевшие выздоровели.

— Посадить бы всех на сухари, — укоризненно говорил Федор Петрович, — мигом все болезни пройдут. Конечно, это от незрелых фруктов. Ты, Ванюшин, сколько ананасов в день съедал?

— Да разве упомнишь, ваше высокоблагородие, — смущенно отвечал сильно похудевший матрос. — Другие ребята по две миски банановой каши зараз уплетали, и то ничего...

У берегов Явы к кораблям подплывали малайцы в ярких зелено-красно-белых чалмах и тростниковых

шляпах, предлагая роскошные фрукты, но Федор Петрович разрешал покупать только чай и табак.

Выйдя в Индийский океан, оба корабля взяли курс к мысу Доброй Надежды; «Моллер» должен был зайти туда на несколько дней, а «Сенявин» направился к острову Святой Елены.

Второй месяц непрерывного плавания был уже на исходе, когда над бескрайним водным простором всплыли вершины гор этого острова. Их голые черные скалы, круто спадающие в воду, казались совершенно неприступными; но и мрачные берега острова обрадовали бесконечно усталых путешественников: все же это была земля, такая желанная после пятидесятидневных скитаний в необозримом океане.

Губернатор острова — Даллас — приветливо встретил русских мореплавателей. Пока «Сенявин» дожидался прихода «Моллера», Федор Петрович проводил опыты в имеющейся на острове обсерватории. Директор ее всячески старался помочь русскому ученому.

Мертенс и Постельс, как обычно, бродили по острову, собирали образцы для своих коллекций. Их восхищали мрачные, величественные скалы, покрытые красной глиной, отчего казалось, что они даже в пасмурные дни освещены солнцем.

Внимательно разглядывая попадавшиеся им по пути куски глины, обломки базальта и известняка, натуралисты часто падали, запутавшись в вышедших на поверхность толстых корнях эбенового дерева: но желание познакомиться с суровой природой острова влекло их все дальше и дальше.

В один из погожих дней Федор Петрович попросил у губернатора разрешения осмотреть дом на ферме «Лонгвуд», где жил и умер Наполеон. Братья Эшаппар отправились вместе с Литке; Даллас сопровождал гостей.

— Только вряд ли вы увидите то, что ожидаете, — предупредил он по дороге к «Лонгвуд», — ферма возвращена хозяину, и он использует ее по своему усмотрению.

Сквозь щели еще не разобранный забор Федор Петрович смотрел на дом, служивший Наполеону тюрьмою до самой его кончины. Увидев в одном из окон лошадей, Литке с изумлением обернулся к Далласу.

— Фермер есть фермер,— сказал губернатор, правильно поняв этот взгляд,— в спальне Наполеона он устроил конюшню.

Федор Петрович нахмурился.

— Я полагаю, что если не из уважения к памяти покойного пленника, то хотя бы из приличия нельзя было допустить, чтобы на месте кровати Наполеона стояло стойло, а под окном его кабинета хрюкали свиньи.

Братья Эшаппар переглядывались с негодованием.

— Фермер есть фермер, и ферма есть ферма,— повторил губернатор,— но будь на то моя власть, я заставил бы моего предшественника, допустившего это безобразие, восстановить все на собственный счет.

Литке и его спутники ничего не ответили.

Могила Наполеона, вокруг которой уже успели вырасти плакучие ивы, тоже производила впечатление заброшенности. Эшаппары сорвали с ивы по веточке на память.

— Вот-вот,— отметил этот поступок Даллас,— так точно поступает почти каждый, кто приближается к этой могиле. От деревьев со временем ничего не останется...

В конце недели на остров Святой Елены пришел «Моллер». Станюкович не стал подробно знакомиться с достопримечательностями острова, а поспешил пополнить запасы пресной воды и продовольствия. Через двое суток оба корабля подняли паруса и, не теряя друг друга из вида, направились к Азорским островам.

Пятидневное плавание утомило моряков, но ни прекрасная природа острова Фаяла, ни явное желание команд отдохнуть не могли заставить капитанов обоих кораблей отступить от принятого решения — без крайней надобности не задерживаться в пути. Поэтому на острове пробыли всего один день, только для того, чтобы запастись свежей водой и провизией.

Попутные ветры донесли оба шлюпа от Фаяла до берегов Франции за десять дней.

В Гавре предстояло привести суда в порядок. Для ремонта их были наняты опытные портовые рабочие. Судовые команды, не щадя сил, тоже чинили, красили, шпаклевали...

Поручив наблюдение за ремонтом Ратманову, Литке, Мертенс и Постельс отправились в Париж.

Залы, где русские ученые выступали с докладами по географии, океанографии, физике, ботанике, зоологии и с

другими сообщениями о своем плавании, не могли вместить всех желающих попасть туда.

Научные круги французской столицы с большим вниманием отнеслись к русским исследователям. Жюль-Себастиан Дюмон-Дюрвиль, закончивший свое второе кругосветное плавание незадолго до приезда Литке, выразил ему свое искреннее восхищение результатами экспедиций «Новой Земли» и «Сенявина».

Живописец Жерар с восторгом рассматривал альбомы Постельса. Зарисовки пейзажей, птиц, рыб, бабочек, цветов, бытовые и жанровые сцены, списанные с натуры во время плавания на «Сенявине», настолько понравились ему, что он пригласил русских ученых в свою мастерскую и предложил написать их портреты.

— После таких натурщиц, как мадам Рекамье и мадам Жозефина, — ответил ему Федор Петрович, — вряд ли вас смогут вдохновить наши физиономии, обветренные ветрами многих морей и опаленные тропическим солнцем.

«Первый художник короля», как называли Жерара, был удивлен отказом Литке. Он пробовал уговорить Мертенса и Постельса позировать ему, но и тот и другой отказались под разными предлогами.

Французский естествоиспытатель Жорж Кювье, неприменный секретарь Академии наук, канцлер, советник университета и пэр Франции, показал русским ученым свою великолепную коллекцию морских животных и с интересом подолгу рассматривал экспонаты, собранные Мертенсом и Постельсом.

За несколько дней до отплытия шлюп посетил адмирал Дюперре, вернувшийся с Каролинского архипелага незадолго до прибытия Литке в Париж. Его особенно интересовали наблюдения Литке в Индийском океане, где он сам не раз плавал.

Последнюю длительную остановку сделали в Англии. «Сенявин» стал на якорь в устье Темзы, так как Федору Петровичу надо было провести сравнительные опыты в Гринвичской обсерватории, проверить исправность астрономических приборов, ознакомиться с научными журналами, которые вышли за время плавания, и побеседовать с авторами некоторых статей.

В свободное время Литке вместе с офицерами «Сенявина» осматривал столицу Англии.

Заинтересовал сенявинцев морской музей. Русские моряки ходили из зала в зал, внимательно рассматривали модели старинных кораблей и их вооружение, всевозможные реликвии, добытые англичанами в морских сражениях. Картины и гравюры изображали морские бои. Золоченные рамы украшали портреты кичливых британских адмиралов.

Глава XXV

Двадцать пятого августа 1829 года, пробыв в плаваннии три года и пять дней, «Сенявин», при пушечных салютах с фортов, вошел в Кронштадтский порт.

«Моллер» уже стоял на рейде, но, к удивлению сенявинцев, — под караулом.

Оказалось, что посетивший корабль Николай I остался очень недоволен неряшливым видом шлюпа и приказал поставить караул до приведения корабля в полный порядок.

Знакомые моряки рассказали Литке, что царь придает большое значение наружному виду судов и выправке экипажей и вообще «усердно занимается флотом».

Федор Петрович был очень рад, что произвел основательный ремонт «Сенявина» в Гавре, и теперь его корабль имел сравнительно приличный вид.

Матросы до блеска надраили все медные части, протерли стекла, покрасили лестницы, выскоблили палубы. Мыть и натирать палубы на «Сенявине» не полагалось: Литке хорошо помнил слова Василия Михайловича Головина: «Палуба не танцевальный паркет, и натирать ее не к чему».

Но именно палуба обратила на себя внимание Николая I, когда он посетил корабль спустя десять дней после его возвращения на родину. Осмотрев шлюп, он сказал Литке:

— Благодарю вас, вы привели свое судно в таком виде, как должно. К сожалению, вы видите подле себя пример противного. — Он кивнул в сторону покачивающегося на якоре «Моллера». — Вот только палуба немножко... — И царь концом сапога провел по шершавым доскам.

Научными достижениями экспедиции царь не поинтересовался.

В тот же день морской министр спросил у Николая, как наградить сенявинцев.

— Командира Федора Литке произвести через чин, — приказал царь, — остальных — как обычно... Кстати, что собирается делать этот мореплаватель?

— Просит предоставить ему возможность заняться обработкой накопленных в экспедиции наблюдений, ваше величество...

— Литке сильно привержен морскому делу, не правда ли? — спросил Николай и, не ожидая ответа, прибавил: — Пусть работает пока в гидрографическом депо морского министерства. Пока...

Через несколько дней морской министр, поглядывая в лежащую перед ним инструкцию, три года тому назад данную капитан-лейтенанту Литке, слушал его официальный рапорт о том, что сделано экспедицией по части географии, физики, естественной истории и этнографии.

— В Беринговом море мною определены важнейшие пункты берега Камчатки от Авачинской губы к северу. Измерены высоты многих сопок. Подробно описаны острова Карагинские, дотоле вовсе не известные. Описан также остров Святого Матвея и берег Чукотской земли от мыса Восточного до устья Анадыря. Определены острова Прибылова и многие другие. В Каролинском архипелаге исследовано пространство, занимаемое этим архипелагом от острова Юалана до группы Улюфый. Открыто двенадцать, исследовано двадцать шесть групп или отдельных островов. Каролинский архипелаг, почитаемый весьма опасным для мореплавания, будет отныне безопасен вравне с известнейшими местами земного шара. Острова Бонин-Сима отысканы и описаны. Собраны данные для определения географического положения мест, в которых шлюп останавливался. Пополнены некоторые познания о морских течениях, приливах и отливах. Мне не удалось...

Министр с улыбкой остановил Литке:

— Достаточно того, что удалось; государь император отметил вашу добросовестность и исполнительность и милостиво соизволил удовлетворить ваше ходатайство о предоставлении вам возможности заняться приготовлением к обнародованию почерпнутых вами в вояжах знаний. Правда, его величество несколько раз изволил при этом повторить: «Пока». Но пока позвольте мне первому поздравить вас с производством в капитаны первого ранга, — любезно закончил министр, — а завтра я буду иметь воз-

можность поздравить с наградами также и прочих сенявинцев.

Литке был счастлив, хотя царское «пока» и внушало тревогу.

Сульменевы несказанно обрадовались Федору Петровичу. Племянники и племянницы, видимо мало избалованные, с восторгом принимали его подарки.

— Хоть я, братец ты мой, и генерал-аудитор, — с грустной усмешкой говорил шурина Иван Саввич, — труденько мне вытягивать в люди детей...

Наталья Петровна только вздохнула.

В течение трехлетнего своего плаванья Литке получил скудные сведения о том, что творилось на родине. И Наталья Петровна не обижалась на брата, когда в первые часы свидания он больше интересовался государственными делами, чем семейными.

Федор Петрович засыпал Сульменева жадными вопросами. Иван Саввич принялся подробно рассказывать о «морских делах» и прежде всего о самом выдающемся из них, которое произошло под Наварином. Русская эскадра, участвовавшая в этом знаменитом сражении в составе всего лишь четырех кораблей, одержала замечательную победу.

— Русским отрядом командовал небезызвестный тебе адмирал Гейден, — рассказывал Сульменев, — но особенно отличился в этом бою флагманский корабль «Азов», награжденный Георгиевским крестом. Командовал им Михайло Петрович Лазарев. Вспоминая, как по-львиному дрались его азовцы, Михайло Петрович с особой похвалой отзывался о молодых участниках этого дела — лейтенантах Корнилове и Нахимове. Нахимову всего лишь двадцать четыре года. Он награжден орденом Георгия четвертой степени и тремя иностранными боевыми орденами. А в прошлом году ему поручили командование корветом, отнятым у турок и переименованным в «Наварин» в честь этой достославной победы.

— Выходит, что, как ни пренебрегали флотом такие «вершители» его судеб, как Чичагов и Траверсе, они не убили в русских морях любви к родине и умения защищать ее честь, — с волнением проговорил Литке.

— Что ты, Феденька, да разве может наш флот посрамить свой флаг, когда у него были и есть такие учи-

теля и боевые руководители, как Ушаков, Сенявин, Грейг, Лазарев...

Сульменев рассказал, как недостойно вели себя после Наваринской победы начальники союзных эскадр: по Лондонскому трактату они должны были и дальше координировать свои действия с русской эскадрой, а между тем тайно старались дать понять Турции, что не питают к ней враждебных чувств и только для видимости держат себя как союзники России.

— Недаром же Василий Михайлович Головнин считает, что по отношению к союзникам нам надо всегда быть настороже, — с возмущением произнес Федор Петрович. — Особенно недолюбливает он американцев...

— А все же блокада Константинополя была блестяще выполнена нашим флотом! — У Сульменова при этих словах глаза блеснули по-молодому, и во всей плотной фигуре и в том, как он покручивал усы, появилось что-то такое, что напомнило Наталье Петровне первую их встречу в Радзивилове.

Сообщил Иван Саввич и о переменах в составе Комитета по образованию флота, председателем которого был назначен вице-адмирал Моллер, а членами — Сенявин, Грейг, Рожнов и Крузенштерн.

— Как видишь, все хорошие моряки. Высочайшее повеление комитету предписывает в предстоящей его работе по реорганизации флота «отделить излишнее, оставить полезнейшее, пополнить недостаточное, ускорить ход дел и выяснить отношение экспедиций к Адмиралтейств-коллегии и Адмиралтейскому департаменту».

Когда Федор Петрович навестил все еще не оправившегося после возвращения с Камчатки лейтенанта Завалишина, тот высказал ему свое скептическое отношение к будущей работе Комитета по образованию флота.

— И всегда вы всем недовольны, — упрекнул его Литке.

— Не только я, дорогой Федор Петрович. Назову вам человека, именем которого вправе был бы гордиться любой флот любого государства, человека, к которому вы сами питаете глубочайшее уважение и который тем не менее отказался принимать участие в работе комитета...

— Кто же это? — недоверчиво спросил Литке.

— Михайло Петрович Лазарев. После первого же заседания сего синклита он пришел ко мне чрезвычайно

расстроенный и сердито заявил: «Мне решительно нечего там делать... Вообразите, первый вопрос, каким комитет собирается заниматься,— какие морякам дать кивера, петлички, выпушки... А я-то надеялся услышать разумные и плодотворные суждения о материальной силе нашего флота, о подъеме образовательного уровня его личного состава...» Да понимаете ли вы, Федор Петрович,— горячился Завалишин,— что, поставив во главе морского ведомства совершенно чуждого флоту человека, князя Меншикова, царь заранее обрек Комитет образования флота на беспомощное барахтанье...

К кому бы из своих прежних друзей ни приходил Федор Петрович, всюду он слышал о полном разочаровании в проводимых правительством «реформах», которые сводились лишь к усилению самодержавного режима и устранению какого бы то ни было общественного вмешательства в работу государственного жандармско-бюрократического аппарата.

Федор Петрович был рад, что не состоит на службе во флоте: ведь благодаря этому он получил возможность всецело отдаться своей научной работе.

К большому огорчению Натальи Петровны, он категорически отказался жить у Сульменевых.

— Поймите, родные мои,— оправдывался он,— теперь, когда мне позволено отойти от строевой морской службы, самое горячее мое желание заняться тщательнейшей обработкой того, что я накопил за годы моих плаваний. А для этого мне прежде всего необходимо полное уединение и напряженная сосредоточенность...

Поселившись отдельно, он и в самом деле перестал посещать многие дома, где с удовольствием бывал раньше, редко ходил в театры и на концерты, хоть и очень любил музыку, нелюбезно встречал незваных гостей, заходивших к нему просто «на огонек», и добровольно отрывался от работы только для встреч с академиками — Бергом, Остроградским, Гумбольдтом и другими представителями ученого мира. Все они выражали Федору Петровичу восхищения похвалы результатам его исследовательских работ в северных и южных морях и океанах.

Литке привез оттуда не только обширнейшие записки по различным вопросам землеведения, но собрал также этнографические, естественно-исторические и даже

лингвистические коллекции, как, например, «Сравнительный словарь разных каролинских наречий».

Федору Петровичу предоставили место адъюнкта по кафедре навигации, а вскоре после этого Академия наук почтила его званием своего члена-корреспондента.

Знаменитый Гумбольдт, видя в молодом русском ученом продолжателя своих трудов в области исследования «физики мира», дал на одном из заседаний Академии высокую оценку ученым заслугам Литке.

Официальное знакомство их вскоре перешло в дружеские отношения, продолжавшиеся до самой кончины Гумбольдта. Они беседовали и переписывались об исследовании земного магнетизма, о магнитных бурях, морских течениях, распределении теплоты на земном шаре, причинах землетрясений и о многом другом.

Гумбольдт поделился с Литке планом создания «венца своей деятельности» — свода современных ему знаний о земном шаре — «Космоса», рассказывал о своих путешествиях с Форстером, о встречах с Шиллером и Гете, о богатствах Бразилии, Перу и Мексики.

Федор Петрович дивился энергии шестидесятилетнего ученого. Однако он не разделял восторгов этого маститого мужа по поводу грядущего «общего прогресса наук». Литке уже достаточно убедился в том, что в Европе его любимая географическая наука поставлена целиком на службу завоевателей, хищных негоциантов и промышленников, стремящихся к колониальным захватам и зверскому ограблению миллионов простодушных туземцев. Вот почему Литке все чаще думал об особой миссии русской науки, которая должна пойти по другому пути, показать миру пример служения народу. Ему хотелось хорошо послужить не отвлеченному «мировому прогрессу», а своему любимому отечеству, России, великому русскому народу.

— Только бы мне не помешали, только бы не оторвали от занятий! — вырвалось как-то у Федора Петровича: оброненное царем «пока» не переставало тревожить его.

Что скрывалось за этим «пока», Федор Петрович узнал вскоре.

В конце января 1830 года он неожиданно получил от адмирала Крузенштерна приглашение на завтрак. С Крузенштерном Литке познакомился еще во время своих экспедиций в Арктику. Адмирал неизменно выражал

Литке одобрение за достигнутые в каждой из четырех экспедиций к Новой Земле успехи. В дальнейшем связь между ними укрепилась благодаря тому, что на борту «Сенявина» плывал в качестве мичмана сын Крузенштерна.

За завтраком адмирал, боясь утомить гостя расспросами о его научной работе, вспоминал о странах, в которых сам побывал, плавая на «Надежде» четверть века назад. Он уверял, что остров Фаял, вызвавший восхищение Литке, уступает острову Святой Екатерины, очаровавшему его и Лисянского величественной красотой.

— А больше всего — апельсинами и индейками, — с улыбкой прибавила адмиральша. — Иван Федорович до сих пор не может забыть этих яств, которые он выменивал у туземцев на всякую мишуру...

— А какие там плясуны, — адмирал даже зажмурил глаза, — среди индианок встречались удивительно грациозные создания... А тропические ночи! Черные, бархатные, напоенные благоуханием флёрдоранжа... Незабвенные ночи!

— Что же уж такого незабвенного было в них? — с ревливой ноткой в голосе спросила адмиральша.

Иван Федорович лукаво улыбнулся и, протягивая чашку своей уже очень пожилой, но все еще красивой супруге, простодушно ответил:

— Да в одну из таких темных ночей моя «Надежда» едва не столкнулась у Святой Екатерины с «Невой» Лисянского. Бортами даже коснулись, да, слава богу, вахтенные вовремя заметили...

Когда мужчины перешли в кабинет, Крузенштерн спросил Литке о его здоровье, о семье Сульменевых, которую хорошо знал, и вдруг объявил:

— В мае сего года в Атлантический океан посылается отряд из фрегатов «Анна» и «Принц Оранский» и брига «Аякс» с офицерами первого выпуска Морского корпуса, старшим классом гардемарин и морским учебным экипажем. Вы назначаетесь начальником отряда.

— Какова цель экспедиции? — упавшим голосом спросил Литке.

— Практическое образование моряков. Особые трудности ожидают вас в этом отношении со стороны матросов учебного экипажа. Командиром его года два был аракчеевский выученик, майор Кохиус. Фронтное

устройство экипажа безукоризненно, но люди — послушные машины, и только... Вот вам и придется потрудиться, чтобы сделать из них хоть и не таких образцовых моряков, как сеньявинцы, но все же...

Литке до крайности огорчило это назначение. Опять перед ним лежала инструкция, в которой предписывалось: «...Плыть в Атлантический океан, к берегам Исландии, зайти в Рейкьявик, если обстоятельства позволят, и потом в Брест» и т. д.

— Задача трудная, но само назначение было бы весьма лестно и для более заслуженного офицера, — продолжал Крузенштерн, видя, как омрачилось лицо Литке. — Указав при выборе начальника на вас, я был убежден, что оказываю вам...

— Благодарю вас, Иван Федорович, — сорвалось у Литке с горькой усмешкой, — но сколь ни лестно мне такое назначение, однако я очень о нем сожалею. Ведь оно отрывает меня от работы, которой я наконец смог целиком отдаться. Научные материалы...

— Однако ж? — строго перебил адмирал.

— Однако ж делать нечего, — договорил Литке, подавляя вздох. — И первая моя просьба, как начальника отряда, откомандировать на каждый из поименованных в инструкции фрегатов по нескольку унтер-офицеров и матросов с только что прибывшей из Средиземного моря эскадры Лазарева. Лазаревские моряки хоть кого на морской лад преобразуют...

Когда отряд, уже готовый к отплытию, стоял на Кронштадтском рейде, фрегат «Анна», на котором был брейдымпел Литке, посетил Николай I. Заметив недостатки в оснащении судна и плохую выправку матросов, царь снисходительно произнес:

— Ничего, Литке, для того тебя и посылают, чтобы учить их. — И он кивнул в сторону вытянувшихся во фронт людей.

Федор Петрович всегда серьезно относился к своим обязанностям, каковы бы они ни были. Теперь же, стремясь заглушить тоску по покинутому на письменном столе в петербургской своей квартире рукописям, он проявлял какую-то особенную, лихорадочную деятельность.

Он читал офицерам и гардемаринам лекции по океанографии, физике, этнографии... Заставлял их делать сложные астрономические вычисления, физические опыты, чертить географические карты, зарисовывать видимые берега. Бывал на занятиях матросов, а в Копенгагене произвел фронтное учение экипажа на берегу. Часто съезжал на другие корабли своего отряда и, появляясь там неожиданно, приказывал устраивать тревогу. Жестокие ураганы и штормы основательно потрепали отрядные суда, и Федор Петрович лично следил за их ремонтом.

В редкие минуты отдыха он любил беседовать с доктором Мертенсом, не пожелавшим отстать от Литке и в этом плавании.

Штормы, почти непрерывно свирепствовавшие у берегов южной Исландии, затянули плавание, и Литке решил идти к Бресту, не заходя в Рейкьявик. Кончался июль, а к середине августа учебное плавание должно было закончиться.

Брестские лоцманы, едва взойдя на командирский фрегат, сообщили о происшедшей в последние дни в Париже революции:

— Бурбоны низвергнуты! Карл бежал. Во главе национальной гвардии республиканцы поставили Лафайета. Но сумеет ли он противостоять орлеанистам, которые хотят навязать Франции герцога Орлеанского?

Известие это вызвало оживленные толки на русских кораблях.

Некоторые мичманы и гардемарины, связанные родственными или дружескими узами с декабристами, с особой выразительностью чокались за ужином и вполголоса желали успеха республиканцам.

Матросы значительно перешептывались друг с другом и зорко всматривались в толпы, двигавшиеся вдоль набережных порта. Офицер карантинной шлюпки, причалившей к фрегатам, как только они стали на якорь, подтвердил сообщение лоцманов:

— Да, да, тревожное время, очень тревожное. На улицах Парижа баррикады. Король Карл переплыл Ла-Манш и нашел себе убежище в Англии, но орлеанисты хотят сохранить монархию и пригласили «наместника королевства»... Однако, — перебил он себя, — все ли здоровы на ваших судах?

В течение двух дней на стоявших в гавани судах и на городских зданиях не было видно флагов. На третий день под пушечную канонаду вместо белых флагов монархии Карла X взвились сине-бело-красные полотнища.

Облачившись в парадную форму, Литке поехал с официальным визитом к префекту города, адмиралу Дюпотилю. Адмирал находился в состоянии крайней растерянности:

— Я очень огорчен, что вы пришли в мой порт в такое смутное время,— говорил он, нервно потирая руки.— По предписанию правительства мы готовились принять ваш отряд с должной торжественностью. Но правительство, которое давало это распоряжение, низвергнуто, и я, право, совершенно не знаю, как теперь быть. Во всяком случае, господин командир, я рекомендовал бы, пока не выяснятся все обстоятельства, не разрешать вашим экипажам берег... В Бресте царит такое волнение, что я не могу гарантировать лояльности населения в отношении каких бы то ни было чужеземных моряков. Что же касается собственно вашей особы, то поскольку вы уже на берегу...

— Благодарю вас, я остановился в отеле,— поспешил предупредить Литке.

Вечером Федор Петрович отправился в театр. Шла «Фенелла», содержание которой соответствовало настроению публики. Зрители неистово аплодировали и без конца требовали исполнения «Марсельезы». Слова революционного гимна всю ночь звучали на улицах и в ярко освещенных домах.

Вернувшись на эскадру, Литке немедленно отдал распоряжение готовиться к выходу в море. Однако через несколько часов адъютант Дюпотиля привез известие, что во Франции есть уже новый король — герцог Орлеанский,— то бишь Людовик-Филипп I,— спохватился он,— что всюду водворяется «порядок» и уже ничто не сможет препятствовать русским морякам сойти на берег, где можно освежиться и осмотреть городские достопримечательности.

На судах, возвращавшихся в Россию, начались серьезные желудочные заболевания. Заразившись брюшным тифом от больного матроса, заболел и вскоре умер доктор Мертенс...

Едва сдерживая рыдания, произнес Федор Петрович короткое надгробное слово над прахом верного друга:

— Какая прискорбная, большая потеря, незаменимая не только для меня и всех друзей усопшего, но и для всей русской науки!

Глава XXVI

Услышав, что царь остался недоволен положением в учебном отряде, Литке обрадовался, надеясь, что его теперь оставят в покое и он сможет наконец заниматься научной работой. Но не прошло и трех месяцев, как снова пришлось оторваться от нее: у младшей сестры внезапно умер муж, и Федору Петровичу надо было поехать за сестрой в Вильну, а затем устраивать ее с детьми в Петербурге. Едва закончились эти хлопоты, как Литке получил неожиданное и во всех отношениях неприятное назначение.

Для русской армии было закуплено продовольствие в Восточной Пруссии. Генеральный русский консул в Данциге Тенгеборгский потребовал себе помощника для распоряжений по выгрузке и приему провиантских кораблей. Он настаивал, чтобы помощник этот был непременно морским офицером и...

Снова перед Литке инструкция военного министра с перечислением возлагаемых на него уже чисто интендантских обязанностей. Инструкция эта была подкреплена «изустными наставлениями» самого Николая I.

— Ума не приложу, каким образом для исполнения такого дела выбор пал именно на меня? — с отчаянием говорил Федор Петрович у Сульменевых накануне отъезда. — Чем я провинился перед господом богом, что он меня так наказует?

— Есть у тебя, друг мой, редкие для интендантских чиновников качества: ты исполнительен, честен, аккуратен... Вот и расплачивайся за это, — шутливо успокаивал Сульменев. — И ведь какое сходство в наших с тобою судьбах! Помнишь, как мне было поручено вывезти из Германии миллионы казенных русских денег.

— Еще бы не помнить...

— А теперь и тебе предстоит ворочать миллионами... Но ты не огорчайся, данцигский консул Тенгеборгский — милейший человек.

— Жена у него красавица и отличная музыкантша,— прибавила Наталья Петровна,—я о ней много слышала от одной моей приятельницы... Ах, Феденька, право же, пора тебе жениться: с женатым человеком больше считаются, нежели с бобылем. А то гляди, как бы с тобою не случилось того же, что с Энгелем.

— Да когда же мне жениться,— с невеселой улыбкой возразил Федор Петрович,— невеста не рыбка, ее в море не поймаете...

— Ну, мы тебе подыщем невесту, пока ты вернешься. Только обещай, что женишься.

— Хоть на каракатице, лишь бы дали возможность заниматься тем, чем хочу,— пообещал Федор Петрович.

Несмотря на большие трудности, осложнившиеся еще вспышкой холеры в самом Данциге, Литке успешно выполнил поручение: для армии было доставлено доброкачественное продовольствие. Обо всем, что для этого сделано, он составил точную отчетность.

За полгода, проведенные Федором Петровичем в Данциге, он сдружился с Тенгеборским и его женой, образованной и умной женщиной.

Отчеты об операции, проведенной в Данциге и обобщенной правительству в десять миллионов рублей, Литке повез в Варшаву фельдмаршалу Паскевичу.

Взглянув на объемистую рукопись, испещренную множеством цифр, фельдмаршал поморщился:

— Сколько таблиц и выкладок! Поручим подробно заняться этим генерал-интенданту Потапову, а вы тем временем поживете у нас в Варшаве. После трудов не грех и отдохнуть, развлечься. Кстати, в здешнем театре преотличнейший балет. Среди фигуранток имеются подлинныи сифиды и психеи! Непременно обратите внимание на маленькую Ядвигу Вислоцку: бесподобно грациозна! А прима-балерина!..— И, к удивлению Литке, фельдмаршал с большим увлечением долго говорил о балете не только как восторженный поклонник, но и с осведомленностью тонкого знатока.

В Варшаве в это время жил родственник Федора Петровича — Энгель.

— Право, Федор, я никак не мог предполагать, что из своенравного парнишки, каким ты был, живя в моем

доме, выйдет толк,— сказал однажды племяннику Энгель.

Литке, подражая дядиному тону, ответил:

— Живя в вашем доме и подслушивая цыганские песни да подглядывая в щелочку на то, что творилось в ваших гостиных во время пирушек, я тоже никак не мог предполагать, что вы, дядюшка, будете занимать когда-нибудь в Варшаве пост председателя временного правительства.

— За предрезостный этот ответ мне следовало бы, по прошлым навыкам, отодрать тебя за уши,— добродушно проговорил Энгель,— но именно нынче сделать этого никак не могу.

Литке вопросительно поднял брови, а Энгель неожиданно перешел на официальный тон:

— Нынче мною получена из Петербурга депеша о всемилостивейшем пожаловании вас, милостивый государь мой, кавалером ордена святого Владимира третьей степени за благоразумную распорядительность, оказанную вами при выгрузке из кораблей в Данциге продовольственных припасов, назначенных для русской армии.

— Так, стало быть, я могу возвратиться в Петербург, продолжать мою работу! — радостно вырвалось у Литке.

— Далась тебе эта работа,— упрекнул дядя.— Еще выйдет ли толк из твоих писаний, а смотри, как тебя ценят в высших сферах...

— Дядюшка, родной мой,— горячо взмолился Литке,— только одна сфера деятельности меня интересует — наука! Заклинаю вас всем для вас святым: помогите мне вернуться в эту сферу...

— Поторопи генерал-интенданта, ведь по сути дела видно, что твои отчеты составлены добросовестно. Разве иначе ты получил бы столь лестную о тебе депешу?

— Я надоедаю Потапову чуть ли не ежедневно,— жаловался Федор Петрович,— а он одно и то же твердит: «Правильно, но не по форме ваши отчеты составлены, не по форме...» Но ведь и самая операция производилась вне всяких форм...

— Разумеется, разумеется,— согласился Энгель,— да ведь что поделаешь с чиновничьей косностью? Однако обещаю тебе посодействовать.

— Тем более что Тенгеборгский, коему я писал о досадной задержке моей из-за формальных причин, охотно соглашается переделать наши отчеты по требуемой форме.

— Ты об этом сказывал Потапову?

— Конечно...

— Ну и что же он?

— А он говорит: «Так ведь беда, батенька мой, что формы-то определенной и нет...» При таком положении я не знаю даже, сколько меня здесь продержат.

Глубокое огорчение племянника тронуло Энгеля. Выбрав удобный момент, он поговорил о Литке с фельдмаршалом, и Паскевич милостиво разрешил Федору Петровичу возвратиться в Петербург «до окончательного рассмотрения отчетности», которое так и не было произведено из-за отсутствия «должной формы».

Снова Федор Петрович в маленьком, уютном кабинете на одной из заснеженных улиц Васильевского острова. Сквозь разукрашенные морозом стекла на листы, исписанные характерным, стремительным почерком, льется мягкий свет. Стопки книг с многочисленными закладками, объемистые судовые журналы, карты морей и земель, альбомы с рисунками, мраморный бокал с остро очиненными гусиными перьями и разноцветными карандашами...

На маленьком круглом столике, покрытом белой салфеткой, — стакан крепкого чая и блюдечко со смородиновым вареньем. Тишина нарушается только шелестом бумаги и легким поскрипыванием пера. Совсем уже одряхлевшая няня Настасья изредка заглянет в неплотно прикрытую дверь, чтобы посмотреть, выпит ли чай. Она ни о чем не спрашивает: Феденька страсть не любит, когда ему мешают. И почту подает она молча: положит на поднос принесенные почтальоном пакеты, просунет в прикрытую дверь и тихонько кашляет, Федор Петрович обернется, встанет и непременно поблагодарит:

— Спасибо, старушка ты моя добрейшая!

В такую минуту можно спросить, чего бы Федор Петрович желал покушать в обед. Но спрашивала старуха об этом только «для проформы», потому что ответ бывал всегда один и тот же:

— Стряпай что хочешь, ты ведь у меня мастерица!

Старухе льстил такой ответ, но из скромности она возражала:

— Небось в заморских странах бог весть какими разносолами потчевали... Где уж мне угнаться...

— Вот и отлично,— рассеянно ронял Федор Петрович, наклоняясь над рукописью.

Нянька знала: надо уходить.

Литке встречался с учеными, завязывал новые интересные знакомства. В маленьком его кабинете обсуждали научные проблемы, жарко спорили, строили смелые планы новых исследований мира.

Как отличались эти встречи от придворных вечеров, балов и обедов, на которые Литке все чаще и чаще получал приглашения, похожие на приказ!

Совсем неожиданно для себя молодой ученый получил «высочайший» приказ о назначении его флигель-адъютантом.

— Что бы это могло значить? — озадаченно спрашивал Федор Петрович Сульменева.

— Несомненно, что к тебе хотят ближе присмотреться,— уверенно отвечал Иван Саввич.

— Минуй нас пуще всех печалей и царский гнев, и царская любовь,— перефразировал Федор Петрович гробовые слова.

А проявления царской «любви» следовали одно за другим: Литке приглашали во дворцовую церковь к обедне «в присутствии их императорских величеств», и сам Николай представил его царице. Наконец, ему было поручено сопровождать трех царских дочерей с их свитой на морские купанья близ Ревеля, и Федор Петрович должен был всячески участвовать в жизни плавучего «малого двора».

Когда «великие княжны» со всей своей свитой — воспитательницами: немками, француженками и англичанками, начальницей над всеми ними «кавалерственной дамой» Барановой, лейб-медиком и просто медиками, шталмейстером князем Долгоруким и целым штатом прислуги — на некоторое время съехали на берег и поселились в Катерининском дворце, приехал царь, принимавший участие в маневрах Балтийской эскадры.

Он был в хорошем расположении духа и благосклонно беседовал с Литке, гораздо дольше, чем с другими членами свиты.

Наступил август. Вода в море похолодела, северные ветры вздымали высокие, белогребенные волны. «Царственные девицы» не только не хотели купаться в этих сердитых волнах, но даже испросили у отца разрешение

возвратиться в Царское Село сухим путем. Литке вздохнул с облегчением, когда получил разрешение идти в Петербург на фрегате «Беллона», вместе с багажом отбывших княжен.

Вернувшись в Петербург, среди стопки писем, которые были получены в его отсутствие от Врангеля, Бэра, Гумбольдта и других ученых, Федор Петрович нашел конверт с придворным вензелем — приглашение на бал по случаю возвращения царской семьи в Петербург.

«Вот уж точно, как Чацкий, «с корабля на бал», — недовольно подумал Литке. Пришлось все же наскоро привести себя в должный вид и ехать во дворец.

Благоволившая к нему со времени совместно проведенных месяцев на морских купаньях главная воспитательница царских дочерей Баранова встретила его как старого друга и тотчас же сообщила новости придворной жизни. Среди этих новостей были и такие, которые в дальнейшем имели большое значение для Литке. Она рассказала, что его имя часто упоминается «их величествами с особой благосклонностью» и что на место одной из придворных дам, уезжающей на родину в Англию, приглашена милейшая девушка — Юлия Браун.

— Вот она стоит рядом с великой княжной Ольгой, видите, в голубом платье, с веточкой туберозы в волосах, — указала Баранова на очень хорошенькую девушку, которая большими серьезными глазами смотрела на кружащиеся по паркету пары.

Литке невольно задержал на ней взгляд. Он видел, как девушка робко положила руку на плечо первого пригласившего ее кавалера, как вспыхнули ее щеки, вероятно, от слишком смелого комплимента. Дождавшись, когда она снова села на раззолоченный диванчик, Литке попросил Баранову представить его и пригласил Юлию на тур вальса. Потом он танцевал с нею длинную кадрили, во время которой между ними завязался оживленный разговор.

Юлия Браун была начитана, интересовалась искусством, любила музыку. Она расспрашивала Федора Петровича о его путешествиях и слушала так, как ни одна светская женщина, с которыми он до сих пор встречался, не умела слушать.

Но вот Литке позвали к жене царя — Александре Федоровне.

Улыбнувшись ему своей холодной снисходительной улыбкой, императрица сказала:

— Я рада ближе посмотреть на того, кого мои дочери называют *l'our de mer*?¹ Разумеется, они не правы: ничего волчьего в вас я не замечаю.

Литке почтительно поклонился.

В этот же вечер он получил от имени «их величеств» приглашение обедать в дежурные дни у «наследника-цесаревича», а по воскресеньям — у «великих княжен».

Проходила зима... Федор Петрович усиленно занимался в библиотеке Академии наук и в своем кабинете.

Обеды у наследника престола протекали мучительно однообразно, по заведенному этикету. И разговоры за ними шли также казенно-бессодержательные. Немногим интереснее было общество «великих княжен», но там была возможность перекинуться двумя-тремя фразами с Юлией, а если они сидели за столом далеко друг от друга, то хоть переглянуться: взгляды эти выражали порой больше, чем могли сказать друг другу Федор Петрович и Юлия в первые месяцы знакомства.

— Что бы вы ответили, Федор Петрович, если бы вам предложили быть воспитателем великого князя Константина Николаевича? — спросил вдруг Мердер, воспитатель старшего сына Николая — Александра (будущего царя Александра II), после одного из таких обедов, когда мужчины вышли в курительную комнату.

— Не чувствую в себе никакого призвания к такой должности. В течение почти двадцати лет я занимаюсь исключительно морским делом.

— А если последует приказание государя императора?

— Мой долг повиноваться.

Юлия заметила, как изменилось у Литке лицо, когда он вернулся в женское общество. Он был бледен и до самого отъезда не проронил ни слова.

Федору Петровичу было от чего прийти в отчаяние: через короткое время он получил уже не приглашение, а приказание явиться «с получением сего немедленно во дворец». Там он услышал о распоряжении царя «еже-

¹ Морской волк (франц.).

дневно приезжать с утра к великому князю Константину и проводить с ним весь день».

Как ни был Литке подготовлен, все же эта «царская милость» потрясла его.

— Вы уже, несомненно, слышали,— сказал ему министр двора,— что государю императору благоугодно было предначертать для своего сына Константина Николаевича — стать в будущем во главе российского флота. Вполне натурально поэтому, чтобы руководителем воспитания будущего генерал-адмирала был морской офицер с обширными в этой области познаниями. Лестный выбор государя остановился на вас. Само собою разумеется, что возлагаемую на вас должность вы сможете выполнять с большим успехом, живя во дворце. Распоряжение о приготовлении для вас соответствующего помещения уже отдано.

Литке молча, со стиснутыми до боли зубами, стоял перед министром...

Заключение

Привыкнув за годы плаваний к ежедневному, точно-му ведению судовых журналов, Литке и в течение шестнадцатилетнего своего пребывания в дворцовых стенах почти изо дня в день заносил на страницы дневников все, что привлекало его зоркое внимание в этой новой, чужой и чуждой ему среде. Из семнадцати объемистых тетрадей-дневников, обнаруженных в архиве Литке, десять посвящены дворцовому периоду жизни Федора Петровича.

Академик Безобразов, долгие годы друживший с Литке, рассматривал эти десять тетрадей как «самую существенную и исторически любопытнейшую» часть домашнего архива Федора Петровича.

В них описаны события придворной, столичной и общественной жизни — в России и за рубежом, встречи с выдающимися людьми того времени — учеными, художниками, зодчими, литераторами, артистами.

При чтении этих дневников встает перед нами мрачное царствование Николая I. Литке не только «живописует» свою эпоху, он дает оценку многим знаменательным фактам, дает меткие характеристики ее «действующих лиц», и от того его собственный нравственный облик встает пе-

ред читателем дневников во всей своей внутренней силе и привлекательности. Многие записи пестрят особенно дорогими для нас именами.

Литке почти ежедневно виделся с поэтом Василием Андреевичем Жуковским, который много лет занимал, как и Мердер, должность воспитателя наследника престола — будущего царя Александра II. К одной странице дневника Литке приколотая собственноручная записка Жуковского, из которой видно, как дружески относился поэт к Федору Петровичу.

Не раз встречаются на этих пожелтевших страницах записи о беседах с баснописцем Крыловым — то на великосветском балу, где он читает свою басню «Вельможа», то на его пятидесятилетнем юбилее «вступления на поприще литературы».

«Греч и Булгарин отказались участвовать. И грубо и глупо», — заключает Литке эту запись.

Когда до Петербурга дошла весть о гибели писателя-декабриста Александра Бестужева-Марлинского, которому Николай I разрешил в виде «особой милости» участвовать в военных действиях русской армии на Кавказе, Литке с глубокой грустью записал в дневнике:

«Чрез тысячи горестей и бедствий, под гнетом которых одна только сильная душа могла устоять, необычайными трудами, чудесами отважности и самопожертвования достиг он наконец до офицерского чина... Он удостоился завидной доли — умереть за отечество. Он погиб в сражении при высадке на Абазинский берег, где флот наш очень отличился».

Несколько записей начала 1837 года рассказывают о величайшем несчастье для всего русского народа — трагической гибели Пушкина.

«28 января... Дуэль Пушкина и Дантеса сегодня поути. Месяца три назад глупая, гнусная история — безымянное приглашение Пушкина в общество рогоносцев. Д. женится на свояченице Пушкина, говорят, что будто для соблюдения приличия и отклонения внимания П-на, и что мадам П. продолжала с Д. кокетировать. История кончается тем, что П. пишет ругательное письмо на Д., но не самому Д., а к Геккерну (нидерландскому посланнику). Государь, читавший письмо это, говорит, что оно ужасно и что если б он сам был Д., то должен бы был стреляться».

И дальше: «Говорят, что... говорят, что... Говорят много вещей, но лучше забыть их и думать только о том, что померкла на горизонте литературы нашей звезда первой величины...»

При оценке дневника нельзя забывать о том, что Литке писал во дворце Николая I, что царь любил читать чужие письма и мог заинтересоваться записками воспитателя своего сына.

Общий осторожный тон дневников иногда все же нарушается глухими критическими замечаниями в отношении того или иного события или поведения представителей «высшего света», императорской семьи и даже самого царя. И уж совсем откровенно оценивает Федор Петрович свое отношение к взваленной на его плечи «обузе».

«Зачем и для чего оторвала меня судьба от работы, с которою я так ознакомился, совратила меня с поприща, на котором я только что стал подвизаться с честью?!» — пишет он вскоре после переезда во дворец. Через три года он снова жалуется на несправедливость судьбы: «Служба моя во многом противна и природе моей, и потребностям душевным. Воскресный день не только не день успокоения и внутреннего созерцания для меня. Напротив, по преимуществу — это день забот, утомления, неприятностей. Это относится вообще до всех праздничных дней».

По натуре человек с развитым чувством долга, Федор Петрович и к навязанной ему обязанности воспитателя относился с исключительной добросовестностью.

Постоянно общаясь с другими воспитателями и воспитательницами царских детей, Федор Петрович ближе всего сошелся с Жуковским. Василий Андреевич принимал дружеское участие в судьбе своего нового коллеги. Он охотно делился с ним педагогическим опытом и указал Литке ряд теоретических трудов в этой области. Федор Петрович прилежно изучал сочинения философов античного мира — Сократа, Платона, Протагора, Квинтилиана, и более позднего времени — Томаса Мора, Кампанеллу, Локка, Руссо, Песталотци, и модную тогда теорию педагога Фребеля.

В отношении своего воспитанника он неуклонно применял основной принцип Протагора: «Ни теории без практики, ни практики без теории».

— Теория и практика очень похожи на две половинки ножиц,— высказывал Федор Петрович свои мысли другим учителям,— соединение их действий очень полезно, но одна без другой ничему не служит.

Очень скоро понял Литке особые трудности воспитания царских детей.

«Они остаются всегда в одном и том же кругу,— записывает он в свою тетрадь,— они всегда видят одно и то же убранство жилища, одно и то же обращение — угодливость и услужливость, ведут один и тот же образ жизни, якшаются с одними и теми же товарищами. А когда им случается выйти из этого круга, то они на все разевают рот и кажутся совершенными провинциалами».

Желая вывести своего воспитанника из этого замкнутого круга, Литке часто увозил Константина из дворца, чтобы подкрепить теоретические познания мальчика.

Они бывали в ботаническом саду, где Константин видел редкие растения и наблюдал жизнь этих растений через микроскоп. Ездили на Колпинские заводы, посещали лаборатории Технологического института, где познакомились с производством бумажных, льняных и шелковых материй, совершили путешествие в Москву на фабрику шалей.

— Место наше примечательно сим малым холмом,— рассказывал «высоким» посетителям хозяин этой фабрики Гучков, указывая на возвышение посреди фабричного двора.— От дедов слух идет, что на холме стоял домик, в котором проживал молодой царь Петр Алексеевич. Яуза, подле пролегающая, служила для первых плаваний будущего российского флота...

Будущий генерал-адмирал по приказанию Федора Петровича пометил в своей записной книжке:

«В Москве на реке Яузе — зародыш русского флота».

Литке устраивал частые морские прогулки, с годами все более дальние. На моделях в адмиралтейском музее и на судах охтенской и кронштадтской верфей Константин знакомился с устройством корабля. На Колпинском заводе мальчик видел, как изготавливаются паруса.

Константин был упрям, капризен и своенравен, как все Романовы. Даже уравновешенного и выдержанного Литке он порою доводил до крайнего раздражения.

«В такие минуты уже нечего обращаться к его рассудку,— пришел к заключению Федор Петрович,— рас-

судок его затмевают страсти. Дух его — под влиянием плоти. Плоть должна отвечать, и потому выдран был за уши и поставлен в угол на час. Все уходилось...»

Понятно, что к таким приемам воспитания из-за «царственного происхождения» ученика можно было прибегать только в крайних случаях.

И Литке придумывал другие меры наказания и воздействия.

Одной из таких мер бывала угроза сообщить о лени или непослушании самому царю, который требовал от Литке ежедневных устных или письменных докладов об учении Константина, его здоровье и поведении. Выведенный из терпения, Литке однажды написал царю:

«Уроки на прошлой неделе были не весьма удачны со стороны поведения в классах. Рассеянность, беспокойство, движения руками и ногами бывали за всеми уроками. Более, нежели это, мешает привычка прерывать учителей пустыми вопросами и спорить с ними. Являются и капризы, упорство исполнять то, что приказывает учитель. Ваше императорское величество изволите усмотреть из сего, что все эти недостатки суть чисто детские, происходящие от великой живости нрава... Однако же без внимания оставить их нельзя, потому что, если, не обуздывая их теперь, дать им укрепиться, то со временем могут они сделаться весьма вредными».

С разрешения царя Литке накладывал на Константина «штрафы» — лишал его излюбленных развлечений, заставлял записывать в кондуитный журнал все шалости. Сторонник спартанского воспитания, Федор Петрович приучал Константина купаться во всякую погоду с июня до сентября, делать гимнастические упражнения, копать грядки, грести, ездить верхом.

«На физическое развитие великого князя, — писал Федор Петрович в одном из донесений царю, — обращаю я все мое внимание, убежденный, что *mens sana in corpore sano*¹ — есть вернейшее условие успеха воспитания. Ограничения в развлечениях применяются мною не только как мера воздействия для преодоления лени, но и в целях того же телесного здоровья его высочества».

Из таких каждодневных донесений и записей в дневниках видно, каких усилий стоило Федору Петровичу вы-

¹ В здоровом теле — здоровый дух (лат.).

полнение возложенных на него обязанностей. Даже во время нахождения на море — будь то прогулки или участие в морских маневрах и плаваниях в Голландию, Англию, Францию, Германию, Италию и даже Турцию, — все внимание Литке неотрывно было приковано к воспитаннику, за которым, чем старше он становился, тем больший и неуклонный требовался надзор.

В виде исключения Федору Петровичу была разрешена отлучка в Кронштадт на юбилей пятидесятилетней службы адмирала Крузенштерна. Здесь он встретился с товарищами-моряками, слышал лестные отзывы о своих исследовательских трудах и за несколько лет впервые развеселился до того, что вместе со всеми пел на мотив «Витгенштейнова марша» посвященные юбиляру куплеты:

Нас дух Петра не покидал.
Давно флот русский знал победы,
Экватор нас лишь не видал,
Когда нас знали турки, шведы.

Но флот наш русский захотел —
Взвился орел и полетел.

На русский флаг подняв главу,
Он к солнцу инков бросил взоры,
Помчал «Надежду» и «Неву»
Бестрепетно сквозь влажны горы...

И в тропиках гремит хвала
Во славу русского орла.

Кто ж русских вел богатырей
За русского орла полетом?
Кто проложил путь средь морей?
Россию сблизил с Новым Светом?

Вот он! Наш первый мореход!
Его честит днесь русский флот!

В придворной жизни одни увеселения сменялись другими. Для прохождения Константином фронтового учения во дворец приводили кадетов. Сам царь жженой пробкой рисовал им усы и бакенбарды и «изрядно бил в барабан», как отметил Литке в очередной записи. Многие страницы дневников, описывающие времяпрепровождение царской семьи и всего «высочайшего двора», дышат едва прикрытым сарказмом.

Торжественные и интимные завтраки, затягивающиеся до обеда, обеды, длящиеся до ужина, и ужины — до утра, маскарады с обязательным участием в них даже престарелых сановников, катания с гор, концерты, балет, семейные сцены, сплетни, ябеды одних слуг на других — от камер-фурьера до камер-лакея, от сенатора до министра...

Светлыми минутами в этом принудительном казенном «вечном празднике» бывали для Федора Петровича встречи с Юлией. Почти всегда встречи эти происходили в присутствии посторонних, но все же сближение между влюбленными неуклонно росло. И вот Федор Петрович написал Юлии о своей любви к ней и, посвятив девушку в свои планы — во что бы то ни стало вернуться к научной деятельности, — просил согласия выйти за него замуж. Юлия ответила, что давно убедилась в серьезности и глубине своего чувства и с радостью связывает свою судьбу с судьбой Литке.

Оставалось испросить разрешения у царя.

Николай, видимо, был не очень доволен, услышав из уст Литке о его намерении вступить в брак, однако разрешение дал, присовокупив при этом свое желание, чтобы женитьба никак не отразилась на обязанностях Литке по отношению к Константину.

После трех дней, которыми Федор Петрович располагал в связи со свадьбой, он снова вернулся к опостылевшим обязанностям воспитателя. Только по воскресеньям он мог уходить в свои комнаты, в отдаленном коридоре дворца. В остальные же дни молодые супруги по-прежнему встречались только за царским столом да во время прогулок со своими воспитанниками и воспитанницами.

Иногда молодоженов приглашал к себе поэт Жуковский. Он уже более двадцати лет жил во дворце, но в его квартиру был отдельный вход, и поэтому к нему могли приезжать и не «придворные» поэты, музыканты, ученые, литераторы.

Посещения таких вечеров доставляли Литке большое удовольствие. Он очень любил музыку. Юлия с радостью аккомпанировала на клавинофорте исполнителям романсов Глинки, Виельгорского, Варламова. Крылов читал здесь свои последние басни...

Улучив однажды свободный час, Федор Петрович неожиданно вошел в комнату Юлии. Она сидела, опустив

на колени крепко стиснутые руки, слезы неудержимо лились из ее глаз.

— Конечно, я не стала бы оторчать тебя, если бы дело шло только о моей тоске, о моем постоянном одиночестве,— сказала она мужу,— но боюсь, что мое душевное состояние пагубно отразится на нашем ребенке...

— Так это правда, Юленька? Правда?! — взволнованно спрашивал счастливый Федор Петрович.— Ну, успокойся, вот увидишь: наша жизнь изменится.

Царь обратил внимание на озабоченный вид Литке и сам вызвал его на откровенную беседу:

— Что, холостяцкая жизнь легче была? А, Литке? Сам знаю,— пошутил он, но глаза его, холодные, свинцовые глаза, испытующе смотрели в сильно похудевшее лицо флигель-адъютанта.

— Дозвольте, ваше величество, письменно изложить просьбу об облегчении моей участи.

Николай утвердительно кивнул и тотчас же занялся разговором с кем-то из придворных.

В ту же ночь Федор Петрович писал на добротной дворцовой бумаге:

«Ваше императорское величество всемилостивейше дозволили мне просить некоторого облегчения по должности, по причине расстроенного моего здоровья. Облегчение сие может состоять только в достаточном отдыхе от моих трудов, ибо по роду обязанности моей самые труды и заботы, с нею сопряженные, уменьшены быть не могут. В продолжение целого дня присутствие мое при великом князе необходимо. Учебные его работы, прогулки, самые игры и резвости требуют неослабного моего внимания, ибо в это именно время обнаруживаются и рождаются хорошие или дурные наклонности и есть возможность воспитателю действовать к утверждению или искоренению их. Посему в эти часы не выпускаю я великого князя без необходимости из глаз, как только на самое короткое время. Но вечером, по окончании всех работ и занятий и по отдании в оных ежедневного отчета вашему императорскому величеству, я полагаю возможным отлучиться и поручить надзор помощнику моему до следующего утра, не только без малейшего вреда для его высочества, но еще и с пользою, потому что, посвятив несколько часов своему семейству и возвратясь с освежен-

ными силами к своей должности, я буду иметь возможность посвятить ей тем нераздельнейшее внимание.

Озабочиваясь, чтобы силы мои, не поддерживаемые ни малейшим отдыхом, не оказались недостаточными для всегдашней бдительности, каковой обязанность моя всегда от меня требует, беру смелость всеподданнейше просить ваше императорское величество о назначении мне помощника. В настоящем положении малейшая болезнь моя может привести к затруднениям, в особенности летом, когда большую часть времени его высочество проводит в морских и других поездках и прогулках. Чтобы иметь возможность исполнять свою обязанность и держаться на высоте ее, наставнику необходимо иногда отдохнуть умом и освежить мысли и сведения свои в кругу недетском. Обязанный весь день безотлучно находиться при особе великого князя, могу я только употребить на то часы сна его высочества. Осмеливаюсь испрашивать дозволения вашего величества, чтобы в эти часы вместо меня оставался при великом князе мой будущий помощник».

«Высочайшее соизволение» последовало не сразу: Литке должен был подыскать помощника, который понравился бы самому царю, его жене и Константину, ввести его в новую службу, ознакомить с правилами распорядка жизни воспитанника, его вкусами и привычками.

На все это ушло более полугода. Со вступлением Озерова в должность помощника, Литке мог с семи часов вечера и до семи утра оставаться в своих двух небольших комнатах.

Вскоре после этой радостной перемены появился новый член семьи Литке — сын Константин.

Теперь Федор Петрович находил время и для своих любимых научных занятий. В журналах часто упоминалось его имя, как имя выдающегося ученого.

Особенно выросла его слава, когда вышел из печати последний том «Путешествия вокруг света на военном шлюпе «Сенявине» (1835—1836 года)». Опубликование этого сочинения называли «событием в географической литературе». Автору его Академия наук присудила высшую из бывших в ее распоряжении наград — Демидовскую премию. Многие ученые пользовались опубликованными в этом труде данными для своих работ в области океанографии, гидрографии, астрономии.

Результаты наблюдений Литке над постоянным маятником на огромном пространстве (от 60° с. ш. до 33° ю. ш.) настолько отличались от результатов наблюдений таких ученых, как Дюперре, Фрейсене и Соби́на, что в ученом мире возникло новое предположение о том, что: 1) земля не представляет правильного эллипсоида вращения; 2) атлантическая часть ее южного полушария более выпукла, чем северная, и 3) важное влияние на качание маятника имеет характер того участка земной коры, на котором производятся опыты.

Усилилась переписка Литке с учеными — физиками, геодезистами, мореплавателями-исследователями.

Многие писали Федору Петровичу, что «ученый мир может ждать от его трудов дальнейшего обильного обогащения человеческих знаний». Они всячески старались вернуть своего собрата в лоно научной деятельности, не понимая, сколько страданий причиняли Федору Петровичу их уговоры и советы.

Когда Жуковский, желая помочь Федору Петровичу, осторожно намекнул Николаю, что известному ученому следовало бы предоставить возможность идти по тому пути, на котором он уже заслужил лестное признание, царь ответил резко:

— Самое лестное признание ученых заслуг Литке и его личных качеств уже сделано: я доверил ему воспитание моего сына. — Николай надменно закинул голову и сверху вниз посмотрел на Жуковского.

Василий Андреевич только вздохнул в ответ. А сам он, поэт и друг поэтов, разве не заключен, как в клетке, во дворец в качестве главного гувернера «наследника престола»?

— Что же касается пресловутой любви Литке к морю, — продолжал царь с тем же недоброжелательным выражением надменного лица, — то разве я не разрешаю морских прогулок и дальних плаваний? Мало ли они с Константином Николаевичем плавали и еще поплавают в будущем?

С глубокой грустью передал Жуковский Федору Петровичу свой разговор с царем.

— Иного я и не ждал, — нахмурившись, сказал Литке. — Благодарю вас за ваше желание оказать мне услугу, но ваше доброе сердце соединяется с какою-то детскою наивностью. Простите, но я не стал бы и пытаться...

— Простите и вы меня,— перебил Жуковский,— но, обладая чистым и прямым характером, вы немножко круты, прямолинейны, а этого при дворе нельзя! Великий «профессор дворцовой науки» князь Александр Голицын говорил мне об основных ее принципах буквально следующее: «Когда есть случай сесть на свободный стул — непременно садись, ведь неизвестно, когда опять представится подобный случай; когда есть случай просить — непременно проси». Да, да, мой друг,— со вздохом прибавил Жуковский,— кто хочет успеть при дворе, тот непременно должен просить, канючить... Деликатность здесь не только не считается добродетелью, не только не ценится, но на людей неищущих даже смотрят косо, как на принимающих вид независимости... Горькая истина, но, увы, основана она именно на опыте в долголетнем протяжении моей придворной жизни...

Николай был недоволен желанием Литке вырваться из дворца. Недовольство его выразилось очень скоро: Литке не дали награды, которую получили остальные учителя Константина в день его рождения. Не был Федор Петрович награжден и по списку морского флота. Об этом он узнал, когда был с женой в гостях у Врангеля.

— Нынче целый звездный дождь пролился на наш флот,— сказал Врангель,— Крузенштерн получил Александра Невского, Меншиков вынес от государя сразу несколько звезд, Васильев — Белого орла, твой Сульменев — Владимира второй степени... Странно, что тебя нет...

— А тебя? — спросил Федор Петрович.

— Станислав второй степени...

— Могли бы дать первой,— спокойно сказал Литке.

Весь вечер он был весел, остроумен, общителен, как всегда: такая царская немилость нисколько не огорчила его. Одному из ее проявлений он даже был искренне рад: приглашения к общему «высочайшему» столу стали реже, реже его заставляли таскаться по балам и маскарадам, принимать участие в катаниях «высшего света» с ледяных гор Елагина и Крестовского островов и в прочих потехах царской семьи и ее свиты.

Все эти развлечения великосветских бездельников Литке относил к тем, которым «едва ли будут верить через пятьдесят лет, читая скандальную хронику наших дворских праздников. Не может быть,— писал он в днев-

нике, — чтобы всего этого, да еще с прикрасами, не сообщалось по Европе, где ловят всякий случай, чтобы унижить нас в общем мнении».

«Добрейшая жена моя — истинное благословение господне и утешение во всех моих неприятностях, — заносит он на другую страницу своих замечательных дневников, — приняла неудовольствие благоразумно и совершенно вошла в мои идеи. Мы с ней много толковали о возможной перемене в нашем состоянии, и результат выходил скорее утешительный, нежели иначе. Мы должны будем во многом себя ограничить, отказаться от многих comforts¹, но зато найдем жизнь семейную и счастье, которого теперь лишены».

Время, освободившееся от принудительного пребывания при «высочайших особах», Федор Петрович отдавал науке и семье — сыну и жене, ожидавшей уже второго ребенка. Они бывали на домашних концертах у Врангелей, на семейных торжествах у Сульменевых. Федор Петрович мог теперь встречаться с учеными, бывать на заседаниях в Академии наук.

С величайшей охотой принял он предложение написать для «Записок императорской Академии наук» статью о приливах и отливах в Северном Ледовитом океане. Не успела еще она выйти из печати, как Николай вернул Литке свою «благосклонность»: не так-то легко было найти замену этому замечательному во всех отношениях педагогу и человеку... «Не более месяца пожил я хоть несколько по-человечески», — записал Литке в дневник.

И снова, до самой женитьбы своего воспитанника, Федор Петрович должен был неотлучно состоять при нем.

Рухнули горячие надежды на перемену судьбы в желанном для ученого направлении, рухнуло и семейное счастье Литке: после родов второго ребенка умерла Юлия.

«Друг мой, моя Юлия, покинула меня навсегда, и я осужден влачить одинокую, безрадостную жизнь, к которой привязывают меня два невинных создания, не постигающие еще несчастья своего сиротства. Попечение об них отныне должно наполнять жалкое мое существование, в котором будет одно утешение — воспоминания о Юлии. Как будто и моя душа рвется из тела... Но дети... эти две звездочки на мрачном небе моей жизни...»

¹ Удобств (франц.).

Пожелтевшие страницы этой записи носят на себе следы слез.

Разбирая свою переписку с Юлией уже много лет спустя, Федор Петрович восклицал:

— О Юлия, моя Юлия! Чем дольше длится мое одиночество, тем больше вижу я, какого сокровища в тебе лишился...

Он не последовал примеру своего отца и не дал сыновьям мачехи. Всю нежность и привязанность к жене он перенес на своих мальчиков: дал им прекрасное воспитание, сам занимался с ними по всем предметам, пока они не поступили в лучшую школу того времени — Царско-сельский лицей.

Все друзья Литке отмечали после смерти Юлии неизбывную печаль и перемену в его характере. Но любви к «морскому делу» Литке не изменил до конца своих дней.

Еще во время первых путешествий, когда он познакомился с виднейшими географами России и Европы, у Федора Петровича возникла мысль о необходимости создать в России Географическое общество.

Докладывая об этом царю, Литке предложил в председатели будущего Общества своего воспитанника — Константина; князю к этому времени (1845 год) исполнилось восемнадцать лет.

Весной 1845 года будущие учредители Географического общества собрались в квартире Владимира Ивановича Даля, личного секретаря министра внутренних дел Перовского, для обсуждения целей и задач Общества. По решению собравшихся, Федор Петрович составил докладную записку «Об основании Русского географо-статистического общества», которую 1 мая 1845 года подал министру внутренних дел Перовскому.

В докладной записке Литке так говорил о главных задачах будущего Общества.

«Собрание и распространение как в России, так и за пределами оной возможно полных и достоверных сведений о нашем отечестве:

1) В отношении географическом, разумея под этим все, что принадлежит до землеописания местности, физических свойств страны, произведений природы и пр.

2) В отношении статистическом, понимая под этим словом не один только подбор бездушных чисел, не одну количественную статистику, но и описательную, или ка-

чественную, то есть все соизмеримые стихии общественной жизни.

3) В отношении этнографическом. Сия последняя сторона вопроса, то есть познание разных племен, обитающих в нынешних пределах государства, со стороны физической, нравственной, общественной и языковедения как в нынешнем, так и в прежнем состоянии народов».

Одной из задач Географического общества Литке поставил «распространение в нашем отечестве, вместе с основательными географическими сведениями, вкуса и любви к географии, статистике и этнографии».

Осенью 1845 года Общество было утверждено под названием «Географического», о чем Литке получил официальное извещение от министра внутренних дел.

Всячески содействуя выдвигению председателем вновь образованного Общества своего воспитанника, Литке не без основания надеялся влиять на «высокопоставленного» председателя в смысле содействия его развитию русской географической науки.

В письме к Литке от 25 марта 1875 года академик Бэр, вспоминая о создании Географического общества, писал: «Это было славное время, полное оживления... Моя заслуга при этом, то есть при основании Географического общества, заключалась только в том, что я — хотел, Вы же — могли. Как бы то ни было, младенец появился на свет. Следует признать, что он и теперь продолжает существовать с достоинством. Бесспорно, никакое другое научное общество из основанных в России со времен Екатерины II не имеет больших заслуг».

На первом собрании Географического общества, которое состоялось 7 октября 1845 года в большом конференц-зале Академии наук, Литке, избранный вице-председателем, так охарактеризовал основное направление деятельности открываемого Общества:

— Наше отечество, простираясь более нежели на полуокружность земли, представляет нам само по себе особую часть света со всеми, свойственными такому огромному протяжению, различиями в климатах, отношениях геогностических, явлениях органической природы, с многочисленными племенами и т. д. и, прибавим, — часть света еще малоисследованную. Такие совершенно особые условия указывают прямо, что главным предметом Русского

географического общества должно быть возделывание географии России.

Согласно воле Литке первым секретарем Общества был назначен А. В. Головнин, сын знаменитого Василия Михайловича Головнина. Молодой Головнин унаследовал от отца твердый характер, настойчивость и незаурядные организаторские способности.

В первые же годы своего существования Географическое общество завоевало под руководством Литке большой научный авторитет, собрало вокруг себя наиболее образованных, прогрессивно мыслящих людей и считалось общественным и научным центром не только в России, но и за рубежом.

В 1848 году, после женитьбы Константина, Федор Петрович смог наконец покинуть дворец.

Награжденный чином контр-адмирала, он получил назначение в Ревель на должность командира порта и военного губернатора. И в Ревеле и в Кронштадте, куда он был переведен на такую же должность во время первой Восточной войны, Федор Петрович не только выполнял свои непосредственные обязанности, но и участвовал в выработке плана защиты балтийских берегов и операций Балтийского флота, хотя и отклонил от себя главное командование этим флотом.

В представленной по поводу этого отказа докладной записке на имя своего бывшего воспитанника, именовавшегося к этому времени «генерал-адмиралом», Литке писал, что «при всем беспредельном своем желании служить отечеству» он сознает себя недостаточно подготовленным для такого ответственного поста.

После окончания Крымской войны Литке был назначен членом Государственного Совета и принимал активное участие в подготовлявшемся «освобождении» крестьян.

Во время пребывания в Ревеле и Кронштадте Литке отошел от работы в Географическом обществе, но по возвращении в Петербург его снова избрали на должность вице-председателя вместо сенатора Муравьева. На этом посту Федор Петрович оставался шестнадцать лет — до 1873 года. В сентябре этого года ему исполнилось семьдесят пять лет, и он решил снять с себя звание вице-председателя. На годовом собрании членов Общества Федор Петрович с волнением объяснил причину своего ухода:

— Перешагнув на вторую половину восьмого десятка и чувствуя с каждым днем возрастающий упадок сил моих, я поступил бы недобросовестно, представ пред вами вновь кандидатом на должность, которую по убеждению моему не могу уже выполнять с прежней энергией, с прежней деятельностью...

Избранный на этом собрании новый вице-президент П. П. Семенов (Тян-Шанский) дал замечательную характеристику деятельности Федора Петровича:

— Было время,— говорил он,— когда полный еще юношеских сил Федор Петрович, проникнутый любовью к географической науке и жаждой открытия неведомых стран, повел в первый раз свой корабль в неприветливые полярные моря и, четырехкратно пробиваясь через ледяные окраины, открыл и завоевал для науки холодные прибрежья той земли, которая только до его исследования имела право называться Новой Землей. Через несколько лет мы видим нашего отважного мореплавателя во главе одной из русских кругосветных экспедиций. Он пересекает два раза экватор, совершает по пути географические открытия, но поворачивает к своему любимому северу, в те холодные, туманные и покрытые плавучими льдами моря, в которых почти сталкиваются оконечности материков Старого и Нового Света. Географические исследования и открытия Федора Петровича в Беринговом море, Алеутской гряде, на побережье Камчатки, Чукотской земли и Америки хорошо известны нам; они стяжали ему громкую славу во всем ученом мире... Двадцать семь лет тому назад Федор Петрович с некоторыми из здесь присутствующих ветеранов географической науки и со многими из тех, которых уже нет между нами, положил первое основание Русскому географическому обществу. С тех пор с тем же светлым умом, с тою же твердой волей, с той же бескорыстной любовью к науке, с какими он вел на географические открытия корабль своей экспедиции, вел он и нас от открытия к открытию, начиная от холодных вершин северной оконечности Урала до жарких стран Херсона, от пустынного Сахалина до густонаселенной юго-западной окраины нашей на Галицийской границе. И на этом, не всегда спокойном, океане общественной деятельности дело не обходилось без борьбы с препятствиями, без бурь и подводных камней. Но корабль, руководимый отличным кормчим, вышел с

честью из двадцатисемилетнего своего плавания, и далеко разнеслась его слава в образованном мире, и высоко на нем поднято знамя науки.

В этих прочувствованных словах П. П. Семенова не было преувеличения заслуг Литке. За время его руководства работой Географического общества были проведены обширные исследования Средней Азии и Сибири, получившие широкую известность.

В 1855 году Общество снарядило экспедицию в Восточную Сибирь. По собранным ею данным была составлена карта южной половины Восточной Сибири, изданная в 1864 году.

В 1857 году Географическое общество организовало экспедицию П. П. Семенова на Тянь-Шань.

В 1864 году П. А. Северцев провел географические исследования в Туркестане. Главнейшие труды, явившиеся результатом этих исследований — «Поездка в западную часть Небесного Хребта» и «Путешествия по Туркестанскому краю», — были опубликованы в 1867 и 1873 годах.

В 1866 году П. А. Кропоткин провел исследование Олекмо-Витимского края.

За работы по изучению фауны Байкала ученые Дыбовский и Годлевский получили в 1869 году малые серебряные медали.

Экспедиция во главе с А. Л. Чекановским исследовала Нижнюю Тунгуску и Оленек.

В 1870 году было положено начало экспедициям Н. М. Пржевальского в Центральную Азию, доставившим их руководителю неувядаемую славу как одному из величайших путешественников всех времен и народов.

В том же году, при содействии Литке, Миклухо-Маклай отправился на корвете «Витязь» в Новую Гвинею.

Значительные работы провело Общество и в области физической географии. Экспедиция академика Бэра изучала физическую географию бассейна Каспийского моря; для съемки и промера самого этого моря под руководством Литке была проведена экспедиция Н. А. Ивашинцева и ряд других.

С первого же года своего существования Общество начало вести этнографические работы. Оно разослало во все губернии свыше семи тысяч экземпляров программы для сбора этнографических сведений. Полученные ответы —

свыше двух тысяч — представляли ценнейший материал. Материал этот использовал известный этнограф, собиратель русского фольклора, русских сказок и пословиц Владимир Иванович Даль, которому Пушкин подарил свою сказку «О рыбаке и рыбке» с надписью «Твоя от твоих. Сказочнику Луганскому — сказочник Александр Пушкин» (литературный псевдоним Даля был «Казак Луганский»).

За выпущенный Далем «Толковый словарь живого великорусского языка» он был избран почетным академиком и награжден Географическим обществом Константиновской медалью. Эта медаль присуждалась не только за «всякий необыкновенный и важный географический подвиг, совершение которого сопряжено с трудом и опасностью, но также и за другие труды, содействующие развитию географической науки».

С 1853 года Географическое общество приступило к изданию «Этнографического сборника».

Из работ по статистике, относящихся ко времени пребывания Литке на посту вице-президента Географического общества, особенно значительно «Статистическое описание Киевской губернии» в трех томах, составленное известным статистиком Д. П. Журавским.

Отчет общественного деятеля и писателя И. С. Аксакова об украинских ярмарках, изданный Обществом в 1858 году, был признан «классическим трудом по части статистики», и автор его удостоился Константиновской медали.

При отделении статистики был организован Политико-экономический комитет, работы которого посвящались вопросам политической экономии. Его заседания привлекали большое число посторонней публики — передовой петербургской интеллигенции.

Литке любил посещать эти многолюдные и оживленные заседания.

Наряду с разносторонней государственной и научной деятельностью Федор Петрович всегда находил время для устройства личных дел всех обращавшихся к нему за помощью знакомых и вовсе незнакомых людей, так или иначе попавших в беду.

Он добился увольнения из аракчеевских военных поселений Педро Эшаппара и назначения его на Кавказ в действующую армию. Он выхлопотал у Николая I помилование декабристу Лутковскому и даже сделал его

своим помощником в воспитании Константина. Он принимал горячее участие в комитете по делам раненых воинов и многих других комитетах. Он добился прекращения следствия по делу крестьянина Голубина, который обвинялся в участии в «крестьянских беспокорствах», повсеместно вспыхивавших в России. «Беспокорства» эти, то есть крестьянские бунты, нарастали с каждым годом. В своей книге «История русской литературы» А. М. Горький говорит, что между 1845 и 1849 годами, — за 1460 дней этих бунтов насчитывалось 172. «Выходит, что мужик бунтует каждые девять дней по одному разу обязательно».

Но «элемент ученого всегда господствовал в характере Литке над расположением к практическим государственным делам», — сказал о нем один из лучших его биографов — академик В. П. Безобразов.

Федору Петровичу, не столько как высокому сановнику, покровительствовавшему ученым учреждениям России, но как ее крупнейшему ученому, Академия наук предложила звание почетного члена, которое Литке согласился принять только при условии сохранения за ним полученного за тридцать лет до этого звания — члена-корреспондента Академии. Звание это, присвоенное ему, тогда еще молодому человеку, Федор Петрович особенно ценил и перестал ставить его перед своей фамилией только в 1864 году, когда был избран президентом Академии наук.

На этом посту Федор Петрович продолжал трудиться неустанно, живо интересуясь успехами всех отраслей наук и всемерно содействуя их развитию в России.

Как большой любитель и знаток астрономии, Федор Петрович отдал много забот усовершенствованию Пулковской обсерватории, неизменно принимая участие в ее работах.

Состоя президентом Российской Академии наук, Федор Петрович продолжал вести плодотворную переписку со многими выдающимися учеными. В это время он уже был почетным членом Морской академии, Харьковского и Дерптского университетов, членом-корреспондентом Парижской академии наук, почетным членом Географического общества в Лондоне, Географического общества в Антверпене и прочее и прочее. Грудь Федора Петровича украшали многие ордена. Во флоте он числился самым старшим адмиралом.

Президентом Академии наук Федор Петрович состоял восемнадцать лет. С большой душевной болью он отказался от этого поста за три месяца до своей кончины. Ему было тогда около восьмидесяти пяти лет, и он почти совсем потерял зрение и слух. Скончался он 8 августа 1882 года. Его смерть вызвала соболезнование всего ученого мира. На заседании Академии наук, посвященном памяти почившего ученого, академик Струве охарактеризовал замечательную деятельность «покинувшего сей мир президента Академии, которую он, Федор Петрович Литке, считал вернейшим рычагом для поднятия в России общего уровня образования».

Перечислив огромные ученые заслуги покойного, оратор закончил:

«Высокопочтенное собрание без сомнения вправе ожидать от меня также некоторых указаний на заслуги Литке по занимаемой им восемнадцать лет должности президента Академии наук. Беспристрастный суд истории, чистый от личных впечатлений, оценит затруднения, с которыми должен был бороться на этом посту почивший президент. Суд сей выкажет его и в академической должности таким, каким он продолжает жить в наших благодарных сердцах. Вспомните, любезные товарищи, неуслышанные его старания на пользу Академии и личного благосостояния каждого из вас. Вспомните тот теплый привет, то поощрение, которые находил у него каждый новый шаг в науке. Сравните число премий, имеющих ныне в распоряжении Академии для венчания отличных научных и литературных произведений, с ограниченным числом их в предыдущие времена. Сравните состояние ряда научных наших музеев, коллекций и других учебных пособий с тем, чем они были до него. И, наверное, вы не откажетесь засвидетельствовать пред целым светом, как высоко плодотворно было для Академии управление Литке. Но выше всего поставим ему в заслугу неуклонные его старания воскресить и сохранить между нами дух чистой и серьезной науки, добросовестное служение которой — наша главная задача, наш долг перед отечеством».

В ознаменование выдающихся научных заслуг перед Родиной именем Литке названы: мыс на юго-западном берегу Охотского моря, мыс на северо-западном берегу

Амурского залива, пролив между островом Карагинским и Камчаткой и остров в бухте Святого Лаврентия.

Имя Литке носит один из ледоколов, совершивших выдающиеся плавания по Северному морскому пути.

Крупнейший советский ученый Лев Семенович Берг, нынешний председатель Географического общества, недавно отпраздновавшего сто лет своего существования, справедливо отметил, что Литке принадлежит к «плеяде гуманных русских путешественников», представителями которых были В. М. Головнин, П. П. Семенов, Г. Н. Потанин, Н. Н. Миклухо-Маклай и многие другие.

Литке был поистине гуманным человеком, бескорыстно и горячо любившим науку и желавшим при ее помощи добиться процветания России. Памятуя его заслуги перед отечественной наукой, Совет Министров СССР 29 августа 1946 года вынес постановление о восстановлении золотой медали имени Ф. П. Литке для поощрения трудов в области географических наук.

Жизнь Ф. П. Литке — это образец непреклонной воли, настойчивости, умения мужественно переносить трудности, непрестанного стремления всячески содействовать процветанию своей родины. Даже в условиях самодержавного режима, занимая высокое положение в «высшем свете», он остался верен науке и интересам своего великого отечества. Имя Литке и его труды высоко чтут советские люди.



ТРИНАДЦАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

*Повесть
о героических буднях
первых пятилеток*





От автора

— Левый! Левый! — услышала я звонкий женский голос, когда вошла в Дом общественных организаций, стоящий на левом берегу Днепра, и остановилась возле дверей, на которых висела табличка: «Редакция истории фабрик и заводов».

— Левый! Левый! — доносилось из-за двери.

«Маяковского декламирует», — подумала я. И переступила через порог.

За столом, прижимая плечом к уху телефонную трубку, сидела молодая голубоглазая женщина. Кивнув головой в ответ на мое приветствие, она снова закричала в трубку:

— Левый! Левый! Шоб ты сказился! — Переждав немного, она снова и снова надрывно повторяла: — Левый! Левый! Хай ты скажишься!

Как выяснилось вскоре, «сказиться» предназначалось не всему левому берегу Днепра, а его телефонной стан-

ции, которая не отвечала на настойчивые сигналы товарища Степановой, секретаря местной редакции «Истории фабрик и заводов».

Энергично постучав по рычагу телефонного аппарата, она положила на него трубку таким движением, каким врач опускает руку больного, у которого уже не прощупывается пульс.

Я протянула Степановой письмо от главной редакции «Истории фабрик и заводов», в котором сообщалось, что мне поручено написать историю Днепровского алюминиевого комбината (ДАК), и предлагалось оказывать мне в этом отношении всяческое содействие.

— А мы об этом уже знаем,— приветливо сказала товарищ Степанова,— у нас уже работает одна писательская бригада по Днепровской гидроэлектростанции. Бригаду возглавляет товарищ Гладков. Писатели часто заходят сюда, в редакцию. Вы с ними встретитесь. А сейчас давайте займемся вашим устройством с жильем и питанием. Присядьте, а я позвоню в партком. Впрочем, мы скорей дойдем туда пешком,— покосившись на телефонный аппарат, закончила она.

С этого дня моя энергия и опыт литератора более чем на два года были отданы на создание книги «Тринадцатый элемент», названной так потому, что алюминий занимает тринадцатое место в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева.

После ряда творческих встреч с учеными, основоположниками советской алюминиевой промышленности, после прочтения рекомендованной ими по этому вопросу литературы, после ознакомления с проектами входящих в состав комбината заводов — глиноземного, электролизного и электродного, я написала предварительный схематический план будущей книги.

При содействии партийной организации комбината и газеты «Днепровский пролетарий» для обсуждения этого плана было созвано совещание комбинатского актива. Насколько он, этот актив, интересовался историей своих заводов, можно было судить по продолжительности и составу этого совещания. На него явились дирекция комбината и начальники входящих в комбинат заводов, секретарь парткома и секретари партийных и комсомольских ячеек, начальник строительства, рабочие и инженеры отдельных цехов — комсомольцы, партийцы и беспартийные.

Почти все они принимали горячее участие в обсуждении плана будущей книги. Почти все настаивали на необходимости его расширения, советовали как можно больше использовать рассказы о комбинате тех товарищей, которые его создали, настоятельно рекомендовали осветить роль комбинатской молодежи, ее культурный и технический рост.

Секретарь партийной организации, в общем солидаризируясь с планом, считал нужным дополнительно обсудить его с рабочими группами отдельных цехов. Некоторые из выступавших товарищей предостерегали меня от приукрашивания действительности и рекомендовали правдиво осветить трудности, встречавшиеся на пути создания и освоения этой новой для нашей страны отрасли промышленности.

— Писательница должна особенно внимательно остановиться на том, что предшествовало созданию нашего комбината, что заставило нас строить его и какая у нас имелась для этого база,— сказал начальник электролизного завода.

Некоторые из инженеров говорили, что писать о комбинате следует так, чтобы у читателей получилось полное представление о сложности технологических процессов, протекающих в его цехах, о его первоклассном техническом оборудовании и трудностях освоения того и другого.

Рабочие единодушно высказывались за подробный показ периода стройки и монтажа, которые велись так, «как никогда и нигде».

Коммунисты требовали, чтобы в книге обязательно была отражена созидательная роль партийных организаций.

Заместитель директора комбината полагал, что в одном томе написать историю ДАКа невозможно. «Это должно быть нечто вроде технической энциклопедии».

Получалось так, что если бы я написала книгу даже с учетом только части пожеланий, размер ее, во всяком случае, значительно превысил бы тот, который был обусловлен издательством.

Наконец, неременным условием «Истории ДАКа», на котором настаивали все присутствующие, должны быть ее занимательность и простота изложения.

После этого совещания по обсуждению плана книги для меня стало еще более ясно, что работа, к которой я приступила, будет серьезной и трудоемкой.

Во время моих частых приездов на ДАК я подолгу бывала в его цехах, знакомилась с монтажом их оборудования, была свидетельницей их пуска и «детских болезней» начала эксплуатационного периода.

Много материала для книги я собрала на вечерах воспоминаний участников создания Комбината, на их производственных совещаниях, научных конференциях, слетах ударников и т. п.

Но основную пользу в этом отношении принесло мне личное общение с людьми ДАКа¹, его замечательными людьми, самоотверженными, стойкими и мужественными, с успехом преодолевавшими все трудности этого нового сложного производства.

Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность всем товарищам, которые оказали мне содействие в создании «Тринадцатого элемента», в особенности профессора А. Н. Кузнецову и Е. И. Жуковскому, П. И. Мирошникову, лауреату Государственной премии А. И. Железнову, И. М. Вирко и моему постоянному консультанту лауреату Государственной премии Е. Н. Падалке — бывшему главному металлургу Главного Управления алюминиевой промышленности.

Все эти товарищи являются пионерами советской алюминиевой промышленности и проработали в ней свыше двадцати пяти лет.

М. Марич

¹ Многие из них выведены в этой книге, причем некоторые под их настоящими фамилиями.

ДЕРЗНОВЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Можно без всякого преувеличения сказать, что благодаря алюминию необычайно расширится применение металлов как основы современной человеческой культурной жизни. В мир металлов вступает новая «Великая держава».

Дебар

Введение

Геологи подсчитали, что 7,3 процента твердой земной коры на глубину 16 километров состоит из алюминия, не в чистом, конечно, виде, а в соединении с другими элементами. Алюминий находится в величайших горных массивах, уходящих в заоблачную синеву, и в их руинах, превращенных в течение тысячелетий водами и ветрами в силикаты и мягкую глину безграничных степей и долин, и в редко встречающихся в природе драгоценных камнях — рубине и сапфире, в гранатах и ляпис-лазури.

Человек каменного века, высекая из крепкого камня немудреные предметы своего примитивного хозяйства, не знал, конечно, что в состав этого камня входит алюминий. Не знали этого египетские фараоны, воздвигнувшие себе пирамиды, олицетворяющие их рабовладельческую тупость и жестокость. Не знали и вавилонские мудрецы, которые записывали свои мысли на обожженных глиняных дощечках. Не знали и давно вымершие народы и племена, далекое прошлое которых глядит на нас с полок и шкафов археологических и исторических музеев в виде каменных и глиняных предметов человеческого обихода далеких времен.

Когда из огромных котлованов, вырытых при сооружении грандиозной Днепровской плотины, была выкачана вода, эта же седая древность глянула в глаза людей нашей эры. Среди многих археологических находок с днепровского дна были извлечены глиняные урны, чаши и обломки каких-то идолоподобных фигур. Быть может, это именно их бросили под Киевом в Днепр около тысячи лет тому назад Владимир Святой и его последователи во время события, именуемого в дореволюционных учебниках истории «крещением Руси».

Несмотря на неисчерпаемые потенциальные возможности, алюминий недавно появился в семье таких распространенных промышленных металлов, как железо, медь, свинец и другие.

Это произошло потому, что раскрытие тайны его получения потребовало высокого развития научно-исследовательской мысли и больших технических возможностей.

В самом деле — если на заре своей культуры человек, засыпавши костер глыбой земли, обнаружил в его остывшем пепле твердый кусок железа или, копаясь в почве, нашел блестящие куски самородной меди, то для получения алюминия человечеству надо было подняться на ступень развития XIX века с его колоссальными открытиями в области химии и электричества.

В начале XIX века алюминий считается драгоценным металлом. В пятидесятых годах добыча его выражается робкой цифрой в несколько килограммов, при стоимости одного килограмма около двух тысяч рублей. И только к концу восьмидесятых годов он становится промышленным металлом.

Благодаря высоким качествам алюминия — его пластичности, хорошей электропроводности, неокисляемости вследствие образования прочной и непроницаемой окисной пленки и высоким механическим свойствам его сплавов — развитие мировой алюминиевой промышленности носит характер бурного роста. В 1889 году было выплавлено 2210 тонн алюминия по 21 тысяче рублей за тонну, в 1912 году — 51 тысяча тонн по цене 920 рублей тонна, в 1930 году производство алюминия достигло цифры 260 тысяч тонн по 960 золотых рублей тонна. Потребность в алюминии растет настолько, что ножицы его спроса и предложения расходятся все шире и шире.

В то время как в Западной Европе и Америке развитие алюминиевой промышленности шло крупными шагами, дореволюционная Россия, как и во многих других отраслях промышленности, представляла собою только рынок сбыта для иностранной алюминиевой продукции.

Не умея самостоятельно изготовить и килограмма алюминия, Россия находилась в полной зависимости от импорта, следовательно, от хищнических appetитов иностранных заводчиков.

Твердое решение советской власти полностью освободиться от всякой иностранной зависимости, а для этого неуклонно стремиться «на всех парах» индустриализировать страну, вдохнуло живую струю в дело создания в СССР собственного алюминиевого производства.

Эта совершенно новая в СССР отрасль промышленности требовала для своего успешного развития наличия высшей технической базы, то есть мощных источников дешевой электроэнергии.

В планах великих пятилетий нашего народного хозяйства обследован каждый его участок, учтен каждый рубль, проконтролирована каждая цифра. Развитие его разнообразных отраслей находится в тесной между собой связи, потому что, в отличие от беспланового капиталистического хозяйства, хозяйство социалистическое представляет комплексную, стройную систему государственного планирования.

Великий план электрификации — план ГОЭЛРО — обеспечивал алюминиевой промышленности прочную энергетическую базу. В 1929 году Совет Труда и Оборона вынес постановление о создании первых двух алюминиевых комбинатов: на Волхове, при уже работающей гидроэлектростанции, и на Днепре, где могучая красавица ДГАЭС еще только наряжалась в свою розовую туфовую броню.

С этих двух комбинатов первоначально предполагалось получать 20 тысяч тонн алюминия (15 тысяч с ДАКа и 5 тысяч с ВАКа) в год.

Огромную работу пришлось проделать исследовательским институтам, проектным организациям, строителям, монтажникам и коллективу эксплуатационников, прежде чем наша страна обогатилась двумя первенцами алюминиевой промышленности — заводами на Волхове и Днепре.

Волховский алюминиевый завод, пущенный первым, разбил и опрокинул все существовавшие ранее сомнения

в возможности возникновения в СССР алюминиевой промышленности. А создание Днепровского завода уже знаменовало кардинальную перепланировку карты мировой алюминиевой промышленности в смысле перенесения одного из ее крупнейших центров на левый берег Днепра, у города Великое Запорожье.

Зона применения алюминия в промышленности имеет все более и более расширяющиеся горизонты. Но необходимо отметить, что, несмотря на широкое применение, которое чистый алюминий нашел себе в самых разнообразных отраслях промышленности, его распространение не было бы так велико, если бы не было открыто свойство алюминия образовывать сплавы, не уступающие по качествам некоторым сортам стали.

Ценнейшим свойством таких сплавов является то, что, отличаясь высокими механическими качествами, они почти в полной мере сохраняют легкость алюминия.

Представителями именно такого сорта сплавов является группа сплавов дюралюминия, употребляемых в самолетостроении и машиностроении.

В настоящее время насчитывается свыше двухсот сплавов алюминия, и в этом виде его проникновение в самые разнообразные отрасли промышленности безгранично.

Уже теперь трудно найти такую отрасль нашего народного хозяйства, в которой не употреблялись бы алюминий или его сплавы.

Несутся ли со сказочной быстротой разведчики Космоса — советские спутники Земли, защищают ли нашу родину грозные бомбардировщики, сбивают ли вражеских асов наши истребители, летят ли транспортные, почтовые и пассажирские гиганты самолеты, плывет ли эскадра военных кораблей, рассекают ли океанские волны теплоходы, лайнеры, катера и глиссеры, врезаются ли в морские глубины подводные лодки, мчатся ли экспрессы и товарные поезда, автомобили, мотоциклы и велосипеды, тянутся ли вдаль провода высоковольтных передач, распространяются ли в быту товары народного потребления, рассыпаются ли в ночном небе многокрасочные звезды победных салютов и праздничных фейерверков — во всем этом нашел себе широкое применение молодой серебристый металл — алюминий.

1. Полицмейстер Галле

Санкт-петербургский полицмейстер Галле сидел на веранде своей дачи в одном из уголков Аптекарского острова.

Сквозь цветные стекла окон на белую скатерть стола падали синие, желтые и красные треугольники. Такие же блики переливались в никеле кофейника, который за свое свойство издавать при кипении свист назывался «Пуришкевичем»¹.

Полицмейстерша с многоэтажным подбородком озабоченно поглядывала на своего супруга, который, сдвинув брови, отбивал пальцами барабанную трель — аккомпанемент к его мрачным мыслям.

— Безобразие! — зычным басом заговорил полицмейстер и, поднявшись с кресла, оттолкнул его в сторону. — Извольте радоваться, — ткнул он пальцем в сторону сада.

Сквозь густую листву деревьев, выше нарядных цветочных клумб, за прозрачной решеткой противоположного дома, виднелось какое-то сооружение, похожее на большую чернильницу со светящейся внутренностью. Это была печь для проведения опытов по получению алюминия. Возле нее сустилось несколько человек; судя по жестике, они о чем-то горячо спорили.

— Чувствуете? — шумно втягивая воздух сизым носом, отрывисто спросил полицмейстер.

Супруга тоже принялась.

К сладкому аромату лакфиоли и резеды действительно примешивался какой-то очень неприятный запах.

— Конечно, чувствую, — вздохнула полицмейстерша, — просто задыхаюсь.

«Пуришкевич» протяжно засвистел, выпуская пар над стеклянной крышкой кофейника. Полицмейстерша потушила под ним пламя спиртовой лампы и наполнила китайские чашки душистым мокко.

— И все же не надо волноваться, мой друг, — заговорила она, дождавшись, пока супруг отхлебнул несколько глотков кофе. — Скажешь, чтоб убрали, и уберут.

¹ Пуришкевич — черносотенный депутат Государственной думы, имел обыкновение выражать свой протест против речей «левых» пронзительным свистом.

— Попробовали б не убрать! — пригрозил полицмейстер и взял в руки пахнущее типографской краской «Новое время»¹.

Длинные списки убитых, раненых и без вести пропавших и отдельные траурные квадраты, извещавшие о смерти полковников, генералов и офицеров, «волею божьей скончавшихся от ран, полученных на поле брани», развлекли полицмейстера.

А затем на веранду вбежал его любимец, по-львиному подстриженный пудель Пуля, лизнул длинным, как розовая лента, языком хозяйский сапог и, не дожидаясь приказания, стал на задние лапы.

— Ну, взгляни же на него! — попросила полицмейстерша.

Через несколько минут на веранде царил идилия. Полицмейстер, держа высоко над собачьим носом обсыпанный миндалем сухарик, требовал:

— Служи, шельмец! Вот так! Честь отдай! Выше, выше лапу!

Пудель неуклюже топтался на задних лапах, норовя достать передней собственное ухо, чтобы отдать честь хозяину.

Полицмейстерша осторожно прикрыла окно, опасаясь, что упрямо проникающий в него неприятный запах от печи, установленной за оградой противоположного дома, снова расстроит ее супруга.

Эта печь стоила многих хлопот русским профессорам Максименко, Кузнецову и инженеру Жуковскому.

Много лет тому назад Александр Назарович Кузнецов, еще будучи студентом Цюрихского политехнического института, работал над двойными карбидами² алюминия и кальция. Двойных карбидов он не получил, но выяснил с полной очевидностью, что алюминий можно получить из любого содержащего глинозем³ минерала.

Напечатанные им по этому поводу статьи не вызвали к себе должного внимания ни в правительственных, ни в

¹ «Новое время» — газета ярко монархического направления.

² Карбиды — химические соединения металлов с углеродом.

³ Глинозем — окись алюминия, соединение алюминия с кислородом.

промышленных кругах. И даже тогда, когда во Франции и Америке уже развились мощные концерны алюминиевой промышленности, в России добывание алюминия не выходило за пределы лабораторий высших учебных заведений. Об алюминии стали появляться статьи профессоров Федотьева, Яковлева, Кузнецова, Малявкина и других. Большой интерес в научных кругах вызвали опыты профессора электротехнического института Пушина, который, сплавив наждак с серноокислым натрием, извлек глинозем и получил из него килограмм алюминия. Этот алюминий демонстрировался на заседании Химического общества. В годы после японской войны был образован Комитет содействия развитию алюминиевой промышленности. На его нужды казна ассигновала пять тысяч рублей. Деньги эти где-то застряли, и Комитет захирел.

Но научно-исследовательская мысль упорно продолжала работать в этом направлении. Перед империалистической войной профессор Александр Назарович Кузнецов снарядил «экспедицию» из самого себя и одного штейгера в район тихвинского бокситового месторождения. О тихвинских бокситах было известно еще в 1877 году. Однако у ряда ученых сложилось мнение, что они, собственно, не бокситы, а глинистая порода, годная лишь для глинобитных сооружений.

Вернувшись из Тихвина в Петербург, профессор Кузнецов решил во что бы то ни стало доказать ошибочность такого мнения. Совместно с Евгением Ивановичем Жуковским они занялись разработкой способа получения глинозема (оксида алюминия) из тихвинских бокситов. При этом профессора основательно поспорили о схеме производства глинозема — какие надо применять алюминаты, кальциевые или бариевые¹. Кузнецов держался кальциевых, Жуковский — бариевых. Остановились на последнем предложении, которое давало ряд преимуществ. Окрыленные удачей первых опытов, профессора решили ставить это дело на более широкую ногу.

Эти работы совпали с началом империалистической войны, когда потребность в алюминии резко возросла и к

¹ Алюминаты кальция или бария представляют собой соединения окиси алюминия соответственно с окисью кальция или окисью бария. Из них путем последующей обработки получается чистая окись алюминия — глинозем, служащий для производства алюминия.

мнениям глашатаев этого металла прислушивались теперь более внимательно.

Но самодержавие представляло из себя такой заржавелый механизм, что большинство его винтов и гаек могло быть сдвинуто с мертвой точки лишь после обильной и жирной «смазки».

Много ступеней крутых лестниц пришлось переступить первым алюминщикам, пока они, добравшись до Военно-Промышленного комитета, добились кое-каких реальных успехов.

В Военно-Промышленном комитете Кузнецову и Жуковскому удалось получить казенную ассигновку «на нужды алюминиевой промышленности» тоже пять тысяч рублей. Из этих денег на Песочной улице Аптекарского острова и была сооружена первая электропечь «мощностью» в 70 киловатт.

Денно и ночью толклись вокруг нее пионеры русского глинозема. Дело налаживалось, но увы — это была та печь, которая беспокоила санкт-петербургского полицмейстера Галле. Беспокоила и запахом, от нее исходящим, и:

— Бог их знает, что они там плавают, и нет ли здесь одной из сатанинских затей подпольных крамольников? — говорил полицмейстер в кабинете военного министра Сухомятина.

Министр тоже не верил, что из этой затеи выйдет что-либо путное, и полагал, что гораздо проще закупать алюминий у «союзников». К тому же в сделках на покупку алюминия он был очень заинтересован: весьма солидный куртаж попадал в его карман.

Прошло совсем немного времени, и первая печь по получению глинозема испустила свой последний карбидный дух...

2. «Спаситель отечества»

Среди множества людей, которые опытным глазом чиновников Артиллерийского управления делились на «тузов», «шишек», «фигур» и т. п., весной 1916 года, то есть в самый разгар империалистической войны, в приемной генерала Курдюмова появилась новая личность. По виду иностранец, с волнистой шевелюрой, в которой, как в бобровом воротнике его модного пальто, кое-где сверкало се-

ребро сединок. На изящной визитной карточке, протянутой адъютанту генерала, было написано по-французски: «Mr. S. Peniakoff. Bruxelles, Belgique».

Генерал Курдюмов тотчас же принял Пенякова, ибо был предуведомлен одним из высоких превосходительств, что «имеющий явиться к нему господин Пеняков может быть чрезвычайно полезен Военному ведомству».

В те дни царская Россия, держа «государственные испытания» на свою политическую и хозяйственную жизнеспособность, проваливалась по всем предметам. Война, кроме миллионов человеческих жизней, требовала: хлеба и пороху, лошадей и фуража, вагонов и пушек, валенок и пулеметов, свинца и ваты, меди и йода, железа, стали, чугуна и алюминия. А монархия, охваченная смертельным приступом прогрессивного паралича, была бессильна перед этими грандиозными требованиями. В помощь ей всякие темные дельцы, шулера, маги и волшебники предлагали свои способы «спасения отечества».

Агонизируя, царское правительство хваталось за все призрачные причалы жизни, подписывая скрюченными пальцами мошеннические договоры на десятки миллионов народных денег. Понятно, что львиная доля этих сумм попадала в ловкие руки аферистов, которые целыми сворами шныряли во всех правительственных учреждениях и, само собой разумеется, больше всего в учреждениях Военного ведомства.

С той же пресловутой целью «спасения отечества» примчался сюда бельгийский инженер, офранцузившийся русский — Пеняков. Во время нашествия на Бельгию немцы разорили и его алюминиевый завод. Но Пеняков не пал духом. Он решил предложить русскому правительству свою помощь по созданию в России алюминиевой промышленности.

В кабинете генерала Курдюмова к приходу Пенякова было созвано совещание из лиц, сведущих в вопросе, который подлежал обсуждению. Среди присутствующих были и профессор Федотьев, Яковкин, Кузнецов и Максименко.

Курдюмов, один из немногих образованных и умных генералов Артиллерийского управления, слушал Пенякова, не сводя с него острого, наблюдательного взгляда.

Пеняков начал было свою речь в высокопатетическом тоне:

— Сердце каждого россиянина, как бы далеко оно ни билось от пределов любимой отчизны, не может не обливаться кровью при вестях о тяжких бедствиях, обрушившихся на ее голову...

«Прямо Минин и Пожарский», — подумал секретарь во френче и взглянул на генерала: как, мол, прошибает его слеза при этих чувствительных выражениях или нет?

Генерал так же деловито крутил седой ус и даже, против обыкновения, не засовывал его в строгие губы. Лица профессоров скрывались за густой завесой табачного дыма. Секретарь тоже затянулся папироской и продолжал записывать, что говорил Пеняков:

— ...обуреваемый вполне понятным порывом любви и преданности моему отечеству, отбросив все личные интересы, все намерения, кроме одного страстного стремления быть хоть в какой бы то ни было мере полезным страждущей родине, я явился в ее пределы, чтобы заявить, что...

Пеняков поперхнулся и вытащил из кармана шелковый платок, изображающий по расцветке национальный флаг Бельгии. Когда он провел им по своим сухим глазам, тонкий аромат духов приятно защекотал обоняние слушателей.

Курдюмов нетерпеливо передернул плечами и коротко откашлялся.

— Нн-да... — послышалось из профессорского угла.

Пеняков прошелся по кабинету и остановился у широкого окна, выходящего на Большую Морскую. В синеве первых сумерек лучились яркие фары автомобилей, звонко цокали по торцовой мостовой лошадиные подковы, и непрерывно по обеим сторонам улицы катился людской поток. В нем преобладали военные формы всех видов и рангов и часто, очень часто колебался, как черная водоросль в прозрачной воде, траурный креп на женских шляпках.

— Мы вас слушаем, — проговорил Курдюмов так деловому сухо, что Пеняков мгновенно почувствовал необходимость переключиться на иной тон. Открыв синего сафьяна, с золотой монограммой портсигар, он предложил сигару генералу. Тот отказался:

— Не курю-с...

Протянул портсигар профессорам, но они курили папиросы из коробок с изображением чубатого «георгиевско-

го кавалера» казака Крючкова, лихо гарцевавшего на коне.

Далее секретарь записывал уже без «лирики», ибо Пеняков говорил с неподдельной горячностью, по которой можно было судить о степени его заинтересованности в сбыте предлагаемого им товара.

Он демонстрировал совещанию таблицу ввоза в Россию алюминия, которая беспрекословным языком цифр говорила, что Россия в области алюминиевой промышленности, как и во многих других, являлась лишь емким рынком сбыта для западноевропейских государств. Кроме того, из этой таблицы ясно вытекало, что в годы войны ввоз алюминия в Россию сильно возрастал.

Выхоленным ногтем Пеняков отметил 1903 год, когда этого металла было ввезено в Россию 508 тонн, и 1904 — 1905 годы — годы войны с Японией, — когда цифра эта увеличилась почти втрое. Красным карандашом на полях таблицы были начертаны против двух последних лет империалистической войны жирные «NB»: ¹

1914 г. — 2260 тонн

1915 г. — 6302 тонн

Обладателю этой многозначительной таблицы были известны и цены, по которым царское правительство оплачивало алюминий: 100 рублей и выше за пуд. Знал он и проекты других договоров, которые оно заключало, невзирая на их явную кабальность.

И вот он, Пеняков, предлагает отечеству свой способ получения алюминия.

— О, это чрезвычайно интересно! — воскликнул профессор Федотьев и, протерев огромным, как салфетка, носовым платком очки, водрузил их на нос.

Профессор Кузнецов придвинул свое кресло поближе к Пенякову и тоже уперся в его лицо нетерпеливым взглядом.

— Я позволю себе в самых кратких словах изложить здесь сущность моего способа, — продолжал Пеняков.

— Пожалуйста, пожалуйста! — раздалось несколько голосов.

¹ Nota bene — заметка (лат.).

— Слушаем,— произнес и генерал Курдюмов.

Пеняков сделал несколько глотков остывшего крепкого чая и заговорил тоном лектора:

— Как всем вам, несомненно, известно, существует множество минералов, содержащих в своем составе алюминий. Однако основным сырьем для алюминиевой промышленности служит боксит. Он состоит из водной окиси алюминия и железа, а также соединений кремния, магния и титана.

Извлечь окись алюминия из боксита и отделить ее от всех этих примесей и является основной из проблем, от решения которых зависит успешное развитие алюминиевой промышленности...

Как это делать? Существуют разные способы. Вы, несомненно, осведомлены о способе Байера?

— Осведомлены,— послышался ответ.

— Тем лучше,— продолжал Пеняков.— Вы, следовательно, знаете и о его недостатках. В способе, который я имею предложить, таковые отсутствуют.

— Очень, очень интересно! — раздались нетерпеливые реплики с профессорских мест.

— Сущность моего способа состоит в том, что боксит обрабатывается сернонатриевой солью с примесью угля. Будучи мелко измолот, боксит смешивается с углем и сульфатом натрия и загружается во вращающуюся печь. При температуре свыше тысячи градусов по Цельсию окись алюминия, содержащаяся в боксите, соединяется с натрием, входящим в состав сульфата натрия, и, таким образом, мы имеем алюминат натрия. Я позволю себе показать вам таблицу, изображающую ход реакции сначала в первой печи, затем во второй.

Манипулируя, как ловкий фокусник, Пеняков разворачивал тугие свитки белоснежного ватмана, на котором поблескивали тушью черные знаки формул различных реакций. Объясняя их, он говорил с несокрушимой уверенностью:

— Итак, вы видите, сколько преимуществ имеет мой способ в сравнении с байеровским...

— И все же он совсем не подходит,— прервал его профессор Кузнецов.— Так же не подходит, как и Байер, хотя его способ сам по себе прекрасен. Мы знаем, что по нему работает вся алюминиевая промышленность Франции.

— И работает превосходно,— добавил Федотьев.

— Но этот способ годится только для первоклассных французских бокситов,— продолжал Кузнецов,— только для них, ибо примесь кремнезема в них настолько незначительна...

— Совершенно верно,— охотно согласился Пеняков.— Отсюда только один вывод: Россия будет производить алюминий на импортном боксите. И в этом случае ей пригодится и мой способ, и мой опыт, и то оборудование, которое у меня осталось от моего бельгийского завода.

— А сколько вы хотите за все это? — спросил Курдюмов, которому уже была известна приблизительная сумма, требуемая Пеняковым за свои услуги.

Пеняков сделал такой жест обеими руками, как будто хотел сказать: «Ах, генерал, да нельзя же так грубо, по-солдатски, ставить такие щекотливые вопросы!» — однако названная им сумма была так кругла, что все присутствующие, как по команде, повернули к нему головы.

— Так-с,— коротко отрубил Курдюмов. Он знал, что Пеняков, собственно говоря, уже обеспечен «высочайшим согласием», но все же надо было продолжать комедию совещания: — Кто желает высказаться?

Профессор Федотьев молча поднял палец, но, получив слово, заговорил не сразу. Вытащив записную книжку, он отыскал в ней какую-то страницу, загнул ее, сделал знак на полях и только потом начал:

— Господин Пеняков поведал нам много истин: и то, что наша родина в области алюминиевой промышленности является лишь колонией для западноевропейских государств, и то, что потребность в алюминии неизменно растет, а в годы войны потребность его ввоза дала резкое повышение, и то, что дерут с нас за него столько, сколько бог на душу положит, и то, что приходится нам платить эти мародерские цены, ибо мы не имеем ни одного фунта собственного алюминия. Все это правильно. Но выход из этого ненормального положения не в предложении господина Пенякова. Мы не создадим своего алюминия в потребном нашей стране количестве до тех пор, пока не научимся производить его из собственного сырья, то есть из отечественных бокситов.

— Но ведь их нет! — патетически воскликнул Пеняков.

— Но ведь они есть! — возвысил голос Федотьев. — Еще в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году они были обнаружены в Тихвинском районе, а получение глинозема было известно в России еще со времен Ивана Грозного. Тогда выписанные из-за моря «немецкие люди» вырабатывали из глины квасцы, из которых приготавливали некий яд. Его всыпали в ковш с брагой и, по указанию царя, подносили обреченному на смерть. Позднее концессию на квасцы получили купцы Строгановы — одни из первых текстильных фабрикантов. Дело в том, что глинозем способен воспринимать на себя отпечаток красок. И все хитроумные узоры русских тканей отпечатываются на них после того, как ткани пропитываются уксуснокислым глиноземом.

Пеняков нетерпеливо пожал плечами, но Федотьев продолжал:

— В течение долгих лет в России глинозем вырабатывался исключительно для нужд текстильной промышленности. Знаменитые русские кумачи и ситцы, которые вывозились на Восток, были потребителями глинозема, приготавливаемого на наших заводах, из нашей глины. Таких заводов у нас было, правда, немного. Один — в Твери. Консультантом на нем был наш знаменитый химик Менделеев. Но завод быстро зачах. Затем существовало еще два завода: один — у нас под Петербургом, Тентелевский, и другой — в Елабуге. На этих заводах упомянутый вами, господин Пеняков, Байер разработал свой способ получения глинозема. Надеюсь, вы знаете, что он заключается в обработке бокситов щелочью в автоклавах? Этот способ почти повсюду применяется за границей, но для переработки наших кремнистых тихвинских бокситов он непригоден. Однако из этого вовсе не следует, что они годятся только для глинобитных построек. Как много упорства и равнодушия пришлось преодолеть мне и моим коллегам, чтобы доказать это! И только теперь, когда грянул гром войны, только теперь к нашему голосу стали прислушиваться и кое-что в этой области начали делать.

— Не тогда собак кормить, когда на охоту идти, — сердито проговорил артиллерийский полковник.

— Но если собак вовсе не кормить, то они все передохнут и охотиться не с кем будет, — оборвал его профессор Федотьев, — у нас к тому и клонится. А я катего-

рически утверждаю, что и из наших тихвинских бокситов тоже можно получать глинозем. Для этого надо только найти соответствующий метод.

— И он найден, — заявил Кузнецов. — Это наш с Евгением Ивановичем Жуковским электротермический способ.

— Слышали, — ядовито усмехнулся артиллерийский полковник. — Весь Аптекарский остров провоняли!

— Александр Назарыч, вы как будто напечатали о вашем способе тот доклад, который делали в Химическом обществе? — спросил Курдюмов.

— Да. — Кузнецов указал на лежащий перед ним на столе журнал.

— Как можно печатать такие вещи! — вырвалось у Пенякова. — Ведь это же тайна изобретателя!

— В моем докладе, по требованию цензуры, не были напечатаны выводы, к которым я пришел, — продолжал Кузнецов. — И, если мне будет позволено, я изложу их здесь.

Курдюмов сделал разрешающий жест.

— Так вот, я полагаю, что для развития отечественной алюминиевой промышленности нужны не советчики и не благодетели извне, а необходимо следующее: отпуск солидных сумм из государственного бюджета на научно-исследовательскую и поисковую работу в области отечественного алюминиевого сырья. Далее — государство должно использовать «белый уголь», то есть построить гидроэлектростанции у рек и водопадов. Нужно создать у этих станций глиноземные и электролизные заводы и построить ряд подсобных предприятий...

Артиллерийский полковник шумно поднялся с места.

— Я не любитель фантастических романов, — сказал он, решительно оправляя мундир. — Да-с, не любитель. А тем более в такое неурочное время. Разрешите, ваше превосходительство, откланяться. — И, щелкнув шпорами, вышел.

— Как, однако, живучи скалозубы! — сказал профессор Яковкин своему соседу.

Тот усмехнулся:

— Это вы по поводу полковника?

— А что, разве не похож? — улыбнулся Яковкин. — Эдакая самоуверенная тупость...

Присутствующие зашумели.

Затем снова был подан чай и поднос с замысловатыми бутербродами. Заседание как-то растворилось в отдельных группах и спорах.

Пеняков, стоя у стола, просматривал журнал с напечатанной статьей профессора Кузнецова о его способе получения глинозема. Мысленно прикинув экономичность этого способа, он пришел в восторг от него и от непонятного ему бескорыстия автора, который нашел возможным огласить в печати то, что могло дать ему огромные прибыли.

— Удивительно, удивительно! — повторил он несколько раз, перелистывая страницы журнала.

— Когда я снова буду жить в России, — сказал он Кузнецову многообещающим тоном, — мы с вами сможем многое сделать для развития алюминиевой промышленности.

— М-да... — неопределенно произнес Кузнецов, довольно холодно отвечая на крепкое пожатие Пенякова.

Пеняков ушел с совещания в бодром настроении.

«С этими людьми, — думал он, — соблюдая, конечно, «дипломатию», можно будет делать большие дела».

Мечтая об этих делах, он прошелся пешком по Английской набережной, любуясь перламутровыми волнами Невы и бледным небом, на котором болезненно-нежно, как на щеках больного, горел румянец зари белой ночи.

Через несколько дней в кармане у Пенякова лежал «высочайше утвержденный» документ, которым закреплялись все обещания «высокопоставленного лица» насчет передачи ему, Пенякову, судеб отечественного алюминиевого производства.

Начинался документ так: «Я, Пеняков, обязуюсь поставлять окись алюминия по разработанному мною методу... За выпускаемый пуд окиси алюминия на построенном мною заводе мне уплачивается 3 рубля (золотом). Я обязуюсь поставить импортное оборудование. За техническую помощь при строительстве мне полагается... За помощь при эксплуатации мне полагается...» Далее следовал еще ряд пунктов, по которым Пенякову полагалось получать крупные суммы за его участие в создании алюминиевой промышленности. Покуда же он уже имел единовременно выданные ему в качестве аванса 200 тысяч рублей золотом.

Окрыленный самыми радужными планами, с чемоданами, набитыми русским золотом, Пеняков помчался в Бельгию, чтобы ликвидировать там свои дела.

...Вскоре и в Бельгии и во Франции появились патенты на новый способ получения глинозема, в котором очень нетрудно было узнать так заинтересовавший Пенякова способ Кузнецова — Жуковского.

3. Вещественное доказательство

Пеняков в Россию не вернулся.

Вихрь революции уничтожил и развеял целые сугробы царских договоров, и в их числе затерялся запыленным листком и «высочайший рескрипт» на имя Пенякова.

Когда на фронтах гражданской войны еще гремел отдаленный гром пушечной канонады, ростки новой жизни бурно потянулись на обновленной Октябрем земле России.

По инициативе В. И. Ленина создается план ГОЭЛРО, которому придается значение «второй программы Коммунистической партии».

В обширную зону своих предначертаний план ГОЭЛРО включил создание в Советском Союзе ряда энергоемких производств, обеспечиваемых дешевой и обильной электроэнергией.

Когда Винтер приступил к работам по осуществлению принятого проекта Днепровской гидроэлектростанции, при Высшем Совете Народного Хозяйства была создана комиссия по распределению энергии будущей станции.

Товарищ Куйбышев, в то время председатель ВСНХ, со свойственной ему манерой говорить о вещах огромной государственной важности так просто, как будто дело идет об обычном житейском поручении, сказал членам этой комиссии:

— Постарайтесь разобраться, что нам досталось в отношении алюминиевой промышленности. Нам надо немедленно приступать к ее организации, и в первую очередь на Днестре.

Но досталось молодому советскому государству очень мало.

В архиве Артиллерийского управления нашелся подлинник упомянутого рескрипта на имя Пенякова,

на котором «собственной его императорского величества рукою» было начертано: «Николай».

Порывшись в других ведомствах, члены комиссии пришли к заключению, что наследство, оставленное царской Россией в области алюминиевой промышленности, ничего, кроме едкой насмешки «обманутого сына над промотавшимся отцом», вызвать не может.

Но времени для горьких размышлений о прошлом не было.

Занималась заря первого великого пятилетия. Советская страна приступала к титаническому труду — социалистическому строительству на развалинах рухнувшей машины самодержавия.

В те дни идея создания отечественной алюминиевой промышленности вызвала много бурных споров и горячих толков. И не раз сторонников этой идеи называли фантазерами, донкихотами и т. п.

Но уже с начала 1928 года, когда еще не существовало ни Алюминстроя, ни Союзалюминия, опытные работы по получению окиси алюминия из отечественных бокситов по способу Кузнецова — Жуковского проводились в двух институтах: в Ленинградском государственном институте прикладной химии и под Москвой, на Царицынской опытной станции Института прикладной минералогии и цветной металлургии.

Белись они еще и приватным образом в подвале Горного института, где за железной решеткой окна, в полумраке, под тяжелыми и низкими сводами, профессор Жуковский со своим помощником, похожие на средневековых алхимиков, «колдовали» над маленькой электролизной ванной. Она была с набивным подом¹, и вся смола поднималась кверху. Над ванной стоял удушливый чад, проникающий до пятого этажа, в квартиру академика Губкина. Академик требовал закрытия подвальной лаборатории «алхимиков», но Жуковский не сдавался до тех пор, пока не вычерпнул из ванны-лилипутки миниатюрным ковшиком пламенеющий металл.

Держа ковшик в руках, он испытывал небывалое волнение.

¹ Набивной под — дно ванны; трамбуется угольной массой, состоящей из антрацита, кокса, пека и каменноугольной смолы.

— Евгений Иванович, — спросил шепотом у Жуковского его помощник, — как вы думаете, он будет блеснуть или нет?

— А вот остынет — увидим, — стараясь казаться спокойным, ответил Жуковский.

Ждать, пока металл остынет в ковше, не хватило терпения, и часть его сплеснули на бетонный пол. Затем «алхимики» присели на корточки и вперили взоры в покрывающий пол толстый слой пыли. Казалось, оба перестали дышать. Пот крупными каплями струился с их лбов. И такие же капли, отливающие серебром, заблестели на пыльном бетоне подвального пола. Дрожащие пальцы собрали их в спичечную коробку и с торжеством вынесли на «божий свет».

С этим вещественным доказательством реальности закупаемого производства его глашатаи не расставались в течение всего первоначального периода организации алюминиевой промышленности.

Работая в Москве, в Главметалле, профессор Жуковский добился ассигнования средств на оборудование опытных установок. Он уделял много внимания работам ЦОСа, как называли эту подмосковную Царицынскую опытную станцию. Его главными помощниками в этом деле были студенты Института имени Плеханова Н. С. Алексеев, А. И. Железнов, инженер В. В. Щенков и другие. В дальнейшем эти товарищи крепко связали свою трудовую жизнь с этой отраслью промышленности.

Работы начались с опытных плавов на маленькой электрической печи в сто киловатт.

Плохо высушенная печь при первых загрузках шихты дала несколько взрывов. При одном из них Жуковский был отброшен от печи, а несколько человек рабочих и студентов в испуге выбежали на улицу и уткнули головы в снег.

— Кто ее знает, что ей надо, — говорили рабочие, неохотно возвращаясь к печи. — Отродясь не видали такой работы.

Отсутствие опыта заставляло работать ощупью, неуверенно.

Когда после долгих ожиданий получили шаровую мельницу для мокрого размола шлака, всем казалось, что теперь уж вопрос получения глинозема — вопрос дней. Засыпав мельницу, пустили в нее воду и... совсем пали ду-

хом; шлак так зацементировался, что извлечь его оттуда не было никакой возможности.

— Вот это козел, так козел! — со вздохом говорили рабочие, изо всех сил долбя ломами сцементировавшуюся массу.

Жуковский и все его сотрудники ходили черные от пыли и мрачные от неудач. Они суетились вокруг печи, шептались, вычисляли, ссорились, горячились и не раз держали совет.

— А не изменить ли схему переработки? — предлагал один.

— А я думаю, что дело не в схеме, а в изменении аппаратуры, — советовал другой.

— А я предложил бы такой вариант... — говорил третий.

— Не говорите глупостей! — кипятился Жуковский. — Дело не в аппаратуре и не в вариантах, а в нашем неумении работать...

Приехал из Ленинграда профессор Кузнецов, и снова между ним и Жуковским начался диспут на тему о замене барита¹ углекислым барием в их способе получения окиси алюминия. Спорили они также о дозировке угля. Из этого диспута, доходящего до выявления деталей, присутствующие при нем получили большую пользу.

После опробования двенадцати различных схем переработки боксита в глинозем и после изменения некоторой части аппаратуры снова пустили печь. Она плевалась горячим шлаком, из нее вылетали огненные брызги, от которых в спецовках образовывались дыры и волосы тлели на головах. Она дышала удушливыми запахами, от них угарно кружилась голова и тошнота подступала к горлу.

Внутри печи клокотало такое бешенство, что ее за это прозвали «вельзевулом».

Пока печь работала, от нее, как от страдающей в родовых муках любимой жены, не отходили трое суток. Чутко сторожили все явления, связанные с ходом процесса. И все же печь пришлось останавливать, выбивать ломami застывший шлак и менять футеровку. Так повторялось несколько раз. Старались примениться к «характеру» печи, понять ее капризы. И дело хотя и медленно, но все же налаживалось.

¹ Барит — сернокислый барий, природный минерал.

К выкрутасам печи относились уже с большим спокойствием. Те самые ребята, которые от ее пламенного гнева выбегали во двор и зарывались головой в снежные сугробы, через три-четыре месяца устраивались на ее борту как на лежанке, почитывали книжку, а если замечали какую-либо ненормальность в работе печи, урезонивали ее:

— Ну, чего скандалишь, чего бузишь?.. Ну, вижу, тебе шихты подбавить надо... Можно. Пожалуйста, пожалуйста... Так бы и сказала, а то сразу фыр-фыр...

К этому времени «консилиумы» профессоров становились все реже. Их ученики, молодые экспериментаторы, начали проявлять большую самостоятельность. Они неутомимо работали над схемами технологического процесса получения окиси алюминия. Первый глинозем, полученный на ЦОСе, был грязно-черного цвета, а глинозем, полученный по двенадцатому варианту производственной схемы, был уже вполне приемлемым тяжелым белым порошком. Это достижение решили испытать в заводском масштабе, для чего почти все сотрудники опытной станции отправились в Ленинград на завод «Красный автоген». Там, в печи на 500 киловатт, и состоялась первая опытная плавка.

И здесь при засыпке печи возник старый спор между Кузнецовым и Жуковским: что прибавить к бокситу — углекислый барий или барит?!

Желая доказать свою правоту, Жуковский сам становился у печи, говоря рабочим:

— Не валите вы на барит вашу беспомощность, ваше неумение работать!

Рабочие обижались.

— А почему же, — возражали они Жуковскому, — когда профессор Кузнецов велит засыпать углекислый барий, то все в порядке получается: и горение на колошнике проходит равномерно, и металл правильно опускается, и жидкоплавкость шлака такая, что печь освобождается вчистую...

Однажды дошло даже до открытого столкновения.

— Засыпай барит! — скомандовал Жуковский.

— Нате, — протянул ему лопату рабочий, — засыпайте сами, а мы не станем.

В это время приехала научная комиссия с профессором Кузнецовым, и конфликт был улажен.

Конечные результаты работы на «Красном автогене» показали, что плавка в заводском масштабе дает безусловно хорошие результаты, а следовательно, способ этот вполне применим в производстве. Работники ЦОСа вернулись в Москву с чувством большого удовлетворения.

Когда в июле 1928 года был поставлен вопрос об окончательном выборе метода получения глинозема на глиноземном заводе Днепровского алюминиевого комбината, Гипромез¹ созвал в Ленинграде технический совет. На этом совете рассматривались пять предложенных методов: Лукашева—Хакина, Фокина—Росселя, Государственного института прикладной химии, Казарновского и единственный электротермический способ Кузнецова — Жуковского. Так как этот последний метод был одним из наиболее разработанных и уже опробованных в полужаводском масштабе, то он и был утвержден техническим советом.

Царицынская опытная станция в дальнейшем продолжала уточнять метод и искоренять существующие в нем недостатки.

Двенадцатого октября 1928 года состоялось постановление Высшего Совета Народного Хозяйства об организации управления по постройке алюминиевых заводов — Аллюминстрой.

В Совете Труда и Оборона были заслушаны доклады: первый — Аллюминстроя, о целесообразности создания Днепровского алюминиевого комбината на базе строящейся Днепровской гидроэлектростанции, и второй — Ленинградского обкома и совнархоза, требовавших постройки в первую очередь Волховского алюминиевого завода, для которого уже имелась дешевая энергия Волховской ГЭС.

Кроме того, ленинградские организации считали, что сложнейшее алюминиевое производство должно создаваться вблизи индустриального, культурного и научного центра, каким является Ленинград.

Совет Труда и Оборона вынес решение строить сразу два алюминиевых комбината — на Днестре и на Волхове. При этом Волховский комбинат предполагалось пустить на год раньше, для того чтобы полученный на нем опыт и кадры использовать на Днепровском комбинате.

¹ Г и п р о м е з — Государственный институт по проектированию металлургических заводов.

Несмотря на это решение, на очередном заседании Совнаркома снова выступили противники организации советской алюминиевой промышленности. Они говорили, что в условиях того времени эта «затея» не может быть осуществлена, во-первых, потому, что страна бедна капиталами, а предприятия алюминиевой промышленности требуют больших капиталовложений, во-вторых, из-за низкого технического уровня, на котором стояла тогда наша страна.

— Если уж строить алюминиевый завод, — снисходили они, — то для первого опыта отпустить ему энергии не более как на две-три тысячи тонн алюминия в год.

— Эта цифра никого не устраивает, — сказал на это предложение товарищ Ворошилов.

— Ну, в крайнем случае, пять тысяч...

— Тоже не годится, — повторил товарищ Ворошилов.

— Вы что же молчите? — горячились работники Алюминстроя, обращаясь к профессору Кузнецову. — Выдвигайте против этих маловеров тяжелую артиллерию ваших знаний и вашего опыта.

Кузнецов обрушился на пессимистов, напомнив им историю с неким Квашей, который во время империалистической войны занимался самыми разнообразными прибыльными делами, от поездки в Америку для размещения военных заказов до торговли сушеными грибами, и, между прочим, тоже не верил в возможность осуществления производства алюминия в России.

— Этот господин Кваша также утверждал, что русские бокситы годны только для глинобитных построек, — горячился Кузнецов, — а я утверждаю, что из этих самых бокситов можно получать отличный глинозем, а если будет достаточно электроэнергии и глинозема, мы сможем получать процессом электролиза и чистый алюминий.

В полемическом пылу не стеснялись в выражениях, а председатель не считал нужным останавливать ораторов.

Когда выступал профессор Долгов, поддерживая наметавшуюся мощь ДАКа в 10 тысяч тонн, снова прозвучал голос Ворошилова:

— Мало! Стране надо много алюминия, и Днепровский завод должен проектироваться не менее как на пятнадцать тысяч тонн.

Эта цифра и определила первоначальную мощность Днепровского алюминиевого комбината,

В то время как Аллюминстрой развивал свою деятельность в направлении скорейшего осуществления задания, поставленного перед ним партией и правительством, Геологический комитет организовал широкую поисковую работу по бокситным месторождениям и их разработке в районах Урала, Сибири и Кавказа.

Все с большим успехом велись научно-исследовательские работы в области алюминия и в Государственном институте прикладной химии и в Институте металлов.

Директором Института металлов в то время был тот самый Курдюмов, который до революции стоял во главе Артиллерийского управления. После Октября он перешел на сторону советской власти и уже с 1921 года добросовестно работал над металлургическими проблемами. Тяжелая болезнь не мешала этому человеку применять к любимому делу всю кипучую энергию, которой он обладал. Вскоре после революции он потерял одну ногу, а через год ему пришлось ампутировать и другую. Но, будучи уже калеккой, он не переставал горячо интересоваться алюминиевой проблемой.

Как только подходил час начала занятий в лаборатории института, Курдюмов требовал, чтобы его кресло подкатывали к телефону, и не только отдавал лаборантам те или иные приказания, но проводил с ними большую заочную работу.

Бывало и так, что, когда его, безногого, привозили в институт, он оставался там до глубокой ночи, требуя, чтобы его кресло перекатывали от одного лабораторного аппарата или прибора к другому.

В такие дни студенты и научные сотрудники подолгу не уходили, стараясь максимально использовать пребывание Курдюмова в стенах института.

Написанная им в те годы книга «К вопросу о создании в России алюминиевой промышленности» представляет большой интерес для всех занимающихся этим вопросом.

В лабораторию к Курдюмову часто из Главметалла приезжал Жуковский для детальной проработки предложенного им совместно с Кузнецовым способа получения глинозема,

Слухи о решении советской власти создать свою собственную алюминиевую промышленность вызвали за рубежом тревожное возбуждение. «Кремлевские фанатики хотят иметь собственный алюминий... Советы и алюминий... Кто поверит в реальность этой затеи...» — писали буржуазные газеты.

«Большевики решили сделать свою страну независимой от европейского и американского капитала. Они не хотят больше покупать на золото не только машины, но и алюминий, и даже сырье, из которого он вырабатывается. Посмотрим, что выйдет из этой очередной их фантазии», — так говорилось в деловых кругах капиталистических стран.

Пресечь это начинание советского правительства или, по крайней мере, затормозить его осуществление — вот задача, которую поставили перед собой эти деловые круги.

Характерен в этом отношении инцидент с крупным специалистом США в области алюминия, инженером Андерсоном.

Андерсон приезжал в Москву в 1928 году. На опытной Царицынской станции он ознакомился со способом Кузнецова — Жуковского и дал о нем положительный отзыв.

Тогда же Андерсону было предложено остаться в Советском Союзе и взять на себя руководство по составлению проекта алюминиевого завода. Андерсон соглашался на это при условии, если ему будут платить 25 тысяч долларов в год.

Эта цифра показалась неприемлемой, и Андерсон уехал в Америку. Затем с ним завязал переписку Главцветмет о помощи в деле организации цветной промышленности вообще и алюминиевой в частности.

Как только слухи об этих переговорах дошли до Американской алюминиевой компании, она поспешила воздействовать на Андерсона в смысле его отказа от поездки в СССР, крупная сумма была внесена американцами на его текущий счет в виде «отступного».

Устранив таким образом Андерсона, Алюминиевая компания во главе с Мелоном сама вступила в переговоры с советским правительством. Компания заявила, что продавать Советам свой опыт, свои достижения и свою технику в области алюминиевой промышленности ей нет никакого смысла. Тем не менее, однако, она готова заключить

с советским правительством договор на концессию по разработке русских бокситов.

Не уменьшая интенсивности в работе по исследованию отечественных бокситов, советское правительство заключило с этой фирмой договор, по которому она получала право на разработку в течение двух лет бокситовых месторождений в Тихвинском районе.

Медлительность работы концессионеров с самого начала вызвала подозрение. Уж очень неамериканские темпы были ими взяты. По истечении полутора лет — срока, в продолжении которого уж, во всяком случае, можно было дать заключение о бокситах, на тихвинское месторождение была послана комиссия для расследования истинного положения дел. Она очень скоро пришла к убеждению, что со стороны американцев здесь имеется скрытый саботаж. На концессионеров «нажали», в результате чего они заявили, что толку из тихвинских бокситов добиться невозможно, а потому делать им здесь нечего.

«Была без радости любовь — разлука будет без печали», — говорили советские алюминщики в связи с отъездом представителей американского капитала.

Попытки затормозить организацию советской алюминиевой промышленности делали и немецкие капиталисты, но уже иными способами.

В Германию, для ознакомления с работой алюминиевых заводов и для переговоров с некоторыми фирмами об оказании нам технической помощи, были посланы Кузнецов и Жуковский.

Три месяца пробыли они в Берлине, но ничего не добились. Фирмы, с которыми они вели переговоры, увиливали от определенного ответа.

Наконец после настойчивого требования Кузнецов и Жуковский были приняты одним из директоров фирмы «Фарбен индустри», генералом фон Портен. Генерал держался величественно и про себя, несомненно, решил «добре заработать». Он предложил купить у возглавляемой им фирмы способ получения глинозема по патенту химика Хаглунда, которым владела фирма. При этом деньги — 18 миллионов марок — надо было немедленно внести в депозит банка.

Услышав эти условия, Жуковский и Кузнецов обменялись короткими фразами:

— Каков договорчик...

— Кот в мешке,— сказал Кузнецов.

— Да ещедохлый,— буркнул Жуковский.

Так как фон Портен по-русски не понимал, а лица его собеседников при этом их коротком диалоге были непроницаемы, то генерал начинал нервничать и торопился закончить сделку:

— Даю три дня на обсуждение моего предложения,— заявил он,— после этого срока я еду в Индию, на охоту за тиграми.

Много ли тигров убил почтенный генерал на этой охоте, неизвестно, но охоту иметь с ним дело он убил раз и навсегда.

Побывав безрезультатно еще в ряде учреждений, связанных с химической и алюминиевой промышленностью Германии, и посетив завод в Биттерфельде, Кузнецов и Жуковский возвратились в СССР, где приняли деятельное участие в изготовлении проектов Волховского и Днепровского алюминиевых комбинатов.

4. Иностранцы «благодетели»

После неудачных попыток ускорить развитие алюминиевой промышленности путем обращения за оказанием технической помощи к Германии и Америке Металлоимпорт, закуппавший большие партии алюминия за границей, написал в Париж, своему представителю, чтобы тот снесся с французской фирмой «Але, Фрож и Комарг» по тому же вопросу и обещал ей покупать алюминий только у них, если фирма поможет в деле организации советской алюминиевой промышленности.

Представитель Металлоимпорта в Париже горячо принялся за переговоры, и скоро от него было получено извещение, что в ближайшее время уполномоченные от этой фирмы приедут в Москву.

Так и случилось.

На первом же совещании французам сообщили, в чем должна заключаться их помощь: их фирма должна помочь спроектировать первые советские алюминиевые заводы, прислать в СССР своих опытных инженеров для работы на этих заводах и обучения необходимых рабочих кадров.

По мере того как французы вникали в смысл излагаемых требований, на их лицах выражалось сначала недоумение, потом полное разочарование.

Ведь они думали совсем иное... Дело в том, что фирма «АФК», объединяющая алюминиевую промышленность Франции, входила в картель европейских алюминиевых предприятий. Этот картель определял долевое участие в вывозе алюминия в ту или иную страну для каждой входящей в ее состав фирмы. Но если бы фирма «АФК» построила на советской земле завод на свои средства, то никто не помешал бы ей сбывать полученный ею на таком заводе алюминий в Китай или на другие восточные рынки.

— Конечно,— закончил свою речь один из представителей «АФК»,— условия, на которых в данном случае приобретался алюминий Советами, были бы весьма для них льготными. И, кроме того, советские инженеры и рабочие получили бы возможность научиться, как его делать.

— Здорово придумали! — улыбались советские инженеры.— Вот это благодетели так благодетели... И для себя опять же выходит неплохо: и капитал приобрести можно, и перед картелем невинность сохранить...

Когда о результатах переговоров с представителями фирмы «АФК» доложили товарищу Орджоникидзе, он спокойно проговорил:

— Надо купить им билеты до границы. А мы будем сами строить свои заводы.

Прощание с представителями фирмы было самое вежливое. Им даже устроили банкет, на котором один из них, серб Глушевич, сказал об искреннем своем желании помочь русским в организации алюминиевого производства и что только связь с «АФК» мешает ему в осуществлении этого желания.

Из речей других представителей фирмы ясно вытекало: они поняли, что советское правительство готово платить им только за техническую помощь в деле создания своей собственной алюминиевой промышленности. И только в этом и ни в каком другом плане фирма может иметь дело с советским правительством.

Незадача первых попыток использовать иностранную помощь для скорейшего проведения в жизнь задания партии и правительства в области алюминия не обескуражила руководителей этой работы.

Ленинградская алюминиевая группа Гипромеза быстро росла. В двух комнатах, отделенных одна от другой застекленной до половины перегородкой, работать становилось тесно.

По одну сторону этой перегородки помещался главный инженер проектной группы Антипин совместно с профессором Асеевым, по другую — молодые инженеры-проектировщики.

Один за другим проектировались цехи будущего алюминиевого комбината.

Успешнее всего дело шло с электролизным заводом. Этому способствовало и то, что проект его выполнялся под непосредственным руководством главного инженера Антипина, преподававшего электролиз расплавленных солей в Ленинградском электротехническом институте, и то, что работа над этим проектом в Гипромезе началась раньше, чем над другими.

Инженеры по проектированию электролизного завода, в недавнем прошлом ученики Антипина, прилагали весь свой небольшой опыт и большое старание к проекту этого завода.

Вопросы размещения ванн в корпусах, расположения токоподводящих шин, транспортных устройств и вентиляции при огромных масштабах завода приобретали особую, непривычную сложность.

При удачном, казалось бы, разрешении одного вопроса проектировщики наталкивались на значительные затруднения в другом, с ним связанном. Например, нормальная высота здания допускала расположение лишь одного мостового крана, а одного крана было мало для перевозки материалов. Расположение же кранов одного над другим обеспечивало транспорт, но вызывало необходимость увеличить высоту здания. Возникали споры также о размещении электролизных ванн в цехе. Много пререкались и по вопросам вентиляции, имеющим особое значение при таком вредном для здоровья производстве, как получение алюминия электролизом.

Приходилось делать многочисленные варианты, сопоставлять, сравнивать, выбирать и решать, решать самим, руководствуясь только скудными литературными сведениями и... здравым смыслом. Опытных консультантов в то время в области электролиза не существовало.

Так или иначе, но эскизный проект электролизного завода был закончен первым. Правда, последующий окончательный проект сохранил мало черт своего предшественника, но на этом этапе проектная группа успела многому научиться и хорошо сработаться.

Одновременно подбирались кадры и для разработки проекта электродного завода.

Это было очень трудно.

Профессор Антипин присматривался к работникам более или менее родственных затеваемому производству областей.

Когда первый из зачисленных на работу инженеров спросил Антипина: «А в чем же, собственно, будут заключаться мои обязанности?» — он услышал «определенный» ответ:

— Во всем.

По совету Кузнецова обратились за помощью в составлении проекта электродного завода в немецкое проектное бюро Ридгаммера.

Проект, полученный от этого бюро, был составлен так, что сведения из него можно было почерпнуть очень скудные. В проекте, например, указывалось, что при прокатке материала для электродов употребляются специальные прокаточные печи, а что это за печи, было совершенно неясно.

Попытались по этому вопросу обратиться к германской фирме «Сименс-Плания Верке», но получили отказ.

Обратились к фирме «Крупп» и другим, но ответа не получили вовсе.

Медленно, но упорно продолжали разрабатывать проект завода своими силами. Производственная программа завода менялась много раз, а вместе с нею переделывался и проект будущего завода.

Трудно, очень трудно было продолжать проектирование без опытных в этом вопросе консультантов.

Вновь обратились к иностранным фирмам.

Приехавший представитель французской фирмы «Дальбуз-Дрей», узнав, что дело идет о постройке электродного завода, остался очень недоволен. Еще бы! Ведь это совсем не отвечало интересам его фирмы!

Предупредив, что затеваемое производство электродной продукции — дело очень сложное, он уехал.

В это время пришло письмо из Германии от крупного специалиста в области электрометаллургии инженера Ашкенази, который сообщал, что сам он приехать в СССР не может, но советует обратиться к господину доктору Штраубе — знатоку алюминиевого дела.

Согласовали с кем следует вопрос о приглашении рекомендованного доктора и послали ему запрос в Германию.

Вскоре от Штраубе получили благоприятный ответ. И стали ждать его приезда.

Когда подошли к проектированию электроплавильного цеха глиноземного завода, выявилась необходимость в приглашении инженера, знающего электропечи.

Профессор Антипин, не без оснований считавший Ленинградский электротехнический институт имени Ленина чем-то вроде сейфа, в котором хранятся кадры, перебрав в памяти всех своих слушателей, остановился на одном из только что окончивших институт — инженере Падалке.

Через несколько дней этот инженер, входя в комнату, где сидели Антипин и Асеев, услышал конец беседы.

— Работа идет хорошо, — говорил Антипин, — но в связи с окончанием эскизного проекта и началом работ по техническому проектированию чувствуется недостаток и в данных и в людях.

— Ну, насчет данных, я думаю, дело устроится в процессе работы, — возразил Асеев. — Что же касается людей, то у вас в Электротехническом, несомненно, найдутся. Да вот, например, Евгений Николаевич, легок на помине... Его и берите.

— За этим и вызвал, — ответил Антипин, протягивая руку новому сослуживцу. — Там ваши однокашники, — кивнул он через стекла на работающих уже электрометаллургов Банникова, Ливицкого и Штейна. — Они как раз разбивают на группы весь отдел.

Инженеры взялись за технологические расчеты для глиноземного завода.

Начатая в Гипрометзе, работа эта продолжалась уже под маркой Гипроцветмета и в другом помещении.

В новом помещении, куда переехал весь лагерь будущих алюминщиков, было необычайно чисто, чинно и солидно. Это был особняк бывшего американского консульства.

Вместо обычных конторских столов здесь стояли массивные дубовые бюро с такими же дубовыми и массивными креслами.

Толстые, как плиты, стекла письменных приборов были безукоризненной прозрачности. Со стен глядели воины — участники бывших где-то когда-то битв и парадов.

С потолков свешивались люстры в солидной и добротной оправе. В библиотечных шкафах теснились шеренги книг в кожаных переплетах. Паркет поблескивал своими прямоугольниками.

Обстановка определенно влияла на психику и поведение сотрудников Гипроцветмета. Все они как будто по-солиднели: глубоко усаживались в кресла и вдумчиво разбирались в разложенных по столам расчетах и чертежах.

Работа по составлению материального баланса сразу выявила, что способ Кузнецова — Жуковского, принятый в основу проекта получения глинозема, если и был достаточно разработан в разрезе эскизного проекта, то для окончательного проекта оставлял много темных мест.

Баланс являлся основным материалом при расчете производительности всех цехов. Тут-то и столкнулись с большими трудностями. Для составления баланса нужно было иметь данные относительно потерь в разных стадиях производства. Рентабелен ли принятый способ получения глинозема или нет — это мог показать только баланс, а лабораторные и полужаводские работы не давали точных данных относительно производственных потерь. Поэтому их величину приходилось выбирать с учетом перехода на большой масштаб производства или брать по аналогии из других производств.

Чтобы не ошибиться, проектировщики брали цифры «с запасом». Авторы проектов протестовали и требовали снижения неприятных их сердцу потерь.

Возникали горячие споры.

— Помилуйте, — кипятился Кузнецов, тыча карандашом в расчеты, — ведь при таких цифрах потери будут просто колоссальные! — И, быстро перемножив цифры, продолжал: — Получается свыше двух тысяч пятисот тонн

в год. Нет, вы таких гипербола не сочиняйте. Этак вы все так исказите, что...

Начался торг «на снижение», который обычно оканчивался тем, что останавливались на показателях, приемлемых для обеих сторон.

Кроме сведений по процессу, проектирование требовало данных и по оборудованию.

Прежде всего старались выяснить, не окажется ли возможным получить оборудование в СССР. Делались запросы трестам и отдельным заводам, но ответы большей частью получались отрицательные. Наши заводы тогда еще не брались за изготовление оборудования такой большой производительности.

Снова пришлось обращаться к иностранным фирмам. В результате в особняке Гипроцветмета появились представители таких фирм, как «Крупп», «Лурги», «Дорр», «Миаг» и др.

С ними велись основательные переговоры о преимуществе того или иного оборудования. Предъявлялись определенные требования, которые выслушивались с полным вниманием и серьезностью.

Отношения с дофашистской Германией в то время были неплохие, и «германские гости» были самыми частыми среди других иностранных посетителей. В связи с этим объем работ увеличивался все больше, и проектировщики засиживались на работе за полночь. В тишине ночи, под зелеными абажурами ламп, в плавающей синеве дыма, выводились стройные колонки цифр, пунктиры и сплошные линии чертежей. Шелестели синьки, калька, ватман, поблескивала свеженаложенная тушь. Потребность в опытной консультации становилась все более ощутимой.

В это время из Германии приехал наконец доктор Штраубе, которому пришлось консультировать по всем «наболевшим» вопросам.

5. Доктор Штраубе

Для ленинградского климата это был совсем обыкновенный зимний день: небо сплошь затянуто серыми облаками, улицы покрыты талым снегом, напоминающим сахарный песок, размокший в кофейной гуще.

Несмотря на полдень, электрические фонари горели красноватыми огнями.

Но в Гипроцветмете в этот день стояла «хорошая погода» и необычное оживление. За «столами алюминия» сидели инженеры-алюминщики; их взоры были направлены на доктора Штраубе, излагающего перед инженерной аудиторией свои мысли солидно и веско: он давал понять своим русским коллегам, что каждое его слово должно восприниматься как полновесная гиря на чаше весов. Он не говорил, а вещал...

Инженеров раздражал этот тон консультанта. Даже дым его гаванской сигары плыл обособленными кольцами, не желая смешиваться с дымом отечественных папирс гипроцветметовцев. И они нервничали. У одного папирса ежеминутно перемещалась в иронически улыбающихся губах. Другой то и дело потирал щетину небритой щеки. Двое перебросились короткими репликами вполголоса:

— Самоуверенная скотина...

— Ганц аккурат...

Слушали все же внимательно и приездом Штраубе были довольны.

Работы под его руководством шли периодами; он часто уезжал в Берлин, но возвращался всегда аккуратно к назначенному сроку, и тогда его блестящая, как бильярдный шар, голова подолгу склонялась над рабочими чертежами.

Гипроцветметовцы в свою очередь тщательно изучали чертежи электролизной ванны, предлагаемой доктором Штраубе. Инженеры пришли к выводу, что ванна его конструкции не подходит для наших электролизных цехов. Когда они заявили об этом Штраубе, лицо его побагровело. Он стал доказывать, что это предположение неверно и все оборудование прекрасно разместится в цехе.

Наши инженеры волновались.

— Не перепланировать же цех, который увязан с планом всего завода! — возражали они.

Доктор Штраубе напряженно о чем-то думал. Наконец, что-то сообразив, громко воскликнул:

— Колоссаль! — и при этом стукнул карандашом по голове сидящего рядом с ним инженера.

Тот резко выпрямился.

— Вы поняль? — немного пятась от него, спросил консультант.

— Яволь! — ответил инженер и в свою очередь быстро щелкнул Штраубе карандашом по лысине.

— Ко-лос-саль, — повторил тот, но уже совсем другим тоном.

— Теперь все в порядке, — решили окружающие, удовлетворенные поступком своего товарища.

Штраубе не замечал, что его ученики росли и его консультация уже перестала быть единственным окном, через которое проникал «свет истины». И даже позже, когда Аллюминстрой заключил договор с французской фирмой «АФК» и приехали ее консультанты, Штраубе упорно доказывал преимущество своих электролизных ванн перед другими.

— Это ничего не значит, — говорил он, когда ему указывали на их недостатки: непрочность футеровки и высота железобетонных колонок, на которых помещалась ванна. — Да, эти недостатки есть, но зато на ремонт ее можно убирать в мастерскую и благодаря этому не загрязнять помещение, не поднимать пыли, которая стала бы попадать в электролит работающих ванн.

Штраубе горячился, приводил другие аргументы, но никого не убедил. Для всех было ясно, что ванны французской конструкции имели преимущества над ваннами других систем. В этом отношении был выбор: среди двадцати ванн опытного завода имелись ванны различных типов и конструкций.

Кроме ванн, предложенных Штраубе, там были испытаны «качающиеся» ванны инженера Ниссена (очень сложного устройства), названные так потому, что выливка из них металла производилась путем наклона ванны; затем группа ванн комбинированной конструкции и ванны системы инженера Федотьева — очень простые, но оказавшиеся непригодными в эксплуатации.

Во время консультации Штраубе очень часто прибегал к помощи своей записной книжки. Это была солидная книжка, вроде «спутника специалиста», в коричневом сажьяновом переплете, с золотым тиснением и патентованным зажимом для вкладывания новых листков. Иметь такую книжку было заветным желанием многих из проектировщиков. Во время «острых моментов» Штраубе обращался к этому «кладезу премудрости», в котором был

сконцентрирован весь опыт его работы в Германии. Многие данные, перенесенные на страницы проектов Гипроцветмета, были почерпнуты именно из этой книжки.

Однажды под вечер, после дня напряженной работы, проектировщики электроплавильного цеха допекали Штраубе целым рядом вопросов.

Но если в области электролиза Штраубе считал себя «апостолом», то многое, что касалось глинозема, зачастую было для него «туманностью».

Нервничая, он зря теребил листки записной книжки и, желая затушевать свою беспомощность, подвергал жестокой и ничем не обоснованной критике проект цеха.

Проектировщики грудью отстаивали этот проект.

На столе образовался сугроб бумаг и чертежей. В пылу спора Штраубе затерял в этом сугробе свою книжку.

Он был так взбешен упорным нежеланием молодых инженеров считаться с его требованием переделать до основания чертеж, что выбежал из комнаты, забыв о книжке. Проектировщики, тоже достаточно рассерженные, молча убирали синьки и кальки.

Вдруг дверь распахнулась и на пороге показался запыхавшийся Штраубе.

Шагнув к столу, он быстро зашарил руками по бумагам и под ними.

— Mein Buch, mein Taschenbuch...¹ — шептал он с таким отчаянием, что проектировщики, забыв обиду, бросились на поиски книжки.

Нашел ее один из них в кипе чертежей.

— Bitte², — протянул он книжку Штраубе.

Тот просиял.

Положив находку в левый боковой карман пиджака, он благодарно пожал инженерам руки и на радостях направился выпить лишнюю Kugel Bier³ в «Гранд-отель».

— Переволновался-то как!

— Еще бы, ведь вся его премудрость заключается в этой книжке, — шутили инженеры.

— Надо было поприпрятать ее на денек-другой, — добавил один из них, — пусть бы попрыгал.

— А мы прочитали бы ее и все-все узнали бы, — добавил другой.

¹ Моя книжка, моя записная книжка... (нем.).

² Пожалуйста (нем.).

³ Кружка пива (нем.).

Пришло время, когда Штраубе начал понимать, что в его советах больше не нуждаются. И чем яснее он это понимал, тем с большей надменностью относился к окружающим.

В свой последний приезд, проходя по цеху, он увидел рабочего, цементирующего котлован, в котором должна будет помещаться ванна французской конструкции.

Приблизившись к котловану, Штраубе презрительно произнес:

— Das ist ein Grab!

— Что он сказал? — спросил бетонщик переводчика.

— Он сказал: «Могила».

— Ну, уж это брешет! — строго проговорил бетонщик. — Это дело верное. Так и переведи ему, товарищ.

Минут через десять Штраубе вновь подошел к «могиле». Бетонщик продолжал свою работу, а рядом другой рабочий, делая разметку каркаса будущей ванны, то и дело заглядывал в чертеж.

Штраубе в свою очередь наклонился к чертежу.

Рабочий прикрыл его локтем и сделал отрицательный жест головой и поднятым указательным пальцем.

Штраубе тоже жестами пытался было убедить рабочего показать чертеж, но напрасно. Бетонщик вытер руки о свой джутовый передник и шагнул к Штраубе. Тот зло посмотрел ему в глаза и отправился в контору жаловаться.

— Это совсем нехорошо, — говорил он начальнику завода, — вы не должны иметь от меня тайны. И рабочие не смели не показать мне чертеж.

На его сердитый протест Железнов спокойно возразил:

— По договору с некоей фирмой мы не имеем права показывать посторонним лицам ее чертежи.

— Ко-лос-саль... — возмущенно произнес Штраубе и, приподняв свою модную шляпу, вышел.

«Шея-то покраснела!» — заметил Железнов багровую полосу, видневшуюся над воротником штраубевского пиджака.

Через некоторое время с Штраубе был произведен окончательный расчет.

Группа работников, желая на прощание чем-нибудь рассеять мрачность Штраубе, предложила ему сняться

с ними «на память». Самолюбие Штраубе было несколько удовлетворено этим вниманием, но все же его физиономия на фотографии выражала: «Вам это делает честь, а мне абсолютно безразлично...»

6. «Алюминщики, вне-ер-р-ред!»

Как же готовились кадры совершенно новой алюминиевой промышленности, которая должна была быть создана в максимально быстрых темпах?

В те годы бурного восстановления народного хозяйства по всему необъятному Советскому Союзу чувствовался недостаток в рабочей силе вообще, и нехватка более или менее квалифицированных рабочих и ИТР в этой наново создаваемой отрасли промышленности была особенно остра.

Подготовкой своеобразного контингента требуемых кадров для будущих Днепровского и Волховского алюминиевых комбинатов занялись опытные заводы Ленинграда и Москвы. Сюда с площадок строящихся алюминкомбинатов посылались лучшие ударники из рабочих и ИТР. Сюда командировались молодые инженеры и студенты вузов, сюда, как на передовые позиции, мобилизовались непосредственно из Советской Армии наиболее развитые и способные.

Для получения именно таких кадров руководители Ленинградского опытного завода вели соответствующие переговоры с ответственными работниками военкомата вообще и в частности с военкомом Второго стрелкового полка, о бойцах которого у руководителей завода имелись самые лучшие отзывы.

Конвойная рота Второго полка стояла «вольно» на утрамбованной спортивной площадке возле казармы.

Военком держал речь:

— Так вот, товарищи, я и говорю, что осталось вам дослужить еще два месяца. Но должен предупредить, что весьма возможно, что некоторые из вас дослуживают последние денечки.

Бойцы колыхнулись, и глаза, серые, карие и голубые, впились в военкома.

А тот, как нарочно, сделал долгую паузу. Пустив несколько колец табачного дыма, он следил, пока они растаяли в воздухе. И только тогда продолжал:

— Так вот, товарищи, повторяю, что есть основание думать, что некоторые из вас дослуживают в Рабоче-Крестьянской Красной Армии последние денечки. А кто именно — это мы в недалеком будущем, а именно в конце моей речи, узнаем. Вот вы все видали сегодня у нас двух товарищей-гостей. Это были Железнов и Елизаров. Что это за товарищи? А они являются руководителями Ленинградского опытного завода по выработке алюминия. Что за штука алюминий, всякий из вас знает. Это металл, похожий на нечищенное серебро. Что из него делают? Конечно, не только ложки, которыми мы едим, и не только многое множество предметов, которые мы употребляем в бытовом обиходе. Нужен он, товарищи, нашему пролетарскому государству и в военной промышленности, и в машиностроении, и в химической промышленности, и в электрооборудовании. Где же мы берем алюминий? А покупаем за чистое золото за границей. А сколько, к примеру сказать, мы его покупаем? Да вот в прошлом году ввезено его в СССР свыше десяти тысяч тонн. Ясно, в какую копейчку влетает это дело нашему пролетарскому государству, если в одном только нынешнем году заплатили мы за алюминий десять миллионов золотом. А ничего не поделаешь, потому — раз своего алюминия нет, а он нужен, то рассуждать не приходится, продайте, мол, господа буржуазные иностранцы, что милость ваша... Хорошо это? А?

— Чего спрашивать... Ясно, не годится, — слышалось в ответ.

— Ну вот, Коммунистическая партия в лице своего ЦК и рабоче-крестьянское правительство так же думают, как и вы, — не годится такое дело. И порешили: сами будем делать свой, советский алюминий по необходимой нам потребности. А потребность эта велика и на сегодня, а на будущее время возрастет еще больше. Следовательно, нам надо как можно скорее освободиться от необходимости покупать за валюту чужой алюминий. Нам надо крепить оборону своей страны и строить свой воздушный флот, который, можно сказать, с высоты птичьего полета будет охранять границы нашего государства, а в случае

чего всыплет кому надо, как говорится в песне: «По китайски — мало-мало, а по-русски — в самый раз».

Рота, улыбаясь, слушала речь военкома, любителя поговорить.

— Так вот, эти два товарища, — продолжал он, — согласовали в военкомате с кем полагается такую штуку. Ввиду того что дело создания своего алюминия — дело срочное и в государственном масштабе важное, а кадрового пролетарита для него в наличии не имеется, создать таковой, как говорится, в два счета. И в первую очередь из бойцов Красной Армии. А почему? А потому, что красноармейцы — народ дисциплинированный, прошедший школу РККА, а такой именно народ и нужен на этом ответственном участке индустриального фронта. На его, так сказать, передовых позициях. Так я говорю, товарищи?

— Правильно!

— Верно!

— Даешь свой алюминий!

— Ну, так вот... Кто из вас согласен идти на эту работу — демобилизуется досрочно и направляется в распоряжение начальника опытного алюминиевого завода. Там вас обучат этому делу и, кроме того, займутся повышением вашего образовательного уровня. У них при заводе имеются курсы. Есть общежитие. Ну и все, что полагается.

Военком зорко пробежал взглядом по лицам красноармейцев. Лица были серьезны. Глаза внимательно смотрели в его глаза.

— Ясно, ребята?

— Ясно, — разом выдохнуло много глоток.

— А раз ясно... — военком сделал назад несколько шагов, выпрямился и звонко скомандовал: — Рота, смирно!

Рота выпрямила ряды.

— Алюминщики, вне-ер-р-ред!

Прямые линии сломались в зигзаги.

— Один, два, три, четыре... — начал считать военком, — десять, двадцать, двадцать пять, — продолжал он, пока не прервал сам себя: — Есть, довольно.

Из красноармейцев, выразивших таким образом желание работать по алюминию, были отобраны наиболее развитые и политически грамотные, в большинстве комсомольцы.

Они влились в коллектив лучших ударников Ленинградского опытного завода, который находился на Выборгской стороне. До революции здесь помещался завод «Парвайнен», на котором во время империалистической войны делались снаряды.

Помещение это было до такой степени завалено ящиками, досками, кусками разного металла, битым и небитым стеклом, что алюминщикам пришлось потратить немало труда, чтобы убрать весь этот утиль. Часть его использовали для нужд общежития. Из досок и ящиков сделали скамьи, табуретки, койки, столы и вешалки. Стеклагодились для оконных и дверных рам.

Расчистив помещение, стали обзаводиться необходимым заводским оборудованием. Большую помощь в этом деле оказали ленинградские партийные организации.

Неоднократно посещал опытный завод Сергей Минович Киров. По его указанию была создана «тройка содействия алюминиевой промышленности».

Кроме того, товарищ Киров дал четкое распоряжение Выборгскому райкому и членам бюро обкома, работникам облисполкома, совнархоза и руководителям других учреждений, чтобы все заказы и снабжение опытного завода производились вне очереди.

При участии всех этих организаций завод получил все необходимое, от простого гвоздя до сложного агрегата. За зиму он был смонтирован и подготовлен настолько, что к весне на нем было установлено двадцать электролизных ванн разных конструкций и имелось в наличии необходимое для пуска сырье.

Ставя своей целью, кроме освоения производства, подготовку кадров, опытный завод являлся подлинной колыбелью алюминиевой промышленности.

Одновременно с приобретением практических навыков будущие алюминщики проходили здесь и теоретическую подготовку. Учились жадно — и днем на заводе, и вечерами в общежитии. Здесь обычно творилось нечто невообразимое: тут и коллективное решение задач, и изучение физики по учебнику Любимова, и споры по вопросам политграмоты, и дискуссии о родительном и винительном падежах, которые так капризны в отношении одушевленных и неодушевленных предметов.

Добросовестный комсомолец, выполняя общественную нагрузку, старательно репетировал отстающих в науках товарищей.

— И как это вы не понимаете отрицательных и положительных ионов! — говорил он. — Ну, представим себе, что положительные ионы — белые овцы, а отрицательные — черные. И вот они идут навстречу друг другу, встречаются и... что получается?

Он проводил выжидательным взглядом по лицам ребят.

Помазун, один из недавно прибывших со строительства Днепровского комбината рабочих, бойко ответил:

— А получается стадо.

— Вот спасибо! — иронически благодарил его репетитор под раскаты смеха.

Но Помазун не смеялся. В такие минуты грудь его сжималась тисками мучительных сомнений.

«Так неужели же тетка Параска была права, — думал он, — когда уговаривала меня не ехать на Днепрострой?»

— А шо ти там зробишь, на цьому заводі? — говорила тогда тетка. — Ти з малолітства скотину пас, машину зроду не бачив. Який з тебе машиніст вийде? І хоч усі повиростали, а грамоті не вмієш. Оженився би, узав би Галю у Голопузенка або Приську Мацахину й хазяйнував би.

«Ну, если бы женился, — думает Помазун, — то только бы на Гале». И она встает в воображении, румяная и налитая, как спелое яблоко. И глаза ее искрятся веселым карим сиянием.

Впрочем, и из этих глаз брызнули слезы, когда, проводив его до мельницы, она сказала сердито:

— Иди, йди! Нащо ти мені здався!

Оттолкнула протянутые к ней губы.

— Хай тебе машина поцілує. — И зашагала в село, ни разу не обернувшись к Помазуну.

Может быть, именно поэтому ему было тогда так тяжело нести за плечами мешок, в котором только и лежало, что краюха хлеба, кусок сала, рубанок и смена белья.

Всего только десять месяцев прошло с тех пор. За это время прожит самый знаменательный кусок жизни Помазуна.

Самый ответственный участок жизненного пути пройден и всеми его товарищами — бригадами лучших ударных бригад со строек алюминкомбинатов, которые и

там и здесь на курсах приступом брали крутые утесы познания физики, химии и математики.

Среди них особенно пытливым любознательностью отличался Миша Стогов.

Обычно молчаливый и грустный, потому что сильно скучал по родному селу, на занятиях он был нетерпеливо требователен и забрасывал преподавателей бесконечными «почему» и «отчего».

— Почему кислород обозначается буквой «О», а не «Кы»? — спрашивал он руководителя занятий по химии.

Тот объяснял, что ученые всего мира условились обозначать научную терминологию на одном латинском языке.

— Кислород по-латыни — *oxigenium*, поэтому его обозначают первоначальной буквой «О», чтобы и американец, и китаец, и русский понимали, что это значит.

— А почему водород пишется «Ны»? — допытывался Стогов.

— Не «Ны» это, а «Аш», — объяснял преподаватель.

— А почему «Аш»? — не понимало уже большинство аудитории.

Химик, сам «без году неделя» преподаватель, давал объяснения:

— *Hydrogenium*, товарищи, — это водород.

— А, «гидра»! Это легко запомнить! — обрадовался Стогов. — Вроде как гидра контрреволюции.

— Да нет, контрреволюция тут ни при чем, — начинал нервничать химик. — Гидра в переводе на русский язык — вода, а так как водород...

— Понятно теперь, — выслушав объяснение, удовлетворенно вздыхал Стогов, но через несколько минут его очередное «почему» снова шмелем впивалось в уши преподавателя.

Сокращенные названия многим понравились. Так, например, Ершов, уроженец сибирской тайги, завел у себя такие «условные знаки»: алюминий изображал буквами «ол», а слово «окись» записывал «во». На недоуменные вопросительные знаки проверявшего тетради преподавателя Ершов дал такое толкование:

— «Ол» — это алюминий, а «во» — вокись.

Ему, бедняге, даже кличку дали «Вокись».

Особенно тяжело давались Ершову дроби. Их он терпеть не мог и, стоя у доски с напряженно сморщенным

лбом, в волнении крошил куски мела, выводя трети, четверти и прочие ненавистные комбинации.

Когда ему доказывали необходимость знания математики вообще и арифметики в частности, он упрямо возражал:

— Я тебе без всякой математики, однако, что хошь сосчитаю...

Позже он подружился с Карповым, который пришел на курсы, преодолев дробь еще в Красной Армии.

Часто, когда в общежитии уже бывал потушен свет и с коек раздавался коллективный храп будущих алюминщиков, в темноте слышался шепот.

— Так сколько в единице шестых? — спрашивал Карпов.

— Однако, шесть, — шипел Ершов.

— А как ты сложишь семь восьмых да три четверти?

— Эка невидаль! — с деланным пренебрежением говорил Ершов. — Пошто и не сложить эдакую малость!

— Ну и складывай.

— И складу. А ты не приставай, ровно беглый в тайге.

— Ну ладно, давай другое. Растолкуй мне, что ты будешь делать, если тебе в жизни попадется неправильная такая дробь, вроде, скажем, тысяча семнадцатых...

— Брось, Карпов! — вмешивался в разговор Стогов. — Ну что ты на ночь такое страшное говоришь? Он со сна кричать почнет...

— Тише, ребята! — раздавался чей-нибудь сердитый голос. — Спать пора.

Ребята умолкали, а Ершов напряженно думал. И вдруг его радостный голос прорезал тишину:

— Есть такое дело: пятьдесят восемь и четырнадцать семнадцатых. Эка, подумаешь, невидаль неправильна дробь!

Но его ликования уже никто не разделял — курсанты спали. И с койки Карпова вместо требовательного: «Опять не кумекаешь?» — тоже слышалось ровное дыхание.

Впрочем, Карпов любил учить других, любил, как он выражался, из «человеческого сырья» сделать «рафинированного» человека. Так, он сделал честного рабочего из беспризорника Алеши Майстренко.

Впервые он «пожал» руку Алеши в своем кармане, то есть, попросту говоря, когда тот пытался украсть бумажник. По дороге в милицию Майстренко рассказал та-

кую свою биографию, что Карпов вместо милиции привел его на опытный завод, в комсомольскую организацию, а затем принял в свою бригаду.

Карпов требовал от Алеши добросовестного отношения к делу. Но и в обиду его не давал. А минуты обиды Алеше приходилось переживать не раз.

— Ну, чешутся, бывало, руки так, — вспоминал впоследствии Алеша, — что невозможно было не скрасть. И вытягну у кого кошель, у кого папиросы, документы, а другой раз просто спички сопру. Но сейчас же сам все отдаю: «Бери обратно». А ребята все-таки зачали преследовать — «вор» да «вор». Ну, мне и досадно. Но товарищ Карпов заступился, и теперь я уже не краду, отвык совсем.

Действительно, того Алеши, который был в урках¹, торговал сахарином, табаком и шарил по карманам, больше не существовало. Он стал образцовым комсомольцем и, постепенно повышая свою квалификацию, — отличным электролизником.

Один из самых неутомимых экспериментаторов сначала Московского, а затем Ленинградского опытных заводов инженер Железнов после двухлетней напряженной работы, продолжавшейся порой по восемнадцать часов в сутки, отдыхал в Ялте уже вторую неделю.

Морской воздух такой чистоты, что трудно было допустить даже мысль, что на свете существуют неприятные запахи вроде выделяющихся из опытной печи, проникал в легкие и заставлял грудь дышать так же глубоко и ровно, как вздымалась перед глазами необозримая морская ширь.

На горизонте вился дымок уже невидимого парохода, а ближе к берегу парусные лодки покачивались на волнах, как присевшие отдохнуть большие белые лебеди.

Низко опустившееся солнце бросало свой малиновый канат в позолотившуюся бухту. От моря тянуло вечерней прохладой. Уходить не хотелось, ни о чем не думалось...

Этот вечер неожиданно стал для Железнова последним вечером безмятежного покоя. Наутро пришла телеграмма, требующая немедленного его возвращения

¹ Так на Украине называли беспризорников-ворышек.

в Ленинград в связи с предстоящим в ближайшие дни пуском электролизных ванн.

Руководители завода и весь его коллектив волновались в ожидании этого знаменательного момента.

Сергей Миронович Киров не раз справлялся по телефону:

— Ну, как дела? Скоро ли пускаете? — И внимательно выслушивал рапорт о состоянии завода или просьбу об оказании того или иного содействия. — Звони мне, если что понадобится, — говорил он Железнову, когда тот сообщил, что ставит ванны под нагрев.

В этот день у ванн стояли и оба руководителя завода — инженеры Железнов и Елизаров — и молодые инженеры-комсомольцы — Иванов, Гончаров и другие.

Из рабочих были выбраны самые надежные, но все же некоторые из них до сих пор знали электричество лишь в его применении для освещения.

И хотя перед пуском ванн с ними был проведен инструктаж, все же когда во время накала ванн с треском вспыхивали искры или начинала шипеть вольтова дуга, ребята вздрагивали и пятились подальше.

Восьмого мая засыпали ванны криолитом и глиноземом и включили электрический ток.

Пускали ванну системы инженера Федотьева. При пуске присутствовали профессора Кузнецов и Жуковский.

Эту ванну пускали на «чижах», то есть на угольных стержнях, установленных внутри ванны, между ее подиной и электродом.

При первом пуске не все «чижи» вели себя одинаково: одни накалялись добела, другие оставались холодными — то ли от загрязнения ванны, то ли оттого, что были плохо поставлены.

Помучившись с ними часов восемь, решили «чижи» убрать и плавить без них. В течение трех дней, то есть пока из загруженного в ванны глинозема под действием постоянного тока восстанавливались первые килограммы алюминия, товарищ Киров неоднократно звонил по телефону на опытный завод.

— Плавите? — звучал в трубке его нетерпеливый вопрос.

— Плавим, товарищ Киров.

— Когда будете вычерпывать?

— Завтра с утра,

— Я приеду.

И действительно, с утра он уже был на заводе. Когда к ваннам поднесли чугунные тигли, похожие на цветочные горшки, он наблюдал, как их погружали на дно ванны, как на расплавленный вокруг них электролит насыпали немного глинозема, чтобы образовалась корка, придающая тиглю большую устойчивость. Когда из отверстия в дне тигля была вынута пробка, похожая на ртуть жидкость стала медленно вливаться через это отверстие.

Железными длинными ложками ее вычерпывали в ковши и переливали в изложницы.

Товарищ Киров неотрывно глядел, как она, остывая, принимала перламутровые оттенки.

Когда он обернулся к сопровождающей его группе электролизников, лицо его светилось радостью.

— Так, выходит, товарищи, что советский алюминий есть?

— Есть, товарищ Киров,— разом, по-военному, прозвучал ответ.

Останавливаясь около других ванн, Сергей Миронович задавал ряд вопросов.

— Почему на этой ванне между электродами не заметно кипение?

— Надо их отрегулировать,— отвечал сменный инженер.

— А как вы узнаете, правильно ли они отрегулированы?

— Контроль за нагрузкой в отдельных анодах ведется при помощи железного молоточка или буссоли...

— Дайте-ка мне ее,— попросил товарищ Киров одного из рабочих.

— Вот это буссоль,— подал тот небольшой прибор, который представлял собою магнитную стрелку, смонтированную на оси в алюминиевом диске.

— Если мы приложим этот диск к электрододержателю,— давал объяснения инженер,— то электрический ток, проходящий через электрод, создаст вокруг него магнитное поле. Магнитная стрелка, попадая в такое поле, отклонится от вертикального положения. Есть и другой способ узнать степень нагрузки анода током,— продолжал сменный инженер.— Если этот молоток приложить к электрододержателю...

— Дайте-ка мне его,— протянул руку Киров и прикоснулся им к аноду.— Притягивается,— кивнул он на молоток.

— Совершенно верно,— подтвердил инженер,— и по силе отрыва мы можем определить приблизительную степень нагрузки отдельных анодов.

Товарищ Киров и в дальнейшем живо интересовался работой завода, всегда откликаясь с полным вниманием на все его нужды.

В те дни коллективу алюминщиков приходилось быть наheckу в отношении работы ванн.

О них говорили как о живых существах.

— Ванна плюется,— сетовал один электролизник, указывая на свой обожженный лоб.

— Ванна капризничает,— жаловался другой, наблюдая неполадки в работе обслуживаемой им ванны.

— А моя недоедает,— волновался третий. Это обозначало, что из-за нарушения теплового режима приходилось уменьшать загрузку глинозема в ванну.

Уже в первый период работы всем стало ясно, что электролизные ванны принадлежат к той категории агрегатов, малейшее невнимание к которым ведет к нарушению технологического процесса.

Как-то к сменному инженеру подошел комсомолец Иванов. Лицо его выражало отчаяние.

— Что с тобой? — спросил испуганно инженер.

Блуждающий взгляд Иванова скользнул в сторону ванны.

Анодная рама, которая должна помещаться в ванне горизонтально, стояла наклонно.

— Я ничего не могу с нею поделаться,— заявил Иванов.

Инженер расследовал аварию. Оказалось, что на одном конце рамы шестерня вращается и выкручивает винт, а другой конец поднят, и винт не вращается. Надо было только вставить шестерню и поставить раму горизонтально.

Проделав это, инженер с улыбкой посмотрел на товарища.

— Запарился?

— Двое суток не сменялся,— признался Иванов с некоторым смущением.

— Товарищи, сюда кто-нибудь! — послышался резкий женский крик.

Иванов бросился к девушке, которая, забравшись на ванный помост, старалась пробить тяжелым ломом образовавшуюся на поверхности электролита корку. Это ей не удавалось — не хватало физической силы.

На соседней ванне сидел Гнатенко — парень, славившийся своим прилежанием и флегматичностью. Он не мигая смотрел на стрелку вольтметра и тихонько разговаривал с ванной:

— Ты думаешь, я тебе верю, что ты никакой гадости себе не позволишь?.. Нет, милая, я тебя знаю. Я тебя очень даже хорошо знаю...

Когда раздался женский крик, он соскочил с помоста, сделал было несколько шагов в сторону ванщицы, но, оглянувшись на свою ванну, ринулся обратно: стрелка вольтметра вместо нормальных пяти подскочила до пятидесяти вольт, электролит прорвался через корку вверх, над ванной поднялись удушливые газы, и она грозно загрохотала.

Гнатенко выругался и, схватив лом, стал в разных местах пробивать корку. Рубаха его тлела на спине от попавшего на нее электролита, а он, будто не чувствуя ожога, возился над ванной, повторяя:

— Я тебя приведу в рабоче-крестьянское состояние...

Иванов, подбежав к ванщице, выхватил у нее лом и изо всех сил всадил его в корку. Лом пробил ее, разбросав по сторонам куски раскаленной корки электролита. Один из них упал Иванову в валенок, прожег брюки, носок и обжег кожу.

Иванов на одной ноге допрыгал до медпункта. Разрезав валенок, сняли тлеющее сукно брюк, прожженный носок и сделали перевязку. Ожог был второй степени, но Иванов, надев калошу на забинтованную ногу, до конца своей смены не ушел из цеха.

С тех пор на голени его ноги красовалось большое багровое пятно зажившей ожоговой раны.

— В знак памяти о первой ванне, — шутил он, когда его спрашивали о происхождении пятна.

После этого инцидента женщины были сняты с тяжелой работы ванщиц. На них возложили обязанность вести журнал работы ванн.

Каждый дежурный писал на листке отчет, как работала ванна в его смену, а девушки собирали эти листки и сшивали в тетрадь.

Записи на листках носили очень лаконичный характер, например: «Под четвертым электродом какой-то кусок. Вытащить не мог»; «Ванна подмигивает синими огоньками»; «Пробил, промешал, засыпал, записал»; «Ванна бузит, хотя я ее пиковал за два часа три раза» и т. д.

Записи эти являлись суммированием опыта первых шагов освоения электролиза.

7. «Але, Фрож и Комарг»

Наряду с неустанной работой опытных заводов продолжались интенсивные переговоры с иностранными фирмами об оказании технической помощи в организации алюминиевой промышленности в Советском Союзе.

После долгих переговоров фирма «АФК» прислала наконец свое согласие на заключение договора о технической помощи, и в Париж выехала советская делегация.

В это время в столице Франции происходила Всемирная автомобильная выставка, и получить номер в гостинице было очень трудно.

Не долго думая, шофер повез с вокзала приехавших русских в отель «Скриб» — одну из самых фешенебельных гостиниц Парижа.

— Может быть, он принял нас за богачей-заводчиков, — подшучивали над собой члены делегации, очутившись в этом роскошном отеле и узнав, что отведенный им номер стоит двести франков в сутки.

Прибыв в торгпредство, они прежде всего заявили:

— Указывайте подходящую гостиницу, а то мы вылетим в трубу. Номер в «Скрибе» у нас не пройдет.

— Нашли где остановиться! — удивился один из работников торгпредства. — Ведь эта гостиница обслуживает главным образом американских миллиардеров и прочих финансовых королей.

Переговорив о деле, по которому они приехали, с товарищем Туманским (в то время он был торгпредом во Франции) и устроившись затем в гостинице неподалеку от торгпредства, с оплатой по сорок франков в сутки, приступили к делу.

Сообщили фирме о своем приезде, приоделись и в полдень уже были на улице Бальзака, в кабинете одного из директоров фирмы.

Со стороны «АФК» присутствовали Дюпон, Жюльен и тот самый Глушевич, которого фирма уже присылала в Москву по этому делу.

Советские представители снова повторили то, что французы уже слышали в Москве.

— Нам нужна ваша техническая помощь, начиная с проектирования заводов и кончая введением их в эксплуатацию.

— Нам нужно, чтобы вы прислали к нам своих опытных в этом деле консультантов — инженеров и мастеров.

— Нам нужно, чтобы вы дали возможность нашим инженерам и рабочим приехать к вам, на ваши заводы, для того чтобы у рабочего места поучиться всему тому, что им понадобится у себя на родине при организации и освоении производства алюминия. Одним словом, чтобы вы помогли нам подготовить будущих работников алюминиевой промышленности.

Мсье Дюпон от имени фирмы выразил согласие на заключение такого договора.

После рассмотрения основных технических вопросов перешли к коммерческой стороне дела.

За свою помощь фирма запросила первоначально 10 миллионов рублей золотом.

— О такой цифре не может быть и речи, — было заявлено им в ответ. — Хотя наша страна и богата, но бросать народные деньги не любит.

— За такого рода содействие, какое вы от нас хотите, меньше взять никак нельзя, — возражали французы.

— Тогда нам придется самим налаживать производство алюминия. Как вам известно, мы многое сами сделали для реконструкции нашего народного хозяйства.

— Да, но в отношении алюминия вам это будет очень трудно, — предостерегали французы.

— Мы не боимся трудностей, — отвечали русские.

На первом заседании так ни до чего и не договорились.

Делегация докладывала о переговорах торгпреду, сносилась непосредственно с Москвой, получая оттуда директивы добиться снижения гиперболической цифры, выдвинутой французами.

Делегаты торговались с французами не за страх, а за совесть. Всякая уступка делалась чрезвычайно скупой.

Директор-распорядитель фирмы мсье Марлио в период переговоров то и дело ездил в Лион, где по традиции собиралось на совещание правление «АФК».

Возвращаясь оттуда, он говорил с сокрушением:

— Положение, в которое я попал, ужасно затруднительно: вы настаиваете на уменьшении суммы, и я охотно пошел бы вам навстречу. Но дирекция находит, что вы не хотите учесть полувековой опыт, которым мы располагаем, и знания, которые мы отдаем вам в случае заключения договора. Это стоит тех миллионов, которые мы за это спрашиваем.

К этому времени количество этих миллионов снизилось уже до пяти, но эта сумма тоже не считалась возможной, и Марлио снова ни с чем уехал в Лион.

В советском торгпредстве горячо обсуждалось положение вещей, телеграфировали в Москву и в ожидании ответа, пользуясь свободным временем, осматривали достопримечательности Парижа.

Полюбовались в Лувре величайшими произведениями искусства, поднимались на Эйфелеву башню, откуда открывалась несказанно прекрасная панорама великого города, посетили собор Парижской богородицы, преклонили головы у Стены Коммунаров. Если бы переговоры длились еще долго-долго, все равно нашлось бы, что еще можно было посмотреть в Париже.

Но дело все же приближалось к концу.

После одной из своих лионских поездок Марлио привез согласие фирмы заключить договор за три миллиона.

— Дешевле никто не возьмет,— сказал он на очередном заседании комиссии.— А если вы попытаетесь обойтись без посторонней помощи, ваши ошибки обойдутся вам дороже.

— Свет не без добрых людей,— пошутил Антипин.

— Да, но повторяю, что меньше никто не возьмет.

Однако мысль о возможном обращении русских и каким-либо «добрым людям», видимо, имела некоторое влияние на дирекцию фирмы, ибо через несколько дней еще 500 тысяч были сброшены с суммы, которую она

собиралась получить от советского правительства. Эта сумма была уже такой, что можно было конкретнее подойти к делу, и советская делегация высказала желание посетить заводы фирмы, чтобы иметь ясное представление о ее технической вооруженности.

Когда на это было получено согласие, между участниками поездки было условлено, что именно на осматриваемых заводах должен зафиксировать каждый из них в своей памяти, чтобы потом из отдельных впечатлений можно было восстановить более или менее полную картину виденного. Это условие было выполнено настолько точно, что позже, когда один из французских консультантов увидел уже в Советском Союзе конструкцию одного агрегата, выполненную на основании впечатлений этой поездки, он был очень удивлен ее внешним сходством с той, какие были на заводе «Сабар».

Посещение этого завода дало делегации представление о сложности процесса электролиза.

Поездка на глиноземный завод в Гардан, экскурсии по заводам Риу-Перу и Сен-Жана — все это создало определенное мнение, что нарождающейся советской алюминиевой промышленности есть чему поучиться у фирмы «Але, Фрож и Комарг».

По возвращении делегации в Париж переговоры возобновились, и первая редакция будущего договора была отослана в СССР.

Вскоре руководитель делегации был вызван в Москву, и до января 1930 года переговоры прекратились. В январе он снова возвратился в Париж вместе с товарищами, которые направлялись в Америку для изучения промышленности цветных металлов.

Остановились все в одном отеле, откуда председатель позвонил г-ну Марлио.

— Я здесь с товарищами, которые едут в Америку, — сообщил он ему.

Марлио, видимо, вспомнил о «добрых людях», к которым советское правительство решило обратиться за тем же содействием, что и к его фирме.

— Я надеюсь видеть вас у себя, — любезно сказал он.

И после свидания на улице Бальзака Марлио выехал в Лион на экстренное заседание правления фирмы «АФК».

Через несколько дней тщательного обсуждения всех пунктов договора он был наконец подписан обеими сторонами.

На торжественном по этому поводу банкете было сказано много хороших слов по поводу предстоящей совместной работы.

Между Жуковским и его соседом по столу — Марлио произошел такой разговор.

— Лично я не сомневаюсь, — сказал мсье Марлио, — что американцы не захотят оказать вам поддержку в деле организации вашей собственной алюминиевой промышленности.

— Я сомневался, что и французы это сделают, — с улыбкой ответил Жуковский.

Марлио тоже улыбнулся:

— Когда мы пришли к убеждению, что так или иначе, а господа большевики все равно создадут свое алюминиевое производство, мы предпочли, чтобы это было сделано с нашей помощью и прибыль от этого получила бы Франция, а не кто-либо другой...

— Вполне благоразумное решение, — чокаясь с Марлио, одобрил Жуковский.

Антипин тоже протянул к Марлио свой бокал:

— Мы обещаем за это поставить вам алюминиевый памятник на одном из наших заводов.

— Только обязательно верхом на коне, — с шутливой требовательностью добавил Марлио.

Оставив Жуковского «в залог», делегация уехала в Москву, везя с собой окончательный текст договора.

В конце января договор был утвержден советским правительством, и в Париж была переведена первая сумма в счет договора.

Жуковский должен был привезти с собой чертежи завода в Сабаре. Получив телеграмму о том, что деньги фирме переведены, Жуковский заказал себе билет и позвонил на улицу Бальзака, чтобы ему прислали чертежи.

— Это будет сделано немедленно по получении денег, — ответил один из руководящих работников фирмы «АФК».

Ответ звучал столь же вежливо, как и категорически.

До отхода поезда оставалось два часа. Лишь тогда, когда деньги были доставлены фирме, ящики с чертежами очутились в номере Жуковского.

Одновременно по телефону его известили, что первая группа консультантов в лице инженеров Жюльена, Гролле, Жоффрена и химика Грабенского выезжает в СССР «не позже воскресенья», то есть через четыре дня после отъезда Жуковского.

Приезд консультантов фирмы «АФК» внес большое оживление в работу проектировщиков будущего Днепровского алюминиевого комбината. В один из ближайших дней было назначено заседание по просмотру проекта Днепровского глиноземного завода.

Первым в Гипроцветмет явился мсье Жюльен. Своей красивой внешностью и элегантностью манер он произвел на молодых сотрудниц ошеломляющее впечатление.

— Просто Ромен Роллан, — восторженно отозвалась о нем секретарша из строительного отдела, — только усы попышней!

— А как носит костюм! — восхищалась машинистка. Комсомолка инженер-химик строго остановила их:

— Удивительно — люди приехали по такому важному делу, а вы рассматриваете их, как модели в витринах Пассажа.

Однако, слушая доклады своих товарищей по работе, она все же невольно останавливала взгляд на изысканном костюме мсье Жюльена и, когда он проходил мимо к развешанным на стене чертежам, мысленно решила:

«Непременно подберу к своему серому костюму такого же цвета галстук».

Накануне совещания с представителями «АФК» все занялись подбором к нему материалов и чертежей.

Распределили кому что говорить. Решили, что металлургическую часть будет докладывать инженер Падалка, а химическую — инженер Конторович. Проверяли свои знания французского языка.

— А ну-ка, как ты переведешь: «Для плавки шлака алюмината бария нами выбраны печи Миге-Перрон?» — спросил Конторович.

— Ну, это не так уж мудрено. — И Падалка без особого труда перевел: — «Pour fusion de laitier aluminat de barit nous avons choisie four Miguet-Perron». А вот как-то ты будешь плавать в твоих химических растворах?

Французский язык знали немногие, а потому решили пригласить на это заседание переводчицу.

Переводчица, молодая девушка, недавно окончившая институт иностранных языков, недостаточно владела технической терминологией. Кран мостовой она переводила как кран водопроводный, цилиндр — как *chapeau de haute forme* (шляпа высокой формы) и т. д. И чем дальше переводила, тем с большим недоумением слушали ее французы.

Наши инженеры шепотом поправляли переводчицу.

Мсье Гролле, от которого впоследствии было получено очень много ценных указаний по освоению алюминиевого производства, оказал первую «техническую помощь» в этом затруднительном положении: в самой корректной форме он выразил желание, чтобы доклад делали сами инженеры, которые «хотя не столь владеют французским языком, как мадемуазель, но зато более компетентны в обсуждаемом вопросе».

— Что значит кавалер Почетного легиона! — подмигнул Антипин.

«Буксуя» в некоторых местах, Падалка и Конторович все же закончили свои доклады под одобрительные реплики французов.

Инженер Жоффрен особенно старался подбодрить русских электродчиков, которые страшно волновались за свой проект, самодельный и в отношении схемы производства, и в отношении расположения аппаратуры.

Какова же была их радость, когда французская консультация в лице своих лучших электродчиков — Жоффрена, Гролле и Берлиоза, — выслушав внимательно русских электродчиков, сделала всего только одно замечание.

Для участия в дальнейшей разработке проектов заводов Жоффрен остался в Ленинграде, а Жюльен и Гролле уехали обратно во Францию.

Вскоре, согласно заключенному с фирмой «АФК» договору, во Францию для изучения алюминиевого производства на заводах фирмы была направлена группа советских инженеров и рабочих.

В их число, после девяти месяцев учебы и производственной практики, попали и некоторые электролизники с Ленинградского опытного завода.

8. Сон и явь

Очень неудобно сидеть скрючившись в узком простенке за печкой. Да еще сидеть так тихо, чтобы разбушевавшийся в пьяном гневе отец не догадался как-нибудь, что Павлуша дома. Тогда беда: вытащит за вихры и изобьет чем попало: вожжа — вожжой, палка — палкой, а то — еще не легче — своими тяжелыми, как кузнецовы молота, кулачищами.

Вот и сейчас стучает ими по столу так, что чашки звякают о блюдца.

Стучит и грозно допрашивает бледную от страха мать: — Сказывай, где Пашка! А то я те ребра посчитаю... Я те покажу...

— Истинный бог, Егор Елизарыч, не знаю, — крестится мать. — Побег куда-то вот перед самым, как тебе прийти. Побег, а куда — не сказывал...

— То есть как это не сказывал? С этих лет безо всякого спросу от родителей убежать?! Забью стервеца... Прикончу все равно дармоеда...

Отец подымается со скамьи, такой высокий, что взлохматенная его голова упирается в потолочную перекладину. Мать забивается в самый угол, под равнодушные темные лики святых угодников, сама похожая на великомученицу, и настороженно следит налитым слезами взглядом за каждым движением отца.

— Где топор? — рывкает он и, перегнувшись через стол, наотмашь ударяет мать по лицу.

— В амбаре он, вот те крест... — и, отняв руку от вспыхнувшей багровым румянцем щеки, мать опять крестится.

Отец толчется по избе, похожий на большого, поднявшегo на дыбы зверя. Страшные ругательства, как рычание, вырываются из его глотки.

И Паша крепче прижимает к груди локти, желая утишить испуганное дыхание.

Отец нахлобучивает на свою лохматую голову суконный картуз, в тусклом козырьке которого отражается огонек керосиновой лампы, и той же звериной поступью вываливается из избы.

Мать подбегает к печке.

— Беги, Павлуша, беги, милый! — быстро шепчет она. Ее теплые слезы падают на круглую головенку сына и,

скатываясь, щекочут ему шею.— Вот, надевай,— она торопливо стаскивает с себя тяжелые сапоги и сует сыну.— Надевай и беги... а то и впрямь уколошит он тебя... Да ты спишь, что ли? Павел, а Павел! — и она трясет его за плечо.— Проснись, Паша...

Елизаров открывает глаза, но перед ним не мать, а товарищ Железнов, уже умытый и причесанный.

— Подъезжаем,— говорит он, улыбаясь.— Да ты что так смотришь? Никак не проснешься, что ли? — И снова трясет за плечо.

Елизаров вскакивает с места, на котором проспал в сидячем положении в течение нескольких часов. Он энергично встряхивает головой, сиюсь окончательно прогнать тяжелый сон.

— Погляди — ведь здорово красиво, а? — указывает в окно Железнов.

Поезд идет вдоль отрогов гор, покрытых свежим, как будто только что умывшимся, лесом. На горизонте в ласковом, как синий шелк, небе алмазно сверкают снежные вершины Пиренеев.

К окну подходит Милов.

— Кра-со-та! — говорит он, любуясь горными вершинами.— Когда беспризорничал, я видел такие на Кавказе.

— На курорт ездил? — с добродушной насмешкой спросил Фомин, тщательно оправляя перед зеркалом купленный в Париже галстук.

— А то как же! Бывало, как солнце пригреет, вся наша братва на юг катит. Место плацкартное — подвагонный ящик — всегда было забронировано за нами... Красота,— повторил он задумчиво.

— Хорошо,— с облегченным вздохом произносит Елизаров,— просто замечательно, ребятки.

Просто замечательно, что только что виденный им сон — тяжелый осколок канувшей в вечность были.

Замечательно, что он уже не забитый мальчонка Пашка, а инженер Павел Георгиевич Елизаров, едущий по командировке Главалюминия на юг Франции, с целью ознакомления с ее алюминиевыми заводами.

Хорошо, что с ним едут вот эти товарищи, два инженера и четверо рабочих,— лучшие из тех, которых в свое время выбирали из демобилизованных бойцов Красной Армии для опытного алюминиевого завода в Ленинграде.

В самом деле — разве не хорошо и не замечательно, что один из них, бывший беспризорник Милов, стоит сейчас рядом у вагонного окна, такой необычайно франтоватый, в костюме, купленном в Париже два дня тому назад? Его глаза жадно вглядываются в наплывающую, как на экране, панораму Пиренейских гор, уходящих к границе с Испанией.

— Так, приехали, значит? — Елизаров опускает на плечо Милова руку.

— До чего же красиво! — кивает тот на снеговые вершины. — Мамка в детстве, бывало, к пасхе высоченных куличей напечет и белком с тертым сахаром смажет. Глазурью это называется. Так вот эти самые горы вроде как...

— А ты помнишь свою мать? — спрашивает Елизаров.

— Так, чуть-чуть. Далеко она где-то в памяти, далеко, как эти белые вершины.

Оба замолчали, и на их лица легкой тенью легла печаль.

Маленький вокзал французского местечка Бейред весь был пронизан лучами не по-осеннему теплого солнца. И тоже не по-октябрьски красовались на клумбах какие-то незнакомые цветы с яркими венчиками и нежным запахом.

Едва вся группа с новыми чемоданами, тоже приобретенными при участии парижского торгпредства, показала на платформе, как к ней подбежал потрепанного вида субъект, прислушался несколько мгновений к разговору и быстро возвратился к стоящему в конце перрона автомобилю. Приехавшим было видно, как он что-то говорил кому-то в машине, указывая в их сторону тростью. Высокий, плотный человек в крагах и очень простом, но, видимо, очень дорогом костюме оставил автомобиль и подошел к прибывшим с вежливым поклоном.

— Messieurs sont russ? (Господа — русские?)

— Рюс, рюс! — ответили все «мсье» хором.

— Я директор завода «Бейред», Сабуро, — представился элегантный француз.

— Я переводчик, — отрывисто отрекомендовался человек с потрепанной физиономией и злобно обшарил взглядом фигуры владельцев семи новых чемоданов, в металлической отделке которых преломлялись блики заходящего солнца.

— Все понятно,— шепнул Железнов товарищу, стоящему рядом.

— Ясно,— ответил тот.

Еще бы не ясно: в полпредстве и торгпредстве в Париже группу приехавших из СССР работников алюминиевой промышленности хорошо проинструктировали. Им рассказали, что французская фирма «АФК», с которой был заключен договор на оказание технического содействия в сооружении советских алюминиевых заводов днепровской и ленинградской группы, само собой разумеется, не торопится показать русским свои высшие достижения в области алюминиевой промышленности. Поэтому наших работников и направляют на небольшой завод в Бейреде, который относится к пиренейской группе алюминиевых заводов. На этом заводе, как и на других, работает много иностранцев — поляки, испанцы, немцы и главным образом русские эмигранты, исполняющие самую черную работу. Из них же формируются кадры переводчиков, которые сплошь и рядом совмещают переводческую работу с обязанностями сыщика.

С первых же моментов приехавшим был преподнесен «кодекс законов» внутреннего распорядка их жизни.

Излагая свои указания самым вежливым образом, господин Сабуро заявил, что для «дорогих гостей» приготовлены комнаты — и для господ инженеров, и для рабочих. Он сообщил, что близ завода имеется столовая с двумя залами: для господ инженеров и для рабочих. Имеется и два клуба; в одном развлекаются господа инженеры, а в другом — рабочие. Затем имеется кино. И в нем могут развлекаться инженеры и рабочие. В бельэтаже места дороже, поэтому рабочие обычно покупают билеты в партер.

Весь этот регламент был выслушан и единодушно одобрен. Из-за комнат не спорили. Правда, в тех из них, которые были отведены рабочим, не было того комфорта, который был в комнатах инженеров. Не было, например, зеркальных шкафов и письменных столов. Но, в общем, все необходимое было: койка с чистым постельным бельем, умывальник-раковина, шкаф без зеркала. Пол тоже разнился от инженерского: там — паркет, здесь — бетон. Перед входом на завод предложили принять душ. И здесь два отделения: инженеры — налево, рабочие — направо.

Весь первый день провели на заводе. Сначала поразила тишина в цехах и очень малое количество рабочих, да и те, которые были, держались в стороне.

Из пятидесяти двух ванн одной серии работало сорок восемь. Вторая серия стояла. Ее-то и должны были пускать русские.

Сменив еще не помятые парижские костюмы на спецовки, однотипные как для инженеров, так и для рабочих, они с увлечением принялись за практическую учебу по курсу «алюминиевая промышленность Франции». Предстояло изучить весь процесс электролиза, все его стадии — от загрузки ванн криолитом и глиноземом до вычерпывания из них жидкого алюминия.

Французы с удивлением наблюдали эту группу людей, пытливо всматривающихся в каждую деталь ванны, в каждое явление, связанное с ходом ее работы.

А русским обязательно хотелось превратить память в камеру фотоаппарата, с тем чтобы, вернувшись в СССР, проявить снимки в цехах своих алюминкомбинатов.

Ванны, с которыми пришлось иметь дело, не были похожи на те, которые были предложены опытному алюминиевому заводу в Ленинграде немецким консультантом Штраубе. В то время как на получение одной тонны алюминия из его ванны расход электроэнергии составлял 23 тысячи киловатт-часов, в ваннах французской конструкции на получение того же количества металла расходовалось 20 тысяч киловатт-часов.

Кроме своей экономичности, французские ванны заинтересовали практикантов еще и другими достоинствами. Штраубе в Ленинграде предлагал установить свою ванну на железобетонных колоннах, что позволяло на случай ремонта отправлять ее в ремонтную мастерскую. Футеровка пода и стен его ванны состояла из набивного угольного блока и не отличалась прочностью.

Французские ванны обладали значительными преимуществами. Их футеровка состояла из отдельных угольных блоков, и ее качество было таково, что ванны не нуждались в ремонте по два — два с половиной года.

Ванны стояли в углублении — бетонированном котловане, — выдаваясь над поверхностью пола всего лишь на двадцать пять сантиметров. Благодаря такому низкому борту обслуживать их было значительно удобнее. Поэтому один рабочий справлялся с обслуживанием восьми —

десяти ванн. На ремонт ванны не увозились из цеха, а просто выключались из серии и ремонтировались на месте.

От момента загрузки ванн глиноземом и криолитом до выпуска металла проходило четыре дня.

— А ведь они еще что-то прибавляют в ванну,— заметил однажды Стогов.

— Несомненно, какая-то корректировка имеется,— подтвердил Железнов.— Будем наблюдать.

Фомин, поминутно склоняясь над ванной, надышался вредными фтористыми газами, которые выделяются при разложении криолита. Его поташнивало, и в голове было такое ощущение, как будто на нее надели свинцовую тугую каску.

Контрметр — так называли французских мастеров — Гропине давал русским объяснения:

— Обратите внимание, *chers camarades*, как отражается на ходе процесса повышение температуры ванны сверх нормы. Кроме усиленного выделения вредных газов, которые, надеюсь, вы обоняете...

— Еще бы! — вздохнул Фомин.

— ...угольные электроды сгорают интенсивнее, а выход металла уменьшается. Вы видите, что в данный момент вспыхнули контрольные лампы. Это сигнализирует, что наличие окиси алюминия в ванне недостаточно и напряжение превысило норму. *Alors que faire maintenant?*¹ Мсье Рачинский должен взять этот лом и пробить корку электролита.

Рачинский послушно взял лом, стал на край ванны и пробил белесовато-серую, похожую на сахарную накипь в тазу для варенья, корку. В образовавшееся отверстие досыпали глинозема. Контрметр приподнял и отрегулировал электроды, и контрольные лампы погасли.

— Посматривай, значит, ребята, наблюдай,— сказал задумчиво Стогов и незаметно сгреб горстку смеси, просыпанной при загрузке ванны.

— В него что-то добавлено,— говорил он по дороге с завода, сосредоточенно рассматривая на руке тяжелый белый порошок.

— И даже наверное,— сказал Елизаров.

¹ Итак, что же теперь делать? (*франц.*)

Железнов и Елизаров следили за тем, чтобы приехавшие с ними рабочие не автоматически выполняли то или иное указание конструкторов, а ясно усвоили конструкцию ванн и механизмов, связанных с их работой, и осознали самый процесс электролиза. Желая проверить, насколько были понятны объяснения Гропине, Елизаров на другой день за утренним чаем спросил:

— Вчера Гропине демонстрировал нам регулировку анодов. Ясно для вас, когда можно считать, что они отрегулированы правильно?

— Тогда, когда каждый из них пропускает одинаковое число ампер,— ответил Рачинский.

— А что для этого надо? — снова задал вопрос Елизаров.

— Я скажу,— поспешил Фомин.— Для этого необходимо, чтобы толщина слоя электролита между анодами и металлом была одинакова.

— А это зачем?

— Чтобы под каждым электродом было одинаковое сопротивление.

— А какую роль играет криолит в электролите? — спросил Железнов.

Милов уверенно ответил:

— Он является растворителем для глинозема, который под действием тока расщепляется на ионы алюминия и кислорода. Первые идут к катоду, на подину, разряжаются и выделяются на нем в виде металлического алюминия. Вторые же поднимаются вверх, также разряжаются и выделяются на анодах в виде кислорода, за счет которого и происходит сгорание анодов.

— А какой период работы ванн ты считаешь самым ответственным?

— Период пуска.

— Из каких операций он состоит?

— Из обжига футеровки ванн и обогрева, а затем — расплавления криолита.

Подводя итог первоначальной практике монтажа, Железнов спрашивал:

— А ну, Стогов, давай-ка Расскажи устройство ванн, которые мы здесь монтировали.

Стогов откинул падающий на лоб чуб и степенно отвечал:

— Подина ванны составлена из угольных обожженных блоков, залитых чугуном. Кожух ванны смонтирован из поясов коробчатого железа. В нижней части эти пояса связаны болтами. На ваннах имеются по два подъемных механизма для регулировки анодов. Ток подводится к подине при помощи железных стержней, заделанных в подину...

— Какие требования мы предъявляем к конструкции электролизера, или ванны? — задал Железнов вопрос Фомину.

— Во-первых, — загнул Фомин первый палец, — кожух должен достаточно противостоять всяким деформациям, которые могут возникнуть при колебаниях температуры. Во-вторых, — еще один палец был крепко прижат к ладони, — чтобы электрическое сопротивление ошиновки было как можно меньше для возможного уменьшения потерь электроэнергии.

— Ну, и еще какие требования?

Стогов напряженно наморщил лоб.

— Я могу сказать, — заявил Фомин.

— Давай ты.

— Еще надо, чтобы потери тепла ванной от лучеиспускания и конвекции были сведены до минимума.

— А это что за «конвекция»? — спросил Милов.

— Я объясню, — предложил Рачинский. — Потеря тепла, уносимого потоками воздуха, — это и есть конвекция.

— Правильно, ребята! — хвалил Железнов.

Такие проверки усвоения приобретаемых практикой знаний производились между делом, но регулярно.

Однажды вечером собрались у старосты — Железнова. Уже не досадовали на то, что попали не на первоклассный завод. Поняли, что и здесь есть чему поучиться. Впечатлений за последнее время набралось столько, что все говорили разом, перебивая друг друга и не слушая возражений. Тогда Милов объявил себя председателем собрания и установил «повестку дня».

— Ставлю на обсуждение вопрос о шамовке. Товарищи мусье, кто желает парле¹?

— Слышите, ребята, как по-французски зажаривает! — подмигнул Фомин.

¹ Parler — говорить (франц.).

Из выступлений нескольких ораторов выяснилось, что французские обеды никого не удовлетворяют.

— Нет, куда же это годится! — резюмировал все речи Милов. — Сегодня, например, сели за стол. Подали нам по наперсточку и потчуют. На качество вроде водка, а на количество...

— Святое причастие, — хмуро закончил Стогов.

— Затем стали подавать чего-то вроде корешков эдаких, по форме вроде аппендицита. Я когда-то видел его в банке со спиртом.

— Разрешите, — поднял руку Рачинский. — Это блюдо называется скорцонера. Ничего блюдо. Обязательно свезу его в СССР и начну садить. У нас, в Рязанской, земля такая, что сади что хошь...

— Постой. Дело не в рязанской земле, — остановил председатель, — а в недовольстве товарищей обедами. Так вот, я продолжаю... Вот забыл, что еще давали...

— Ломтики колбаски, — вспомнил Стогов, — тоненькие такие, что насквозь все видать, а после них травка с сыром и рыбешка чуть-чуть побольше хамсы. И опять салат...

— Вроде для зайцев наготовлено, — иронически проговорил Фомин.

— Вот именно, — согласился Милов. — А к концу поставили какой-то сладкий студень, который трясся, как бараний хвост со страху. Даже есть было противно. Посуды намарали гору, а толку мало. Встали голодные, и кабы не красное вино, хорошее и вдоволь, совсем бы тоска, — закончил он.

— Голодновато, — единодушно подтвердила аудитория, после чего приняли резолюцию: организовать общую русскую кухню и питаться, конечно, всем сообща — и инженерам и рабочим.

Но как было объяснить дирекции, что советские инженеры — вчерашние рабочие, а сегодняшние рабочие — инженеры завтрашнего дня? Ведь была договоренность: в чужой монастырь со своим уставом не соваться. И решили сделать некоторые дипломатические шаги.

Через несколько дней Железнов как староста, а Елизаров как переводчик шагнули к господину Сабуро. Накануне был организован «общественный просмотр» жестов и поклонов, которыми эти новоявленные дипломаты собирались сопровождать свою речь.

Держа левую ладонь плотно прижатой к левой стороне груди, Железнов говорил господину Сабуро:

— Французская кухня — замечательная вещь. Мы в восторге.

— Мы в восторге, — переводил Елизаров.

— Но у нас, русских, — продолжал Железнов, — есть свои странности.

— Есть странности, — переводил Елизабов.

— Мы большие патриоты и в отношении нашей пищи. Когда мы вернемся на родину, там... О, там мы каждый день будем кушать скорцонеру! Наш товарищ Рачинский решил непременно акклиматизировать это замечательное растение в своем огороде. И другие товарищи тоже. Но здесь, вдали от нашего отечества, мы хотим кушать наши щи, каши, окрошку, лапшу и борщи.

Он так старательно выговаривал «ш» и «щ», что у француза получилось впечатление зловещего шипения. Недоуменно подняв брови, Сабуро дослушал Железнова. В заключение своей речи он объявил, что так как для изготовления русских блюд придется нанять знающего русскую кухню повара, то пусть уж этот повар готовит одновременно и для русских инженеров и для русских рабочих. Такое совместное и одновременное питание поведет к сокращению расходов, ибо при нем отпадет необходимость содержать двойной штат работников кухни.

Когда Железнов замолчал, Сабуро посмотрел на потолок, грустно вздохнул, как будто прочел на нем цифру убытков ресторана, и сделал руками такой жест, который был понят так: «Ну, что с вами поделаешь...»

Как только нашли подходящего повара, организовали званый обед, на который пригласили всю заводскую «знать» — директора Сабуро, его заместителя и контрметра Гропине — и, само собой разумеется, рабочих, с которыми работали в одной смене. Таким образом, «колючая проволока» буржуазной традиции о невозможности господам инженерам проводить время вместе с рабочими была сорвана.

С тех пор и русские приглашались в клуб и даже на елку к господину Сабуро все вместе.

Ребята подтянулись; правда, под фокстротную музыку танцевали нечто среднее между вальсом и полькой, с лихим пристукиванием каблуками, но, как кавалеры, пользовались заметным успехом. Даже дочь самого господина

Сабуро на одном из маскарадных вечеров отплясывала в белом матросском костюме танец матело с Фоминым.

На этой вечеринке большой успех имел Милов.

Он декламировал Маяковского по-русски и при этом так жестикулировал и вращал глазами, что слушатели, французы, не понимая ни слова, восторженно аплодировали.

Развлечения не мешали интенсивной работе практикантов. Усвоив конструкцию электролизной ванны, проделав затем все подготовительные к пуску ванн работы—формовку ванн, кладку угольных блоков, набойку угольной массы швов ванны и ее подины, установку механизмов на ванну и прочее,—они приступили к самому пуску ванн. Разбились на смены.

Так как к этому времени подъехал четвертый инженер — Прохоров,— то в каждой смене было по одному инженеру и одному рабочему. Пущенные русскими двадцать восемь ванн новой серии шли прекрасно, и практиканты, работая на них, распевали веселые песни...

Если их «тон и манеры» не очень-то нравились заводской администрации, то как даровая рабочая сила они пришлись ей весьма и весьма по вкусу.

Было поползновение использовать эту силу и в свободные от заводской работы часы. Но из этих попыток ничего не вышло, так как русские, кроме работы на заводе и постоянного «повторения пройденного», завели у себя ежедневные часы систематических занятий по поднятию общего образовательного уровня и повышению квалификации.

Здесь и у них произошло разделение.

Инженеры учили. Железнов преподавал технологию, Елизаров — химию, Лисенко — черчение и конструирование.

Рабочие учились.

Однажды на занятиях Железнов демонстрировал красный порошок лучшего в мире французского боксита.

— Ведь в нем всего только два с половиной процента кремнезема,— сообщал он,— и такого боксита во Франции в одном только департаменте Вар имеется месторождение, в котором пласт мощностью в тридцать метров тянется на шестьдесят километров. А вот съездим еще на другие разработки, так еще чего узнаем! Короче говоря, Франция

настолько богата этой замечательной по составу рудой, что если даже она станет добывать около миллиона тонн боксита в год, и тогда его запасов хватит на полвека.

— Эт-то да... — завистливо вздохнул Фомин. — И куда они девают этакую прорву?

— Двадцать процентов используют на нужды своей промышленности. Остальное идет на экспорт.

— Нам бы такие бокситы, — вырвалось у Рачинского, — мы бы показали работу!

— Во-о! — поддакнул Милов.

При этом восклицании он крепко сжал свой волосатый кулак и напряженно оттопырил большой палец. Убравшая комнату девушка рассмеялась незнакомому жесту.

Милову захотелось пригласить ее в кино. Считая, что его знания французского языка вполне достаточно, чтобы выразить свое предложение самым вежливым образом, он свернул руку кренделем и проговорил:

— Мамзель, айда в синема сегодня!

Девушка опять засмеялась.

— Есть такое дело, — заявил Милов, победоносно оглядывая товарищей.

С первым посещением кино тоже вышел инцидент. Указания господина Сабуро на то, что рабочие обычно занимают места, не смешиваясь с инженерами, запомнили. А вот кто идет наверх и кто вниз, перепутали. Ведь спокон веков и до наших дней известно, что «галерка» предназначена для малоимущих, а потому рабочие поднялись на балкон, а трое инженеров разместились в партере.

— Мы, кажется, зря выфрантились, — сказал Елизаров Железнову. — Погляди, соседи-то наши куда скромнее одеты.

Железнов спокойно пожал плечами.

— Сказано, чтоб лицом в грязь не ударить. Ну и сиди.

Когда в зале вспыхивал свет, трое франтов видели на себе дружелюбные взгляды мужчин. Приветливые улыбки женщин посылались в том же направлении. И настроение приподымалось.

В антракте сверху пришли Милов и Стогов, оба очень чем-то недовольные.

— Ни черта не понимаю, — сердито заговорил Стогов. — Сидим мы там, а публика не на картину, а на нас глазаеет. Девушки носики воротят, шепчутся...

— Кавалеры разряжены. У каждого на жилете золотая цепочка болтается и часики в кармашке выпячиваются... — тоже раздраженно проговорил Милов.

— Так что, у тебя руки небось по старой памяти зачесались? — пошутил Елизаров.

Милов так посмотрел на него, что тот понял бестактность своей шутки и мысленно дал себе слово больше никогда не касаться тяжелого прошлого товарища.

— Ясно, что места мы спутали, — поспешил он прервать неловкую паузу. — Рабочие — вон они, здесь. Сразу видеть, свой брат, ишь как сочувствуют! А кроме того, и обличие их и одежда подходящие.

Подошел Фомин, и вопрос окончательно выяснился.

— Вот влипли мы в историю! — пошутил он. — Сейчас сам Сабуро наверх пожаловал. Уселся рядом и выпучил на меня глаза: ты, мол, как сюда попал? А ну, потеснитесь, товарищи, мы наверх больше не ходим...

С этих пор в кино ходили все вместе. Впрочем, случилось это не часто, так как картины не нравились. Почти всегда были они на одну и ту же тему — любовно-альковные драмы, в которых главным «действующим лицом» неизменно бывала широченная двуспальная кровать.

9. «Vive URSS!»

К концу шестого месяца пребывания в Бейреде советские практиканты твердо решили осмотреть алюминиевые заводы альпийской группы.

Администрация завода всячески отговаривала их от этого намерения.

— Зачем это вам? Ведь вы электролизники, а электролиз в совершенстве поставлен здесь, на нашем заводе. И, кроме того, на заводах «Сабар» и «Сен-Жан» работает много белогвардейцев, и может произойти какой-нибудь нежелательный инцидент. Во всяком случае, если уж ехать, то, по крайней мере, одним инженерам, а рабочим вовсе ни к чему...

Но практиканты хорошо знали, что процесс электролиза поставлен на заводе в Бейреде далеко не в совершенстве и в этом смысле на заводах альпийской группы есть что посмотреть.

Возможность же «инцидентов» с белогвардейцами не пугала их ни в коей мере. Поездка была решена. Предстоял довольно долгий путь в автомобиле, и ребята решили запастись продуктами.

Пошли в соответствующий магазин. Уже закупили сыру, ветчины, хлеба, как вдруг заметили у прилавка худенькую девочку с корзинкой в руках.

Из сердитого брюзжания хозяина магазина и тихих, коротких реплик девочки стало совершенно понятно, что девочка просила отпустить в «последний раз» ей в кредит немного сыру и хлеба, обещая, что как только отец получит работу, он непременно сразу отдаст весь долг. А лавочник категорически отказывал.

— Слышали мы это «непременно отдаст»! Довольно! Если отец без работы, мать могла бы потрудиться...

— *Maman est malade!*¹ — чуть слышно шевелила девочка вздрагивающими губами и не уходила.

— А ну, ребята... — Милов переглянулся с товарищами, и все, как по уговору, переложили часть своих покупок в корзину девочки.

Добавив туда еще фруктов и коробку сардин, они расплатились за себя, погасили заодно и долг отца девочки и вместе с ней вышли из лавки. Она бежала впереди, поминутно оборачиваясь на своих спутников, которые несли ее корзину. Убедившись, что они следуют за ней неукоснительно, она сообщила им, что ее зовут Сюзанна, что отец ее после болезни никак не может найти работы, что ее брат Ришар живет в Париже, но прислал письмо, что тоже безработный, а две сестренки, Клод и Мариетт, совсем маленькие и не понимают, что раз отец без работы, а мать больна, не надо так часто просить кушать. Можно поиграть с кошкой — у них есть очень хорошенькая кошка, — а не реветь во всю глотку.

Перед угловым домишком она остановилась. На ее стук обитая рваной клеенкой дверь отворилась и показался изможденного вида мужчина в поношенном комбинезоне. Сюзанна, называя его «папá», что-то взволнованно ему говорила, указывая на корзинку с продуктами, которую Милов поставил на пороге.

Окинув коротким взглядом комнату, Милов поспешно отошел.

¹ Мама больна! (франц.)

— Тоже люди живут,— хмуро сказал он товарищам.

— Merci, merci, chers amis!¹ — донесся до них надтреснутый женский голос, когда они переходили дорогу, чтобы свернуть за угол.

Поездка на завод альпийской группы оказалась очень полезной. В отличие от пиренейской группы, работа на этих заводах велась не только производственная, но и научно-исследовательская. В этой группе были сконцентрированы многочисленные лаборатории.

На заводе в Сабаре (Sabart), куда русских экскурсантов пускали особенно неохотно, к их величайшей радости разрешился вопрос о корректировке ванн.

Вопрос этот занимал электролизников еще со времени их работы на опытном заводе в Ленинграде. Не раз еще тогда они обращались за его разрешением к французской консультации, на что обычно получали уклончивые ответы.

Только мастер Гропине обнадеживал:

— Вот будете во Франции на наших заводах — присматривайтесь внимательнее...

И присматривались. Стогов чуть не языком лизал засыпку ванн, а все ничего не выходило с раскрытием секрета.

А вот в Сабаре повезло.

Этот завод был самым новым и самым усовершенствованным.

Техническое его оборудование было значительно выше завода в Бейреде. Размеры электролизных корпусов в 117 метров длины и 30 метров ширины имели в высоту около 30 метров. Такая высота нужна потому, что грузоподъемные приспособления располагались в два ряда, один над другим.

Ряд пониже состоял из нескольких небольших, грузоподъемностью в 0,5 тонны каждый, кранов для подъема и опускания электродов.

Краны, расположенные в верхнем ряду (грузоподъемностью в 3 тонны), подымали ковши с металлом и отвозили их на розлив.

Корпуса построены из железобетона. Железные конструкции окрашены алюминиевой краской.

¹ Спасибо, спасибо, дорогие друзья! (франц.)

— Какой чистый воздух! — вдыхая полной грудью действительно ничуть не пахнущий фтористыми газами воздух, удивились экскурсанты.

Инженер, дававший объяснения, указал пальцем на открытые жалюзи в стенах и окнах здания.

— Естественная вентиляция, — пояснил переводчик.

Инженер-француз подвел экскурсантов к ваннам:

— Как видите, на этих ваннах конструкция кожуха выполнена из четырех железных швеллеров. Катодные стержни замурованы в подину. Аноды квадратного сечения.

— А как выполнен подвод тока? — спросил Железнов.

— Подвод тока к анодным шинам осуществляется с помощью пакетов из листового алюминия.

— А где лежат эти анодные шины? — задал вопрос Елизаров.

— В каналах, устроенных в полу вдоль ванны, — ответил инженер.

— А почему их не видно? — заинтересовался Стогов.

— Они прикрыты сверху железом.

— А почему?.. А для чего?.. А это что?.. А это для чего?.. — не переставали сыпаться вопросы.

Экскурсию водил довольно осведомленный инженер, но переводчик, бывший русский полковник Балашов, раздраженный неослабевающей любознательностью экскурсантов, стал или отделываться лаконическими ответами «да» и «нет» или сознательно искажал объяснения. Когда в его недобросовестности не осталось сомнения, Железнов заявил об этом администрации.

Пока по этому поводу шли переговоры, Стогов и Железнов отделились от экскурсантов и направились в лабораторию.

Там на одном из приколотых к стене листов увидели анализ фтористого алюминия.

— Это для чего? — спросил Стогов самым невинным тоном.

— А это для корректировки ванн, — ответил помощник заведующего лабораторией.

— И давно она ведется?

— Да, уже два года.

Услышав подтверждение своих давнишних подозрений о существовании корректировки, оба насторожились.

— Вероятно, эта корректировка имеет определенную систему? — как можно более равнодушным тоном спросил Железнов.

— О да, конечно, — ответил химик. — Нам дают криолит, мы производим его анализ. Криолит, как вам известно, двойная соль — фтористый алюминий и фтористый натрий. Соотношение этих солей должно быть как один к трем...

И чем безразличнее были по виду лица слушателей, тем больше хотелось химику-энтузиасту сломать это безразличие и тем старательнее объяснял он способ корректировки ванн.

Экскурсанты уже все поняли, когда в лабораторию вбежал запыхавшийся переводчик.

— Что ж вы разбежались? Не думаете ли, что я по двадцать раз буду переводить одно и то же?

— Пожалуйста, пожалуйста, — добродушно согласились экскурсанты и с самым кротким видом последовали за сердитым переводчиком.

Позже стало известно, что этому бывшему полковнику в случае реставрации царизма в России был уготован пост наместника Уссурийского края.

Очень хотелось русским посмотреть производство еще некоторых продуктов, но в этом им было категорически отказано.

Довольные и тем, что узнали, они направились в Сен-Жан де Морьенн.

На этом заводе впервые познакомились с печами-миксерами для плавки алюминия.

За сутки до выпуска алюминия из ванны бралась проба металла, чтобы к моменту его выпуска анализ алюминия уже был известен. Наличие такого анализа давало возможность изменять состав алюминия в печи, то есть получать металл желаемого состава.

Печи-миксеры (смесители) — их было три — очень заинтересовали оригинальным электрическим приводом, которым осуществлялся наклон печи для выливки.

Руководителя экскурсии снова засыпали вопросами:

— Для чего эти зубчатые колеса?

— Для чего эта извилинка?

— Чем разнится эта разливочная машина от той, которую мы видели в Сабаре?

И опять руководитель вытирал вспотевший лоб, а переводчик сокращал ответы.

Электродный завод показывали поверхностно. И снова напомнили:

— Ведь вас, собственно говоря, интересует электролиз.

— Нас, собственно говоря, интересует все на свете, — отвечали советские экскурсанты.

— Удивительно жадны! — пробурчал переводчик с таким расчетом, чтобы его услышали.

— Будьте уверены! — насмешливо успокоил Елизаров.

Когда направились к выходу, откуда-то сверху раздался сердитый голос по-русски:

— Таскаются тут, красные дьяволы...

Это белогвардеец-крановщик «приветствовал» своих соотечественников с десятиметровой высоты...

По дороге в Гренобль, где предполагалось осмотреть завод «Риуперу», ванны которого работали с непрерывными анодами, с увлечением обсуждали виденное в последние дни. Каждому хотелось проверить свое понимание устройства того или иного агрегата или ход процесса и сопоставить его с представлением, полученным другим товарщиком.

Француз, сидевший за рулем автомобиля, старался занять внимание своих пассажиров, — он то и дело указывал им на достопримечательные места, по которым они проезжали:

— По этому пути возвращался с Корсики великий Наполеон.

— Вот здесь он останавливался на ночлег...

— Этот памятник поставлен ему благодарными горожанами.

— Есть предание, что он отдыхал под сенью этих каштанов. Это было...

Шофер хотел подробнее рассказать о Наполеоне, но пассажиры не проявляли к этому предмету никакого интереса. Жуя бутерброды совсем не французского образца — ломти колбасы толщиной в палец, — они внимательно рассматривали образец силикоалюминия¹, взятого на заводе в Сен-Жане.

¹ Силикоалюминий — сплав алюминия с кремнием.

В Риуперу их сразу окружили необычайным «вниманием».

— Почетный караул! — пошутил Елизаров.

И действительно, целый эскорт из администрации окружил прибывших плотным кольцом... Ознакомление с заводом ограничилось одной экскурсией, которая все же дала возможность составить представление о новой конструкции ванн.

На обратном пути любовались непрерывно меняющимися альпийскими видами.

Так как шоссе круто спускалось с гористой местности, то на небольшом отрезке времени, немногим более трех часов, путешественники видели несколько «весен» — от самой начальной, вверху, до буйно распустившейся, в нижних долинах.

Особенно декоративно красивы были пышные виноградные лозы, покрывающие холмистые склоны гор, целые ковры разноцветных тюльпанов и еще каких-то незнакомых цветов с огромными, как у подсолнуха, венчиками.

Автомобиль мчался по гладкому, блестящему гудрону.

Свежий ветер повышал и без того бодрое настроение. Навстречу попадались торговцы, везшие для продажи на небольших грузовичках живых баранов, кроликов, овощи и прочую снесь. Меланхолически звенели колокольчики пасшихся стад, журчали быстрые горные ручьи.

На одном из крутых поворотов путешественники увидели, как крестьянин вспахивал небольшой клочок земли бороной, в которую была впряжена корова. И борона-то, собственно говоря, была не борона, а прибитый к доске металлический крюк, за которым тащилась связка хвороста, придавленная сверху камнями.

Корова была стельная и, когда кто-то погладил ее по круто вздымавшимся бокам, тихонько премычала, как бы жалуясь на свою участь.

— Просто глазам не верю! — вздохнул Рачинский. — Чтоб пахать на корове, когда на севере этой же Франции такое культурное сельское хозяйство... Помните, какие тракторы мы там видели?

— А рядом, — Елизаров взмахнул рукой в сторону Сен-Жана, — такая высоко развитая индустриальная техника.

После небольшой паузы Железнов протянул пачку сигарет хозяину коровенки — вертлявому и черному, как жук, крестьянину. Кто-то из ребят отдал ему сверток с остатками закуски. Крестьянин растрогался и стал кланяться, размахивая широкополой шляпой.

Шофер дал несколько нетерпеливых гудков, и все вернулись в машину.

Завод в Бейреде показался особенно жалким после возвращения из Сабара, Сен-Жана де Мориенн и Риуперу.

Начались приготовления к отъезду в СССР. Время тянулось медленно, хотя придумывались всяческие меры, чтобы этого не замечать. Совершали прогулки в горы, подымаясь так высоко, что попадали из лета в зиму. Елизаров носил с собой фотоаппарат и здесь, практикуясь в искусстве фотографа, уже не тиранил своих спутников, заставляя их принимать самые изысканные позы. Теперь жертвой его страсти фотолюбителя сделались горные пейзажи. Кроме того, вспомнив геологоразведочные экспедиции, в которых он принимал участие в студенческие годы, он с увлечением рассматривал встречавшиеся во время таких прогулок горные породы.

Однажды набрали на каменоломни. Здесь работали испанские крестьяне, бежавшие из родных деревень, разгромленных фашистами.

Стальные тросы врезались в мраморный массив. От него отделялись огромные глыбы, впервые подставлявшие свои бока солнечным лучам.

Испанцы работали по четырнадцать часов в сутки, получая при этом мизерную плату. Они крепко тискали руки неожиданных посетителей, в глазах которых светилось дружеское расположение. Слов ни те, ни другие не понимали, но немой и «вольный» перевод был сделан правильно, ибо его подсказала международная пролетарская солидарность.

Полиция бдительно следила за советскими людьми, но общение между ними и французскими рабочими неизменно росло.

Кроме встреч на заводе, встречались и в других местах. Дело в том, что заработок французского рабочего на заводе в Бейреде в то время не превышал шестисот—семисот франков в месяц. Чтобы свести концы с концами,

рабочие занимались еще приработком: кто открывал крошечную парикмахерскую, кто — мастерскую для починки часов, велосипедов, бакалейную лавчонку и т. п.

А всеми этими «учреждениями» русским постоянно приходилось пользоваться.

Особенно часто являлась надобность в починке велосипедов, которые были куплены при посредстве очень ловкого комиссионера. Он сумел убедить, что велосипеды, которые можно купить в Оро, — лучшие велосипеды.

Наши инженеры и снайпингачи: уплатили по семьсот франков за велосипед, красная цена которому была четыреста. Дома потом подтрунивали друг над другом по поводу этой покупки.

В особенности попадало Милову, который заплатил за свой велосипед на триста франков дороже из-за наличия у этой машины какого-то особенно хитроумного звонка.

Впрочем, велосипеды эти все же сослужили службу своим хозяевам, дав им возможность покататься по живописным окрестностям Бейреда.

Незадолго до отъезда велосипеды были проданы вместе с излишним гардеробом и обувью французским рабочим за такую мизерную цену, что покупатели считали все приобретенные у русских вещи как бы подарками.

Обоюдные симпатии закреплялись, таким образом, все больше. Только однажды они ненадолго пошатнулись. Это случилось вот по какому поводу:

В Саран-Кален — местечко, примыкающее к заводу «Бейред», — приехал бродячий театр. Его несколько фурташил на буксире автомобиль. Это был целый комбинат увеселительных предприятий: тут были и цирк, и карусель, и тир. Раскинулся весь этот табор вокруг «могилы Неизвестного солдата»¹ — бронзового героя, опирающегося на винтовку.

¹ Могилы Неизвестного солдата разбросаны по всей Франции в честь солдат, погибших в первой империалистической войне. Обыкновенно такая могила, в которой никто не похоронен, оформляется памятником, изображающим солдата в полной амуниции. Поза этого солдата, сделанного из камня, бетона или металла, неизменно печальная. На памятнике дощечка, оповещающая, сколько молодых людей было взято на войну из этой местности и сколько вернулось. Перед памятником горит неугасимая лампада. Чьи-то заботливые руки подливают в нее масло и приносят живые цветы. И часто, очень часто можно видеть у такой могилы скорбный женский силуэт,

И началось ловкое выуживание франков из довольно тощих карманов жаждущей развлечения молодежи. Она рассаживалась верхом на деревянных носорогах, ослах, львах и в лодках карусели и кружилась под плохонькую музыку в слепящем от солнца блеске стеклярусной бахромы, дутых шаров и прочих мишурных украшений.

Вдоль круга движущейся карусели были расставлены столбы с нацепленными на них кольцами. Тот, кому удавалось на ходу дотянуться до кольца и снять его, имел право следующий тур совершить бесплатно. Тут у русских заговорило «ретивое».

— Чирик-чирик! — вскрикивал Милов и, вытянувшись тетивой, схватывал на ходу одно кольцо за другим.

— Алле-гоп! — то и дело повторял обычно серьезный и молчаливый Миша Стогов и похлопывал одним кольцом о другое.

Фомин и Рачинский делали свое дело молча и серьезно, но не отставали от товарищей.

Разместившиеся в карусельных люльках молодые француженки выражали им свое одобрение веселым смехом и аплодисментами. Одобрение мужчин носило гораздо более сдержанный характер, но все же ничто, как говорится, не предвещало грозы.

Потом *les garçons russes*¹ направились в тир.

Первым решил попытать счастье Железнов.

По окончании рабфака он работал машинистом на железной дороге, потом учился в Институте народного хозяйства, и винтовки в руках ему держать не пришлось.

— Целься в петушка, — посоветовал ему Милов, — да прижми приклад покрепче к плечу.

Однако, как ни старался Железнов, один его промах следовал за другим под торжествующий хохот зрителей. Особенно радостно хохотал владелец тира.

Но бывшим ворошиловским стрелкам казались просто смехотворными «трудности» поставленных в тире мишеней. Они с мгновенным прицелом, без промаха попадали в разные предметы. При этом вертящиеся и качающиеся стеклянные шарики со звоном рассыпались вдребезги.

Милов, войдя в азарт, предложил:

— Я буду целить в пробки вот этих трех бутылок

¹ Русские ребята (*франц.*).

с посеребренными горлышками. Попаду — вино мое. Нет — платим стоимость.

Хозяин тира, поколебавшись, все же согласился. И... три фонтана шишучего один за другим забили с верхних полок тира. Публика неистовствовала.

— Bravo! — кричали испанцы.

— Bravissimo! — орали итальянцы.

— Bardzo dobrze! — аплодировали поляки.

А женщины всей этой разноязычной, возбужденной толпы посылали в сторону «русских тореадоров» восхищенные взгляды, улыбки и бросали им пучочки пахнущих лесом фиалок.

— Вот разошлись советские черти! — проворчал кто-то по-русски. А затем уже по-французски добавил: — А вы что уши развесили и стоите, как болваны? Видите, эти красные стрелки поднимают вас на смех перед дамами...

В толпе послышались угрожающие возгласы, и несколько французских парней придвинулись к Милову и Стогову. Те с готовностью стали снимать пиджаки. Но вовремя подоспевший Железнов, учтя положение, принял «чрезвычайные» меры: своеобразно раскупоренные бутылки с дешевым шампанским были оплачены хозяину тира и тут же распиты вояками несостоявшейся битвы.

В этот вечер дружные крики: «Vive URSS!»¹ — неоднократно звучали в районе карусели и тира.

Набежавшие было тучи враждебности были рассеяны и больше не сгущались до самого отъезда русских из Бейреда.

А когда наконец наступил этот день, провожать «ses russes braves et beaux»² потянулся весь Бейред и местечко Саран-Кален.

Вот опять маленький вокзал Бейреда.

Но те самые русские, которые несколько месяцев тому назад стояли на этом самом перроне небольшой одинокой группой, теперь шли по платформе, окруженные многочисленной толпой французских рабочих.

На привокзальной площади слышалось цоканье лошадиных подков, и жандармские мундиры синели сквозь легкую, как зеленая кисея, весеннюю листву.

¹ Да здравствует Советский Союз! (франц.)

² Этих храбрых и добрых русских (франц.).

— Беспокоятся,— кивнул в сторону конных полицейских Железнов.

— А может быть, это почетный караул? — пошутил Милов.— Ведь мы...— И замолчал — увидел опрометью бегущую к нему маленькую Сюзанну.

Запыхавшись, она обеими руками протянула ему букет фиалок и грациозно поклонилась.

— Ну что за вежливый народ! — смущенно произнес Милов и погладил девочку по голове.

Сюзанна подняла на него свои похожие на поднесенные ею цветы глаза и, улыбаясь, сказала что-то о своей матери и сестренках Клод и Мариетт. Потом указала на приближающегося к ним своего отца.

Подшел поезд. Некоторые французские рабочие купили себе билеты до Тулузы, чтобы проводить туда своих советских друзей. Оставшиеся крепко пожимали им руки.

— Vive URSS! — дружно звучало вдогонку тронувшемуся поезду.— Vive URSS!

Он уже набирал полную скорость, а из одного вагона все еще махали шляпами в сторону маленькой бейредской платформы, в конце которой виднелась детская фигурка Сюзанны и рядом с нею высокая сухощавая фигура ее отца с высоко поднятой рукой.

10. «Степи, как вы хороши!»

В течение зимы 1929—1930 года еще шли споры о местоположении площадки будущего алюминиевого комбината.

Автор проекта всего грандиозного строительства на Днестре — гидроэлектростанции, плотины, шлюза, заводов «Запорожсталь», Коксохимкомбинат, «Ферросплавы» и Алюминкомбинат — профессор Александров предлагал строить алюминиевый комбинат на левом берегу Днестра, ниже города Запорожье.

Были и другие предложения, вызывавшие ряд споров, но к весне 1930 года местоположение ДАКа было окончательно установлено. Ему была выделена часть площадки «А», отведенной под строительство всего Днепрокомбината. Она расположена на левом берегу Днестра, в полутора километрах от реки.

За две недели до официальной закладки комбината по его будущей площадке шагали два инженера — прораб и начальник строительства.

Стороны обширного участка уже были отмечены шестиметровыми столбами, вокруг которых чернели еще не успевшие высохнуть земляные холмики.

Оба инженера пристально рассматривали раскинутую кругом степь.

— С точки зрения географической площадка выбрана совершенно правильно, — первым нарушил молчание прораб. — Отсюда ближе всего к силовой установке.

— Это обстоятельство не столь уж существенно, — ответил начальник строительства. — Впрочем, теперь уже нечего рассуждать о преимуществах того или иного местоположения завода. Вопрос решен окончательно, и работы, как видите, уже начались.

Действительно, в центре площадки расхаживали геодезисты с нивелиром. Медные трубки прибора блестели, отбрасывая лучи уже по-осеннему беззнойного солнца.

Группа землекопов, налегая на лопаты с еще белыми рукоятками, рыла котлованы.

Невдалеке плотники тесали бревна. Свежие, сочные щепки падали на побуревшую траву.

— Маловато народу, — закуривая папиросу, сказал начальник строительства. — А первоначальный проект о выделении для нас рабочей силы с гидроузла отпадает безусловно...

— Да, работы на плотине сейчас настолько форсированы, что получить с нее людей, конечно, не удастся.

К инженерам подошел молодой белокурый паренек маленького роста.

— Здравствуйте. Я Мокин, бригадир землекопов.

— Здравствуй, бригадир. Как дела?

Мокин широко улыбнулся:

— Все в порядке, товарищ прораб. Нынче третий котлован копаем. Земля шибко разрыхлена — сусликов, видать, множество. Иной раз копнешь, а под лопатой цельное суслячье общежитие — коридорчики, чуланчики...

Подошел еще один рабочий с топором.

— Постой-ка, карапуз! — с добродушной строгостью отстранил он Мокина.

— Вот дали мне кличку, — проговорил Мокин с той же

сверкающей, белозубой улыбкой.— Нешто я виноват, что росточком мал!

— Как в котлован влезет, один вихор видать,— сказал плотник.— Чистый карапуз...

— Зато бригадир,— улыбнулся и прораб,— а тебе чего?

— Небось насчет своих ребят,— ответил за товарища Мокин.

— Правильно. У нас, товарищ начальник, порешили организовать бригаду плотников, и меня в бригадиры выбрали.

— Это хорошо, Волков,— коротко одобрил начальник.

— Народу мне добавить надобно,— сказал Волков.

Прораб вытащил блокнот и написал коротенькую записку.

— Ты отдай вот это табельщику. Сегодня к нему порядочно народу подбросили. Подберешь себе в бригаду.

— Должны быть и наши, криворожские,— проговорил довольным тоном Волков.— Я им письмо посылал, чтобы ехали сюда работать.

— А у меня ребята во-о! — Мокин поднял над головой кулак с оттопыренным большим пальцем.— Ребята как на подбор. Вчера шесть душ добавилось да сегодня целый десяток...

— По сколько кубометров котлован? — спросил начальник.

— Под фундамент электродного — двадцать семь. Это под башмаки для колонн...

— Так, так... Набирайте скорость, ребята. Третьего числа официальная закладка, и надо дать полный разворот работе.

После ухода инженеров бригадиры немного потолковали меж собой.

— Значит, как только мы заложим котлован бутом, так вы и приходите опалубку делать,— договаривался Мокин.

— Если арматурщики не задержат, за нами дело не станет,— обещал Волков.

— А для чего бы им задерживать?

— Надо полагать, не для чего. Десятник сулил кое-кого с плотины еще смануть. Там знаешь какой народ боевой! — И Волков повторил мокинский жест, обознача-

ющий превосходную степень любого положительного качества.

— Ну, бывай здоров, карапуз...

И бригадиры направились каждый к своей бригаде.

Геодезисты устроили из брезентового плаща нечто вроде навеса и собрались отдохнуть.

Маленький черный Глузман сейчас же достал из кармана брюк «Тараса Бульбу», лег животом на землю и, упершись локтями, стал читать.

Его товарищ Фесенко аппетитно жевал ломоть хлеба, смазанный повидлом.

— Ты бы на слух читал,— попросил он.

— Это уже нагрузка,— коротко ответил Глузман, продолжая чтение.

— А пошамать хочешь? — Фесенко протянул ему запасный кусок хлеба.

— Потри его раньше об свою повидлу, а так неинтересно.

Фесенко послушно приплюснул предназначенный Глузману кусок к своему и, отделив его, убедился в наличии повидла и на нем.

— На...

Глузман заработал челюстями.

— Ну ладно, слушай,— сказал он через несколько минут.— Здесь как раз об этом самом месте написано, где мы с тобой лежим.

Фесенко быстро повернулся на бок, лицом к товарищу.

— Про цей степ?

— Вот именно,— солидно подтвердил Глузман. И, откашлявшись, начал:

— «Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию до самого Черного моря, было зеленою девственною пустыней. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений; одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытаптывали их.

Ничего в природе не могло быть лучше: вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые васильки; желтый дрок выскакивал вверх своею

пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их стеблями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и устремив глаза свои в траву. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вот она мелькает в вышине и кажется только черною точкою; вот она перевернулась крыльями и блеснула перед солнцем... Черт возьми вас, степи, как вы хороши...»

— Ух, черт возьми,— восторженно вырвалось и у Фесенко,— вот это напысав — так напысав!..

Глузман строго посмотрел на него:

— Видишь, это таки две большие разницы, если сравнить степи, которыми восторгался Гоголь, с теми, которые мы имеем на сегодняшний день.

Он присел и оглянулся вокруг, как бы проверяя свои только что сказанные слова.

— На этих степях вырос социалистический Донбасс. А что это значит? Это значит, во-первых, рождаются Днепрострой и Днепрокомбинатстрой. Во-вторых, построен новый Краматорский завод. В-третьих, строится Луганский паровозный завод, который будет выпускать в год больше тысячи сверхмощных «Феликсов». В-четвертых, возьмем нашу Одещину, Херсонщину, Приазовье... Сколько в них колхозов, сколько МТС, сколько тракторов... И уже не случайно заброшенный колос вызревает на колхозных полях, а сотни тысяч центнеров золотой пшеницы, кукурузы, подсолнуха... А эти самые цветы — кашки, дроки и волошки — делают сено Украины таким душистым, что не только скот, а, кажется, человек от него здоровел бы.

— Ну, это уж ты, братишка, забрехался,— перебил Фесенко ораторствующего товарища.

— Что значит забрехался? — возразил тот. — Ты когда-нибудь ночевал на таком сене?..

И вдруг оба геодезиста подняли головы.

В небе, похожий на помянутого Гоголем ястреба, распластался и как будто неподвижно замер аэроплан. Под ним, немного ниже, другой, подобно гоголевской чайке, «роскошно купался в синих волнах воздуха». Вот он как

бы пропал в вышине и только мелькает одной черной точкою, вот летчик, делая петлю, перевернулся крыльями вниз и блеснул на солнце их серебристой алюминиевой оболочкой.

— Чем не красота? — указывая на самолет затуманившимся взглядом проговорил Глузман.

Фесенко встал на ноги, потянулся и осмотрелся кругом.

— А тут, на земле, доски, песок, бут, кирпич...

— Да это сейчас, — возразил Глузман. — А вот года через два закурят свои трубы новые, первоклассные заводы стали, алюминия, ферросплавов, и, может быть, на этом самом месте, где мы сейчас с тобой сидим, будет стоять электролизный корпус, и, может быть, на этих самых двух метрах будет стоять первая электролизная ванна и из нее именно будет вылит первый советский алюминий...

Забрав инструменты, геодезисты вновь принялись за работу.

— А когда еще считаешь? — Фесенко кивнул на торчащую из глузмановского кармана книжку.

— На выходной я обещал ее Мокину. Они ее вслух на весь барак читают.

— Так ведь выходной послезавтра.

— Вечером читаем, — уже сердито отозвался Глузман. Он не любил разговаривать о посторонних вещах во время работы.

11. В добрый час!

Третьего числа сентябрь 1930 года щегольнул одним из своих прозрачных, золотых дней. Легкий ветер, играя, гонял по желтой степи ажурные шары перекасти-поля. Паутина плавала в воздухе переливчатыми на солнце, голубовато-сизыми шелковинками. Горьковато пахло сухой полынью.

Со стороны плотины и от Запорожья шли стройными колоннами люди, двигались медленно автомобили, грузовики, тачанки. По железнодорожной ветке стучали колеса поезда, украшенного флажками и зеленью.

Все это направлялось к месту закладки алюминиевого комбината, на торжественный митинг.

Его открыл секретарь райкома.

— Продукция нашего алюминиевого завода, — говорил он, — оставит в золотом фонде советских республик то золото, которое до сих пор уходило за рубеж, в уплату за импортный алюминий. Наш алюминий повернет обратно в наши гавани уходящие за границу пшеницу, лес и шерсть. И чем скорее мы выстроим закладываемый сегодня комбинат, тем больше нашего добра — золота, хлеба, нефти, хлопка, леса и многого другого — останется в пределах нашей страны.

Начальник Объединенного днепровского строительства Винтер указывал будущему рабочему коллективу алюминщиков на людей плотины, которые «показали миру неслыханные рекорды социалистического труда и высокую продуктивность его методов». Он разъяснял значение закладываемого алюминиевого гиганта, возникающего возле Днепровской гидроэлектростанции, которая будет питать его своим током, то есть создаст для него ту необходимую «высшую техническую базу», каковою является электроэнергия в деле индустриализации нашей страны.

Его речь покрывалась криками «ура», а после ее окончания запели «Интернационал», который звучал как-то по-особенному торжественно на просторах еще не тронутой степи.

Ораторы говорили о политическом значении Алюминкомбината, о роли алюминия в обороноспособности Советского Союза, в народном хозяйстве страны и ее культурно-бытовой жизни.

Взрывы аммонала на скальных работах звучали мощным аккомпанементом к речам выступающих представителей заводов Запорожья, партийных, комсомольских и общественных организаций, посланцев украинских и московских газет.

Интересные цифры сообщил собравшимся директор Алюминкомбината:

— У нас в СССР все потребности в алюминии покрывались исключительно за счет импорта, который неудержимо рос из года в год. В прошлом, 1928/29 году ввоз алюминия намного превышал ввоз 1927/28 года. А в этом году мы расходуем на его покупку десять миллионов золотых рублей. Если учесть хотя бы минимальную потребность СССР в алюминии — а она составит в 1929/30 году 10 980 тонн, в 1931/32 году — 52 000 тонн, а в 1932/33 го-

ду — 73 000 тонн, — то уже из этих цифр можно заключить, какую колоссальную сумму денег мы должны были бы заплатить валютой.

Остановившись на условиях, при которых может развиваться алюминиевая промышленность, директор Аллюминкомбината оттенил первенствующее значение, которое будет в ней занимать будущий ДАК. Он рассказал вкратце и о назначении каждого из заводов, входящих в состав комбината.

Глиноземный завод будет давать окись алюминия.

Электролизный будет перерабатывать в электролизных ваннах эту окись в металлический алюминий.

Электродный завод будет производить аноды для электролизных ванн.

К началу пуска ДАКа предполагается иметь до 3000 рабочих. А поскольку производство алюминия — дело новое, то весь состав рабочего коллектива должен быть подобран из квалифицированных людей.

— Где же мы их возьмем? А об этом мы уже позаботились. Часть рабочих изучали и изучают производство алюминия на Ленинградском опытном заводе, другая — на Подмосковной опытной станции, группа будущих эксплуатационников учится за границей. Здесь, на месте, создадим разнообразные производственные курсы и ФЗУ, которые будут выпускать молодые кадры алюминщиков.

— Сейчас, — заканчивая свою речь, сказал директор, — вся общечеловечность Днепровского строительства должна сосредоточить свое внимание и силы на том, чтобы закладываемый сегодня Алюминиевый комбинат рос не по дням, а по часам и был готов в указанные партией и правительством сроки.

В речах других ораторов тоже звучала уверенность в том, что у нас будет свой алюминий, ибо этого хотят партия и рабочий класс.

По окончании выступлений начальник Днепростроя Винтер вместе с несколькими рабочими направился к одному из котлованов, держа в руках кельму.

Рабочие несли большой четырехугольный камень, на котором была высечена пятиконечная звезда и дата: «1930 г. IX».

Винтер стал на положенные у котлована доски. Рабочий помоложе, спрыгнув в котлован, протянул Винтеру руку.

— Помочь, что ли, Александр Васильевич?

Опершись на его руку, Винтер сошел по лесенке в котлован. За ним спустились еще трое рабочих. Сверху подали исторический камень и ведро с бетоном.

Разбросав бетон кельмой, Винтер поставил на него камень.

Один из бетонщиков снял картуз, обтер лоб фартуком и проникновенно сказал:

— Ну, значит, в добрый час...

Винтер тоже вытер лоб белым платком и поднял кепку.

Когда ее край показался над котлованом, грянуло мощное «ура» и духовой оркестр трижды проиграл ликующий туш.

Митинг закончился торжественными звуками «Интернационала». Затихли людские голоса. В небе зажглись звезды. На землю спустилась украинская ночь.

А потом пришли насыщенные трудовой борьбой будни.

По уже подготовленной насыпи железнодорожной ветки от станции Шлюзовой к комбинату срочно прокладывались рельсы.

По ним пошли составы поездов с цементом и бутовым камнем, платформы с золотым евпаторийским и сероватым днепровским песком.

Сгружались пахнущие смолой доски для первых киосков-буфетов, обслуживающих рабочих. Бревна и брусья с грохотом сваливались вместе с рельсами для узкоколейки, которая змейкой вытягивалась между будущими колоннами цехов, для подвозки материалов непосредственно к рабочему месту.

Не хватало вагонеток. Их заменяли вагонетками-лотками, неудобными для перевозки бута, но других не было, и с этим приходилось мириться.

Подвозилось арматурное железо. Спешно устанавливались бетонолитные башни.

Согласно разработанному производственному плану бетонные работы на строительстве ДАКа должны были вестись литым бетоном. Советские механики изменили импортные бетонолитные башни «по образу и подобию», собственным условиям социалистической стройки.

В то время как импортные металлические башни стоили по 65 тысяч рублей золотом, башни советской конструкции обходились около 18 тысяч рублей. Таких башен

на строительстве Аллюминиевого комбината было воздвигнуто десять.

Первая башня была установлена на товарной платформе и могла передвигаться по проложенным на площадке рельсам.

Ее неимоверная высота в пятьдесят четыре метра определяла дальность расстояния подачи бетона. Подымаемый на ее верхушку в бадьях бетон весом полтонны направлялся находящимися там рабочими по двум желобам, расположенным по обеим сторонам башни, к сводам здания.

Пройдя по желобам, бетон вручную равномерно распределялся бетонщиками, которые направляли этот непрерывно льющийся тяжелый ручей по местам, подлежащим бетонировке.

Многие из рабочих впервые видели эти диковинные сооружения и неохотно соглашались подыматься на их верхушку.

Во время сильного ветра башня раскачивалась из стороны в сторону, и сидящие наверху бетонщики в таких случаях не раз требовали, чтобы была подана бадья для спуска их на землю.

Однажды случилось так, что рабочий, стоящий у мотора, с помощью которого производились подъем и спуск бадьи, спустил ее со стремительной быстротой. Могло бы произойти несчастье. Но перед «приземлением» бадьи рабочий спохватился и успел задержать ее спуск. Бетонщик вышел из бадьи бледный, как мертвец.

— Хорошо, что башня такая высокая, — подшучивали над ним товарищи, — ты с нее, как парашютист, спустился.

После этого случая, по требованию отдела охраны труда, для спуска с бетонолитной башни была сделана лестница.

Уже к концу осени на строительстве можно было бы разместить до 1500 рабочих, фактически же работало человек 300.

Сначала, когда транспорт не был в состоянии обеспечить строительство материалами, вопрос о количестве рабочих не стоял так остро. По мере же налаживания завозки материалов этот вопрос становился самым основным.

Через учрабсилу ежедневно проходило по двести человек, но почти все они стремились на строительство электростанции и плотины, где, как на особо важном, сверхударном участке, условия работы были более заманчивы.

Дирекция Аллюминиевого комбината требовала рабочих. За ними направлялись и специальные вербовщики в самые отдаленные углы Союза.

Из низкосортного боксита, из каолиновых глин путем их сложной и длительной переработки получается рафинированный металл — алюминий.

А из малограмотного, а то и вовсе неграмотного крестьянина, завербованного для работы на Аллюминиевом комбинате, через несколько лет пребывания на нем тоже получался опытный бригадир или мастер, который не только прекрасно справлялся с возложенной на него работой, но умел передавать свои знания и менее квалифицированным товарищам.

Вот приехала на станцию Александровск партия завербованных. С вокзала их везут на левый берег Днепра, и приемочный барак. Там они складывают свой немудреный багаж — обычно деревянный сундучок и подушку в цветастом напернике, завернутую в одеяло из пестрых ситцевых лоскутков. Затем они проходят санобработку, после которой в медпункте, по приказанию врача, дышат глубоко или вовсе не дышат, открывают белозубые рты и отвечают на вопросы, среди которых бывают такие, что парни смущенно крикают, а у девушек и женщин вспыхивают щеки.

Первую ночь на новом месте этому народу обычно не спится: еще шумит в ушах длительный стук вагонных колес, еще плывут перед глазами станции и полустанки, еще звучит в ушах людской говор, еще щемит сердце грусть по оставленным дома, и родные лица так неотступны, что кажется — протяни руку и коснешься мокрых от слез щек... В бараке то в одном конце, то в другом слышатся вздохи. Но вот приходит утро, наскоро пьют чай с остатками дорожной пищи. Хлеб еще тот, что положила в мешок мать или жена. Есть еще и кусок пирога с подсохшей начинкой. Но надо торопиться. Из отдела кадров пришел сотрудник.

— Граждане, — говорит он, — захватите документы и поидемте со мной на регистрацию,

В отделе кадров в окне регистрации документов сотрудница принимает из загорелых рук белые, серые и синие туго свернутые удостоверения и справки с неизменными печатями учреждений. Она бегло просматривает их и раскладывает по ящикам с алфавитами.

Это первая сортировка прибывшего на комбинат рабочего люда. Затем идет спрос о специальности.

Тех, кто может сообщить о себе только то, что он из такого-то колхоза или села, направляют на участок работ, с которого поступило требование на чернорабочих. Их же заносят в список производственно-технических курсов — ПТК — первую обязательную ступень обучения на пути к освоению будущей работы.

ПТК имеют в своей системе и раздел повышения квалификации. И если в документах у завербованного есть указания о том, что он имеет второй или третий разряд, то его направляют в ту группу, которая квалифицируется на третий и четвертый разряды.

В помощь малоуспевающим были созданы кружки, руководители которых объясняли им процесс работы непосредственно на рабочем месте.

С самого начала строительства были организованы вечерние школы по ликвидации неграмотности, которые проводили свою работу под лозунгом: «Ни одного неграмотного рабочего не должно быть вне вечерней школы».

Большим бедствием в этот период создания комбината была текучесть рабочей силы. Завербованные и самостеком прибывшие на строительство люди оставались на нем только на «сезон», то есть до начала весенних полевых работ. А иногда попадались и такие, которые, получив по промталонам белье и одежду, удирали на другое место. Чтобы устранить это тяжело отражающееся на развороте работ явление, принимались меры к улучшению бытовых и материальных условий для устойчивости контингента рабочих.

Прежде всего было обращено внимание на жилищный вопрос. В бараках в то время размещали по шестьдесят — семьдесят человек. Поступит какой-либо плотник или землекоп на работу, дадут ему в этом наскоро сколоченном общежитии койку, а недели через две явится к нему жена с двумя-тремя ребятами в наличии и зачастую еще одним в недалеком будущем.

А так как на одной койке целому семейству жить никак невозможно, а «семейных» бараков еще не было, то соберет глава такой семьи свои пожитки и отправляется со стройки «до своей хаты».

Хозяйственные организации в срочном порядке завозили стройматериалы для ударной стройки новых бараков.

Решительную и упорную борьбу с текучестью рабочей силы повели также райпартком и комсомольский актив комбината. На объединенном совещании по этому вопросу была вынесена резолюция, в которой указывалось, что главными причинами текучести являются плохие жилищные и бытовые условия и отсутствие культурно-массовой работы среди прибывающих рабочих.

Совещание пришло к выводам, что за чистый и уютный барак, за коренное улучшение общественного питания в первую очередь должны отвечать комсомольская и партийная организации.

Для улучшения быта было постановлено организовать комсомольские ударные «тройки», на обязанности которых возлагалось:

1. Добиться достаточного количества газет, журналов, книг, плакатов, лозунгов и пр.

2. Выделить редколлегия для выпуска стенгазет в бараках. (Эти газеты должны были освещать бытовые и производственные вопросы.)

3. Произвести учет неграмотных и малограмотных и организовать с ними занятия.

4. Пересмотреть совместно с профессиональными и партийными организациями штат домкомов и комендантов, выдвигая на эту работу партийцев и комсомольцев.

5. Организовать комсомольцев и жильцов бараков на древонасаждение и прокладку тротуаров от барака к бараку.

Отчет о проделанной по этой резолюции работе секретари ячеек должны были представить к очередному собранию.

Началась большая агитационно-массовая работа.

— Вы уже не сезонники, товарищи, а промышленные рабочие,— говорили агитаторы вновь прибывающим на

строительство грабарям, землекопам, каменщикам и плотникам.— Сейчас многие из вас умеют держать в руках только топор да лопату. Но знайте, что уже сейчас на нашем строительстве, под непосредственным руководством партийных, комсомольских организаций и рабочкома, создаются вечерние школы по ликвидации безграмотности и курсы по поднятию квалификации и переквалификации рабочих.

— Кого же будут готовить эти курсы?

— Электромонтеров, электросварщиков, крановых и дерриковых машинистов, такелажников крановых погрузочных и разгрузочных работ, паровозных машинистов, кочегаров и их помощников, стрелочников, сцепщиков, составителей вагонов, водопроводчиков, токарей, разметчиков, десятников строительных и геодезических работ, чертежников, кладовщиков, кассиров, счетчиков, табельщиков, и прочее, и прочее.

Все эти специальности понадобятся, конечно, не только одному Аллюминиевому комбинату, но и всем другим создаваемым на Днепре предприятиям. И вы сможете поступить на любой из будущих заводов, выбрав ту профессию, которая вам больше по душе.

А когда мы построим заводы, которые войдут в Аллюминиевый комбинат, им понадобятся новые кадры — глиноземщики, электролизники, электродчики. Организуются курсы и ФЗУ для подготовки и таких специалистов. Перед каждым из вас откроется возможность приобрести и эти специальности. Надо только уметь мужественно, побольшевистски, перенести трудности первых месяцев стройки, когда еще нет хороших бараков, когда еще не налажено питание и другие условия быта.

12. Интернациональная бригада

Нужный стройке народ подбирали постепенно. Большая часть это была колхозная молодежь.

В ее «серую массу» проникала комсомольская прослойка.

Если присланные из центра квалифицированные рабочие, состоявшие на 85 процентов из членов ВКП(б), работали по своей специальности, то мобилизованные на строительство комсомольцы выполняли любые работы.

Ярким примером этому служила бригада Мокина.

Формально землекопы, мокинцы в случае необходимости неоднократно бывали загрузчиками бетономешалок, бетонщиками и пр.

В азарте работы Мокин один подымал окоренок с бетоном, и с тех пор руки у него дрожали даже после тяжелой ноши.

Бригада Мокина представляла большой интерес и в другом отношении. Она была «интернациональная»: в ней было пять евреев, шесть украинцев, два татарина, один поляк, один грузин, один чуваш и несколько великороссов.

В моменты недовольства и раздражения каждый, горячася, переходил на свой родной язык.

Когда же работа спорилась и ребята были сыты, они каким-то образом ухитрялись петь хором «Ой, на горі жниці жнуть» и «Випрягайте, хлопці, коней». И пели настолько стройно, что даже получали от других бригад «заказы» на исполнение излюбленных песен.

И когда бригада дружно пела, Мокин любил пофилософствовать:

— Вот, может быть, прапрадеды именно этих украинцев, татар, поляков и евреев так страшно враждовали друг с другом, как это описано у Гоголя.

И он вспоминал прочитанные страницы великого писателя о том, как поляки засыпали осаждавших их город запорожцев картечью, а когда запорожцы взбирались на крепостной вал, поливали их варом, били камнями и слепили глаза песочными ливнями.

Запорожцы в свою очередь «напускали табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом, где, как нарочно, колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, щедро наградившего в ту пору всех земледельцев».

Вспоминал, как казаки топили в Днепре жителей целых еврейских поселений, как ходили «гулять» на татарщину, как головы запорожских воинов развозились по ярмаркам, напоказ народу. И Мокин радовался тому, что в его «интернациональной» бригаде, как в микрокосмосе будущего содружества всего коммунистического человечества, рука об руку работают татары, поляки, евреи и украинцы.

О своих достижениях бригадира-ударника и своей личной жизни Мокин писал в воронежскую деревню матери:

«Мамаша, дела наши очень хороши. Идем на всех парах к коммунизму. Живу я очень чисто, рубаху меняю под выходной. Себя берегу и сапоги тоже, как вы приказали. Бутсы, что взял, ношу на работу, а футбола не употребляю — некогда. Погода у нас, можно сказать, всегда теплая. Люди все на ять, харчи хорошие, так что все в порядке, и вы, мамаша, не беспокойтесь.

С комсомольским приветом ваш сын *Мокин Вася*».

Заклеив однажды очередное письмо к матери, Мокин стал раздеваться. Долго с сокрушением смотрел на бутсы, которые, несмотря на провололочную обвязку, едва держались на ногах.

Ясно было, что футбольного поля им в жизни не придется больше потоптать.

Уже совсем устроившись на койке, Мокин вдруг вспомнил, что Костя Силин как-то подозрительно себя вел на работе — часто садился отдыхать, ерошил то и дело свои вьющиеся, густые волосы, вздыхал.

«Не задумал ли прогул сделать? — мелькнула тревожная мысль. — Сорвет, обязательно сорвет показатели... И на всю бригаду тень упадет...»

Мокин вскочил с койки и поспешно оделся.

Через четверть часа он уже сидел на постели в ногах Силина и кротко увещал его:

— Сам я знаю, что ты запарился, что холодновато стаёт работать... А все-таки, Силин, голубчик, выходи завтра!

— Не выйду, — качнул головой Силин. — Сегодня дождь лупит, я кашляю, а ты вот это видал?!

И он поднес свои ноги к самому лицу Мокина.

Сапоги Силина оскалились, как мелкими зубами, деревянными гвоздиками.

Мокин улыбнулся:

— А мои бутсы тоже. Погляди-ка...

Силин покосился на них, подумал и вдруг решительно проговорил:

— Приду.

— Твердо это, Силин?

— Приду. Спокойной ночи. — И он повернулся лицом к стене.

На работу хотя и с опозданием, но он действительно пришел.

В этот день Мокин получил талоны на обувь и брюки для лучших членов своей бригады.

Собрав по обыкновению ребят, он зачитал им свою месячную сводку о приходе на работу каждого из них.

— Вот видите, товарищи, наша бригада единственная в том, что у нас нет ни одного прогула. Опоздания же имеются. Ты, Митя, опоздал.

Вихрастый паренек с блеклыми глазами запротестовал, сильно окая:

— Подумаешь, опоздал на минутку разок...

— А все же опоздал,— продолжал Мокин.— И ты, Силин, опоздал раз на пять минут и сегодня на семь... Так кому же нам давать талоны: кто аккуратный на сто процентов или тем, у кого есть, скажем, изъяз? Я так полагаю, что этим товарищам, которые опоздали, обождем пока давать.

— Правильно! — одобрила бригада.

Митя ругнулся вполголоса, а Силин хмуро молчал.

Вечером, зайдя на Тринадцатый поселок, Мокин заглянул на минутку к Силину.

— Пока простужен, поноси мои...— И положил возле Силина свои почти новые сапоги.

Приближалась зима, и надо было в возможно короткие сроки построить тепляки — огромные утепленные сараи в 166 метров длины, 30 метров ширины и высотой около 2 метров.

От быстроты сооружения этих тепляков зависел успех выполнения плана бетонных работ по заливке колонн для электролизного завода, цехи которого строились в первую очередь.

Четыре таких сарая вытянулись на площадке благодаря ударной работе плотницких бригад.

Самой передовой из них была бригада Волкова. Она пользовалась большой популярностью: никто не вырабатывал так много, никто не получал столько премий, как эта бригада. Понятно, что всякому вновь пришедшему на строительство хотелось попасть именно в бригаду Волкова.

Зашел как-то этот бригадир в контору к табельщику. В это время у стола стоял молодой плечистый парень.

— Ну ладно, товарищ Вушколенко, становись на работу, — видимо, заканчивал с ним разговор табельщик.

— Только я хочу в бригаду Волкова, — сказал парень.

— А ты с ним согласовал? — вмешался в разговор Волков.

— А то як же! — не мигая соврал Вушколенко.

— А где ты его видел?

— А там, — показал Вушколенко куда-то в пространство.

— А какой он из себя? — продолжал спрашивать Волков.

— Та що ти до мене причипився? — рассердился Вушколенко.

— А ты все-таки скажи, потому что он мне тоже нужен.

— Ну, людина як людина...

— Похож на меня? — улыбнулся Волков.

Табельщик засмеялся, и Вушколенко догадался, что его «разыграли».

— Ну, смотри, — сказал Волков, — даю шесть дней сроку. Будешь хорошо работать — останешься, нет — иди в другую бригаду.

Вушколенко скоро стал ударником в своей бригаде, а весной, на первомайском параде, он с гордостью нес переходящее красное знамя, привезенное строителям Аллюминиевого комбината симферопольскими рабочими.

Одним из первых барачков, выросших недалеко от строительной площадки, был барак, выстроенный также бригадой Волкова.

В нем уже с первых дней его существования были установлены чистота и порядок.

Кто-то из доморожденных плакатистов, пожелавший из скромности остаться неизвестным, вывесил на стене два листа бумаги. На одном был изображен рисунок — койка, а на ней какое-то бревно в сапогах. Под рисунком было старательно выведено двустишие:

На койку в чоботах не лазь,
Не заноси на койку грязь.

Другой плакат был чисто лозунгового характера:

«Товарищ! Плюя на пол, ты плюешь на новый быт!»

13. Alma mater¹

В связи с приближением пуска заводов Союзалюминий постановил открыть школу ФЗУ, которая должна была готовить молодые кадры рабочих, требуемых уже исключительно для Алюминиевого комбината.

Это постановление проводилось в жизнь в спешном порядке.

В то время, когда будущая «альма матер» фабзаучников еще не имела крыши, окон и дверей, из Харькова и Москвы уже поступало оборудование для ее кабинетов, книги для библиотеки, шкафы, столы.

В партийных и общественных организациях припимались меры к обеспечению своевременного открытия школы и к тому, чтобы учащиеся прошли необходимый отбор.

Как только стало известно об открытии ФЗУ, сюда начала стекаться молодежь, не только та, у которой родители работали на днепровских сооружениях, но и из далеких колхозов.

Было решено принять четыреста пятьдесят человек, но хотя эта цифра была сразу же превышена на двадцать человек, желающих попасть в училище было гораздо больше.

Набор был произведен, но срок начала занятий все откладывался из-за неготовности помещения. Однако те счастливцы, чьи имена числились в списке принятых в ФЗУ, на всякий случай заглядывали в еще не остекленные окна училища.

«А что, как занятия начались, — рассуждали будущие ученики, — а если я не приду, меня могут исключить...»

И на всякий случай паренек по фамилии Бычков через день совершал «прогулку» из своего колхоза на комбинат — по десять километров туда и обратно.

Его товарищ Буров, работавший в совхозе на Хортице, ежедневно в обеденный перерыв мчался к зданию ФЗУ с той же целью — узнать: «А вдруг уже занимаются?» Восемь километров надо было успеть покрыть за часовой обеденный перерыв.

Не ближе было и Панасу Охрименко из Павло-Кичкаса, но и он тем не менее наведывался сюда в чайнии

¹ Почтенная мать, здесь: родная школа (лат.).

увидеть свою фамилию в дополнительном списке принятых.

Те из будущих фабзавучников, которые прибыли из далеких районов, не видели смысла уезжать обратно и терпеливо ждали открытия ФЗУ, перебиваясь временным заработком и не требуя для себя какой бы то ни было жилплощади.

По вечерам они зажигали неподалеку от ФЗУ костры, варили на них галушки и кашу, кипятили воду и чувствовали себя как запорожцы времен Тараса Бульбы у обложной ими крепости.

«Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле,— говорил тогда Бульба своим сынам, которые начинали тяготиться затянувшейся осадой,— а тот добрый воин, кто и на бездельи не соскучит, кто все вытерпит, а хоть ты ему что хочь, а он все-таки поставит на своем».

Так осаждался будущий бастион учебы, пока наконец в последние дни августа в здании ФЗУ не приступили к настилке полов, штукатурке стен, навеске дверей и пр.

Сентябрьское утро было такое тихое и теплое, что кое-кто из рабочих, живущих на Павло-Кичкасском поселке, спешили к Днепру, чтобы успеть искупаться до гудка.

Река спрессованно сбрасывала с себя белое одеяло тумана и лениво лизала берег, почти до самой воды заросший сизой капустой. Огороды окаймлялись стройной шеренгой подсолнухов, которые еще не успели поднять навстречу солнцу свои украшенные желтыми венцами тяжелые головы.

У правого берега чуть покачивался на волнах небольшой катер. Над его трубой вился едва заметный дымок.

На строящейся плотине, среди ряжей деревянной опалубки, и кое-где на обоих берегах еще горели редкие электрические огни, уже ненужные при щедро разлившемся утреннем свете.

Дед Охрименко вышел из своей хаты на краю поселка, посмотрел на пламенеющий восток, почесал желтоватую, похожую на кукурузную метелку бороду и, зевая, перекрестил беззубый рот. Потом откинул ставень с подслеповатого оконца своей ссутулившейся хаты.

Вернувшись в нее, он принялся будить спавшего внука. На это понадобилось немало времени, потому что парень никак не умел сразу вырваться из цепких лап крепкого сна. И на этот раз он отбрыкивался от деда сильными, мускулистыми ногами, бодал взлохмаченной русой головой и мычал что-то несуразное, упрямое.

— А бодай ти сказився! — рассердился наконец дед. — Мені вже самому треба йти до контори, а я з цим ледащим хлопцем панькаюсь...

И дед стал собираться на работу, не переставая ворчать. Он попрекал внука и в безбожничестве и в курении табаку, но больше всего в лжеударничестве, которое не могло быть настоящим, если Панаска был такой любитель поспать.

Дед высказал еще немало горьких мыслей, сдобренных нелестными эпитетами по адресу внука.

А тот дремал под эти речи, как под колыбельную песню, которой лет пятнадцать тому назад его баюкала мать.

Вдруг дед вспомнил, чем можно мгновенно разбудить Панаса:

— Чуешь, Панаска? Люди говорили, что сегодня будет объявлено, кого из хлопцев приняли в ФЗУ.

Панаска ловким движением физкультурника вскочил на ноги.

— Правда, дед, или брешете?

— Может, люди брешут, тогда и я брехню говорю, — уклончиво ответил дед и стал натягивать пиджак.

— Дедушка, мне Ной приснился, — потягиваясь и выпячивая и без того крутую грудь, сказал Панас.

— Вот это брешешь, — уверенно отозвался дед.

— Ей-богу, правда. Поспорили мы с вами вчера насчет того, что поднятый плотиной Днепр зальет десятка три сел?

— Ну, поспорили, — согласился дед.

— Вы говорили, что этого не может быть, потому что в Ветхом завете сказано, что после Ноя потопу не будет?

— Конечно, не будет, — подтвердил еще раз дед.

— Ну, так мне и приснилось, что приходит будто до нас с вами Ной, старый такой, как вы, но в одних трусах и бутсах. Приходит будто бы и говорит: «Ввиду того, говорит, что коммунисты нашли возможным построить социализм в одной стране...»

Дед, вначале серьезно слушавший, дернул Панаску за вихры.

— Над старым смеешься, бисова душа! — И, уходя, так хлопнул дверь, что с потолка отвалилось несколько пластов подсиненного мела.

Дед уже перешагнул железнодорожный путь, по которому от дробильного завода прошел первый поезд со щебнем, когда внук нагнал его.

— Так Ной сказал, — запыхавшись, заговорил Панас, — что вопрос о потопе на небе пересмотрен и в самом ближайшем будущем все дурни, которые боятся потоп...

Дед сунулся было к нему с поднятой палкой, но Панаска, изогнувшись, побежал к заводской стройке, возле которой уже громыхали тросы и крюки первых поднявшихся на дыбы кранов и лебедек.

У далеко еще не достроенного здания ФЗУ толпилась молодежь.

Врезавшись в самую гущу, Панас узнал, что действительно сегодня решается его участь. Сегодня в восемь часов будут оглашены самые точные списки принятых в ФЗУ.

Чтобы убить оставшееся до этого часа время, парни затеяли борьбу, играли в чехарду, задевали девчат.

Но вот на крыльце появился заведующий школой со списками в руке, и тотчас же вокруг него столпилась молодежь. В напряженной тишине он объявил окончательные результаты профотбора и укомплектования групп.

Все принятые были разделены на группы самых разнородных специальностей — электролизники, слесари, прессовщики, электрики, лаборанты, кальцинаторщики, фильтровщики, выщелачиватели, спекальщики, карбонизаторщики.

Затем он зачитал, кто на какую специальность попал. Услышав свою фамилию в той или иной группе, никто не знал, радоваться ему или печалиться, потому что все мудреные названия специальностей решительно ничего не говорили ни уму, ни сердцу.

Как только заведующий кончил читать, фабзавучники окружили секретаря комсомольской организации, требуя

подробных разъяснений, чему, как и для чего они будут учиться.

Тот старался умерить всеобщее волнение спокойными ответами:

— До сего времени алюминия у нас не производилось вовсе. Следовательно, специальности ваши новые. На вашу долю выпала честь стать высокими специалистами производства алюминия, который так нужен для развития промышленности и обороноспособности нашей родины...

Молодежь долго не расходилась, обсуждая ожидающие ее перспективы. И, как полагается, шутки и смех не переставали вспыхивать то в одной, то в другой группе.

— Гражданки фильтровщицы,— подошел к двум девушкам Панас,— не хотите ли прогуляться с такими выщелачивателями, как я и мой товарищ...

— Лучше с нами,— набивались ребята из другой группы,— мы электролизники, а это такая высокая специальность, что только в одной Франции можно найти...

— Идите, вон прессовщицы стоят, они, может, и пойдут, а нам некогда,— отказалась за себя и подругу Анюта Ключко.

— Говорят, что работать будем в белых халатах,— рассказывал Бычков товарищам.

— Вроде санитаров будем на вид....

— И говорить будем только по-французски...

Это ничего, что на второй этаж ФЗУ из-за отсутствия лестницы учащиеся взбираются по приставленной доске, что паровое отопление еще не работает и температура в классах немногим выше, чем на дворе, что озябшие пальцы с трудом удерживают карандаш или кусок мела. Классы всегда полны, и каждое слово преподавателя жадно ловится слушателями.

Не столь существенно и то, что после школы идут во временное общежитие — неоконченное здание центральной лаборатории. Там в больших комнатах поставлены немилосердно дымящие времянки, много скамей и очень мало столов.

Там пахнет штукатуркой и пылью, и старания девчат придать этим «дуртуарам» хоть сколько-нибудь уюта остаются тщетными.

Фабзавучники терпеливо ждали переселения в специально для нихготавливаемые общежития.

Это переселение состоялось в начале января, когда дружными усилиями руководства школы, партийной организации, комсомольской ячейки и стройкового комитета четыре общежития открыли свои двери для фабзавучников.

Здесь было и паровое отопление, и электричество, и койки с постельными принадлежностями, и столы для занятий, и умывальники, и прочее, и прочее...

Ребята были очень довольны, стало легче подготовиться к занятиям — появились первые ударники и энтузиасты в учебе.

В общежитие № 3 переехал от деда и Панас. В этом общежитии, как и в других, тоже установили строгую дисциплину по части чистоты и распорядка дня. Проверять ее время от времени являлась легкая кавалерия девчат во главе с Анютой Ключко, лучшей ударницей в учебе и членом бюро комсомольской организации.

У Анюты был зоркий взгляд и строгий голос:

— А почему вы на койках сидите? Что вам, табуреток не хватает?

— А почему спецовки валяются? Разве вешалок нет? Чья спецовка?

Староста, сердито пробурчав, что он только что вернулся со двора и просто не успел повесить спецовку, вдруг вспомнил:

— А как у вас Мотря Тихоновская койку оставила незастеленной...

— Ну и что же? — ответила Анюта. — Мы не говорим, что у нас на все сто. Бывают и у нас неполадки, и нужно с ними бороться. И мы боремся.

— А сейчас у нас мировой порядок, — добавила Катя Ничепуренко. — Можете зайти и убедиться.

— Хитрые! — усмехнулся староста. — Вы сейчас на чеку, а мы неожиданно вас проверять придем. Ночью нагрянем.

Ребята захохотали, но Анюта сдвинула брови.

— А где ваша библиотека? Какая у вас художественная литература?

Посмотрев полку с книгами и поговорив о труддисциплине, о борьбе за образцовое общежитие, о подготовке к лекциям, девушки ушли.

— А ничего девчата, — высунул из-под одеяла голову Панас. — Ты, Самбуров, продвинь меня в легкую кавалерию, я буду ходить к ним в общежитие проверять. А то позавчера зашел, а они выгнали: «Без дела нечего ходить».

В другом углу парни спорили о сроках отпуска.

Одни говорили, что хорошо было бы, чтобы его дали с первого января, другие высказывались за февраль, третьи опасались, что его совсем не будет.

Тогда в разговор вмешался Ваня Марченко.

— В этом изменении сроков отпуска, — сказал он с важностью, — я усматриваю извращение политики партии и распоряжений товарища Орджоникидзе. Я много думал об этом и предлагаю послать товарищу Орджоникидзе заготовленное мною письмо.

— А ну, прочитай! — раздалось со всех сторон.

Марченко вытащил из кармана грудку свернутых бумажек, покопался в них и вытянул листок почтовой бумаги, исписанный густым, еще не установившимся почерком.

Усевшись на табурет, поближе к электрической лампочке, он стал читать:

«Дорогий друг і товариш важкої пром. Орджоникидзе! Со всією скромністю і преданністю Советській власті дозволь сповістити тебе від жильців третього бараку на 15-му виселку про те, що тут у нас у Фабзавучі сидять телепні, які перекручують, ламають всі твої розпорядження й закони. Що малося дати нам відпуск з першого січня, то вони назначають його то в лютий, то в березень, і опасно коли б аж до самого літа не відтягли. А там поїдеш до дому, то в колхозе мабуть треба допомогти батькам. А коли же відпочинок для нашого буйного організму?.. Так ти, будь ласков, накажи негайно дати нам на півмісяця відпуск і щоб на цей відпуск видали нам хліб із церабкопа, а то ми вже й матраси поперешили на мішки (а соломі попалили), щоб туди хліб складати, а спимо на самих пружинах. Відпуску ж все не дають. Не відмов нам, великий тяжкої пром. тов. Орджоникидзе. З проханням — жильці третього барак»¹.

¹ «Дорогой друг и товарищ тяж. пром. Орджоникидзе! Со всей скромностью и преданностью Советской власти позволь оповестить тебя от имени жильцов третьего барака Пятнадцатого поселка о том, что здесь у нас в ФЗУ сидят головотяпы, которые

— А це місце для наших прізвищ, — кончив чтение, сказал Марченко, показывая на пустое место внизу недописанной страницы.

К большому огорчению Марченко, товарищи не только не дали своих подписей, но вдребезги раскритиковали его послание, как со стороны содержания, так и со стороны формы.

В эту ночь он долго ворочался на своей койке. Мысли его тяжело шевелились в разгоряченном мозгу.

14. Человек в гимнастерке

К весне 1933 года, когда цехи электролизного и электродного заводов уже приступали к производственным маневрам, фабзавучники получили возможность уже на практике знакомиться с аппаратурой и агрегатами того производства, теоретической подготовкой к которому они занимались целую зиму.

Под руководством мастеров они совершали ряд экскурсий по цехам заводов, и прежние отвлеченные термины, слышанные от преподавателей, приобретали конкретное значение.

Газогенераторы, начертанные учителем на классной доске или в тетради в виде небольших цилиндров, предстали пред глазами экскурсантов огромными, стокубометровыми баками.

Печи Ридгаммера, несмотря на цифры, указывающие их размеры, все же ассоциировались у учеников с квартирными печами. А когда увидели эти двадцатикамерные великанши, протянувшиеся во всю длину обжигового цеха, когда почувствовали себя лилипутами перед прессами «Гидравлик» и газогенераторами «Пинч»; когда прошли

искривляют и ломают все твои распоряжения и законы. Предполагалось дать нам отпуск с первого января, а они назначают его то на февраль, то на март, и опасаемся, чтобы не оттянули до самого лета. А там — как поедem домой, то в колхозе, наврное, придется помочь родителям. А когда нашему буйному организму придется отдохнуть?.. Так ты, пожалуйста, прикажи немедленно дать нам отпуск и чтобы на этот отпуск выдали нам хлеба из церабкопа. А то мы уже и матрасы перешли на мешки (и соломu пожгли), чтоб туда хлеб сложить, и спим на одних пружинах. Отпуска же все не дают. Не откажи нам, великий тяж. пром. тов. Орджоникидзе. С приветом жильцы третьего барака.

вдоль длинных рядов электролизных ванн, все слышанные за зимнюю учебу цифры и формулы, все чертежи и фотографии приобрели реальные, захватывающие своей грандиозностью и техническим совершенством формы.

С этого времени интерес к учебе неимоверно вырос. Сопровождаемая практикой, она стала гораздо продуктивнее.

После пуска электролизного, а вслед за ним и электродного заводов фабзавучники получили возможность практики и в части технологического процесса, протекающего на этих заводах.

Только будущие глиноземщики должны были все еще довольствоваться чисто теоретическими знаниями.

Зато, когда появился приказ об ускорении работ на глиноземном заводе, комсомол ФЗУ целиком включился в объявленный «штурм».

Старосты, комсорги и профорги были назначены бригадирами групп, которые показали исключительные темпы работы. Лучшими из них были бригады Анюты Ключко, Гали Павленко, Шульмана, Побегайло...

На ответственный участок глиноземного, на его «комсомольский» электроплавильный цех был послан ударный комсомольский батальон фабзавучников под руководством товарища Самбурова.

В этот батальон вошли комсомольские бригады Шуры Онищенко, Трегубова, Скорика, Сапожникова и Стищенко.

Все они показали образцы ударной работы.

Как правило, на красную доску попадали имена товарищей Ступака, Радилова, Яковенко, Маслевца, Шипа и Середы. Из женских бригад — Ключко, Побегайло и Брацило.

В конце месяца комсомольский батальон имел право рапортовать партийному и комсомольскому комитетам:

«Ударный коллектив ФЗУ вложил в фонд строительства мирового алюминиевого гиганта 9000 человеко-дней».

На свежеструганных ступеньках крыльца конторы Алюминиевого комбината сидел человек в брезентовом пальто. Над его слегка выющим светлым чубом темнел большой козырек кепки.

Спокойный взгляд светло-голубых глаз выжидательно остановился на подходившем старике Охрименко.

— Приезжий? — спросил дед, взглянув на лежащий возле ступенек большой чемодан с наклейками камеры хранения.

— Да. А что, директора Алюминкомбината можно здесь дожидаться?

Дед усмехнулся:

— Так це ж контора начальника строительства, а директор на Седьмом поселке, в управлении.

— А это далеко отсюда?

Дед старательно объяснил, как туда пройти.

— А можно у вас оставить чемодан?

— Чому ж не можно. Замкну ваш чемодан у свою сторожку...

— Вы сторож?

— Сторож. Весь свій вік чуже стережу. І у селі, і на бахчі, а зараз тут, у конторі.

Дед взялся за чемодан.

— Важкий який...

Приезжий помог ему водворить чемодан в небольшую пристройку возле конторы и отправился по указанному адресу.

Вот и барак, в котором в августе 1931 года помещалась контора и директор Алюминиевого комбината.

В бараке, кроме уборщицы, никого не было.

Широко взмахивая полынным веником по сбрызнутому полу, она сметала в большую кучу множество окурков, пустых коробок от папирос и спичек, скомканных бумажек и прочего мусора.

На стене висел портрет Ленина. Ильич наклонил свой сократовский лоб над развернутой «Правдой». Напротив Климент Ворошилов в морской форме, стоя на корабле, всматривался в голубую даль.

Рядом висели плакаты злободневные и устарелые, приказы, постановления, объявления. Все это требовало к себе должного внимания посещающих барак людей.

В дощатых стенах было несколько одностворчатых, плотницкой работы дверей. На одной из них синим карандашом было выведено от руки, но печатными буквами: «Заведующий снабжением». На другой приклеена какая-то бумажка с совершенно выцветшей надписью.

На третьей красовались тушью начертанные слова: «Секретарь директора».

Приезжий потрогал за ручку этой двери.

— Там никого нема,— заметив его движение, сказала женщина, мывшая еще не крашенный пол.

— А директор поздно приходит?

— Для кого поздно, а для кого в самый раз,— неопределенно ответила женщина.— А вы обождите вот тут, у бюро, там уже и прибрато...

Чертежно-проектное бюро помещалось в большой светлой комнате. Приезжий сел за один из столов и заглянул в наколотый на доску чертеж.

Это был план электролизного завода с отдельно вычерченными цехами. Некоторые из них были отмечены звездочками красным карандашом.

«Чего это они со старыми чертежами возятся?» — подумал приезжий и, скрестив на столе руки, опустил на них усталую от бессонной ночи голову.

Мгновенно какая-то теплая и темная волна стала заволакивать его сознание. Из забытья вывел чей-то громкий, веселый голос:

— Доброго утра, товарищ! Чего во сне видал? И кто вы такой будете?

Дремавший поднял голову и, заправляя под кепку прилипшую ко лбу прядь волос, ответил:

— Я Железнов. А вы?

Человек в синей куртке с небритым веселым лицом ответил с шутливой важностью:

— Я — ЧПБ¹. Но, между прочим, слышал, что вас ждут и что с вами приедут еще несколько инженеров-алюминщиков.

В бюро один за другим входили сотрудники. Кто-то сказал:

— А директор уже здесь!

И Железнов поспешил к нему.

После короткого разговора директор произнес с явным разочарованием:

— Так ведь вы же эксплуатационник, технолог, а у нас на месте электродного завода пока одни колышки торчат, на электролизном готов только каркас первого

¹ ЧПБ — чертежно-проектное бюро.

корпуса. На нем ставим перекрытия, собираемся через недели две их бетонировать. Так что до эксплуатации, как видите, очень далеко.

Железнов был несколько озадачен словами директора, но спросил спокойно:

— Ну что же, Иван Васильевич, прикажете двигаться обратно?

— Нет, зачем же уезжать, — после довольно долгой паузы ответил директор. — Я полагаю, что и для вас найдется дело. Побудете пока что... ну, вроде консультанта, что ли...

— Вот как? — коротко проговорил Железнов.

— Вы где остановились?

— Нигде.

Директор пододвинул к себе блокнот и написал коротенькую записку.

— Подайте ее в дом номер тридцать два, квартира вторая. Это, конечно, временно...

Поселившись в одной комнате вместе с несколькими проектировщиками, Железнов пошел на площадку строящегося комбината.

Действительно, до монтажа и эксплуатации хотя бы одного какого-нибудь цеха из будущих трех заводов — электродного, электролизного и глиноземного — было очень и очень далеко. Но работы по строительству по всем видимостям было более чем достаточно.

И Железнов решил действовать, то есть организовать коллектив рабочих, коллектив ИТР и приступить к заготовке материалов.

Когда приехал Елизаров, который получил назначение быть заместителем Железнова, тот встретил его не-веселой шуткой:

— Выходит, Паша, что мы с тобой генералы без армии.

— Надо поставить вопрос ребром, — сказал Елизаров.

И оба отправились к директору.

На этот раз беседа носила довольно резкий характер и происходила в присутствии еще одного человека, одетого в гимнастерку защитного цвета, который внимательно вслушивался в этот горячий разговор.

— Не хотим быть равнодушными зрителями такого положения на строительстве! — горячился Железнов.

— Можно пока готовить фундаменты для ванн, — предлагал Елизаров. — Можно включиться в строительство в любой форме.

— Так, так, — кивал бритой головой человек в гимнастерке защитного цвета.

— Можно помогать бетонщикам заливать своды, — продолжал Железнов, — но не нагуливать брюшко, пока подойдет время работы по нашей специальности.

— Я лично не могу нарушать уже составленный план распределения работ по участкам, — возражал директор. — Попробую снести с Москвой.

— Ну, вы сноситесь с Москвой, а мы пойдем в партийный комитет.

— Так, так, — повторил еще раз бритый человек и вышел из комнаты.

Не успела за ним закрыться дверь, как в комнату вошел молодой канцелярский работник.

— Опять проектировщики просят карандашей.

— Но ведь им на днях выдали.

— Так ведь по одному карандашу, Иван Васильевич, — робко возразил канцелярист, — а они говорят, что огрызками чертить нельзя.

Директор нервно потер лысину и глубоко вздохнул.

— Удивительный народ! Как будто не знают, что карандаш тоже хоть и немного, но все же стоит денег. А сколько карандашей нужно теперь государству! Сколько перьев, резинок, блокнотов...

— Инженеры и блокноты спрашивали, — с огорчением добавил молодой человек.

— Нет, нет, блокнотов не давать! Можно прекрасно писать на простой бумаге.

— Ну, мы вам не будем мешать, — иронически сказал Железнов.

И они вышли.

— Вот это хозяйственник, это я понимаю! — насмешливо проговорил Елизаров.

На другой день они пошли к секретарю Днепропетровского партийного комитета.

У стола сидел тот самый бритый человек в гимнастерке защитного цвета, которого они видели накануне у директора Алюминиевого комбината,

При непосредственном участии партийного комитета в ближайшие дни договорились с дирекцией о развороте работ. К этому времени приехала Славская — еще один инженер-технолог. Но каждый из этих уже трех технологов в этот период работы забыл о своей специальности.

Решили начать с разметки фундаментов ванн в первом корпусе. Но рельеф земли в нем был такой бугристый, что прежде всего надо было выравнивать площадку. А это требовало иногда снятия грунта на значительную высоту.

В цехе, еще бесстенном и безоконном, похожем на огромный навес, появились землекопы, катали, шамотчики, бетонщики.

В первом электролизном цехе осуществлялся комплексный метод работы.

Один из стариков шамотчиков так объяснял своей бригаде значение этого метода для стройки не только данного цеха, но и всего строительства, развернувшегося на всем необозримом пространстве СССР:

— Ведь вот, помню я, строился в городе Новороссийске небольшой заводик инженера Пастухова. Ну, так как же он строился? Сначала строители вывели корпус. Кровельщики покрыли крышу и даже водосточные трубы навесили. Забили последний гвоздик — и строителям расчет. Можно, значит, уходить на все четыре. Затем слесари установили станки, смонтировали все до точки — и опять большинству расчет. Когда все крючочки были прибиты, все винтики завинчены, тогда пожалуйста, господа технологи. А у нас теперь это не годится. Мы догоняем другие державы. А уж раз спешить, то многое на ходу надо научиться делать. У нас так — друг дружку и погоняем: потеснитесь, дескать, товарищи! Строители, например, раньше себя чувствовали тут полными хозяевами: наше, мол, дело, когда время придет, тогда и сделаем. А теперь им вроде как неудобно. Видят ведь, что задерживают нас с монтажом, ну и поторапливаются. Вот и начинается соревнование. Мы им говорим, чтоб в два дня убрали опалубку перекрытия, а то ведь мешает эдакая машина. А они, гляди, завтра к обеду ее уволочут...

Недохватка шамотчиков, которые клали футеровку для будущих ванн, была так ощутительна, что когда на Коксохиме произошел прорыв с кирпичом, все сорок

человек шамотчиков были взяты оттуда на электролизный. А чтобы избежать недостатка в материалах, Елизаров ездил лично на Очеретинский завод и заказал там потребное количество пустотелого кирпича.

С созданным коллективом шамотчиков была проведена необходимая техническая подготовка. Вскоре из них выделились хорошие бригады — Чаусов, Пашков и другие.

Наступившие морозы очень усложняли работу. Растворы бетона мерзли и, как магнит, хватали за пальцы.

Цехи не отапливались, и шамотчики надевали на себя как можно больше всякого тряпья.

В таком закутанном виде было очень неудобно работать, а лица и руки все равно делались лилово-синими.

Только благодаря трудовой дисциплине и преданности делу взятые темпы были сохранены.

Вопрос о кадрах на строительстве завода приобретал все большее значение, и перед райпарткомом стала задача — привести партийную организацию Аллюминиевого комбината в должную боеспособность.

В райпартком вызвали Бурулюка, приехавшего с Ленинградского опытного завода. Из данной ему характеристики было известно, что, кроме хорошего знания дела, он является активным партийцем.

— Вы мастер электролиза? — спросили его.

— Мастер электролиза.

— Будете давать алюминий?

— Ясно, буду.

— А нам не ясно, как вы его будете давать, когда еще нет завода. Стройка и монтаж отстают, и прежде всего нужно вытянуть этот участок. Поняли?

— Понял.

— А раз поняли, садитесь секретарем парторганизации.

Новый секретарь парторганизации прежде всего решил ликвидировать неправильное распределение кадров.

Так, например, тридцать два мастера электролиза, в прошлом опытные слесари, механики, плотники, каменщики, рвались на монтаж, где была громадная нужда в таких квалифицированных кадрах, а их держали в аппарате.

Парторгу с большим трудом удалось вырвать у директора комбината и передать на монтаж целую группу будущих мастеров электролизников.

Парторганизация потребовала составления единого графика для всех работ — строительных и монтажных.

Этот знаменитый апрельский график лег в основу развития соцсоревнования и ударничества под руководством групповых парторганизаторов, а также положил начало плановым работам на всем строительстве.

Борьба парторганизации и вместе с нею борьба рабочих масс проходила под лозунгом:

«Завоем право рапортовать с трибуны III Всеукраинской партийной конференции о своих победах!»

Бурулюк сумел найти правильный путь для организации партийных сил всего коллектива Алюминиевого комбината, создав партийные ячейки на всех участках.

В результате такой четкой организации произошел решительный сдвиг в темпах строительства и монтажа, и право рапортовать III Всеукраинской партийной конференции было завоевано.

Посланный делегатом на эту конференцию один из лучших монтажников товарищ Хученок рапортовал:

— Реализуя решения Семнадцатой партконференции, под повседневным руководством парторганизации ДАКа и парткома объединенного днепровского строительства, монтажники ДАКа добились перевыполнения плана.— И Хученок подробно изложил пути и меры, обеспечившие эти успехи.

В дальнейшем, при все увеличивающемся развороте работ, партийный состав рабочего коллектива действительно выполнял авангардную роль: коммунисты показывали лучшие образцы работы, подтягивали отстающих...

Когда на электролизном получился прорыв, ЗПК послал туда двух лучших монтажников-комсомольцев, и уже в первые три дня бригады этого участка выполняли 135, 156 и 201 процент плана.

Кроме вопросов производства, партийная организация принимала решительные меры к улучшению культурно-бытовых условий рабочих. С этой целью была созвана бытовая конференция, выработавшая конкретные мероприятия по улучшению питания и его дифференциации (повышенное снабжение ударников).

По постановлению конференции была налажена живая связь с колхозами, организована рыболовная артель.

Отряды легкой кавалерии совершали рейды по столовым и отделам рабочего снабжения комбината, выявляя волокитчиков и бюрократов.

Секретарь парторганизации Бурулюк с раннего утра обходил участки, бригады, партгруппы, столовые и путем личных опросов рабочих вскрывал все недостатки и нужды. Часть их решалась сразу, на месте, другие — в обеденный перерыв в ЗПК.

Здесь, в комнате у Бурулюка, бывали группорги, мастера, бригадиры, инженеры, профорганизаторы, хозяйственники. И каждый получал нужное разъяснение, задание и «зарядку».

Таким образом, было создано непрерывное партийное руководство всеми работами на комбинате.

Большую роль в борьбе за его создание сыграла печать. Весной 1932 года по инициативе «Правды» на комбинате было организовано более ста бригадных стенных газет с рабкоровским активом около шестисот человек.

Стенгазета «Монтажник» боролась со всеми неполадками, развивая критику и самокритику.

Не менее боевой оказалась газета электролизного завода «За алюминий».

Выездная бригада газет «Коммунист», «Комсомолец Украины», «Червоне Запоріжжя» и «Пролетар Дніпробуду» стала издавать газету «Наступ».

В ее передовой статье сообщалось, что цель этой бригады — помогать строителям Алюминиевого комбината по-ударному бороться за досрочное выполнение программы строительных и монтажных работ.

«Газета «Наступ», — говорилось далее в передовице, — мобилизуя широкие массы ударников на скорейший пуск Алюминкомбината, откроет огонь по оппортунизму всех оттенков, против неповоротливости и лжеударничества».

«Наступ» требовал от рабкоровского и стенгазетного актива реальной помощи выездной бригаде во вскрытии всех неполадок и какого бы то ни было вредительства, а также содействия в осведомленности.

Рабочком строительства обязал всех профработников и членов рабочкома широко оповестить на собраниях и митингах о целях бригады и помочь ей в организации на

каждом участке сигнальных оперативных рабкоровских постов, а также в вербовке новых рабкоров.

Рабочие и инженерно-технические работники приветствовали выездную бригаду газетчиков своим первым рапортом:

«На строительстве электролизного завода из 870 человек—336 ударников, 32 ударных бригады по-большевицки борются за своевременное окончание строительства.

Ударная бригада бетонщиков дала 135 процентов выполнения плана, бригада арматурщиков перевыполнила план на 115 процентов, бригада сварщиков — на 112 процентов. Вот по каким должны равняться все бригады строительного участка.

Прогулы и текучесть не достигают и одного процента. По плану на январь надо было уложить 1450 кубометров бетона. По инициативе комсомола выдвинут встречный в 1600 кубометров.

Бригады бетонщиков работают по сменно-встречным планам. На участке 13 ударных бригад.

Монтаж первого корпуса идет в ногу со строительными работами, но 1 февраля строители уже уйдут из первого корпуса».

Напечатанный в «Наступе» стихотворный лозунг:

Нам ще багато битись доведеться —
Чи мало урвищ вирили віки,
Та не зросла мурована фортеця,
Якої б не взяли більшовики! —

вызвал в ответ горячий отклик всего коллектива строителей.

Его приветствовали комсомольские ячейки электродного и глиноземного заводов совместно с беспартийной молодежью.

Они слали редакции рапорты и сводки о своей работе. Они просили помощи в борьбе за лучшее техническое руководство, за четкое обслуживание и ремонт механизмов. Они торжественно обещали «Наступу» досрочно закончить укладку 5080 кубометров бетона на электродном заводе и ликвидировать на глиноземном выросшую задолженность по невыполнению прежних планов.

Они поставили «сторожевые посты» комсомольцев на наиболее ответственные участки работы, чтобы на случай необходимости немедленно сигнализировать выезд-

ной редакции о возникающих опасностях срыва плана работ.

В этот период стройки печать действительно была «не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» (Ленин).

15. Боевые ребята

Строительство электролизного завода потому шло в первую очередь, что введение его в эксплуатацию сулило возможность скорейшего получения своего, советского алюминия, хотя бы еще из импортного глинозема.

Однако большая задержка в строительстве других звеньев комбината была также недопустима.

Поэтому еще с марта 1931 года на площадку электродного завода были переброшены бригады плотников и среди них ударная бригада Кононенко, землекопы с бригадиром Ермаковым, а через месяц — каменщики бригады Василенко и бригада бетонщиц Поповской.

Прорабом этого участка был назначен инженер Эйнес, который зарекомендовал себя как прекрасный работник на сооружении Днепровского шлюза. В помощники ему дали молодого и энергичного инженера Кудрина.

Эйнес был одним из тех советских инженеров, которые работают на порученных им участках социалистического строительства с глубокой преданностью.

Средних лет, сухощавый, с неизменной трубкою во рту, он в буквальном смысле жил на работе, отдавая ей свои знания и энергию.

Голос у него был тихий, но распоряжения, произнесенные этим голосом, всегда доходили до каждого строителя и неукоснительно выполнялись.

Строительные работы и на этом заводе начались прежде всего с ограждения сооружений будущих цехов.

Бригадир Коваленко зорко следил за выполнением начертанных на бланках нарядов на работу.

Он зачитывал их бригаде от слов: «Днепрозаводстрой поручает» до заключительной фразы: «Исполнение сего наряда на изложенных условиях принял». Затем неизменно обращался к бригаде с двумя вопросами:

— Все приняли к исполнению?

— Кто против?

«Против» обычно никого не оказывалось.

Через две недели бригада Коваленко вернулась к работе на бетонолитных башнях, а на месте огороженных ею будущих корпусов землекопы принялись за рытье котлованов под фундаменты зданий.

Комсомолец Журавицкий организовал здесь такую же крепкую бригаду землекопов, как Мокин на строительстве электродного завода. Но все же земляные работы задерживали каменщиков, и Журавицкий организовал вторую бригаду.

Молодой паренек, Журавицкий приехал из Киева с хорошей рекомендацией комсомольской ячейки. С первого же периода его работы на правом берегу Днепра и на строительстве электродного завода он обнаружил недюжинные организаторские способности.

Его бригады выполняли задания на 125 процентов.

На первом слете ударников-строителей Журавицкий выступил первым по докладу начальника работ. В горячих словах его прорывалось неотступное требование и к хозяйственникам и к комсомольцам — уделять больше внимания электродному заводу.

— Из этого парня выйдет толк, — сказал секретарь комсомольской ячейки прорабу.

— Он со своим товарищем был вчера у меня, — ответил тот. — Ребята боевые, надо выдвигать на более квалифицированную работу. Давай я их переброшу на ферросплавы младшими десятниками.

— Нет, это не выйдет, им и у нас найдется чего делать.

И действительно, Журавицкому и Сизову была предоставлена возможность вести большую работу на электродном заводе. Оба они и мастер Уланов вошли в первую комсомольскую ячейку электродного завода. При их активном участии прошли и выборы профорганизаторов по группам, совместно с которыми они созвали широкое совещание рабочих для проработки месячного плана.

Кроме намеченных по этому плану работ, они решили организовать еще несколько субботников, на которых убирали леса и горы мусора. И здесь Журавицкий сумел выявить лучших ударников.

При содействии комсомольской организации наиболее способные и старательные рабочие стали посещать

курсы электродчиков. Из них шестьдесят шесть человек сдали экзамен на «отлично». Эти отличники показали прекрасные образцы работы не только в монтажный период, но и позже, в период эксплуатации завода, когда перевыполнение производственного плана становилось для них обычным.

Быстрее других цехов выросло здание цеха обжиговых печей и склад готовых изделий. Чертежи на эти цехи пришли из проектных учреждений раньше, чем на другие, и лучшие бригады, в том числе бригада Журавицкого, работали на этом участке.

Но все же общий разворот строительства электродного завода значительно отставал от электролизного.

Только в конце июня 1934 года проектные работы всего завода были в Москве закончены, и на Днепр посылались последние чертежи, причем некоторые, самые срочные, отправлялись фотограммами. Вскоре ожидался приезд группы инженеров-электродчиков Вирко, Банникова и Кащенко.

Эти товарищи во время своей проектной работы в Москве неоднократно посещали Кудиновский электродный завод для ознакомления с процессом производства электродов. Затем они были направлены на Ленинградский завод абразивных материалов, на котором имелись бегуны, каскадные сита и другое оборудование, применяемое в электродном производстве.

По возвращении в Москву Вирко, Банников и Кащенко получили распоряжение о выезде на строительство ДАКа. Они ехали туда с душевным трепетом, ожидая наконец-то попасть на завод, где можно будет приложить свои силы и знания специалистов электродчиков-технологов.

Каково же было их разочарование, когда, придя на площадку строительного комбината, они долго блуждали в густых лесах корпусов, среди строительного материала, и в первый день приезда так и не дошли до своего завода...

На другой день с утра отправились искать прораба Эйнеса. Найти его было не так-то легко: он носился с одного участка на другой — то в контору начальника строительства, требуя того или иного материала, то в

кабинет директора, требуя «нажима» на какого-нибудь из обюрократившихся работников, тормозящих дело.

— Только что был тут, — ответили плотники прибывшим инженерам на их вопрос о прорабе. — Вы спросите в обжиговом, наверное, там.

Пошли в обжиговой.

— Товарищ Эйнес пійшов у відділ розмелювання¹, — сказали им там.

Пошли в размольный, но и там прораба не оказалось.

— А вы подождите здесь, — посоветовали им, — он беспрерывно скоро придет сюда.

Но ждать не стали, а отправились в контору строительства, где и «поймали» прораба.

Когда они назвали себя, по его лицу скользнула приветливая улыбка, но вслед за ней набежала тень неудовольствия.

— Что вы за чертежи присылали из Москвы?! Вот теперь вы сами убедитесь, что строить по ним невыносимо. Придется их переделывать, а то и чертить заново. А куда же я буду принимать оборудование, когда у меня и стены еще не выведены?!

По голосу было слышно, как глубоко его огорчают все неполадки и недоделки. И поэтому прежде всего новичкам закателось помочь устранить все это.

Вновь прибывшие сразу же вошли со своим прорабом в тот дружески-деловой контакт, который является необходимым для достижения успеха в любом коллективном труде.

Все это лето прошло для строителей электродного в больших волнениях. Так как не было точно установлено, на какой по сроку очереди в сравнении с электролизным и глиноземными заводами следует строить электродный завод, то этот участок часто испытывал острый недостаток в строительных материалах. И когда электродчики подступали к администрации с настойчивыми по этому вопросу требованиями, в ответ им приходилось слышать:

— Ну, чего вы на стену лезете, раз еще неизвестно, когда вы будете пускаться...

— На стену мы не лезем хотя бы по той простой причине, что у нас ни одной стены не выложено, — мрачно шутил Эйнес. — Но мы хотим, чтобы стены у нас были, и были срочно.

¹ Размольный цех.

Несмотря на такое положение, электродный завод вступил первым в объявленное в сентябре соревнование на рекорды по бетонированию. Комсомольская бригада бетонщиков Русина (сборная Харьковского тракторстроя) дошла до мирового рекорда — 801 замес в смену при одной бетономешалке! Соревнующаяся с нею бригада Родецкого брала рекорды исключительной четкостью в работе, давая 700 замесов в смену. На отдельные операции она затрачивала: на загрузку бетона — 23 секунды, харьковчане тратили — 19, на выгрузку — 7 секунд против харьковчан, которые выгружали в 10 секунд.

Лишние 4 секунды, которые бригада Родецкого тратила на перемешивание бетона (23 против 19), шли на улучшение качества бетона.

В процессе этого соревнования выявлялась необходимость различных усовершенствований.

Журавицкий первым заполнил бланк: «Рабочая мысль на службу пятилетки». Он написал: «При бетонировке коробами в большинстве случаев щебенка отлетает в сторону, отделяясь от бетона. Этого можно избежать, приделав к концу коробки деревянный или из листового железа щиток, чтобы щебенка, ударяясь об него, падала на бетонируемую площадь вместе с бетоном. Это освободит рабочих от вторичного перемешивания щебенки с бетоном на месте бетонирования и несомненно улучшит качество бетонной заливки».

Предложение Журавицкого, претворенное на практике, оказалось вполне рациональным.

Участниками в сентябрьском конкурсе из технического персонала (младшего и среднего) были техник Мотыкин и десятники Гайдаш и Ермаков.

На этом участке работ сначала был только профуполномоченный, а в декабре был избран рабочком, в который вошли Буланов, Шукавин — секретарь партячейки — и Лымарь — секретарь комсомольской ячейки.

16. Учеба и сказки

Перед октябрьскими праздниками инженеры Вирко, Кащенко и Леонов и четыре мастера, прошедшие практику на Кудиновском заводе, получили извещение о выезде в Москву для прохождения всех формальностей в

связи с командировкой за границу. Возможность увидеть новые страны, новых людей, иной быт, а главное — перспектива ознакомиться с электродным делом очень радовали выдвинутую на эту поездку группу. Но, с другой стороны, строительство так захватывало их, что было грустно оставлять и растущие цехи, и дружно сработавшийся коллектив.

— Получше вникайте там в самую суть дела, изучайте процесс, изучайте агрегаты. И возвращайтесь хорошо подкованными электродчиками, — напутствовал отъезжающих секретарь парторганизации.

Наказ использовать поездку со стопроцентной пользой для дела был дан и в Москве.

Получив визы и валюту, обзавелись самоучителями, справочниками, словарями и путеводителями.

И все же...

Когда по приезде во Францию заказывали в ресторане винегрет, им подавали уксус. Заказывали ветчину, а кельнер приносил варенье.

Поливали неподходящие блюда уксусом, ни к селу ни к городу ели варенье. Задавали соседям вопросы, от которых у тех глаза лезли на лоб.

И все же...

На завод «Сен-Жан» (в департаменте Савойи), который входил в группу алюминиевых заводов, прибыли к сроку.

Как и группу электролизников, эту партию советских практикантов фирма «АФК» послала тоже не на передовой электродный завод. Труд на сен-жанском заводе на 80 процентов велся вручную, оборудование было старое. Ознакомление с агрегатами шло медленно, так как и здешний переводчик, бывший штабс-капитан царской армии, настолько перевирал слова руководителя, что практиканты даже при слабом знании французского языка очень скоро убедились в злостном искажении переводимых им сведений.

От имени группы Вирко выразил протест директору завода господину Прево против такой постановки дела.

— Я не могу допустить, чтобы переводчик сознательно искажал смысл, — с неудовольствием проговорил директор. — Вероятно, вы не так его поняли.

Но практиканты настаивали на своем и предупредили:

— Если такое положение будет продолжаться, вряд ли

это будет способствовать успешному прохождению практики. И нам ничего не остается, как поставить об этом в известность и пославшие нас советские учреждения, и дирекцию вашей фирмы.

Директор завода, ярый фашист, услыша такое предупреждение, еще строже сдвинул брови и еще крепче сжал губы. Он заговорил по поводу недовольства русских с обер-мастером, причем жестикуляция обоих была настолько красноречива, что практиканты без всякого перевода поняли смысл их беседы:

«Дирекция имела глупость заключить договор на оказание помощи Советам. Вот эти большевики и требуют, чтобы мы выполняли свои обязательства...»

В результате договорились о следующем:

Все вопросы, которые интересовали практикантов, записывались ими в тетрадь. Ответы переводчика тоже записывались, а потом и то и другое давалось бы на проверку самому Прево.

Он должен был быть очень внимателен к этой «проверочной» работе, ибо перспектива жалобы на него хозяевам и возможного от них нагоняя ему отнюдь не улыбались.

Как-то на завод приехали сотрудники торгпредства проверить, как идет практика. Они целиком одобрили линию поведения электродчиков, а из беседы с Прево сами убедились в его недоброжелательном отношении к советским практикантам.

Но, несмотря на такую недружелюбную атмосферу, сен-жанская практика дала очень много. Стажеры изучили температурный режим обжига, процесс прокалки, грануляционный состав электродной массы, дробление, размол, работу шаровых мельниц, ознакомились с конструкцией и работой прессы, сами прессовали аноды. Одним словом, полугодовое пребывание на заводе прошло не даром.

Перед отъездом в СССР электродчики просили торгпредство выхлопотать для них возможность поехать на завод «Сабар», о котором они слышали как о заводе, где электродное производство поставлено первоклассно.

Подобно тому как в свое время туда не хотели пускать советских электролизников, так же неохотно и под тем же предлогом («могут выйти неприятности при встрече с белоэмигрантами») администрация завода «Сабар»

дала разрешение электродчикам пробить на нем только в течение двух недель.

В отношении масштабов производства и мощностей оборудования завод «Сабар» был настолько же значительнее завода в Сен-Жан де Мориенн, насколько Днепровский электродный завод должен был быть значительнее маленького Кудиновского.

Весь процесс производства в Сабаре от начала и до конца механизирован. При годовой производительности в десять тысяч тонн анодов брак достигал не более пяти процентов. Оборудование завода с точки зрения технических достижений стояло на большой высоте, и практиканты, по словам Вирко, «набросились на этот завод, как голодные на хлеб».

К их большому огорчению, они не были допущены в образцовую лабораторию, где велись научно-исследовательские работы. Но все же знакомство с усовершенствованными агрегатами завода и его технологическим процессом принесло практикантам большую пользу в их последующей работе на советских заводах.

Напрасно администрация завода боялась их встречи с белоэмигрантами. Эти встречи носили скорее комический, нежели трагический характер.

Как-то в воскресенье Уланов пришел к обеду с одним из рабочих завода, оказавшимся «земляком» — учителем из Гуляй-Поля.

Земляк задавал такие нелепые вопросы о СССР, что за обедом то и дело раздавались взрывы дружного смеха.

— Вот вы здесь приоделись, а как вернетесь, куда будете все это девать? Ведь в таких костюмах в России опасно показаться на люди...

— Почему? — спрашивали его с веселым изумлением.

— Ну-ну, не притворяйтесь! — отвечал эмигрант. — Думаете, я не знаю, что в СССР все ходят обтрепанные, а из-за такого костюма не только можно попасть в руки бандитов, но, пожалуй, и ГПУ арестует как контрреволюционера.

Громкий хохот покрыл его слова.

Другой соотечественник рассказал о жизни русской колонии в Сабаре. Эмигранты разделились на две группы: одна — это «кирилловцы», бредящие о возврате «в первопрестольную под звон колоколов», другие — попавшие в эмиграцию случайно и мечтающие о возврате на

родину. Такие записываются в «Союз возвращенцев» и уже одним этим фактом попадают в первые кандидаты среди рабочих, подлежащих сокращению.

Сам он сын рабочего, был мобилизован Врангелем и уже много лет мыкался на чужбине.

С жадностью слушал он рассказы о преображенной родине и, стесняясь, украдкой вытирал то и дело набегавшие слезы.

Переводчик, бывший полковник Балашов, тот самый, который «взял в штыки» ранее приезжавших сюда электролизников, в отношении электродчиков повел другую политику. Так как Вирко был старшим в группе, то он и решил начать обработку этой партии советских граждан в смысле «освобождения их от дурмана коммунизма» именно с Вирко — большевика, закаленного в боях гражданских войн. Прежде всего он принес ему два тома романа генерала Краснова под названием «От двухглавого орла до красного знамени».

Вирко прочел этот «исторический» роман.

— Ну как? — поинтересовался Балашов.

— Ничего, я всегда любил фантастические романы, — с улыбкой ответил Вирко. — А у вас среди мефодиевцев многие умеют так врать?

— Каких мефодиевцев? — сердито спросил полковник.

— Ну, этих вот, которые за Мефодия.

— Вы хотите сказать — за Кирилла...

— Так ведь Кирилл и Мефодий вроде как заодно были...

Балашов раздраженно пожал плечами.

После этого разговора он попытался было сагитировать «низший персонал» практикантов, то есть рабочих и мастеров. С этой целью он нес такую околесицу и употреблял такие непонятные для молодых советских парней слова, как «помазанник божий», «царствующий дом», «престолонаследие», «высочайшая особа» и т. п., что ребята чувствовали надобность в новом переводчике с этой непонятной для них тарабарщины.

Само собой разумеется, что из стараний полковника ничего не вышло, и он впал в мрачную меланхолию. При переводе объяснений снова стал искажать их смысл, но практиканты уже настолько освоились с языком, что понимали почти все, что говорил им по-французски руководитель экскурсии.

В день отъезда группы электродчиков на родину Балашов все же попросил их:

— Если вам придется побывать в моих краях (он имел до революции заводы, большое имение и земли в Уссурийском крае), вы все-таки скажите моим мужикам, чтобы они не боялись моего возвращения. Я имею сведения, что в моем доме они устроили детские ясли. Дом, конечно, придется ремонтировать, но я им все прощу, когда мы вернемся к власти. Мои угольные копи я, конечно, буду разрабатывать для себя. Но частью моих земель я позволю им пользоваться. Пусть выкорчуют лес и пахнут...

Балашову возразили, что «его мужики» в такой же мере не опасаются его приезда, как не страшатся больше Страшного суда на том свете.

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. Первый блин

Десятое июня 1933 года — историческая дата пуска электролизного завода. К этому дню были проверены все агрегаты, механизмы, приборы. От четкости их работы, как и от четкости работы людей, зависела удача пуска завода. Поэтому для пуска из всего коллектива электролизников были отобраны лучшие инженеры, мастера и рабочие.

Накануне с вечера включили ванны под нагрев. Казалось, что все сделанное ранее в части подготовки электролиза гарантирует безболезненный пуск ванн, так как поистине не было ни одного участка будущего производственного процесса, который не был бы тщательно обследован и проверен ответственными работниками завода.

Рабочих, желающих принять участие в пуске, было очень много.

Просились и работницы.

— Я ж так старалась, Афанасий Григорьевич! — уговаривала мастера комсомолка Надя Ковтюх.

— И я тоже не сидела дома, — обращалась к нему Дуся Шумилова.

Комсомольцы более настойчиво требовали включить их в бригады первых эксплуатационников.

— А вы, комсомолята, не суйтесь поперек батька в пекло, — осаживал мастер натиск молодежи. — На це діло треба выдержанных хлопців.

Всех пусковиков разделили на пять бригад. Самые «выдержанные хлопцы» — первая бригада эксплуатационников — заняли свои посты с шести часов утра. Все ребята были очень серьезны. Обычных шуток и смеха совсем не было слышно.

Еще и еще раз проверялись приборы, контакты, механизмы. Вспоминали все, что проделывалось на «репетициях» пуска, когда в ванны вместо криолита и глинозема засыпали тырсу — опилки и пускали в них не настоящий, а воображаемый ток.

Малейшее недоразумение вызывало вспышки спора, неосторожный вопрос — резкую отповедь.

Казалось, что сами электролизники были предельно наэлектризованы.

К одиннадцати часам начался съезд гостей и начальства. Доступ в цех был строго ограничен, и все же народу набралось уйма.

Плотной группой держались корреспонденты столичных и местных газет. Среди них вертелись юркие фоторепортеры и вместе с ними «придворный» комбинатовский фотограф Болштейн.

Начальство Объединенного днепровского строительства осмотрело стройную шеренгу из двадцати электролизных ванн.

Гости внимательно знакомились с цехом и его оборудованием.

Руководители завода и сменные инженеры едва успевали отвечать на градом сыпавшиеся вопросы.

Наконец начальник завода Александр Иосифович Железнов отдал распоряжение пустить ток.

Через короткое время из глубины ванн слышалось сначала шипение, потом четкий и отрывистый треск.

Для коллектива электролизников сразу стало ясно: «Это лопаются аноды!»

Едкий дым распространялся по цеху вместе с тяжелым запахом испаряющихся фтористых солей, входящих в состав криолита.

Напрасно неунывающий фотограф Болштейн направлял свой фотообъектив, стараясь заснять момент появления на свет днепровского алюминия. В густом, удушли-

вом тумане ничего нельзя было разглядеть, кроме неясных контуров ванн и тревожно суесящихся возле них людей.

У штурвала без кровинки в лице стоял заместитель начальника электролизного завода Елизаров. У него стучало в висках — не то от угара, не то от напряженно работающей мысли: «Так в чем же дело? Что случилось? Отчего это происходит?..»

Мастера Романенко и Кияшный, инженеры Гарский и Иванов наклонялись над ваннами.

Ванна № 1 была пущена так называемым сухим методом. Такой пуск наиболее напряженный, так как при нем требуется расплавлять сухой криолит в пламени вольтовых дуг до нужного уровня, переводя порошкообразный криолит в жидкое состояние. Из этой ванны-«матки» берется жидкий электролит для питания последующих ванн. Но так как блоки для футеровки подины, поставленные фирмой «Сименс», оказались недоброкачественными, то угольная подина ванны-«матки» разрушалась буквально на глазах присутствующих. Коллектив, такой слаженный и хорошо подготовленный, дрогнул.

Растерянность стоящих на вахте у ванн перекинулась на весь цех, а оттуда — за его стены, где собрались и не расходились все смены — и оставшиеся с ночи, и пришедшие утром.

— Тревога! Тревога!..

Комсомолец Огарев с ловкостью обезьяны вскарабкался на крышу цеха, оттуда через отверстие на кран и по крану спустился вниз. Протиснулся почти к самой ванне, а навстречу, шатаясь, как пьяный, двигался мастер Лисенко.

— Чуешь по запаху? Это уже криолит плавится, — проговорил он заплетающимся языком и опустил на тугие белые мешки с криолитом, сам похожий на тяжелый, безжизненный мешок.

За Лисенко вынесли потерявшего сознание Липского, за ним Богданова...

— Отравление газами фтористых солей, — поставил диагноз врач в больнице Шестого поселка.

— Чи довго я буду хворий? — спросил Лисенко, как только немного пришел в себя.

Подававшая ему молоко молоденькая медсестра строго ответила:

— Это будет видно.

— А чем будете лечить? — задал вопрос и Богданов.

— Молоком. Оно первое противоядие, — с той же сдержанной строгостью ответила медсестра. — Вот в четыре часа снова измеряю пульс... А пока сохраняйте полное спокойствие.

Она вышла, предварительно оправив перед карманным зеркальцем черные прядки волос, выпущенные из-под белой головной косынки.

Больные лежали с час-полтора.

— Пошли, что ли, ребята? — предложил Лисенко двум пострадавшим вместе с ним товарищам.

— Айда на ДАК, — согласились те, разом подымаясь с коек. — Только швидко не бежать, а то ноги трясутся.

Когда они в больничных халатах появились в цехе, там первые моменты растерянности уже прошли. У самого входа стояли бидоны с молоком и сметаной, к которым то и дело подходили работающие у ванн люди.

Электролизники уже перестроились в самом процессе этой первой горячей схватки с неподдающимся «противником». Из ванны вынули отколовшиеся куски подовых блоков. Снова засыпали криолит и глинозем.

У штурвала стоял Елизаров.

Работа ванны постепенно становилась ровной.

А через два дня из первой ванны извлекли похожими на разливную ложку черпаками жидкий серебристый металл. Это были первые килограммы днепровского алюминия.

В эти дни руководители электролизного завода не уходили из цеха. Оставались в нем и некоторые мастера и рабочие. Вентиляция работала плохо, и людей охватывали дурнота и головокружение. Они выбегали на воздух и, отдышавшись, снова возвращались к ваннам.

Остальные ванны пускали уже не сухим методом, а брали из ванны-«матки» жидкий электролит и заливали его в ванну, приготовленную к пуску, то есть засыпанную глиноземом и криолитом.

Оттого, что пуск ванны № 1 оказался первым блином, который, согласно пословице, получается комом, а вновь пускаемые ванны тоже капризничали, кое-кто из электро-

лизников впал в неверие и пессимизм в отношении будущего электролиза.

Другие, наоборот, с подлинно большевистским упорством решили во что бы то ни стало добиться успеха.

На заводе настали «безумные дни» упорной борьбы за преодоление возникающих в процессе электролиза неожиданных трудностей.

Вновь пускаемые ванны давали такое огромное количество угольной пены (смесь электролита с угольной пылью), что казалось, будто все содержимое ванны состоит из этой неказистой сероватой массы. И лица суетящихся возле них людей тоже покрылись сероватым налетом усталости и огорчения.

Спецовки у ванщиков пропитались потом и стояли на спине соляной корой.

Снова и снова очищали неладно работающую ванну и опять заправляли ее для пуска.

И снова стискивали зубы: ванна работала скверно.

— Видишь, подина срабатывается все больше,— указывал Железнов Романову.

Мастер кусал потрескавшиеся от жары губы и хмуро заглядывал в ванну.

— Лезет, опять лезет,— с досадой говорил он о поднимающейся вверх пене.

— Опять работает в бока. Ток идет в стенки,— передавая смену, но не уходя со своего поста, сообщал инженер Иванов заступающему смену товарищу.

Явление большого выделения угля за счет подины ванны, которое называлось «науглероживанием», было одной из серьезных болезней пускового периода электролизного завода. Причина этого явления тоже вызывала много горячих споров, переходящих во взаимные укоры и развивающих настроение упадочничества.

Когда остановили и вычерпали первую ванну-неудачницу, то вся ее подина была изрыта ямами.

— Это «работка» импортных подовых блоков,— объясняли происхождение таких ям одни.

Другие говорили, что блоки здесь ни при чем, а нужен не тот вольтаж.

— Надо было давать при пуске ток не пятьдесят вольт, а тридцать пять.

— И совсем дело не в блоках и не в вольтаже,— заявляли третьи.

От теоретических разногласий некоторые перешли к прямой дискредитации распоряжений руководителей завода, усматривая в них не только непонимание и неопытность в производстве, но и явное вредительство. Враждебная атмосфера накалялась все больше, и тысячеградусная температура электролита казалась просто легким дуновением тепла в сравнении с полемическим жаром спорящих сторон.

В числе спорящих оказались наиболее видные работники ДАКа: Железнов, Елизаров, Иванов, Хученок и другие с одной стороны; Егурный, Журавлев, Гарский, Кпяшный, Лисенко — с другой.

Понадобилось твердое вмешательство в этот «великий спор» как со стороны партийной организации, так и со стороны Главалюминия.

В помощь даковцам с Волховского алюминиевого завода был вызван опытный электролизник инженер Гайлит и два француза-консультанта — инженер Жоффрен и мастер Гропине.

Французы приблизились к ваннам с видом врачей, прибывших на консилиум к тяжелобольному. Прежде всего они отменили, как зачастую делают и врачи, то «лечение», которое применялось их предшественниками.

Они не разрешили оставлять в ванне жидкий металл, а требовали вычерпывать его до дна.

Затем они не соглашались, что причиной неудовлетворительной работы ванн служит разрушение анодов и подовых блоков. По их мнению, вся беда заключалась в неправильном обслуживании ванн.

Само собой разумеется, что такое заключение консультантов очень задевало весь коллектив электролиза. Поэтому, когда подготовили к пуску вторую полусерию ванн, начальником пусковой бригады назначили мастера француза Гропине.

— А ну-ка, посмотрим, как у него пойдет дело! — скептически говорили электролизники.

— Покажи, мусье, класс работы...

Инженер комсомолец Иванов ревниво бормотал:

— Я уверен, что французы запорют ванны. Зря хвалятся. Вот увидите...

Юркий и веселый Гропине, молодецки закрутив усы, подбежал к ванне, как кавалер к даме, которую желает пригласить на тур вальса.

Этой ванне предназначалось быть ванной-«маткой», то есть из нее предстояло брать жидкий криолит для заправки других ванн.

Отдав стоящему рядом с ним мастеру Лисенко просмотренный график пуска, по которому следовало в день пускать по четыре ванны, Гропине картинным жестом взялся за штурвал.

— И чего фасонится? Ведь женщин здесь нету,— сказал кто-то из ванщиков.

— Для себе,— ответил другой.

Гропине подал сигнал к пуску тока.

Все замерли, вперив глаза в ванну.

Протекли долгие минуты. Прополз час.

И вот вся поверхность ванны «медленно, но верно» стала затягиваться грязноватой кашицей, которая подымалась, как на дрожжах.

Порхавшая по лицу Гропине веселая улыбка исчезла.

Он проделал какие-то манипуляции со штурвалом. Но содержимое ванны продолжало пухнуть.

— Parbleu!¹ — вырвалось у француза.— Надо снижайт ток...

— С ванной куда хуже, чем при нас! — зашумели электролизники.

— Я же говорил,— сказал Иванов и предложил убрать из ванны уголь.

Гропине посоветовался с другим французом — инженером Жоффреном. Их разговор хотя и шел на французском языке, но все понимали — они волнуются и спорят по поводу поведения ванны.

Наконец они неохотно согласились:

— Корошо, вынимайт...

Когда ванну вычистили, увидели, что вся ее подина была изуродована, а одна из образовавшихся в ней ям достигала 22 сантиметров глубины.

— Никогда на французских заводах нам не приходилось видеть такие испорченные подины,— уверяли французы и с недоумением пожимали плечами.

¹ Тьфу, пропасть! (франц.)

Были среди электролизного коллектива люди, не верящие французам.

— Какого им рожна стараться с налаживанием советской алюминиевой промышленности! — говорили эти товарищи. — Ведь французы прежде всего коммерсанты, и их цель — как можно дольше сохранить для себя советский рынок.

По этому поводу писались письма в Москву, по этому же поводу происходили стычки с начальством на месте. Начальнику монтажа приходилось не раз осаживать слишком увлекшихся «патриотов».

Слушая их доводы о нецелесообразности французской консультации, он старался объяснить, что пока мы в отношении алюминиевого производства являемся «отсталой страной», иностранная техпомощь нам необходима и поэтому с консультирующими французами надо соблюдать хотя и худой, но мир.

И все же у электролизных ванн иногда происходили такие сценки.

Мастер Голяндá — француз — спорил с мастером Лисенко о том, что предпринять с неправильно работающей ванной. Спорили они больше жестами, так как словесного языка друг друга не понимали.

— А ну, исправь, исправь! — тыкал Лисенко пальцем на ванну. — Исправишь — я ставлю Хведора. — И, закинув голову, он сделал руками такой красноречивый жест, что Голяндá догадался: Хведор — это большая бутылка вина.

— Très bien,¹ — согласился Голяндá.

— Не исправишь — покупай ты, — продолжал Лисенко.

— Très bien, — повторил Голяндá и, отозвав Лисенко от ванны, долго возился над регулировкой тока и анодов.

Однако ванна работала из рук вон плохо.

— Так купишь же ты, мусье, матери твоей сто чортив! — не выдержал Лисенко и «своим способом» пустил ванну на правильный ход.

Инженер Иванов тоже держал пари с французским мастером Гропине о том, что есть способ предохранить угольные подины ванн от разрушения во время работы.

¹ Очень хорошо (франц.).

Его способ заключался в том, чтобы после заливки жидкого криолита заливать ванну жидким металлом, а потом уже засыпать ее глиноземом.

Другое предложение, также сыгравшее большую роль в деле усовершенствования работы ванн и сохранения их подины, было сделано начальником завода Железновым совместно с его заместителем Елизаровым. Оно заключалось в применении угольного «орешка» на период обжига ванны с целью все того же предохранения подовых блоков от разрушения.

В последующий период работы вводились все новые мероприятия, совершенствующие эксплуатацию ванн.

Вместо ручного метода заливки, при котором в ванну давалось 200—250 килограммов расплавленного криолита, он вливался туда механизированным путем в количестве 800—900 килограммов.

Научились также пускать ванну при меньшем напряжении, а самый пуск укорачивать во времени.

Все эти технические мероприятия — заливка ванн жидким металлом, засыпка их «орешком», а также снижение пускового напряжения на ванне во время пуска — дали возможность наладить более успешно пуск последующих ванн так называемым комбинированным методом.

В дальнейшем этот метод применялся и на Волховском алюминиевом заводе.

В ряде совещаний с участием французов, консультанта с Волхова инженера Гайлита и руководящих работников электролизного завода выявились причины многих неполадок пускового периода. Было окончательно установлено, что основной из этих причин явились недоброкачественные угольные подины. Это подтвердила наконец и французская консультация.

После пронесшейся дискуссионной грозы и конкретных выводов партийной организации, вплоть до снятия некоторых работников с занимаемых ими должностей, совещания руководящего состава электролизников стали носить строго деловой характер, и их решения выполнялись пунктуально.

Был выработан план преодоления как возникавших трудностей, так и тех, которые можно было ожидать в будущем.

Результаты принятых мер не замедлили сказаться: в июле и августе вступили в эксплуатацию остальные сорок ванн первого корпуса, и кривая выпуска металла неуклонно шла вверх.

Если в первый месяц работы каждая ванна выдавала в сутки 112 килограммов металла, то в августе эта цифра поднялась до 120, а к октябрю уже получали по 137,7 килограмма.

Расходные коэффициенты за этот отрезок времени были значительно снижены: по плану на тонну алюминия полагалось 2,2 тонны глинозема, а его расходовали ровно 2 тонны.

Криолита полагалось 200 килограммов на тонну, — стали обходиться 75, анодов стали расходовать 610 килограммов против плановых 800.

По плану полагалось 20 300 киловатт-часов электроэнергии на получение одной тонны металла, а ее тратили 19 500 киловатт-часов.

Борьба за качество получаемого алюминия и за снижение себестоимости продолжалась и в дальнейшем.

В июле, в период «детских болезней», план выполнялся на 73 процента, а к осени эта цифра достигла 102—113 процентов.

2. Не жалея сил

С октября приступили к монтажу второго корпуса электролизного завода.

Партийные и профессиональные организации мобилизовали сюда вернувшуюся из Ленинграда, с учебы, группу электролизников, которым пока не было работы по их прямой специальности.

Дело пошло быстрыми темпами. Невзирая на специальность, каждый выполнял то, что ему задавал мастер.

Все это были преданные и энергичные люди, отличившиеся не только в этот период, но и в предыдущие и последующие периоды работы электролизного завода.

Особенной популярностью пользовался мастер Лисенко, старый партиец, обладавший подлинным даром умелого подхода к молодняку — большинству рабочих-электролизников, да и всего Алюминиевого комбината.

Он каким-то внутренним чутьем знал, когда надо подойти к ребятам с требовательным окриком, когда с шуткой, когда с коротким приказанием. Знал, как заставить выполнить то или иное задание.

Сам способный перевернуть горы работы, он заражал своим энтузиазмом и отдельных рабочих, и целые бригады.

Вот он видит, что в ударные дни монтажа в обеденный перерыв группа парней, вернувшись в цех, дожевывала не доеденный за обедом хлеб.

Лисенко направляется к ним.

— А тут сейчас заместитель директора подходил, побурчал на меня. Недовольный остался...

— Еще недоволен? — хмуро спрашивал бригадир.

— Та не на вас, дурной, — отвечает Лисенко. — Он на меня серчает.

— За что? — удивляются ребята.

— А вот что такой я чумазый, — с деланной серьезностью произносит Лисенко. — «Опять, говорит, под босняка вырядился?» Это он вспомнил, какими мы в Берлин приехали.

— А что такое? — оживляются монтажники. — А ну, расскажи, Афанасий Григорьевич.

Лисенко обводит зорким взглядом их усталые лица и решает, что не мешает немного поднять настроение.

— А это было, когда мы во Францию ездили. Ребята, которые там уже побывали, советовали нам, чтоб мы надевали что похуже, — одним словом, такое, чтоб не жалко было бросить. «А там, говорили, можно задешево новое купить». Ну, мы и послушались. А когда нас увидели в таком наряде в нашем торгпредстве в Берлине, так прямо за голову схватились. «Вот босовня приехала! Надо их немедленно отвезти в магазин и приодеть».

Привезли, переодели с ног до головы. И запонки, и подтяжки, и галстук. Я с этим галстуком долго возился, пока освоил процесс этой самовязки.

Спускаюсь я по лестнице этого магазина — ковры, зеркала. И вижу, что навстречу мне идет дядько, такой аккуратный, гарный и так на меня похожий, что я аж остановился. И он тоже остановился. А рядом с ним запнулся и другой франт — у этого морда Романенко, — а за ним еще один — вылитый Тарасов.

Обернулся, а они рядом. «Мы тебя не узнали», — говорят. И гуртом помахали шляпами тем, шо в зеркале. А они, конечно, нам в ответ тоже зубы скалят. И такие ребята, что один краше другого...

Монтажники смеются, а Лисенко этого только и надо.

— Сегодня, хлопцы, чтоб эту ванну доконать во что бы то ни стало. Вы знаете, какие показатели дала бригада Косаря? Не знаете еще? Так вот вам сводочка, — и протягивает ребятам листок «Пролетар Дніпробуду».

— Опережать задумали? — прочтя сводку вслух, сказал Писаревич. — Не сдадим, ребята.

— А ну, даешь встречный! — соглашается бригада. И к многоголосому хору цеховых молотков присоединяется еще множество новых крепких ударов.

А Лисенко уже отходит к другим. В его «батальоне» монтажников сто двадцать человек.

Вот он взял молоток из рук одного парня:

— Так только бабы масло сбивают. А ты набойку электролизной ванны делаешь. Вот как надо стучать. Ребята ударяют — раз, и ты — раз. Они — еще раз, и ты — еще раз. Чтоб удар к удару. Дружно, четко...

И он бьет молотком в такт коллективным ударам, дружно раскатывающимся по цеху.

Парень обиженно пожимает плечами.

— Ну, и я так же бью.

— Бреешь, — говорит Лисенко, возвращая ему молоток.

Парень плюет на ладони и делает первые удары.

— Ага, вот теперь и я скажу, что так.

И Лисенко идет к бригаде Бульды.

— Ай, черти, ай, молодцы комсомолятки! Да вы ее часов за восемь забьете, — кивает он на уже наполовину готовую набойку ванны.

— За семь сделаем, — твердо заявляет бригада.

Поверху двигался кран, управляемый Хученком. При помощи этого крана производится регулировка анодов уже работающих ванн.

Выходец из рабочей семьи — сын судового машиниста, — Хученок являлся настоящим самородком в области механики.

Семнадцатилетним юношей он поступил на завод имени Марти подручным слесаря. Затем был машинистом на торфоразработках.

На действительной службе во флоте за ремонт катера «Гордый» был награжден почетной грамотой. После демобилизации он был прислан на Днепрострой, уже будучи членом Коммунистической партии.

И на Днепрострое сказались его недюжинные способности механика. Он работал слесарем, машинистом, помощником прораба, мастером и старшим мастером. По окончании строительства Днепровского гидроузла был награжден значком ударника.

Вскоре по поступлении на Алюминиевый комбинат он был командирован в Ленинград для практики на Опытный алюминиевый завод.

Вернувшись оттуда теоретически и практически подкованным электролизником, Хученок непрерывно работал на ДАКе и не раз бывал премирован. Одну из этих премий Хученок получил за самостоятельный монтаж импортного миксера, не дожидаясь прибытия от фирмы его чертежей, в течение четырех суток, в то время как такой же миксер на Опытном заводе в Ленинграде, при наличии чертежей, устанавливался в продолжение двух месяцев. За хорошую установку этого миксера Хученку была вынесена благодарность общекомбинатской конференцией. Несмотря на большую занятость, он выполнял и партийную работу.

Для лучшей подготовки к пуску второго корпуса электролиза все рабочие были разделены на группы для прохождения техучебы. Это дело поставили очень серьезно. Для проработки теоретических знаний были организованы семинары. Ими руководили мастера и инженеры. Основательно прорабатывались вопросы пуска и эксплуатации ванн. По этим вопросам читались циклы лекций. При этом если инженеры-электролизники исполняли роль профессоров, то мастера с успехом выполняли обязанности доцентов.

Лекции о пусковом периоде, по существу, являлись «пусковыми инструкциями». Некоторые из них были отпечатаны в типографии и розданы рабочим.

В процессе подготовки к техэкзамену принимали участие решительно все организации завода.

Лучшие мастера, начальник завода Железнов и члены бюро ИТР были прикреплены к той или иной бригаде. А если кто-либо из таких техруководителей выбывал, бюро, чтобы не ослаблять работы, прикрепляло к бригаде другого своего члена.

Всем комсомольцам, участникам будущего экзамена, хотелось осуществить лозунг: «Ни одного комсомольца, не сдавшего техэкзамен на «отлично!»

Экзаменовались литейщики, выливщики, слесари, краповые машинисты, кочегары и рабочие других профессий.

Из 245 человек на «отлично» сдали 32, на «хорошо» — 96, на «удовлетворительно» — 113, и только 4 человека сдали на «плохо». Один из этих неудачников на вопрос: «Если тебе на работу принесут обед, можно ставить на ванну борщ, чтоб разогрелся?» — ответил:

— Если разрешит сменный инженер, так почему же не поставить...

Другому экзаменатор задал вопрос:

— Так, значит, можно на ванну борщ ставить?

— Никак нельзя, — прозвучал ответ. — Борщ закипит, сбежит в ванну — получится «воспарение». В алюминии картошка может оказаться. А раз есть примесь — металл испорчен...

— А если попадет вода? — спросил экзаменующегося Железнов.

— Вода испарится, вот и все...

— Нет, товарищ, — строго сказал экзаменатор, — с водой дело куда опаснее, чем с картошкой. Если попадет вода, то произойдет взрыв, от которого ванна взлетит на воздух. Когда я был в Бейреде, при мне был такой случай: инженер Гролле увидел возле ванны ведро с водой, поставленное одним из рабочих. Рабочий был немедленно уволен с завода, несмотря на то, что проработал на нем семнадцать лет и имел большую семью. Вы знаете, что в электролизном цехе нет ни канализации, ни водопровода. Все это во избежание опасности проникновения воды в электролит.

Произведенные перед пуском экзамены дали возможность отобрать лучших электролизников для пуска второго корпуса. Из них ударные бригады Подтележникова и Федорова в течение только одних суток пустили первые десять ванн.

Применение ряда новых технических мероприятий сделало освоение вновь введенных в эксплуатацию ванн несравненно более легким.

При пуске первого корпуса некоторые ванны не давали металла в течение целой недели. Большинство ванн второго корпуса дало металл на второй-третий день пуска.

При пуске первого корпуса наблюдались робость и некоторая растерянность. Пуск второго корпуса протекал в гораздо более спокойной обстановке.

Демонтаж выходящей из строя ванны первого корпуса длился около двух месяцев и обходился около четырех тысяч рублей. Ванны второго корпуса демонтировались при участии Хученка не более двух-трех недель, и это стоило вдвое дешевле.

В апреле во втором корпусе работало уже семьдесят шесть ванн, производительность которых намного перекрывала ванны первого корпуса.

Эстафета подготовки к XVII партсъезду поставила перед коллективом электролизников боевую задачу — в течение всего предсъездовского периода полностью овладеть всеми сложными деталями производства.

Коллектив взял на себя обязательство перевыполнить декабрьский план и на пять дней раньше срока закончить январский план выплавки алюминия.

Вскоре после закрытия XVII партсъезда на комбинате был получен приказ народного комиссара тяжелой промышленности товарища Орджоникидзе положить конец импорту вайербарсов¹.

На совещании у директора завода совместно с заводским партийным комитетом было вынесено решение, которым четвертому корпусу электролизного завода вменялось в обязанность немедленно приступить к отливке вайербарсов, идущих на прокатные заводы для изготов-

¹ Вайербарс — слиток алюминия весом в 35 килограммов, имеющий форму бруска длиной около метра и сечением 100×100 миллиметров.

ления электрических проводов, кабелей и алюминиевых плит для авиапромышленности.

В четвертом корпусе стояли печи «Гаутчи-Брандт», в которых рафинировался получаемый из электролизных ванн алюминий. В свое время эти печи были доставлены германской фирмой, и, как это часто бывало с импортным оборудованием, детальных к ним чертежей прислано не было. Монтировать их пришлось своими силами.

«Заграничники», то есть те электролизники, которые побывали за границей, очень досадовали, что, будучи на французских заводах, не обращали должного внимания на рафинировку металла.

По гарантии фирмы производительность печи «Гаутчи-Брандт» должна была составлять пятнадцать тонн в сутки, но какой металл должен при этом загружаться в печь, жидкий или твердый, фирма не указала.

Заведующий цехом рафинировки, завершающей производственный процесс получения алюминия, инженер Гейман и его «правая рука» мастер Мороз прошли практику рафинировки алюминия на одном из заводов, где были печи типа «Гаутчи-Брандт», но гораздо меньшей мощности.

Свой рабочий коллектив они выбрали из военизированной охраны цеха. Красноармейцы, неся службу, присматривались к тому, что делается в цехе, и настолько заинтересовались этим делом, что, демобилизовавшись, остались в нем работать.

И все же получить металл такого качества, каким отличались импортные вайербарсы, долго не удавалось.

Консультанты-французы только критиковали эту работу, уверяя, что ничего из нее не выйдет.

Основным недостатком первых вайербарсов и плит было то, что их поверхность покрывалась тонкой, сморщенной пленкой, или, как ее называли, «елочкой». Эта «елочка» доставляла плавильщикам много хлопот и огорчений. И только после целого ряда видоизменений процесса пришли к решению отливать вайербарсы и плиты из дважды переплавленного в печах металла.

При такой плавке «елочки» исчезали и вайербарсы получались великолепные.

Когда с десятков таких красавцев вайербарсов выстроились неподалеку от печи, в цех вошел директор комбина-

та Мирошников в сопровождении французов Гролле, Прево и переводчика.

Гролле молча, очень внимательно разглядывал один из «экспонатов» и наконец что-то буркнул...

— Мосье Гролле говорит, что это брак,— пояснил переводчик.

Мастер Мороз вспыхнул.

— Это не вайербарс, а золото! — сердито возразил он.

— Я убежден,— проговорил Гролле,— что внутри этого вайербарса имеется усадочная раковина...

Услышав перевод этих слов, Гейман попросил директора:

— Разрешите распилить этот вайербарс?

— Давайте,— согласился директор.

И хотя структура вайербарса оказалась прекрасной, Гролле все же утверждал, что вайербарс отлит плохо.

Когда он ушел, директор распорядился отправить кусок этого вайербарса в лабораторию для микроанализа. Анализ подтвердил идеальную структуру вайербарса.

Вечером в центральной лаборатории должна была состояться лекция Гролле. Гейман подошел к лектору, чтобы подшутить над ним.

— Смотрите, насколько вы были правы,— сказал он, протягивая французу выпиленную из вайербарса пластинку.

Гролле самодовольно улыбнулся.

Вынув из кармана лупу, он пристально разглядывал поверхность пластинки, и улыбка сползла с его лица, сменяясь выражением большой досады.

Позднее, во время своей второй заграничной поездки, инженеру Железнову удалось установить, что и на французских и на норвежских заводах при отливке алюминиевых вайербарсов в электрические печи также загружают дважды переплавленный металл с добавкой жидкого.

Вскоре из Москвы пришло предложение отливать алюминиевые плиты для завода, на котором Гейман и Мороз ранее проходили практику рафинировки алюминия.

Нужда в этих плитах была настолько остра, что завод прислал свою опытную в этом деле бригаду, а также изложницы для отливки плит.

Эта бригада многому научила работников рафинировочного цеха в части ведения плавки. Заводу плиты были нужны в большом количестве, и он торопился с выполнением заказа. После отъезда бригады отливка плит успешно продолжалась только коллективом рафинировочного цеха.

Успешно шло и производство алюминиевых вайербарсов.

О днепровских вайербарсах заговорили в широких промышленных кругах. О них писали газеты, восхваляя высокое качество этого нового достижения советской металлургии. И коллектив цеха рафинировки Алюминиевого комбината из всех сил старался закрепить репутацию марки своей продукции.

Интерес к вайербарсам был настолько велик, что, когда товарищ Орджоникидзе приехал в это время на Днепрокомбинат, он решил лично посмотреть их производство.

— Вы слышали, какая вчера история вышла на «Запорожстали»? — спросил мастер Мороз инженера Геймана.

Тот сосредоточенно рассматривал «елочки» на поверхности отлитого вайербарса.

— Опять шлакуется, — с огорчением проговорил он.

— Это вчерашние, — утешил Мороз, — а сегодня увидите, какие замечательные отольем. Так вы послушайте историю-то...

— Что за история? — рассеянно спросил Гейман.

— А вчера товарищ Орджоникидзе был днем на «Запорожстали». Ну, конечно, начальство показывало ему, как у них все хорошо и образцово. Нарком глядел, одобрял, а поздно вечером решил тихонько сам туда проехать, чтоб, значит, без начальства, самолично все проверить. Приехал безо всякого предупреждения и прежде всего снял часового за то, что тот, узнав наркома, не спросил у него пропуска. Затем прямо на турбовоздуховку. До всего сам доходил. Даже дранку со стены оторвал — вот, мол, как вы строите, что дранки торчат... Ну, ребята, конечно, пере...

Мороз вдруг замолчал, впорыв взгляд в группу появившихся у входа в цех людей.

Гейман посмотрел туда и мгновенно узнал среди вошедших товарища Орджоникидзе.

Поздоровавшись с персоналом, обслуживающим печи «Гаутчи-Брандт», нарком сказал:

— Я хотел бы посмотреть выпуск рафинированного металла. Скоро ли собираетесь выливать?

— Сейчас, — ответил Гейман и подошел к печи.

— А не рано ли? — спросил товарищ Орджоникидзе.

— Нет, товарищ Серго, металл поспел, — заверил мастер.

— Какова температура? — поинтересовался нарком.

— Около семисот градусов, — ответил Гейман.

К печи были придвинуты изложницы, и тяжелая струя металла хлынула в них, слепя присутствующих своим горячим серебристым светом.

— Хорошо будет, — уверенно проговорил Мороз, пристально глядя на изложницу, в которой быстро стынувший металл начинал заметно твердеть.

— Вашими вайербарсами мы довольны, — продолжал нарком, — а как с выполнением плана по их выпуску? Нам вайербарсы очень нужны.

— План по вайербарсам мы перевыполним, — пообещал наркому сопровождавший его директор комбината Мирошников.

И действительно, на партийном собрании, посвященном обсуждению итогов ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б), начальник цеха рафинировки Гейман сделал сообщение:

— Против задания переплавки тысячи тонн металла в вайербарсы мы переплавили тысячу шестьсот тонн. Техника изготовления вайербарсов рабочим и инженерно-техническим коллективом нашего цеха освоена. В первые месяцы работы мы отлили двести двадцать пять и пять десятых тонны вайербарсов, имея брак до десяти процентов. В ноябре брак снизился до двух процентов, а план выполнен на сто семьдесят процентов. Бригада Куриса выдавала за смену свыше девяноста вайербарсов против нормы пятьдесят — шестьдесят штук.

Выступивший затем Мирошников резюмировал:

— Показатели последних дней работы рафинировочного цеха категорическим языком цифр говорят о том, что приказ товарища Орджоникидзе о замене импортных вайербарсов отечественными нами выполнен.

3. Ни шумихи! Ни гостей!

Начавшему интенсивно работать цеху рафинировки, или, как его иначе называли, электролитейному цеху, требовалось все большее количество сырого алюминия, и вступление в эксплуатацию новой серии электролизных ванн было очень своевременно.

Успеху удачного окончания здания и монтажа этого нового корпуса много содействовала самоотверженная работа лучших бригад.

Бригады шамотчиков Ноздралова под руководством прораба Ягодзинского, ударника по набивке шамотной футеровки, и мастеров Спектора и Пашкова систематически перевыполняли задания. Бригада слесарей Тимофеева, бригада набойщиков Рязанова, литейщики Медведев и Меняйло, крановые машинисты Буряк, Тарасенко и Грищенко... весь этот отряд рабочих-энтузиастов при пуске третьего корпуса ванн испытывал глубокое удовлетворение.

Руководил пуском инженер комсомолец Овчаренко.

Начальник цеха Журавлев распорядился:

— Никакой шумихи! Никаких гостей! Пускать в деловой обстановке!

В одиннадцать часов вечера пятнадцатого ноября ванны были поставлены под нагрев.

Проходя по их рядам, Журавлев упирался ногой то в один, то в другой анод, пробуя, насколько плотно они прилегают к подине ванн. Аноды противостояли нажиму. Но вот один из них наклонился.

— Исправить! — строго обернулся Журавлев к мастеру Рязанову.

Тот сейчас же подошел к ванне и закрепил качавшийся анод.

Мастер Карпов, как перед боем, производил переключку членов своей бригады:

— Кислый!

— Есть.

— Руденко!

— Есть...

Все налицо. И лица у всех спокойно-сосредоточенные.

После полной проверки подготовленности ванн Журавлев отдал распоряжение:

— Включать ток!

Стрелка амперметра дрогнула, двинулась...

«10 000 ампер», — отметил мастер Карпов в журнале, а через час снова запись: «12 000 ампер». И так до утра, когда перед сдачей смены Карпов записал: «24 000 ампер».

Все необходимое для пуска было сделано, и сделано так хорошо, что пуск этой серии прошел безукоризненно.

На другой день в гостях у этого новорожденного цеха была делегация иностранных рабочих, прибывших в СССР на Октябрьские торжества.

Осмотрев основные цехи: электродный, электролизный, рафинировочный, металлургический — и посетив цеховые столовые и медпункт, представители рабочих Англии, Ирландии и Южной Африки сделали такую запись в книге посетителей:

«Завод, который мы осмотрели, еще раз удивляет нас своими достижениями, еще раз доказывает то, что трудящиеся Советского Союза под руководством Коммунистической партии успешно подходят к бесклассовому обществу. Энтузиазм рабочих алюминиевого завода — это тот энтузиазм, который мы видели и на других заводах Советского Союза.

Вернувшись в свою страну, мы расскажем нашим братьям о достижениях Советского Союза, о его упорной борьбе за построение социализма».

Все ошибки пуска первой серии электролиза и весь опыт работы первого и второго корпусов были учтены к началу эксплуатации третьей серии, и поэтому работа ее шла бесперебойно, а качественные и количественные показатели выпуска металла неизменно росли.

В то время как ванны первых серий были пущены на 30—40 вольт, эти пускались при минимальном напряжении 18—20 вольт. Выход металла из каждой ванны этого пуска очень скоро достиг 160 килограммов в сутки.

Большая роль в достижении этих успехов принадлежала также инженерам Овчаренко, Барановскому и Химченко и старому мастеру Соколову.

Товарищ Огарев, который принимал активное участие в пуске первых ванн первого корпуса, будучи к этому времени парторгом, организовал несколько собраний, где поделился воспоминаниями о пуске первого корпуса.

— Нам надо,— говорил он,— хорошо помнить все те ошибки и недочеты, которые заставили нас провести много тревожных дней и ночей у больных ванн первой серии.

— А помните,— продолжал Огарев,— как мы волновались, когда ванны, смонтированные с большими трудностями, стояли без дела, с надписями на бортах: «Жду тока». А тока не было из-за неготовности подстанции.

— Помните,— восклицал он,— как на помощь подстанции двинулись четырнадцать комсомольских бригад, наш славный комсомольский батальон?!

Ты, Тарута, наверно, не забыл, как под проливным дождем, по колено в воде, ты со своими ребятами облицовывал кабельный тоннель?

А ты, Кобрин, тоже, конечно, помнишь, как твоя бригада выдвинула встречный против бригады Родецкого и дала сто сорок процентов выполнения плана?

Я уверен, что никто из вас не забудет никогда того времени, когда мы работали на этом участке по четырнадцать — шестнадцать часов в сутки и не хотели уходить до тех пор, пока нас чуть ли не силой прогоняли домой отдохнуть.

Ошибки прошлого послужат нам хорошим уроком в период освоения порученного нам дела.

Так будем же вести его с неменьшим упорством, с неменьшим энтузиазмом, чтобы пафос строительства был дополнен пафосом освоения!

4. «Шефы» и «обершефы»

Начало создания мощного электрохозяйства Днепровского алюминиевого комбината относится к 1931 году.

Строительные сооружения преобразовательной и фидерной¹ подстанции не были еще и в зародышевом состоянии, когда на Днепр уже стал стекаться народ, нужный для монтажа электрооборудования этих подстанций.

Из Иваново-Вознесенска приехала группа тамошних работников электромонтажного бюро, которая вместе с

¹ Фидер — кабель или воздушный провод электропередачи. Фидерная подстанция распределяет поступающую от электростанции энергию между цехами-потребителями.

уже прибывшими харьковчанами образовала крепкое ядро будущего рабочего и инженерного электромонтажного коллектива.

Сколотить такой коллектив было очень трудно, так как бытовые условия того времени были далеко не привлекательны.

Квартир электрикам не давали, и они с большими осложнениями расселялись кое-как в Запорожье — городе, отстоящем от строительства на расстоянии около пятнадцати километров.

Маклеры, рыскавшие в поисках для них комнат, говорили:

— Не хотят сдавать семейным. Ни в какую не соглашаются...

— Придется либо срочно разводить их с женами, либо искать исключительно холостые кадры, — шутил начальник монтажных работ и требовал от директора квартир для электриков.

— Они слишком рано приехали, — ворчал тот, — ведь цехи, которым понадобится электроэнергия, еще не построены.

— А мы думаем, что слишком поздно приехали, — возражали электрики. — Ведь через год пускается ДГЭС, и некуда будет девать ее энергию.

Электрики оборудовали на площадке будку, поставили несколько верстаков, станков, подключили электромотор и стали выполнять любые монтерские работы.

— Нам надо только начать существовать как определенная организация, — говорили они, — а там мы своего добьемся.

Среди монтеров своими способностями выделялся Володин, который вскоре был назначен шеф-монтером.

Когда приехал другой монтер — Козлов, тоже мастер своего дела, начальника монтажных работ спрашивали:

— Какой же чин вы ему дадите?

— А он будет у нас обер-шеф-монтер. Лишь бы только народ съезжался, а не разбегался, — шутил тот. — А то только ведь и слышишь: «Ты куда?» — «В Магнитогорск». — «А ты откуда?» — «Из Магнитогорска».

Текучесть рабочей силы в тот год была не только среди чернорабочих — в большинстве колхозников, — но «летали» с места на место и инженерно-технические работ-

ники в поисках лучших бытовых условий и материального обеспечения.

Выискивая и привлекая людей на электромонтажные работы для алюминиевого завода, начальник монтажа имел на этой почве даже столкновение с директором Электропрома, у которого он переманил много хороших работников, и в их числе инженера Германа.

— Если ты будешь забирать у меня таких людей, я прикажу тебя не пускать на порог нашего учреждения, — пригрозил директор Электропрома полушутя-полусерьезно, — а то повадится козел в огород, всю капусту перетаскает.

— Если ты это сделаешь, — услышал он в том же тоне, — то следующим из хороших электриков, кого я заберу на ДАК, будешь ты сам.

Инженер Герман обладал большим организаторским талантом. Из двухсот находящихся в его распоряжении рабочих он сумел выбрать наиболее способных и деловых бригадиров, через которых проводились в жизнь его распоряжения. Он был одним из тех прорабов, который сам мог показать рабочему, как надо сделать ту или иную деталь. Хорошо зная, сколько надо заплатить за выполненную работу, Герман ввел такие справедливые расценки, которые ни разу не вызвали ничего недовольства.

Невзирая на широко практикуемую им премиальную систему, сооружение фидерной подстанции обошлось дешевле, чем это могло бы быть при иной постановке дела, а по качеству работы эта подстанция занимала среди подобных сооружений одно из первых мест в Союзе.

Инженер Герман оказался прекрасным рационализатором. Так, например, когда завод «Электроаппарат» отказался к нужному сроку изготовить разъединители, он придумал собственную конструкцию этих механизмов, которые отлично работали.

Правой рукой Германа был инженер комсомолец Куст, вполне достойный ученик своего учителя. Герман сумел сделать из него не только дельного монтажника, но и способного, находчивого эксплуатационника.

Бригадир Карпенко, прибывший на комбинат из Иваново-Вознесенска, настолько прославился исключительными темпами в работе, что имя его сделалось своеобразной единицей измерения скорости.

— Работа сделана в карпенковские сроки, — говорили на строительстве, когда хотели отметить необычайно быстрое выполнение того или иного задания.

— К завтрашнему дню не кончишь, Степан Васильевич? — спросил как-то начальник монтажа у Карпенко, который со своей бригадой работал по сигнально-измерительной проводке.

— Почему не кончим? — удивился бригадир.

— Так ведь уж вечер.

— Ну что же, что вечер! — пожал плечами Карпенко. — Еще целая ночь впереди. Правильно я говорю, ребята? — обратился он к бригаде.

— Верно, Степан Васильевич. К утру беспрерывно сделаем.

«Шеф-монтер» Козлов, кроме работы по фидерной подстанции, блестяще смонтировал пульт управления — электросердце всех электроэнергетических сооружений, обслуживающих Алюминиевый комбинат. Налаженная им автоматика работала так, что вызывала восхищение даже у скептически относящихся к советской аппаратуре иностранных специалистов.

Эта аппаратура, грубоватая по сравнению с импортной, оказалась целиком на высоте своего назначения.

К концу года по приказу товарища Орджоникидзе на строительство Алюминиевого комбината приехали из Москвы руководящие работники Союзалюминия.

На совещании у начальника Объединенного днепровского строительства совместно с парторганизацией был поставлен вопрос о недопустимости такого положения, когда к одному из объектов, ради которых создавалась сама Днепровская гидроэлектростанция, именно к Алюминиевому комбинату, наблюдалось отношение как к не любимому пасынку.

На такое именно отношение со стороны управления Объединенного строительства жаловались представители участка электрохозяйства, электродного и глиноземного заводов будущего Алюминиевого комбината.

— Можно думать, что мы, работающие на левом берегу Днепра, — чужие, а вы, правобережники, — родные...¹ — говорили они.

¹ ДГЭС находится на правом берегу Днепра, а промкомбинат — на левом.

После этого совещания отношение управления Объединенного строительства к объектам Аллюминиевого комбината улучшилось. Им дали доски, цемент, кирпич. Выделили квартиры.

Стало поступать оборудование. Но главное — прибывали люди, без которых и самые первоклассные материалы и самые усовершенствованные машины — только груды камня, дерева и металла.

С весны широко развернулись работы по сооружению преобразовательной и фидерной подстанций. И здесь одновременно со строительством велся и монтаж поступающего от Харьковского электромеханического завода электрооборудования.

Коллектив электромонтажников пополнился многими ценными работниками.

Среди них был бригадир Поддубный, сумевший составить одну из лучших бригад из жителей села Вознесенки, «славившихся» своим разгильдяйством, ленью и стародавним хулиганством.

Такелажный мастер Косолапый не оправдал своей фамилии — за весь период своей работы на строительстве алюминиевого завода он ни разу не уронил ни одного груза, ни малого, ни большого. Делом его рук явилась циркулярная маятниковая пила и много других рационализаторских предложений, внедренных в производство.

Обычно даже самые маленькие машины испытываются на заводах, прежде чем их отсылают на производство. Машины же и агрегаты, устанавливаемые на фидерной и преобразовательной подстанциях, из-за своих огромных размеров не могли быть испытаны вплоть до момента их включения на месте эксплуатации.

Когда это время приблизилось, ВЭО¹ прислало харьковского инженера Чуднова, который приложил свой большой опыт и знания к делу наладки работы преобразовательной и фидерной подстанций. Он написал инструкции, помогшие персоналу безболезненно осуществить пуск и приступить к освоению сложнейшего и ответственного электрооборудования.

Через партийные организации были привлечены новые эксплуатационники.

¹ ВЭО — Всесоюзное электрообъединение.

Благодаря умелому и ускоренному окончанию монтажа фидерной и преобразовательной подстанций дощечки с надписями «Жду тока», висевшие на ваннах в электролизном заводе, скоро были сняты: ток ваннам был дан.

С момента ввода в эксплуатацию преобразовательной и фидерной подстанций начался строгий отсев людей. Не все монтажники, даже и самые лучшие, годились в эксплуатационники.

— Монтажника от эксплуатационника можно отличить даже по походке, — говорил главный энергетик комбината. — У монтажника она суетливая, быстрая. Глаза так и шарят. Эксплуатационник же идет размеренными, спокойными шагами. Взгляд у него сосредоточенный. И характеры у этих людей разные. Монтажник — человек беспокойный, требовательный, нервный. Эксплуатационник, и именно наш эксплуатационник-электрик, прежде всего должен иметь выдержку, хладнокровие. Инструкции он должен выполнять с такой же точностью, какая требуется в военном деле. Малейшее незнание или небрежность — и нависает угроза катастрофы. Незначительная ошибка — и эта катастрофа разражается. Пунктуально точным должен быть эксплуатационник в отношении любого агрегата, автоматически точным в отношении самого себя.

Сдав техэкзамен и усвоив инструкции, эксплуатационник выдает расписку, что будет исполнять их в точности, и эта расписка должна иметь для него такое же значение, как присяга для солдата.

Снебрежничал — и погибнет, как погибла работница преобразовательной станции, бригадир-монтер Мороз. В свое дежурство на подстанции она должна была вычислить подводящие ток шины, но по ошибке зашла не в ту камеру, где шины были не под напряжением, а в другую. Если бы она соблюдала требования инструкции и зажгла лампу безопасности, она увидела бы свою ошибку, но она этого не сделала и была убита током.

Так же трагически погиб талантливый инженер-электрик Васютин, который вошел один в помещение токов высокого напряжения, чтобы осмотреть аппаратуру, и случайно прикоснулся к проводу.

За нарушение категорического требования инструкции — входить в такие помещения только вдвоем, чтобы иметь на всякий случай контроль за проделываемыми опе-

рациями, а в случае надобности мгновенную помощь, — инженер заплатил ценой своей молодой жизни.

Те из монтажников, которые остались на эксплуатации, должны были много над собой поработать. Зато и эксплуатационники из них вышли первоклассные.

Исключительно талантливый человек работал в электростроительстве комбината. Это был мастер Иверт.

Иверт — сын латвийского крестьянина-батрака. В колебательном возрасте он потерял отца. Мать-батрачка дотянула сына до семилетнего возраста, и с этого времени до пятнадцати лет он зарабатывал себе хлеб трудом пастуха. Затем ряд других тяжелых «должностей» — официант в питейном заведении, кучер и, наконец, с 1900 года ученик судоремонтной мастерской. В течение последующих тридцати пяти лет Иверт не прекращал работать в области электромеханики.

Кем только он не был и чего только он не делал!

Он монтировал подводные лодки, купленные царским правительством у Америки еще во время русско-японской войны.

Он работал монтером по установке ветряных двигателей и электрифицировал завод анилиновых красок.

Во время империалистической войны он бригадир механических мастерских по ремонту судов в крепости Свеаборг. Затем в той же крепости старший машинист центральной электростанции.

В 1918 году с наступлением на Финляндию германских и белогвардейских войск, будучи членом Гельсингфорского Совета РКиКД, Иверт уехал из пределов Финляндии в Сибирь, в город Барнаул. Там его застала колчаковщина, до ликвидации которой ему пришлось выдавать себя за беженца.

Как только Колчак был изгнан, Иверт организовал первую советскую мастерскую по сельскохозяйственным машинам в одном из сел Барнаульского уезда.

Работая в Алтайском земельном отделе, он создал немало таких мастерских, приобретя широкую славу опытного и знающего мастера.

Отыскивая все новые и новые возможности применения своей неиссякаемой энергии и пытливой мысли в области электромеханики, Иверт занимает место заведующего

гидроэлектростанцией в совхозе «Березок», под г. Псковом, затем в качестве старшего электромонтера работает на постройке Балахнинской электростанции по оборудованию высоковольтной установки.

При открытии работ на Днепрострое Иверт, будучи в то время руководителем работ по установке всех днепростроевских трансформаторов, откомандировывается в качестве помощника заведующего электромеханической мастерской.

По распоряжению Энергоцентра в 1930 году он направляется на Ивгрэсстрой как мастер по трансформаторным и масляным выключателям высоковольтной установки.

Через год Иверт вновь получил предложение возвратиться на Днепрокомбинатстрой на должность шеф-монтера по монтажу двадцати семи подстанций, обслуживающих этот грандиозный комбинат.

Давая согласие на это предложение, он писал:

«Я надеюсь, что со своими рабочими мозгами я сумею дать государству еще больше пользы, чем я дал, так как считаю, что без рационализации труда и качества работы мы не сможем выполнить грандиозный промфинплан в установленные правительством сроки, нужные нашему пролетарскому государству».

Надежда Иверта оправдалась. За свою работу на Днепрокомбинате пятого ноября 1934 года он держал в руках почетную грамоту, в которой значилось:

«Методами соцсоревнования и ударничества, которые превращают труд из недостойного и тяжелого тягла, каким его считали раньше, в дело чести, дело славы, дело доблести и геройства, ты дал образцовые показатели в выполнении возложенных на тебя задач. Награждая тебя почетным званием ударника, треугольник Электромонтажного бюро на Днепрокомбинате выражает твердую уверенность в том, что, подавая личный пример трудового героизма, ты и дальше останешься в первых рядах славных бойцов строителей первого в мире социалистического государства».

В течение тридцати пяти лет своего рабочего стажа Иверт не уходил почти ни с одного участка работы, не оставив в нем следа своей рационализаторской мысли. Им сконструированы и своеобразные ветряные двигатели, и специальные холодильники для охлаждения трансформаторов, предложено много мелких, но тоже дающих эконо-

мию рационализаторских рабочих изобретений, о которых имеются соответственные документы и отзывы в печати.

Он настолько зарекомендовал себя своей отличной манерой работать — точностью, четкостью, исполнительностью и добросовестностью, — что в делах по договорам с инофирмами имеется документ от одной из них, в котором сказано, что: «Если работа по монтажу и освоению посылаемой машины будет поручена мастеру Иверту, то фирма, не снимая гарантии, может своего мастера не посылать».

Работая в отделе главного энергетика ДАКа, Иверт совершенно самостоятельно сделал такую установку для очистки трансформаторного масла, которая своими качествами превосходила заграничные.

— Я на него думал четыре года, — так рассказывал о работе над своей масловаркой Иверт (он, как латыш, не совсем правильно говорил по-русски). — Когда начинался это дело, инженер Маркевич сказал: «Ничего не выходит у тебя, брось». Но я уже не мог бросать. Я думал днем, я проснулся много раз ночью, вскочил и бежал в мастерскую. Я налаживал дело. Жена боялась, что я зашел с ума. Я и разговаривал сам собой — и все о мой масловарка...

И вот, когда она, совсем готовая, заменила собой импортную масловарку системы «Геринг», Иверт пригласил в мастерскую инженера Маркевича.

— Ну, где же твоя масловарка? — насмешливо спросил инженер.

Слезы восторга выступили у Иверта на глазах: инженер Маркевич, хороший специалист своего дела, не отличил созданной Ивертом масловарки от заграничной...

В середине апреля были произведены осмотр и пробные испытания маслоочистительной установки Иверта.

Составленный комиссией акт подтверждал, что «эта установка считается удовлетворяющей своему назначению и принятой Харьковским отделением Электропрома от монтажного бюро ДАКа».

Об этом газета «Днепровский алюминий» напечатала статью под названием «Рухнувшая слава».

«В одном помещении, — писала газета, — стоят теперь две масловарки двух различных систем и различной мощности.

Несмотря на то что мощность масловарки Иверта равна 24 киловаттам, а системы «Геринг» — 40 киловаттам, масловарка Иверта имеет большие преимущества перед немецкой. Для работы масловарки «Геринг» требуется чуть ли не вдвое больше энергии.

Акты о ходе работы трансформаторной мастерской свидетельствуют о том, что слава германской масловарки «Геринг» рухнула и советские масловарки системы Иверта затмили ее своими ничем не оспоримыми преимуществами...»

Слава масловарки «Геринг» рухнула так, как рухнул в наше время тот, чье имя она носила, чье имя несмываемым позором войдет в историю человечества рядом с именами Гитлера, Геббельса, Гимmlера и других виновников тягчайших преступлений, которые творились немецкими полчищами во временно оккупированных ими странах.

Когда об изобретении Иверта было напечатано в газете «За индустриализацию», со всех концов Союза стали поступать запросы о возможности изготовления масловарок системы Иверта для целого ряда предприятий. Ведь, помимо многих преимуществ конструкции, внедрение советских масловарок сэкономило стране большие суммы: за каждую масловарку системы «Геринг» приходилось платить 10—13 тысяч долларов, в то время как масловарка Иверта обходилась в 1400—1800 рублей.

Скоро на участке электромонтажа работало уже 350 человек. И многие из них были замечательны каждый в своем роде.

Если Иверт был одаренным изобретателем, то другие являлись образцовыми мастерами в смысле точного и добросовестного отношения к делу. Были среди этих людей и такие, которые при иных социальных условиях давно скатились бы «на дно», как бывший пьяница Овсянников, сделавшийся замечательным знатоком механики. Любое задание, каково бы оно ни было по трудности, для него становилось непреложным законом.

— Раз сказано сделать — сделаю, — был обычный его ответ на вопрос о возможности выполнения той или иной работы. И кажется, поручи ему «подковать блоху» — он сделает это не хуже тульских мастеров из сказки Лескова.

Инженеры супруги Поповы, Даниленко, Найбацер, техник Садовникова, комсомолки-бригадиры Захарова, Ушакова, Цыганкова — большинство из них неоднократно премировались.

Однажды с премированием на фидерной произошел забавный случай.

На торжественном собрании награжденных вызывали по списку и вручали им заранее приготовленные подарки.

Председатель собрания вызвал:

— Товарищ Шпилька! — и из груды вещей, предназначенных в премии, вытащил мужские брюки на хороший рост.

К столу президиума подошла маленькая женщина.

— Тебе чего? — спросил ее профорг.

— Да я же Шпилька. За премией...

Профорг до тех пор смущенно вертел в руках мужские брюки, пока под шутливые возгласы и аплодисменты другой член президиума не заменил их отрезом на платье.

Чудесным, действительно отборным народом было смонтировано и эксплуатировалось электрохозяйство Аллюминиевого комбината, который являлся одним из наиболее крупных потребителей энергии, вырабатываемой турбогенераторами Днепровской гидроэлектростанции.

5. Спортивная женщина

Ранняя весна 1932 года была «началом всех начал» на электродном заводе. После зимней «спячки», когда даже возникал вопрос о консервации участка электродного завода, снова разворачивались и строительные и монтажные работы.

Приехавшие из-за границы технологи-электродчики точно так же, как это было раньше с электролизниками, с места в карьер стали монтажниками.

Инженер Вирко был назначен сначала контролером по монтажу обжиговых и прокалочных печей, потом из контролера превратился в прораба, а затем довольно скоро был назначен руководителем всех монтажных работ по электродному заводу.

Для выполнения этой работы Вирко дали пятьдесят человек шамотчиков и столько же подсобников. Из этих рабочих организовались лучшие ударные бригады электродного завода.

Бригада шамотчиков Белова заложила первый кирпич по монтажу печи Ридгаммера.

Бригады Изотова и Тараненко, выполняя неотложные работы, по несколько дней не уходили с завода.

Мастера Кравцов, Уланов, Ховинин и Изотов показали себя не только знатоками своего дела, но и хорошими организаторами работ.

Холода задержались до самого апреля, и монтаж приходилось производить в огромных тепляках, выемки для которых рылись глубиной в четыре метра.

Отапливались тепляки двухметровыми в диаметре печами, поглощающими до полутонны каменного угля в сутки.

Ввиду недостатка рабочих на электродный участок было брошено около двухсот человек допровцев — в большинстве рецидивистов и бывших кулаков. Они всячески старались тормозить работы. Им удалось влиять на некоторых малосознательных рабочих, недавно прибывших на строительство.

Однажды мастер Ховинин прибежал в парторганизацию монтажников, к секретарю Бурулюку.

— Шамотчики отказались выйти на работу! — взволнованно заявил он.

— Причина?

— Из-за шамовки...

— Из-за чего? — не сразу понял секретарь.

— Из-за продовольствия...

Бурулюк вызвал заведующего партмассовым сектором Рапунского и сказал в категорическом тоне:

— Надо добиться выхода шамотчиков на работу!

Рапунский и Ховинин отправились в барак, где жили недавно прибывшие рабочие.

На их приход, как будто стоворившись, не обратили никакого внимания. Кто лежал — не шевельнулся, кто курил — продолжал курить.

В бараке царило полное молчание.

— Здравствуйте, товарищи, — нарушил напряженную тишину Рапунский,

— Рады бы здравствовать, да с голодухи ни черта не выходит,— ответил вихрастый парень, сидевший на топчане с поджатыми к самому подбородку коленями.

— Почему не вышли на работу? — спросил Ховинин, В бараке поднялся шум:

— А ты пробовал не евши работать?

— Почему от столовки открепили?

— Хлеба не дают!

— Чем попало кормят!

— Не пойдем — и баста!

Рапунский встал на табурет и поднял руку.

— Давайте не кричать. Криком не поможете... Кто вас открепил? Почему не заявили в партийное бюро?

— Знаем мы эти заявления! — покрывая весь шум, прозвучал голос парня, сидевшего на топчане.

— Мы хотели было, да вот он, Синюхин, отсоветовал,— сказал молодой рабочий, указывая на вихрастого парня.

— Почему ты отсоветовал? — спросил Рапунский.

— Потому что толку от этого все равно не будет.

Рапунский пристально посмотрел на него.

Опустив голову на поджатые колени, парень спрятал свое лицо...

«Где я его видел?» — старался вспомнить Ховинин.

— Выбирайте двух ребят,— предложил Рапунский,— и пойдем выяснять вопрос. А остальные подымайтесь на работу. Не дело, товарищи, бить баклуши в такое время, когда страна изо всей мочи напрягает силы, чтобы свалить с себя зависимость от иностранцев. Знаете ведь, что и хлеб, и масло, и все то, чего нам сейчас не хватает, уходит за границу в платеж за машины и за этот самый алюминий, который мы здесь будем сами изготавливать. Ясно, что чем скорей этого добьемся, тем больше нам останется и хлеба, и сала, и всего прочего. А для этого надо работать не покладая рук, а не валяться, как вы сейчас! — Ну, пошли! Кого посылаете с нами?

— А то вы без нас не разберетесь, что ли? — ответил один из шамотчиков, но первый стал натягивать сапоги.

За ним стали одеваться и другие.

В отделе питания выяснилось, что так как эти шамотчики прибыли недавно, то карточек на хлеб им еще не выдали, а без этих карточек прикрепляться к столовой не разрешалось.

Срочно оформили прикрепление, и вопрос с питанием был налажен.

Выяснили также, что Синюхин, который убеждал шмотчиков в том, что «никакими другими мерами, кроме забастовки, делу не поможете», — родной брат уголовника Синюхина. Братья были близнецы и походили друг на друга не только по внешности, но, очевидно, и по своим убеждениям. Вообще допровцы старались всячески раздражать рабочих насмешками и издевательствами.

— Мы принудиловцы, — язвили они, — в четыре часа хошь не хошь, а работу бросай, потому — караул обратно гонит. А вы люди свободные — вот и оставайтесь на работе до рассвета...

Много мелкого вредительства проделывали эти обозленные люди, и когда их перестали присылать, и рабочим и администрации стало как-то легче дышать.

Монтаж пресса немецкой фирмы «Эумуко» по поставлению партийного комитета производила комсомольская бригада Худякова. Фирма прислала пресс, но вместо схемы монтажа прислала «картинку» пресса в готовом виде. Худяковцы все же решили приступить к монтажу и два месяца собирали эту махину, пока она не стала перед ними в таком виде, в каком была изображена на присланной фотографии.

Одновременно с монтажом пресса шел монтаж прокаточных печей. Вырастало здание склада пека. А когда его построили, то не знали, как же втянуть туда баки для хранения пека.

Нашлись советчики.

— Надо разобрать стену, — говорили они, — иначе невозможно.

Инженер Кащенко крепко ругнул их и предложил спускать эти огромные баки-цистерны в подвал на скатах, и таким путем все шесть цистерн были благополучно установлены в складе пека.

Вообще же переделок и недоразумений было очень много и с оборудованием и с людьми...

Однажды прораб Вирко находился в газогенераторной. Присев на ящик, он внимательно слушал Храпуненко, докладывающего о ходе работ:

— На монтаж первого газогенератора израсходовано две с половиной тысячи человеко-часов, то есть триста пятьдесят человеко-дней. А бригада Худякова смонтировала второй газогенератор — за половинное время. Но инженер Рамова лаетя и орет на комсомольцев, что они ни черта не понимают... Это худяковцы-то... Ну, они ее и... это самое... Катись, говорят.

Вирко уже не раз слышал о том, что между рабочими и прорабом, инженером Рамовой, часто бывают стычки.

Инженер Рамова раньше работала в аппарате начальника строительства, с которым очень не ладила, и в конце концов попросила начальника монтажа перевести ее на электродный завод.

Узнав, что Вирко назначен руководителем монтажных работ этого завода, Рамова потребовала от него:

— Вы должны принять срочные меры, чтобы моя зарплата была немедленно повышена, иначе...

— Я должен прежде всего; — перебил ее Вирко, — увидеть, что вы за работник, и уже согласно этому оценить ваш труд.

Рамова откинула на затылок трех и заложила руки в карманы кожанки.

— Ах, так... — протянула она грозно.

— Только так, а не иначе, — отдельно проговорил Вирко.

Это была их первая встреча.

Вторая произошла в газогенераторной в то время, когда Рапунский докладывал об успехах на монтаже.

— Вот она топает, — сказал он, первым заметив вошедшую Рамову.

Она действительно «топала» в больших мужских сапогах с надвинутым по самые брови треухом.

Рапунский посторонился, давая ей дорогу.

— Вы знаете, что я развелась с мужем? — строго спросила Рамова у Вирко.

— Нет. А что? — с недоумением спросил он.

— А то, что мне нужна отдельная комната, что я не намерена вести бродячий образ жизни, что тот чулан, который мне дал начальник коммунального отдела, ни к черту не годится, и счастье этого идиота, что я его не застала... И потом — я снова требую, чтобы вы...

— Пойдите, — прервал ее скороговорку Вирко. — Вы меня не можете видеть, чтобы чего-нибудь не требовать,

Ну, и я требую, чтобы вы не мешали мне слушать рапорт о ходе работ...

Взбешенная Рамова, выскочив из газогенераторной, отправилась на свою новую квартиру. Ей дали комнату во вновь заселяемом доме, рядом с комнатой инженера Красавина, а так как тот был женат, то и комнату ему дали большую.

Войдя к Красавину, она увидела, что его жена, мексиканка Марчелла (попавшая в СССР с отцом, моряком дальнего плавания), заботливо вешает на окно гардину. Рамова предложила Марчелле поменяться комнатами.

— Зачем? — подняв на нее свои сверкающие, как угли, глаза, удивленно спросила Марчелла. — Этот комнат больший. И мы — два, а ты — раз, — и она подняла кверху смуглый сухощавый палец.

— Не хочешь? — угрожающе спросила Рамова и вдруг ударила Марчеллу по щеке. — Это раз, а это... — ударила по другой, — это два!

Несколько мгновений мексиканка стояла ошеломленная, потом, взвизгнув и изогнувшись пантерой, прыгнула на Рамову.

Вцепившись одна другой в волосы, женщины царапались и лупили одна другую до тех пор, пока прибежавшие на шум соседи не оттащили их в разные стороны.

Об этом новом учиненном Рамовой скандале в тот же день стало известно всему комбинату.

— Спортивная женщина, — сказал Вирко, услышав о драке.

Низовые партийная и комсомольская организации, куда рабочие неоднократно приходили жаловаться на Рамову, потребовали снятия ее с работы. Они указывали на то, что Рамова ведет свою работу не так, как надо, и в личных отношениях со всем рабочим коллективом проявляет себя как совершенно чуждый элемент. Вопрос о Рамовой был поставлен на бюро ИТР, и решение было единогласное — Рамову с работы снять.

На ее место прорабом был назначен инженер Кащенко, и монтаж пошел полным ходом.

К Первому мая вывели самую высокую на площадке дымовую трубу высотой в пятьдесят пять метров с диаметром у основания около четырех метров, а сверху — два метра.

В течение летнего сезона главное внимание руководителей электродного завода было обращено на работы по сооружению зданий. Было стремление подвести их к осени хотя бы до такой степени готовности, чтобы поставленные в них агрегаты не подвергались опасности непогоды.

Этого не удалось достигнуть в полной мере. Зима 1932/33 года была очень суровая. Суровые морозы перемежались ветрами с обильным снегопадом, от которого монтажники испытывали большие бедствия: снег падал сквозь щели в крышах, сквозь незастекленные проемы. И случилось так, что смонтированный накануне агрегат бывал до такой степени занесен снегом, что походил на сугроб.

Холода сменились дождями и непролазной грязью, в которой вязли люди, лошади, грузовики и перевозимые тяжелые части машин.

А сколько металла было погребено в этой грязи в виде кусков каркаса, болтов, гаек, шайб, проволоки, арматуры и т. п. не только на этом участке электродного завода, но и по всему плацдарму строящегося гиганта!

6. Нет худа без добра

После окончания монтажа, с большим количеством недоделок, в середине лета подошли к пуску электродного завода.

Его начали со склада сырья предварительного дробления. И сразу же выяснилось, что заводы-поставщики оказались далеко не на высоте.

Пластинчатые питатели для склада сырья прибыли с харьковского завода имени Шевченко с опозданием, и их монтировали наспех. Качество их было настолько неудовлетворительно, что все шестнадцать питателей то и дело рвали.

Из-за пришедших в негодность роликов, присланных из города Сумы заводом имени Фрунзе, пришлось на три недели остановить весь прокаточный цех. Чтобы не создавать невольных прогульщиков, рабочих этого цеха послали на строительство заводской столовой.

Шаровые мельницы работали хорошо. Смесители тоже шли бесперебойно.

На прессах «Эумуко» в процессе работы разорвались из-за низкого качества металла три цилиндра, которые в спешном порядке были фирмой заменены.

Из рабочего коллектива этого периода на отдельных участках выявились лучшие:

Тихановский связал свою судьбу с предварительным дроблением анодного сырья.

Погребная, Твердый, Васильченко, Сыса и другие совершенствовались на прокатке.

Героями смесильно-прессового и дробильно-размольного цехов стали Рубан, Уваров, Коломонец, Уваров-второй, Кутовая, фабзавучник Малыгин, Щетинин и другие.

В обжиговом цехе выделялись исключительной преданностью работе Рыбкин, Данилов и Попов.

Бывает такое «худо», которое обязательно приносит добро. Худо было то, что по недосмотру отдела снабжения в сведениях о количестве привозных анодов, хранящихся на складе готовых изделий, вкралась «опечатка».

Было сказано, что их там 628 тонн, а этого количества при работе одной серии электролизных ванн хватило бы на восемь месяцев. Когда же спустя месяца полтора после пуска электролизного завода поехали на склад за анодами, оказалось, что их было не 628 тонн, а 628 штук, и оставшихся могло хватить на шесть-семь дней.

Из-за этой «опечатки» появилась угроза остановки так нуждающегося в электродах электролизного завода, что принесло бы колоссальные убытки.

Перед электродчиками возникла задача во что бы то ни стало к моменту, когда иссякнет запас импортных анодов, обеспечить электролизные ванны своими.

Покуда дирекция выясняла, кто виновен в создавшемся положении с анодами, электродчики горячо взялись за работу. И, как на беду, количество брака анодов, выпускаемых в этот критический период, катастрофически росло. Аноды выходили с трещинами и были настолько явно непригодны, что французская консультация браковала их беспощадно.

Французы установили режим обжига анодов и требовали, чтобы камеры держались на полном огне при температуре 1350° в течение 48 часов, что вело к быстрому

износу печей и затягиванию обжига анодов до сорока дней.

Кроме того, консультация требовала, чтобы грануляционный состав массы включал в себе больше пека, а это влекло большую пористость и, следовательно, меньшую механическую прочность анодов.

Между французами мастерами Колле, Гропине и Берлиозом и инженерами Жоффреном и Куэнтом — с одной стороны, и руководством электродного завода — с другой, возникли горячие споры о причинах массового брака анодов.

Ввиду остроты положения из Парижа был вызван «электродный бог» — инженер Гролле. На ДАК приехали и специалисты из Союзалюминия и с Кудиновского электродного завода.

Французы утверждали, что причиной брака служат матрицы пресса немецкой фирмы «Эдумуко», и единственный выход из положения — это остановить завод и заняться переоборудованием пресса.

От этих заключений у электродчиков буквально потемнело в глазах.

На заводе наступили траурные дни.

Вирко ходил такой мрачный и молчаливый, что казалось, этого человека подменили.

Мастера Уланов, Бойченко, Ховинин, Изотов, обычно любившие перекинуться с рабочими дружескими шутками, огрызались на каждый заданный вопрос.

При обсуждении создавшегося положения секретарю партийной ячейки Усову приходилось слышать от рабочих подозрения в искренности поведения французской консультации.

— Переоборудовать прессы! Ведь это пахнет четырехмесячной остановкой завода. Им-то это на руку — у них аноды покупать будем.

— Возможно, что и пресс они бракуют, потому что он немецкий, а не французский.

— А может быть, дело тут совсем в другом?..

На тему, в чем же дело, спорили без конца.

Наши инженеры не соглашались с французами и предлагали заменить не все матрицы пресса, а только их плиты.

«Электродный бог» Гролле тоже видел причину брака в волнистой поверхности плит.

Главный инженер Аллюминиевого комбината Жуковский разделял мнение французской консультации.

Инженеры Вирко, Банников, Кащенко и другие утверждали, что вся причина в пеке, которому нужны другие температурные условия...

— Какие же это условия? — спрашивали их.

Ответа на этот вопрос не находили и еще больше кипятились и ссорились.

На одном из заседаний, посвященных этой беде, главный инженер вспылал.

— Вы страдаете излишней самонадеянностью, — бросил он по адресу своих инженеров. — Французы имеют полувековой опыт в этом деле, и надо исполнять то, что они советуют...

Инженер Кащенко, краснея шеей и затылком, резко спросил:

— Выходит, что мы должны иметь только руки и определенную часть тела, которую надо подставлять, когда бьют?

— В такой момент — да, — сердито проговорил главный инженер и ушел с заседания.

Возмущению технологов не было предела.

После этого официального производственного совещания Вирко испытывал такое же напряжение неотвязной мысли, какое ему приходилось переживать в моменты острой опасности на фронте гражданской войны. Он внимательно изучал массу, из которой прессуются аноды. Она ничем не отличалась от той, которую он видел за границей, — такая же крутая каша, похожая на сваренный в меду мак.

«Нет, решительно, она такая, как ей надлежит быть». И он снова подходил к матрицам.

Положив как-то руку на одну из них, он почувствовал ледяной холод ее стального массива.

И вдруг в памяти вспыхнуло воспоминание, относящееся к пребыванию во Франции, на электродном заводе. Когда в декабре с Альпийских гор подул холодный ветер и температура резко понизилась, конструкторы завода «Сабар» подогревали матрицы электрической печью.

Вирко опрометью бросился в электроремонтную мастерскую. Когда он объяснял заведующему необходимость срочного изготовления печки на десять киловатт, тот с изумлением смотрел на этого человека, обычно добро-

душного и спокойного. Лицо его горело, голос вибрировал, а руки, объясняя устройство печи, нервно дергались.

Когда через три часа электропечь, но не на десять, а на один киловатт, была опущена в матрицу, французский консультант Куэнт, следивший за всем, что творится возле анодного пресса, спросил иронически через переводчицу:

— Разве пресс простудился, что ему грелку ставят?

Грели матрицу всю ночь, но при такой маломощной печи температура повысилась очень незначительно.

Тогда Вирко собрал еще одно узкоцеховое производственное совещание.

На нем он высказал мысль о том, что с наступлением осенней прохлады подаваемый под пресс пек несколько охлаждается уже в процессе переброски его из смесильных машин в матрицы. Затем, соприкасаясь с холодным телом матрицы, он быстро остывает, создавая таким образом поверхностную корку, которая лопается.

— Что же нам надо делать, чтобы избежать этого?

— Подогреть матрицы! — раздалось сразу несколько голосов.

— Так ведь грели, — проговорил какой-то скептик.

— Мало грели, — ответил Вирко. — Давайте попробуем греть острым паром¹.

Совещание приняло это предложение.

Когда о нем узнали французы, инженер Куэнт воскликнул:

— Они погубят дело! От пара в матрицах появится ржавчина!

— Надо менять плиты, — настаивал Гролле, — когда они будут отшлифованы, ничто не будет рвать выходящий из них анод...

Ладно, увидим, — решили между собой руководители и мастера электродного завода.

С вечера грели матрицы паром из подведенных к ним трубок.

— Сейчас в них температура шестьдесят градусов, — сообщил мастер Уланов начальнику завода по телефону.

— Выезжаю, — ответил Вирко.

В час ночи приступили к прессовке. Говорили шепотом, как заговорщики. Двигались бесшумно, как у постели больного.

¹ Струей пара,

Первый гладкий как мрамор, анод выпрыгнул на круглую, движущуюся, как карусельный круг, поверхность пресса. К нему бросились все и, наклонившись, стукнулись лбами. Появившийся на свет черномазый крепыш был абсолютно здоров.

— А ну, еще! — не веря своим глазам, проговорил Вирко.

— Давай, давай! — радостно повторял Уланов при появлении новых, гладких здоровых анодов.

— Вот сукины дети, один лучше другого...

— Значит, брак ликвидирован, — улыбнулся первый раз за много дней Вирко.

— Есть, товарищ начальник, брак ликвидирован!

Когда таких «сукиных детей» набралось больше десятка, Вирко, усталый до последней степени, собрался домой.

На место такого же бледного и утомленного Уланова заступил мастер Бойченко. Ему было дано распоряжение вновь подогреть матрицы до нужной температуры и продолжать прессовку.

Рано утром Вирко снова был на заводе.

Когда он вошел в цех, первое, что бросилось ему в глаза, было множество анодов, расставленных в ряд вдоль цеха.

— Сколько их? — спросил он у Бойченко.

О качестве спрашивать было не к чему — о нем говорили сияющие лица мастера и рабочих.

— Сто одиннадцать штук, Иван Михайлович, — ответил Бойченко, радостно улыбаясь.

— Временно прессовку прекратить, все подогревательные трубки убрать, — распорядился Вирко. И когда в цехе был наведен порядок, сказал: — А теперь будем ждать наших французов.

— Явятся, — говорили рабочие. — Ведь за это время покоя от них не было. Все ходят, все щупают...

Первыми на завод приехали два французских мастера — Гропине и Колле. Так как они знали, что на складе сырых — «зеленых» — анодов не было, то вид этого множества анодов поразил их настолько, что несколько минут они стояли как спросонья, озираясь по сторонам.

— Откуда? — наконец спросил один.

— В чем дело? — проговорил другой.

За ними появился Куэнт. Он по обыкновению прямо подошел к прессу, у которого уже работала новая смена.

— Брак, конечно,— кивнул он на появляющиеся один за другим аноды.

— Переведите ему,— ответил прессовщик,— чтобы протер глаза и посмотрел вот на это,— он указал на изготовленные за ночь аноды.

Но Куэнт уже сам заметил их.

— Значит, лгали, что нет запаса! — вырвались у него слова возмущения.

— Брак ликвидирован,— перевели ему, и Куэнт только теперь обратил внимание, что лица всех присутствующих, и в том числе и переводчицы, светились радостью.

Куэнт потрогал «зеленые» аноды своими холеными пальцами. Аноды были еще теплые.

Куэнт смущенно молчал. Потом кликнул своих сконфуженных мастеров, и все трое пошли в конторку цеха...

Через пятнадцать минут у того же смесильно-прессового цеха остановилась машина главного инженера. Он вошел, сделал несколько шагов и остановился как вкопанный.

— Что это такое? — грозно спросил он.

— Так же ж аноды,— невинным тоном ответил бригадир Сыса.

— Я вижу, что не собаки!

— А раз бачите, то чому ж питаєте? — пожал плечами бригадир.

Вокруг звучали довольный смех и шутки.

— Черт возьми, однако...— пробурчал главный инженер, тоже щупая и рассматривая аноды. Потом быстро прошел в помещение цеховой конторки, куда за несколько минут перед этим ушли французы.

Через короткое время он появился оттуда вместе с ними. Никто из них не смотрел в глаза присутствующим.

— Выходит, брак ликвидировали? — отрывисто спросил главный инженер у Вирко.

— Ликвидировали, Евгений Иванович. Жаль, что мсье Гролле уехал вчера в Москву. Зря только огорчат Союзалюминий. Ведь он-то уехал, не зная об этом,— указывая на аноды, сказал Вирко.

— А можно послать телеграмму,— предложил Кащенко.— Она опередит Гролле.

— Я и то думаю,— согласился Вирко и здесь же набросал ее короткий текст:

«Москва, Союзалюминий.

Брак анодов ликвидировали. Работаем нормально».

Кашенко не удержался от того, чтобы не кольнуть главного инженера:

— Так что, выходит, Евгений Иванович, что, кроме рук и еще одного места, нам и наши головы пригодились?

Главный инженер кашлянул в его сторону. Ему и самому хотелось захлопать в ладоши от удовольствия, но мешало задетое самолюбие.

А французы засыпали его вопросами, на которые он отвечал короткими:

— Oui, oui!¹

После этого инцидента с анодами ни он, ни французы несколько дней не показывались в цехе.

Коллектив электродчиков, готовясь к XVII партсъезду, поставил перед собою боевую задачу в ближайшее время добиться высоких показателей по технологическому процессу производства анодов. Сверх декабрьского и январского планов электродчики обязались выдать триста тонн опрессованных анодов.

Все рабочие были переведены на сдельщину, а для того, чтобы выполнить намеченный план, коллектив рабочих и ИТР взял на себя обязательство: поставить на сушку вторую обжиговую печь; объявить конкурс на чистоту цеха и чистоту агрегата, которые так необходимы для этого завода высокой технической культуры; охватить техучебой весь коллектив эксплуатационников.

На заводе работало одиннадцать технических кружков, в которых училось двести тридцать комсомольцев и беспартийных рабочих.

Декабрьское задание электродный завод выполнил на 107 процентов, выдав 5200 анодов.

С тем же энтузиазмом, который был на строительстве, комсомольцы-электродчики выполнили одно за другим обязательства, данные к XVII партсъезду.

Бригада Емеца давала в смену вместо 40 обожженных

¹ Да, да! (франц.)

анодов 54. Бригада Маринчина прессовала в смену 220—230 анодов вместо 150.

За организацию таких ударных темпов работы и за качество полученной продукции комсомольская организация, во главе с ее секретарем Журавицким, была в начале 1934 года занесена «Комсомольцем Украины» на Доску почета.

Начиная с этого времени брак анодов снизился до 1,5 процента. В течение всего года завод неуклонно дрался за освоение производства и свою годовую программу по выпуску анодов выполнил досрочно. Вместо предусмотренных по плану 10 000 тонн он выдал 10 023 тонны, удовлетворив этой продукцией не только спрос электролизных цехов ДАКа, но и снабдив анодами Волховский алюминиевый комбинат.

С начала 1935 года он стал изготавливать также и сектора для печей Миге глиноземного завода и завода ферросплавов «Запорожстали».

7. C'est si bon¹

Через год после заключения договора с французской алюминиевой компанией «Але, Фрож и Комарг» был заключен договор еще с одной французской фирмой — «Монрише», по которому она была обязана передать нам чертежи печей Миге, предоставить техническую консультацию и разрешить советским инженерам поучиться на заводах фирмы.

Вскоре была получена телеграмма, что два консультанта «Монрише» — Лашарм и Гробель выехали в Москву.

Было решено, чтобы они сперва выполнили задание на разработку технического проекта электроплавильного цеха глиноземного завода, входящего в состав Днепровского алюминиевого комбината. Такое же задание они должны были выполнить и для завода ферросплавов «Запорожстали».

В Москве французских консультантов ездили встречать на вокзал несколько раз. И все неудачно. А приехали они в Союзалюминий сами, растерянные и беспомощные.

¹ Это так хорошо (франц.).

— Мы вручили свою судьбу московскому извозчику, — рассказывали они, — этот бородач оказался совершенно замечательным по своей сообразительности.

Действительно, совершенно непонятно, как этот бородач мог из объяснений французов, ни слова не говорящих по-русски, кроме «Союзалюминий», все-таки доставить их на Никольскую улицу, где находилось это учреждение.

На приехавших были высокие, типа охотничьих, сапоги (как будто их обладатели собирались бродить по болотам), какие-то, вероятно специально для России сшитые, странного фасона пальто, а на головах неизменные, легкомысленно надетые набекрень береты.

Лашарм, небольшого роста, очень подвижной, оказался добрым малым, хорошо знающим свое дело. Ко всему окружающему он относился с благосклонным вниманием. Выписывал из Франции коммунистическую газету «Humanité», делился ее содержанием с советскими товарищами и очень хотел научиться русскому языку. С этой целью он пробовал читать «Известия» и «Правду», и когда, увлекшись, начинал произносить вслух с трудом складываемые слова, трудно было удержаться от смеха.

Мсье Гробель держался замкнуто, холодно и оказался настолько слабым специалистом, что через несколько недель его перевели на завод ферросплавов, в помощники более сведущему консультанту.

Мсье Лашарм выказывал все большие и большие симпатии Советскому Союзу и подружился с некоторыми партийными работниками. Когда он спустя полгода поехал в отпуск во Францию, его возвращения ждали на Днепре с нетерпением. Однако, несмотря на письма, которые писались фирме с запросом о его долгой задержке, ответа не получалось и сам он не появлялся.

В мае в Москву приехал мсье Миге — один из директоров фирмы «Монрише», создатель знаменитой в то время электропечи, которая носила его имя.

Уже пожилой, но бодрый и жизнерадостный, как истый француз, с подстриженными темными усами на холеном лице, мсье Миге носил велюровый мягкий берет, плотно охватывающий его бритую голову.

Из Москвы мсье Миге сразу же повезли на Днепрокомбинатстрой, где устанавливались печи его конструкции.

Миге, большой гурман, не оставил без внимания прекрасный ассортимент вин и закусок, которые были приготовлены в Москве ему на дорогу.

— Хотя у нас этого нет,— с ласковой снисходительностью говорил он, закусывая тающей во рту семгой или свежей зеленовато-серой зернистой икрой,— но *c'est si bon, c'est si bon...*

Миге сопровождали главный инженер Жуковский и старший инженер Падалка. Они не без патриотической гордости и усердия поддерживали похвалы господина Миге и со своей стороны старались сказать ему что-либо приятное.

Просматривая снимки с его печей, установленных на заводах Италии, инженер Падалка сказал, копируя Миге:

— Хотя у нас этого еще нет, но *c'est si bon...*

— А поэтому и у нас такие печи будут,— добавил Жуковский.

В сумерки господин Миге отложил книгу, которую читал, видимо, с неменьшим удовольствием, чем то, которое ему доставили семга и икра. Взглянув на заглавие, инженер Падалка с удивлением убедился, что ничего общего с электропечами она не имела. Она называлась: «Наставления молодым девицам, вступающим в брак». «Наставления» прибыли из Парижа вместе с сложнейшими чертежами печей Миге, в нарядном, из крокодиловой кожи портфеле автора этих печей.

Господин Миге, стоя у окна, любовался бескрайним простором уже зазеленевших полей. Посаженные вдоль пути деревья тоже покрылись зеленой дымкой молодой листвы. На одной из остановок девочка-подросток продавала полевые тюльпаны, красные, с оранжевыми жилками. Миге купил у нее букетик, понюхал, и лицо его подернулось грустью: такие же тюльпаны росли в саду его виллы в Савойе.

Проводник принес чай. Жуковский распечатал коробку «украинских хлебцев».

— Отчего к нам не возвращается мсье Лашарм? — спросил он у Миге.

Лукавая улыбка скользнула по лицу француза.

— Причины чисто семейные,— ответил он после короткого раздумья.— Дело в том, что мадам Лашарм тяжело переносит разлуку с мужем. Конечно, если бы мадам

Лашарм не была такой высоконравственной женщиной, можно было бы иначе разрешить этот вопрос. Во Франции всегда найдутся охотники развлечь соломенную вдову. Но мадам Лашарм истая католичка, и фирме пришлось оставить мсье Лашарма у его семейного очага.

Такой типичной для французов мотивировкой «*cherchez la femme*»¹ Миге хотел объяснить причину, по которой Лашарм не вернулся в СССР.

Однако, когда позднее командированные во Францию советские инженеры встретились на одном заводе с Лашармом, они выяснили истинную причину, почему он больше не приехал в СССР.

Оказалось, что фирма «Монрише», прослышав о его симпатиях к коммунистам, решила, что Лашарм не может быть надежным защитником ее интересов на советских заводах, а потому и посылать его туда ни к чему.

По приезде на площадку Миге вместе с сопровождающими его инженерами отправился осматривать строительство электроплавильного цеха, в котором в недалеком будущем должны были устанавливаться печи его конструкции.

Дорога к цеху шла через рытвины и ухабы перекопанной во многих направлениях заводской территории, заваленной досками, бревнами, камнями и старой опалубкой. По сторонам высились колонны будущих цехов глиноземного завода. Между ними кое-где белел силикатный кирпич будущих стен металлургических цехов. Общее впечатление от всего завода создавалось такое, что строительство его только начиналось.

И действительно, участок глиноземного завода, называвшийся третьим строительным участком, был третьим не только по порядковому номеру, но и в отношении очередности строительных работ. Это произошло оттого, что Объединенным днепровским строительством было принято решение строить в первую очередь электролизный, а за ним — электродный и глиноземный заводы.

Войдя в электроплавильный цех, Миге приблизился к уже забетонированному огромному круглому фундаменту печи его конструкции, диаметром десять метров и глубиной девять метров.

¹ Буквальный перевод: «Ищите женщину», смысловой: «Причина в женщине» (франц.).

— Достаточно ли высоко качество вашего бетона? — озабоченно спросил он по-французски Жуковского и, выслушав утвердительный ответ, продолжал: — Необходимо помнить, что я придаю этому большое значение. Ведь верхняя часть фундамента, держа на себе всю тяжесть печи, служит в то же время перекрытием камеры печного трансформатора.

Жуковский предложил Миге спуститься в подвальное помещение, чтобы осмотреть внутренность этой камеры.

По временной лесенке опустились на семиметровую глубину, где после строительного гула яркого майского дня было прохладно и тихо.

При слабом свете, льющемся от одинокой электрической лампочки, из сумрака постепенно вырисовывались массивные железобетонные колонны и еще непросохшие стены. Пятидесятиметровый тоннель коридора уходил в полную темноту.

— Эта подземная часть здания, предназначенная для установки трансформаторов к вашим печам, обошлась нам очень дорого, — говорил Жуковский. — Только земляные работы составили около десяти тысяч кубометров.

Задав еще ряд вопросов, Миге повернул к выходу.

Когда поднялись наверх, Миге продолжал осмотр цеха.

— Как же вы решили вопрос с обслуживающими печи площадками?

— В этом отношении мы несколько отошли от вашего проекта, — ответил инженер Падалка. — Мы заменили железные конструкции железобетонными.

Миге не возражал против этой замены и сообщил, что такое же решение было принято на итальянском заводе Порто-Маргера.

В конце посещения Миге поблагодарил инженеров и за хорошее выполнение его проекта, и за внимание, оказанное лично ему.

На следующий день при его участии состоялось рассмотрение монтажных чертежей всего электроплавильного цеха.

И эта работа русских инженеров тоже была им одобрена.

Оставшиеся до отъезда два дня мсье Миге посвятил осмотру завода ферросплавов «Запорожстали», на котором также устанавливались печи его конструкции.

8. Под открытым небом

Медленные строительные работы глиноземного завода задерживали широкий разворот монтажа его цехов. Приходилось производить монтаж лишь той части агрегатов, которая не нуждалась в закрытом помещении, так как в то время ни на одном из цехов еще не было крыши, да и очертания самих цехов терялись в густых лесах опалубки. В этом строительном хаосе, как в густом лесу, перекликались эхом первые удары молотков монтажников.

На склады сырых материалов такелажники втаскивали разнovidные дробилки, которые устанавливались на фундаменты, только что освобожденные от своей опалубки.

На химической группе цехов клепали железные баки для сгустителей, карбонизаторов и прочей химической аппаратуры. Чтобы получить представление о размерах этих баков, вспомним, что обыкновенная цистерна, которую все видели в составах товарного поезда, вмещает около 16 кубометров жидкости, а некоторые из этих баков имеют емкость до 650 кубометров, то есть 40 цистерн, или целый состав товарного поезда.

Самым отсталым по строительным работам был агломерационный цех. В нем воздвигались колонны бункерной галереи, а на месте будущего помещения агломерационных машин стояли только колышки, обнесенные дощатой оградой.

Опоздание в строительстве этого цеха было вызвано тем, что данные для его проектирования поступали с большой задержкой от немецкой фирмы «Лурги», которая поставляла оборудование для этого цеха. В результате получилось так, что строительные чертежи цеха пришли на площадку одновременно с его оборудованием.

Для проверки железных каркасов агломерационных машин Дуайт-Ллойда, прибывших из-за границы, была проведена их предварительная сборка.

А так как агломерационного цеха еще не было, то вместо того, чтобы их установить на междуэтажном перекрытии, эти два гигантских каркаса длиной около 25 метров и высотой 6 метров вытянулись прямо под открытым небом.

Они были похожи на скелеты огромных допотопных чудовищ вроде ихтиозавра или мастодонта.

Возле электроплавильного цеха из ящиков, на которых стояла черная надпись: «Шлюзовая — Аллюминстрой», вынимались импортные бронзовые плиты для кожухов печи Миге.

В конторке, помещающейся во втором этаже цеха, несмотря на весну, было сумрачно и холодно. На бетонных стенах выступали темные пятна сырости. Круглая печь типа «буржуйки» времен 1918—1919 годов стояла окоченевшая и с заржавленным верхом.

От «буржуйки» было мало радости и зимой: стоило уборщице поджечь в ней несколько поленец, как клубы дыма наполняли конторку, выкуривая из нее людей.

Но лихо приходилось тому, кто для пользы дела должен был длительно находиться в конторке. Глаза у таких граждан моментально делались «на мокром месте», нос краснел, и вслед отчаянному чиханью раздавалось не пожелание «доброго здоровьяца», а краткая, но выразительная реплика по адресу «буржуйки» и ее создателей.

Благодаря именно этим отрицательным свойствам печки никто не протестовал против преждевременной ликвидации отопления конторки, тем более что с началом монтажа в ней уже надолго засиживаться не приходилось.

В один из дождливых дней в конторке за деревянным столом, испещренным какими-то вычислениями, геометрическими фигурами, номерами телефонов и разными фамилиями, с расплывшимися штрихами химического карандаша и лиловыми чернильными кляксами, сидели три инженера — старший инженер Падалка, прораб печей Миге, Рапопорт и старший прораб монтажного участка Григоров.

Запечатленное на столе вышеупомянутое «коллективное творчество» на этот раз было прикрыто папками чертежей печей Миге. Просматривая их, инженер Падалка говорил с обычным для него спокойствием:

— И очень хорошо. Сейчас восстановим в памяти чертежи прибывающих деталей. Они все должны быть в одной из этих папок...

— Я думаю, что надо начать вот с этого чертежа, — сказал Рапопорт, разворачивая большой лист — световую копию. Вверху на этом листе было красиво выписано:

«Société Electrometallurgique de Monricher. Ensemble four Miguet. Perron type de 10 000 kw»¹.

С чертежа глядел общий вид печи Миге, выполненный коричневатой сепией на желтом фоне бумаги.

Весь чертеж был испещрен стрелками и цифрами — номерами чертежей каждой отдельной детали.

Инженеры внимательно рассматривали чертеж, с которым они ознакомились еще в Москве.

Он давал ясное представление о всей конструкции печи.

Внизу расположен мощный железобетонный фундамент, состоящий из железобетонных, радиально расположенных балок.

Над ним возвышался массивный бронзовый кожух печи, состоящей из 112 бронзовых плит весом от 200 до 600 килограммов каждая.

Над кожухом печи помещались бункера для шихты, а над ними — железная конструкция моста для подвеса мощного электрода.

— Евгений Николаевич, — прервал долгую паузу Григоров, — я давно хочу спросить: что это за литеры «OR» вот здесь, вверху, около номера чертежа?

— А это начальные буквы слов «ouvert russe», то есть «открытая русская» — тип открытой печи, спроектированной фирмой для России. Такой маркировкой фирма снабжает все отправляемые в СССР чертежи этой печи.

— Михаил Борисович, нужно будет проверить, прибыли ли уже все эти болты, — Падалка кивнул на списанные Рапопортом цифры.

— Часть их уже в слесарной, — ответил Рапопорт, — другие на складе. Я, конечно, проверю еще раз.

— Сейчас надо форсировать приемку плит по техническим условиям, — сказал Григоров, потирая руки.

— Это вы от удовольствия в ожидании интересной работы? — пошутил над этим жестом Падалка.

— Не так от удовольствия, как от холода! — сердито ответил Григоров. — Поверьте мне, — помолчав, продолжал он, — с монтажом этих печей у нас будет много неприятностей. — И он поднес озябшие руки к чугунной печке, забыв о том, что она уже давно не выполняет своего назначения.

¹ «Металлургическое общество Монрише. Общий вид печи Миге. Тип 10 000 квт» (франц.).

— Конечно, монтаж печей нелегкое дело, — согласился Рапопорт. — Но такие печи работают во Франции и в Италии. И если их там смонтировали, то почему же мы не справимся? — Он застегнул пальто и глубже надвинул кепку.

Падалка аккуратно сложил чертежи, и все трое спустились в нижний этаж.

На площадке против фундамента печи № 1 на продольных бревнах лежали слабо поблескивающие бронзой массивные плиты. Кое-где их тусклая поверхность была окислена, и по ней проступали зеленые, как будто мшистые пятна.

Двое слесарей испытывали эти плиты на гидравлическое давление. Для этого они присоединяли к залитым в плитах трубкам охладительной системы гидравлический насос и качали воду до тех пор, пока стрелка манометра не доходила до 150 атмосфер. Это давление предписывалось техническими условиями.

— Я, собственно, не понимаю, — наблюдая эту работу, сказал Григоров, — зачем нужно такое высокое давление, когда при нормальной эксплуатации плиты будут находиться под давлением воды всего только две-три атмосферы?

— А затем, — ответил Падалка, — что эти плиты будут нагреваться не только проходящим через них электрическим током, но и теплом от самой печи. Вам же, как механику, должно быть известно, что при повышении температуры механические свойства материала ухудшаются. Поэтому и необходим большой запас прочности.

Проверенные на давление плиты подтаскивались такелажниками к фундаменту печи. Здесь их поднимали лебедкой и осторожно устанавливали на фундамент, пропуская их нижние лапы через отверстия в перекрытии помещения трансформатора.

— Товарищ бригадир, — обращались ребята к комсомольцу Миклашевичу, — как кончим сборку кожуха, чего дальше будем делать?

Миклашевич замялся:

— Задания еще нет. Я спрашивал мастера — завтра обещает сказать.

— Ну, так и знали, что на завтра простой обеспечен! — волновалась бригада.

И действительно, несвоевременная выдача нарядов была одной из болезней не только на монтаже печей Миге, но и на других участках и вела к тому, что дефицитная рабочая сила не бывала использована с должным расчетом.

Расточительство рабочего времени, нехватка стройматериалов, отсутствие четкого руководства — все это создало на глиноземном заводе угрозу срыва намеченных партий и правительством сроков введения в строй действующих заводов.

В связи с создавшимся положением на Днепр прибыла комиссия Наркомтяжпрома.

При ее участии состоялось экстренное заседание партактива совместно с управлением Объединенного днепровского строительства и ответственными работниками Днепровского алюминиевого комбината.

Заседание носило столько же деловой, сколько и бурный характер.

С докладом о задачах парторганизации Днепростроя в деле осуществления постановления партии и правительства о форсировании первоочередных заводов выступил представитель Наркомтяжпрома. Он напомнил собранию о том заседании Коллегии Наркомтяжпрома, на котором три месяца тому назад было вынесено решение о сроках пуска отдельных заводов Днепрокомбината.

— Эти сроки не выдержаны, — говорил представитель Наркомтяжпрома. — На Днепрокомбинате еще не созданы те подлинно большевистские темпы, которые днепростроевцы показали в борьбе за досрочный пуск ГЭС и окончание плотины и шлюза.

Указывая на колоссальный рост вновь созданных отраслей промышленности — авиационной и автотракторной, — он подчеркнул, как велика потребность последних в тех металлах, которые будет давать Днепрокомбинат:

— Вы должны снабдить их алюминием и высокосортными сталями, ферросплавами и чугуном. В данный момент вы должны взять основной упор на строительство глиноземного завода. Это узел, который вы должны разрубить. Ряд цехов этого завода почти готов, но медлительность управления ДАКа и всемерное оттягивание сроков его пуска являются причиной того, что до сегодняшнего дня не завершены отдельные работы.

Директор ДАКа пытался объяснить оттяжку окончания глиноземного завода объективными причинами.

— Это типично оппортунистическая позиция,— сказал по поводу его выступления редактор газеты «Пролетар Дніпробуду». — Вместо того чтобы обеспечить пуск всех заводов Комбината в намеченные сроки, вы откладываете его все дальше и дальше, ссылаясь на мелкие доделочные работы.

Директор молча развел руками.

— А если нет стройматериалов, тогда как прикажете строить? — спросил с места чей-то сердитый голос.

Главный инженер Днепростроя Винтер посмотрел в его сторону, но не мог разглядеть, кто задал этот вопрос. Тогда он попросил слова.

Обстоятельно охарактеризовав положение дел на строительстве, он не нашел ни на одном участке такого состояния, о котором говорил директор ДАКа.

— И я считаю,— резюмировал он,— что совершенно неосновательно сваливать вину за медлительность работ на недостаток оборудования или стройматериалов.

Слушая выступления, начальник Днепростроя Михайлов глядел в открытое окно на расстилающуюся перед глазами зеркальную гладь озера Ленина, созданного на порожистом отрезке Днепра. Всего несколько лет тому назад его воды неукротимо мчались вниз, как вспененное в бешеном беге дикое стадо.

Он думал о той титанической борьбе, которую люди плотины вынесли на своих плечах за покорение этой разъяренной стихии. И разговоры работников ДАКа еще больше возмутили его.

Поэтому, когда Винтер кончил свою речь, начальник Днепростроя обрушился на даковцев:

— Много вы разговариваете, товарищи. А где много разговоров, там много мусора, а не дела. Переймите на вашем участке работ те методы труда, какими пользовались правобережцы, когда дрались за своевременную сдачу ГЭС, когда, как черти, дрались за пятьсот тысяч кубометров бетона рабочие плотины, когда ставили мировые рекорды люди шлюза. Они не боялись трудностей, как боится их директор ДАКа. Мы примем решительные меры, чтобы обеспечить ваш участок всем необходимым, а вы должны создать решительный перелом в развороте

работ по всему комбинату. Побольше решимости, товарищи, и сроки будут выполнены!

После начальника Днепростроя выступил секретарь горпарткома:

— Это совещание должно быть последним по вопросу о неудовлетворительном ходе работ на промкомбинате. На собрании партактива по вопросу о предстоящей чистке партии мы говорили, что большевика определяют не слова, а дела. И именно дел требуют от нас сейчас партия и правительство. В чем заключалась суть нашей победы на ГЭС? В том, что для каждого рабочего стало делом чести работать на этом участке.

Создайте такое же отношение к работе на глиноземном заводе — и успех обеспечен.

Последним на этом совещании говорил секретарь райпарткома.

— Наше совещание должно целиком одобрить программу действий, которую наметил в своем выступлении представитель Наркомтяжпрома. Совещание обязывает каждую партячейку и партгруппу, каждого коммуниста и комсомольца проследить за тем, чтобы был намечен и проведен в жизнь точный график борьбы за окончание глиноземного к сроку. Соцсоревнование и ударничество должны быть подняты на высшую ступень. Партактив должен создать перелом на отстающих участках строительства ДАКа.

В результате этого совещания появился сводный приказ по Объединенному днепровскому строительству, в котором стояло:

Ход строительных и монтажных работ по глиноземному заводу создает угрозу срыва установленного Наркомтяжпромом срока пуска этого завода. Своевременное освоение его производства имеет огромное значение для нашей страны. Поэтому нужно в ближайшее время добиться резкого перелома в усилении строительных и монтажных работ по глиноземному заводу. Никакие опоздания против установленных сроков не могут быть больше допустимы.

Партийная организация повела среди рабочих комбината широкую агитационно-разъяснительную работу о значении для народного хозяйства Аллюминкомбината и его глиноземного завода.

Глиноземный завод вскоре после издания приказа получил необходимые стройматериалы и дополнительную

рабочую силу. На его площадке было уже до двух тысяч рабочих, и среди них лучшие монтажники с гидроэлектростанций. Они и на этой работе, как и при создании ДГЭС, проявили подлинно героические темпы.

9. «Беспощадная» работа

На монтаж электроплавильного цеха были выдвинуты наиболее отличившиеся комсомольские бригады. Одна из них, бригада Цыганова, в прошлом матроса торгового флота, монтировала печи Миге.

Однажды к ее бригадиру подошел коренастый смуглый парень.

— Борис Татаревич, — отрекомендовался он и энергичным жестом протянул Цыганову направление на работу.

— Комсомолец? — спросил Цыганов.

— Комсомолец.

— Откуда?

— С правого берега. С плотины.

— Что там делал?

— Землю копал, бетон клал, плотничал.

— В ударных бригадах участвовал?

— Был бригадиром в одной...

— На прорывах штурмовал?

— Приходилось.

— А по части комсомольской работы как обстоит дело?

— Был секретарем комсомольской ячейки.

— С учебой как?

— Я окончил ФЗУ. Ездил помощником машиниста в пределах Днепростроя.

— Почему же только в этих пределах?

— А дальше не имел права, так как экзамен сдал не при Комиссии ВСНХ, а при местной.

— Так, — перестал наконец спрашивать Цыганов. — Ну вот, пойдешь ты, значит, в инструментальную, возьмешь зубило и молоток. И шагай обратно. Будешь собирать с моей бригадой кожух из бронзовых плит печи Миге. Слышал о такой птице?

Татаревич набрал полные легкие воздуха, как будто собирался прыгнуть в холодную воду.

Цыганов прищурился.

— Слышал, спрашиваю?

— Вроде как слышал,— неопределенно ответил Татаревич.

— Будешь делать то, что бригада,— закончил Цыганов и пошел к своим ребятам.

Через полчаса новый монтажник уже работал с членами бригады — Колей Левиным, Васей Евтушенко, Павлом Тищенко и Яшей Богдановым. В первые же дни сборки плит бригада наткнулась на их существеннейший дефект — стыковые поверхности плит оказались недостаточно тщательно обработанными. И поэтому необходимый минимальный шов в местах их соединения не мог быть выполнен.

Бригада послала Татаревича сообщить об этом прорабу Рапопорту.

— Не то что в полмиллиметра шва не сделать, а есть между плитами такие прозоры, что спичка влезет,— говорил он.

Рапопорт схватил с гвоздя кепку.

Присутствующий здесь же консультант-француз мсье Кенар хлопнул себя по коленке:

— Я вам много говорил, что плиты *mal usiné*¹ — Со свойственной ему подвижностью он обогнал Рапопорта и уже через минуту вертелся среди монтажников, проверяя щупом качество швов.

— *Mal, mal. Très mal...*² — скороговоркой повторял он. — Такой плохой шоф мы не будем принимать.

Монтажники с волнением прислушивались к его ворчанию.

— Неужели зазря работали? Выходит, напрасно ночи не спали? — переговаривались они вполголоса. — А вдруг француз злится на немецкие плиты и из-за этого кроет нашу работу?

Когда пришел старший прораб Григоров, они гурьбой подступили к нему.

— Что же, получается, вроде как надо обратно разбирать плиты?

— Разбалчивать, что ли, сызнова? — слышались отдельные выкрики.

¹ Плохо обработаны (франц.).

² Плохо, плохо. Очень плохо... (франц.)

— Пойдите, ребята,— отмахнулся Григоров,— дайте разобраться, в чем дело...

Рапорт тоже пощупал швы и нахмурился. После короткого, но горячего разговора с Кенаром и Григоровым он снова подошел к бригаде и с огорчением проговорил:

— Пожалуй, придется разбирать.

К такому же решению пришло полчаса спустя и совещание, которое состоялось в кабинете начальника монтажа.

Плиты разобрали и стали пришабривать контактные поверхности вручную.

Когда плиты были заново выставлены на фундамент, то оказалось, что они не образуют правильного двадцатичетырехугольника, а измеренный внутренний диаметр меньше требуемого конструкцией печи.

Снова собирали заседания с французами и без них и спорили в поисках выхода из создавшегося положения.

В конце концов пришли к решению о необходимости установки между плитами клиньев из красной меди.

Монтажники взялись и за эту работу.

Даже самый веселый парень в бригаде, Яша Богданов, выполнял ее без обычных шуток, которыми он смешил товарищей.

— Ну, просто аж за сердце хватает!— печалился он.— Ведь столько трудов ухлопано ни к чему...

— Зато теперь уже дело верное, ребята,— пытался утешить бригаду Цыганов.

Но он ошибался. Не прошло и нескольких дней, как из Германии получилось известие от приемщика импортного оборудования о том, что охладительные трубки, находящиеся внутри бронзовых плит печей Миге, хотя и поставлены фирмой Гекман цельнотянутые, но сделаны не из одного куска, а из нескольких, сваренных вместе. Такие трубки в процессе работы печи могут дать течь в местах сварки. Кроме того, в этих же местах в трубках могли образоваться внутренние затеки металла, могущие уменьшить ее диаметр.

Эти сообщения были подтверждены и представителем фирмы «Монрише», инженером Коленом, которого, по требованию Наркомтяжпрома, фирма «Монрише» срочно послала в Германию для проверки состояния заказов.

На ДАКе раньше всех об этой новой беде узнали консультанты-французы, которым о ней телеграфно сообщил Колен.

В час, когда, по выражению Гоголя, «полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, куполом раскинувшийся над землею, кажется заснул...», в тени возле цеха стояли инженеры Падалка и Рапопорт. Они только что обошли монтажный участок и, довольные состоянием работ, вытирали белые над загорелыми лицами лбы далеко не белыми носовыми платками.

— Хорошо бы купнуться в Днепре, — мечтательно проговорил Падалка.

— Неплохо бы принять и душ, — вздохнул Рапопорт.

Они направились было к маленькому сарайчику, носившему громкое название «душевая», но в это время на площадке послышался приближающийся грохот тачанки.

Из-за флегматично восседающего на козлах сивоусого кучера Стегоненко, держась за его плечо одной рукой, приподнялся шеф-инженер, француз Кенар. В другой руке он высоко держал полученную от Колена телеграмму. Соскочив с тачанки, Кенар приближался к инженерам с несвойственным ему зловещим спокойствием.

За ним торопился Гробель.

— Messieurs, messieurs, — взволнованно заговорил Кенар, — *ce matin j'ai reçu une telegramme de messieurs Miguet et Kelen, qui refusent tous les détails de maison Heckman*¹.

— И консультасьон франсез, — категорическим тоном добавил Гробель, — требует прекратить монтаж этот же день...

Еще минуту тому назад благодушные лица инженеров Падалки и Рапопорта покрылись мгновенной бледностью. Остановить монтаж! Остановить, когда только что закончилась проработка с рабочим коллективом приказа об ускорении работ на глиноземном...

— Немыслимое дело! — вырвалось у одного.

И почти одновременно у другого:

— Совершенно невозможно...

— Мсье Падалка, — строго закончил Кенар, — *je vous pris de faire immédiatement* — короткий совещаний — *avec monsieur le directeur*².

¹ Господа, господа, сегодня утром я получил телеграмму от Миге и Колена, которые бракуют все детали фирмы Гекман (франц.).

² Я вас прошу устроить немедленно... С директором (франц.).

Жаркий полдень июльского дня стал как будто еще жарче от накаленной атмосферы, которая сгустилась во время экстренного заседания в кабинете Мирошникова.

— Евгений Иванович, — обратился в самый разгар спора директор к главному инженеру, — каково же ваше окончательное мнение по поводу заявления французской консультации?

Прежде чем ответить, Жуковский в этот раз прокашлялся особенно сердито.

— Я считаю, что монтировать печь следует и при создавшихся условиях.

— Ваше мнение я знаю, — сказал директор в сторону Падалки и Рапопорта. — Так вы, Евгений Иванович, так им и переведите.

— Господа, — твердо проговорил по-французски Жуковский, — решение дирекции — продолжать монтаж.

Кенар и Гробель переглянулись и демонстративно покинули совещание.

— Ну, товарищи, — обратился директор к инженерам, — теперь смотрите не подкачайте без французских советчиков...

Бригады монтажников тоже решили «не подкачать» в деле сборки печи Миге.

Соревнуясь одна с другой, они с гордостью перевыполняли выдаваемые им наряды.

Бригаде Маринича было дано задание установить четыре плиты кожуха за восемь часов — она дала шесть и решила:

— Не уходить, ребята, пока не установим всех плит...

Работали всю ночь и установили двенадцать плит.

Сменившая их бригада Милашевича постановила:

— А мы выставим еще дюжину, пока приступит бригада Соколова.

Комсомольцы ликовали по поводу того, что угроза остановки монтажа миновала.

И, сменяя одна другую, бригады работали, по выражению бригадира Соколова, «беспощадно».

На два нижних кольца кожуха устанавливалось третье, на загрузочной площадке клепались бункера, на мосту монтировались механизмы для регулировки стодвадцатитонного электрода, устанавливались шестерни и на них натягивались цепи.

Мощный разноголосый чугунно-медно-железный хор неумолчно гремел с утра до поздней ночи. Под этот своеобразный аккомпанемент звучали веселые песни монтажников.

Увидев, что и без них дело идет хорошо и рабочие уже приступили к монтажу внутреннего кожуха печи, французы предложили продолжать консультацию в части монтажа печи, но снимали с себя всякую ответственность за ее эксплуатацию. Когда внутренний кожух прошел предварительную сборку, его предстояло втащить на второй этаж электроплавильного цеха.

Бригада Цыганова недолго раздумывала над способом доставки туда этой махины. Плиты решили тащить вручную на деревянных каточках по дощатому настилу. Соорудили самодельный монорельс¹ с роликами, к которым прицепили таль — грузоподъемный механизм примитивной конструкции.

Установка плит наружного кожуха представляла для неопытных монтажников большие трудности, а с монтажом плит внутреннего кожуха было еще тяжелее, так как между кожухами предстояло уложить фиброцементные плиты, служащие электроизоляцией.

Когда наконец эти плиты были установлены, возникла срочная необходимость предохранить их от влаги, а крыша все еще не была закончена.

— Ну, ну, ребята, подтянитесь, — говорил прораб Григоров строителям, — кройте крышу, а то дождь на нашу печь натечет.

А прораб строителей огрызался:

— А ты не нукай, тут коней нема! Мои хлопцы и так запарились...

В обеденный перерыв Цыганов предложил своей бригаде:

— Я лезу на крышу, надо помочь, — и по привычке закатал рукава.

— Сколько у него дева́х нарисовано! — указал Татаревич Богданову на волосатые руки Цыганова, покрытые татуировкой, изображающей главным образом женщин без каких бы то ни было признаков одежды.

Богданов махнул рукой.

¹ Монорельс — подвесное транспортное приспособление из одного рельса, по которому на ролике передвигается груз.

— Хороший был бы парень, кабы не эти самые рисунки. Пошли, что ли, с ним наверх...

Татаревич и еще несколько ребят ловко взбирались на высокие балки под самую крышу. Удары молотков участились, сопровождаемые затянутой Цыгановым и подхваченной всей бригадой песней:

По морям, по волнам,
Нынче здесь,
Завтра там...

Когда ребята вечером складывали инструмент, в цех зашел секретарь комсомольской ячейки. Он отозвал Цыганова в сторону, и между ними произошел такой разговор.

— Ты, видать, большой любитель этого самого, — сказал Климов и при этом скосил глаза на «русалок», украшавших руки бригадира.

— А что? — вызывающе спросил Цыганов.

— А то, что вчера в завком одна дивчина с электродного приходила, на тебя недовольство высказывала.

— Любка? — нахмурился Цыганов.

— Сам знаешь... Ячейка по этому поводу решила треть твоего заработка ребенку.

— Добрые на чужой карман! — злобно проговорил Цыганов. — Ну, да увидим! — кому-то пригрозил он и круто повернул к воротам.

Накануне выходного дня Цыганов сообщил своей бригаде:

— Вызывают меня, братишки, на Урал мастером бурильных работ. Не знаю, ехать мне или нет, — говорил он с фальшивой нерешительностью в голосе.

А у самого, как выяснилось уже после его отъезда, все было готово — и билет взят, и чемодан с вещами незаметно вынесен из барака и сдан на железнодорожной станции на хранение.

Сделал он попытку забрать заработанные деньги, но это ему не удалось. Их вместе с премиальными, по единогласному постановлению комсомольской ячейки, отдали Любе...

Цыганова заменил рабочий с запорожского завода «Коммунар» — Андрей Соколов.

Этот бригадир отличался от других ребят одной «странностью»: он никогда не ругался — ни в бараке, ни на работе.

— С детства имею к этому полное отвращение,— объяснял он товарищам эту свою особенность.— Помню, как нам, детям, было совестно смотреть матери в глаза, когда отец при нас крыл ее этой самой зазорной бранью. Вы хоть насмехайтесь надо мной, я все равно сквернословить не буду!

И ребятам пришлось убедиться, что в этом решении Соколов был непоколебим.

Бригадиром он оказался тоже с большой волей, и если говорил кому-либо из своей бригады: «Ты ответственный за это дело»,— то тот уже знал, что «дело» это должно быть выполнено скоро и добросовестно...

Зато и интересы каждого комсомольца были ему дороги.

Проходя техминимум, он старался передать свои знания товарищам и очень огорчался, если не умел объяснить им назначение или устройство какого-нибудь механизма.

В его смену произошел однажды тяжелый случай, едва не стоивший жизни двум комсомольцам.

Эти ребята сверлили электробуром дыры в одной из бронзовых плит печи Миге. Гибкий провод, идущий от электробура, подключенный к сети напряжением 380 вольт, оголился, и ребят ударило током.

— Пили провод,— распорядился Соколов,— да держите пилы за деревянные ручки. Ведь объяснял же я вам насчет электричества...

Татаревич и Тищенко бросились к проводу электробура. Несколько торопливых движений пилой — и сведенные пальцы пострадавших медленно расправились. Принесли нашатырного спирта, воды... Но края кружки звякали о стиснутые зубы, белевшие между бледных губ, вода расплескивалась и расплывалась по запыленным спецкам темными пятнами.

Григоров распорядился вызвать Скорую помощь.

— А все потому, что работаем втемную! — горячился Соколов. — Надо больше техучебой заниматься, чтоб каждый винтик, с которым имеем дело, знали на большой палец...

Пострадавших отвезли в больницу, где они пролежали недели полторы.

Выйдя оттуда, эти монтажники сделались самыми аккуратными посетителями занятий по техминимуму.

Сборка печи Миге подходила к концу, когда на ДАК пришло новое сенсационное известие, вызвавшее бурю негодования среди монтажников. Это было пересланное из Союзалюминия письмо от самого Миге, который сообщал, что на печах его конструкции, установленных в Италии, во время их пуска обнаружилась недостаточность водяного охлаждения в плитах нижнего конуса и они давали настолько сильный перегрев, что их пришлось заменить другими.

За письмом пришли и соответственно измененные чертежи плит.

Вопрос изготовления новых плит по исправленным чертежам Миге с увеличенным количеством охлаждающих трубок стоял очень остро.

Перед монтажниками вновь встала угроза срыва сроков окончания монтажа печи.

Снова для всего их коллектива наступили недели тяжелых испытаний.

10. Макетки Ильича

К этому времени производство литья бронзовых плит для печей Миге успешно осваивалось ленинградскими заводами «Электросила», «Большевик», «Балтийский» и «Северная верфь». Для контроля за выполнением этого ответственного и очень сложного заказа с Днепровского алюминиевого завода был послан в Ленинград инженер Щенков, хорошо знакомый с конструкцией печи Миге и специальными требованиями к бронзовому литью.

Основная часть этого литья изготавливалась на Балтийском заводе.

Коллектив литейного цеха этого завода напрягал все усилия, чтобы выполнить такой ответственный и срочный заказ при помощи нефтяной медеплавильной печи, которая, как будто в издевку над трудностями, носила сентиментальное название «Мечта».

Может быть, во времена, когда завод принадлежал капиталисту Обухову, она и навевала владельцу завода мечты о прибылях, но в описываемый период рабочие-балтийцы именовали ее между собой «несчастье в жизни».

К участию в этой работе были привлечены лучшие инженеры-металлурги и профессора, практики и теоретики.

На протяжении всего времени работы над выполнением этого необычного заказа выдвигалось много рационализаторских предложений как со стороны ИТР, так и со стороны рабочих.

При освоении бронзового литья выявилось немало неожиданных трудностей. Так, например, при заливке бронзовых деталей заложенные в опоки (формы) трубки охлаждения деформировались от жара и изменяли свое положение. При последующей сверловке на этих деталях дыр для болтов бывали случаи, что отверстие попадало на сместившуюся трубку, и она повреждалась.

Над устранением этого нового, неожиданного вида брака ломали головы и инженеры и рабочие.

Попробовали применить просвечивание деталей лучами Рентгена, но это оказалось и дорого, и очень сложно.

Общее признание получил простой и остроумный способ, предложенный техником «Электросилы» товарищем Иванцовым. Он состоял в том, что бронзовая деталь в том месте, где проходили трубки, покрывалась раствором водяной краски, после этого через трубки пропускался пар. Высыхающая над трубками краска давала точное их расположение в детали.

Такая проверка, вполне доступная в цеховых условиях, почти полностью устранила порчу литья.

Детали, изготавливаемые на различных заводах, вызвали у рабочих и мастеров интерес к тому агрегату, для которого они делались. Поэтому многие из рабочих приходили на «Электросилу», где производилась его пробная сборка.

А на Днепре эти бронзовые детали и собранные части ожидались с большим нетерпением.

Газета «Пролетар Дніпробуду», которая с чуткостью мембраны отражала на своих страницах особенно нервно пульсирующую в этот период жизнь глиноземного завода, требовала от отдела оборудования покончить с недостатком деталей для сборки печи Миге.

«Уже на исходе сентябрь,— писала газета,— а монтажников продолжают кормить «завтраками», все обещая на днях отгрузить нужные детали».

Выездная редакция «Пролетара Дніпробуду» выпускала свои, похожие на категорические приказания листовки по несколько раз в день. Первая листовка рассыпалась по заводским цехам в десять часов утра.

Она требовала:

«На установке каркаса печи Миге работает бригада Бабенко.

Товарищ Бабенко, ваше боевое задание — устанавливать по два кольца в день».

Через два часа в цехах читались уже новые листовки:

«Опробование дробилки, тарельчатого питателя и транспортера задерживается из-за отсутствия ремней. Отдел снабжения, выдайте их».

Еще через час вышел следующий номер листка. Он призывал закончить в этот день набивку пода печи Миге. И, наконец, вечером появился четвертый выпуск газеты, который требовал от прораба металлургических цехов не оттягивать опробования смонтированных механизмов.

Свою далеко не маловажную роль в деле ускорения пуска отдельных агрегатов сыграли и бригадные газетки, так называемые «макетки Ильича». Это были листки размером с почтовую бумагу с изображением Ленина в верхнем углу. Макетки заполнялись сводками о ходе выполнения работ бригадами.

Кроме стенгазет, листовок выездных бригад, макеток Ильича и цеховых газет, культсовет рабочкома выпускал еще два сорта «весточек».

Красные листки, которые вручались персонально лучшему в борьбе за промфинплан, бывали такого содержания:

Мы выносим тебе благодарность за твое добросовестное отношение к производству. Мы занесли тебя на красную доску и надеемся, что и в дальнейшем ты не будешь сдавать позиций за построение социалистического общества и останешься активным ударником и в нашей общественной работе.

Белые «весточки» рассылались прогульщикам и разгильдяям. На них сверху жирным шрифтом было напечатано:

Сигнал № 1. Товарищ, подтянись, иначе попадешь на черную доску. Не допускай этого. Если замечаешь неполадки, мешающие тебе хорошо работать, приди в культсовет и расскажи или запиши в книгу предложений, которая должна находиться у организатора бригады.

Эти листки оказывали большое организационное и моральное воздействие на тех, кто их получал.

Красные наполняли гордостью и решением не уронить достигнутого звания ударника. Белые пробуждали

стремление избежать нависшую угрозу красоваться на черной доске.

Оценивая громадное организующее значение подобных листовок, газета «Правда» писала в передовой статье от 5/V 1933 года:

В памяти миллионов трудящихся навсегда останутся листовки большевистского огня, которые наша печать сотнями тысяч рассыпает по строительным площадкам больших и малых строек, тех газет и листовок, которые весьма нередко были лучшими организаторами победы.

Не всем цехам глиноземного завода не везло с монтажом так, как электроплавильному.

На складах сырья дробильные установки были полностью закончены уже к началу осени.

Каркасы машин Дуайт-Ллойда с земли перебрались на железобетонные перекрытия в цех агломерации и обрастали деталями.

Стояли на месте гигантские, в два человеческих роста, улитки эксгаустеров¹ фирмы «Егер».

У цеха выросла сорокаметровая дымовая труба. Устанавливались транспортные механизмы и вентиляция.

В группе химических цехов наибольшие трудности представлял монтаж цеха мокрой обработки.

В этом цехе надо было установить около ста пятидесяти разнообразных механизмов — от грандиозных фильтров Вольфа, размером каждый с пятитонный грузовик, до маленьких и изящных центробежных насосов, величиной с ручной чемоданчик.

Вес железных клепаных баков и конструкций переваливал за тысячу тонн, а протяженность подлежащих проводке труб диаметром от пятидесяти миллиметров до полуметра равнялась восьми километрам.

Уже с первых дней монтажа выявился большой недостаток в материалах. Кроме того, чем ближе подступали сроки пуска, тем острее чувствовалась нехватка в людях.

Цех мокрой обработки требовал квалифицированного, спящего коллектива, а такого коллектива не было. Опытных монтажников поглотили металлургические цехи, которые к этому времени уже набирали нужные темпы в работе.

¹ Эксгаустер — вытяжной вентилятор.

Тогда из коллектива ДГЭС снова был выделен сильный отряд монтажников.

Прошедших суровую школу Днепростроя не смутило, что вместо турбин здесь им пришлось иметь дело с фильтрами Вольфа, а вместо мотор-генераторов — с мешалками Гекмана.

Бригада гэсовца Петра Гиляки только в первые моменты прихода в цех при виде целой сети труб, удавами ползущих и вверху над агрегатами, и по их бокам, и снизу, при взгляде на незнакомую диковинную аппаратуру, несколько замялась. Но это продолжалось недолго. Ребята осмотрелись. И уже на второй день прораб с радостью наблюдал, как они дружно орудовали на отведенном им участке.

Насколько интенсивно пошел разворот монтажа с того момента, когда в него включились гэсовцы, можно судить по оценке, данной французским консультантом, инженером Афтониадесом.

Дело в том, что весной 1933 года между Главалюминием и фирмой «АФК» из-за неувязки взаимных претензий произошел некоторый перебой в пребывании их консультантов на глиноземном заводе. Инженер Афтониадес и мастер Жюльен уехали во Францию.

Осенью, после того как эта заминка была улажена и оба француза вернулись на ДАК, первые слова, которые Афтониадес сказал техноруку химцехов, были:

— За три месяца моего отсутствия вы сделали больше, чем за полтора года моего присутствия. И потом, откуда это фруктовое *embarras de richesse*?¹ — Он указал на корзины с вишнями и грушами, только что снятые со стоящего возле цеха грузовика.

Вишни просвечивали на солнце своей яркой, как кровь, сочностью.

Груши так манили спелой желтизной, что пальцы невольно тянулись к их коричневым черенкам.

— А это обеспечение тыла, — пошутил инженер Конторович. — Дело в том, что заводской комитет считает вполне рациональным создавать рабочим хорошее настроение, а сочные вишни и груши в эти жаркие дни отлично этому содействуют. Видите, как быстро разбираются фрукты.

¹ Избыток богатств (франц.).

Рабочие действительно охотно покупали фрукты. Кто насыпал их в карман, кто — в кепку, кто просто нес в пригоршнях.

Кое-кто благоразумно мыл фрукты под краном, другие ограничивались тем, что обтирали грушу о спецовку, после чего с явным удовольствием отправляли ее в рот.

— Заболеешь, нельзя немытые есть, — сказал одному Конторович.

— Знаю, да некогда мыть...

— У нас была и малина и клубника, — продолжал Конторович, — мы закупаем все это в колхозах и доставляем непосредственно на Комбинат.

— Замечательно, — одобрил Афтониадес и пригласил инженера к себе обедать.

— Очень сожалею, но не могу, — ответил тот, — как раз в это время у нас совещание...

Француз недовольно пожал плечами.

— Шак жур¹ собрань, тужур² собрань! Это совсем досадисно...

Мсье Афтониадес, так возмущавшийся собраниями, которые в то время действительно бывали чуть ли не ежедневно, а то и по нескольку в день, был неплохим инженером, но отличался излишней склонностью к писанию жалоб по всякому, иногда совсем пустяковому, поводу.

Случилось, что у него стащили оставленный на ночь на веранде никелированный самовар, купленный по приезду на Днепр.

Сколько прекрасной, толстой, как пергамент, парижской бумаги извел мсье на описание этого потрясающего события!

Из каких патетических выражений составлял он свои продиктованные переводчице заявления!

Направлял он их в самые разнообразные инстанции: и в милицию, и в городской совет, и начальнику Объединенного строительства.

Делал он это неустанно, до тех пор, пока, возвратясь однажды домой, не увидел на своей веранде сверкающий никелем самовар.

После этого мсье Афтониадес послал еще одно заявление начальнику милиции: выразив благодарность за найден-

¹ Chaque jour — каждый день (франц.).

² Toujours — всегда (франц.).

ный самовар, он в самых вежливых выражениях просил, чтобы у его дома, во избежание повторения тяжелой истории с самоваром, была поставлена специальная охрана.

Через несколько дней Афтониадесу продемонстрировали, как хорошо рабочие усвоили инструктаж по монтажу.

— Где же они практиковались? — поинтересовался француз.

— А мы посылали многих из них на наши заводы, имеющие аналогичные агрегаты. Вот и Анохин, и Лыков, и мастер Калинин побывали на «Донсоде», Елисеев и Мысенко — на «Славсоде».

Продолжая осмотр цеха, подошли к мешалке Гекмана. Ее смонтировал Петр Гиляка.

— Ну, как дела? — спросили его.

Гиляка за последнюю неделю работы научился узнавать состояние механизма по его глухому стуку и шершавому ходу, как врач узнает состояние больного по биению пульса и частоте дыхания.

Мешалка, возле которой он стоял в момент опробования, как-то странно заворчала.

Гиляка озабоченно оглядел весь механизм.

— Подшипник больно горяч, — проговорил он с глубоким вздохом.

Вечером, когда его бригада кончила работу, прораб сказал:

— Завтра проверим, в чем дело, а теперь ступай спать — ночь на дворе.

Гиляка и не подумал исполнить это распоряжение, зная, что все равно не заснет, пока не выяснит, по какой причине мешалка «бузит».

— Пусть хлопцы уходят, — ответил он, — а я тут ще трошки покумекаю...

И «прокумекал» целую ночь.

Утром прораб и технорук, придя на работу, застали его в цехе.

Пущенная мешалка работала совершенно нормально.

Срывающимся от радостного волнения голосом Гиляка давал объяснения по исправлению ее конструкции.

— Вот, як бачите, вал...

— Ну, вал как вал, — соглашался прораб.

— А вот на цьому місці,— с лихорадочным блеском в глазах продолжал Гиляка,— как известно, он сходится с подшипником.

— Ну?

— На этом місці я надел кольцо, оно и устранило вчерашнее лихо в работе. Як бачите...— И он прислонил ухо к плавно работающему агрегату.

По способу Гиляки были переделаны и остальные мешалки этого цеха.

За два с половиной месяца своей работы он внес еще несколько рационализаторских предложений.

Некоторые из них касались трубопроводов, которые в химических цехах имеют огромное значение.

И недаром французская консультация настаивала на качестве выполнения этой части монтажных работ.

Иногда рабочим казалось, что французы излишне придирчивы, и тогда вспыхивали споры.

Мастер Жюльен пальцами ощупывал стыки на месте сварки.

— Плёко, плёко! — браковал он осматриваемую работу.

— Чем же плохо? — сердито спросил мастер по клёпке Мысенко.

— Нет плотность, не годится. Не умеит обращаться с инструментом! — ворчал Жюльен.

— А вы, мсье Жюльен,— обратился к нему прораб,— покажите, как вы сами работаете. Вот, например, для отбортовки этих труб сколько вам надо времени?

— Максимум пятнадцать минут,— хвастливо ответил Жюльен и, поправив на голове синий берет, обернулся к рабочим.

Те с готовностью подали ему инструмент, принесли трубы, раздули горн, поставили подручных, и Жюльен взялся за работу, мурлыча легкомысленную песенку.

Он пропел ее раз, другой. Рубаха на его спине стала мокнуть, берет полетел в сторону. Еще раз была спета песенка о любопытном молодом человеке, а отбортовка не получалась. Вслед за беретом в сторону был отброшен молоток. А еще через десять минут Жюльен, осыпая ругательствами инструмент и горн, выбежал из цеха под сдержанный смех рабочих.

После этого инцидента для рабочих, занятых на прокладке трубопроводов, было прочитано несколько лекций

о значении этого участка работ, надежность которого определяет всю работу химцевов.

— Ведь на восемь километров труб,— говорил лектор,— имеется тысяча триста стыков. И если хоть часть их будет испорчена, то исправление повлечет за собой невероятные трудности. Поэтому вопрос высокого качества стыковых соединений должен быть ясен каждому участнику работ по коммуникации.

Бригады обсуждали эти указания лектора.

Прораб распорядился фланцы на трубах подваривать автогенном. Доставили в баллонах кислород.

— Экономить его как только возможно,— сказал прораб, и часть присланных баллонов с кислородом остались нетронутыми.

— Совсем никудышные эти прокладки,— сдвинув брови, говорил бригадир.— Такая прокладка на фланцевых соединениях трубопроводов в работе себя не оправдывает.

— Где же оправдать! — откликнулся слесарь Любинцев, работая под потолком, среди густой сети проводов и труб.— Подтягиваешь болт и опасаясь, как бы не прорвать... Ах, будь ты неладен! — перебил он сам себя, с досадой глядя вслед упавшему ключу.

Тот, чуть зарывшись в песок, торчал возле мотора для будущего элеватора глинозема.

Постоянной проводки к этому мотору еще не было, и ее заменяла временка. Провода лежали прямо на полу.

— Эх, неохота слезать...— проговорил Любинцев и вдруг обрадовался — по цеху проходил рабочий Копейка.

— Эй, товарищ, кинь сюда ключ,— попросил Любинцев,— он вон, возле мотора.

Подойдя к мотору, Копейка наступил на провода, отчего током был так сильно подброшен вверх, что больно стукнулся головой о металлическую трубу. При этом «контакте» искры посыпались из глаз бедного парня. По счастью, Копейка отделался только ушибом и испугом и уже через несколько минут вместе со сбежавшимися к нему товарищами смеялся над их подтруниванием:

— Видишь, ты все хлопотал насчет электролечения. Ну вот тебе и электризация, и в больницу ходить не надо...

Надо было оборудовать топливную площадку печей кальцинации и установить на ней четыре насоса для подачи нефти к печам.

Работа затормаживалась из-за нехватки инструмента.

Недоставало и фланцев для труб, а на требования об их срочной доставке заведующий складом отвечал:

— Где я их вам возьму?!

Тогда бригада Коруна, которая выполняла эту работу, решила сама резать фланцы из листового железа. Работая, ребята говорили:

— С этими фланцами коммуникации такой, как надо, не сделаем.

— Это дело будет еще хуже того, что на загрузочной башне.

— Постойте, товарищи,— сказал Коруна.— Я знаю, что фланцы должны быть на складе.

Бригада зашумела.

— Я приму меры,— решительно пообещал ей Коруна и в обеденный перерыв отправился в выездную редакцию «Пролетара Днепробуду»...

На другой день утром, первым придя на работу, Коруна увидел целую подводу готовых штампованных фланцев.

Довольная бригада спешно заменяла ими нарезанные накануне.

Весь день работа шла с неослабевающим напряжением, а когда вечерние тени упали ломаными полосами на загроможденную различными материалами и механизмами заводскую площадку, Коруна произнес очень краткую речь:

— Товарищи! Бригада сегодня работает так, чтобы к завтрашнему дню, то есть к семи часам утра, всё было закончено. Все поняли?

Поняли, очевидно, все, потому что до самого рассвета тишину ночи нарушал шум вентилятора и молотков, а ее темноту прорезывал подвижной огонь горна.

Когда прогудел шестичасовой гудок, Любинцев затыгивал последние четыре болта.

Посмотреть работу бригады подошел прораб Конторович с консультантом Афтониадесом. Бригадир в расстегнутой рубашке, без фуражки и вся бригада тоже без спецовок проверяли выполненные за ночь работы.

— Значит, закончили? — спросил прораб.

— Иначе быть не может,— ответил Коруна. Кажется, только в этот момент и он сам, и его товарищи заметили, что идет хотя и мелкий, но довольно сильный дождь, и стали натягивать спецовки.

Прораб Конторович по-французски обратился к консультанту:

— Вы имеете полную возможность лично убедиться, с каким интересом и преданностью относятся у нас в Союзе рабочие к своему делу.

В тот же день к часу пополудни «Пролетар Дніпробуду» выпустил листовку № 329: «Пример лучших — в основу дальнейшей борьбы за днепровский глинозем».

Лучшие бригады глиноземного завода добились образцового выполнения планов. Первой рапортовала бригада т. Коропа:

«Работу мы выполнили на 5 дней раньше срока.

При испытании агрегатов мы выявили и устранили целый ряд дефектов. Сегодня мы приступили к установке двух транспортеров, которые обязуемся сдать через пять дней».

Работу этой бригады очень хвалили на цеховом собрании как за качество монтажа, так и за то, что она внимательно относится к изучению монтируемых ею агрегатов.

В последний день августа коллектив монтажников рапортовал управлению Объединенного строительства, горпарткому и редакции газеты «Пролетар Дніпробуду»:

«Тридцатого августа монтажники Днепрогэса закончили монтаж сложного оборудования и коммуникации наибольшего цеха глиноземного завода — цеха мокрой обработки. Работа выполнена точно в установленные сроки.

Получив боевое задание, монтажники ДГЭСа приняли обязательство оказать социалистическую помощь Днепрокомбинату как ответственную задачу и выполнили свое обязательство, передав сюда весь опыт и все знания, приобретенные на монтаже величайших в мире турбин и генераторов. Наряду с окончанием монтажа были произведены также частичное механическое опробование и опрессовка части коммуникаций. Коллектив монтажников обязуется полностью закончить и эту работу в наиболее короткие сроки и сдать цех мокрой обработки под технологическое опробование».

11. Во что бы то ни стало!

К ноябрю работы на глиноземном заводе подошли к концу, и начальником Днепростроя был издан приказ, в котором значилось:

«Ввиду того, что по состоянию строительных и мон-

тажных работ в цехах глиноземного завода ДАКа является возможным приступить к передаче таковых эксплуатационному персоналу, предлагаю начать передачу с 10 ноября и закончить в течение этого месяца».

В конце приказа говорилось, что «принятые цеха поступают в полное распоряжение эксплуатационного персонала».

Этот приказ, как и предыдущий, был выполнен в срок, но пустить принятые цехи глиноземного завода дирекция ДАКа снова медлила. Пугала эксплуатация незнакомых и сложных агрегатов на впервые осуществляемом процессе получения глинозема.

Мешала пуску и организационная неразбериха.

Заместитель директора ДАКа, назначенный в то же время начальником глиноземного завода, ввиду перегрузки по основной работе не мог уделять достаточно времени подготовке глиноземного завода к пуску.

Для конкретного проведения в жизнь приказа начальника Днепростроя на ДАК приехал начальник Главалюминия Харитоненков.

В первый же день приезда, во время обхода цехов, он выслушивал заместителя главного инженера Днепростроя.

— Здесь, Николай Степанович, — говорил тот, — создавалась нездоровая атмосфера: строители и монтажники свою работу сдали, технологи ее приняли, а пуска все нет.

— В чем же дело? — спросил Харитоненков.

— Я думаю, в том, что нет твердой руки, которая подала бы сигнал: «Пускать!» И в этом отношении ваш приезд как нельзя более кстати.

Выслушав все это, Харитоненков сказал:

— Дальше тянуть с пуском совершенно не к чему, и сегодня мы с начальником Днепростроя решим этот вопрос окончательно.

Вечером на совещании с руководством Объединенного днепровского строительства он говорил:

— Глиноземный так или иначе надо пускать. Этот завод не то что электролизный или электродный. И его пуск будет, конечно, гораздо сложнее и, вероятно, болезненнее.

— И оттого, что мы будем его откладывать, — вставил заместитель главного инженера Днепростроя, — дело не изменится, а мы только потеряем время.

— Но надо бы все же тщательно подготовиться к пуску, — с опаской в голосе проговорил директор ДАКа.

Харитоненков пристально посмотрел на него.

— Какой бы тщательной ни была подготовка, предусмотреть всего невозможно, — возразил он, — только пуск может выявить все дефекты оборудования и общую подготовленность к эксплуатации.

Эту же мысль высказал Харитоненков и на совещании работников глиноземного завода.

— Я знаю, что перед коллективом Алюминиевого комбината стоят трудности значительно большие, чем перед работниками черной металлургии. Работникам будущих цехов «Запорожстали» можно изучать производство на аналогичных агрегатах других сталелитейных и металлургических заводов. Домен у нас в Союзе немало. В десятках сборников и научных трудов крупных специалистов можно ознакомиться с точными подсчетами, с исчерпывающими данными. Иное дело в алюминиевой промышленности. Здесь на получение этого металла существует около десяти тысяч патентов. Но все они дают только идею и умышленно составлены так, что без автора патента обойтись на практике никак невозможно. Наши практические знания в производстве глинозема меньше даже тех скудных знаний, которые имелись у электролизников и электродчиков к моменту пуска их заводов. И все же мы должны дерзать. Пустим завод с риском, что ему придется переболеть «детскими болезнями». Но все же он начнет свою жизнь, а не будет покоиться недвижимо в туманном ожидании лучших обстоятельств.

Последние слова начальника главка были покрыты аплодисментами всех присутствующих.

Первыми мероприятиями Харитоненкова для ускорения пуска глиноземного завода было назначение на должность начальника завода инженера Капустина, бывшего начальника глиноземного завода на Волхове, и вызов на ДАК группы научно-исследовательского института «Ниисалюминий».

Инженер Капустин, энергичный и уже имеющий производственную закалку и опыт заграничной практики на глиноземном заводе «Гардан», быстро вошел в курс работы, ознакомился с цехами и коллективом работников и интенсивно повел подготовку завода к пуску.

Исследовательская бригада Ниисалюминия во главе с

профессором Кузнецовым — одним из авторов способа получения глинозема, принятого на ДАКе, привезла с собой, кроме горячего желания участвовать в пуске глиноземного завода, и результаты своей работы о ползаводской проверке этого способа.

Начальник глиноземного завода Капустин вызвал к себе в контору начальника металлургических цехов Падалку.

— Сейчас я получил от директора распоряжение представить ему на утверждение пусковой график. Вас я прошу привлечь к этой работе приехавших инженеров Ниисалюминия. В пусковом графике дайте подробный расчет шихты для агломерации и электроплавки, суточный расход материалов, их необходимый запас и план лабораторного контроля. Эту работу во что бы то ни стало нужно закончить в трехдневный срок.

— Сейчас же к ней приступлю, — с готовностью отвечал Падалка. — Инженеры Ниисалюминия уже ожидают меня в электроплавильном цехе.

При составлении графика были учтены данные, полученные Ниисалюминием. К установленному сроку он был готов и утвержден дирекцией.

Теперь уже наступила пора пускать завод.

Прежде всего были опробованы дробилки на складах сырья и заготовлено необходимое количество измельченных материалов для спекания.

Из технологических цехов глиноземного завода первым пускался агломерационный.

Десятого февраля были зажжены форсунки машины Дуайт-Ллойда.

И сразу же не обошлось без инцидента.

Пуск этой машины был назначен на утро, а ночная смена рабочих, желая перехватить этот знаменательный момент, начала самочинно пускать ее раньше времени.

Пришедший в этот момент начальник цеха захватил их на месте «преступления».

— Вы нарушаете трудовую дисциплину, товарищи! Это не дело!

— Уж очень невтерпеж ждать до утра, — виновато оправдывалась бригада. — И опять же обидно: мы ее монтировали, а пускать будут другие...

Когда начальник цеха Разумов доложил об этом техноруку, тот сказал:

— Плохо начинаем. Нарушение трудовой дисциплины не должно иметь места ни при каких обстоятельствах. Хорошо, что обошлось благополучно, а могло...

— Ничего не могло произойти плохого в данном случае, — перебил Разумов, — эта бригада составлена из рабочих Керченской агломерационной фабрики. Вообще они ребята дисциплинированные, а тут, видно, взыграло ретивое, ну и не выдержали. Но я все же сделал им внушение и обещаю, что больше ничего подобного не повторится.

Присланный фирмой «Дуайт-Ллойд» мастер для сборки поставленных ею машин убедился, что смонтированы они и без него советскими монтажниками вполне доброкачественно.

И действительно, машина «Дуайт-Ллойд» работала исправно. Стало ясно, что никакой надобности в дальнейшем пребывании на заводе монтера иностранной фирмы не имеется, и он скоро уехал домой.

Хотя все механизмы агломерационного цеха с первых же дней работали нормально, но агломерата получилось небольшое количество.

На второй день пуска цеха на железном мостике над вибрационными транспортерами стоял начальник монтажных работ. Под мостиком на транспортерах скользили куски агломерата. Транспортёр для мелочи, возвращавшейся снова на спекание, работал с перегрузкой. Его желоб был наполнен до краев. Транспортёр для крупного агломерата шел почти пустой. Редкие куски одиноко прыгали по его поверхности.

К транспортеру подходили рабочие соседних цехов.

— Видишь, они уже начали выдавать свою продукцию.

— Значит, и до нас дойдет очередь.

— Скорей бы, — переговаривались между собой рабочие. Некоторые брали по куску агломерата, чтобы показать его товарищам.

— Эй, Разумов, — окликнул начальник монтажных работ проходившего мимо начальника цеха. — А ведь с агломератом-то у вас дело не блестящее! Много же вам потребуется времени, чтобы заготовить его для пуска печи Миге!

— Что же вы хотите,— отвечал Разумов,— чтобы цех на вторые сутки работал совершенно нормально? Нужно же наладить шихтовку, подобрать необходимый процент кокса, необходимую влажность шихты. Приходите через несколько дней, тогда увидите...

— Ну, смотрите, а то у вас тут по кусочкам разберут на память всю вашу продукцию.

И действительно, в этот период агломерат был самой «популярной личностью» на ДАКе. Его пористые, самой прихотливой формы куски можно было найти и в кармане рабочего, и на письменном столе директора комбината, и на полке шкафа для образцов в Центральной лаборатории.

Кусок агломерата был вещественным доказательством того, что глиноземный завод начинает жить и получение глинозема теперь уже не за горами.

Пуск агломерационного цеха вызвал большой подъем не только у глиноземщиков. Ему радовался весь рабочий и инженерно-технический коллектив всего комбината.

Пока осваивался агломерационный цех, в электроплавильном цехе шла напряженная подготовительная работа.

Печь Миге № 1, принятая от монтажников, еще и еще раз просматривалась от верха до фундамента. Все ее механическое оборудование подвергалось длительным испытаниям.

Регулярно проводились производственные маневры, которые в электроплавильном цехе носили несколько специфический характер.

Если в химических цехах можно во время маневров щелочные растворы заменять водой, нагревать баки настоящим паром и тем самым создать условия, очень близкие к настоящему производству,— то в электроплавильном цехе этого сделать было нельзя. Нельзя было пустить печь, нельзя было ничем создать хотя бы отдаленного сходства с производственной обстановкой.

От этого, естественно, было трудно создать у рабочих нужное, серьезное отношение к производственным маневрам. Уж очень бессмысленной, бесцельной казалась им работа по обслуживанию печи, в то время такой холодной и безжизненной. Зачем было открывать выпускное отверстие, когда из него ничего не могло течь? Зачем было ста-

вить ковш к печи и затем пустым убирать на место? Зачем все это нужно делать, многие рабочие не понимали.

— Ну, опять начинай переливать из пустого в порожнее, — говорили они.

А делать это было нужно, потому что обслуживающая печь бригада из десяти — двенадцати человек должна была быть сработанной, действия бригады должны были быть согласованными и каждый из ее членов должен был знать свое рабочее место.

Программой для этих маневров послужили производственные инструкции, заблаговременно разработанные и проштудированные по рабочим сменам. В цехе налицо находились все агрегаты и весь рабочий инструмент для обслуживания печи — ломы, кочережки, тампоны, шуровки и т. п.

12. «Катастроф, катастроф!»

Время пуска печи приближалось.

— Ну, Михаил Борисович, — сказал однажды Падалка Рапопорту, — настало время проверить, как ваши плавильщики и горновые освоили свое рабочее место. Давайте-ка сегодня займитесь этим.

Договорились начать проверку после рабочего дня со второй смены, когда остаются только рабочие данной смены.

Первой проверялась смена инженера Николина.

Различные операции по образцу, перенятому с французских заводов, производились по сигналу звонком. Один звонок обозначал шуровку печи, два звонка — загрузку в печь шихты, и три звонка — выпуск.

Падалка и Рапопорт поднялись на второе перекрытие — шуровочную площадку, с которой удобнее было наблюдать за работой смены.

Дали сигнал на загрузку. Старший горновой схватил лом и бросился к печи. Другой горновой дернул его за руку.

— Так ведь сигнал — загружать, а ты что делаешь?

— А я тебе говорю — делай!

— Выпускать кинулся, а ковша возле печи нет, — раздавались голоса.

В бригаде произошло замешательство.

— Ну что же вы топчетесь на месте?! — крикнул Рапопорт, спускаясь по лестнице через две ступеньки. —

Ведь нужно же соображать! — распекал он смущенную смену. — Ну, теперь мы на маневрах, теперь из печи ничего не потечет. А если вы начнете делать выпуск, не поставив ковша, когда начнется настоящая работа печи, что тогда будет? Будет авария. Товарищ Николин, твоя смена не знает сигналов.

— Подтянемся, Михаил Борисович, — обещала бригада.

На третьем этаже стояли немецкие регистрирующие весы, взвешивающие материалы для загрузки в печь.

Весы имели довольно сложную конструкцию, были снабжены несколькими рычагами, передвигая которые, рабочие-загрузчики могли набрать должный вес.

Рацпорт приказал одному из загрузчиков:

— А ну, взвесь-ка вагонетку.

Рабочий двинул один рычаг, двинул другой, но ничего не выходило. Подошел весовщик постарше, но и у него ничего не получалось.

Послали за сменным инженером Николиным. Тот довольно развязно подошел к весам, тронул один из рычагов, попробовал нажать механизм, отпечатывающий вес, но весы все же оставались непоколебимы.

— Весьма вероятно, что они испорчены, — хмурия лоб, сказал Николин.

— Нет, весьма вероятно, что все мы недостаточно серьезно относимся к маневрам, — возразил Ратнер, — а значит, подготовку надо продолжить.

Следующие смены работали лучше, но и у них не было достаточной сработанности.

Оставшееся до пуска печи время продолжали усиленно заниматься производственными маневрами, и уже через несколько суток повторная проверка дала вполне удовлетворительные результаты. Смена инженера Николина тоже подтянулась. Крановщики двадцатитонных мостовых кранов по всем правилам инструкции ставили и убирали ковши, горновые открывали и забивали летку, а загрузчики вполне освоили обращение со всеми рычагами немецких весов.

Вскоре для электроплавильного цеха настали жаркие дни.

Приехавший из Франции помощник директора фирмы «Монрише» инженер-технолог Даниер принимал деятельное участие в последних подготовительных работах. По-

теряв одну ногу на империалистической войне, он тем не менее с удивлявшей окружающих резвостью поднимался и спускался по лестницам, суетился и даже залезал в печь для осмотра огнеупорной футеровки.

Наконец печь была поставлена на сушку. Ее производили медленно, осторожно, чтобы излишней торопливостью не повредить делу.

Ток включался ежедневно на несколько часов. И каждый раз увеличивали силу тока и продолжительность нагрева.

Через четыре дня сушка футеровки и обжиг электрода были закончены.

Ежедневно в цехе бывало много народа. Пуску печи Миге не без оснований придавали большое значение, и поэтому им очень интересовались. Каждому хотелось присутствовать при пуске, и каждый боялся его пропустить.

Репортеры заводской, городской и столичной прессы стали в цехе обычными гостями.

— Ну как? Ну что? — не давали они прохода администрации цеха, но обычно получали уклончивые ответы.

Учитывая опыт пуска первой серии электролизных ванн, когда обилие гостей и посторонних посетителей неблагоприятно отразилось на работе персонала, работники электроплавильного цеха имели тайное намерение пустить печь при наименьшем числе посторонних и поэтому всем вопрошающим указывали срок пуска на день позже предписанного дирекцией.

Основания к этому у работников цеха имелись.

Пуск такой большой печи, за один выпуск из которой получается около 5—6 тонн расплавленного шлака, требовал большого внимания и осторожности.

Пуск осложнялся еще тем, что для приема шлака были изготовлены чугунные ковши, похожие на большие ведра.

Эти ковши были предложены господином Миге — автором печи — еще во время изготовления проекта. Позднее, после неудачного опробования их на заводе во Франции, Миге отказался от своего предложения. Но тогда для ДАЗа такие ковши уже были изготовлены, а так как времени для их замены чем-либо другим оставалось мало, дирекцией ДАЗа было решено испытать их в работе.

Пуск печи был назначен на конец февраля.

С самого утра Падалка, Рапопорт и француз Даниер сидели в конторке цеха.

Инженеры рассчитывали шихту, а мсье Даниер составлял график, когда и какими порциями нужно загружать ее в печь и когда можно будет делать первый выпуск шлака.

С середины дня начали загрузку шихты в печь.

— Плавка шлака началась, первый выпуск ожидается в шесть часов вечера, — рапортовал начальник металлургических цехов Падалка начальнику глиноземного завода.

— Выпуск шлака ожидается к шести часам, — сообщил начальник завода дирекции комбината.

Печь равномерно гудела. Стрелка киловаттметра поднималась вверх. Начальные 3000 киловатт сменились цифрами 3500, 4000... 5000.

Печь набирала мощность и увеличивала свой аппетит. Новые и новые порции шихты поступали в ее ненасытное чрево.

Уже после полудня число людей в цехе начало увеличиваться, и к моменту выпуска посетители окружили плотным кольцом все пространство разливочной площадки.

— Как тут работать! — негодовал Рапопорт. — Ведь скоро яблоку упасть будет некуда!

— Il faut chasser tout le monde!¹ — ковыляя на своей искусственной ноге, кипятился Даниер.

Но удалить посетителей из цеха не было никакой возможности. Удалось добиться только, чтобы они отошли подальше и не теснились у печи.

Смена инженера Щенкова становилась по местам.

Рабочие готовили инструмент — подносили ломы и длинные железные шуровки. Настроение у всех было приподнятое, все чувствовали, что ответственный момент наступил.

У печи на первый выпуск встали французские мастера. Полный, высокий Гро с большими пушистыми усами и смуглый, курчавый Жильотти — выходец из Италии, сельчак и балагур.

¹ Нужно всех выгнать! (франц.)

Уверенным движением Гро взял длинный лом, повертел его в руках, как бы выискивая удобное положение, и, подняв, положил концом на валик перед лёткой.

Наклонившись всем корпусом вперед, Гро нанес первый удар ломом по выпускному отверстию печи.

За первым ударом последовал второй, такой же верный и сильный, третий, четвертый...

Все затаили дыхание. Слышалось только гудение печи и ровные удары Гро.

Но вот в выпускном отверстии блеснул свет, и мощная струя шлака, озаряя цех, ринулась в ковш.

Из сумрака светлыми пятнами выступали лица присутствующих. Снаружи окна цеха залились заревом...

Уровень шлака в ковше поднимался все выше.

Струя стала ослабевать. Выпуск кончился.

Жильотти взял тампон — длинный железный стержень с круглой пластинкой на конце. Гро стал сбоку и взял лопату с длинной ручкой.

Один из рабочих положил на лопату круглый комок глины.

— Алле-хоп! — Гро взмахнул лопатой, и комок глины оказался в выпускном отверстии печи.

— Хоп! — И тампон Жильотти мгновенно просунул комок глины в жерло лётки.

— Хоп!

— Алле-хоп! — повторялись движения французов, быстрые и четкие.

— Ну и ловко, черти, работают! — восхищались некоторые из рабочих.

— Наши будут не хуже, — откликались другие, тоже неотрывно наблюдавшие работу французов.

Наполненный ковш при помощи двадцатитонного мостового крана был перенесен от печи и установлен на железных стойках над изложницами, а к печи был поставлен второй ковш.

Согласно проекту Миге в ковше должно было происходить отстаивание шлака от ферросилиция. Более тяжелый и легкоплавкий ферросилиций должен был скапливаться на дне ковша и после затвердевания шлака выпускаться из ковша через имевшееся у его днища отверстие.

Теперь предстояло самое сложное — выпустить ферросилиций из ковша.

Сколько нужно времени, для того чтобы ферросилиций осел на дно, а шлак застыл, никто не знал. Не знал и француз Даниер, тоже весьма скептически относившийся к этим ковшам.

Решили попробовать сделать выпуск из ковша через полчаса.

Начали пробивать отверстие. Ломы входили с трудом и вытаскивались облепленные размякшей угольной массой футеровки ковша.

— Живей, живей, ребята, — торопил своих подручных бригадир, — а то, смотрите, весь ковш застынет, и тогда вся наша работа пропадет даром.

Но ковш застыть не успел. Лётка была открыта, и ферросилиций вместе со шлаком, заполнив две подставленные изложницы, стал переливаться на пол цеха.

Огненное озеро распространялось все дальше и дальше. Вот оно уже подползает к колонне, у которой проложена водопроводная труба.

— Катастроф, катастроф! — кричал, ковыляя к месту происшествия, Даниер.

Он опасался возможности взрыва при проплавлении шлаком водопроводной трубы.

Вся бригада была занята подготовкой к следующему выпуску. У ковша работало только двое рабочих. Но так или иначе нужно было остановить шлак. Все схватились за лопаты.

На помощь подбежали Падалка и Рапопорт. И они с лихорадочной поспешностью набрасывали песок, чтобы преградить дорогу расплавленному шлаку и тем самым предотвратить надвигающуюся опасность.

— Н-да... с первым выпуском у нас неудача, — говорил Падалка, вытирая вспотевший лоб.

— И со следующим будет не лучше, — огорченно промолвил Рапопорт. — Я всегда был уверен, что никакого деления шлака от ферросилиция в этих ковшах мы не добьемся.

Выпуски из печи шли через каждые полтора часа. Обслуживание печи было передано рабочим, французские мастера только наблюдали, приходя на помощь в трудную минуту.

Из двух ковшей снова пробовали сделать выпуск ферросилиция, но тоже безуспешно.

Ночью был заполнен четвертый ковш. К печи поставили последний, пятый, а из ранее заполненных ни один еще не был опорожнен.

Первый и второй ковши пробовали опорожнить, переворачивали, поднимали краном и ударяли об пол, но слитки упорно не желали выходить.

Остальные ковши были еще настолько горячи, что об их опорожнении и думать не приходилось.

Наконец в шесть часов утра был произведен выпуск в последний ковш.

Дальше лить было некуда.

— Все ковши заполнены, — говорил ночью начальник завода по телефону разбуженному директору, — лить больше некуда, нужно выключать печь. Каково будет ваше решение?

Мирошников распорядился вызвать технорука глиноземного завода, инженера Янова.

— Ну, товарищи, — говорил технорук, — нужно во что бы то ни стало найти выход из этого трудного положения.

— Надо сознаться, что действительно положение не из важных, — сказал Рапопорт. — Ведь если мы не сможем пустить печь через трое-четверо суток, то она застынет, придется извлекать из нее все содержимое, и это грозит остановкой печи не менее как на две недели.

— Об этом и речи быть не может, — перебил Янов, — такая оттяжка, и в такой острый момент, вообще недопустима.

— А что же нам делать? — возразил Рапопорт. — Ведь для того, чтобы заменить ковши, нужно иметь чем их заменить. Не забудьте, что ковши изготавливались не сутки и не двое, а добрых несколько месяцев.

Наступило тяжелое молчание.

У потолка продолжала гореть электрическая лампочка, хотя ее желтый свет терялся в лучах восходящего солнца.

Усталые лица участников этого необычного совещания были бледны и сумрачны.

— Ну, а ваше мнение, Евгений Николаевич? — нарушая тягостное молчание, обратился Янов к Падалке.

— Мое мнение? — переспросил Падалка, отрываясь от своих мыслей. — Мое мнение тоже таково, что держать

печь без тока дольше трех суток нельзя и прерывать пуск глиноземного завода на две, а может быть, на три недели тоже нельзя. Но я думаю, что выход у нас все же имеется.

— Какой? — в один голос спросили Янов и Рапопорт.

— В изготовленном мною еще до приезда французской консультации техническом проекте цеха никаких ковшей не было. Для разливки шлака из печи был применен так называемый каскадный метод, заключающийся в том, что продукты плавки выпускаются из печи в три плоские изложницы. Одна изложница ставится у выпускного отверстия печи и служит отстойником для ферросилиция, а две другие ставятся по бокам. Когда наполнится средняя изложница, шлак, освобожденный от ферросилиция, каскадом переливается в боковые изложницы. Да чем рассказывать, я вам лучше начерчу.

Карандаш быстро забегал по листу бумаги. Инженеры наклонились над эскизом.

— Для нашего случая этот способ разливки явится выходом из положения, — торопливо заканчивал свою мысль Падалка, — потому что для этого способа нужны небольшие изложницы, и мы сможем использовать имеющиеся у нас изложницы для ферросилиция. Конечно, и для перехода на этот способ придется крепко поработать. Нужно сделать эскиз, приспособить изложницы, найти к ним подходящие вагонетки. Но все это уже...

— Вполне реально! — резюмировал Янов. — Если хорошо взяться за это дело, то его можно выполнить в короткий срок.

Все облегченно вздохнули.

Ранним утром принятое решение было одобрено дирекцией, работа закипела, и через три дня печь снова была пущена...

Каскадный способ разливки применялся в течение нескольких месяцев, пока печь работала на пониженной мощности.

С увеличением мощности печи выше 6 тысяч киловатт объем изложниц оказался мал, и срочно были изготовлены большие круглые изложницы. Выпуск производился в одну изложницу, и разделение ферросилиция от шлака приходилось делать путем разборки вручную уже остывшего шлака.

13. Первый глинозем

Как и в других цехах комбината, производственные репетиции в химических цехах имели ту же цель — подготовить к пуску квалифицированных эксплуатационников.

Только некоторые из эксплуатационников к моменту пуска завода имели опыт, приобретенный на ВАКе, на ползаводских установках Ниисалюминия и других заводах с более или менее аналогичными агрегатами. Большинство же было из бывших монтажников, ведущих свой «производственный род» от совсем недавнего колхозного прошлого. Для этих людей «пробные уроки» будущей работы имели основное значение в ее освоении.

И хотя маневрирование отличается от действительного процесса прежде всего тем, что от допущенных при нем ошибок производству не грозит реальная опасность, но рабочее, усвоив то, что те или иные ошибки имеют определенные последствия, держались во время маневров так, как будто они участвуют в нормальном процессе.

— Вроде как генеральная репетиция, — сказал о маневрах мастер Клинин. — Помню, ставили мы у нас в полку представление. Так накануне, как играть перед народом, заставил нас наш политрук, который был вроде как режиссер, и наряжаться, и бороды приклеить, и говорить роли с чувством.

— Вот уж совсем не похоже, — возразил сменный инженер. — Разница между репетицией и спектаклем состоит только в том, что отсутствует зритель. А здесь отсутствует самое главное — отсутствуют материалы, подлежащие технологической обработке. Здесь вам искусственно создаются разные неполадки и фальшивые аварии, чтобы проверить, как вы выйдете из затруднительного положения, если подобный случай произойдет при эксплуатации.

В химических цехах в период маневров удалось создать обстановку полной иллюзии производственного процесса. Ведь вся аппаратура этих цехов герметизирована, и снаружи абсолютно неизвестно, что течет в ее мощных баках и трубах — вода или подлинные растворы.

Заведующий цехом выщелачивания инженер Алексеев обращал внимание рабочих на своеобразность протекающего в этом цехе процесса.

— Вы видите, ребята, что вода идет непрерывным потоком. Так же точно будут идти и растворы. И если на

каком-нибудь отрезке своего пути они по какой-либо причине задержатся, то возникнет угроза, такая же опасная, как опасна закупорка вен для живого организма.

— А как же мы будем сдавать и принимать смену? — спросил подошедший бригадир.

— Принимая дежурство, внимательно осмотришь весь свой участок, — ответил Алексеев, — и если найдешь непорядок, ставь об этом в известность сменного инженера.

— Вроде как на вахту заступаешь, — сказал один из рабочих, бывший матрос.

— Совершенно верно, — подтвердил Алексеев.

— Знай инструкцию и проверяй контрольные показатели — химические и температурные. Тогда линия твоего поведения будет совершенно правильна.

— Вот ты, Митя, — обратился Алексеев к молодому рабочему, — потрогай этот подшипник.

— Холодный, — сказал Митя, дотронувшись до него пальцами.

— А если бы он был горячий?

— Значит, что-то неладно, — ответило сразу несколько человек.

— А о чем ты, Ваня, будешь докладывать, сдавая смену? — продолжал спрашивать Алексеев.

— Прежде всего о том, что такой-то бак был полный, такой-то неполный. Молотого шлака получено такое-то количество. Раствора выдано столько-то.

Рабочий давал бойкие ответы, из которых было видно, что он осваивает свою будущую профессию.

В процессе подготовки к пуску химических цехов тоже выявилось множество недоделок, которые тщательно устранялись.

Будущие эксплуатационники, как и большинство рабочих ДАКа, были комсомольцами. Со свойственным молодости увлечением они репетировали все процессы, которые будут протекать при эксплуатации.

Контролеры отдела технического контроля — ОТК — внимательно следили за их работой и, если замечали отклонения от инструкции, делали замечания сменному инженеру о необходимости исправления замеченного недочета.

Если это не выполнялось, контролеры записывали свои замечания в журналы.

Начальники цехов тотчас же по приходе на работу должны были просматривать журнал, и отмеченные контролером виновники подвергались строгому взысканию.

В первых числах марта из размольного отделения металлургического цеха в огромные, вместимостью 250 тонн шлака, бункера, которые помещались в башне, на восемнадцатиметровой высоте, стал поступать молотый шлак.

Делались последние приготовления.

У каждого рабочего места вывешивались инструкции, прибавлялись дощечки с лозунгами по технике безопасности:

«Берегись вращающегося шкива».

«Остерегайся щелочных растворов».

«Курить строго воспрещается».

Сменный инженер еще и еще раз повторил цеховому коллективу основные моменты производственного процесса. Снова был зачитан приказ о строгом соблюдении дисциплины и правил безопасности.

Алюминатный шлак передавался в бункер пневматической установкой.

Уже около суток равномерная работа вакуум-насосов доказывала сменным бригадирам, что бункера постепенно наполняются долгожданным молотым шлаком. Но к концу второго дня в работе пневматики появились тревожные симптомы. Оказалось необходимым остановить вакуум-насосы и прочистить трубы и циклоны (пылеотделители), расположенные над бункерами.

Срочно вызванные слесари немедленно приступили к работе. Разбалчивали фланцы, прочищали трубы.

Для осмотра и прочистки пылеотделительной установки бригада слесарей Калинина была послана на бункерную площадку.

Взяв молоток, Калинин постукивал им по трубам, как постукивают слесари на железнодорожных станциях по вагонным колесам, узнавая по звуку их состояние.

К бригадиру Калинину подошел насосчик Рыбалка.

— Лаборатория требует для анализа образец шлака, — сказал он, — вот и инструмент прислали, — показал он

принесенный с собой длинный шест (бункер был около десяти метров глубины). К концу шеста была привязана пустая банка из-под консервов.

— Ну что ж, пойдем доставать.

И Калинин с Рыбалкой пошли к бункерам.

Открыли у одного люк, опустили шест и долго шарили им внутри огромного вместилища.

Ударяясь о бетонные стены, звонко гремела жестяная банка, но в нее ничего не попадало.

— Никакой пробы мы тут не зачерпнем,— проговорил наконец Калинин,— этот бункер, наверно, вовсе пустой...

— Я тоже думаю, что шлак идет в другой,— согласился Рыбалка и быстро направился к другому бункеру.

Из открытого люка пахнуло удушливым запахом ацетилена, выделявшегося из молотого шлака.

Став на колени, Рыбалка заглянул внутрь. В черной глубине ничего не было видно. Не поднимая головы из люка, Рыбалка достал из кармана коробку спичек. Еще момент... Одна из них вспыхнула, и вместе с этим крошечным огоньком в тройном грохоте взрыва взвился из бункера огненный вихрь.

К бункерной башне бросились люди, а им навстречу валились ее стены и груды кирпича.

Сменный инженер и технорук тоже ринулись к месту катастрофы.

Верха башни уже не было, торчали одни колонны, поддерживающие крышу, а на месте стен зияли огромные рваные дыры, от краев которых отваливались слои бетона.

Лестница, ведущая наверх, была завалена кирпичом и мусором. Сверху, с восемнадцатиметровой высоты уцелевшего перекрытия, раздавались крики раненых:

— На помощь, товарищи! Спасайте!

— Стойте смирно! — крикнул им технорук. — Сейчас подадим вам доски и лестницы.

А куда принесли лестницу, они со сменным инженером стали карабкаться по шатающейся стене вверх.

— Все ли живы? — разом спросили они Калинина, как только уцепились за крюк, торчащий из разрушенного верхнего перекрытия бункера.

По лицу Калинина текла кровь. Он молча обвел взглядом свою бригаду.

Ребята стояли растерянной группой, ошеломленные взрывом. У одного на русых волосах алело кровавое пятно. Другой держался обеими руками за колено.

— Не хватает народу, — почти шепотом проговорил Калинин, но от этого шепота ужас охватил всех, кто его слышал.

— Рыбалка заглядывал в бункер, — сквозь стиснутые от боли зубы проговорил один из членов бригады и бросился к частично сохранившемуся перекрытию бункера.

— Рыбалка! — звал он. — Рыба-а-лка!

Сменный инженер полез было туда же по торчащим концам арматуры, но появившийся в этот момент начальник пожарной охраны строго остановил его:

— Стой! Назад! Спускайся!

Подставили лестницы. Пожарные надели маски, укрепили на себе спасательные канаты и скрылись в люке.

Их десятиминутное отсутствие показалось вечностью...

Но вот над развороченным перекрытием бункера блеснула медью пожарная каска, за нею другая.

А через минуту, багровые от жары и зеленовато-серые от шлаковой пыли, пожарные положили на холодный бетон перекрытия уцелевшего соседнего бункера безжизненное тело Рыбалки.

— Дышит! — крикнули сверху.

— Живой! — вырвался вздох облегчения у толпившихся внизу.

— Вызывай Скорую помощь!

— Уже вызвана...

— Прибыла...

Дирекция, завком, партийные работники, цеховое начальство, рабочие и инженеры других цехов — многие перебували на месте катастрофы.

Калинина вместе с другими пострадавшими отвезли в больницу.

Рыбалка умер, когда его несли с башни...

На рассвете у ворот цеха выщелачивания часовой задержал двух плачущих женщин.

— Мы только узнать, — говорили они, всхлипывая, — почему их нет. Может, на сверхурочную остались, так мы и уйдем.

— Нельзя без пропуска, — загораящая им путь, решительно возражал часовой.

— Так они же в бригаде Калинина были. Нам только спросить... лишь бы узнать! — в отчаянии кричали женщины. — Пусти ты нас...

На шум из конторки цеха вышел сменный инженер. Услышав последние фразы, он быстро приблизился.

Из отрывистых слов женщин он понял страшное: в бункере остались еще двое рабочих — Чернявский и Бабаков.

Экстренно приступили к выгрузке шлака из разрушенного бункера. Выгрузили уже около шестидесяти тонн, когда в этой горячей серой шлаковой муке нашли еще два трупа.

Этот трагический случай взбудоражил всех трудящихся не только ДАКа. О нем говорили и в цехах других заводов, а на гражданской панихиде по трем погибшим товарищам все выступающие отмечали необходимость суровой борьбы за труддисциплину, за техническую грамотность, за твердое знание и исполнение инструкций технической безопасности.

— Из этого печального урока, — сказал секретарь ЗПК, — мы все должны сделать вывод: если бы товарищ Рыбалка твердо запомнил то, что написано на плакатах об огне, он и сам был бы жив, и смерть не уносила бы от нас три молодые, полезные жизни...

На экстренном совещании дирекции совместно с ИТР было решено переконструировать пневматический транспорт шлака.

Проект замены вакуумной пневматики нагнетательной и установки предохранительных люков был сделан проектным отделом ДАКа.

Эта переделка требовала больших работ, а завод не мог ждать.

Тогда работники химических цехов предложили гидравлический способ транспорта. Он заключался в следующем:

Размолотый шлак, смешанный с содовым раствором, подавался центробежным насосом в виде жидкой массы непосредственно в баки, минуя бункера.

После некоторых разногласий по части рациональности такого предложения дирекция дала свое согласие, и уже спустя две недели после аварии цех смог продолжать свою работу.

Из возникающих на пути освоения тупиков выводила собственная смекалка, так как в производстве глинозема консультация фирмы «АФК» ограничивалась только тем, что касалось механического оборудования.

На первом этапе освоения цеха выщелачивания потребовался неимоверно большой расход фильтровального полотна на фильтрах Вольфа.

Эти фильтры представляют собой вращающиеся барабаны, цилиндрическая поверхность которых имеет большое количество отверстий. Барабан фильтра обматывается плотным полотном. Через это полотно засасывается раствор из корыта, в которое погружен барабан.

Осадок задерживается на полотне барабана и снимается с него специальным скребком, а прозрачный раствор откачивается в баки.

Вместо нормальных одной или двух недель фильтровальное полотно сохранялось на фильтрах менее суток.

Причину этого явления искать долго не пришлось — она была ясна и заключалась в разрушительном действии на полотно горячего щелочного раствора.

Это зло казалось неизбежным: ведь ни состава, ни температуры растворов менять было нельзя — они были продиктованы условиями технологического процесса.

Оставалось только организовать работу так, чтобы ежесуточная перемотка фильтров не тормозила работы цеха.

Но этого достичь не удавалось.

По проекту цеха из пятнадцати имевшихся в наличии фильтров Вольфа — девять предназначались для работы, а шесть должны были находиться в резерве. Фактически же даже при работе цеха на одну треть проектной мощности пятнадцати фильтров не хватало, и с их перемоткой не поспевали.

Начались частые остановки, и настроение в цехе было подавленное.

Положением дел у фильтровщиков интересовался весь заводской коллектив.

— Опять мотаете? — спрашивали «болеельщики», заглядывая в отделение фильтров.

— Мотаем, как видите, — хмуро отвечали им. — Просто с ног сбились. Запарились с этими свивальниками...

У ворот цеха обычно лежала грудa отслужившего свою короткую службу полотна, похожего на грязную, разбухшую промокательную бумагу.

— Не умеете работать,— упрекали фильтровщиков в отделе снабжения.— Судя по количеству испорченного полотна вы, вероятно, думаете, что на вас будет работать специальный текстильный трест. А это далеко не так!

И действительно, вопрос о получении полотна приобретал все большую остроту. Запас, заготовленный для пуска, подходил к концу, а получения новых партий полотна не предвиделось.

Все внимание администрации завода сосредоточивалось в те дни на злополучных фильтрах.

Технорук химических цехов и начальник цеха выщелачивания были переведены на сменную работу и несли вахту по двенадцать часов в сутки.

Все ходили забрызганные раствором и измазанные осадком с фильтров. Все только и говорили, только и думали о том, как вывести цех из беды, то есть как сократить расход полотна.

Сначала робкая, потом все более и более четкая, день за днем в коллективе зрела и наконец выявилась мысль, приведшая к благополучному разрешению наболевшей «полотняной проблемы».

Вспомнили, что в цехе стоят без дела два сгустителя. В этих аппаратах, представляющих собою железные цилиндрические баки с коническим дном, отделение осадка от раствора происходит отстаиванием. Осадок опускается на дно бака и через трубу откачивается насосом в виде сгущенной пульпы, а прозрачный раствор переливается через края бака в кольцеобразный желоб и стекает в трубу. Ясно, что при этом полотно не нужно.

Решили испросить разрешение администрации использовать эти сгустители.

Разрешение было дано, и уже через несколько дней сгустители начали работать. На фильтры подавалась сгущенная пульпа, и число работающих фильтров резко сократилось. А следовательно, сократился и расход фильтровального полотна.

Так был разрешен еще один вопрос на пути освоения производства глинозема.

Пуск цеха карбонизации¹ состоялся в апреле. Он прошел нормально и без аварий. Тщательно опробованное заранее оборудование работало в основном исправно, и незначительные течи в коммуникации были быстро ликвидированы.

Баки-карбонизаторы поочередно заполнялись идущим из цеха выпечивания алюминатным раствором и ставились «под газ», поступающий по змеям газопроводов из начавшей работать котельной.

Под действием уголекислоты газов из растворов выпадал гидрат глинозема (соединение окиси алюминия с водой).

У всех глиноземщиков слова «гидрат глинозема» неразрывно связаны с представлением о влажном белом порошке.

Каково же было их удивление, когда с барабана фильтра начал сходить осадок этого гидрата... темно-красного цвета!

— Что-то не то, — разочарованно говорили инженеры.

— Прямо томатный сок, — недоумевали и рабочие. — Не иначе как и тут какая-то заковыка...

— Никакой «заковыки»! — подшучивали над ними товарищи, пришедшие полюбоваться на первый гидрат глинозема. — За границей, то есть у буржуев, получается белый гидрат, а у нас в СССР ему полагается быть красным...

Технорук долго и внимательно разглядывал гидрат и наконец обернулся к толпившимся рабочим.

— Что носы повесили? — с улыбкой спросил он. — Ничего тут ни страшного, ни загадочного нет. Баки у нас какие? Железные?

— Железные, — хором отвечали рабочие.

— Ржавчина на них внутри может быть?

— Ясно, может. И на трубах, наверное, была... Она и отходит, — догадались рабочие, и лица их просветлели.

В следующие дни гидрат приобрел свой нормальный, свойственный ему белый цвет и таким оставался в дальнейшем.

В цехе слышались шутки, смех.

— Сами-то мы красные, — острили рабочие, — а порошок пускай уж будет белым, как импортный.

¹ Карбонизация — процесс разложения алюминатного раствора под воздействием уголекислоты.

Вскоре появилась возможность пустить последний в сложной длинной цепи производства глинозема агрегат — печь для кальцинации (прокалки) глинозема.

Эта цилиндрическая вращающаяся печь была тщательно опробована в своей механической части. Приводной механизм, подшипники, опорные ролики — все было в полной исправности.

Футеровка печи была выложена из фасонного огнеупорного кирпича. Кирпич был невысокого качества, а потому к сушке печи подошли осторожно. Сушили долго, медленно поднимая температуру, чтобы не испортить футеровку.

Наконец, когда на складе было накоплено достаточное количество гидрата глинозема, обеспечивающее бесперебойную работу печи, был отдан приказ:

— Пустить прокалочную печь!

«Обряжала» печь к этому торжественному моменту смена инженера Коваленко.

В двенадцать часов ночи на вахту встала смена инженера Кучеренко.

— Эй вы, товарищи-братишки, — весело подбадривал бригадир Вава, — давай, давай, мухами летайте! Подготовим нашу голубушку «на ять»...

«Голубушка», то есть прокалочная печь весом в 360 тонн, длиной 52 метра и диаметром 2,25 метра, была множество раз осмотрена со всех сторон.

Без четверти восемь бригадир Вава облил мазутом факел и зажег форсунку. Печь медленно вращалась вокруг своей оси. Температура в ней постепенно подымалась. Когда она дошла до 360 градусов, новая смена, мастера Пушкарева, стала загружать в печь гидрат.

Поработав до четырех часов, смена осталась и дальше.

— Не уйдем, пока не увидим первый глинозем, — заявила бригада.

Этого хотелось всему коллективу цеха. И он увидел этот первый днепровский глинозем через четыре часа после загрузки в печь гидрата.

14. Омраченная радость

Однако радость этого достижения была омрачена первыми же анализами: содержание в глиноземе одной из вредных примесей — кремнезема (окиси кремния) состав-

ляло 1,5 процента, то есть в пять-шесть раз превышало допустимые нормы.

Такое высокое содержание кремнезема было полной неожиданностью как для работников глиноземного завода, так и для группы Ниисалюминия.

Результаты, которые раньше были получены Ниисалюминием на опытной установке в Ленинграде, были самые обнадеживающие: полученный там глинозем содержал окиси кремния менее 0,2 процента.

Первое, что было решено сделать, — это проверить весь процесс, все анализы сырых материалов и полупродуктов.

Просмотрели, но никаких отклонений от режима и составов, рекомендованных Ниисалюминием, не обнаружили.

Все же научные работники из Ниисалюминия видели основное зло в работе цеха выщелачивания, а там горячо против этого протестовали.

Между борцами за советский алюминий — теоретиками и практиками — не раз происходили полемические схватки.

На одном из бурных по этому вопросу совещаний профессор Кузнецов свирепо затягивался дымом трубки.

— Точно Везувий перед извержением, — кивали на него заводские глиноземщики и мысленно засучивали рукава.

Начальник завода доказывал, что процесс получения глинозема ведется с пунктуальным соблюдением всех правил, указанных Ниисалюминием, а профессор Кузнецов настаивал на своем:

— Если мы в Ленинграде получали хорошие результаты, то такие результаты должны были получаться и здесь. Никакой ошибки в полученных нами в институте данных быть не могло. В этом я убежден так же крепко, как правоверный мусульманин в мудрости Корана.

— Так в чем же вы видите причину такого низкого качества глинозема? — нетерпеливо спросил директор Комбината.

— Только в том, что режим технологического процесса в химической переработке не выдерживается достаточно тщательно.

— Ну уж нет, с этим я совершенно не согласен, — не выдержал технорук Конторович. — Профессор Кузнецов хочет видеть в цехе ту же точность соблюдения режима,

что и в исследовательских работах. Но ведь цех не лаборатория!

— Правильно! Верно! — раздались отдельные возгласы присутствующих на совещании.

Страсти с обеих сторон начинали разгораться. Прийти к обоюдному решению надежды не было, и выходом из создавшегося положения было соломоново решение дирекции — проверить работу цеха выщелачивания при помощи специальной контрольной бригады и в дальнейшем собираться для обсуждения результатов работы глиноземного завода каждые две недели.

Теперь цех выщелачивания работал уже под наблюдением контролеров и «вытягивался в струнку», чтобы колебания температуры, концентрации и других режимных показателей были наименьшими.

Работники группы Ниисалюминия с новой энергией принялись в лаборатории за проверку работы цеха.

Дни шли за днями, а работа не давала положительных результатов.

Работники глиноземного завода при встречах с ниисалюминщиками не могли скрыть хмурой усмешки.

К следующему совещанию у директора было ясно только одно — дело не в несоблюдении режима цехом выщелачивания, а в чем-то другом, более глубоком и сложном. Было решено режим работы глиноземного завода не менять, а в центральной лаборатории комбината продолжать работы по выявлению причин плохого качества получаемого глинозема.

С этого дня и у работников группы Ниисалюминия, и у работников завода засела гвоздем в голове одна и та же мысль: «В чем же заключается эта причина?»

С этой мыслью просыпались, с нею проводили рабочий день.

Бывало так, что сменный инженер или мастер за обедом вдруг не доносил ложки до рта и, устремив глаза в одну точку, замирал.

— Что с тобой? — спрашивали соседи. — Опять о глиноземе, верно, думаешь?

— Нет, дело не в температуре раствора, — продолжал вслух свои мысли задумавшийся.

— Как не в температуре? — непременно откликнулся кто-нибудь из соседей. — А в чем же?

И вспыхивал спор, продолжавшийся до тех пор, пока подавальщица не прерывала его сердитым вопросом:

— Что ж, убирать борщ? А то и второе остыло уже.

Этот период был самым плодотворным на гипотезы. Более вероятные из них немедленно проверялись в лаборатории.

Один видел причину неудач в днепровской воде:

— Ведь все опыты в Нисалюминии проводились на невской воде, славящейся своей мягкостью. Днепровская вода гораздо более жесткая. Если бы получить из Ленинграда невской воды и повторить опыты, то результаты должны получиться совершенно другие.

Невской воды из Ленинграда, конечно, не выписали, но срочно провели опыт на дистиллированной воде.

Результат оказался тот же — полученный в лаборатории глинозем содержал более одного процента окиси кремния.

Другие утверждали, что окись кремния переходит в раствор из содержащейся в шлаке примеси ферросилиция.

В лаборатории был поставлен и этот опыт. Испробовали действие щелочного раствора на молотый ферросилиций. Оказалось, что в раствор переходит ничтожно малая часть кремния (силиция).

Нисовцы в это время получили из Ленинграда затребованные ими образцы шлака, выплавленные на малой опытной печи. Снова повторили опыты и из ленинградского шлака получили почти чистый глинозем.

И в сотый раз вставал вопрос: «Так в чем же причина плохого качества заводского глинозема?»

Профессор Кузнецов обратил как-то внимание главного инженера Жуковского на то, что шлак, изготовленный на опытной установке в Ленинграде, имеет зеленый цвет, а шлак из печи Миге сероватый или черный.

— Что же вы хотите, — рассердился Жуковский, — чтоб мы для вас красили шлак в зеленый цвет?!

В центральной лаборатории ДАКа снова и снова велись опыты.

Выщелачивали образцы шлаков, полученных на печи Миге и высланных из Ленинграда. Ленинградский шлак по действию щелочного раствора шинел и бурлил. Выделявшиеся пузырьки газа образовывали шапку пены над

стаканом. Шлак из печи Миге при растворении вел себя гораздо спокойнее.

— Нет, вы только посмотрите сами,— шутливо говорила лаборантка Ниисалюминия зашедшим в лабораторию за новостями инженерам Янову и Падалке,— наш ленинградский шлак — живой шлак, из него и глинозем получается хороший, а ваш, даковский,—просто дохлятина.

— А каков же анализ этого вашего, ленинградского? — поинтересовался Падалка, заглядывая в тетрадь.

Анализ почти совпадал с анализом шлаков, получаемых из печи Миге.

— Как странно, что два шлака, почти одинаковые по составу, ведут себя так различно! — заговорил Янов, когда они с Падалкой поздним вечером вышли из цеха.— Интересно, приехала за нами тачанка?..

— Да, очень странно. Мне это тоже не ясно,— ответил Падалка на первую мысль товарища.— А тачанка не придет: наша рыжая кобылка расковалась. Придется идти домой пешком. Кстати и поговорим о заводских делах...

— Вот именно «кстати»,— мрачно пошутил Янов.

Они направились к заводским воротам. Мерно завывал эксгаустер агломерационного цеха, доносился шум дробилки. Завод дышал нормально, цехи жили каждый своей производственной жизнью.

Пошли сокращенной дорогой через степь. В лицо пахнуло ночной прохладой. Со стороны плотины доносилась довольно стройно исполняемая хоровая песня: «Рече та стогне Дніпр широкий...» Сквозь низко плывущие облака проглядывали звезды и ущербный месяц... Вдали мелькали огни поселка.

— Евгений Николаевич,— первым нарушил молчание Янов,— а как вы думаете, чем отличается...

— Держу пари,— перебил Падалка,— что вы хотите спросить про наши и ленинградские шлаки.

— Да, именно об этом. Я хотел вас спросить: чем отличается процесс плавки в малой печи, скажем такой, какая имеется в Ниисалюминии, от процесса плавки в печи Миге?

— В основном отличие заключается в том,— после короткой паузы ответил Падалка,— что в малой печи нагрев идет электрической дугой, вследствие чего около электрода температура очень высока, и восстановление окисей кремния и железа идет более легко и полно, чем в печи

Миге, где тепло выделяется за счет электрического сопротивления шихты при прохождении через нее тока.

— Так,— протянул Янов.— Значит, и содержание окиси кремния в шлаках из малой и большой печей должно быть различно?

— Конечно. В шлаке из малой печи окиси кремния должно быть меньше.

«Но почему же химический анализ обоих шлаков давал одинаковые результаты? — продолжал размышлять Янов.— Как производится химический анализ шлака? — вспомнил он.— Ведь в химическом анализе кремний определяется в виде окиси кремния, в каком бы виде он ни находился в шлаке. А в действительности кремний в шлаке имеется не только в виде окиси, но и в виде восстановленного металлического кремния...»

Мысли, сначала разрозненные, постепенно складывались в стройную логическую цепь.

— Э, я, кажется, ловлю за хвост нашу загадку,— взволнованно проговорил Янов, когда они уже подходили к поселку.— Только откуда же в ленинградском шлаке может взяться такая большая примесь ферросилиция?

— Ну, это понятно,— отвечал Падалка,— ведь количество шлака, выпускавшегося из малой печи, было очень невелико, по выходе из печи он сразу застывал, никакого отделения шлака от ферросилиция фактически не происходило, и ферросилиций весь оказывался запутавшимся в шлаке.

Янов остановился.

— Теперь все ясно! В анализах ленинградских шлаков окись кремния — никакая не окись кремния, а чистейший металлический кремний из ферросилиция!

— Браво, браво, Александр Семенович! — воскликнул Падалка.— Выходит, что у нас сегодня удачный день!

Когда диагноз был установлен, стало легче наметить и пути лечения.

Теперь для глиноземщиков вопрос мог быть поставлен вполне конкретно: целесообразно ли изменять состав шлака или нужно приспособлять химическую переработку к шлаку, получаемому на ДАКе?

На очередном техническом совещании у Мирошникова было решено состава алюминатного шлака не менять, а добиваться хороших результатов путем изменения его химической переработки.

15. «Что за люди!»

После первых месяцев работы печи Миге, в течение которых цеховой персонал успешно осваивал этот большой и сложный агрегат, работа цеха потекла более спокойной производственной жизнью.

Из бригад постепенно отсеивался слабый и неспособный к работе в горячем цехе контингент, а остающиеся составляли в сменах здоровый костяк и являлись гордостью цеха.

Рабочие-электроплавильщики Сиваш, Пятишкин, Шамрай, Лаптев, Маринюк и многие другие работали у печи с не меньшей четкостью, чем французы. Бригадир электродчиков Колесник сколотил дружную и работоспособную бригаду и прекрасно вел все работы: собирал железный каркас электрода печи, устанавливал угольные сектора и набивал среднюю часть электрода угольной массой.

Колесник к своей работе относился по-хозяйски. Каждый болт, обломок доски, обрезок проволоки находил в его руках свое применение. Из обломка доски он делал ручку для молотка, из обрезка проволоки — крючок для ведра. У Колесника в цехе имелся свой ящик для инструментов, которые в любую минуту могли понадобиться для работы.

Молодые инженеры, начальники смен, также успешно осваивали печь Миге и сложный технологический процесс плавки алюминатного шлака.

Но с конца апреля в работе печи начали замечаться ненормальности.

Веселых желтовато-лиловых огоньков, бегавших по поверхности заваливаемой в печь шихты, становилось все меньше и меньше.

Пневматические шуровки, ранее проходившие в шихту до отказа, теперь едва углублялись в верхний слой.

Все это доказывало, что в печи образовывалась настыль.

Когда в начале мая была пущена вторая печь Миге, ненормальная работа первой печи стала еще заметнее.

— В чем же дело? — недоумевал начальник цеха Рапопорт. — Кажется, печь обслуживается вполне нормально, и состав шихты не изменяется, а ухудшение работы печи всякому очевидно.

— Вы не совсем правильно делаете выпуск,— пробовал давать свои объяснения француз Даниер,— ваши рабочие пробивают выпускное отверстие слишком высоко, от этого часть шлака остается в печи и, застывая, может повлечь образование настыли.

Объяснению француза не очень верили, но пробивать выпускное отверстие стали по его указанию.

Евгений Иванович Жуковский, ставший частым посетителем цеха, не мог равнодушно видеть первой печи.

— Запустили печь! Работать не умеете! Тоже мне металлурги,— ворчал он.— Нужно заставить шуровки работать. Понимаете — заставить!

Шуровки по-прежнему не могли пробить образующейся настыли.

Прибегли к ручной пробивке стальными ломami.

Но и это не помогло.

Каждая кратковременная остановка печи для текущего ремонта отражалась на ее работе все сильнее, выпуск из печи делался все затруднительнее.

В начале августа первую печь нужно было остановить для смены чугунной рамы выпускного отверстия. Последствия остановки не предвещали ничего хорошего, но она была неизбежной.

По окончании ремонта печь включили и начали плавку. Печь за несколько часов набрала свою рабочую мощность, но сделать выпуск не удавалось.

Часы шли за часами, а печь «не разрешалась».

Уровень шлака в ней поднимался все выше, положение делалось все более напряженным.

— Вы понимаете,— тараторил мсье Даниер,— что если мы не сможем сделать выпуск, то печь придется скоро остановить...

Горновые выбивались из сил, пытались пробить выпускное отверстие.

Прошли уже две смены. Наступила ночь. Выпуска не было.

Уровень расплавленного шлака подходил к верхнему краю печи.

Пришлось снизить мощность.

Оставалось испытать последнее средство — прожигать выпускное отверстие кислородом.

Для этой цели его понадобилось довольно большое количество. На склад послали грузовик, и пятнадцать баллонов кислорода было доставлено в цех.

Слесари быстро соединили железные полудюймовые трубы в одну общую, длиной пятнадцать метров,

Один конец трубы соединили резиновым шлангом с баллоном кислорода.

Старший горновой направил другой конец трубы в выпускное отверстие. Пустили кислород.

Из лётки повалили клубы красного пламени. Трубка быстро плавилась, но выпускное отверстие стало заметно углубляться.

Пока горела одна трубка, вторая уже собиралась слесарями.

Один за другим опорожнялись баллоны с кислородом. Но выпуска все не было и не было.

Печь грозно гудела, и горячие сплески шлака, перелестывая через ее края, падали на пол. Атмосфера вокруг печи накалялась и в буквальном и в переносном смысле.

На шуровочной площадке от печи веяло таким жаром, что пот уже не каплями, а струями лился по изможденным лицам и телам плавильщиков. От раскаленного шлака слепило глаза. Дышать делалось все труднее.

Для всех становилось очевидным, что за время суточной остановки печи для смены рамы выпускного отверстия шлак, который оставался в печи, загустел, и для того, чтобы сделать выпуск, нужно его разжижить.

Люди нервничали. Непрерывно раздавались советы и приказания.

— Я категорически настаиваю, чтобы в печь засыпали песок, это сразу разжижит шлак,— требовал Жуковский.

— А я настаиваю на добавке в печь доменного шлака,— горячился профессор Кузнецов.

Сотрудники Инисалюминия убеждали в необходимости покрыть верхний слой шлака известью.

Французы-консультанты требовали применить для разжижения шлака плавиковый шпат (фтористый кальций).

Пробовали добавлять песок. Добавляли и срочно привезенного с «Запорожстали» доменного шлака, но ничто не помогало.

Плавикового шпата не оказалось. Вспомнили, что на

электролизном заводе имеется криолит, который, как и плавиковый шпат, является фтористой солью.

Немедленно написали записку Железнову, а Янов охотно вызвался «оформить дело» в кратчайший срок.

Через четверть часа Янов уже звонил, что криолит немедленно будет доставлен в цех.

Горновые продолжали тщательные усилия прожечь летку кислородом. Израсходовали все пятнадцать баллонов.

Снова стали пробивать летку ломом, но лом покрывался вязким, как смола, шлаком, который все же не хотел вытекать из печи.

Когда последний баллон кислорода был опустошен, у многих стала закрадываться мысль о беспечности дальнейших усилий.

— Ну, товарищи,— говорил Рапопорту и Падалке главный инженер Жуковский,— я думаю, что мы вместе сделали все возможное. Люди совершенно выбились из сил, и вы сами едва держитесь на ногах. Я думаю, что печь нужно остановить и использовать эту остановку для ее капитального ремонта.

— Нет, Евгений Иванович, я с вами не согласен,— возражал Падалка.— Остановить сейчас печь — значит признать себя побежденными. А это несомненно скажется на настроении рабочего коллектива. Мы решили переупрямить печь.

В это время в цех принесли криолит. Стали лопатами загружать его в печь над выпускным отверстием. Это средство было последней надеждой.

К печи подтащили последний толстый лом, за который взялась вся бригада.

Ухватился за лом и красный от волнения и жары Рапопорт, взялись за лом Янов и Падалка.

— Эх, раз, еще раз! — командовал бригадир, и лом, раскачиваемый полуторадесятком людей, как таран, ударился в лётку.

Руки напрягались, на лбу надувались жилы.

Вся эта группа мерно раскачивающихся людей была спаяна одним общим ритмом, одной волей к победе.

— Прорвало! — вдруг раздался возглас переднего рабочего.

Действительно, из лётки поползла струя шлака. Она делалась все больше и лилась все быстрее...

— Правильно, прорвало! — радостно улыбаясь, повторяли рабочие. — Все-таки осилили!..

— Что это за люди! — сказал по-французски с изумлением мсье Даниер мастеру Гро. — Они не знают усталости, они лезут в огонь и в воду. Если бы у нас были такие люди! Это, видимо, и есть знаменитый советский энтузиазм...

После этого недели через две печь все же была оставлена на ремонт.

Когда приподняли электрод, все были поражены — под электродом, как ровно спиленный пенёк гигантского дерева, возвышался металлический «козел»¹ весом более ста тонн приблизительно.

Произведенный в лаборатории анализ «козла» показал, что он состоит из титанистого сплава и содержит 50 процентов титана. Аналогичный сплав, специально изготавливаемый за границей в электрических печах, носит название «феррокарботитан».

Теперь стало ясно, что ухудшение работы печи и образование «козла» происходит вовсе не от плохого обслуживания печи, а органически связано с технологическим процессом.

Содержащаяся в боксите окись титана восстанавливается, и продукт ее восстановления, обладая очень высокой температурой плавления (около 3000°), оседает на дно печи и образует настыль.

Электроплавильщики были удовлетворены тем, что теперь с них снят упрек в плохом обслуживании печи. Но они были поставлены перед серьезным вопросом: что же делать с этим новоявленным «козлом»?

Приезжавшие на Днепр работники Волховского алюминиевого завода подтрунивали над дазовскими металлургами:

— Мы слышали, что в ваш алюминиевый огород залез очень породистый козел.

Правильность утверждения, что «козлы» являются органически связанными с технологией процесса, вскоре подтвердилась: в остановленной в конце августа второй печи Миге был обнаружен точно такой же «козел».

В дальнейшем, при переводе печей Миге на полную мощность, выяснилось, что остановки для удаления «коз-

¹ Так металлурги называют настыли, образующиеся в печах.

ла» требуется делать через каждые 40—50 суток. А длительность остановки печи для удаления козла механическим способом (разбиванием на куски при помощи ломов) занимает около 20 суток. Таким образом, каждая печь одну треть времени должна была простаивать для удаления образующихся настывлей.

Нужно было искать способы борьбы с образованием этих настывлей, и дирекцией завода было поручено ряду научно-исследовательских институтов заняться этим вопросом. Поставить эту же работу было поручено и центральной лаборатории ДАЗа.

— Вот увидите, — часто говорил назначенный к тому времени начальником этой лаборатории Янов, — что эта задача будет решена на ДАЗе, а не в институтах. Тут важна оперативность, важна близость цеха, где можно провести эксперимент в заводском масштабе.

Янов оказался прав, но решение «козлиной» проблемы далось нелегко.

Для глиноземного завода наступали дни упорной, кропотливой работы за повышение качества глинозема, за повышение производительности завода.

Все пусковые болезни были позади, и надо было осваивать уже технологию процесса получения глинозема.

Качественные показатели глинозема из месяца в месяц улучшались. В июне 1934 года содержание в глиноземе вредной примеси — окиси кремния — еще превышало 1 процент, в июле оно стало ниже полпроцента, в сентябре — уже менее 0,4 процента, а к ноябрю в глиноземе было достигнуто содержание окиси кремния менее 0,3 процента, что вполне обеспечило получение из дазовского глинозема высокосортного алюминия.

Завод постепенно набирал мощность. С октября агломерационный цех начал регулярную работу на двух агломерационных машинах Дуайт-Ллойда и в ноябре довел свою производительность до 12 650 тонн агломерата в месяц.

В ноябре была смонтирована и пущена третья и последняя печь Миге. С ее пуском на глиноземном заводе не осталось ни одного не опробованного в работе агрегата.

В 1935 году последним крупным неразрешенным вопросом в технологии получения глинозема оставался

вопрос о «козлах», но и этот вопрос к правительственному пуску завода был разрешен.

Опытами Центральной лаборатории, подтвержденными работой Ниисалюминия, было установлено, что травление «козла» может быть осуществлено при помощи железной руды.

При добавлении в печь этой руды, состоящей из окислов железа, происходит окисление содержащегося в «козле» титана. Окислы титана переходят в шлак, который легко выпускается из печи.

Таков был найденный способ лечения «беременной козлом» печи. Но применение этого способа на большой печи вызывало различные сомнения. Не будет ли разъедаться рудой огнеупорная футеровка печи? Не слишком ли долго пойдет процесс окисления?

Работники цеха были готовы пойти на эксперимент, но дирекция завода опасалась риска.

Между тем программа по выпуску глинозема все росла и росла. Вновь пускаемые серии электролиза требовали пищи.

Печи Миге становились узким местом.

И снова все руководство завода — молодые и старые алюминщики, ИТР и мастера — вплотную занялись проблемой коренной ликвидации настылей в печах Миге.

Снова были взвешены все «за» и «против», и в конце мая было решено провести травление «козла» находившейся на «сносях» третьей печи.

Это решение было встречено с большим энтузиазмом.

В цех была завезена железная руда, и травление «козла» началось.

Для большей безопасности мощность печи снизили. Плавление шло бурно.

Из печи то и дело выбрасывало шлак, который падал на бронзовые плиты кожуха и растекался на полу вокруг печи. Плавильщики кидались то к одной, то к другой стороне печи для удаления шлака с бронзовых плит. Нужны были особые быстрота и расторопность, чтобы вовремя отскочить от печи при новых выбросах шлака. Имелся постоянный риск получить ожоги.

Работа была опасная и тяжелая.

Но желание личным трудом участвовать в этом эксперименте воодушевляло людей.

Когда жара становилась нестерпимой, рабочие по очереди бегали обливаться водой.

— Тебя жинка не узнает,— сказал плавильщик Шамрай соседу.— Ушел с бровями, а придешь без них, да еще и красноглазый.

— А у тебя лысина обсмолилась,— сердито огрызнулся Маринюк, у которого вместо густых бровей действительно остались рыжеватые обгорелые кустики.

Окатившись водой, оба снова побежали к печи. От ее жара промокшие рубахи задымились паром.

От каждого выпуска шлака брались пробы и с нарочным отправлялись в лабораторию для анализа.

К утру первый опыт травления «козла» железной рудой был закончен. Из лаборатории получили первые анализы шлаков.

Результат был блестящий. Анализ показал значительное содержание титана в шлаке. «Козел» за полсуток уменьшился почти наполовину.

— Значит, мы сможем стравливать большого «козла» в течение трех суток, а то и меньше! — радовались глиноземщики.

16. Осуществленная мечта

Правительственный пуск Днепровского алюминиевого комбината состоялся 30 мая 1935 года.

На трибуне торжественного митинга лежали подарки почетным гостям — несколько слитков первосортного днепровского алюминия. Эти серебристые, с маркой «ДАЗ» образцы молодого металла, блестевшие на рдеющем под солнцем кумаче, красноречивей многих ораторов говорили об исполнении обещаний, данных на этом же поле во время закладки завода. Тогда, пять лет тому назад, свыше десяти тысяч трудящихся пришли сюда тоже со знаменами, которые разрезали воздух алыми полотнищами.

Но тогда в речах ораторов звучал только горячий призыв осуществить задание партии и правительства о создании на берегу Днепра гиганта алюминиевого производства.

А на этом митинге речи звучали рапортом правительству и партии о том:

что по их указанию на пустыре площадки «А» вырос Алюминиевый комбинат, оснащенный первоклассной техникой;

что его электролизные цехи по своей продукции приблизились к производству лучших европейских и американских заводов;

что только его электродный цех — один из самых мощных заводов мира;

что и глиноземные цехи, преодолев производственные трудности, непрерывно повышают выпуск качественного глинозема;

что в результате неослабевающей повседневной борьбы за реализацию тезиса: «главное теперь в людях, овладевших техникой», чернорабочие, грабари и землекопы, пять с лишком лет тому назад рывшие для этого комбината первые котлованы, выросли у его агрегатов в шесть тысяч квалифицированных рабочих, как выросли посаженные тогда же маленькие деревца в огромный парк кудрявых, тенистых деревьев, окаймляющих многочисленные асфальтовые дорожки заводской площадки.

План ГОЭЛРО, задуманный основателем советского государства В. И. Лениным еще «в условиях отчаянного перекреста кризисов продовольствия, топлива, транспорта, валюты и рабочей силы, план, который явился дерзновенно смелым броском вперед», неуклонно осуществлялся.

На базе первых гидроэлектростанций — Волховской и Днепровской — были созданы два первенца советской алюминиевой промышленности.

Эта новая отрасль советской металлургии уже в 1935 году располагала и опытными заводами, и армией квалифицированных рабочих, и промышленными предприятиями, оснащенными передовой техникой.

Уже к этому времени СССР обогнал по производству алюминия Англию, Канаду, Норвегию, Италию, Швейцарию и даже Францию, которая считается колыбелью алюминиевой промышленности. Успешное выполнение плана ГОЭЛРО подвело энергетическую базу для дальнейшего неуклонного развертывания производства алюминия.

Для расширения его рудной базы шли интенсивные геологоразведочные работы.

На Северном Урале было открыто богатейшее месторождение бокситов, которые по качеству не уступают французским, лучшим в мире.

Растительность на этом месторождении имела красно-

ватый оттенок, за что оно и получило поэтическое название «Красная шапочка».

Как было установлено дальнейшими поисками, «Красная шапочка» является только частью огромного бокситового бассейна, в состав которого входит ряд других месторождений.

Одновременно были открыты на Среднем Урале Соколовское месторождение бокситов и на Южном Урале — в Башкирской АССР.

Тогда же были доразведаны запасы бокситов Тихвинского месторождения — первой по времени сырьевой базы советской алюминиевой промышленности.

Наличие первоклассных уральских бокситов дало возможность приступить уже в 1934 году к строительству огромного алюминиевого завода на Урале. Проектными работами по этому новому заводу-гиганту руководил профессор П. Ф. Антипин — автор проекта Днепровского алюминиевого завода.

Для снабжения Уральского алюминиевого завода электроэнергией возводилась теплоэлектроцентраль на челябинских углях.

Почти одновременно со строительством Уральского алюминиевого завода было начато сооружение Тихвинского глиноземного завода в непосредственной близости от Тихвинских бокситовых рудников.

В 1938 году завод этот был сдан в эксплуатацию.

Знаменательной датой в истории развития советской алюминиевой промышленности были решения, принятые XVIII съездом ВКП(б), состоявшимся в марте 1939 года.

Намечая пути дальнейшего развития металлургической промышленности в третьем пятилетии, съезд постановил увеличить в 1942 году «выплавку алюминия не менее чем в четыре раза по сравнению с 1937 г. ...Ввести в действие Уральский алюминиевый комбинат, алюминиевые заводы в Кандалакше и в Кузбассе и приступить к строительству других алюминиевых заводов».

Воодушевленные этими решениями, намечавшими бурный рост алюминиевой промышленности, советские алюминщики при постоянной и непосредственной помощи Коммунистической партии и советского правительства приступили к осуществлению этих решений.

Уже в августе 1939 года первая очередь Уральского алюминиевого завода вступила в строй действующих пред-

приятый. Быстрыми темпами шло проектирование и строительство Кандалакшского алюминиевого завода в Карело-Финской ССР, пуск которого намечался в 1941 году; проектировались и другие алюминиевые заводы.

К 1941 году Советский Союз уже располагал четырьмя действующими предприятиями алюминиевой промышленности, ряд предприятий находился в стадии строительства и проектирования.

Но... в середине 1941 года мирное строительство в Советском Союзе неожиданно было прервано.

В памятный для всего человечества черный день — 22 июня 1941 года — священные границы нашей великой родины были попорчены вероломным вторжением немецко-фашистских орд...

Наступили тяжелые годы второй мировой войны, годы неимоверных жертв и горчайших испытаний, годы проверки единства и сплоченности советского народа, народа-великана, преодолевшего фашистскую чуму и спасшего человечество от ее заразы.

Уже в первые месяцы войны советская алюминиевая промышленность понесла тяжелые потери. Оказавшиеся в непосредственной близости от линии фронта Днепровский, Волховский и Тихвинский заводы были вынуждены прекратить работу. Этим было выведено из строя около 60 процентов производственных мощностей, соответственно сократился и выпуск алюминия, столь нужного для оборонной промышленности.

«Во второй половине 1941 года было начато не имевшее места в истории мировой промышленности перебазирование алюминиевых заводов на восток, — пишет в своей статье один из старых алюминщиков Е. Н. Падалка. — В неимоверно трудных условиях было демонтировано и вывезено в полуторамесячный срок оборудование Днепровского, Волховского и Тихвинского заводов. Работы по демонтажу приходилось вести только в темные ночи, так как при обнаружении малейшего движения на заводских площадках коварный враг начинал их обстрел. Однако все ухищрения немецких фашистов воспрепятствовать демонтажу оборудования были преодолены героическими усилиями заводских коллективов рабочих и инженеров».

Многим, очень многим памяты эти дни мрачной осени 1941 года, когда на запад, к линии фронта, двигались нескончаемые эшелоны воинских частей. Из приоткрытых

дверей вагонов виднелись серые шинели наших отцов, братьев, сыновей, призванных защищать честь и свободу нашей родины... На платформах неуклюже громоздились танки, пушки, бронетранспортеры и другие орудия войны, только что сошедшие с конвейеров военных заводов и еще не тронутые грозою боев.

А им навстречу тянулись вереницы составов с оборудованием эвакуированных заводов. На открытых платформах, между громоздкими машинами, сидели сопровождающие их рабочие, зябко кутавшиеся в ватные спецовки. На одной из платформ среди заводского инвентаря притулилась и табельная доска, на которой колеблемые ветром номерки трепетали, как металлические листья...

Эвакуированное с алюминиевых заводов оборудование было использовано на проводившемся во время войны строительстве двух новых заводов — у города Сталинска (в Кузбассе) и Богословском (на Северном Урале).

В годы войны был значительно расширен Уральский алюминиевый завод, в 1943 году был закончен строительством и пущен алюминиевый завод у города Сталинска.

Благодаря самоотверженному труду коллективов алюминиевых заводов потерянные в первые месяцы военных действий производственные мощности уже в 1943 году были полностью возмещены, а довоенный уровень производства алюминия значительно перекрыт.

Исторический День Победы советская алюминиевая промышленность ознаменовала пуском Богословского завода.

Девятого мая 1945 года на этом заводе был выдан первый металл. Из него, в память пуска этого нового алюминиевого завода, были отлиты маленькие чашки, своеобразные «сувениры». Вот одна из них — свидетельница этого торжественного дня, в неприкосновенности сохранившая свой первоначальный блеск. А на ней выпуклые буквы: «БАЗ» — марка завода — и надпись: «В День Победы».

Данное партией во время войны указание о перебазировке промышленности на восток алюминщиками было с успехом выполнено: если в 1941 году в восточных районах союза было произведено 46 процентов алюминия, то в 1945 году вся продукция алюминиевой промышленности была выпущена на предприятиях востока.

...Отгремели последние раскаты нашей артиллерии под стенами Берлина. Враг был разбит и повержен в прах.

Тяжкие годы войны остались позади. Доблестные советские воины возвращались из армии к мирному труду.

Наша родина залечивала неисчислимые раны, нанесенные войной.

Перед страной встали во весь рост грандиозные задачи по восстановлению и развитию народного хозяйства.

Верховный Совет СССР в марте 1946 года утвердил «План восстановления и развития народного хозяйства СССР в четвертом пятилетии (1946—1950)». В числе других отраслей было предусмотрено дальнейшее развитие металлургии алюминия в нашей стране.

Наряду со строительством новых алюминиевых заводов нужно было продолжать строительство начатых заводов и восстановление эвакуированных в первые месяцы войны предприятий.

Четвертый пятилетний план по алюминиевой промышленности был успешно выполнен.

Восстановлены Волховский и Тихвинский заводы.

Возвратился в Ленинград, на старое пепелище, отраслевой научно-исследовательский институт алюминиевой промышленности — ВАМИ¹ — и отраслевой проектный институт Гипроалюминий.

Восстановлен и Днепровский алюминиевый завод, проектирование, строительство и пуск которого явились в свое время такой отличной школой для наших алюминщиков. Только теперь он работает уже на другом сырье и глинозем на нем получается по другому способу. И оборудование на заводе иное. Печей Миге, изготовление, монтаж и эксплуатация которых доставили столько хлопот зачинателям нашей алюминиевой промышленности, больше нет. Ценные бронзовые детали кожухов этих печей, заботливо демонтированные и эвакуированные в начале войны на восток, пригодились для изготовления не менее ценных деталей для другого оборудования.

XIX съезд КПСС в своих директивах по пятому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1951—1955 годы поставил перед алюминщиками новую трудную, однако уже выполненную, задачу — увеличить

¹ Всесоюзный алюминиево-магниевый институт.

производство алюминия в Советском Союзе не менее чем в 2,6 раза.

В постановлении съезда было указано: «Начать работы по использованию энергетических ресурсов реки Ангара для развития на базе дешевой электрической энергии и местных источников сырья алюминиевой... и других отраслей промышленности».

Это успешно выполняемое задание приближало начало претворения в жизнь давней мечты советских алюминщиков об использовании для производства алюминия и энергии покоренных гигантских рек, протекающих по необъятным просторам Сибири.

Директивами XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР предусматривалось увеличение выпуска алюминия в 2,1 раза и увеличение производственных мощностей примерно в 2,7 раза.

Шестой пятилетний план предусматривал дальнейшее продвижение алюминиевой промышленности в восточные районы Советского Союза и ее развитие в союзных республиках: в Сибири — строительство трех новых алюминиевых заводов, в Казахской ССР — Павлодарский алюминиевый завод, в Азербайджанской ССР — Сумгаитский глиноземный завод. В Карельской АССР производство алюминия возрастало примерно в 1,6 раза.

Перевыполнение планов стало прекрасным правилом советского народа. Перевыполнено много планов великих пятилетий, перевыполнен и грандиозный план ГОЭЛРО, предусматривавший создание в течение 10—15 лет 30 крупных районных станций. Сейчас в Советском Союзе насчитывается уже более 300 электростанций большой и средней мощности. Уже сейчас Советский Союз по выработке электроэнергии занимает первое место в Европе и второе в мире.

Алюминиевая промышленность будет развиваться на основе дальнейшей электрификации страны, на базе электроэнергии новых сооружаемых мощных электростанций.

Как гласят контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на грядущее семилетие (1959—1965 годы): «Неограниченные сырьевые ресурсы для получения алюминия, благоприятные условия производства и высокие конструкционные свойства этого металла предопределяют широкое применение алюминия в машиностроении, судостроении, авто- и тракторостроении, транспортном

машиностроении, судостроении, в строительстве, в производстве товаров народного потребления. Предусмотрено создание мощной алюминиевой промышленности в Красноярском крае, на базе крупнейших запасов нефелинов, с попутным получением дешевого цемента и содопродуктов. Наличие в крае дешевого угля и возможности использования электроэнергии Красноярской гидроэлектростанции обеспечат получение наиболее дешевого алюминия».

Из контрольных цифр явствует, что производство алюминия увеличится в 2,8 раза.

А в дальнейшем, по мере сооружения каскадов гидроэлектростанций на Ангаре, Оби, Енисее, Иртыше, откроются еще более широкие перспективы для его развития.

Без преувеличения можно сказать, что если Советский Союз, возглавляющий лагерь мира и являющийся носителем самых прогрессивных идей, занял место великой державы, то и советский алюминий — детище Октября — вступил в нашу промышленность как ее новая великая держава.

Эпилог

Мягкий августовский вечер уже переходил в ночь. Солнечный диск давно погас за морским горизонтом. Зажглись звезды. По небу с востока плыло одинокое облачко, предвещая ясный, погожий день.

Широкая полоса прибрежного песчаного пляжа — излюбленное место прогулок на Рижском взморье, — днем заполненная говором и смехом, стала пустеть.

У моря, раскинув руки на спинку скамьи и положив ногу на ногу, сидел пожилой мужчина. Рядом с ним светлели небрежно брошенные пальто и шляпа.

Всходила луна, развертывая по спокойной морской глади серебряную дорожку. Было тихо. Только высокие сосны, почти подступившие к берегу, перешептывались от потянувшего с моря ночного ветерка.

Поза и лицо говорили о том, что этот одиноко сидящий на скамье был очень утомлен и сейчас наслаждался морским воздухом, прохладой и тишиной.

Падалка — это был он — уже несколько лет тому назад перешел из промышленности на научно-педагогическую работу. Прошла неделя, как он приехал на Рижское взморье, но отдыхать по-настоящему еще не начинал. Нужно было составить конспект лекций по новому разделу курса, чтение которого в осеннем семестре кафедра поручила ему.

Вот и сегодня целый день он провел за этой работой и только после санаторного ужина выбрался на пляж подышать вечерней прохладой.

Взгляд его скользил по редким прохожим.

Вот проворковала влюбленная пара. Они медленно шли, тесно прижавшись друг к другу.

Затем протопал неуклюжий толстяк с перекинутым через плечо пальто и толстой тростью. Он преодолевал про-

странство размеренным шагом — видимо, совершал перед сном моцион по предписанию врача.

Вот еще двое — сухощавый пожилой мужчина с суетливой походкой, в кепке немного набекрень, и с ним стройный юноша в белой тенниске, с развевающимися волосами.

Их лиц не было видно, но суетливая походка и эта надетая набекрень кепка были так знакомы!

«Кто же это? Кто? — напрягал память Падалка. — Неужели он? Ну конечно!»

И крикнул:

— Саша!

Те двое остановились, и старший обернулся.

— Саша! Железнов! — подбегая, повторил Падалка.

— Евгений! Вот здорово!

Встретились они как старые друзья. Тепло и радостно.

— А это мой сын Вилен, — представил своего спутника Железнов, — студент пятого курса, отличник, будущий алюминщик. В общем — наша смена. Узнаешь?

Узнать Вилю в этом стройном молодом человеке было трудно. Ведь Падалка помнил его трехлетним бутузом. Тогда вместе с Железновым они работали в Запорожье на Днепровском алюминиевом заводе и жили в одном доме и даже в одном подъезде.

Тогда Виля, озорной и непоседливый, причинял столько хлопот своим молодым родителям и был любимцем всех соседей.

— Ну как, узнаешь? — спросил Железнов. — Хвалиться не хочу, но сын у меня хороший. Вот когда смотришь на них, на наш подрастающий молодняк, — продолжал он, — тогда и видишь, как бегут годы... А так вообще я еще ничего, работать могу крепко.

Однако Железнов тут же рассказал, что в результате крепкой работы у него начало пошаливать сердце и врачи послали его не на юг, а на Рижское взморье.

Уселись на ближайшей скамье и засыпали друг друга вопросами.

Оказалось, что Железнов еще продолжает работать в алюминиевой промышленности, часто выезжает на заводы. А этих заводов становится все больше и больше...

— И сил бы мне побольше, — посетовал Железнов.

С гордостью вспоминали товарищи грозные годы войны, когда они самоотверженно добивались увеличения

производства алюминия, остро необходимого в то суровое время.

Вспоминали, как Уральский алюминиевый завод за выполнение военных заказов получил благодарность Государственного Комитета Обороны и был награжден орденом Ленина.

— А помнишь Бориса Павлова? Он начал с Ленинградского опытного, а потом работал начальником одного из цехов на Днепровском алюминиевом, — после короткого молчания сказал Железнов. — Погиб на войне...

Был убит на фронте Журавлев, бывший начальник электролизного цеха Днепровского завода. В ленинградском ополчении во время блокады города-героя погиб талантливый экспериментатор Янов, бывший начальник лаборатории Днепровского завода, а затем работавший в научно-исследовательском институте.

Недосчитывалось многих товарищей, героически погибших на фронтах войны.

Вспоминали о трудностях пуска первых агрегатов алюминиевого комбината и о казавшихся непреодолимыми препятствиях, которые вставали при освоении нового производства.

Вспомнили и авторов способа производства глинозема — Кузнецова и Жуковского.

Профессора Кузнецова оба видели в последний раз после войны, когда он приезжал в Москву для получения высокой правительственной награды. Тогда старый профессор по-прежнему посасывал трубку, бодрился и шутил, уверяя, что из всех лекарств, как и в былое время, признает только «жидкий хлеб», то есть пшеничную водку. Всю блокаду он прожил в Ленинграде, много работал, организовал производство взрывчатки для целей обороны...

— После той нашей встречи Александр Назарович вскоре умер. Овдовев, он как-то быстро стал хиреть, — сообщил Железнов со вздохом. — Настоящий он был ученый и настоящий человек. Помнишь, как мы за кипучий его нрав и вспыльчивый характер звали его не Назарыч, а «Нарзаныч»?

— А Жуковский заведует кафедрой в одном из кавказских вузов, — сказал Падалка. — Тоже готовит кадры для алюминиевой промышленности. Я с ним виделся в Москве. Он приезжал по делам своей кафедры. Такой же молодцеватый, подтянутый.

— А Павел Елизаров нынче директорствует в Красноярске.

Вспоминали еще многих товарищей. Вспоминали и об иностранных консультантах.

— С иностранной помощью покончено навсегда, — с удовлетворением проговорил Железнов. — Теперь многие ездят учиться к нам, на наши заводы.

— Теперь наших специалистов алюминщиков приглашают за границу консультировать проекты и строить заводы. Да, многое, брат, изменилось! — с гордостью произнес Падалка. — А в наших вузах теперь учится много зарубежной молодежи.

— На моем курсе тоже много иностранцев, — вступил в разговор Вилен, до этого внимательно слушавший беседу старших, — и поляки, и чехи, и венгры. Есть один албанец. А мой лучший товарищ — китаец Цзин Те-гуан. Он хорошо говорит по-русски. Мы с ним и к экзаменам вместе готовимся. Цзин все мне твердит, что советский народ — любимый старший брат китайского народа.

— Да, наши вузы, — заговорил Падалка, — стали теперь и для иностранцев кузницей инженерных и многих других кадров. Ведь в одном прошлом году только в нашем институте закончили аспирантуру и защитили диссертации и китайцы, и поляки, и корейцы, и болгары. И как успешно защитили! Помню защиту болгарина Петрова, на которой я выступал официальным оппонентом. Ведь это был уже настоящий молодой ученый!

— А помнишь, Саша, как ты сам учился производству алюминия на французском заводе? — шутливо подмигнул Падалка. — Помнишь, как остался недоволен французской кухней и выступил как дипломат перед директором завода Сабуро?

— Кто старое помянет, тому глаз вон! — отмахнулся Железнов.

Но все же они вспоминали это «старое» с большой задушевностью и волнением.

Потому, что это была их молодость.

Потому, что на это ушли их лучшие годы.

Потому, что в этом была подлинная романтика великих пятилетий...







ПРАЗДНИК НА УЛИЦЕ

I

Николаю Варенцову надо было сообщить родителям два важных решения: первое — об оставлении университета и поступлении в военное училище, второе — о женитьбе на горничной Варе.

Николай не сомневался, что об его отношениях с Варей мать давно догадывается, и ему бессознательно хотелось, чтобы она первая заговорила об этом.

Но Зинаида Васильевна не считала себя вправе вмешиваться в интимную жизнь сына. Уж так было сыздавна заведено в семье: полная свобода личности.

Недаром же сам Варенцов в молодости сидел в тюрьме за принадлежность к партии, «поставившей себе целью ниспровержение» и прочее, а Зинаида Васильевна, в свое время большая модница, привозила из-за границы вместе с ворохом кружев, тонкого белья и модных платьев пакеты с «Искрой» и брошюрами, напечатанными тоже на папиросной бумаге и тоже имевшими в правом верхнем углу неперемнную строку: «Пролетарии всех стран, соединитесь!»

Правда, после революции пятого года, когда во время аграрного движения наряду с другими усадьбами было разорено и имение Варенцовых, в убеждениях Зинаиды Васильевны произошла некоторая перемена. Но все же в основе личных отношений лежал тот же принцип полной независимости и свободы.

После долгих колебаний Николай наконец сначала объявил о первом решении. Не потому, чтобы считал его более серьезным, а потому, что ему легче было начать с него.

— Из ваших же рассказов о революции пятого года, — говорил Николай, шагая по кабинету отца, — и из книг мне стало ясно, что до тех пор, покуда армия будет против народа, — революция не будет победоносной. Напрасно наша идейная молодежь всегда чуждалась офицерской среды. Ведь не надо забывать, что солдат прежде всего покорен своему начальству, и если офицерский состав пополнится революционно настроенной молодежью, то каждый распропагандированный офицер для дела революции будет ценней целой роты солдат, потому что рота повернет ружья в ту сторону, куда ей прикажет офицер...

— А если будет война? — спросила Зинаида Васильевна.

Николай пожал плечами.

А Алексей Павлович снял очки, осторожно вложил их в футляр и, подойдя к сыну, положил руку к нему на плечо:

— Ты знаешь наши правила: прежде всего — свобода. Только очень трудно представить, что сын Варенцовых — и вдруг... эполеты, шпоры и вот этакий...

Он выпятил грудь и козырем прошелся по комнате.

Николай строго взглянул на отца:

— Декабристы, по крайней мере большинство из них, тоже были со шпорами и эполетами. — И, помолчав, добавил: — И еще мне надо сказать вам...

Он заметил, как отец и мать торопливо переглянулись, и остановился.

— Впрочем, закончим сначала этот вопрос, а о другом завтра.

— Как хочешь, — с облегченным вздохом сказала Зинаида Васильевна.

В этот вечер она долго не могла заснуть, и старая Григорьевна несколько раз наливала в грелку кипятку и,

обмотав ее полотенцем, клала Зинаиде Васильевне на голову. Это было старое средство, практикуемое в семье Варенцовых против головной боли.

Со следующего дня начались приготовления к отъезду Николая в Петербург.

Зинаида Васильевна видела, что Николай вопросительно заглядывает ей в лицо, в особенности после того, как заметил, что она оставалась некоторое время наедине с Варей.

Зинаида Васильевна понимала его молчаливую просьбу, но каждый раз, как только она окликала Варю, та пугливо вздрагивала, бледнела так, что даже губы ее, обычно пунцовые, блекли, и торопливо уходила из комнаты.

Накануне отъезда, вечером, когда Алексей Павлович был на каком-то заседании, Варя пошла к Зинаиде Васильевне и молча остановилась у порога. Зинаида Васильевна слышала ее глубокое и прерывистое дыхание и насторожилась.

— Ты что? — после некоторого молчания спросила она.

— Николай Алексеевич кличут вас, — с трудом проговорила Варя и вдруг всхлипнула.

Зинаида Васильевна взяла ее за подбородок и повернула лицом к свету. На Вариных ресницах, густых и круто загнутых кверху, на миг задержалось несколько слезинок. Потом они быстро скатились по вспыхнувшим щекам.

— Ну, чего же плакать, — тихо сказала Зинаида Васильевна.

— Как не плакать, — на миг блеснув влажной синевою глаз, прошептала Варя и, закрывшись передником, вышла из комнаты.

— Ты прости, что я тебя позвал к себе, здесь как-то удобней, — встретил Зинаиду Васильевну Николай.

Зинаида Васильевна села на диван. Что-то розовое с белым лежало рядом. Взяла в руки: Варин платок вязаный. Подняла глаза на сына и встретила с его взглядом.

— Ты, вероятно, догадываешься, мама...

— Догадываюсь, Коля.

— Ну, и что же?

— Жду, чтобы ты сказал.

Николай отвел взгляд, взял лежащий на столе портсигар, достал папиросу, но не закурил, а только помял в пальцах. Откашлялся и вдруг сердито проговорил:

— Особенно распространяться нечего. Обстоятельства сложились так, что я должен жениться на Варе...

Зинаида Васильевна плотней сжала губы, но ничего не сказала.

— Я не считаю Варю менее достойной быть моей женой, чем какую-нибудь другую девушку. И если вы с отцом истинные демократы, а не лицемеры, вы не должны противиться этому браку.

Зинаида Васильевна глубоко вздохнула.

— Мы не лицемеры и были и есть демократы, — внешне спокойно заговорила она, — мы вполне последовательны в своих убеждениях. Хотелось бы ту же последовательность видеть в твоих поступках.

И тем же спокойным тоном стала доказывать, что то положение, в котором находится сейчас Варя, несколько не улучшится, если он перед отъездом в Петербург обвенчается с нею. Сам он, как атеист, не может придавать значения церковному обряду, а если Варя еще живет этими предрассудками, то ему следовало бы постараться убедить ее в том, что вмешательство священника не нужно для счастья двух людей.

— Задача интеллигента не в том, чтобы приспособляться ко всякого рода предрассудкам, а в том, чтобы поднять отсталых до уровня собственного развития, — говорила Зинаида Васильевна. — Если мы с твоим отцом когда-то проделали эту комедию с попами и дьяконами, то только потому, что моя мать прямо заявила, что ей легче будет увидеть меня в гробу, чем гражданской женой Алексея, — закончила она свою речь.

Николай сердито шагал по комнате.

— Скажи, пожалуйста, — после долгой паузы вновь заговорила Зинаида Васильевна, — почему Варя так часто плачет последнее время. Ты ей говорил, что собираешься жениться на ней?

— Говорил, но она как будто и слышать об этом не хочет...

— Что же, ты насильно хочешь жениться? — с насмешкой спросила Зинаида Васильевна. — Ну, если так, то надо вытребовать от ее отца ее метрики, без них венчать не будут. Воображаю, что натворит старик, когда узнает

историю с дочкой. Я не сомневаюсь, что он немедленно увезет ее в деревню.

Николай присел на диван, похлопал себя по карманам, отыскивая спички. В одном оказалась коробка, но пустая.

— Извини, мама, очень хочется курить.— И быстро поднявшись, распахнул дверь.

— Ах,— отшатываясь в сторону, вскрикнула стоявшая за нею Варя.

— Ты что здесь?

Варя отвернулась. Николай оглядел ее с ног до головы и медленно проговорил:

— Принеси, пожалуйста, спички.

— Ты не ушиб ее? — спросила Зинаида Васильевна.

— Кажется, нет,— смущенно ответил Николай.

Оба помолчали. Вместо Вари вошла Григорьевна с коробкой спичек. Зинаида Васильевна велела позвать Варю. Николай вопросительно посмотрел на мать.

— А вот увидишь,— ответила Зинаида Васильевна.

Снова вошла Григорьевна:

— Не хочет идти, забилась в подушку, ревет. «Ни в жисть, говорит, не пойду...»

Зинаида Васильевна долго сидела в комнате сына. Она не старалась больше убедить его в том, что ему незачем жениться на Варе. Только просила его не делать этого теперь, второпях.

«Если он действительно питает к Варе...» — подумала она.

Но Николай перебил ее:

— Это надо будет сделать поскорей... Я вернусь через месяц и к этому времени ты все приготовь, чтобы можно было совершить эту процедуру.

— Все-таки я должна поговорить с Варей,— уходя, сказала Зинаида Васильевна.

И на другой день заперлась с Варей у себя в комнате. С первых же слов Варя расплакалась.

— Любишь ты Николая или это так у вас вышло?

— Я и сама в толк не возьму. Поперва, конечно, очень даже любила, и они меня страсть как жалели... а вот теперь... за горем ничего не разберу.

— Ну, а чтобы он женился на тебе, ты хочешь?

Опять Варя вытерла мокрое от слез лицо, и опять с ее припухших губ слетели трепетные, беспомощные слова:

— Сама в толк не возьму, чего теперь делать. Вам-то с Николаем Алексеевичем видней. А только, кабы знала, что так-то выйдет...

— Кабы знала,— сердито повторила Зинаида Васильевна,— а то ты в институте воспитывалась, думала, что детей аист приносит,— но сейчас же спохватилась. Вспомнила, что дала Николаю слово быть с Варей помягче. Да и для того, чтобы устроить все так, как хотелось самой Зинаиде Васильевне, надо было держаться совсем другого тона.

Она подошла к Варе, погладила по голове и строго-ласково велела перестать плакать. Потом заговорила о том, как они все хорошо устроят в будущем, чтобы в деревне не узнали как-нибудь.

— Упаси бог! — вырвалось у Вари.

Со временем может все устроиться так, что Николай жепится на Вару. А пока его не будет, надо, чтобы Варя хорошенько подучилась грамоте, почитала побольше книг...

Варя слушала, как ребенок, медленно перемигивая еще мокрыми от слез ресницами, и прерывисто вздыхала. Но когда Зинаида Васильевна, потрепав ее за разгоревшуюся щеку, сказала: «Вот выпроводим Коленьку, станем распашоночки шить, косыночки», — Варя снова закрыла лицо передником и горько заплакала:

— Ох, головушка моя горькая, стыдобушка-то какая...

Очень скоро после отъезда Николая Варя перестала посещать воскресную школу: боялась, что заметят ее положение. Но Зинаида Васильевна продолжала заниматься с ней, и уже к пасхе в письме Зинаиды Васильевны к Николаю Варя приписала:

«Шлю поклон и Христос воскрес. Известная Варя».

Николай задержался в Петербурге, но прислал Вару несколько хорошеньких открыток и просил не скучать. Что он писал матери, Варя не знала. Она только видела, что Зинаида Васильевна, читая письмо сына, морщила лоб и подымала брови, а потом подходила к Вару и ласково спрашивала:

— Не скучаешь? Вот и умница...

Не видела она больше Вариних слез, потому что только по ночам плакала Варя. Днем много работы было, и все на людях. Стояли весенние дни, розовые и прозрачные.

Просыпалась земля, и ее дыхание белым паром дрожало и вилось под горячими солнечными лучами. Варя с Зинаидой Васильевной по целым дням возилась в саду. Вскопали и разрыхлили землю у розовых кустов, и скоро на их блестящих, коричневых прутиках набухли серо-зеленые клейкие почки.

Любила Варя работу в саду. От земли, от прелых прошлогодних листьев, от пробившейся свежей травки тянуло родным запахом деревни. А если встать затемно, когда город еще спит, да выйти за ворота, то и тишина такая стоит, будто вот-вот хлыстнет пастуший кнут, замычат ответно коровы. Заскрипят ворота, и бабы, еще сонные, шлепнут по выпуклому боку коровенку: «Иди, мол, — что задумалась», — а сами поспешат в избу, может, хоть столечко вздремнуть придется: на утренней заре страсть какая дрема сладкая бывает.

И петухи перекликаются голосистые. И всякий свой черед соблюдает. И так потянет Варю в деревню. Зимой куда меньше тосковала. В комнатах тепло было, чисто да уютно. Ну и Николай Алексеевич со своей лаской да с шуткой. А по весне такая тоска охватила. Одинокая весна. Без песен, без шумных гулянок, без веселых свадеб на красной горке. В первый раз за всю восемнадцатилетнюю Варину жизнь такая весна. Не знать бы ее вовсе. И ведь не пускал отец в город. Да вот уговорила на свою голову. Рвалась на шубу, на шали да на полушалки заработать, чтоб не хуже других замуж идти. Отпустил на годок. «Без тебя справимся, а голову завязать еще успеем». И уехала... Да разве думала, что так обернется.

Уговаривает Зинаида Васильевна, а страх все-таки сжимает Варино сердце: «Как будет? Что будет?..»

И подолгу сидела она на зорях на ступеньках крыльца и плакала неудержимо, тихо произнося вслух свои горькие думы.

В июне тяжело заболел Алексей Павлович. Все ему дышать нечем было, и ноги отекли, так что туфли в подъеме разрезать пришлось, а все-таки ни одна пара не належала. Сняли недалеко от города в сосновом лесу небольшую дачку и переехали туда. Вскоре приехал Николай.

Варя все пряталась от него: стеснялась, уж больно заметно стало. Шарфом не прикроешь.

О чем горячо говорил с родителями Николай у кровати отца, Варя не слышала. Она хоть и стояла под окном

спальни, но не то сердце так громко стучало, не то чирикание какой-то пестренькой птички мешало ей разобрать смысл произносимых по ту сторону окна слов. Несколько раз уловила она свое имя, сказанное сначала Николаем, потом Зинаидой Васильевной. Потом тихо, совсем тихо говорил Алексей Павлович, и как будто бы донеслось всхлипывание Зинаиды Васильевны. И опять о чем-то долго и убедительно говорил Николай, а мать с отцом молчали.

Поздно вечером, когда Варя сидела на срубленном дереве поодаль от веранды, к ней подошел Николай.

— Ты точно избегаешь меня, Варюша,— ласково сказал он, приподымая ее подбородок.

— Чего же мне бегать от вас,— сказала Варя и, немного наклонившись, старалась отколушнуть кусочек коры от дерева, на котором сидела.

— А почему же не хочешь на меня смотреть? — Он сел рядом и тихо привлек ее к себе.

Варя улыбнулась:

— Чего же глядеть, коли все равно ничего не видеть, темь-то какая...

— Ну, если ничего не видеть, поцелуй меня.— Николай крепко обнял ее и несколько раз поцеловал в полуоткрытые губы.

— Не сердись на меня, Варюша,— кладя голову к ней на колени, с лаской говорил он.

— Я не обижаюсь,— тихо ответила Варя,— разве думали, что так-то выйдет...

— Бедная ты моя,— глядя ее руку, задумчиво произнес Николай.

— А вот что жалеете меня, так это хорошо,— вздохнула Варя и вдруг приподняла его за плечи.

Он видел, как блеснули в темноте ее глаза.

— Ну, а как же дальше-то, Николай Алексеевич, ведь он-то живой уж...— И обеими руками закрыла свое горячее лицо.

— Об этом мы сегодня говорили у паны. Ты не беспокойся, все будет хорошо. Как только тебе можно будет... ты понимаешь, о чем я говорю...

Варя молча кивнула головой.

— Ты поедешь домой, возьмешь свои документы и вернешься к нам...

— Да нешто папаша пустит меня сызнова в город, — остановила его Варя.

— Это мамин план. Я же думаю иначе. Сейчас я приехал на несколько дней. Сделать ничего не удастся, к тому же папа серьезно болен... Но я очень скоро вернусь. И сам возьмусь за хлопоты. Мы непременно обвенчаемся. Что бы там ни было дальше, но я считаю своим нравственным долгом прежде всего сделать это. Слышишь, Варя? — И, помолчав, чуть слышно прибавил: — Лишь бы только гроза миновала...

Но гроза не миновала.

В душевные июльские дни сорвалось и вихрем пронеслось по стране жуткое слово:

«Война...»

И полились женские слезы. Тучи грозовые не щедрей роняют капли дождя. Росы холодные не влажней опадают на зорях. Полились они из выпцветших глаз старух. Гасили любовное мерцание и в темном бархате, и в светлой эмали молодых глаз. И Варя плакала. Уж свое горе стало родное, а когда слышала движение младенца, радостью щемило сердце.

Война — горе чужое, бескрайнее. Что в нем Варинны слезинки? Они легки, как пыльцы цветочные. А по земле свинцовый град полосами пошел...

Плакала Зинаида Васильевна. С первым эшелонам отправили Николая на фронт. Зинаида Васильевна ездила к нему в Петербург проститься — едва захватила. Сказала, что отец плох. Николай еще больше нахмурился.

На прощанье крепко прижался к ее груди и сказал вздрагивающим голосом:

— Смотри же, мама, не оставляйте Варю, а после и ребенка...

Тяжелая была осень. Всегда-то она ноет, а в этом году — глаза бы не глядели, так рано потускнело все и скрючилось. И уши не слушали бы тоскливых завываний ветра да прерывистых всхлипываний дождя. После покрова вставили двойные рамы и стали топить печи. От тепла стекла делались матовыми, и слезинки, скатываясь по ним, оставляли прозрачные дорожки.

В столовой под шагами половицы гнулись, и от этого вздрагивала в буфете полка, и на ней жалобно дребезжали

какие-то рюмки. А по ночам было слышно, как мебель трещит...

— Не к добру это,— покачивала головой Григорьевна.

К тому же она сны нехорошие видела, и оба раза под постные дни: зуб будто у нее выпал с кровью, да в кухне будто пол крашенный взрыт, словно бороной вспахали, и земля такая под ним жирная — сущий чернозем.

А после случилась главная и вернейшая примета: в курятнике всего только три курицы осталось — всех прочих и петуха первого на бульоны Алексею Павловичу перерезали. А между тем не только Григорьевна, но и Варя слышала на заре петушиное пение в курятнике.

— Ну, а уж если курица петухом запоет, то уж это верней верного — к покойнику.

Утром решила прямо сказать Зинаиде Васильевне:

— Хоть и не очень-то богомольны Алексей Павлович, а все бы лучше по-хорошему: за батюшкой послать.

Зинаида Васильевна крепче натянула платок на плечи и испуганно взглянула на старуху:

— Почему ты думаешь, что скоро?

— Уж знаю, восьмой десяток дотягиваю, а это уж такая примета...

— Глупости,— робко сказала Зинаида Васильевна и часто заморгала красными веками.

Они у нее теперь почти всегда были красные.

В николин день, когда в прежние годы к обеду подавали именинный пирог с вензелями из букв «Н», «А», и «В», Григорьевна испекла два пирога: один отсутствующему имениннику, другой за упокой души его отца,— поминальный пирог.

Был девятый день после кончины Алексея Павловича. Мрачны и медлительны сборы, сопровождающие отбытие человека из жизни. Шорохи. Стоны. Рыдания. Но шумлив и смел и безудержно властен приход в мир нового человека. Не успела еще Зинаида Васильевна прийти в себя от горьких слез и забот, связанных с погребением Алексея Павловича, как начались новые хлопоты: поспешные и шумные. Ожили унылые комнаты. Засуетились в них женщины. Передвигали мебель, открывали ящики комодов и доставали из них мягкое, чисто вымытое белье. Зашумел давно не бывший в употреблении ведерный самовар. Загромыхала в старых руках Григорьевны эмалированная

ванночка, и женщина в белом халате, протягивая Зинаиде Васильевне маленький шевелящийся комочек сказала:

— А ну-ка, бабушка, подержите внука...

Скорбно сжатые губы Зинаиды Васильевны разомкнулись в улыбке...

И стал живой комочек огоньком, к которому прильнули три продрогшие женские души.

Старая Григорьевна ворчала на Зинаиду Васильевну за то, что она велела Варе кормить Жоржика по часам. Ворчала и на Варю, когда видела на ее густых ресницах алмазные гирляндки слез:

— Нечего реветь-то, отревела свое, и будя. Дождешься, что молоко в голову кинется... Так-то и уморить младенца недолго. Он у нас и так кволенький вон какой...

Варя послушно смахивала слезинки:

— Да я ничего, бабушка, я теперь всем довольная, а что слезы — так кто их знает, чего иной раз сами так и брызжут.

И заботливо всматривалась в ребенка. Лицо ее прояснилось:

— Где же он кволенький, бабушка? Погляди-ка, весь в ямочках да в складочках. Жирком весь залился, ровно...

— А ты не хвали,— строго обрывала Григорьевна,— не ахай, сглазить-то недолго...

А если почему-либо мальчик плакал и Варя боялась дать ему грудь, потому что «часы не вышли», Григорьевна вступала в пререкания с Зинаидой Васильевной, не прямо, а таким образом:

— Поддай сюда младенца,— строго приказывала она Варе и начинала ходить с ним по комнате, приговаривая: — Мамашка у тебя, миленочек, дурка, несмышлениш сама, а бабушка мудрует больно, на весах тебя вешает, по книжкам кормит.

Зинаида Васильевна сначала отмалчивалась. Конечно, пришлось прибегнуть к книжкам: ведь с Николаем двадцать четыре года тому назад возилась, забыла ведь уж что и как. Без системы никак нельзя.

Но Григорьевна не унималась:

— У меня их восемь душ было, а ни одного не взвешивала да не вымеривала. А чтобы по часам кормить, да у нас в ту пору на всю деревню только у попа да в волостном правлении часы были. Этак бы всем бабам только

и дела было, что к часам бегать... Выдумают же, господи прости. Восемь душ было, да какие ребятки...

— Было, да все умерли,— останавливала расходившуюся старуху Зинаида Васильевна,— а отчего?

— Да уж не от часов от ваших. Кабы не умерующие были, не померли б. Понадобились богу, вот и прибрал к себе...

И баюкала ребенка, прижимая его к высохшей груди.

И вздрагивало там, у дряхлого сердца, что-то давно забытое, острое и горячее до слез.

Зимние дни — как взмахи крыльев быстро летящих птиц. Позднее утро, ранние сумерки. И опять ночь, долгая зимняя ночь. Но теперь ночи не так томительны для Зинаиды Васильевны. По-прежнему много думает она об умершем муже, о далеком сыне, от которого вот уже около трех месяцев нет вестей. Но теперь Зинаида Васильевна не вся во власти этих дум. Раздастся вдруг среди ночи требовательный плач Жоржика, или, проснувшись, зачмокает он благодушно губками,— она уже бежит к нему, развернет белые простынки, возьмет на руки и целует в круглую головку и пальчики — розовые горошинки. Не доверяет Варя — всегда ночью раза два сама подойдет. И мысли о ребенке, как теплый ветерок, разгоняют мрачные думы, осушают едкие слезы одиночества...

«Никогда бы я не поверила, что так горячо смогу привязаться к этому ребенку,— писала она Николаю,— он точно прикрепил меня к жизни, и я больше не чувствую себя в ней футляром, из которого вынули и давно потеряли то ценное, что в нем раньше хранилось...»

К этому письму Варя приписала крупными, одна от другой далеко стоящими буквами: «Сынок наш Егорushка такой радостный да сдобненький. Вот бы приехали поглядеть».

И опять подписалась: «Известная Варя».

И вдруг совсем скоро получили по телеграфу ответ:

«Приеду после Нового года. Писал. Здоров. Николай».

И стали ждать радости.

Счастье редко бывает неожиданным, случайным. О нем мечтают долгими годами, его отвоевывают всяческими средствами, к нему стремятся различными путями. А вот

горе... Горе крадется неслышными шагами по невидимой тропинке, надвинется черной тучей и застелет свет...

Синим вечером, на святках, звякнул на кухне звонок.

Григорьевна приотворила дверь, но цепочки не сбросила. Кинулись в глаза сосульки на длинной бороде и седых усах и иней на барашковой шапке. А из-под шапки глянули острые стариковские глаза.

— Кого тебе? — спросила Григорьевна.

Шевельнулась борода:

— Варвара тут в услужении находится?

Григорьевна метнулась от двери, потом опять к порогу:

— Тебе зачем ее?

— Отец я ейный,пусти, что ли...

— Господи... постой маленечко...

Опрометью вбежала к Зинаиде Васильевне. И Варя тут же была с ребенком.

— Положь мальчонку,— шепотом приказала ей Григорьевна,— не обронила бы со страху...

Как коршун падает камнем на беззаботно купающуюся в золотом ржаном поле перепелку, так упала на Варю страшная весть.

Она побледнела до синевы, постояла мгновение неподвижно, потом схватила за руки Зинаиду Васильевну и, до боли сжимая их, быстро заговорила:

— Не погубите, милые, дорогие... Царица небесная, что же теперь будет... Убьет он нас и младенца погубит...— И упала на колени.

Зинаида Васильевна хотела поднять ее и не могла. У самой ноги дрожали... Опустилась на стул и потеряла лицо руками.

Снова звякнул на кухне звонок.

— Ой,— схватилась Варя за грудь и зарыдала, уткнувшись лицом в колени Зинаиды Васильевны.

— Цыц, ты... — шикнула на нее Григорьевна.

Зинаида Васильевна встала.

— Надо все скрыть,— скороговоркой зашептала она,— слышишь, Варя, и ты, Григорьевна... Помни, если слово скажешь... И чтобы старика одного не выпускать, а то еще скажет кто-нибудь... А если ребенка услышит — моей невестки, скажем, а она сама на фронте — сестрой милосердия. А теперь открывайте скорей... А ты умой лицо, Варя, да возьми себя в руки...

— Дочка жива ли? — сбрасывая со своих широких плеч мешок, спросил старик. Потом снял шапку и перекрестился.

— Сейчас, сейчас выйдет, — испуганно глядя на его огромную фигуру, ответила Григорьевна.

Варя, как вошла, без слов упала отцу в ноги.

Он погладил ее по голове:

— Ну, чего слезы-то лить.

— Расстроилась, — сказала Григорьевна, — вишь, неожиданно-негаданно...

— Видно, письма-то Феклин зятек не передал? — спросил старик.

— Никакого письма не было, папаша, — отирая слезы, ответила Варя и, поднявшись, села на край лавки.

Старик пристально поглядел на нее.

— Вишь ты, как отощала в городе, — раздумчиво сказал он.

— Ничего, поздороваю, — вздохнула Варя, опуская глаза.

— В деревне живо отойдешь. Домой надо собираться, дочка.

Варя быстро повернулась к отцу. Он видел, как побелели ее щеки и дрожали губы, когда она переспросила:

— Домой? Неужто в деревню взять хочешь?..

Старик нахмурился:

— Ай не рада дому? За один-то годок отвыкнуть успела. Скоро, дочка, скоро... А ты дома надобна: братьев-то твоих обоих на войну забрали. Невестки вскорости к своим поуходили. «Чего, говорят, мы на тебя работать будем». Взял я себе тетку твою, вдовую, с ребятишками, чтоб подсобляла, да не справляемся. Хозяйство хоть не ахтительное, а все ж таки... А работники мы с ней никудышные. Я больно на ноги ослаб, а ее ребята чисто одолели. Ну, и надумали мы, чтоб, значит, зятка себе принять.

Варя всплеснула руками:

— Да я замуж ни в жисть не пойду...

Григорьевна подсела к столу:

— И то, куды ей замуж, — сказала она, — девка не то чтобы крепкая, а прямо-таки сублинная. Ей в городской работе легче бы, и хозяйка у нас хорошая. Жалованье опять немалое...

Старик провел концом шейного шарфа по оттаявшим бороде и усам:

— Нужна, говорю тебе... — И, помолчав, прибавил: — Завтра на зорьке, сказывали, поезд отходит. Хозяев по-видать бы надобно. Счесть, сколько там полагается...

Варя сорвалась с места:

— Сейчас кликну...

Вбежала к Зинаиде Васильевне, кинулась к ней и забила в беззвучных рыданиях.

Зинаида Васильевна отвела за плечи:

— Ну, что?..

— Домой берет!.. — И так крепко схватилась за грудь, что кофточка затрещала. — Замуж собирается отдавать... Расчет с вас требует...

— А о нем?.. — Зинаида Васильевна показала взглядом на ребенка.

— Молчит... А сказать — убьет...

Варя быстро подошла к ребенку, наклонилась над ним. Потом схватила с кровати подушку и уткнулась в нее лицом.

Зинаида Васильевна шагала по комнате, теребя концы своего пухового платка, и время от времени коротко взглядывала на Варю.

— Ты побудь возле Жоржика, — наконец сказала она, — а я пойду к старику, попробую как-нибудь уговорить его...

Варя, не подымая головы, махнула рукой.

В эту ночь в доме хорошо спал только один старик. В комнатах с полуночи шли приготовления к Вариному отъезду. Сама она не принимала в них участия. Положила ребенка к себе на колени и так просидела до утра, не сводя с него воспаленных глаз. Слез как будто больше не было. Они только остро щемили глаза, но не лились безудержно, как с вечера. И Жоржик спал беспокойно. Как ни осторожно прикасались к его тельцу Варины губы, все же они тревожили его, и он не раз капризно вскрикивал во сне. Григорьевна, громко охая, складывала в узел Варины платья, подушку и пестрое из косячков одеяло. Когда взяла в руки новые ботинки с надетыми на них калошами, спросила у Вари:

— Может, наденешь в дорогу? А то как бы не вытащили в вагоне. Народ-то аховый.

Варя только глазами повела в ответ.

Зинаида Васильевна подошла к ней с пачкой напечатанных конвертов:

— Вот здесь я адреса написала свои, так что тебе только письмо вложить и заклеить. И ты, пожалуйста, чаще пиши, Варюша...

— На что вам мои письма, — горько вздохнула Варя, — а только кабы мы венчанные были с Николаем Алексеевичем, папаша не смел бы взять меня вот как теперь. Кабы жале...

Зинаида Васильевна поднесла платок к глазам.

Под утро Григорьевна вошла в кухню. Там сильно пахло отсыревшей овчиной и махоркой. Синий дымок колебался в предраассветных сумерках. Старик со скрученной папиросой в губах сидел у окна и считал полученные накануне Варины деньги. Григорьевна положила перед ним два узла:

— Дочкино добро, — коротко сказала она.

За ней вышла Зинаида Васильевна, бледная, с заплаканными глазами.

— Зря берешь Варюшу... — И снова повторила те же доводы, что и вчера, да еще обещала увеличить Варе жалованье так, чтобы за эти деньги в деревне можно было нанять хорошего работника.

Старик слушал ее с тем же, как и накануне, непонятым выражением лица и время от времени прерывал загадочным:

— Так, так...

А когда она умолкла, он придвинулся к ней, обдавая крепким запахом, и вполголоса проговорил:

— Вчерась я сказывать не хотел, а я ее уж просватал. Парень, вишь, одним глазом не видит, ну на войну, значит, не пойдет. А работающий парень, смирный, да к тому же круглый сирота. В дом возьму работника, свой будет, а не то, что наемный; так-то... Не зря, вишь.

Еще раз Варя сделала отчаянную попытку уговорить отца. Она прижималась к его пахнущим потом валенкам, терлась лицом о полы полушубка и голосила, как по покойнике...

— Ты что же воешь, подлая,— вдруг весь краснея, двинулся к ней старик,— али впрямь что потеряла здесь... У нас и то парни брехали чтой-то. Сказывай напрямик... или порешила так, что, дескать, в таком разе я тебя в городе оставлю: гуляй, мол, погуливай. Да я тебя...

— Брось ты ее хаять,— остановила его Григорьевна,— что плачет девка, так ведь известно — в деревне какая жисть... работа чижолая...

— Идти надоть,— выпрямляясь, сказал старик.

Варя метнулась в комнаты. Закусила подушку, на которой спал ребенок. И замерла. Потом, отодвинувшись, стала быстро и коротко целовать все его тельце, прикрытое легким одеяльцем. Сквозь ее стиснутые зубы вырывались взвизгивания сухих рыданий.

Зинаида Васильевна плакала, отвернувшись к окну...

В дверь заглянула Григорьевна:

— Слышь, Варя, сердает старик...

Варя оторвалась от ребенка и, не отводя от него глаз, спиной двинулась к двери. Больно стукнувшись о косяк, вскрикнула и, закрыв лицо, выбежала к отцу.

Григорьевна торопливо застегнула на ней пальто и обмотала вокруг шеи длинный конец шали.

Старик внимательно оглядел новую одежду дочери.

— Ишь ты,— одобрительно сказал он.

Первые письма от Вари приходили часто, и все они были отрывисты, и почерк был такой дрожащий, что слова трудно было разобрать. И билась в них и трепетала тоска:

«Тошно мне здесь, без сынишки... А папаша гонит за муж за Василия, кривого на один глаз...»

Кланялась в каждом письме бабушке Григорьевне и сыну своему Егорию Николаевичу и подписывалась «Известная Варя».

К лету переписка вдруг оборвалась. На два письма Варя не ответила. Зинаида Васильевна обеспокоилась. Сняла Жоржика и послала Варе его карточку с осторожной надписью: «Вот какой мой внучек большой стал, ты бы его не узнала».

Недели через три пришел ответ. Варя сообщила, что уже с красной горки она замужем. За того же Василия кривого вышла, что отец сговорил.

«Во всем ему покаялась,— писала Варя,— он все согласился покрыть, только чтоб мир ни об чем не услышал. А на портрет сына как гляжу, из-за слез ничего не вижу. Да и глядеть-то на него по ночам лишь могу, когда спят все, а лампы-то в деревне не больно ясно горят, сами знаете...»

И снова длинный перерыв в переписке.

Вышло так, что Николай смог приехать к матери только в середине лета. Меньше года не видала его Зинаида Васильевна, а изменился он так, будто десять лет прошло с тех пор, как он уехал из дому. Ходит по-стариковски, сутулясь, точно все хочет голову поглубже в плечи втянуть. При улыбке, а она теперь больше у него на гримасу походила, в углах глаз распахивались веера морщинок, а под пожелтевшей кожей неприятно обозначались скулы.

Но не эта перемена в сыне так огорчила Зинаиду Васильевну. Мучило ее то, что Николай стал какой-то вялый и сухой, точно из него были выжаты все жизненные соки. Его ничего не интересовало: ни подробности о смерти отца, ни рождение сына, ни Варин отъезд. Только раз, прислушавшись к плачу ребенка, сказал:

— Нельзя было отпускать Варю...

Зинаида Васильевна обрадовалась тому, что он наконец первый заговорил, стала подробно рассказывать, как все произошло, но он на полуслове перебил ее:

— Что ж, может быть, так лучше...— И, надвинув на глаза фуражку, ушел из дому. Вернулся поздно вечером, посмотрел в печальное лицо матери и тихо сказал: — Ты не сердись, мама...

Зинаида Васильевна ласково взглянула на него:

— Что ты, милый...

Так же неожиданно, как приехал, Николай вдруг собрался уезжать.

— Ведь ты говорил, что месяц пробудешь? — с печальным недоумением спросила Зинаида Васильевна.

— Не могу...— коротко ответил Николай и в тот же день стал укладывать чемодан.

Перед вечером были на могиле отца. Зинаида Васильевна плакала, сидя на низенькой, еще не успевшей потемнеть струганой скамейке. А Николай стоял в стороне, хмурый и еще более бледный, чем обыкновенно.

Неожиданно быстро подошел к матери, взял ее под руку и отрывисто проговорил:

— Довольно. Пойдем, пожалуйста... И плакать больше не надо... Может быть, так лучше, для него...

Уже совсем одетый по-дорожному, взял ребенка на руки и поцеловал в полузакрытые глазки с такими же круто загнутыми ресницами, как у Вари.

— Что ж, может быть, это все к лучшему... — услышала Зинаида Васильевна от сына фразу, которую он проносил уже несколько раз, как бы в ответ на собственные думы.

II.

В конце февраля семнадцатого года пришел к Зинаиде Васильевне один из тех, кому она когда-то передавала «Искру» и брошюры с красными печатями. Долго пожимал ей руку и говорил, захлебываясь радостной спазмой:

— Революция грядет, понимаете, дожили-таки!

Потом схватил играющего Жоржика и стиснул в худых дрожащих руках. Жоржик уперся ему в грудь и сердито засопел.

— Ты, башибузук, свободным гражданином будешь, соображай это. Да не забывай тех, кто эту свободу тебе раздобыл. Это, брат, не шуточное дело было...

— А как же с войной? — спросила Зинаида Васильевна.

— Ого, теперь мы покажем, чего стоит наша революционная армия!..

В последующее за этим визитом время Жоржик очень обижался на бабушку. Не та стала бабушка, совсем не та... То, бывало, целыми днями сидела дома, рассказывала сказки, играла с ним, ходила гулять, а теперь все куда-то уходила, и к ней разные люди чужие приходили. Засядут в столовой вокруг стола, по которому Жоржик так любил пускать заводной паровоз, и разговаривают, разговаривают без конца. Раз как-то Жоржик прислушался было, о чем говорят, но было совсем неинтересно, и он, нахмурившись, отошел в сторону. Оторвал кусок обоев, полизал концом языка известку, которая обнажилась за ними, но вспомнил, что бабушка, давно знавшая об этой непозволительной его страсти, сидит тут близко, убежал в кухню к Григорьевне. Здесь он нашел полное сочувствие своему настроению.

— Скутился, голубенок, — беря его на руки, заговорила она, — где же им теперь об тебе думать. Всполошились все, точно ума решились. И на улицах, и в черед пойдешь, все галдят, галдят. И где они слов столько-то набирают?!

Иногда на кухне Жоржик заставлял молочницу. Она бывала закутана в теплую шаль с такой длинной бахромой, как на кистях кресел в гостиной, и Жоржик очень любил подергать за эту бахрому. За один кончик потянешь, а она вся зашевелится, как живая. На кухне жил старый, подслеповатый кот. Зинаида Васильевна строго запретила Григорьевне допускать кота в комнаты, потому что, дескать, у него в носу какая-то зараза находится. Григорьевна, конечно, скептически относилась к этому распоряжению, но кота в комнаты не допускала. Вероятно, поэтому так нежно ласкал его Жоржик, когда встречался с ним на кухне.

Только по вечерам, когда Жоржик уже лежал в кроватке, по-прежнему часто приходила к нему бабушка. Садилась в ноги и рассказывала сказки. Но уж не так, как раньше: подолгу да потихонечку. А так — рассказывает, рассказывает, да вдруг и замолчит. Задумается. И Жоржик задумается: смотрит на бабушку, не мигая. Потом попросит:

— Ну, бабушка, дальше...

Бабушка встрепнется:

— Сейчас, сыночек. — Очень она любила называть его сыночком. Начнет дальше рассказывать и совсем не про то, о чем начала.

Однажды утром, когда Жоржик еще доглядывал свой захватывающий сон, стараясь догнать бегущий по улице настоящий паровоз, у которого колеса были точь-в-точь такие, как у его собственного заводного, что-то защекотало его по лбу, потом передвинулось к щекам и перескочило на руки. Жоржик еще раз бросил жадный взгляд в сторону убегающего паровоза и открыл глаза.

— Он проснулся, мама, — сказал бабушке чужой мужчина и снова поцеловал Жоржика.

Бабушка плакала. И когда одевала Жоржику новый костюм, нечаянно капнула слезой на его бархатную курточку.

Жоржик укоризненно поглядел на нее, но ничего не сказал. Бабушка учила беречь новый костюмчик, но она же учила не делать старшим замечания...

— Это твой папа, Жоржик, — указала она на стоящего возле офицера.

— А зачем он разбудил меня? — зевнул Жоржик и вдруг упрекнул отца: — Если бы не разбудил ты меня, я бы его схватил...

— Кого, милый мальчонка?

— Да паровоз, — уже смущенно ответил Жоржик...

А они, конечно, начали смеяться над ним...

Впрочем, в этот день было много радости у Жоржика. Папа, тот самый, которого раньше бабушка показывала на маленьком кусочке картона, привез Жоржику плюшевого зайца и кубики, и если бы он так часто не брал Жоржика на руки и тем самым не мешал ему играть с новыми игрушками, Жоржику он понравился бы. Но папа, очевидно, догадался, что думал Жоржик, и уже на другой день больше смотрел на него, чем трогал, и о чем-то непонятном все разговаривал с бабушкой.

— У Жоржика Варины глаза, — вдруг услышал Жоржик отцовскую фразу. Его это очень удивило. Не вылезая из-под стула, где он привязывал веревочкой зайца, Жоржик потрогал пальцами свои глазки и громко сказал:

— Нет, у меня свои глаза.

Отец поднял его с полу и заглянул в лицо.

— Мальчонка мой милый, — сказал он, — и какой большой!

Несколько шумных дней пролетели быстро. Опять бабушка утром ходила молчаливая и не отвечала Жоржику на его вопросы. Папы тоже не видно было.

Григорьевна принесла Жоржику кашу.

— Поешь, миленок, а то про тебя небось забыли в горестях...

Жоржик ничего не понял.

— Папаша уезжает твой, опять сиротиночкой остаешься...

Когда Жоржик пришел к бабушке и сказал ей вежливо: «Бон жур», — Зинаида Васильевна рассеянно поцеловала его и опять заговорила с сыном:

— Что же, значит, опять на фронт?

— Какой там фронт, — сердито отмахнулся Николай, — а ехать все же надо...

И уехал.

Хотел найти свой недавно оставленный полк и не мог. Неслась ему навстречу река серых шинелей. Неслась, разбившись на бурливые ручьи, сокрушая и унося с собой все, что задерживало ее неукротимое стремление. То здесь, то там показывалась на гребнях ее волн кровавая, алая пена...

Совсем по-новому жила в те годы Зинаида Васильевна. Как-то неожиданно подошла нужда. С имения, заложенного еще с пятого года, никаких доходов давно не было. Но раньше жили с арендной платы небольшого дома, сдававшегося под аптеку. После революции аптека была национализирована, дом реквизирован, имение ликвидировано, две комнаты в том доме, где жила Зинаида Васильевна, тоже реквизированы, мебель, которая в них находилась, была прикреплена и отдана в пользование поселившимся в ней, так что продать ее было невозможно.

Сначала Зинаида Васильевна, по примеру своих знакомых, «загоняла» вещи, то есть собирала наименее нужные платья свои и мужа, драпри, скатерти, «парадный» сервиз, кружева и тому подобное и посылала Григорьевну на рынок продавать их или менять на продукты. Но запасы таких лишних вещей довольно скоро были прожиты. И Зинаида Васильевна стала искать службу. Очень ей мешало полное отсутствие стажа и социальное положение в прошлом. И хотя во всех анкетах в графе о средствах к существованию она неизменно писала «домашняя учительница», все-таки и на бирже труда она попадала в ту категорию, которая по хлебным карточкам получала то две селедки и коробку спичек, то те же селедки и пакетик синьки для белья...

И вдруг ей повезло. Каким-то образом председателю местного исполкома стало известно, что Зинаида Васильевна нуждается и что она хорошо знает иностранные языки. Он явился к ней как-то утром, перепугал ее своим посещением так, что она несколько минут не могла перевести дыхание, и предложил:

— Научите меня немецкому или французскому языку. Давно хотел этим делом заняться, да все не выходило как-то. А вознаграждение будет натуральное, не обижу.

Зинаида Васильевна глядела в молодое, обветренное лицо, по которому скользила так не идущая к нему тень

смущения, и не знала, что сказать. Мелькнула испуганная мысль о том, что все это только хитрость какая-то, желание что-то выследить. Ведь все знали, что у нее сын офицер.

И ответила неопределенно:

— Не знаю, выйдет ли у нас что-нибудь.

— Выйдет,— уверенно тряхнул головой председатель исполкома и, молодецки заломив фуражку, ушел, осведомившись, когда можно будет начать.

Немного осталось у Зинаиды Васильевны знакомых, но все они советовали ей быть начеку. Но ученик ее так старательно произносил за ней трудные звуки чужого языка, так добросовестно готовил задаваемые уроки и так огорчался тому, что никак не мог произнести правильно носовых звуков, что Зинаида Васильевна наконец поверила в искренность его намерений.

А когда в конце месяца он принес ей натуральное вознаграждение — два фунта сахару, семь фунтов крупы перловой, бутылку подсолнечного масла и порядочный кусок свинины, Зинаида Васильевна была растрогана до слез.

Главное — обрадовал сахар. Без сахару она и Григорьевна давно обходились, но Жоржик без него решительно отказывался и от каши и от чая. А то даже требовал, чтобы ему хлеб сахаром посыпали. И вряд ли не самые тяжелые минуты переживала Зинаида Васильевна, когда ей приходилось отказывать в чем-нибудь Жоржику.

И покуда питался Жоржик лучше многих своих, современников. Та самая молочница, что и прежде, носила ему густое, сладкое молоко. Правда, денег она не получала, а время от времени уносила под своей длинной шалью что-либо из имущества Зинаиды Васильевны.

Зинаида Васильевна обыкновенно приглашала ее в свои комнаты и предлагала самой выбрать, что ей хотелось бы приобрести взамен молока. Молочница умышленно равнодушным взором окидывала значительно опустевшие комнаты и как бы нехотя брала в руки какую-нибудь вещь. После нескольких критических замечаний вещь оставалась за ней, и только если Григорьевна находилась здесь, сделка затягивалась.

— За энтакий поднос да чтобы не дать пяти бутылок, да это, милая, совесть, значит, вовсе потерять,— сердито говорила она молочнице.

Молочница спокойно откладывала поднос в сторону.

— А он мне и вовсе не нужен, без его сколько лет жили и еще проживем...

— Не нужен, не бери,— горячилась Григорьевна,— а так, что же зря языком трепать.

Но испуганно вмешивалась Зинаида Васильевна, и отобранная молочницей вещь попадала под ее длинную шаль.

Однажды за уроком председатель исполкома спросил Зинаиду Васильевну, указав на Жоржика:

— Сиротка?

Зинаида Васильевна вспыхнула.

— Не знаю, вот уже скоро два года ни от отца, ни от матери вестей нет...

— В армии был сын ваш, слышал.

— Да...— И вдруг заплакала.

Ученик потербил подстриженные усы.

— Затерялся скорей всего. Ужасно как теперь много народа будто лунатики по России носятся туда-сюда. А матерям, конечно, трудно это переносить...

И стал собирать учебники, торопясь уйти.

Зинаида Васильевна не сказала ему, что за два года однажды получила она весточку от сына. Это было тогда, когда вновь собралась армия, Красная Армия, и вновь воевала, но уже не с Германией, а с интервентами. При-
слал ей Николай письмо из нескольких коротких фраз:

«Жив. Не горюй. Уверен, что скоро увидимся. Узнай о Варе. Береги мальчика».

Зинаида Васильевна без конца читала и перечитывала это такое дорогое для нее письмо и как-то даже не удержалась и рассказала о нем Жоржику.

— От твоего папы, понимаешь?

— Ну да, понимаю,— ответил Жоржик. Потом попросил: — Покажи папу, где палеты на плечах нарисованы...

Зинаида Васильевна зашикала на него. В соседней реквизированной комнате жил кто-то совсем неизвестный.

— Завтра найду, сыночек, а сейчас спать надо.

— Ну, дай сахару.

Зинаида Васильевна поскребла присохший ко дну сахарницы песок и протянула Жоржику.

— Не рассчитали мы с сахаром, дружок. Ну, да ничего, после первого будут по шестому талону мед выдавать.

Жоржик вздохнул, но послушно стал раздеваться. Только потребовал, чтобы бабушка позволила положить с собой очень изменившегося за последнее время зайца. У него только глаза из бусинок остались такие же блестящие и выпуклые, а шерстка давно из серой стала бурокоричневой.

В тот вечер думы Зинаиды Васильевны были особенно печальны. Она смотрела на спящего мальчика, и минутами ей начинало казаться, что это спит ее маленький Коля, а она сама еще молодая, полная жизни, и что все, что она пережила, было только тяжелым сном. Но тоскливо сжималось сердце, она вздрагивала и на место сладкой дремы с новой болью ощущала тяжелую действительность. Больше всего угнетала мысль о будущем Жоржика.

Николай где-то там, далеко, захваченный новой борьбой, живет своей жизнью, своими интересами. Помнит о сыне, но не живет им, как Зинаида Васильевна.

Варя... Вот уже скоро два года, как от нее было последнее письмо. Писала, что живет с мужем хорошо, что ожидает ребенка, но в конце письма после обычных поклонов всем, и в том числе сыну Егорушке, прибавляла, что «по Егорушке у меня все сердчишко изболелось...».

И после этого письма ни звука. И Зинаида Васильевна перестала писать. Не знала даже, винить ли Варю за отсутствие писем, потому что в те годы плохо работала почта. Даже между Москвой и Петербургом письма посылались «с оказией», а Варя жила в такой глухой деревне, куда и в мирное время письма не всегда доходили.

«Да и что бы могла дать Жоржику Варя,— думала Зинаида Васильевна,— если бы она вдруг вернулась в город».

Разве она могла бы хоть отчасти осуществить тот обширный план воспитания, который был задуман Зинаидой Васильевной?

И опять ясно сознавала Зинаида Васильевна, что привязана к Жоржику нежней, чем к Николаю, когда тот был маленьким.

«Молодая тогда была, что ли,— думала она,— были другие интересы, острая жажда жизни, а теперь — все в нем, в этом раскрасневшемся во сне мальчике, который

с каждым месяцем начинает все больше и больше походить на Николая. Только глаза с круто загнутыми вверх ресницами были такие же блестящие и светлые, как у Вари...»

Председатель исполкома заболел. Не серьезно, а все-таки доктор велел, по крайней мере, с неделю посидеть дома. Три дня председатель исполкома терпеливо переносил домашний арест, потом начал скучать.

Досадней всего было пропускать уроки с Зинаидой Васильевной. Уж очень хотелось скорее заговорить на чужом языке. Наконец решил написать ей о болезни и просить приехать к нему на урок. Послал за ней машину и так обрадовался, когда Зинаида Васильевна через полчаса входила к нему в комнату.

Встретил ее извинением за беспокойство, засуетился, придвигая стул. Предложил чаю, но Зинаида Васильевна отказалась и торопливо начала урок.

У ней самой второй день болела голова и ломило спину, но ученику она об этом не сказала и даже отказалась от автомобиля. Хотела пешком пойти. Мало бывала на воздухе теперь, оттого, может быть, так часто болела голова.

Уже в сумерки вернулась домой. Как только Григорьевна открыла дверь, чей-то тулуп, лежащий на табурете, бросился в глаза. Что-то кольнуло в сердце.

Григорьевна растерянно потопталась у стола, но сказать ничего не успела. Вбежал раскрасневшийся, возбужденный Жоржик.

— Бабушка, мать моя приехала! Я думал, молочница, а она говорит — мать...

Григорьевна тихо подтвердила:

— Варюшка тут. Должно, задремала. Две ночи, говорит, не спамши... Страсть как, говорит, ехать теперь невозможно.

Зинаида Васильевна торопливо сбросила пальто и вошла к себе. При ее появлении Варя, задремавшая сидя у стола, открыла глаза.

— Пришлось вон когда повидаться, — улыбаясь, сказала она и встала навстречу.

— Как ты изменилась, — целуя ее, проговорила Зинаида Васильевна и сейчас же опустилась на стул. Подгибались колени, будто кто-то ударил по ним сзади палкой. — Розовая ты стала, и как будто даже выше ростом.

Варя опять улыбнулась:

— Что же, у нас сейчас в деревне жизнь куда лучше против городской...

Жоржик прибежал из кухни и влез бабушке на колени. Зинаида Васильевна порывисто поцеловала его.

— Ишь ты, как ластится к бабке... — сказала Варя и, помолчав, добавила: — А ведь я за ним приехала...

Зинаида Васильевна вздрогнула и приподнялась, держа руку за спинку стула. Жоржик сполз на коврик и с удивлением смотрел в лицо бабушки, ставшее вдруг совсем незнакомым.

— Шутишь, — прошептала Зинаида Васильевна.

Варя коротко взглянула в ее помертвелое лицо.

— Шутить нам не приходится... Что за шутки. Дело понятное — мать за своим дитем приехала.

— Да зачем он тебе? — вырвалось у Зинаиды Васильевны.

Варя усмехнулась:

— Сами вы вот шутите. Ишь ты, что говорите: зачем матери ее дитё...

— Да ведь ты пять лет жила без него...

— Николай-то Алексеевич который годок в бегах находится? — спросила Варя и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Мне Григорьевна сказывала, что третий, а небось, коли вернется, рады будете, хоть это и через сколько годов случилось бы.

Зинаида Васильевна тяжело села на стул. Какие-то темно-зеленые обручи закружились перед глазами, и комната дрогнула, поплыла, как паром по тихой реке...

Когда она пришла в себя, возле, кроме Вари, никого не было.

— Напугали вы нас, — сказала Варя, — доктора Григорьевна звала, думала, помираете вы...

Зинаида Васильевна поправила волосы и застегнула блузу.

Из соседней комнаты доносились тихие голоса Жоржика и Григорьевны.

— Зажги, пожалуйста, лампу, — попросила Зинаида Васильевна, — я встану, — и, пошарив под подушкой, протянула Варе коробок спичек.

Варя, сняв стекло, подышала в него, прежде чем одеть на зажженную лампу.

— Лопаются теперь стекла, просто ежеминутно, — сказала она.

— Боже мой, о чем она говорит! — воскликнула Зинаида Васильевна.

Варя спокойно обернулась к ней:

— Я, Зинаида Васильевна, все свои думы обдумала и слез тоже не мало пролила, вы-то знаете, сколько их было; не думала и дожить до этого дня. Ведь у меня давно положено было, чтобы Егорушку к себе взять. Еще как папаша померли, с той самой поры только об этом и старалась. Деньги стала копить на дорогу. А как в тягостях была, вовсе тоска затомила. Выйду, бывало, жать и уж тут дам волю слезам, никто не слышит, нарочно подальше зайду от жниц, чтобы не мешали душу отвести. Страсть, как тосковала. Оттого, должно быть и девчоночка мертвенькая нашлась.

Варя пальцами вытерла слезы.

— А потом ехать никак не могла: больно хворала после родов... В бреду, сказывала тетка, все мальчонком потешалась. Ей и невдомек, что за мальчонка, ну а мой-то знал. После, как оправилась я, сам об нем заговорил:

«Поезжай, говорит, проведай, тебе полегшает...»

Очень он меня жалеет... Я собралась было, а тут опять помеха. После свободы прослышали мы, что на станциях никак в поезд не попасть, мало их ходить стало, а которые и есть, солдатами набиты и не останавливаются вовсе для народа.

Пришлось еще подождать ехать. А оно и к лучшему вышло. Кабы я раньше приехала, побоялась бы взять домой Егора: народ бы заклевал, что в девках прижила его, и муж, конечно, хоть и очень жалеет меня, а на то бы не пошел, чтоб против мира. Ну, а теперь — народ совсем иной стал. Только старинный народ на все с опаской да с оглядкой. А у молодых все по-новому. По воскресеньям ездят по селам товарищи, одна женщина приезжала раз. До чего хорошо говорила, страсть! «Наше, говорит, право материнское, и мы, говорит, должны его защищать. Во всех Европах женщины сознательные, а мы что же, хуже их, что ли...» Ну вот, после нее-то пошла я к нашей учительнице за советом. Она меня послушала и говорит: «Дура ты будешь, ежели из-за соседской брехни да от своего сына откажешься. Что попа тогда не звали, так из-за этого страдать?»

— А причем поп тут?

— Ну, те же самые слова насчет попов говорила, что и вы тогда... помните небось?

Варя вздохнула и пристально посмотрела на Зинаиду Васильевну.

Зинаида Васильевна крепко стиснула пальцы маленьких, с синими жилками рук и порывисто поднялась с постели. Крепко держалась за тумбочку и никак не могла попасть ногой в туфлю.

Варя помогла ей.

— Никак не могу примириться с тем, что это случилось, — быстро заговорила Зинаида Васильевна, — чем же и для чего теперь жить? Ведь ты не можешь понять, что для меня Жоржик, как я привязана к нему!

Она заметила, как улыбнулась Варя при этих словах, и румянец выступил на ее поблекшем лице.

— Ну, хорошо, о себе я не буду говорить. Но Жоржик... Подумала ли ты, что он, может быть, станет тосковать там, в грязной дикой деревне, среди драчливых, неопрятных детей?..

Варя перебила ее:

— Зря говорите, Зинаида Васильевна. Что потоскует малость, так это не без того, конечно. А насчет наших ребят зря пугаетесь. Чего им драться? Чего они не поделили с ним? И скучать ему тоже долго не придется. Как подойдет весна, выведу его к речке на луг, как увидит он цветики разные, кашку розовую, ровно пенку румяную в топленом молоке, как станет гоняться с ребятishками за мотыльками, — их у нас много, так над лугом будто цветы перелетные и мелькают. А то к лесу побежит, бывший помещичий лес недалеко, кукушку дразнить станет. А дома тоже забавы сколько хочешь, игрушки, можно сказать, живые будут: цыпляты, утенки. Бычок у нас, так не то что детишки, а и мы иной раз со смеху пропадаем, как он начнет с собаками возиться. Мы хохочем, а он будто понимает, что над ним потешаются, и еще пуще в раж входит.

Зинаида Васильевна не слушала ее. Она уставилась взглядом в одну точку и время от времени вскидывала головой. Потом подошла к Варе и стала умолять ее не брать Жоржика хоть до тех пор, пока не придет Николай. При этом имени лицо Вари вдруг стало злым и побледнело. Она хотела что-то сказать, но Зинаида Василь-

евна продолжала говорить, стараясь доказать, что им всем будет лучше, если она оставит Жоржика пока в городе. Варя больше не перебивала. Время от времени она только произносила загадочное:

— Так, так...

И Зинаиде Васильевне начинало казаться, что она достигает цели. Но когда она кончила, Варя спокойно сказала:

— Зря вы себя расстраиваете, Зинаида Васильевна. И на меня страху нагоняете. Будто у нас ребята не выживают... А что муж попрекать станет, так это вы тоже напрасно говорите. Он у меня смирный. Мира только сошелся прежде, а нынче так и ему наплевать.

И ушла к Жоржику.

Григорьевна принесла из аптеки лекарства и подала Зинаиде Васильевне.

— Видишь, как оно обернулось. Думали ли когда, что так-то выйдет? — И с глубоким вздохом прибавила: — Что ж, теперь на ейной улице праздник, ничего не поделаешь!

Варя раздела Жоржика и уложила спать. И от нее он потребовал сказку.

— Знаешь ведь?

— Как не знать...

— Про принца?

— А ну его, прынца. Я тебе про Иванушку-дурачка расскажу, почище твоего прынца будет...

Зинаида Васильевна слышала из своей комнаты веселый смех Жоржика и певучий Варин говор, и в голове ее неслись обрывки каких-то мыслей и планов относительно того, чтобы не расставаться с Жоржиком.

Вдруг услышала, что он зовет ее, и бросилась к нему.

— Спокойной ночи, бабушка, — сказал Жоржик, — я чуть-чуть не забыл попрощаться с тобой.

Зинаида Васильевна прижала его к груди так сильно, что он поморщился и с удивлением посмотрел на нее.

На другой день, уходя на урок, Зинаида Васильевна, криво улыбаясь, сказала Варя:

— Ты смотри не увези его без меня...

— Что, я его краду, что ли? — весело ответила Варя.

На уроке Зинаида Васильевна пробыла дольше, чем обыкновенно. Вернулась домой растерянная и взволнованная.

Заперлась в своей комнате. Ходила по ней взад и вперед и по временам подносила холодные пальцы ко лбу. Кроме горечи предстоящей разлуки с Жоржиком, мучил жгучий стыд за только что пережитое унижение там, в квартире своего ученика... Как он посмотрел на нее, когда она высказала свою просьбу, как холодно произнес: «Даже удивляюсь, как вы можете просить, чтобы матери не отдавали ее ребенка?..»

И опять только один человек спал в эту ночь в квартире Варенцовых. Опять укладывали чемодан с вещами, и опять Варя не принимала участия в этих сборах, потому что именно она крепко спала в эту ночь.

Зинаида Васильевна держала перед Жоржиком портрет Николая и, всхлипывая, говорила:

— Смотри, как ты похож на него, на твоего отца. И у тебя вот здесь над бровью родимое пятнышко, как у него. И ушки такие же красивые, и пальчики длинные... И вот эту комнату запомни... Крепко запомни все... И меня не забывай, Жоржик, слышишь, не смей меня забывать...

Она истерически прижимала его к себе и вся тряслась от слез. Жоржик тоже нервничал.

— Да ведь ты же сказала, что тоже поедешь с нами,— плаксиво говорил он,— не плачь, бабушка, давай спать ляжем, а то и я буду плакать...

— А что такое гостинец? Мать мне обещала купить на дорогу... — спросил он у Григорьевны, когда она взяла его от Зинаиды Васильевны. Но ответа не слышал.

Теплыми крыльями повеял на него сон, и он улыбнулся с прерывистым вздохом.

На другой день Зинаида Васильевна провожала Варю и Жоржика. Когда пробили второй звонок, кондуктор вошел в вагон и с порога крикнул: «Провожаящие, выходите!» Зинаида Васильевна в последний раз судорожно прижала к себе Жоржика и прильнула губами к его упругой розовой щечке.

Варя почти вырвала его из ее рук.

— Поезд трогается, — сказала она.

— Бабушка, куда же ты? — закричал Жоржик, видя, что Зинаида Васильевна, шатаясь, выходит из вагона.

— Бабушка опосля приедет,— сказала Варя, опуская его на скамейку и разматывая конец длинной шали.

— Хочу к бабушке,— громко заплакал Жоржик, и белые рукавчики заерзали по его лицу, размазывая слезы.— Вот и поезд пошел,— рыдал он,— а она убежала домой без меня... Обманщица, не буду любить, когда так...

Жоржик долго плакал, вздрагивая на диване, покачивающемся от движения вагона, и не обращал внимания на Варины утешения.

— Ну, полно, голубь, я вот яблочка тебе достану, леденчика.

— Не хочу,— плакал Жоржик,— перед обедом нельзя сладкое. Обманщица...

Обманщица, дойдя до конца платформы, долго смотрела вслед поезду, когда он уже скрылся за кружевным коричневым лесом. Белый дымок паровоза растаял и слился с длинным облаком, протянувшимся почти вдоль всей полосы вечерней зари.

Мелкие слезинки остановились на ее щеках, будто их тоже прихватило легким морозцем, который так бодро сгустил синие мартовские сумерки...

КРАПИВА

До самой середины зимы все шло по обыкновению.

Утром, когда синий полог рассвета еще не до краев поднят над просыпающимся городом, Иван Егорыч обливался из-под крана ледяной водой и торопливо натягивал через голову вязаную блузу. Потом, завернув в газету что-нибудь съестное, спешил на завод.

Проходя по кухне, вежливо желал доброго утра хозяйке, Казимире Станиславовне. Она скромно запахивала капот, самовольно обнажающий ее грудь, похожую на поднявшееся тесто, и часто делала Ивану Егорычу замечания:

— Опять вы, пан Ян, весь пол забрызгали...

Перед работой пил чай в трактире против завода. Там охватывал знакомый гул голосов, запах только что выпеченного хлеба, постного масла и табачного дыма. Подсаживались приятели — кто с шуткой, кто с новостью. И, как жужжащий волчок, начинал вертеться беспокойный рабочий день. До часу одно и то же движение над станком. Напрягались мускулы. Ныло плечо. В час разжимались тиски над металлической глоткой заводского гудка и вырывался из нее сиплый, долгий вопль. Обед — в том же трактире. Меньше смеху, чем утром. Шум голосов глуше. Устали. Не до шуток...

К концу, чтобы поднять настроение, хозяин трактира заводит граммофон. Где-то далеко за металлической воронкой граммофона поет хор. Иван Егорыч любит песню. Положит ложку. Задумается и вспомнит жену Дуню, тихую и робкую, с белокурыми, пушистыми волосами. За эти волосы ее в деревне «куделькою» прозвали... И сына

Фильку вспомнит. Такой же тоненький и светлоглазый, как мать. И станет жаль обоих, захочется повидать.

Однажды решил — окончательно. К пасхе — как раз год минет, как последний раз в деревне был, — ехать туда. По дороге с завода купил конверт и бумаги, чтобы в тот же вечер написать своим об этом.

Но ни в тот вечер, ни в другие не написал. Где там было не только писать, но и думать о жене и сыне! Разве до них было, когда... Когда налетел на Ивана Егорыча горячий ветер, подхватил, закружил так, что и дух захватило, и хмелем в голову ударило.

В первый раз увидел он в тот вечер хозяйкину сестру Ядвигу. Она стояла на подоконнике в его комнате и смятой бумагой протирала запыленные стекла.

Когда Иван Егорыч вошел, она мельком оглянулась и сказала с польским акцентом:

— Прóшу прощенья, но сестра велела вымыть до-чисту.

И снова круто повернулась к стеклам. При этом движении верхняя юбка отлетела на мгновение в сторону и из-под нее мелькнули белые кружевные оборочки.

— Так-с, — произнес Иван Егорыч, задерживая взгляд на Ядвиговых локтях, покрытых темным пушком.

Сел у стола и тихонько посвистал.

— Прóшу подать кувшин, — попросила Ядвига.

Иван Егорыч поднял кувшин.

— Да он пустой!

— Так надо налить в него воды, — сказала Ядвига и, как раз посредине той ее щеки, которая была видна Ивану Егорычу, появилась веселая подвижная ямочка.

Иван Егорыч пожал плечами, но в кухню пошел и вернулся с полным кувшином.

— Швыдче же, — топнула Ядвига ногой, обутой в черный туфель на изогнутом каблучке.

Обмакнула пальцы в протянутый кувшин и брызнула Ивану Егорычу в лицо. Он вздрогнул. От холодных ли брызг, от задорного ли Ядвигового смеха. Поднял на нее серьезные глаза.

— Вы что же озорничаете?..

— Разве не можно пана трогать?

Она бросила тряпки и сверху вниз смотрела на Ивана Егорыча, дерзко выдерживая его пристальный взгляд.

— Можно, да только не для чего, — строго сказал он.

Но Ядвига заметила не строгий тон, а тот взгляд, которым он оглядел ее с головы до ног в щегольских туфлях. И, поправляя выбившиеся из-под красной косынки темные пряди волос, сказала с ласковой насмешкой:

— Прощу прощенья, пан. И за помощь благодарна.

— Какая там помощь? Я работу кончил, теперь отдыхать должен.

— И я з́араз брошу. А только зачем вы на табурет сели? Я ж не мóгу с окна прыгать.

Долго потом не мог Иван Егорыч понять, как это тогда у него сорвалось:

— Давайте сниму!

А она точно обрадовалась. Горячими звеньями обвились вокруг шеи Ивана Егорыча обнаженные выше локтя руки. Душистым дыханием защекотал лицо веселый смех:

— Да пустите же!

Опустил на пол, но рук не разжал.

— А зачем трогала?

— С ума вы сошли! — Гибко изогнувшись, вырвалась и убежала.

Вот с этого и пошло...

Завод, шумный трактир, товарищи,— все это не было тем, что наполняло жизнь Ивана Егорыча. Когда обращался к нему кто, он растерянно смотрел на спрашивающего, просил повторить вопрос, на шутки отмалчивался. В трактире жевал, что подавали, а когда возвращался в мастерскую, руки машинально производили привычные движения над станком. И сам Иван Егорыч казался себе механизмом, в котором маятником стучало сердце.

После трех маятник этот начинал давать перебои. Иван Егорыч все чаще вскидывал к закопченным часам быстрый взгляд. Вот уже короткая стрелка поползла до пяти. Теперь остановка за минутной. Она будто зацепилась за цифру «10». Нет, движется. И как только сравняется с черной точкой над двенадцатью, Иван Егорыч швырнет в ящик инструмент, нахлобучит кепку, пиджак на ходу натягивает.

— Постой, гудка не было еще,— крикнет кто-нибудь вслед. Иван Егорыч молча ткнет пальцем вверх, на часы... и домой... домой.

В груди бьется уже не тоскливый маятник, а кажется Ивану Егорычу, что там у него птица крыльями взмахивает и от этого ему дышать нечем и лететь охота.

Войдет в кухню. С тех пор как он сошелся с Ядвигой, Казимира не носила больше безрукавных и голоспинных капотов. И брюзжать стала сердито, по-хозяйски. А ему не все ли равно, что она буркнет в ответ на его приветствие?

— Ядвига вернулась? — первым делом спросит он и наклонит под кран разгоряченное лицо.

— Юш,— кивнет Казимира и раздраженно прибавит: -- Что-то на самом деле, и пол, и стены все забрызганы. Так не можно, пан Ян...

— Какой я пан,— засмеется Иван Егорыч, фыркая над раковиной.

Ядвига любила шалить. Войдет Иван Егорыч в комнату, а она притаится за дверью и сзади запустит пальцы в его намокшие от умывания волосы. А то притворится, будто спит, и лишь только он нагнется к ней,— охватит шею и куснет за ухо.

Зато и попадало ей.

— Тебе, Януш, никакого инструмента не надо. Ты сталь, як дротину, гнуть можешь,— говорила Ядвига, не умея пошевеливаться в твердых тисках его рук.— Пустя, а то калекой зробишь.

Иван Егорыч заглянет в глубину ее карих глаз и хочет сказать ей, что, если бы она из тончайшего стекла была сделана, и тогда не разбил бы он ее. Столько нежности у него, столько ласки — где же повредить!

Пришло время, когда Иван Егорыч захотел узнать прошлое Ядвиги.

— Я одна, вот и все,— коротко отрезала она.

— Значит, развелась с мужем?

— У нас, католиков, разводу не бывает,— уклончиво ответила она и сейчас же прибавила.— Але я ж не пытаю пана — есть у него жёна, или нет. Раз ты со мной — то есть ты мой.

— Моя жена что... Ей лишь бы я сына не забывал. А она хоть и есть, да вроде как нет. Несмелая.

Все реже вспоминался Ивану Егорычу робкий облик Дуни — «кудельки» — и Фильки, такого же белоголового, как мать. Все, что касалось деревни, будто подернулось густым паром. Ясно и понятно было только то, что хорошо ему, до жути хорошо здесь, с Ядвигой. И не понимал

он, как это раньше могло быть, что он без Ядвиги жил, она без него!..

Работает, бывало, и на собрание пойдет, и над книгой подолгу сидит, а все оставалось время, которое нечем было заполнить. А теперь о буднях и говорить нечего, как летели дни. А праздник настоящим праздником бывал. Очень любил Иван Егорыч ходить с Ядвигой в театр и кино. Гордился он ею. Ведь тоже баба, только из польской деревни, а какая вся складная, ловкая. Нарядится — все к лицу. Волосы у нее темные, она их белым шарфиком прикроет, к вишневому платью палевую бархотку гранатовой брошкой прикрепит. Стан затянет — и полная грудь оттого еще пышней кажется. Работает на фабрике, но руки всегда белые и пахнут хорошо. Впрочем, и вся она душистая.

— И где ты взялась такая? — вырывается иногда у Ивана Егорыча.

А она:

— Януш, коханий, Януш мой...

И упруго ступает рядом с ним на изогнутых каблучках. Искрятся у нее глаза, на щеках ямочки дразнят Ивана Егорыча, и часто слышит он от прохожих:

— Эх, хороша...

Своенравно оделяет судьба людей счастьем. Одному нивесть сколько пожалует, а другой всю жизнь с протянутой рукой перед нею стоит. Взять хоть Ивана Егорыча. Тяжелое детство в деревне. С десяти лет отцу в кузнице помогал. Пятнадцатифунтовый молот отец заставлял подымать. Семья — большая. Хлеба никогда до новины не хватало. Потом — ранняя женитьба. Жена — не поймешь ее, ни ласки от нее, ни брани. Уехал с двадцати лет в Москву и вот шесть лет — с завода на завод. В деревне только на побывке бывал. И, хотя по Дуне не очень тосковал, городскими, доступными женщинами брезговал. И жил хмуро. Вот тут, должно быть, судьба заметила, что так не годится, и бросила Ивану Егорычу не полной пригоршней, а так — щепотку счастья. Но и она меж пальцев проскользнула.

Шел он с Ядвигой по бульвару и радостно чувствовал теплоту ее плеча, крепко опиравшегося о его руку.

Навстречу — целая шеренга «галифе» защитного цвета. Один, в форме шофера, остановился перед Ядвигой и что-то сказал ей по-польски. Она вспыхнула, засмеялась коротко и оглянулась на Ивана Егорыча. Шофер, без улыбки, настойчиво сказал ей еще несколько слов. Тогда Ядвига оставила руку Ивана Егорыча и повернула назад. Поляк быстрым шагом двинулся за ней.

Что-то рванулось в груди Ивана Егорыча им вслед. Потом пробежало к ногам и наполнило их холодной тяжестью. И весь он будто поledenел, так что, казалось, с места нельзя двинуться, непременно упадет. Но до скамейки дошел. И не помнит, сколько просидел на ней. Только, когда подходил к дому, заметил, что на улицах совсем народу не видно, а фонари едва теплились. С тоской, будто в склеп, вошел в темную комнату. И вдруг услышал ровное дыхание. Не зажигая огня, бросился к кровати. Ну да — она! Разве есть еще у кого-нибудь в целом свете такие косы, такая гладкая, горячая кожа... Спит, как всегда, лицом к стене. Наклонился, поцеловал и мгновенно откинулся: пахнуло от горячих Ядвиговых губ вином. Снова наклонился и цепко схватил за плечи.

— Что-то есть? — испуганно вскрикнула Ядвига. — Пусти... Больно... — Она рванулась.

— Где шлялась? С кем пила?

— Ян, я до драки не привычна, — и так резко откинула его руку, что он больно стукнулся локтем о железную спинку кровати. — Зараз зажги огонь...

Иван Егорыч зажег спичку. Ядвига, сдвинув брови, подбирала порванную в плече сорочку, и ее обнаженная грудь сердито вздрагивала. Спичка, догорев, обожгла Ивану Егорычу пальцы. Он зажег другую и поднес к фитилю. Но стекло долго не попадало на горелку, и черная струя копоти зазмеялась над желтым огнем.

Ядвига торопливо завязывала тесемки белой юбки с кружевными оборочками. Потом натянула чулки и щелкнула резиновыми подвязками.

— Куда ты?

Она отвернулась, чтобы взять висевшую на стене юбку, и он увидел на ее плече и шее багровый отпечаток своих рук. Жалость клубком подкатила к сердцу.

— Ядя, Ягодка, ну, не обижайся!

Ядвига блеснула влажными от злых слез глазами.

— Грубиан, хам. Зобачь, цо зробил...

Она, закинув голову, взглянула на свое покрасневшее плечо и с силой оторвала болтавшееся под рукой кружево.

— А как я молчу, что ты своей бабе деньги посылаешь? Я своими глазами квиток с почты видела. А мне не можно с знакомым прогулки иметь? Скажите пожалуйста. Еще як бы ты мой муж был, а то, может, завтра баба твоя придет, и ты меня — долой.

— Ядя, будто ты не знаешь...

Насилу помирились. Были два пункта мирного договора. Один: купить кружевную косынку и настоящую пудру «Лебяжий пух» с таким же мылом — сравнительно легко выполнимый пункт, — остаться на сверхурочную раза три-четыре. А вот другой пункт... тяжелый, трудный... получить от жены развод и записаться с Ядвигой в загсе. А то Казимира попрекает и насмехается, что Ядвига «так живет» с ним. Вот тогда Ядвига по-настоящему будет «як бога, кохать Януша». До тех же пор она — свободна.

И нередко стало выходить так, что вернется Иван Егорыч с завода, а Ядвиги нет. Ждет ее до двенадцати, до двух. Тоскует. Придет она, глаза блестят, пахнет духами... Сбросит с себя одежду и в одной рубашке садится ужинать. И будто не замечает его унылого лица. Смеется, рассказывает, что видела в цирке, кино.

— Да почему же ты мне не сказала, что пойдешь? И я бы...

— Что ты мне — муж, что я должна спрашивать тебя? — И нахмурится. Значит: напоминает о том тяжело исполнимом для Ивана Егорыча пункте.

И Иван Егорыч решился. Кубовым майским вечером провожала его Ядвига на вокзал. На извозчике они опять едва не поссорились. Не понравилось Ивану Егорычу новое платье на Ядвиге. Материя такая прозрачная, что просвечивают сквозь нее прошивки на рубашке и голубой бант на лифчике.

Ивану Егорычу даже показалось, что и извозчик оттого согласился за семь гривен везти их такую даль, что заметил этот голубой бант у Ядвиги. Время от времени он сердито взглядывал на Ядвигин профиль, особенно розовый под кружевной косынкой. Потом спросил:

— Ты что же это, на радостях, что меня провожаешь, вырядилась так-то наголо?

— А ты как разумеешь? — неопределенно улыбнулась Ядвига.

«Не разберешь ее», — тоскливо подумал Иван Егорыч. И вдруг вспомнил, как дня три назад он встретил Ядвигу с тем самым высоким шофером, из-за которого произошла первая ссора. И как она убеждала его, что встретились они случайно, и при этом вот также непонятно — не то насмешливо, не то лукаво — улыбалась...

Он отодвинулся в угол сиденья. Но до его сжатой в кулак руки дотронулись шаловливые пальцы. От них теплые струйки полились в грудь, губы дрогнули и слетели с них нежные слова:

— Ядя, Ягодка моя...

В вагоне, на прощанье, хотел сказать ей о чем-то значительном, но не знал, совладает ли с голосом. Слишком туго что-то сдавило горло. Мог только шепотом напомнить ей:

— Смотри ж, пиши, как я сказал... А я долго не пробуду. От силы недели полторы. Как устрою развод, так и назад.

Уходя из вагона, Ядвига вынула платочек и поднесла к глазам. Еще раз пахнуло от него на Ивана Егорыча «Лебяжьим пухом»... А через минуту фонарный столб, на который кокетливо облокотилась Ядвига, двинулся назад. Иван Егорыч прочистил локтем стекло и, глядя на медленно плывущую назад Москву, старался между рядов заводских труб распознать свою. Скорей всего, что вот это она, рядом с длинным кирпичным корпусом и деревянной вышкой. Теперь топка на фабрике нефтью, и дым от нее тяжелый. Висит тучей и подолгу не расходится.

Солнце садилось в облаках. На плотно-синем небе белой запятой висел молодой месяц. Дрожа, тянулась телеграфная проволока, похожая на нотные линейки, с чернеющими на них галками — нотами. В сумерках волновались в полях густые зелены.

Ни в первый, ни в последующие дни Ивану Егорычу не пришлось говорить со своими, по какому делу он приехал.

Попал он как раз на свадьбу своего младшего брата. А свадьбы в деревне Торжковой играли крикливо, суетно

и подолгу. И хотя молодые в волисполкоме расписывались, отцовские и дедовские обряды все же исполнялись. Начнут «запой» с девишника. Невеста вопит, а подружки-девки шушукуются и сокрушенно качают головами. Сваты «корят», конфузят молодых, прикладываясь к рюмкам... Гармонист из себя выходит. Гармонь к груди прижимает и на колено откидывает. Сваты, перевязанные по рукаву новыми платками, сами точно накрахмаленные, прямоком сидят по лавкам. Пальцы растопырят, упрут в колени и ждут угощения. И всех, от малого до старого, надо накормить, напоить, да так, чтобы не осудили, что на свадьбу «капиталу» пожалели.

Иван Егорыч ушел от гостей пораньше и лег в амбаре, подостлав соломы. Во дворе, как другие, он не мог спать: прямо в лицо глядел месяц и мешал шум гульбы. Позвал с собой Фильку. Тот молча лег, ткнулся ему в плечо и засопел. Иван Егорыч погладил его по спине.

— Большущий ты стал мужик, Филька.

— Ничего,— вздохнул Филька. И опять молчание.

— В мать, видно, молчаливый вышел.

Позднее послышались у амбара шаги. Филька присел, прислушался. На пороге затемнел чей-то облик.

— Ну, теперя я к мамке пойду,— заявил Филька.

Зашелестела под его ножонками солома.

— Мамка, ты?

— Я, сынок.

Не спалось Ивану Егорычу. Пока перед глазами были люди, с которыми надо было говорить, пить и петь,— легче было, не так томила тоска по Ядвиге. А вот сейчас всплыла она перед глазами, дразнит его обманным сиянием глаз. Гонит сон. Мука думать о ней. Стал прислушиваться, к чему бы прицепить разгоряченные мысли.

На деревне тихо. Где-то равномерно повизгивало в телеге немazanое колесо. Под полом амбара возились мыши. И вдруг явственно послышался сонный Филькин голос:

— Мамка, ты чего реवेशь? Будя, а то и я зареву...

— Ш-ш, сынок, спи с богом.

— Мамка, а вить я ему нынче не молился,— признался Филька.

— Это здря, сынок...

— А я сейчас стану. Только не так, как поп: «госпомилуй», а по-своему, как надысь.

— Ну-к, что же...

Филька захрипел, громко зевнул и заговорил лениво и мягко:

— Ты бог, мамку и тятку миловый беспреречно, потому как она, мамка, мать мне родная, а тятка картуз привез и ремень ракилованный. Такого-то ремня — всю деревню обшарь — не сыщешь. Тетку Таньку тоже спасай, она завсегда молоко из-под коровы похлебать дает и вишенья сухого в подол насыпает. А тетку Катьку не миловай и не спасай. На кой ее спасать? Что рубаху новую на свадьбу нарядить не дала?.. Ведьма эдакая.

— Цыц, сынок! — всхлипывая, остановила Дуня, — спи...

— Ладно, я и то об остальных не стану молить. Пущай сам как знает: хошь миловает, хошь нет.

Иван Егорыч беззвучно засмеялся.

«Ишь жулик, — подумал он о сыне, — не то что безбожник, а хватай выше — указания богу делает».

— Мамка, — уже совсем засыпая, протянул Филька, — а мухи небось тоже молятся. Я видал: помахает против лобу лапкой и кланяется. И правда... Да ты щеку вытри, а то мокрая, — сердито прибавил он.

— Спи, спи, — в голосе Дуни кроме слез слышалась нежность. Положь на плечо головенку, да и засни, голупенький.

Утром отец Ивана Егорыча, без рубахи, в одних портках, долго хлюпался у колодца. Филька, не моргая, смотрел, как дед льет на седую голову и красную, в лиловых жилках, шею холодную воду. Такие добровольные муки были совершенно непостижимы для Фильки.

Потом вся семья, уже озабоченная по-будничному, завтракала свадебными остатками. Молодые сидели в сторонке. Старик первый встал и подошел к Ивану Егорычу.

— Дунька к своим тебя свести собирается. Ейная родня в обиде, почему, мол, зятек в свою сторону вернулся, а к нам и не объявляется. Сходить надобно.

Иван Егорыч взглянул на Дуню.

— Ты что не сама рассказываешь?

— Я не смею.

— Собирайся.

До брода шли молча. Филька присвистывая в глиняный свисток, похожий одновременно и на собаку и на петуха, бежал впереди.

— Давай отдохнем, — предложил Иван Егорыч, когда поднялись на крутой берег.

Он лег на траву и закинул руки за голову. Дуня присела на краю тропинки.

— Чем это так пахнет хорошо? — помолчав, спросил Иван Егорыч.

— Вишь, всё в цвету, — поглаживая траву, сказала Дуня.

Земля цвела белым цветом гречихи и пестрыми мотыльками гороха, лиловыми звездочками картошки и желтоглазыми подсолнухами. Чабрец, пригретый солнцем, при каждом вздохе ветра лил целые ушаты аромата, от которого сладко делалось в горле и голова кружилась.

— Дуня, — позвал Иван Егорыч.

— Я тут, — чуть слышно ответила Дуня.

И оттого, что в голосе ее была настороженная тревога, Ивану Егорычу легче было начать. «Догадывается, значит», — решил он и сразу единым духом проговорил:

— Я с тобой жить не стану, отвык я от тебя. И от деревни отбился. Не нравится мне тут...

Дуня коротко вздохнула. Раз. Другой. Отщипнула пучок травы, изорвала в куски и бросила.

— Я и то примечаю что-то... — перевела дух. — А уж в деревне, известно — какая жизнь. — И замолчала. Потом быстро поднялась и крикнула надтреснутым голосом: — Филька, назад ступай. Домой вертаемся...

Иван Егорыч оперся на локоть.

— Постой. А как же к твоим? И не поговорили ведь...

— Что зрящие слова говорить? Все сказал. А к нашим — поспеем. С бедой придем — торопиться нечего.

И пошла назад, не оборачиваясь на ревущего Фильку. Конец ее розового фартука то и дело всплескивался парусом от колен к глазам. У Фильки одна штанина, намокшая при переходе через брод, спустилась и облепила худую ножонку.

Иван Егорыч смотрел им вслед, пока они не скрылись за недостроенной избой на том берегу. Потом взгляд его скользнул по лугу и задержался на белом, как большой ком ваты, гусе. Гусь вытянул одно крыло, прижал к нему

оранжевую лапу и, изогнув гибкую шею, сердито теребил под крылом перья. Потом загоготал, взмахнул крыльями и грузно полетел к воде. Во все стороны понеслись от него белые пушинки и легкими одуванчиками закачались на зеленой траве...

Когда Иван Егорыч вернулся в избу, там было сумрачно. Молодежь уехала догуливать свадьбу к сватам. Отец что-то клепал у печи. На лавке за столом сидела Дуня. Филька ел кашу, старательно облизывая ложку.

— Дело, дело надумал, сынок, — заговорил старик, как только Иван Егорыч вошел. — Мы по полвека с женами жили. И все ладно было. А ноне — в обед сватал, а в полдни разнравилась... Катись, мол, от меня. Только, милый, вот что я тебе скажу: ты там как знаешь, а только и нам бабы твоей не надобно. У меня окромя ее три снохи. А делов не так-то много. И хоша бабенка она смиренная, а все — глотка. И опять же парень у ней. А ты знаешь, что нонешний год она со своей нормы и шести мер не собрала, а картошку не садила вовсе.

— Зато наткала за всех, — с горечью проговорила Дуня. — Сама кудель брала, сама трепала, ноченьки напролет просиживала.

И заплакала.

— Так-то, парень, — продолжал старик. — Уж вы сами обмозговывайте дела-то свои.

— Обмозгуем, — хмуро ответил Иван Егорыч.

Дня через два сидел он с женой у Сарычева, своего тестя. Там вся родня собралась на семейный совет. Сначала погорячились. Чуть до драки не дошло. Но дядя Митрий урезонил:

— Дело говорите. А брань — опосля.

— Жалко мне девку, что и говорить, — вздыхал Дунин отец. — А куда ее взять? Кабы мать ейная жива была, а то от покойницы трое осталось, — да взял молодуху с тройкой, сам-восемь выходит. Своих девок сбыть не чаю как. А то Дуньку, отрезанный ломоть, назад бери. Ишь, чего не было! Да еще с парнишкой. То сказывал — вернусь, избу поставлю, а то вон что...

— Эдак и другие твои девки повывдут замуж, а там, гляди, и назад в избу. Да еще с приплодом. Корми, дес-

кать, батюшка, — насмешливо и злобно сказала молодуха с истомленным лицом.

Дуня, прислонившись к косяку порога, плакала.

— Насчет Хильки — это ты зря, тетка Мархутка, — сказал дядя Митрий, — разговор о бабе идет, а его мы к себе взять согласны. Люди мы бездетные, а он мальчонка шустрый. Пуцай у нас живет, раз уж ему безотцовщина вышла.

Иван Егорыч встал. Душно ли стало в избе от людей и клокочущего самовара, а только, как больной зуб, запыло сердце.

— Пойдем, что ли, — не глядя на жену, позвал он.

Старик Сарычев вышел с дядей Митрием проводить.

— Уж ты не того, а как следует, чтоб, значит, похорошему, — говорил Сарычев зятю, придерживая его за рукав.

А дядя Митрий похлопал Дуню по плечу:

— И право, Дунь, отдавай нам с теткой парня, а сама куда хошь — птица вольная.

— Куды я пойду, куды?

Больше других сочувствовала Дуне старшая сноха Татьяна. Вечером, когда Дуня, искупав Фильку, чинила ему рубаху, она подсела к ней и зашептала:

— Говорю тебе, сбегай к бабке Аксины. Она его приворожит. Аксиныя — она дока. Варьки мельниковой муж девять годов без вести пропадал, а как прослышала Варька, что он в австрийской стороне, сбегала к бабке. А та ей: «Одашь, гыть, мне двух поросят, как свинья опоросится, — верну мужа». А Варьке, конечно, не то что двух, а на такое дело и тройку не жаль. На Ивана Постного, глядишь, — мужик ейный заявился. «Замучила, гыть, меня тоска, тянет домой. Высох весь»... Пойдем, Дунь, а?

— Вот Хильку уложу, сбегает, — вздыхая, согласилась Дуня.

Бабка Аксиныя сначала и пускать не хотела. Бегают к ней бабье, брешет, а потом с председателем волисполкома неприятность выходит. Зачем, мол, народ морочишь... Насилу умолили.

— С неделю, говоришь, туточка, а — ни-ни... Ну, зна-

мо дело, у его баба есть. Не пожалей полущалка, того, что намедни в церкви была. Изделаю, что надо,— перемаргивая остатками реденьких ресниц, сказала она.

Дуня взглянула на нее красными от слез глазами.

— Да он у меня один-разъединый, для праздников остался. Сама знаешь, в голодные годы все проели.

— Как знаешь, дефка, как знаешь,— опять заморгала Аксинья.

Татьяна подтолкнула коленом:

— Соглашайся, Дуняшка.

— И то,— вздохнула Дуня.

Старуха засуетилась. Достала из-под лавки глиняную плошку с чем-то зеленым, бросила в нее остаток восковой свечи и зажгла лучину.

— Масла коровьего принесла?

— Вот, бабушка.

— Клади на стол, да разверни на ем тряпицу.

Положив масла в плошку, стала водить над ней лучиной небольшими кругами, все быстрее и быстрее. Потом зашептала, шевеля тонкими, лиловыми губами:

— Умоюсь я росой, утрюсь престольною пеленою, пойду я из ворот в ворота, выйду в чистое поле, во зеленое поморье. Стану я на сырую землю, погляжу на сторонущку, где красное солнышко припекает мхи, болота, черные грязи. Так бы присыхал раб божий Иван об mine, рабе божьей Дуняшке. Сердце — в сердце, думы — в думы. Спать бы не заспал. Гулять бы не загулял...

Женщины слушали, затаив дыхание.

Лучина погасла.

— Ну, вот, этим маслом смажешь ему, сонному, голову, а утром в кашу прибавишь эдак с ложечку.

— Бабушка, а вреда ему от этого никакого не будет? — опасливо спросила Дуня.

— Ничаво не будет. Потоскует маненько, только и всего...

С вечера долго дожидалась Дуня, пока уснула вся семья. Тогда, захватив принесенного от бабки Аксиньи масла, подкралась к амбару и притаилась у притолоки. Из глубины амбара слышалось сонное дыхание Ивана Егорыча. Она шагнула через порог и на коленях подползла к мужу. Протянула в темноте руку, наткнулась на влажный, горячий лоб и сейчас же провела выше, по гус-

тым волосам. Иван Егорыч сначала пробормотал что-то непонятное, а потом ясно так и ласково:

— Ядя, Ягодка моя, желанная...

Дуня, как будто наткнувшись на что-то острое, резко откинулась и больно ударилась о закром.

Иван Егорыч проснулся от ее стога.

— Кто здесь?

— Я, Дуня.

— Зачем ты?

— Одежду хотела взять.

— А-а, а я думал... чего не следует.

— Да на кой ты мне нужен! — затрепетав от обиды, проговорила Дуня. И, выпрямившись, пошла из амбара.

Уже несколько раз заходил Иван Егорыч в волисполком насчет развода. А там все в бумагах неправильность находили и тянули день за днем. Не знали, что каждый лишний день без Ядвиги многого стоит Ивану Егорычу. А она, как нарочно, — ни одного письмеца. И злится он на нее, и тоскует... Чтoб время обмануть, пошел с отцом в кузницу. Старик, видимо, недоволен был сыном. Почти не разговаривал с ним. Даже от папироски отказался.

— Некогда нам табаки раскуривать...

И сердито опускал тяжелый молот на добела раскаленные подковы и сошники.

Иван Егорыч раздувал меха, клепал смычки на обручах. И вспоминалось ему невеселое детство... Часа в три прибежал Филька с горшком каши и краюхой хлеба.

— А тебя, тятка, из волости звали, мамка велела, чтoб шел. Письмо тебе, говорят, пришло.

Иван Егорыч схватился за шапку.

— Аль есть не станешь? — удивился отец.

Куда там есть...

Запыхался так, что, когда подошел к столу, где выдают письма, слова не мог выговорить и только руку протянул.

— Имеется для вас пакетик, да еще вон какой.

И, порывшись в ящике, почтарь протянул ему голубой конверт с оттиснутым на нем в уголку венчиком из мелких роз.

Как голодная кошка мышенка, так схватил Иван Егорыч письмо и быстрыми шагами направился в поле. Там в глубине чьей-то межи разорвал заветный конверт. В

середине тоже голубой листок с розочками и явственным запахом «Лебяжьего пуха».

Мгновенная радость, а за ней стон боли.

«Януш, должна сообщить, что я уезжаю в Польшу. Думала, что никак этого не дожду, но через пана Кобецкого, ты его видел зо мною, весь наш эшалон беженцев получил пропуск. Прошу прощения, а только без Польши не могу жить. Ядвига Вислоцка».

Прочел. И еще раз начал: «Януш, должна сообщить...» Дальше не читал: будто толкнул кто-то сзади: как стоял — упал грудью в траву. Руки затрепыхались, как крылья у подстреленной птицы, потом взметнулись к голове. Пальцы вцепились в волосы... Долго лежал так, уткнувшись лицом в землю. Потом зарычал, вскочил и стал с корнем рвать высокую траву. Огнем горело сердце. Мутилось в голове. Но жгучая боль в руках заставила опомниться. Поднес их к лицу и увидел, что они покрыты большими белыми волдырями.

Аршинная крапива густо росла по меже и терпеть не могла, чтоб ее беспокоили.

До ночи прометался по полю Иван Егорыч. Побродит, потом снова ляжет в траву и голову схватит. И всякой мошкаре начинает казаться, что он спит. Тогда и муравей бесцеремонно поползет по шее, и мотылек над самым затылком вьется. Но неожиданно Иван Егорыч вскочит на ноги и снова шагает, шагает...

Уже упала вечерняя роса и задымилась река, когда он вернулся домой. Никто его не окликнул, когда он проходил по двору к амбару. Там лег на солому и закрыл глаза. Почти тотчас же затопали по амбару босые ноги.

— Тятка, это я, Филька.

Иван Егорыч открыл глаза. Филька, шморгая носом, молча протянул ему кружку с молоком.

— Тетка Танька дала. Сичас только надоила. Гляди — пузырьки по им какие... Пей, ничаво...

Иван Егорыч сделал несколько жадных глотков.

— А тебе как же?

— Ничаво, хлебай. Я уж напился.

— Ложись со мной, Филя.

— Ну-к что ж? Ремень вот распояшу и лягу.

Через минуту приплюснул нос к отцовскому плечу и не слышал, как дрогнуло это плечо раз, и другой, и еще, и еще...

На рассвете Дуня, выгнав за ворота корову, сказала возившейся с тестом Татьяне:

— Гляди, чего наделала бабка Аксинья. Всю ноченьку маялся Ваня. То застонет, то схватится. Я думала: Хилька не беспокоит ли. Кликнула,— а он не пускает парня.

— Вот вишь, я тебе сказывала. Не бабка она, а колдунья настоящая.

— Сыми-ка мне зипун,— попросила Дуня.— Надо Хильку прикрыть, а то как бы не простыл. Нынче зорьки больно холодны стали.

Как ни осторожно ступала в темноте амбара, все-таки задела плечом вилы и они упали, звякнув железом об пол.

— Ты, Дуня? — окликнул Иван Егорыч.

— Я, думала парня прикрыть.

— Поди сюда.

Когда присела на солому, положил голову к ней на колени. И обнял.

— Худенькая ты, как девчонка...

— Горе хоть кого ссушит, голубь.— И заплакала.

Иван Егорыч приподнялся, прижался щекой к Дуниной щеке:

— Ну, да ладно. В Москву с собой заберу, там живо отойдешь.

Их слезы смешались. И были они, как первая оттепель после морозов. А за ними повеяло теплом примирения.

Завтракали в тени у колодца.

Уж все знали, что Иван Егорыч и жену и сына забирает с собой в Москву.

— Дело задумал, сынок,— опять проговорил старый кузнец, но уже совсем иным тоном, чем неделю назад.

И Филька тоже одобрительно глядел на отца. Помнил, что тот обещал свезти его в Москве в такое место, где всякое зверье и птицы в клетках сидят, и виднеть на задних лапах ходит...

— Дунька,— крикнул меньшей деверь,— ты что на-румянилась нонче?

— А тебе что? — отворачивая смеющееся лицо, ответила Дуня. И вдруг вскочила и кинулась в избу. Там, став на колени, открыла сундук и достала из него голу-

бой шерстяной полушалок с алыми цветами. Жалко стало платка, а все же надобно снести бабке Аксинье. Обещалась. Нечего делать...

— И куда ей, старой, такой веселый платок? Цвет-то какой небесный!

В последний раз прикинула его к лицу перед кривым зеркальцем. Потом сложила аккуратно, сунула за пазуху и легким шагом пошла к воротам.

Филька оседлал прошлогодний подсолнечный ствол и поскакал за ней вдогонку.

1927

АРЗАМАСЦЫ

Во время Русско-турецкой войны крепостной человек Афанасия Ивановича Бунина — Алексей Тимофеевич Мудров, или, как его все звали, Тимофеич, — стал настойчиво проситься отпустить его «турку воевать».

— Отпусти, батюшка барин. Невмоготу мне в эдакую пору с кастрюлями да со сквородами возиться.

Помещику очень не хотелось отпускать такого хорошего повара, а тот неотступно приставал:

— Отпусти, Афанасий Иванович. Сделай милость, отпусти. Поваров у нас в усадьбе, чай, не я один.

— Экой ты, Тимофеич, поперечный мужик, — сердился барин. — У царицы Екатерины и без тебя солдат хватает. Силища у тебя, правда, богатырская...

— Так точно, батюшка барин. А девать ее, выходит, некуда, — поводя могучими плечами, возразил Тимофеич. — Отпусти по-доброму, по-хорошему. А то сам втихаря удеру, — наконец пригрозил он.

Помещик задумался.

— Ну, ступай, — наконец согласился он. — Только мой уговор: привези ты мне из Туретчины самого крепкого табаку для трубки и самую что ни на есть пригожую турецкую девицу, — прибавил он шутя.

Но Тимофеич пообещал серьезно:

— Ужо предоставлю...

Под знаменами Румянцева и Суворова русские армии одерживали славные победы. Не отставал от сухопутных войск и русский флот. Выйдя из Балтийского моря, проплыл он вокруг всей Европы, вошел в Средиземное море,

из него в Эгейское и, войдя в Чесменскую губу, наголову разбил турецкую флотилию.

Долгие годы отсутствовал дворовый человек Алексей Тимофеевич Мудров. Но вскоре после того, как русские суда стали свободно плавать по Черному морю, возвратился Тимофейч в имение Мищенское бравым матросом. Борода его заметно поседела, у глаз лучились морщинки, но зубы при улыбке сверкали прежней белизной, а грудь была украшена медалями и солдатским Георгием.

В самый день своего прибытия Тимофейч предстал перед барином, да не один: за его широкой спиной испуганно жались друг к дружке две тоненькие фигурки. Одеты они были в длинные шаровары и темные казакины с серебряным узеньким пояском. Черные косы вились у них по плечам, как змейки, а лица были прикрыты белыми покрывалами.

Это были две пленницы, сестры-турчанки. Каким образом удалось Алексею Мудрову довести этих девушек до Тульской губернии, он никому не рассказал. И, даже спрошенный помещиком, ответил коротко:

— Сказал, предоставляю, и предоставил. Выбирай, Афанасий Иванович, любую. Вот и вся недолга...

Помещик хотел было поглядеть на лица пленниц, но едва только он приподнял одно из покрывал, оттуда блеснули испуганные темные глаза, и девушка отпрыгнула с такой ловкостью, что все присутствующие ахнули.

И эти испуганные глаза, и в особенности грациозный прыжок напомнили Афанасию Ивановичу серну, которую он заарканил когда-то на охоте в заповедном бору.

Пленницы упорно отказывались от еды, и даже к той, которую Тимофейч приготавливал для них «по турецкой обрядности», едва прикасались.

Одна из них вскоре умерла, а другая по имени Сальха постепенно осваивалась в маленьком флигеле, отведенном ей под жилье.

Оттуда даже стали изредка доноситься ее хотя и грустные, но звонкие песенки. По совету Тимофейча помещик приказал ключнице выдать Сальхе клубки пестрой шерсти, из которой она охотно ткала коврики.

Узор у них получался такой, как будто Сальха хотела выразить в нем свою печальную судьбу.

Прошла зима. Над Мищенским пролились теплые весенние дожди. После них по всему барскому саду зацвели белые, розовые и пунцовые розы. Любуясь ими, Сальха радостно улыбалась, словно видела близких родных...

К осени она уже неплохо говорила по-русски, а «По улице мостовой» плясала не хуже дворовых девушек Мищенского поместья.

Эта Сальха в январе 1783 года стала матерью поэта Василия Андреевича Жуковского.

Рос он в барском доме, французскому и немецкому языку учили его те же учителя, что и барских детей, те же гувернеры обучали его хорошим манерам. Но все же маленький Жуковский чувствовал себя чужим в богатых хоромах и частенько убегал из них во флигелек к Сальхе или на кухню к повару Тимофеичу, который не чаял в нем души.

Когда юному Жуковскому пришла пора учиться, его отправили в Тульское народное училище. Тимофеич отпросился за своим любимцем в качестве дядьки.

Через несколько лет поехали они вместе и в Москву. Афанасий Иванович определил своего сына в Университетский благородный пансион, а Тимофеич поселился неподалеку, чтобы «в случае чего быть у Василия Андреевича под боком».

Учился Жуковский вяло. Но зато очень увлекался стихотворством. И сам сочинял, и переводил любимых поэтов, да так переводил, что переводы зачастую звучали лучше подлинников.

Когда Карамзин напечатал в журнале «Вестник Европы» первые стихи Жуковского, первым, с кем он поделился счастьем успеха, был Тимофеич.

— Таких-то ребят редко бабы родят, — с гордостью глядя на молодого поэта, проговорил Тимофеич. И больше ничего от волнения не мог произнести.

Не расстался Тимофеич со своим питомцем и в 1812 году, когда Василий Андреевич состоял на службе в штабе Кутузова. Под Тарутином Жуковский написал балладу «Певец во стане русских воинов», в которой воспевал героев Отечественной войны. За эту балладу и другие патриотические стихи царь забрал поэта в свой дворец.

Жуковскому было приказано обучать русскому языку прусских принцесс — жену и невесту царских братьев,

и состоять чтецом при матери царя. А Тимофеич во дворце вернулся к своей старой профессии повара.

В особенности любил он щегольнуть своим искусством, приготовляя субботние обеды, когда в отведенных Жуковскому дворцовых комнатах собирались гости, большею частью талантливая озорная и жизнерадостная литературная молодежь.

Что только творилось здесь в эти дни! Поэты читали задорные свободолюбивые стихи, писали эпиграммы на знаменитых сановных стихотворцев. Тут же сочиняли веселые куплеты. И сам Василий Андреевич, обычно степенный и даже унылый в царских покоях, здесь придумывал такие карикатуры и шутки, от которых все покатывались со смеху...

В одну из таких суббот Василий Андреевич сказал своему повару:

— Прими, Тимофеич, во внимание, что нынче у нас в гостях будет еще и баснописец Иван Андреевич Крылов. Ты, разумеется, понимаешь, почему я тебя об этом предвещаю?

Тимофеич вынул из-под белого фартука руки и, загибая пальцы один за другим, стал перечислять:

— Следственно: на первое состряпаю я знатную ушницу из стерлядок с расстегайчиками. На второе по выбору — обычный жареный гусь и отбивные котлеты из московской телятины. К жаркому разные мочености — морошка, брусника, яблоки антоновские... Затем, на третье пахнет из гусиных печенок и трюфелей... Затем...

— Затем сам придумай что-нибудь, — перебил Жуковский. — Не впервой ведь принимаем.

— Оно точно-с, не впервой. Так ведь наши молодые гости кушают самую малость и больше все беседами развлекаются. А господин Крылов гость сурьезный. — Тимофеич при этих словах значительно поднял указательный палец. — На рождественском обеде изволил Иван Андреевич вызвать меня из кухни и даже облобызал за гуся. «Ты, говорит, голубчик, должно быть, отдельно кожицу от гуся жарил. Ведь у самых уст — любезный хруст, говорит».

— Ну, ладно, Тимофеич. Ступай, братец. Да вели звать просителей.

Просителей у Жуковского всегда было много. Он охотно помогал не только близким знакомым, но каждому,

кто обращался к нему с какой бы то ни было нуждой. Кого снабжал деньгами, кому оказывал протекцию по службе. Определял сирот в пансионы. Выхлопатывал пенсию вдовам... А если кто-нибудь из молодых литераторов свободным стихом вызывал недовольство властей или даже самого царя, Жуковский не боялся и у него просить «милости для несчастливца».

Друзья признавались Василию Андреевичу, что они никак не могут решить, за что они его больше любят — за его ли необычайно добрую «хрустальную» душу и светлый ум или за его прекрасные лирические стихи.

К шести часам начался съезд гостей. И тотчас же комнаты наполнились шумом, смехом, восклицаниями. За неделю накопилось столько новостей, особенно литературных. Самой выдающейся новостью было появление на сцене комедии «Липецкие воды», в которой под именем «балладника Фиалкина» зло высмеивался Жуковский.

Автор комедии князь Шаховской был одним из заправил общества «Беседы любителей российской словесности». Это общество в ту пору состояло из старомодных сановных литераторов, которые называли друг друга «ваше сиятельство» и «ваше превосходительство» и чопорно в торжественной обстановке читали свои высокопарные, пересыпанные церковно-славянскими словами произведения. Члены этого общества ненавидели все свежее, новое, смелое, что пробивалось сквозь гнет аракчеевщины, и больше всего негодовали на литературную молодежь, группирующуюся вокруг Жуковского, за «вольный дух», пронизывающий все творчество молодых авторов.

Друзья Жуковского были возмущены комедией Шаховского, фамилию которого они уже давно переименовали в Шутовского, а общество «Беседы любителей российской словесности» называли «беседчики» или «губители российской словесности».

Едва только все собрались, как молодой поэт Митя Блудов, автор многих веселых стихов, начал читать свою пародию на пасквильную комедию Шаховского, назвав ее «Видение в арзамасском трактире». Шаховскому будто бы привиделось, что пришел к нему мрачный старец и стал вещать:

«О, чадо! — читал Митя Блудов, — напиши нечто и назови сие комедией... И будь для русской сцены бесславием, и русский язык прославляй стихами нерусскими.

И омочи перо твое в желчь твою, и возненавидь кроткого юношу, — то есть тебя, Василий Андреевич. И разъярись на него бесплодною яростью, и лягни в него своею десницею, и грязью своею природною обрызгай его и друзей его соприятелей!»

— Браво! Браво! Молодец, Кассандра! — раздались оживленные возгласы. «Кассандра» была кличка Блудова. Да и все члены этого кружка носили прозвища.

— Предлагаю нашему обществу, поскольку мы подслушали вещего арзамасского старца, отныне именоваться «арзамасцами», — предложил Денис Давыдов, поэт и партизан Отечественной войны.

— Отлично! Друзья, арзамасцы! Не позволим «губителям словесности» обижать нашу «Светлану»!

Прозвище «Светлана» было дано самому Жуковскому.

— Мы этим халдеям-беседчикам покажем! — поднял кулак друг Жуковского по ополчению 1812 года поэт и критик Вяземский.

— Позвольте мне, почтенные арзамасцы, прочесть протокол последнего нашего заседания! — предложил, вставая, Жуковский. — Он выдержан в самовлюбленной манере старцев «губителей российской словесности».

Все стихли.

Жуковский сделал умильно-постную физиономию и слащавым старческим голосом начал:

— Его превосходительством — мною, прочитан был протокол прошедшего заседания, краткий, но отличающийся тем необыкновенным остроумием, которым вельми одарила меня благосклонная судьба. И все члены общества, глядя на меня, радовались, что я им товарищ. А я нимало не гордился. Напротив, со свойственной моему превосходительству скромностью удостаивал друзей моих лестною для них улыбкою. Когда его высокопревосходительство — я же, был введен в хramину заседаний, лица всех просияли... Я сел, или, вернее, вдвинул в гостеприимные объятия кресла ту часть моего тела, которая особенно нужна для сидения и которая в виде головы украшает ныне плечи халдеев-беседчиков...

Общий хохот прервал Жуковского.

Денис Давыдов даже присел на корточки, а Вяземский, приподняв очки, вытирал выступившие от смеха слезы.

Тимофеич важно доложил, что гусь подан. Он даже назвал его «арзамасским». Как раз в это время на пороге показался Крылов. Его встретили рукоплесканиями и, взяв под руки, повели к столу.

— Вы нынче какой-то особенный, Иван Андреевич, — сказал один из братьев Тургеневых. — Ну, право же, не узнать вас...

— А это, милый, потому, что я так приоделся да побрился. Вот и непохож стал, — добродушно ответил Крылов и принялся за еду.

Звон вилок, ножей и бокалов не заглушал веселой беседы.

— Не гусь, а сушая жар-птица, — восхищался Крылов, управляясь со второй гусиной лапой. — Ей-ей, твоему Тимофеичу место в Сенате. Ведь этакий искусник. Да нет, не в Сенате, а прямо-таки в Государственном совете...

Василий Львович Пушкин, уже немолодой, но постоянный гость субботних обедов Жуковского, влетел в столовую с опозданием. Модный его сюртук не сходиллся на заметном брюшке. Напомаженный чуб был слегка растрепан, пышный бант на шее развязался.

— Прошу прощения у почтенных собратьев, — галантно кланяясь, проговорил он. — Я уже слышал от Тимофеича, что вы изволите отныне называться арзамасцами. Прошу принять заглазно в ваше общество моего единокровного племянника, еще сидящего в стенах Царскосельского лицея, но уже подающего оттуда свой звонкий голос.

— Так ведь это «Сверчок»! — перебил Вяземский. — Мы его заглазно приняли уже после лицейского экзамена, когда он читал свои «Воспоминания в Царском селе».

— Александра Пушкина сам Карамзин нам рекомендовал!

— Что за талант, ах, что за талант! — вытирая рот салфеткой, говорил Крылов и даже зажмурил глаза.

Когда из кухни на серебряном блюде подали паштет с трюфелями, Крылов привстал и с напускным гневом обратился к Жуковскому:

— Ну, не грех тебе было, Василий Андреевич, скрыть, что будет вот такой паштет. Знал бы я это — на гуся да на гречневую кашу не налегал бы так. А теперь все места заняты.

Он отрезал себе большой кусок паштета, попробовал и щелкнул языком.

— Ну, что ж, придется, видно, паштету протесниться. Пусть хоть где-нибудь в проходе постоит... А Тимофеича пойду обнять. Пойду всенепременно.

Василий Львович выждал паузу и торжественно провозгласил:

— Внимание!

Все обернулись к нему. Достав из кармана маленький портрет-миниатюру Жуковского, он молча поднял его и помахал из стороны в сторону.

— На сем портрете племянник мой — Александр Сергеевич Пушкин, ныне действительный член «Арзамаса», написал тебе, Василий Андреевич, стихи. Тишина!

Стало так тихо, что слышно было, как на камине тикают часы.

Василий Львович, приняв красивую позу, начал читать:

— Василию Андреевичу Жуковскому — Александр Пушкин.

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль,
И резвая задумается радость...

Василий Львович кончил, но еще долго никто не нарушал воцарившейся какой-то особенной, взволнованной и возвышенной тишины.

РАНО-РАНЕШЕНЬКО

Мартын Степанович Пилецкий — надзиратель «по учебной и нравственной части», нелюбимый лицеистами за ханженство и злобную придирчивость и прозванный за это «Пилой», отчитывал стоявших перед ним воспитанников:

— Вы, господин Пушкин, и вы, господин Илличевский, снова вели себя совершенно неподобающим благовоспитанным молодым людям образом. Вы, Пушкин, яростно набросились на Илличевского и нанесли ему побои по голове и спине...

— И еще вот сюда, — добавил Илличевский, розовощекий крепыш, потирая ушибленное пониже поясницы место. — И все это понапрасну, Мартын Степанович: ведь Пушкина не я один, а многие в шутку кличут «французом» только за то, что говорит отлично по-французски.

— Раньше я из-за этого прозвища не дрался, — запальчиво проговорил Пушкин, — а нынче, когда мое отечество ведет с французами войну, когда из-за французов сторела Москва — мой родной город, разве я могу спокойно слышать такую кличку! Ведь это же...

— И тем не менее, — перебил Пилецкий, глядя на лицеистов колючими глазами, — и тем не менее драться совершенно неприлично. Вы не смеете забывать, что в будущем вам придется занимать высокие государственные должности, служить по иностранной коллегии, быть дипломатами. И вдруг эдакие потасовки. Глядеть омерзительно: волосы растрепаны, мундиры помяты. Будто вы какие-нибудь простолюдины или подгулявшие и вступившие в драку ополченцы...

— Попрекать ополченцами не годится, Мартын Степанович,— гневно произнес Пушкин.— Наши ополченцы отлично дерутся с врагом...

— Молчать! — гаркнул Пилецкий.— Приходится весьма пожалеть, что в Лицее не применяется розга. Розга — альфа и омега воспитания. Сие средство до сих пор имеет в кадетских корпусах отличное воспитательное воздействие на таких молодчиков, как вы.

Покусывая полные губы, Пушкин упорно смотрел на носки своих сапог. Его гневная вспышка против Олоси Илличевского уже прошла. Но все же... как Илличевский, да и Антоша Дельви́г и в особенности Кюхля смеют забывать, что в такое время никак нельзя называть французом его, Александра Пушкина. Разве не вместе с ним убегали все они тайком из Лицея, чтобы потолкаться на улицах и возле лавок среди простого люда и послушать, что там говорят об «изверге человеческого Бонапартии» и его «супостатах-басурманах».

Разве не сочиняли все они патриотических стихов, не мечтали о таких подвигах во имя Родины, какие совершили Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский.

— Извольте протянуть друг другу руки,— донесся до задумавшегося Пушкина требовательный голос надзирателя.

Пушкин поднял на товарища вопрошающий взгляд. Илличевский улыбнулся:

— Помиримся, Саша.

Пушкин крепко пожал протянутую руку.

— Какая у вас следующая лекция? — спросил Пилецкий.

— Николая Федоровича Кошанского по латинской и русской словесности,— ответили лицеисты.

Пилецкий бросил взгляд на свои, похожие на луковцу, карманные часы и коротко приказал:

— Марш в аудиторию!

На этот раз лекцию Кошанского, которого Пушкин называл «скучным проповедником» и высмеивал его требования писать стихи высокопарным стилем, весь класс слушал с небывалым вниманием. Да и лекция Кошанского была совершенно особенная: ни к латинской, ни

даже к русской словесности она никакого отношения не имела.

Николай Федорович рассказывал о том, чем в эти дни жила вся Россия, все ее бесчисленные деревни, хутора, поместья и города, куда только уже успела докатиться весть о бегстве Наполеона и переправе остатков его разгромленной армии через Березину.

— Дорого обошлась Наполеону эта переправа, — говорил Кошанский. — Мой кузен, коего привело в столицу тяжелое ранение, был очевидцем оной переправы, рассказывал всю губительность ее для французской армии. А уж каково расправляются с горе-завоевателями партизаны Дениса Давыдова! Даже крестьянки окрестных деревень с вилами и дрекольем охотились на вражеские отряды.

— Вот бы и нам к Денису Давыдову в партизаны! — шепнул Пушкин своему соседу.

Такое желание высказывалось на перемене многих лицейстами.

— У меня и ружье имеется, — сверкая глазами, говорил Пущин. — Оно, правда, охотничье, но, ежели партизаны воюют вилами да топорами, то и такое ружье годится.

— А мне братец пистолет подарил!

— А у меня есть настоящий кавказский кинжал!

Пушкин стремительно поднялся на кафедру:

— Я предлагаю о нашем намерении участвовать в изгнании врага из пределов нашего отечества написать Михайле Илларионовичу Кутузову. Он, свершитель столь знатных во имя отчизны дел, поймет наши чувства...

Рука надзирателя тяжело легла на пушкинское плечо:

— Чувства у вас, милостивые мои государи, большие, но годы ваши еще невелики. Придет время, и вы послужите отечеству, как надлежит истинным патриотам. Сейчас же извольте незамедлительно занять ваши места. Разве вы не видите, что господин профессор уже дожидается начать свою лекцию?

Вечером, когда гувернеры и педагоги, пожелав лицеистам спокойной ночи, разошлись по своим комнатам, в номер 14-й, в котором жил Пушкин, осторожно пробрались

его друзья Пушкин, Илличевский, Антоша Дельвиг, а за ними, осторожно ступая по скрипучим квадратам паркета, длинноногий Кюхля.

Он вытащил из кармана целую кипу рукописей — стихов, прозы и юмористических куплетов, полученных от лицеистов для журнала «Неопытное перо».

— Что ж, начнем составлять очередной номер? — предложил он.

— Нет, — решительно проговорил Пушкин, сгребая все бумаги в выдвинутый ящик стола. — Сегодня я предлагаю совсем иное.

— Что же именно? Говори, Александр! — нетерпеливо требовали товарищи.

Пушкин стал передвигать стол, стулья...

— Я вот что придумал: сейчас мы изобразим в лицах то, что нам нынче рассказывали на лекциях наши профессора — как Наполеон просил у Кутузова мира.

— Отлично! Великолепно! — одобрили лицеисты. — Я буду Наполеоном, — заявил Кюхельбеккер.

— Видали такого Наполеона? — зажимая рот, прыснул Дельвиг. Смеялись и остальные, глядя на долгоязыго Кюхлю.

— Нет, Наполеоном быть Антоше, — сказал Пушкин. — Он небольшого роста, толстенький. Ну-ка, сложи руки на груди да спусти прядку волос на лоб.

Дельвиг с готовностью исполнил то и другое.

— Отлично, — похвалил Пушкин, — а ты, Вилли, будешь Лористоном. По рассказам очевидцев ты очень схож с этим длинным наполеоновским генералом.

— А ты, Саша, конечно, будешь Кутузовым? — спросил Пушкин.

Пушкин кивнул головой и, схватив подушку, засунул ее под свой расстегнутый посредине мундир с таким расчетом, чтобы она могла одновременно создавать представление и о грузности Кутузова, и о его белом жилете. Потом, взяв трость, по-стариковски оперся на нее и прищурил один глаз. Весь его юношеский облик чудесно преобразился.

— Ну, точно живой Михаил Илларионович! Ей-богу, настоящий Кутузов! — единодушно одобрили лицеисты.

— А кем же буду я? — спросил Пушкин.

Пушкин внимательно оглядел его с головы до ног.

— Ты — полковник Бэртеми, который привез Кутузо-

ву письмо от начальника французского штаба Бертье. Прыгай на стол, Антоша. Здесь будет холм московского Кремля. Отсюда ты посылаешь Кутузову своего посла с белым флагом. Лови флаг! — Пушкин бросил ему свой носовой платок. — А за послом мира идет Лористон со своим адъютантом.

Пушин и Кюхля двинулись к Пушкину — Кутузову. Отвесив низкий поклон, «Лористон» почтительно заговорил:

— Господин фельдмаршал, вы отнюдь не должны думать, что дела французской армии в отчаянном положении. Наши армии почти равны вашим. Думаете ли вы...

— Я думаю то же самое, что думает русский народ, — перебил «Кутузов», — а наш народ смотрит на французов, как на татар, некогда вторгшихся на нашу землю под водительством Чингисхана.

— Однако есть все же некоторая разница, — обиделся «Лористон». Для изображения этого чувства Кюхля надул губы и сдвинул брови.

— Русский народ никакой разницы между сими нашествиями не усматривает, — строго возразил «Кутузов».

— Но ведь Москву сожгли не французы, а сами русские...

— Знаю, сударь мой, знаю, ради чего была принесена русскими столь великая жертва. — Пушкин тяжело вздохнул, и на его глаза навернулись настоящие слезы.

«Лористон» возмущенно пожал плечами и поплелся обратно.

Совсем так, как рассказывали на своих лекциях Кайданов и Кошанский, была разыграна «интермедия» и дальше. Согласно истории — через две недели полковник Бэртемь принес Кутузову от Наполеона новое предложение мира уже в письменной форме.

Пушкин не спеша вскрыл пакет и, просмотрев «письмо», обратился к посланцу с язвительной улыбкой.

— Уж и в толк не возьму, что отвечать вашему императору о причинах, по коим он и доселе не получил ответа на предложение о мире, посланное им в Петербург государю Александру Павловичу, кажись, недели три тому назад. Должно полагать, что господин Яковлев, повезший оное письмо, задержался в дороге по причине осенней распутицы... Что же касается меня, то покорнейше прошу

передать господину Бонапарту, что остановить русский народ, который ныне до крайности раздражен всем, что натворили французы в нашей стране, до чрезвычайности трудно. Передайте также ему, сударь мой, чтобы господин Бонапарт не изволили сетовать на русский народ за то, что в борьбе за очищение от врага своей отчизны он не делает различия между способами, принятыми или не принятыми в обычных войнах.

Лицеисты так увлеклись разыгрываемой инсценировкой событий, которые произошли поздней осенью 1812 года, что не слышали, как на пороге появился дежурный гувернер. Когда он наконец дал о себе знать легким хлопыванием ладошей, у всех «артистов» вырвался возглас:

— Экая досада! Еще бы немного...

Но вместо ожидаемого «разноса» воспитатель улыбнулся и совсем не строго распорядился:

— А все же, господа фельдмаршалы и генералы, извольте разойтись по своим номерам. Вам давно пора спать.

Но в эту ночь Пушкин долго не мог заснуть. А едва занялась заря, он вышел в парк. Среди оголенных деревьев кое-где еще трепетали, как багряные флажки, оставшиеся листья. Прекрасное творение Растрелли — Царскосельский дворец казался розовым от разливающегося с востока света. В прозрачном воздухе кружились, как белые пчелы, снежинки. Под трехстворчатой аркой у выходных ворот дремал в бараньем полушубке ночной сторож. Умолкнувшая колотушка лежала у него на коленях.

Едва только Пушкин приблизился, старик поднял голову.

— Прогуляться изволили пожелать? — спросил он, улыбаясь.

— Как думаешь, Петрович, пройдут они нынче? — задал вопрос Пушкин.

— Это то есть войска нашихние? А то как же — непременно пройдут, — уверенно проговорил сторож. — Только вы нынче уж больно рано-ранешенько собрались их встречать. Обождать малость придется. — И Петрович стал медленно скручивать «козью ножку». Но не успел он ее докурить, как со стороны Витебского шоссе все

явственной стали доноситься звуки, похожие на равномерные удары барабанов.

— Идут! — встрепенулся Пушкин.

Петрович привстал, приложил руку над глазами козырьком и молча всматривался в туманную даль.

— Так оно и есть, — наконец проговорил он, — шествуют освободители Расеюшки. Вишь, как шаг-то печатают, любо-дорого слышать...

Пушкин запахнул шинель и заторопился навстречу движущимся войскам. Ему и на этот раз хотелось ближе подойти и заглянуть в лица солдатам, которые маршем уходили в действующую армию.

«НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ»

Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось тогда русское сердце при слове Отечество.

Пушкин, «Метель»

Когда осенью 1812 года наполеоновская армия приближалась к Москве, в числе других учебных заведений был закрыт и «Благородный пансион», в котором обучался Петруша Каховский¹.

Петруше уже исполнилось четырнадцать лет, и он мечтал поступить в какой-либо полк, чтобы защищать отечество от иноземных полчищ.

Вместе с другими воспитанниками пансиона Петруша не раз обращался с соответствующей просьбой к военному начальству, но по причине того, что большинство из этих молодых патриотов не достигло еще и пятнадцатилетнего возраста, просьбы оставались безрезультатными.

Во второй половине августа Каховский по целым часам не отходил от окон дортуара, из которых были видны отъезжающие от крыльца кареты, возки и колымаги, развозящие по родным домам воспитанников пансиона.

Петруша Каховский был круглый сирота. Из родственников у него остался единственный брат, уже несколько

¹ Будущий декабрист Петр Григорьевич Каховский — член Северного тайного общества. За участие в восстании на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года был повешен вместе с Пестелем, Рылевым, Муравьевым-Апостолом, Бестужевым-Рюминым.

лет сражающийся в рядах русской армии, да двоюродная тетка — чопорная и властная владелица небольшой подмосковной усадьбы.

С полгода назад между теткой и племянником произошла крупная ссора.

Перелистывая однажды в присутствии гостившего у нее Петруши книгу прихода и расхода, Наталья Власовна начала все сердитей щелкать костяшками счетов и, наконец захлопнув книгу, хмуро проговорила:

— Скоро и вовсе жить нечем будет. Мужиков из-за постоянных войн чуть не поголовно в солдаты забрали, другие самовольно в ополчение ушли. А которые остались, из повиновения вовсе выходят и бог знает что за мысли в голове держат...

Каховский оторвался от книги и, опустив глаза, молча слушал теткино ворчанье.

— Придется, видимо, кого-либо из дворовых продать, — как бы думая вслух, продолжала Наталья Власовна, — но кого бы?.. Если Марью русую, — кружевница она отменная и в стряпне искусна. На свадьбу княжны Пуниной давала я ее взаймы, так она такие бланманже и профитроли смастерила, что гости об заклад бились с хозяином, будто яства сии французского повара рук дело... Нет, Марью продавать покуда погожу, а отдам ее куда-либо в услужение. Ну-ка, Пьер, возьми бумаги да пиши объявление в газету.

Петруша послушно взял из вазочки очиненное гусиное перо, расправил лист шершавой бумаги и выжидательно взглянул на тетку.

— Пиши: «Отпускается в услужение девка двадцати трех годов, собою видная и способная ходить за барыней, шить тонкое белье, плести кружева замысловатейших узоров, а окромя сего стряпать кушанья скоромные и постные и всяческие десертные блюда».

Наталья Власовна задумалась.

— Да нет, — сказала она после долгой паузы, — пустая затея. Что я в таком разе за девку выручу? Сущие гроши. На них и крыши на флигеле не починить. Уж не продать ли мне лучше Григория?

Каховский даже с места привскочил:

— Что вы, что вы, ma tante! Как можно продавать людей, да особливо таких, как Григорий? Не он ли взрос-

тил меня, не он ли ночи надо мною просиживал, когда болезни столь усердно посещали меня в детстве... Не ему ли обязан я...

— До свадьбы твоей, что ли, состоять ему при твоей особе, — насмешливо перебила тетка, — да и не твоего ума дело рассуждать. Пиши! — повелительно бросила она.

Петруша начал было выводить под ее диктовку: «Продается дворовый человек, знающий грамоте, может исправлять официантские должности...» — но вдруг сорвался с кресла и, разрывая объявление на части, гневно проговорил:

— Воля ваша, а подлости писать не стану. Извольте приказать заложить для меня лошадей. Минуты не желаю оставаться в дому, где допустимы подобные издевательства над достойнейшими людьми. Позор дышать здешним воздухом!

Наталья Власовна со злобным изумлением навела лорнет на взъерошенного, с пылающими щеками юношу.

Он не опустил своих полных гнева и отчаянья глаз, продолжал разрывать на мелкие клочки лист бумаги с началом злополучного объявления.

— И как вам только не совестно, *ma tante*?

Старуха медленно приподнялась с дивана и грозно указала племяннику на дверь.

А через полчаса он уже сидел в запряженный тройкой возок. Только Григорий, вопреки запрещению барыни, вышел проводить его до ворот.

— Спасибо тебе, Петруша, спасибо, заступник ты наш, — горячо благодарил он своего воспитанника, подсовывая под него медвежью полость. — А тетенька, может, и опамятуется со временем... Не век же лютовать ей...

Но прошла зима, прошли и пасхальные вакации, вот уж и лето подходило к концу, а тетка ни разу не прислала за ним и даже ни слова не написала.

Каховский и ждать перестал.

«А в сию скорбную пору ей и вовсе не до меня», — печально рассуждал он, стоя у открытого окна, в которое вливалась прохлада августовского вечера и запах первых опавших листьев.

Но радостное событие, как иногда бывает, произошло именно в тот момент, когда казалось, что оно уж и вовсе не может случиться.

Тетка не только прислала за Петрушей, но по какому-то капризу отправила за ним того самого Григория, из-за которого у нее с племянником произошла ссора.

Каховский так и повис у Григория на шее.

— Выходит, наша взяла, Григорий Филиппыч, — говорил он, радостно блестя глазами, — не продала тебя тетюшка...

— Находился было покупатель, — глядя Каховского по коротко стриженной голове, с улыбкой ответил Григорий, — да в цене, вишь, не сошлись. Из-за двенадцати рублей ассигнациями дело расстроилось.

Петруша принял к уху Григория и быстро зашептал:

— У нас в Москве прошел слух, что как разобьем Наполеона, так народ незамедлительно воли потребует. От достоверных людей идет слух сей. А тогда и у нас, как в просвещенных странах, не будет рабства, и наш раскрепощенный народ явит миру чудеса гражданской добродетели и всяческих талантов.

Григорий пристально поглядел в восторженное лицо Петруши и вполголоса серьезно проговорил:

— На сей счет и мы кое-чего наслышаны. Но об этих делах, голубь мой, мы уже опосля потолкуем. Сейчас же должно нам поспешить в путь-дорогу. Хоть она и недолга, да нынче страсть как затруднительна езда сделалась. Не то что вся Москва, и инда весь народ расейский в движение пришел...

Получив из канцелярии отпускной «впредь до особого указания» билет, Каховский поспешно уложил в возок свои скудные пожитки и свертки с учебниками.

— Тетенька приказали, чтобы ваша милость поверх пальтеца фризую шинельку надеть изволили, — сказал ему кучер, извлекая из недр возка запорошенную сенной трухой шинель.

Григорий накинул ее Петруше на плечи и примостился на облучке возле кучера.

В последний раз пробежал Каховский взглядом по всему зданию Благородного пансиона.

В некоторых его окнах еще виднелись лица воспитанников с приплюснутыми к стеклам белыми носами. Петруша по-военному приложил руку к головному убору и тронул кучера за плечо:

— Пошел, голубчик!

В имении у тетки, с первого взгляда, как будто бы ничего не изменилось.

По дому сновала разнообразная челядь, сенные девушки, нянюшки, горничные, носились моськи и болонки, для которых изготовлялись особые кушанья, хныкали и сплетничали приживалки, и дворецкий Потапыч, как и в прежние годы, по несколько раз на день важно докладывал: «Кушать подано».

Но все это, по выражению самой Натальи Власовны, была «одна видимость».

В действительности же из усадьбы в отдаленную от Москвы губернию, в имение разбитого параличом собственника уже давно был угнан скот и домашняя птица, вывезены кадушки с маслом, медом, вареньями и соленьями, отправлены тюки с коврами, сундуки с одеждой, серебром и прочим добром.

Наталья Власовна ждала только нарочного, посланного к московскому генерал-губернатору графу Растопчину за «самоновейшими сведениями».

А сведения эти были таковы, что не успел нарочный отпартировать их барыне, как по ее распоряжению из каретника были поспешно поданы к крыльцу последние экипажи.

В один из них установили большой решетчатый ящик. Ящик этот шевелился, как живой, от ерзающих в нем, дрожащих от страха и осенней стужи мосек и болонок.

Самой злющей из них — болонки Фидельки — в ящике не оказалось. В последний перед отъездом момент она спряталась куда-то и не откликалась ни на призывы самой Натальи Власовны, ни на звонкие девичьи голоса:

— Фи-де-ля! Фи-де-люш-ка!

— Григорий Филиппыч, ты в каком возке едешь? — спросил Петруша Григория, несшего погребец с закусками в барынину карету.

— Ан ни в каком. Нам с садовником Демидычем, как мы в свое время на военной службе состояли, приказание от барыни вышло, чтоб оставались мы на предмет охраны усадьбы. Лешка-сухоручка тож здесь кинут. Да оно и к лучшему, — многозначительно добавил Григорий, — глядишь, мы не только в барских холонах состоять способны.

— Коли так, я тоже остаюсь здесь, — решительно заявил Каховский.

— Воля твоя. А только тетенька воспрепятствует сему беспрерывно.

Но как Наталья Власовна ни протестовала, Петруша все же остался в опустевшем доме с тремя крепостными людьми и обнаруженной в одном из чуланов болонкой Фиделькой.

С этого времени для молодого Каховского началась новая жизнь. Никогда еще в течение своих четырнадцати лет он не ощущал ее с таким интересом и полнотой.

Сухорукий поваренок Лешка только первое время дичился молодого барчука. Но не прошло и недели, как Лешка перестал величать его «Петром Григорьевичем», а звал: «Петь, а Петь», или попросту «Петрухой», показывая ему, как надо запускать бумажного змея, как точнее попадать в городки и готовить вкусный сбитень.

Несмотря на свою усохшую руку, Лешка все делал быстро, ловко, за что и заслужил у Пети звание «молодчаги» и «ловкача».

Подростки крепко сдружились.

Высокий и широченный в плечах, садовник Демидыч, умевший выращивать махровые левкой и разноцветные на одном стебле гиацинты, был участником многих походов и носил на потертом кафтане медаль «За боевые подвиги во славу русского оружия».

Демидыч уже установил связь с окрестными крестьянами, и к нему в оранжерею сносились топоры, вилы, рогадины, «самопалы».

Петруша вместе с Лешкой помогали Демидычу и Григорию укладывать охапки сена на стеклянную крышу этого доморощенного арсенала, пока вся оранжерея не скрылась под овальной сизой копной.

Каховскому был показан секретный туда вход, место, где запрятан запасный провиант — мешок ржаных сухарей и бочонок с квасом. Показали ему и потайное оконце, из которого могут подаваться условные сигналы. При участии Петруши условились о пароле.

Вместе с Лешкой и двумя стариками Каховский, стараясь незаметно подражать им в работе, крутил из золотистых и ломких стеблей соломы тугие жгуты и втискивал их под крыши и в щели усадебных строений, чтобы «в случае чего» спалить все дотла, но не отдать лютому врагу.

Вместе с этими тремя, ставшими ему такими близкими людьми Петруша садился в людской за гладкоструганный стол и уплетал немудреные «людские» кушанья.

Особенно нравился ему печеный в золе картофель. С удовольствием обмакивал Петруша подрумяненную и хрустящую на зубах его корочку в общую деревянную солонку.

А какие замечательные беседы велись по вечерам в людской, скупой озаренной масляным светильником!

Лешка, большую часть времени шнырявший по московским окрестностям, передавал все, что слышал об «изверге рода человеческого, корсиканском кровопийце Бонапартии».

— Ну до чего же, братцы вы мои, лютует супротив него народ,— ломающимся баском повествовал он,— особенно свирепо бабье. Они лупят французиков, а сами приговаривают: «Пушай и детям своим и внукам закажут, как на нашу Расею хаживать». А одна бабка пода-ла было им, тоись врагам, испить, а опосля как хватит этой самой крынкой оземь: «Опоганенная, говорит, она теперь, потому как бусурманы из нее хлебали...»

Каховский завидовал Лешке. Сам он ничего подобного не видел и не слышал. Попросился было у Григория отпустить и его с Лешей, но старик решительно воспротивился.

— Куда тебе, не привышный ты грязь месить да не емши шататься. А окромя того тетенька пригрозить изволили: «Не углядишь племянника — навечно в Сибирь угоню...» — И видя, как его отказ огорчил воспитанника, ласково добавил: — Да ты не горюй, уже придет и твое время удаль молодецкую показать.

Желая внести и свою лепту в интересные беседы в людской, Каховский рассказывал о том, что знал из книг.

Он рассказывал об Александре Невском, о Петре, о битве при Лесной, когда русские солдаты, впервые посаженные на коней, наголову разбили шведского генерала Левенгаупта:

— Битву сию император Петр назвал «матерью Полтавской баталии». И еще участвовал мой дед в морской битве под водительством самого Петра у устья Невы. Петровы гвардейцы в простых рыбацких лодках атаковали шведскую эскадру и захватили два вражеских ко-

рабля. За участие в этом деле дед мой медаль получил. Я вам ее сейчас покажу.

При слабом мерцании масляного светильника медаль переходила из рук в руки. На одной ее стороне были изображены корабли среди бушующих волн и блеска молний, а на другой — славянской вязью была выгравирована надпись: «Небываемое бывает».

— Золотые слова, — с восхищением говорил Григорий, — чтоб на рыбацких лодках да военные корабли полонять! У протчих народов подобного случая быть никак не могло. А у нас, выходит, бывает.

После таких бесед Каховский нескоро засыпал в своей маленькой темной спальне. В его воображении проносились картины грандиозных битв и великолепные подвиги овеянных славой героев.

Он страстно, до горячих слез мечтал и сам свершить что-либо такое, за что в России из поколения в поколение будут славить имя Петра Каховского.

В одну из бессонных ночей Петруше показалось, что кто-то снаружи замахал перед окном его спальни большим факелом. Перемежающийся свет этот скользил беспокойными бликами по стенам и дрожал в стеклах книжного шкафа.

«Ужели так быстро миновала ночь? — подумал Петруша. — Но нет, свет этот вовсе не схож с заревым».

В этот момент раздался сильный стук в окно.

— Петь, а Петь, — послышался взволнованный Лешкин голос, — вставай скорейча. Москва, слышь, горит. Мы с дядей Гришей и Демидычем на крышу лезем... Прибегай скорейча!!

Страшное и величественное зрелище открылось перед четырьмя людьми, прижавшимися друг к другу на высокой крыше барского особняка.

В той части горизонта, где раздольно раскинулась Москва, ночную темь разрывали гигантские костры пылающего города. По черному небу полыхали полосы пламени, как будто разъяренный невидимый великан взмахивал по нему огромной огненной кистью. В воздухе, гудящем набатом окрестных деревень и многозвучным всполохом людских жилищ, пахло теплой гарью.

С этой ночи Петруша часто оставался один в пустой усадьбе. Лешка совсем ночевать не приходил, Демидыч и Григорий тоже часто и подолгу отсутствовали.

— Ты не серчай, Петруша,— сказал как-то Григорий,— сам, чай, понимаешь, время нынче какое! Мы с Демидычем, сам знаешь, сколько годов на военной службе находились. Ну, мужики к нам и лепятся. Вчерашнюю ночь Демидыч ими верховодил, а нынче мой черед. Делов, и наисурьезнейших, во сколько...

— И много вы их уже?..— понимающе спросил Петя.

— Это ты насчет басурманов? Стараемся, как полагается. А армия его прямо-таки потерянная выходит. За всякую пададь драку поднимают, по дворам шарят. У нас в мужицком отряде — и то порядку больше. А ты вот что, Петруша,— помолчав, добавил он,— шатаются вояки сии окрест Москвы. Так в случае сюда пожалуют, улови миг и ныряй к потайному ходу в оранжерею. У нас там всегда караульные наготове.

— Пароль тот же, что раньше предполагался? — спросил Каховский.

— Он самый...

Но, оставаясь в одиночестве, Петруша не скучал. Он много читал, играл на клавесине или, забравшись на крышу, подолгу смотрел в старинный дедовский бинокль на заволоченную сероватым туманом Москву.

Однажды, когда он читал о битве на Куликовом поле и внимательно рассматривал старинную карту, изображающую места исторического этого сражения, по всему дому гулко разнеслись тяжелые удары в ворота.

— Это они...— побелевшими губами прошептал Петруша и для чего-то наглухо застегнул все пуговицы своей куртки.

Он словно прирос к месту, а сердце его билось так громко, что он не мог понять, стучатся ли все еще в ворота или уже в дверь столовой, в которой он находился.

Да, это были отребья наполеоновской армии, солдаты, которые, добравшись до Москвы, вместо того чтобы наслаждаться плодами победы, испытывали на себе всю тяжесть жестокого разгрома, гениально задуманного Кутузовым и осуществленного русским народом.

— Входите, тут только один мальчишка! — крикнул тот, кто с ружьем наперевес первым переступил порог.

За ним вошло еще несколько таких же оборванных, грязных людей, трусливо озирающихся по сторонам.

— Эй, мальчик, сооруди-ка чего-нибудь пожевать,— и солдаты пояснили свое требование жестами.

Каховский, не шевелясь, в упор смотрел на пришельцев.

— Однако этот маленький русский похож на молодого волчонка, который под Можайском бросился на Люсьена... Кто из взрослых находится в этом доме? — всячески стараясь быть понятым, обратился к Петруше один из солдат.

— Кроме меня, здесь нет никого, — ответил Каховский по-французски.

Солдаты повеселели.

— О, если он понимает по-французски, — заговорили они, перебивая один другого, — следовательно, он сын или родственник кого-нибудь из хозяев этого имения, непонятно для чего оставшийся в покинутом взрослыми доме. Но в настоящий момент нас интересует не это, а если остался, то его, несомненно, обеспечили продовольствием. И ему, для его же, черт возьми, пользы, дается совет на деле доказать прославленное русское хлебосоольство...

Каховский уже вполне овладел собой.

— Мы гостеприимны только с теми, кто входит в наш дом желанным гостем, — спокойно и строго проговорил он, — тех же, кто вломился силой, мы выгоняем прочь.

— Хо-хо-хо, — рассмеялись солдаты, — посмотрите на этого молокососа. Как ловко он подражает взрослым. Ну, да мы заставим его быть любезнее.

Они шумно разместились вокруг стола и стали трясти над ним свои ранцы.

Только из одного выпали полуобглоданная кость и картофелина.

Обладатель этого лакомства жадно схватил и то и другое.

— Император Наполеон и в самом деле заботится только о тех солдатах, которые говорят на французском языке, — злобно глядя на грызущего кость, проворчал рыжий баварец.

— Да здравствует в таком случае столь заботливый император! — сквозь чавканье проговорил насмешливо француз и бросил баварцу кусок недоеденной картошки.

— Год назад наш генерал фон Бреде не советовал зарвавшемуся корсиканцу придирааться и дразнить Россию. Так не послушался, каналья. А мы теперь расхлебываем его подлости...

Кривоногий капрал и чёрный, как жук, саксонец, который так непочтительно отозвался только что о Наполеоне, стали рыться в комодах и шкафах по всем комнатам.

В одной из них из-под дивана раздалось злобное рычание собаки.

Капрал ринулся на этот звук и через мгновение вытащил за шиворот оглушительно визжавшую Фидельку. Ее выпуклые, как черные бусы, глаза яростно сверкали из-под нависшей на них длинной белой шерсти. Маленькие лапки отчаянно царапали держащие ее заскорузлые руки.

— О, да из этого кролика можно будет приготовить отличное рагу, — очень довольным тоном проговорил капрал и, присев на корточки, полоснул тесаком по хрупкой собачьей шее, повязанной запачканным поддиванной пылью голубым бантом.

— А вот и еще дичь! — крикнул саксонец и выстрелил в пролетающую мимо окон ворону.

Стекла со звоном посыпались на паркет. Просунув голову в разбитое окно, солдат жадно следил за грузно летящей к пруду птицей. Ему показалось, что она упала на берегу, и, гремя башмаками, он кинулся за добычей.

В столовой солдаты так увлеклись свеживанием маленькой собачьей тушки, что как будто вовсе забыли о подростке, притаившемся у выходящего в сад окна.

А Каховский сквозь легкую гардину видел, как по липовой аллее пробежал оборванный солдат и как осторожно приподнялось потайное оранжерейное оконце. А через минуту вслед за солдатом, пригнувшись к увядшей траве, проскользнула широкоплечая, в перетянутом зипуне фигура. Потом до Петрушиного слуха донесся приглушенный вопль и тяжелый всплеск воды.

Каховский все понял, но продолжал стоять в той же невозмутимо спокойной позе со скрещенными на груди худыми руками.

— О ля-ля! — радостно заорал баварец, рывшийся в большом дубовом буфете, украшенном вырезанными по дереву дикими утками и рыбами. Он победоносно поднял над головой бутылку с узким высоким горлышком. Сквозь ее толстое стекло темнела густая, как сироп, наливка с плавающими в ней разбухшими вишнями.

— Скорей жарьте своего каплуна,— крикнул баварец,— а выпивка налицо!

— Смотри только не вылакай ее, пока мы будем возиться на кухне,— ответили солдаты.

Уходя стряпать, они оставили следы своих окровавленных пальцев на высокой, обитой палевым кретоном спинке вольтеровского кресла и на светлых тисненых обоях.

Как только они удалились, баварец торопливо обстругал смолистую пробку. Но при попытке вытащить пробку зубами он обломил ее, оставя большую часть глубоко ушедшей в узкое горлышко.

Нетерпеливо пошарив по карманам и в ящиках буфета и не найдя там штопора, баварец вдруг требовательно обратился к Каховскому:

— Эй, мальчишка, ну-ка проткни пробку. Пальцы у тебя сухи, как гвозди. Я мог бы, конечно, отбить это дурацкое горло, но имеется риск пролить напиток...— И он сунул бутылку в холодные Петины руки: — Ну же, пошевеливайся...

Стиснув зубы, Каховский вертел в пальцах бутылку. Его лоб пересекала морщина напряженной мысли.

— Что же ты? — рявкнул баварец.

Петруша с усилием ткнул указательный палец в бутылочное горло. Пробка слегка передвинулась вниз.

Солдат рванул бутылку, но петрушин палец застрял в ней и только хрустнул в суставе.

Баварец побагровел:

— Убери палец, или я раскрошу его вместе с этой проклятой посудиной.

Каховский зажал бутылку в коленях и изо всей силы дернул палец. Он посинел, но остался неподвижен.

Солдат схватил юношу за плечи и бешено затряс:

— Ты что же, болван, так и будешь ходить с этим украшением на пальце. Отвечай, черт тебя подери!

— Нет,— не разжимая стиснутых зубов, ответил Каховский,— я придумал способ открыть бутылку.

— Говори же, каким образом! — нетерпеливо заорал солдат.

— А вот таким.— И высоко подняв обеими руками бутылку, Каховский изо всех сил ударил ею по рыжей голове баварца. Тот ахнул и повалился на пол. Струйки

густой наливки смешались с хлынувшей из пробитого черепа кровью. Сочные вишни градом рассыпались по столовой. Несколько из них упали на белую шкурку Фидельки и алели на ней, как пятна ее крови.

Каховский рванул раму, перескочил через подоконник и вихрем помчался к оранжерее. Подбежав к потайному входу, он дважды коротко свистнул и негромко произнес:

— «Небываемое...»

— «...бывает», — послышался ответный пароль.

К Л Я Т В А

Подъезжая к Спасскому, родовому имению своей матери, Иван Сергеевич Тургенев и на этот раз, как и в прежние свои приезды, испытывал мучительно двойственное чувство.

С жадной после разлуки любовью глядел он на поля, покрытые молодыми зелеными, на легкое кружево едва распустившихся лесов. Полной грудью вдыхал запах лугов и с наслаждением прислушивался к веселому гомону взбудораженных маем птиц. Все это с детства дорогое, близкое и родное заставляло его сердце сильнее биться от радости. Но как только он представил себе, что вот сейчас станет свидетелем невыносимого деспотизма и произвола, царившего в Спасском по милости его матери, душу его наполнила такая тоска, что он едва удержался от того, чтобы не приказать кучеру повернуть обратно.

Старый его дядька Федор Иванович Лобанов, в детстве учивший его русскому языку по «Россиаде», в первый же вечер пришел к нему, чтобы рассказать о нововведениях, придуманных Варварой Петровной в своей вотчине.

— Сами рассудите, голубчик вы мой, Иван Сергеевич, — жаловался он, — распределили матушка ваша всю челядь наподобие царского двора. Девочек приказали звать фрейлинами, дворецкого Панфилыча окрестили Бенкендорфом, а меня, старика, статс-секретарем. Мужиков — комнатных слуг обрядили в пудренные парики, обучают разным манерам и приседаниям. А коли что забудешь — беда. Намедни приказали мне Варвара Петровна кликнуть им «министра почт». Мне и невдомек, кто это такой. Стою

я, соображаю... а Варвара Петровна размахнулась хлыстом и... вот глядите.

Он снял со щеки повязку, под которой открылся багровый рубец, идущий от виска к седому усу.

Тургенев схватился за голову и закачался из стороны в сторону, как от сильной боли.

— А министром почт, оказывается, назначили Ванюшку, — утирая одинокую слезу, медленно сползающую по щеке, продолжал Федор Иванович. — А еще придумали, чтобы их на носилках вроде как китайских мандаринов носили...

Не успел уйти старый дядька, как запыхавшись прибежал Порфирий Кудряшов, который в последний раз ездил с Тургеневым за границу в качестве его камердинера.

Там Иван Сергеевич обращался с ним как с равным и даже разрешил посещать лекции по медицине, к которой у Кудряшова было большое пристрастие. Но закончить медицинское образование ему не удалось: Варвара Петровна так же неожиданно, как отпустила, потребовала его возвращения обратно.

Иван Сергеевич дружески протянул Кудряшову руку. Тот схватил ее обеими горячими руками и долго не мог от волнения произнести ни одного слова.

— Зачем, зачем вы брали меня с собой, — наконец заговорил он прерывающимся голосом. — Зачем я узрел свет, науку... Не для того ли, чтобы моя рабья доля показалась мне еще невыносимей, еще горше.

— Порфиша, — ласково заговорил Тургенев после долгой паузы, — Расскажи ты мне, что за бунт здесь произошел. Матушка мне писала.

— Какой там бунт, — горько махнул рукой Кудряшов. — А оскорбился народ, да так оскорбился, что во век не забудет. Такие обиды, Иван Сергеевич, оставляют в людских душах жало.

С нескрываемым гневом он рассказал о том, что послужило причиной бунта: ранней весной подкатила к господскому дому из Москвы телега. На ней стоял какой-то необычайный конусообразный стог соломы. Когда стали разбирать этот стог, вышла на крыльцо сама Варвара Петровна и то и дело покрикивала: «Осторожней, осторожней!» Под соломой оказался большой стеклянный колпак. И когда крестьяне в очередной день пришли к

барыне, чтобы «бить ей челом» о какой-то милости, Варвара Петровна усевшись на крыльце в свое похожее на трон кресло, приказала покрыть себя этим колпаком, чтобы «не дышать со смердами одним воздухом».

— Мужики сначала словно обомлели, — рассказывал Кудряшов, — а потом ровно по уговору повернули всем миром и бессловесно пошли прочь. На другой день всю деревню за это жестоко перепороли. Четверо умерло. Многих я и посейчас лечу. Вот и весь бунт...

По случаю приезда Тургенева в Спасском теснились гости, устраивались танцы, пикники. Крепостной молодежи было приказано водить хороводы и петь веселые песни.

А молодой хозяин был неизменно хмур, искал уединения, и Варвара Петровна на свой вопрос: «Где Иван Сергеевич?» часто слышали один и тот же ответ: «Отбыли с Дианкой на охоту».

Бродя по болотам и полям, Иван Сергеевич пришел к твердому решению уехать от матери не осенью, как предполагал раньше, а после того, как только ему удастся начистоту объясниться с нею.

«Уехать как можно скорей, пока моя душа не искалечена вконец. Уехать, уехать, — мысленно повторял он, встречая заплаканные девичьи лица, понурые мужские головы.

Уехать и не возвращаться сюда до тех пор, покуда будет положен конец здешнему произволу и кнутобойству».

В один из синих вечеров в конце мая Иван Сергеевич вернулся с охоты в особенно грустном настроении. Дианка, умевшая переживать со своим хозяином многие из его душевных передраг, медленно плелась за ним с печально опущенным хвостом. Едва Тургенев вошел к себе в мезонин, как к нему постучался «министр почт» — шестнадцатилетний мальчик Ваня. В красном, обшитом галуном камзоле, в белых чулках и башмаках с пряжками, он молча, как того требовала от слуг Варвара Петровна, подал Ивану Сергеевичу на серебряном подносе несколько писем и объемистую бандероль.

Бегло взглянув на нее, Тургенев мгновенно узнал очередной номер «Отечественных записок».

«Если Грановский писал правду, в этой книге должна быть рецензия на мою поэму», — подумал он, торопливо срывая почтовые наклейки. Нетерпеливый взгляд его

скользнул по оглавлению. Вот... вот его фамилия и рядом, после названия и каких-то знаков, два сверкающих слова: «Виссарион Белинский».

Тургенев схватил еще неприбранный охотничий нож и торопливо разрезал пахнущие типографской краской страницы:

«Стиль разбираемой поэмы обнаруживает необыкновенный поэтический талант, а верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония — все это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его». И чем дальше читал Тургенев, тем горячее приливалась кровь к его щекам, тем выше подымалось в груди чувство гордости и счастья.

Наконец, он оторвал от журнала глаза, налитые слезами восторга, и взволнованно повторил:

«Стиль в поэме обнаруживает необыкновенный поэтический талант». И это пишет обо мне не кто иной, как Виссарион Белинский! Но коли у меня такой талант — это значит, что жизнь моя облагорожена высокой целью. Что передо мной раскрывается широкий, светлый путь служения литературе, а через нее — служения нашему многострадальному народу». Он отложил книгу и зажмурил глаза, как перед внезапно вспыхнувшим ослепительным светом.

Мысли, быстрые и легкие, как стая весенних птиц, реяли в его голове, наполняя ее радостным шумом.

— Надо сказать об этом маменьке, — внезапно решил он и, схватив журнал, почти пробежал длинную анфиладу комнат.

Варвара Петровна только что уселась в нагретое толстой ключницей кресло. Две девушки, стоя на коленях, растирали ей каким-то целительным бальзамом синеватые отеки на ногах.

— Entrez ¹, — сухо отозвалась Варвара Петровна на стук в дверь.

«У него в лице нынче что-то особенное, — наведя на сына лорнет, подумала она, — но тоже не наше — не лутвиновское». — И нахмурилась, не отводя лорнета.

¹ Войдите (франц.).

Этот скользящий по всей его фигуре материнский лорнет и ее сурово поджатые губы мгновенно прогнали радость Тургенева. Он с досадой взъерошил свои длинные каштановые волосы. Взгляд матери поднялся вслед за его рукой.

— Я желала бы знать, — насмешливо щурясь, заговорила Варвара Петровна по-французски, — что это за мода у нынешних молодых людей, даже аристократических фамилий, носить длинные волосы на манер дьячков? После заграницы можно было бы приобрести хотя некоторую элегантность.

— В Берлине многие носят такую прическу, — ответил Тургенев по-русски.

Одна из девушек украдкой взглянула на него, но все же Тургеневу показалось, что она одобрила не только его кудри, но и всю высокую, статную фигуру. Варвара Петровна заметила короткий перегляд между молодыми людьми и резко сказала:

— Берлинские моды мне не указ, а когда я говорю по-французски, то и отвечать мне должно на этом же языке... Зачем пришел?

— Я хочу поделиться с вами моей большой радостью, *таман*, — ответил Тургенев и протянул ей «Отечественные записки».

Варвара Петровна посмотрела на книгу, но не взяла ее.

— Это что-то по-русски. А я, как тебе известно, признаю этот язык лишь в обиходе с холопами.

— Но здесь обо мне написано, *таман*!

— О тебе? — удивленно подняла брови Варвара Петровна.

— Я напечатал свою поэму, и ее хвалит знаменитый Белинский.

Варвара Петровна равнодушно пожала плечами:

— Дворянин, да к тому же богатый, может, конечно, иметь прихоти. Но к чему выносить свою блажь на люди?

— Это не блажь, матушка. Я твердо решил сделаться писателем.

Варвара Петровна тяжело остановила на сыне взгляд своих злых черных глаз:

— Ты решил, да еще твердо, стать писателем? А знаешь ли ты, что для меня *ecrivain ou gratt-papier est tout un*¹.

¹ Что писатель, что писарь — все едино (*франц.*).

— А Пушкин! — воскликнул Тургенев.

— Что Пушкин? Жил по горло в долгах, воображал о себе невесть что... Ну и получил по заслугам.

У Тургенева побелели щеки, но он сдержался и внешне спокойно спросил:

— Вы, кажется, отличали поэта Жуковского?

— Отнюдь не как поэта, — перебила Варвара Петровна, — Жуковский был придворным. И, пожалуйста, не спорь со мной. Знаешь ведь — терпеть этого не могу.

— Я пришел не затем, чтобы спорить с вами, — заговорил Тургенев очень медленно и тихо, потому что сердце его билось шумными, тяжелыми ударами, — я пришел умолять вас не превращать в пытку жизнь наших крестьян. Снять со своей и моей души муки совести за все тяжкие обиды, которые мы им нанесли...

Варвара Петровна дернулась в кресле и приподнялась на локтях всем своим грузным телом.

— Что такое? — зловеще протянула она.

Но в этот момент одна из девушек быстро обернулась, чтобы налить себе на руку из флакона с бальзамом. При этом движении ее пушистая как льняной жгут коса, взметнувшись, смахнула с пуфа золотой лорнет. Одно стеклышко, ударившись о бронзовое украшение секретера, разбилось вдребезги.

— Ах ты, куроцапка подлая! — гневно вскрикнула Варвара Петровна. — Вон с глаз моих!

— Помилюте, матушка барыня, ненароком я, — дотрагиваясь лбом до барыниных ног, лепетала девушка.

Варвара Петровна толкнула ее в грудь ногой.

— Маман! — возмущенно крикнул Тургенев.

— Молчать, — резко обернулась к нему старуха, и над ее густыми, сросшимися бровями набрякли две тугие жилки.

— Ступай, — приказала она девушке, — да скажи куаферу Мишке, чтобы оттяпал тебе твой дурацкий хвост.

Девушка в отчаянии всплеснула руками и, рыдая, убежала из будуара.

Другая продолжала старательно делать свое дело, но несколько проворных слезинок неосторожно упали с ее ресниц на желто-смуглую отечную ногу. Варвара Петровна брезгливо отдернула ее:

— Оботри фиалковой водой и убирайся вон!

Когда Варвара Петровна осталась наедине с сыном, она сказала тем же гневным тоном, каким только что говорила со своими рабынями:

— Заботиться о мужиках не твоя печаль. Они не наши, а мои. И ничьего вмешательства в мои дела я не потерплю.

Тургенев исподлобья в упор смотрел на мать.

— Что же касается твоей затеи сделаться писателем, то — это *du dernier mauvais genre*¹. И вот тебе мое последнее слово: либо женись на достойной девице, за тебя, при твоей внешности и богатстве, любая пойдет, либо служи, как подобает дворянину и аристократу. Связи у меня на сей счет найдутся. Слышал?

— Я не могу дышать спасским воздухом, — горячо ответил Тургенев, — он отравлен людским горем. Не могу, поймите же...

— Так я не держу тебя, — хрипло закричала Варвара Петровна, — прочь, прочь, пошел с глаз моих!..

Тургенев, упрямо наклонив голову, пошел к двери.

Вернувшись к себе, он велел позвать Кудряшова.

— Уезжаю я отсюда, Порфиша. Завтра чем свет уезжаю.

Кудряшов побледнел:

— Заберите и меня с собой, Иван Сергеевич, — с мольбой проговорил он, — погибну я здесь.

Тургенев тяжело вздохнул:

— Маменька в таком гневе, что просить ее отпустить тебя бесполезно. Говорил я тебе тогда за границей — не возвращайся. И эта белокурая Гертруда твоя тоже просила, так ведь не послушался...

Кудряшов с укором посмотрел на Тургенева:

— Что вы, Иван Сергеевич, как же я мог не вернуться — ведь родина, она тянет пуще родной матери.

— Но ведь ты знаешь матушку, — проговорил Тургенев.

Кудряшов крепко стиснул пальцы своих рук:

— Мне бы доучиться только на лекаря, а уж тогда я бы ей любые деньги за свою вольную отдал...

Небо над верхушками лип затеплилось едва заметным отблеском зари, когда Порфирий бесшумными шагами вышел из кабинета Тургенева. А тот еще долго стоял

¹ Крайне дурной тон (франц.).

у окна, подставив разгоряченное лицо свежему утру-
нику.

По приезде в Петербург, узнав адрес Белинского, Иван Сергеевич отправился к нему на Съезжинскую улицу. Богатая барская коляска и породистые лошади вызвали общее любопытство жителей этой улицы, привыкших видеть на ней, и то не часто, захудалые извозчики дрожки. Но вот важный тургеневский кучер остановился по указанию будочника у небольшого двухэтажного дома, над входом в который красовалась полинялая вывеска прачечного заведения. В распахнувшейся фортке нижнего окна в клубах пара показалось разгоряченное женское лицо.

— Господин Белинский здесь проживает? — спросил кучер.

— А он кто такой будет? — с любопытством глядя мимо кучера на нарядного седока, ответила женщина.

— Сочинитель он, — ответил за кучера седок и тоже вышел из коляски. — Пишет он, литератор.

— Это, должно, верхний жилец, — сказала женщина. — Заморенный такой... Идите через двор. Тут будет лесенка наверх, ветхая лесенка, да вы не опасайтесь, не обломится...

В комнате, единственное окно которой выходило почти вплотную на бурую стену, стоял серый полумрак, и от этого вся обстановка ее, простая и бедная, казалась покрытой пыльными чехлами. Среди этой тусклой серости неожиданно ярким пятном алел на окне кустик цветущего олеандра.

Белинский сидел спиной к двери, и его худые лопатки отчетливо выступали под стертым сукном халата. Он повернул голову к входившему, и в его больших серо-голубых глазах мелькнуло неудовольствие.

— Я — Тургенев, — взволнованно проговорил Иван Сергеевич.

Белинский быстро протянул ему худую, горячую руку:

— Очень, очень рад. Прошу садиться, — указал он на второй и последний стул возле единственного стола. — Я о вас писал. И много слышал.

Тургенев смутился:

— Обо мне болтают много пустых анекдотов, Виссарион Григорьевич.

— Болтают, — перебил Белинский, — но я не придаю им значения.

— Я пришел просить вас, чтоб вы руководили мною, как мудрый учитель своим учеником, — проговорил Тургенев с проникновенной торжественностью.

Белинский еще раз протянул ему руку. Не выпуская ее из своей, Тургенев продолжал в том же тоне:

— В юности я мечтал обрести могучий нравственный авторитет. Ныне я обрел его в вашем лице, Виссарион Григорьевич. И от этого безмерно счастлив.

Белинский с улыбкой отмахнулся от этих высокопарных слов и зашагал по комнате.

— Я вас, Иван Сергеевич, причислял к тем баричам, коих не уважаю за их безделье, за приверженность к так называемой чистой красоте, за бесконечную болтовню о прекрасном, возвышенном. По правде сказать, мы все болтаем много. Вчера на Арбате, сегодня на Сивцевом Вражке, завтра на Съезжинской или Стремянной. Болтаем, когда надо действовать, и действовать изо всех своих сил.

Неожиданно остановившись против Тургенева, он посмотрел в его широко открытые голубые глаза и твердо проговорил:

— Скажу вам напрямик: ваша «Параша» со временем так же потускнеет, как поблек и никому не нужен «Ганс Кюхельгартен» Гоголя перед его «Ревизором», перед его несравненными «Вечерами на хуторе». У вас есть все, чтоб стать большим писателем. У вас есть глубокое чувство действительности.

— Но меня упрекали в подражательстве Пушкину и Лермонтову, — вырвалось у Тургенева.

— Напрасно, — горячо перебил Белинский. — Иначе с вами не могло и быть...

Он запахнул халат и продолжал:

— Быть под неизбежным влиянием великих мастеров родной литературы и рабски подражать им — совсем не одно и то же: первое — есть доказательство таланта, жизненно развивающегося; второе — бесталанности.

Остановившись у окна, Белинский наклонился к цветущему олеандру.

— Ишь как распушился, — проговорил он с нежностью. — А этот вот не выдержал, захирел, — с грустью прибавил он, перебирая увядшие листки примулы.

Тургенев смотрел на его аскетический профиль и бледное, без кровинки ухо, казавшееся совсем восковым рядом с розовостью олеандра.

Так же неожиданно, как подошел к цветам, Белинский оторвался от них и снова принялся шагать из угла в угол.

— Можно сказать и даже доказать,— заговорил он после паузы,— что без Державина, Жуковского и Батюшкова не было бы Пушкина. Но отнюдь нельзя доказать, чтоб он что-нибудь заимствовал от своих учителей или в чем-нибудь и чем-нибудь не был неизменно выше их. Великие реки,— воодушевляясь, продолжал он,— состояются из множества других, которые, как обычную дань, несут им обилие вод своих. Но кто может разложить химически воду, например, Волги, чтобы узнать в ней воды Оки или Камы? Приняв в себя столько рек, и больших и малых, Волга пышно катит свои собственные волны, и все, зная о ее бесчисленных похищениях, не могут указать ни на одно из них, плывя по ее широкому раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана твореньями предшествовавших поэтов. Скажем более: она приняла их в себя, как свое законное достояние, и возвратила их миру в новом, преображенном виде.

Тургенев не мог оторвать глаз от вдохновенного лица Белинского. Он слушал его с затаенным дыханием.

Вдруг, не постучав в дверь, вошла женщина в грязном переднике, держа в вытянутых руках kloкочущий медный самовар.

— Нынче останним углем вскипятила,— сердито проговорила она, ставя самовар на кафельную плитку, очевидно, заменяющую поднос.— И сахар весь.

Белинский досадливо поморщился:

— Завтра все купим, Марфуша.

— Завтра, завтра,— передразнила женщина, расставляя на столе стаканы, хлеб и сахарницу.

Белинский налил чаю себе и гостю и, помешивая ложечкой в своем стакане, глубоко задумался.

Марфуша, пробурчав еще что-то относительно того, что «у нас все не как у людей», вышла из комнаты.

Неожиданно Тургенев с болью в голосе воскликнул:

— Трудно вы живете, Виссарион Григорьевич...

Белинский строго взглянул на него.

— Да, Петербург явился для меня страшною скалою, о которую больно стукнулось мое российское прекраснодушие. Меня едва не убило поначалу зрелище общества, в котором властвуют подлецы и посредственности. В стра-

дании бросился я в литературную деятельность. Но в ней же я нашел выход из самого страдания.

Он нервно потерял свою небольшую русую бородку и сделал жест в сторону убогой комнаты:

— А что до моей бедности... Я отдал в залог Краевскому свою душу, но что поделаешь, коли сей издатель дешево ее ценит.

Он посмотрел на Тургенева своим глубоким, карающим взглядом и строго проговорил:

— Десятки миллионов живут много тяжелее моего.

Беседа больше не клеилась, и, допив чай, Тургенев стал прощаться.

— Я тоже пойду с вами, — заявил Белинский, — нынче я вовсе не выходил из дому. А что ни говори — стоит весна, и ей следует оказать должное внимание.

Наскоро переодевшись в серенькую тужурку и накинув на плечи поношенную шинель, он спустился вслед за Тургеневым по скрипучей лесенке.

Ивану Сергеевичу стало неловко перед Белинским за свою нарядную коляску, и он сделал кучеру знак, чтобы тот уезжал. Когда они подходили по уже затихающим к ночи улицам Петербургской стороны к Троицкому мосту, им встретился уса́тый чиновник тюремного ведомства.

— Прелестная погода, господин Белинский, — с ядовитой любезностью проговорил он. — А когда, все-таки, ко мне пожалуете? Ведь я для вас казематик давно наготове держу-с.

Белинский, презрительно взглянув на чиновника, обратился к изумленному Тургеневу:

— Видите, Иван Сергеевич, как я популярен? Меня даже комендант Петропавловской крепости знает.

У Зимнего дворца они остановились, чтобы проститься. И оба залюбовались Невою, дремотно катящей свои волны, отливающие перламутровыми бликами под задумчивым небом белой ночи.

— Где вы проводите лето, Виссарион Григорьевич? — спросил после долгого молчания Тургенев.

Белинский пожал плечами:

— Врачи не позволяют проводить его без воздуха и зелени. А средства не позволяют уехать дальше Лесного.

— Отлично, — искренне вырвалось у Тургенева, — в таком случае, я поселюсь на даче в Парголове, и мы будем часто встречаться.

— Разве вы не едете к себе в имение? — недоверчиво спросил Белинский.

Глаза Тургенева вдруг сверкнули упорством.

— Нет, не поеду, — твердо произнес он. — Я не могу жить рядом с тем, что я возненавидел. Я чувствую необходимость отойти от своего врага, чтобы из моей дали смелее напасть на него. Враг этот — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решил бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться. И это — моя Аннибалова клятва...

МАРИАМ

Старый Али Мурад то и дело украдкой поглядывал на дочь. Уже высокий конус вышитых ею тюбетеек был готов к сдаче в артель. Но Мариам, видимо, и на этот раз собиралась перевыполнить норму: иголка так и мелькала в ее проворных руках...

«Чем дальше, тем больше Мариам делается похожей на свою покойную мать,— думал старик,— так же скользят с ее плеч черные змейки кос, так же падает от длинных ресниц густая тень на ее смугло-розовые щеки. Такая же она работающая, умелая. И так же засматриваются на нее, как некогда заглядывались на ее мать, не только молодые парни, но и степенные мужчины. Вот только характером Мариам другая. Она не хочет жить так, как ее бабка и мать, а все норовит поступать по-своему. Такая уж теперь молодежь — старых законов не признает. Девушку, как моя Мариам, нельзя долго держать дома. Я стар, братьев у нее нет...»

— Послушай, дочка,— прервал старик свои размышления,— ты, конечно, знаешь моего друга Арна Овеза?

Мариам насторожилась.

— Это тот, у которого борода похожа на кукурузную метелку, а голос как у верблюда, которому хочется есть?

— Не болтай глупостей,— строго сказал Али Мурад,— мужчина не должен быть красив, если он умен, богат и здоров. Я недавно заезжал к нему по делу, и он при мне открывал сундуки с нарядами, которые остались у него от его жен.

— Наверно, много сундуков показывал тебе Арна,— насмешливо проговорила Мариам.— Говорят, он схоронил трех жен, а другие убежали от него. Говорят...

— Замолчи, Мариам,— перебил отец,— если у мужчины умирают жены, это значит, что так было угодно аллаху.

— А если жены убегают от мужа — это, наверно, тоже угодно аллаху,— не спросила, а уверенно произнесла Мариам. И ресницы ее дрогнули.

— Что может понимать в премудрости аллаха твоя семнадцатилетняя, да еще женская голова,— сдерживая гнев, возразил Али Мурад.— Арна Овез видел тебя не раз, ты ему нравишься. И он дает за тебя столько, что даже в прежние времена редкая девушка приносила отцу такой калым.

Мариам выпрямилась и в упор посмотрела на отца. Она ничего не сказала, но в ее взгляде было что-то такое, что окончательно рассердило старика.

— Арна Овез в последний раз видел тебя в Тахиа Таш, когда ты вместе со своей подругой Гозель выходила из книжной лавки. Он удивлялся: «Зачем девушкам понадобилось заходить в книжную лавку?» Но ты ему нравишься, и он на этот раз уже решительно заговорил о свадьбе.

— А что ты ему ответил, отец? — спросила Мариам, и брови ее сдвинулись.

— Я обещал ему подумать. И буду думать целую неделю. Пусть он знает, что я не так уж тороплюсь выдавать замуж свою Мариам даже за такого зажиточного и мудрого человека, как Арна Овез.

Мариам снова склонилась над вышиваньем, но нитки поминутно рвались в ее вздрагивающих пальцах.

Вечером, когда она подавала отцу таз для омовения ног, в теплую воду с ее ресниц скатилось несколько быстрых слезинок.

Заметив это, старик заговорил примирительно:

— На днях мы поедем с тобой в Тахиа Таш. Если там уже имеются лавки, в которых продаются красивые платки, я куплю тебе к свадьбе самый большой, с длинной бахромой. И еще на платье сама выберешь...

— Спасибо, отец,— с явной насмешкой произнесла Мариам.— В Тахиа Таш уже есть не только магазины. Там есть и библиотека и кино... Гозель водила всю нашу бригаду смотреть картину — «Далекая невеста».

— Нашла чем хвалиться,— проворчал старик.— Девуш-

кам не полагается ходить туда, где бывает много мужчин. Твоя Гозель плохой бригадир, если она так поступает.

— Гозель уже не бригадир вышивальщиц. Она...

— И хорошо сделали, что ее выгнали, — перебил отец.

— Ее никто не выгонял, она закончила курсы механиков и теперь работает крановщицей на строительстве канала, — с гордостью за подругу возразила Мариам.

— Что может сделать с машиной девчонка, — усмехнулся Али Мурад, — да еще с такой большой машиной, у которой шея чуть не до самого неба. — Он опустил на коврик и, шепча что-то старчески синеватыми губами, все медленней и медленней перебирал янтарные четки.

Когда Мариам убедилась, что отец задремал, она осторожно достала из потайного местечка недовышитую тюбетейку, предназначенную для того, кого избрало ее семнадцатилетнее сердце. Узор на этой тюбетейке был такой затейливый, а расцветка такая яркая, как будто девушка вложила в них свои мечты о счастливой любви.

С вечера Мариам долго не могла уснуть. Она думала об отце.

Почему он считает себя вправе распоряжаться ее судьбой? Он говорит, что в какой-то древней книге сказано, будто женщина должна беспрекословно подчиняться мужчине — будь то отец, муж или брат... Но ведь древняя книга написана давным-давно. А почему сейчас отец даже мысли не допускает, чтобы Мариам сама выбрала мужа, хотя бы того славного парня-комсомольца, который при встречах так ласково смотрит на нее, а когда улыбается, то кажется, будто рот его полон очищенных зерен урюка... Как горячо и как понятно говорит этот парень о том, что советский народ переделывает природу на свой лад. Что он укротит и своенравную Аму-Дарью, как укрощает джигит дикого коня. Что волей советских людей воды этой реки вольются в создаваемый канал и потекут по землям Туркмении до самого Каспийского моря. Что вдоль всего этого канала высокой стеной встанут акации, тополя, клены, шелковица, ясень. Что эти леса будут защищать от песчаных ураганов новые города и поля, на которых вместо колючего и жесткого янтака и кустиков тамариска будут цвести цветы, зеленеть фруктовые сады... И там, где, как волны океана, на необъятных песках Каракумов желтеют раскаленные солнцем барханы, снежной белизной засверкают плантации хлопка...

Белозубый, стройный комсомолец говорит обо всем этом с таким несокрушимым убеждением, что Мариам начинает казаться, будто она уже видит перед собой все великолепие преображенной природы ее родного края.

А отец словно зажмурился, не желая видеть ничего нового. Он не верит в возможность переустройства жизни потому, что об этом ничего не сказано в древних священных книгах, и еще потому, что пророки, создавшие эти книги, сулили людям счастье не на земле, а в потустороннем мире...

Только под утро Мариам заснула, успокоенная решением рассказать своей подруге Гозель о том, что говорил сегодня отец, и посоветоваться, как быть с его затеей выдать ее замуж за Арна Овезова. Гозель читает умные книги и умеет так рассказывать о том, что в них написано, что девушки слушают ее затаив дыхание. И братья у Гозель комсомольцы, а старший учился в Москве и теперь секретарь райкома...

Солнце едва только поднялось над горизонтом, но и безоблачное небо и песчаная степь уже дышали зноем, когда Мухамед Мурад увидел с высокого холма давно знакомое ему урочище Тахиа Таш.

Но как оно изменилось! Весь левый берег Аму-Дарьи, от которого именно у Тахиа Таша начиналось «наступление» на пустынные Кара-Кумы, был покрыт неведомыми старику машинами, каждая из которых делала свое важное и трудное дело. Портальные краны, лебедки, деррики, самосвалы, грейферы, бульдозеры... Целые колонны грузовиков и товарных вагонов, целые караваны барж привезли сюда турбины, дизеля и моторы, сибирские разборные дома и еще пахнущие дремучим бором лесоматериалы, Челябинские тракторы и ящики с измерительными приборами и аппаратурой для лабораторий...

Реку бороздили юркие катера, моторные лодки. По суше мчались легковые машины и бурно дышащие, запылавшиеся мотоциклы.

Спешившись, Мухамед Мурад долго смотрел на этот огромный лагерь строительства. Потом обернулся к дочери, передал ей узду своего коня и медленно пошел в город.

Мариам, проводив отца до дома, в котором жила его старая сестра, отпросилась к Гозель.

К счастью, у Гозель был выходной день, и девушки могли провести его вместе.

Когда Мариам рассказала подруге о своей беде, та нахмурила брови и сердито проговорила:

— Удивительно живучи предрассудки у наших стариков. Твой отец очень любит ссылаться на древние священные книги. Но для всех трудящихся, и в том числе для нас, туркменских девушек, существуют другие «священные» книги. Они написаны гением человечества. По их законам никто не смеет насильно выдавать девушек замуж за кого бы то ни было и за какой бы то ни было калым. И ты не горюй, Мариам. Правда, отец твой упрям и властолюбив. Но ведь мы с тобой живем в наше время. Не плачь, у тебя найдутся защитники. Вот увидишь — найдутся!

Мариам схватила Гозель за руки, и обе закружились в стремительном танце.

Их звонкий смех долетел до комнаты, в которой сидели оба брата Гозель и несколько их товарищей.

Перед ними на большом столе лежали чертежи, готвальни, карты будущей трассы канала и пикетажные книжки геологов.

— Пойди позови сестру, — обратился к Гуссейну младший брат Гозель, — скажи, что мы рассмотрели сменный рапорт геологической разведки и теперь готовы заслушать ее доклад о работе среди девушек — строителей канала.

Гуссейн улыбнулся, блеснув зубами, белыми, как очищенные зерна урюка, и, осторожно ступая, пошел туда, откуда веселым каскадом рассыпался девичий смех. Приподняв висевший над дверью палас, он увидел обеих девушек. Гозель ударяла в такт танцу ладонями, а Мариам в упоении исполняла этот танец. Девушки не заметили его прихода. А Гуссейн заметил, какие крошечные ножки у Мариам, заметил, как горели ее щеки и вздрагивали длинные ресницы. И невольно заплодировал танцорке.

Мариам испуганно вскрикнула и запахла лицо белым шарфиком.

— Если облачко закроет звезду, которой любовался человек, все же человек видел и не забудет ее сияния, — почтительно кланяясь, проговорил Гуссейн.

— Ой, как ты умеешь красиво говорить, Гуссейн,— засмеялась Гозель,— совсем как Ромео, которого я видела на сцене в ашхабадском театре, или как у нашего поэта Шабенде юноша, который умел преодолевать все препятствия, мешающие ему соединиться с любимой...

— Или как советский комсомолец,— опять сверкнул улыбкой Гуссейн.— Тебя ждут, Гозель...

— Бегу. А ты Расскажи Мариам, что говорят о rapprochement женщины великие учителя коммунизма. И помоги ей в ее обиде.

Через несколько дней после возвращения из Тахиа Таша старый Мухамед Мурад, сидя в тени персикового дерева, потягивал прохладный чал¹. Перед стариком, почтительно склонив голову, стоял Гуссейн. С первых же слов гостя, взволнованно-вкрадчивых, Мухамед Мурад понял, к чему клонится его речь. Однако старик не находил нужным возражать, пока гость не выскажется до конца. Но чем спокойнее потягивал хозяин чал, тем беспокойней звучал голос Гуссейна.

— Скажи напрямик, Мухамед Мурад,— наконец решительно спросил он,— отдашь за меня свою Мариам?

— Мариам созрела, для того чтобы стать женой. Ты говоришь, что твои предки были храбры и их подвиги славятся в нашем народе наравне с песнями самого Махтумкули. Что же, это неплохо. Но плохо то, что ты слишком молод, что ты не только не сможешь отблагодарить меня за мою дочь, но едва ли сумеешь даже прокормить ее.

Мухамед Мурад прищурился и медленно провел рукой по своей седой бороде.

— Стыдно спрашивать калым за дочь,— гневно произнес Гуссейн, выпрямляясь во весь свой высокий рост, и длинная тень от его фигуры протянулась почти до самой юрты, где, чуть приподняв завешивающий дверь ковер, притаилась Мариам.

Ее глаза напряженно следили за тем, что творилось под персиковым деревом. Она видела, как Гуссейн судорожно сжимал в руках нагайку. Как он сдвинул на затылок меховую шапку, и его лоб над загорелым лицом казался повязанным белой лентой.

¹ Чал — напиток из верблюжьего молока.

Мариам видела и то, как отец с подчеркнутым спокойствием несколько раз пропустил сквозь кулак свою седую бороду. Девушке очень хотелось знать, о чем они разговаривают.

Но ей мешало слышать громко стучащее в груди сердце.

Неожиданно Гуссейн взмахнул нагайкой и так сильно ударил ею по столу, что кувшин опрокинулся и из его узкого горлышка на песок потекла струйка чала. А через мгновение Гуссейн, круто повернувшись, быстрыми шагами подошел к своему коню. Пригнувшись к седлу, он понесся вскачь, и клубы пыли поднялись за ним на дороге. Только когда они улеглись и глухой стук копыт совсем затих, Мариам осторожно приблизилась к отцу.

— Что нужно было этому парню? — спросила она, стараясь казаться спокойной.

— Молокосос убеждал меня отдать тебя за него за муж. Сначала хвастался своими предками. Потом уверял меня, что через три-четыре года он будет водить по каналу пароходы. Через три-четыре года, — повторил Мухамед Мурад с иронией. — Человек не может знать даже того, что будет с ним к заходу солнца, а пока... Какой же он жених в сравнении с Арна Овезом!

Мариам глубоко вздохнула. Вытерев пролитый по столу чал, она взяла кувшин и направилась с ним к арыку. Ее босые ноги легко касались нагретого за день песка и оставляли совсем маленькие следы по сравнению с теми, которые остались от сапог Гуссейна.

Уже угасала вечерняя заря, уже задрожала над дальними хребтами первая звезда и у соседней юрты вспыхнул в мангале огонь, когда Мухамед Мурад позвал к себе дочь.

— Пастух передал, что еще три овцы принесли ягнят. Утром пораньше сходи за ними. Да смотри неси осторожно!

Мариам молча наклонила голову.

Напрасно старик на другой день долго дожидался дочь с поля. Напрасно измучил коня, рысая за нею по соседским кишлакам. Напрасно он снова прискакал к стаду.

При его приближении крутолобые овцы опять пугливо шарахались в сторону, опять выкатывали на него свои агатовые глаза и поджимали жирные курдюки. Пастух повторил то же самое.

Когда на утренней заре Мариам, забрав ягнят, вышла на большую дорогу, наперерез девушке как из-под земли поскакал всадник. Все произошло в мгновение ока. Едва только улеглись поднятые им тучи пыли, как степь была совершенно безлюдна: ни девушки, ни всадника... И если бы не три жалобно блеющих у дороги ягненка, можно было бы думать, что все это только приснилось старому пастуху.

Не переставая стегать взмыленного коня, Мухамед Мурад помчался в Тахиа Таш, прямо к тому дому, в котором жила Гозель.

Не перестали еще бурно вздыматься у коня бока, как старик снова появился на крыльце в сопровождении братьев Гозель.

— Никогда не ожидал такого поступка от Гуссейна, — с досадой проговорил старший. — Придется отдать его под суд и, конечно, немедленно исключить из комсомола.

— Не торопись, — ответил Амон. — Ты заметил, как отнеслась сестра к словам старика? Заметил, как она улыбнулась.

— Кто их разберет, этих девчат... — пожал плечами Атаджан.

Ночью, в одной из придорожных чайхане, между Мариам и Гуссейном происходило объяснение.

— Если отец не хочет отдать меня тебе, ты не смел насильно увезти меня, — упрекала Мариам Гуссейна.

Он стоял поодаль, и лицо его, освещенное луной, было бледно и взволнованно.

— Я даю твоему отцу самый большой калым — мое сердце. Оно принадлежит тебе, милая Мариам...

— Не ты ли говорил мне, что по учению новых великих мудрецов запрещается, чтобы женщина была вещью в руках мужчины. Но ведь твои руки, как и руки моего отца, мужские руки. И выходит, что я остаюсь рабыней, вещью... — Мариам охватила тонкими руками свои колени, поджала их и положила на них голову так, чтобы Гуссейн не видел ее лица.

— Ты ошибаешься, Мариам, — горячо воскликнул Гуссейн. — Смотри, мы провели вместе целую ночь, но я не прикоснулся к тебе и не прикоснусь, пока ты не позволишь мне. Это Арна Овез хочет сделать тебя рабыней.

Я же хочу, чтобы ты полюбила меня и пожелала стать моей женой, товарищем, другом... Твой отец упрям, и я страшусь, что он заставит тебя выйти за Овеза. А при одной мысли об этом...— Гуссейн стиснул зубы и кулаки.

— Ты нехорошо поступил, Гуссейн,— Мариам подняла голову, и глаза ее сверкнули в полуосвященной чайхане.— Ты все же не смел украсть меня.

Гуссейн ловил каждый звук ее голоса, каждое движение. Ему хотелось поднять и подать Мариам свалившийся с ее плеч платок. Но он боялся шевельнуться, чтобы не испугать ее.

— Я только одно понимаю и чувствую, любимая моя,— кусая свои запекшиеся губы, проникновенно проговорил он,— если ты не будешь моей, я перестану дышать...

Председатель народного суда неистово звонил в колокольчик. Но народ, переполнивший зал судебных заседаний,— туркмены, узбеки, казахи, русские — бурлил, как поток, вырвавшийся из ущелья.

Пестрые чапаки, белые тюрбаны, войлочные широкополые шляпы, тюбетейки, выгоревшие под беспощадным солнцем...

Гневные жесты, упрямые бронзовые скулы, горячая, быстрая речь, в которой имя Гуссейна повторялось чаще других.

Старики негодовали:

— Если наших дочерей будут воровать, зачем нам растить их? Какая от них польза отцовскому дому?

Друзья подсудимого старались охладить разгоряченные головы отцов:

— Гуссейн не оскорбил Мариам. Он только хотел защитить ее от произвола отца...

— А кто из вас был с ними ночью в чайхане? Откуда ты знаешь, что там произошло? — кричали старики.

— Гуссейн честный комсомолец. А когда погоня настигла их, он покорно отдался в руки властей...

— Нет, он грабитель, вор! — упорно возражали старики.— Его надо судить, и так строго, чтобы и товарищам его было неповадно...

Только один человек казался совершенно безучастным к тому, что творилось вокруг. Он как будто был заброни-

рован от негодующих взглядов, от злобных выкриков — это был подсудимый.

Коротко отвечал он на вопросы председателя и только молча пожал плечами, когда его спросили:

— Признаете ли вы себя виновным в похищении девушки Мариам, дочери Али Мухамед Мурада?

Проходящих перед судом свидетелей Гуссейн даже не удостоивал взглядом. Не повернул он голову и в сторону Мухамед Мурада, который требовал для него самого сурового наказания.

Но вот председатель суда приказал:

— Позовите девушку Мариам.

В зале воцарилась напряженная тишина.

Подсудимый, приподнимаясь, впился глазами в медленно приближающуюся к судейскому столу Мариам. Его лицо порозовело, словно на него упали лучи восходящего солнца. А когда девушка подняла на него искрящийся взгляд, Гуссейн улыбнулся и прижал руку к сердцу.

На вопросы судьи об имени, отчестве и фамилии Мариам отвечала чуть слышно. Но вот лукавая улыбка скользнула по ее ярким губам, голос ее окреп и зазвучал.

— Напрасно хотят обвинить Гуссейна в тяжелом преступлении. Он не украл меня. Я сама просила у него защиты от отца, который требовал, чтобы я вышла замуж за старого Арна Овеза...

— Так почему же Гуссейн молчит?! — раздалось со всех сторон.

— Может быть, он разлюбил меня, — опуская глаза, ответила Мариам. — Может быть, он не хочет всенародно обидеть меня таким признанием. Может быть...

Гуссейн так и рванулся к ней с распростертыми руками. И ее слов больше нельзя было разобрать. Целый ураган возгласов одобрения и возмущения, смеха и рукоплесканий бушевал в зале заседаний. Председатель суда не переставал звонить в колокольчик. Общественный обвинитель, сиюсь перекричать всех, произносил какие-то слова, но их не было слышно, и он был похож на большую рыбу, выброшенную на берег...

А Мариам и Гуссейну казалось, что они одни во всем необъятном светлом мире.

ПЕРЕДВИЖКА В ТАЙГЕ

— Вставай, вставай, паря, чо разоспался,— будил Архишчыч своего молодого гостя,— я уж и Пегашку запрёг. Слышь, Кешка? Ветрило седни злющий, как бы тебе не запоздать к ночи. Да вставай же, говорю,— рассердился старик, увидя, что парень, приподняв было голову, снова натянул на плечи военную шинель.— Какой же ты есть красноармеец? Красноармеец должен по первому шороху на ногах быть, а он — накося. Ну и дрыхай хоть до полдня, язви те...

И Архишчыч сорвал свое недовольство на трущемся об его валенки коте: отшвырнул его ногой под мягкое брюхо. Кот обиженно фыркнул, а старик стал нарочито громко бросать в печь поленья.

— Так, сказываешь, вставать пора? — раздался за его спиной протяжный со сна голос.

— А то рази нет? — откликнулся старик.

Красноармеец, выпятив грудь, изогнулся дугой и ловко вскочил с лавки.

— И то проспал,— ахнул он, взглянув в окно, где за морозным узором густо синел рассвет.

— А через кого проспал,— оправдывался он, торопливо оправляя на себе гимнастерку и наматывая бумазейные портянки,— все через нее, через Таиску. Не девка, а сплошное сопротивление.

— Ври больше,— сказал дед, поворачивая ухватом чугунок с задымившимся картофелем.— Таиска тута и во-все не была.

— Тут-то не была. А вчера на культбазе у нас с нею за полночь бой шел. За каждую книжку дрались: какую не

схвачу, она, ведьма, обратно тянет. До того жадная до книг девка. «У меня, говорит, на них черед, а ты из рук рвешь». А мне без этих книг хоть на пункт не возвращайся. У нас, понимаешь, дед, вынесено постановление, чтоб декаду классиков провести. Ребята мне крепко и наказали, чтобы я им «Каренину Анну», да «Онегина», да Тургенева «Отцов и детей» обязательно предоставил.

— Эвона сколько, — неопределенно проговорил Архипыч.

— А Таиска, — продолжал Кеша, — положила мне будто на смех две тонюсеньких «Капитанских дочки», да «Тарас Бульбу» с «Ревизором». Правда, Лермонтова дала и журналов разных порядком прибавила, да ведь задание было Пушкина всего приволочь. Насилу Толстого том выцыганил.

Дед поставил на стол картошку и разрезал пополам буханку пшеничного хлеба.

— Садись-ко! Поешь на дорогу, — пригласил он.

Красноармеец разломил длинную, похожую на большой боб картофелину, ткнул ее сахаристую белизну в деревянную солонку и, выдыхая обжигающий пар, съел вместе с шершавой коричневой кожурой.

— Садиться некогда, дедушка, — проглотив другую картошку, проговорил он и затянул поверх шинели поскрипывающий кожаный ремень.

— Однако, проголодаешься, — озабоченно предупредил старик и, неодобрительно оглядев гостя с головы до ног, добавил:

— В шинелишке, браток, не доедешь. В два счета простынешь.

— Авось ничего, — задорно улыбнулся парень.

Дед нахмурился:

— Ты меня слушай, бери мою доху. Я в ней две зимы партизанил, а тогдашние морозы против нынешних куда здоровее были. Доха, паря, теплющая. В ней в прежние времена золотопромышленники Второвы на свои прииски езживали.

— А опосля тебе, что ли, подарили? — насмешливо спросил Кеша.

Старик поглядел на него из-под сурово нависших седых бровей:

— Выменял мне ее сынок Гоша у вдовы колчаковца. Привез из Читы, «На, говорит, папаша, Носи, грей

старые кости», — и ушел на красный фронт со своим деповским отрядом. Вскорости его и убили... — Архи́пыч сделал вид, что до слез обжегся картошкой, и сердито отодвинул чугунок.

Когда красноармеец уложил в сани аккуратные свертки «передвижки», дед вынес из избы огромную медвежью доху и накинул ее ему на плечи.

— А как тебе понадобится? — спросил уезжающий. — Я ведь сюда через декаду приеду.

— Вали, вали, — отмахнулся старик. — Да гляди, как к Поповой сопке подъезжать будешь, рассупонь маленько коня. Хомут-то ему малый, как бы шею не надавил.

Красноармеец застегнул под подбородком пуговицы шлема и примостил рядом с собой винтовку.

Старик подал ему краюху хлеба.

— Проголодаешься — ишшо как пожухеешь, — уверенно сказал он, подсовывая в сани свисавшие полы огромной шубы.

Кеша приложил руку к шлему и тронул вожжи.

Пегашка, давно уже нетерпеливо перебиривший заиндевельными ногами, с явным удовольствием засеменял к воротам. Но лишь только выехали на дорогу, вдогонку слышался голос Архи́пыча:

— Стой, паря, стой-ка!

Натянутые удила заставили Пегашку остановиться.

— Чуть было не забыл, — запыхавшись, проговорил подбежавший старик и протянул красноармейцу неполную бутылку водки.

— Да я ее в рот не беру...

— Бери, бери, коли даю! — приказал старик. — Она тебе на эдаком морозе послужит. Аль я меньше твоего понимаю, — ворчал он, засовывая водку в бездонный карман дохи. — Погода-то вон кака, — ткнул он пальцем в снежную муть дороги. — Табачок есть?

— Есть и спички, — ответил Кеша.

«Заботливый старичок, — подумал он, — недаром наши ребята так его уважают».

Как многолетний кедр, укоренился на опушке бескрайней тайги старый партизан, и действительно любили его и знали и красноармейцы и комсомольцы обширной округи, примыкающей к пограничной полосе. И никто из них

не объезжал гостеприимного зимовья Архипыча без того, чтобы не заночевать или, по крайней мере, не отогреться горячим чаем.

«Будто опять к замшевелому пню, так и они ко мне ютятся», — с очень глубоко спрятанной нежностью рассуждал о молодежи старый Архипыч.

Первые часы пути вдоль опушки тайги прошли незаметно. Пегашка размеренно бежал, и пар от его дыхания беспокойным облачком вился у дуги. Ветер дул в спину, не в силах проникнуть сквозь густую шерсть дохи, и красноармеец замечал его лишь по поземке, взметывающей седые космы со снежных сугробов. А когда свернули в самую тайгу — и вовсе забыл о нем. Так здесь было величественно-тихо и спокойно.

Малиновое и безлучистое в морозном тумане солнце, только поднявшись к самой вершине неба, могло заглянуть сюда и осветить как будто покрытые вековой ржавчиной могучие стволы сосен. Они загорелись красной начищенной медью, а густые тени под мохнатыми приземистыми елями стали еще чернее от ослепительно засверкавших прогалин.

Откуда-то с высоких вершущек деревьев срывались большие пушистые комья снега. С легким шорохом они то застревали на отягченных ветвях, то падали на самую дорогу, по которой, поскрипывая, катились сани. Подымая кверху зоркий взгляд, красноармеец всякий раз вслед за таким шорохом видел в зеленой вышине юркую мордочку белки и ее важно приподнятый пушистый хвост.

«Вот бы настрелять Таиске на шубенку», — неожиданно для самого себя подумал Кеша и весело запел ту самую частушку, которую вчера на прощанье задорно пропела ему Таиска-библиотекарша.

Милый чо, да милый чо!
Чо ж ты сердишься, на чо?
Чо ли, люди чо сказали?
Чо ли сам заметил чо?

Пегашка наострил уши и заметно прибавил ходу.

Красноармеец вынул было из внутреннего кармана гимнастерки «Тараса Бульбу», но читать было решитель-

но невозможно: белый пар от его дыхания застилал строки и инеем оседал на ресницах.

У крутого подъема Поповой сопки, помня наказ Архипыча, Кеша выпрыгнул из саней и стал распускать ремень у хомута.

— Не балуй, — отмахнулся он от лошади, которая забрала было в свои мягкие темные губы отстегнувшийся край его шлема. — Ехать надо, глупый! — и намотав на руку вожжи, пошел в гору, придерживаясь за оглоблю.

Когда подъем был взят, не только Пегашкина грива и спина покрылись густым инеем, но поседели и выбившиеся на лоб густые пряди Кешиных волос, и воротник дохи по обеим сторонам его раскрасневшегося лица. Перед спуском он снова наладил упряжь и, вскочив в сани, правил стоя, покручивая кнутовищем над головой. Под горой солнце уже скуперее освещало дремучую толщу нетронутого леса и огромные, как застывшие волны, снежные сугробы. Четкая, словно вырезанный из синего картона силуэт, бежала слева от саней тень вздрагивающей под дугой лошадиной головы, перемежающихся в быстром беге ног и крупной фигуры седока.

Сменив скачку на медленную рысцу, лошадь продолжала бежать по дороге, потянувшейся узким темным ковром по высокому коридору просеки.

— Ну, теперь вали напрямик, Пегашка, я на тебя надеюсь, — сказал красноармеец и, завернувшись в доху по самые брови, подсунул побольше сена за спину. — Ты ведь, как говорится, здешний старожил, — продолжал он, обращаясь к коню, — и уж не подкачаешь в случае, если я даже маленько того... вздремну...

Услышав за собой протяжный зевот, Пегашка чуть покосил своим большим агатовым глазом и, почувствовав неподвижно повисшие вожжи, как бы успокаивающе взмахнул головой: ему и впрямь очень хорошо была знакома эта дорога, и ни в чьих указаниях он, собственно, не нуждался.

Пробежав вольно километров около восьми, он несколько не удивился тому, что вековые сосны, стоящие сплошным строем по обеим сторонам дороги, расступились, давая место овальной прогалине, покрытой тонким, как коричневое кружево, кустарником. Лошадь знающе обходила ненужные подъемы и колкие кусты замерзшего

багульника, издававшие четкий треск при порывах все усиливающейся поземки.

За прогалиной сосны снова подошли стеной, и узкая полоса неба меж их вершинами проливала только слабый сумеречный свет. Все больше и больше замедляя бег, лошадь перевела его на тихий шаг, при котором до ее ушей долетало из саней ровное дыхание спящего. Хоть и заметно стемнело, но Пегаш отлично рассмотрел впереди две знакомые раскидистые сосны, как дозорные, стоящие у разветвления дороги. От них оставалось уже не так далеко до теплой конюшни пограничного пункта, а значит, и до изрядной охапки душистого сена.

Бодро тряхнув гривой, Пегашка с такой готовностью рванулся к этим соснам, что сани, раскатившись, крепко стукнулись о запорошенный снегом пенёк. От толчка красноармеец проснулся, откинул воротник и быстро приподнялся.

Лошадь, боком стоящая в оглоблях, тянулась к снегу.

— Но-но, балуй! — окрикнул ее парень, оглядываясь по сторонам. — Куда ж это мы с тобой заехали? Эх я — Севастьян, не узнал своих крестьян, Это мы, должно, уж у второй развилины находимся. — И, круто укоротив левую вожжу, слегка хлестнул ею по лошадиной спине.

Конь с повернутой влево головой упорно забирал вправо.

— Что ты, язви те, спятил? — рассердился Кеша. — Куда тебя черт несет! — и, крепко стегнув коня, заставил его повернуть влево.

Короткий таежный день угасал быстро, и сине-лиловые сумерки сменялись густо надвигающейся ночью. Неохотно пробежав довольно долгое время, Пегаш остановился, упрямо опустив голову. Ни слова, ни удары кнута на него не действовали. Конь точно прирос к месту.

— Урос на тебя напал, леший, — вылезая из саней, сказал Кеша, — теперь у тебя хоть костер под брюхом разводи — с места не сдвинешься. Ну, ладно, отдохни маленько. — Парень потянулся, разминая затекшие от долгого сиденья ноги и напряженно всматриваясь в окружающий сумрак.

— Видно, ты, браток, был прав, — проговорил он с раздумчивой серьезностью и поправил на «братке» сбившуюся шлею. — И впрямь надо было взять тогда вправо.

— Ну чего не бывает, паря,— оправдывался Кеша и широкой полкой дохи снял ледяные сосульки с ресниц коня.— Сейчас разведку произведем,— продолжал он,— а коли что — и запривалим. Ночью можно будет по звездам путь держать, мы в этом кое-чему учены. Дорога-то ведь под нами есть.

Сбросив шубу в сани, он пробежался вперед. Твердый настил дороги, действительно, чувствовался под ногами, но скоро потерялся у большой поляны, окаймленной со всех сторон черным поясом леса.

— Верно, тут летом сено косили да по зиме свозили,— догадался красноармеец,— вот она какая, дорога-то.

Вернувшись к лошади, он взял ее под уздцы и с трудом довел до поляны.

— Ладно, будь по-твоему,— сказал он,— однова запривалить придется.

Выпрягши лошадь, он набрал из саней охапку сена и поднес ее к самой морде. Но лошадь жадно припала к снегу.

— Что ж, попей маленько, ты к этому привычный,— разрешил красноармеец,— теперь бы валежничку натаскать да костер сварганить, да боюсь, разомлеем оба от тепла, авось и так обойдемся.

Он вспомнил о дедовском хлебе и водке. Краюха замерзла так, что даже крепкие Кешины зубы с трудом отгрызли от нее несколько кусков. Водка ледяным комком застряла в бутылке.

— Ишь ты, видно, мороз за сорок перехлестнул. Ешь, ешь, браток,— подкидывая лошади сена, похлопал он ее по загривку. Пропев раза два вчерашнюю Тайскину частушку, он крепко привязал коня к оглоблям, а сам, снова прозябнув, полез в сани и завернулся в доху.

В темноте лес как бы придвинулся ближе и теснее окружил едва белеющую поляну, на которой уже с трудом различались очертания саней, лошади и седока.

Черная тишина лютой стужи нарушалась только ровным хрустом сена на Пегашкиных зубах. Вскоре и эти звуки замерли.

...А среди ночи Кеша вдруг явственно увидел, что кто-то разжег все-таки веселый огонь у самого его привала. Полыхающее пламя осветило сосны. Веселые огненные язычки облизывали их смолистые иглы, которые загорались пучками искристых звезд.

Разбуженные белки целыми стайками запрыгали с ветки на ветку, все ближе и ближе спускаясь к земле.

«Да тут не одной Таиске шубейка будет,— с восторгом подумал Кеша и уже взялся было за винтовку, как самая близкая белка, сверкнув острыми зубками, улынулась вдруг лукаво, совсем как Таиска.

— Поменяю шкурки на книжки,— задорно предложила она,— а то я их в огонь швырну.

— Я те брошу,— шутливо пригрозил Кеша.

— А, не хочешь,— хохотала Таиска,— не хочешь, так я тебя орехами, орехами...

И она, а за нею и другие белки стали швырять в него пригоршни орехов. Они попадали и в нос и в щеку, да так больно, колко... А потом Таиска, а за нею — уж не понять — не то белки, не то девахи, подбежали к саням и стали трясти их. И уж не смеялись, а хрипели не то от злобы, не то от натуги...

Кеша выпал из саней лицом в снег. Это прикосновение вернуло ему сознание. Мигом сообразив, что замерзает, красноармеец вскочил на ноги и тотчас же различил взвившегося на дыбы коня. Опрокинутые сани ерзали и трещали от отчаянных усилий лошади оборвать вожжи, которыми она была привязана к оглоблям. Испуганное хрипение со свистом вылетало из ее груди.

— Пегаш, Пегаш, что ты, браток, что ты? — бросился к нему Кеша.

Сломанная оглобля больно ткнула красноармейца в бедро. Он торопливо полез в карман за спичками. Слабый огонек, сейчас же затухший порывом ветра, все же успел мелькнуть в пегашинном глазе, дико косившем куда-то в сторону.

Кеша быстро повернулся туда же. Его напряженно-встревоженный взгляд наткнулся на несколько пар медленнодвигающихся по краю поляны зеленых фосфорических огней.

«Волки!» — мгновенно пронзила его сознание острая мысль.

Он вскинул винтовку в сторону перемежающихся огней. Эхо раскатисто повторило выстрел и замерло где-то в далекой гуще.

Огоньки дрогнули, отхлынули, но едва только красноармеец успел провести рукой по дрожащему крупу коня, как тот снова заржал тоскливым, отчаянным ржанием.

Огоньков стало больше, и приближались они уже полукруглой цепью. Снова грянул выстрел, и снова ахнуло и загоготало эхо.

Снова дрогнули и замигали зловещие зеленые огни, с тем чтобы снова и снова возвращаться все ближе на нестерпимо влекущий запах разгоряченной лошади.

Несколько раз вслед за выстрелом из темноты доносились вой и грызня.

Уже в обойме остался последний заряд, когда в лихорадочно работавшем мозгу бойца всплыло слышанное от сибиряков:

«Волик, он огня боится. Его огнем только и отгонишь».

— Эх, не собрал валежника, дуралей,— обругал себя парень,— ну, да постойте, анафемы!

Он быстро выхватил из саней охапку оставшегося сена, чиркнул спичкой. Первая погасла, вторая, защищенная полкой дохи, затеплила суетливый огонек. Сено вспыхнуло, отогнав тьму, захлестнувшую и зловещие огни.

Торопливо обшарив сани, Кеша наскреб еще несколько пучков сена и расчетливо подбрасывал их в огонь.

— Эх, кабы утро поскорее,— вслух проговорил он, поднимая глаза кверху.

Тяжелые снежные тучи низко неслись над тайгой, и только раз в их разорванной гряде мелькнуло несколько далеких бесстрастных звезд. Сено догорало, и вместе с последними вспышками костра там, в недалекой чернеющей близи, снова вспыхнули фосфорически горящие волчьи глаза.

Кеша как будто бы уже различал даже шорох сильных, влияющих шагов. Он содрал газету с попавшей под руку пачки книг и бросил в тлеющий ворох пепла.

Раздраженно-злобный вой слышался со стороны поляны.

Пегашка забился, как подстреленный.

— Цыц, ты! — крикнул на него Кеша и стал сдирать газеты, в которые так аккуратно были завернуты пачки его «передвижки».

Враг выжидал, как будто уверенный в неминуемой победе.

«Неужто классиков из-за этого зверья жечь? — с отчаянием подумал красноармеец, сминая в руках последний комок газеты.— Да нет,— решил он,— вышибу задок у саней».— И он изо всей силы двинул прикладом в спинку

кошевки. Две доски отлетели в сторону. Разломив о колено, Кеша швырнул их в середину костра. Дерево вспыхнуло неторопливо и степенно. За задком полетело в огонь еще несколько боковых досок, за ними облучок, конец сломанной Пегашкой оглобли, а когда костер окреп и его свет разлился большим багровым кругом до самых стволов леса, боец, в одной гимнастерке, кошкой бросился за валежником и, кидая его в огонь, повторял:

— Нет, сволота, чтобы из-за вас классиков губить,— не пройдет этот номер. Не пройдет!

Он так увлекся горячей защитой классиков, что не заметил, как небо над его головой стало сперва синеть, потом побелело и, наконец, запылало малиновой парчой морозного рассвета.

Не видел он также, как из лесу, с той самой стороны, откуда ночью грозили ему отступившие теперь враги, выехал пограничный конный отряд.

И только когда звонкий окрик «Стой!» прокатился по снежной поляне и эхо ответило ему многократным «ой-ой-ой!», Кеша выпрямился и, приставив ладонь к воспаленным глазам, улыбнулся подъезжающим товарищам.

АКТРИСА

В колхозном клубе шла генеральная репетиция концерта самодеятельности.

Счетовод Миша Гуляев очень гордился тем, что нарисованная им афиша заслужила общее одобрение. Особенно нравилось всем подкрашенное синькой небо с вереницей летящих самолетов.

Лучшим номером программы было выступление Гали Ковалько, телефонистки колхозного почтового отделения.

Всякий раз, когда Миша смотрел на нее, слушал ее вдохновенное чтение, на память ему неизменно приходили пушкинские строки:

Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блестят ее глаза.
Ее уста, как роза, рдеют.

На генеральной репетиции Галя была в особом ударе. Откинув со своей красивой головки белый шарфик и протянув руки к распахнутым окнам, она декламировала свежим, полным проникновенной печали голосом:

Простите вы, холмы, поля родные;
Приютно-мирный, ясный дол, прости...
Друзья-луга, древа, мои питомцы,
Вам без меня и цвести и доцветать...
Надеть должна я латы боевые,
В железо грудь младую заковать...

— Хорошо, очень хорошо,— одобрял девушку старичок — руководитель драмкружка и, наклонившись к сек-

ретарю комсомольской организации, взволнованно шептал: — У нее, батенька мой, настоящий талант. А глаза, глаза. Такие глаза я видел только у Ермоловой.

С кем договор? Ни слова о покорстве!..
Могучий враг падет. Исполнилось!
Для жатвы он созрел. Не трепетать! Вперед!

Сурово и гневно декламировала Галя, и всем, кто ее слушал, начинало казаться, что перед ними не колхозная телефонистка Галя, а воспетая Шиллером Орлеанская дева.

— После войны обязательно пошлем ее в театральное училище, — заявил секретарь комсомольской организации.

«А как же я тут без нее останусь? — с тоской подумал Миша. — Но, может быть, до тех пор я сделаю что-нибудь такое, за что и меня пошлют в Москву», — обнадежил он себя.

Прежде чем разойтись, Мишу заставили исполнить его «номер» художественного свиста. И хотя Миша был очень взволнован, но и на этот раз его свист отличался таким мастерством, что трудно было отказаться от мысли, что в горле у него не поет настоящий соловей.

А в день, назначенный для концерта, все изменилось. Миша сидел на чердаке одной из хат, уцелевших в сожженном фашистами селе. В отверстие, осторожно раздвинутое в почерневшей от времени камышовой крыше, ему видна была нарисованная им афиша, наклеенная у входа в колхозный клуб.

Перед афишей, широко расставив ноги в желтых крагах, стоял фашистский офицер. Из-под похожей на опрокинутый котелок каски виднелась его багровая короткая шея.

— Карл Цикмунд! — призывно взмахнул стеком офицер.

Тощий солдат вытянулся перед начальником. Указав на афишу, офицер отдал краткое приказание. Хотя Цикмунд и слыл в батальоне знатоком русского языка, афишу он перевел с трудом.

— Здесь есть концерт «замодеятельность». Юноши и молодые девушки, вот этот и этот, — солдат тыкал пальцем в фамилии на афише, — намеревались читать Пушкина, Маяковского и Шиллера.

— Шиллера? — гаркнул офицер. — Советский мужик читает Иоганна Фридриха Шиллера, — сквозь смех говорил он, — ко-лоссаль! Это будет очень интересно слушать...

И повернувшись к Цикмунду, офицер что-то приказал ему. Стукнув каблуками подкованных сапог и отдав честь, солдат замаршировал к почтовому отделению, хорошо видному Мише.

Подойдя к двери, солдат громко позвал:

— Фрейлен Галя Ковалько! Битте зер. Выходит и следовайт за мной. Абер шнеллер, скоро.

Галя, белая, как накинутый поверх ее черных волос шарфик, показалась на пороге. Тогда Миша все понял...

В один миг он очутился в противоположном конце чердака. Там, в затянutom густой, липкой паутиной утлу, в куче какой-то рухляди Миша хранил заветные «лимонки», которые взял у брата-партизана, когда тот уходил из села. «Авось понадобятся», — подумал тогда Миша, уже приняв твердое решение не покидать села до тех пор, пока Галя не оставит своего поста у телефонного аппарата. А Галя до последнего момента поддерживала связь между частями Красной Армии и не успела покинуть село, куда ворвался вражеский отряд.

Скрываясь в погребах, на огородах и чердаках, Миша зорко следил за штабом врага, разместившимся в колхозном клубе.

Через бабу Кузьминиху, такую умнущую и хитрущую, какие бывают только в сказках, Миша передавал нужные сведения партизанам. Через нее же ему удалось сообщить Гале, что он, Миша, находится в селе и «в случае чего» будет знать, что делать.

И вот страшная минута наступила. Граненый чугуи «лимонок» тускнел в горячих Мишиных ладонях. Перенеся все гранаты к своей позиции у отверстия крыши, Миша осторожно заглянул в него.

Офицер, покачиваясь с каблуков на носки, смотрел в бинокль на приближающуюся к нему в сопровождении Цикмунда Галя.

— О-о,— протянул он и стал крутить свои прокопченные табачным дымом усы.— О-о-о,— повторил он еще многозначительнее, когда Галя остановилась от него в нескольких шагах.

Через Цикмунда он велел ей прочесть то, что она собиралась исполнить на концерте.

— Но я никак не могу вспомнить, — отрицательно покачивая головой, ответила Галя, с трудом шевеля бескровными губами.

Офицер, нахмурившись, проговорил несколько отрывистых фраз.

— Герр обер-лейтенант приказывает, фрейлен Галья, — стал переводить Цикмунд, — подчиниться его требованиям. Герр обер-лейтенант есть недоволен, когда он должен повторять их еще один раз...

Галино лицо залилось румянцем, потом снова побледнело так, что темная родинка над губой казалась угольно-черной. Миша отшатнулся от отверстия. И в наступившей тишине прозвучала робкая, но звучная трель, какую соловей начинает предрассветное пение. Едва заметная радость скользнула по Галиному лицу.

— Айя, цвай, драй, — отсчитывал удары стеком по скамье обер-лейтенант.

Галя выпрямилась и, подняв на фашиста потемневшие от ненависти и презрения глаза, начала декламировать:

Но кто вас звал на нашу землю — истреблять
Цветущее богатство нив, нас из домов
Семейных выгонять и пламенный войны
Вносить в спокойное святилище градов?..

Обер-лейтенант, словно готовясь к прыжку, всем корпусом наклонился к девушке.

Противен ты душе моей, как ночь,
Которой цвет ты носишь; истребить
Тебя с лица земли неодолимо
Влечет меня могучее желанье, —

с силой бросила Галя.

— Перевести своему офицеру, — неожиданно приказала она Цикмунду.

Солдат не решался.

— Ну! — рявкнул обер-лейтенант.

Когда Цикмунд старательно перевел эти шиллеровские строки, офицер молча указал солдатам на Галю, потом на себя и, наконец, на избу, в которой он жил со времени захвата села.

Стало так тихо, что Миша слышал биение собственного сердца.

И вдруг эта зловещая тишина нарушилась соловьиным свистом, да таким залихватным и звонким, что немцы,

как по команде, повернули головы, отыскивая виртуозного певца.

Воспользовавшись этим, Галя опрометью ринулась в сторону.

И в тот же миг возле скамьи, где стояли фашисты, одна за другой начали рваться меткие Мишины «лимонки».

Когда спустя некоторое время на грохот разрывов со всех концов села сбежались немецкие солдаты и офицеры, грузная туша обер-лейтенанта лежала ничком рядом с мертвым Цикмундом и еще несколькими убитыми и ранеными фашистами.

А в глубине лесной чащи Миша Гуляев торопливо пробирался вслед за мелькающим в густой листве белым шарфиком.

1942

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

День выдался на редкость счастливый.

В школе Игоря спрашивали по истории и по-русски. В обоих случаях он получил «отлично».

На большой перемене коллекционер Вова Кромин согласился наконец обменять свой крошечный перочинный ножик, бывший брелок на бабушкиной часовой цепочке, за две марки — одну с острова Борнео, другую из штата Огайо. Марки были редкие, но у Игоря имелись их дубликаты, о чем он, впрочем, Вове не сказал.

Но самая большая радость ожидала дома.

Едва он переступил порог, как в прихожую, вместе с обычно встречающей его радостным лаем Джери, выбежал младший брат Юра и, захлебываясь от восторга, сообщил:

— От папы письмо. Он был ранен, но теперь здоров. Сам пишет... И за образцовое выполнение боевых заданий... орден Красного Знамени...

— Врешь, — почему-то вырвалось у Игоря, хотя вестей от отца вся семья с таким нетерпением ждала около двух месяцев.

Но когда вслед за Юрой показалась мама, Игорь сразу поверил. Мама, в последнее время как-то неожиданно состарившаяся и как будто разучившаяся смеяться, вдруг стала прежней: на лице улыбка, глаза хоть и красноватые, но веселые, и голос звонкий.

— Скорей, скорей раздевайся, Игорек, — от папы письмо и мне, и вам с Юрой.

В письме к маме отец в своем обычно шутливом тоне сообщал, что в последнее время пережил две «операции». Первую он сам произвел против вражеского батальона, а вторую произвел над ним замечательный хирург прифронтового госпиталя. «С этим хирургом,— писал отец,— смерть не смеет спорить. Нахальную фашистскую пулю он извлек из моего левого плеча, как косточку из вишни. Но есть у этого виртуоза ужасный недостаток — упрям больно. Как ни уверяю его, что я совершенно здоров,— на фронт не выписывает. Задолбил, как дятел: «Рано, рано...» За вышеупомянутые операции оба мы — и я, и наш хирург — награждены орденами Красного Знамени»...

Письмо к сыновьям было тоже бодрое, спокойное:

«Милые вы мои мальчуганы, я очень доволен, что вы идете в числе первых учеников. В такое серьезное и трудное для нашего отечества время каждый из нас, кем бы и где бы он ни был, должен выполнять свои обязанности на «отлично».

Рабочие и служащие должны отлично работать, бойцы и командиры Красной Армии отлично сражаться с подлым и злым врагом, ребята отлично учиться. На фронте я видел много примеров такой любви. Когда приеду домой, расскажу вам множество замечательных историй о храбрости, находчивости и мужестве моих боевых товарищей. А в этом письме сообщу вам то, что я недавно перечел здесь в госпитале о знаменитом герое первой Отечественной войны генерале Николае Николаевиче Раевском. Этот талантливый и храбрый полководец участвовал во многих походах и боях начала прошлого века. Но бессмертную славу героя, которая живет о нем и в наши дни, он заслужил таким поступком: во время Бородинского сражения, о котором вы знаете не только из истории, но и по прекрасному стихотворению Лермонтова «Бородино», генерал, стоя со своим корпусом на правом фланге левого крыла русской армии, против которого противник направил свои главные силы, зорко следил за ходом сражения.

И вот, в момент, когда бой принял особенно ожесточенный характер, когда, по словам поэта:

Звучал булат, картечь визжала,
рука бойцов колоть устала,
и ядрам пролетать мешала
гора кровавых тел,—

генералу показалось, что сила его воинов дрогнула, тогда он устремился к своей палатке и вывел из нее двух своих сыновей, которым было лет по 14—15. Держа за руки, он повел их на передовую линию огня и этим поступком так воодушевил бойцов, что они, показывая чудеса храбрости, ринулись на врага и отбросили его от своего редута. Детей своих Раевский, конечно, очень любил, но для блага Родины не задумался пойти на такое дело, которое могло стоить им жизни».

Папины письма были прочитаны еще и еще раз от начала до конца. Потом все уселись обедать. За столом обсуждали ответное письмо, рассказывали наперебой, кто и какие игрушки видел на елочном базаре.

Смеялись над Джери, которая, желая привлечь к себе внимание, принесла из кухни круглую, обглоданную до блеска кость, рычала на нее, то подбрасывая вверх, то катая обеими лапами перед собой.

Но больше всего рассмешила всех трехлетняя сестренка Зойка.

Увидав в руках брата выменянный у Вовы ножичек, она громко ахнула:

— Ой-ой-ой, такой малюсенький, и уже ножик!

Потом все обратили внимание, что она как-то особенно вертится перед зеркалом. Даже высунула от старания кончик языка.

— Что ты там топчешься? — спросила мама.

— А я вылила на себя твой ладиколон, — серьезно ответила Зойка, — и теперь хочу рассмотреть, как от меня пахнет...

Уроков на следующий день было немного, и мама решила поиграть во дворе.

Двор был большой, весь запорошенный снегом. Кусты и деревья в палисаднике тоже покрылись снежным убранством, чуть-чуть розовым от лучей медно-красного солнца. Даже столбы дыма над крышами домов и те розовели в морозном тумане. И совсем как спелые яблоки, зарумянились щеки у ребят.

Самое деятельное участие в их играх, как всегда, принимала Джери. Сначала ее запрягали в санки, и сильная овчарка по очереди катала то своих хозяев, то их друзей.

Потом Игорь и Юра стали на лыжи, схватились за вожжи, и Джери снова стрелой мчалась по двору. Кое-кто из

ребят тоже пристроился к этому неугомонному и веселому «тягачу». Джери сделала вид, что это ей не нравится, и даже цапнула одного мальчугана за рукав.

Но ребята хорошо знали, что она только шутит, и со смехом хватались за ее упряжку.

— Вы мне загоняете собаку, — рассердился на них Игорь и приказал: — Джери, домой!

Собака послушно повернула к крыльцу. Юра с лыжами и санками двинулся за ней. Он очень промерз и первым взбежал по лестнице. Игорь задержался у почтового ящика, где в это время обычно уже лежали газеты. Кроме «Правды» «взрослой» и «Пионерской» он достал еще какую-то узкую повестку, заклеенную городской маркой. Игорь с любопытством развернул ее и прочел:

Уважаемый товарищ! Красной Армии для борьбы с вероломным врагом, напавшим на нашу Родину, срочно нужны служебные собаки. Клуб служебного собаководства призывает вас передать свою собаку в подарок Красной Армии и тем самым выполнить долг патриота своей Родины.

Дальше указывалось время и адрес, по которому надо было привести собаку.

«Отдать Джери, — растерянно прошептал Игорь, — отдать ее не кому-нибудь из знакомых, а в Действующую Красную Армию, то есть на фронт, где самой ее жизни будет грозить постоянная, ежеминутная опасность... Нет, нет, этого он ни за что не сделает. Да и папа, уезжая на войну, велел беречь Джери, — привел он для собственного успокоения еще одну причину, которая должна была оправдать его нежелание расстаться с собакой. — А вдруг мама велит отдать ее, как же тогда быть? — Игорь оглянулся по сторонам и быстро спрятал повестку в карман. — Мама и знать об этом не будет», — решил он.

Пока он старательно готовил уроки, Джери, свернувшись калачиком, лежала у его ног и сладко позевывала.

Игорь несколько раз задумчиво поглядывал на нее и вздыхал.

— Что, устал? — спросила мама. — Да и как не устать: я видела, как вы носились по двору.

— И совсем я не от усталости вздыхаю...

— А от чего же?

Игорь сделал вид, что глубоко погружен в решение задачи, и промолчал.

Когда он закончил свои уроки и помог Юре решить «столбики» на сложение, мама сказала:

— Если вы, действительно, не чувствуете себя усталыми, может быть, сбегаете опустить письмо, которое я написала папе. Только припишите и от себя.— Она вынула из еще не заклеенного конверта свое письмо, в котором осталась целая чистая страница.

Первым написал Юра:

«Дорогой папочка! В наш класс первый «Б» поступил новый мальчик. Так у него на левой ноге два пальца срослись. Целую тебя сто тысяч раз. Он разувался и показывал. Я сам видел».

Игорю хотелось многое написать отцу, но что-то мешало ему это сделать. И его письмо заняло только несколько строк:

«Милый мой папа, я рад, что ты здоров. Мне очень понравилось то, что ты написал о генерале Раевском. Напиши еще что-нибудь такое же. Твой сын Игорь».

Как только мальчики взялись за шапки, Джери вскочила со своей подстилки и запрыгала у выходной двери, стараясь зубами и лапами открыть ее прежде, чем это сделают ребята.

С громким лаем она буквально кубарем скатилась с лестницы и ринулась вперед. Но Игорь подождал ее к себе и, сунув в зубы письмо, проговорил повелительным тоном:

— Нести к ящику!

Хотя синие сумерки уже сменяли короткий зимний день, но было еще светло, и прохожие с улыбкой оглядывались на красивую овчарку, с важным видом несущую письмо.

Один пожилой человек в треухе спросил у Игоря:

— Как же она опустит письмо в ящик, ведь он высоко прибит?

— Она подождет нас или отдаст письмо кому-нибудь из прохожих.

— А ежели тот возьмет да и уйдет с вашим письмом?

— Пусть только попробует,— загадочно ответил Юра.

— И попробую,— заявил прохожий в треухе.— Я, милые вы мои, на своем веку разных собак ученых видывал, а чтобы письма в ящик опускали, что-то не слышал.— И он присоединился к мальчикам.

Добежав до почтового ящика, Джери остановилась и стала тихонько повизгивать, виляя хвостом и оглядываясь по сторонам.

— Собака у нас строгая,— предупредил Игорь нового знакомого.

— Ладно, ладно,— отвечал тот,— я на медведя один на один ходил, так что ты меня собакой не страшай, парень.

Он смело подошел к Джери и, взяв у нее письмо, вместо того чтоб бросить в ящик, двинулся дальше по тротуару.

Джери с громким лаем бросилась за ним, преграждая дорогу. Когда это не помогло, собака пантерой вскочила прохожему на спину, схватила за ворот полущубка и свалила с ног.

Треух отлетел в одну сторону, письмо в другую...

— Джери, назад! — кричали Игорь и Юра.— Фу, Джери, фу...

Но Джери, схватив письмо, сама оставила испуганного «скептика» в покое и пулей полетела с письмом назад к почтовому ящику.

Через несколько дней на уроке русского языка Игорь неожиданно спросил учительницу:

— Елизавета Ивановна, а вы знаете, кто такой был генерал Раевский?

— Ты о герое первой Отечественной войны спрашиваешь?

— Да.— И весь класс насторожился в ожидании.

— Ну, как же не знать,— улыбнулась Елизавета Ивановна. И по просьбе учеников рассказала почти дословно то же, что написал Игорю отец.— Этого генерала, да и всю его семью высоко ценил наш великий поэт Пушкин,— прибавила она.— Особенно горячо любил он одну из дочерей Раевского — Марию, которая впоследствии стала женою декабриста Волконского и поделила с ним его тяжелую судьбу. Кстати, может быть, кто-нибудь из вас скажет, какой другой замечательный русский поэт написал о Волконской и ее подруге Трубецкой прекрасную поэму?

— Некрасов, — раздались голоса, — «Русские женщины».

— Правильно, ребята. Вот видите, у такого отца и дочь была одной из благороднейших и самоотверженных русских женщин.

Игорь вздохнул и почему-то густо покраснел.

По ночам Игорю стали сниться беспокойные сны. Неизменными «действующими лицами» в этих снах бывали генерал Раевский, отец и... Джери. То генерал или папа командовали Джери «фасс», и она хватала за шиворот вражеских солдат, то она мчалась по Бородинскому полю вместе с молодыми сыновьями генерала, стараясь отнять у них высоко поднятые сабли, то папа бросал в воздух трех и требовал от Джери «аппорт», и она подавала ему вместе с этим трехухом какой-то пакет с сургучными печатями...

В старом собрании сочинений Пушкина Игорь нашел портрет генерала Раевского.

«Так вот он какой, этот герой, — думал Игорь, любуясь еще молодым военным в генеральском мундире со множеством орденов на груди. — Неужели ему не было жалко своих сыновей? Мне Джери и то так жалко, жалко...»

Эти мысли не давали Игорю покоя, и после долгих колебаний он решил обо всем рассказать маме.

Надежда Васильевна внимательно выслушала сына.

— Мы все очень любим нашу собаку. Но разве это оправдание, чтобы не отсылать ее на фронт? Сколько бесконечно любимых сыновей, отцов, мужей и братьев сражаются там за Родину, готовые отдать ей все свои силы, а если придется, то и свою жизнь...

Она долго, задумчиво смотрела в смущенное лицо сына и наконец сказала:

— Собака твоя. И если ты не можешь от всего сердца выполнить долг патриота, дело твое...

После этого разговора Игорю ничего не снилось, потому что он совсем не мог заснуть в эту ночь. Положив Джери к себе под одеяло, он обнял ее за шею и прижался к ее голове. Джери несколько раз слизнула с его щек соленые капельки и, чувствуя настроение хозяина, грустно вздыхала.

А в десять часов утра Игорь и Юра уже стояли с нею перед командиром в указанном на повестке пункте.

По мере того как командир изучал принесенную родословную Джери, лицо его выражало все большее и большее удовольствие.

«Отец — Козер, мать — Молли, — читал он, — дед — Рекс, бабка — Фиджи, прадед — Рольф, прабабка — Трильби».

Обо всех этих собаках командир слышал много замечательных историй. Они все получали медали на выставках собак за свою сметливость, выносливость и прекрасное знание дисциплины.

— Ну, пареньки, судя по паспорту, ваша Джери должна быть замечательным псом, — сказал командир.

— В клубе собаководства ее очень хвалили на занятиях, — грустно, но с гордостью проговорил Игорь.

— А что она будет делать на войне? — спросил Юра.

— Как что? — удивился командир. — Собаки подвозят к позициям пулеметы, боеприпасы, продукты. Они вывозят с поля боя раненых, доставляют сброшенные с самолетов вымпела, охраняют посты, склады, задерживают диверсантов, а главное — служат прекрасными связистами... — Он хотел было погладить Джери, но она, зарывав, показала ему свои крепкие, желтоватые клыки.

Юра дернул ее за поводок, но командир похвалил:

— Рычи, рычи, дружок. Так и надо! — Обернувшись к столу, он взял с тарелки бутерброд с колбасой и протянул к самому блестящему черному носу собаки. Но вместо того, чтобы съесть его, Джери ощерилась еще грозней и рванулась к командиру.

— Да ты, я вижу, совсем отличница, — улыбнулся он. — Такие псы — верные боевые друзья бойцов и командиров Красной Армии, — и стал выписывать ребятам квитанцию. — Берегите эту бумажку, — сказал он, — в ней записан номер вашей собаки, который стоит на ее ошейнике. А ошейник будет наглухо заклепан. После войны мы будем возвращать собак их владельцам.

— Мы и вещи ее принесли, — вздыхая после каждого слова, сказал Юра, — вот намордник, парфорс¹ и, если там будет холодно, попонка... — Юра замолчал и сделал вид, что очень заинтересовался стоящей в углу самой обыкновенной палкой.

¹ Парфорс — ошейник с металлическими шипами внутри. Применяется при дрессировке собак, слабо чувствительных к рывкам поводка.

— Все, что ей полагается: и пища, и обмундирование — у нас найдется, — опять улыбнулся командир и крепко, как взрослым, пожал мальчикам руки.

По дороге домой братья обменялись коротким разговором:

— Чего ревешь, как девчонка, — строго сказал Игорь. — Может, наша Джерка попадет даже в ту часть, где папа.

— А сам не ревешь? — сердито всхлипнул Юра, старательно размазывая по лицу разнородные жидкости, которые одновременно струились из его носа, глаз и с губ.

— Ничуть не реву, — пряча носовой платок, ответил Игорь, — у меня просто насморк.

— И совсем я не о Джерочке плачу, — помолчав, опять заговорил Юра.

— А чего же?

— А... а... потому что... а зачем ты у меня в прошлом году проволоку отнял?

— Какую проволоку? — искренне удивился Игорь.

— Какую, какую! — передразнил Юра. — А то ты не знаешь, какую... — хотя он и сам не знал, о какой, собственно, проволоке идет речь.

Первое время ребята так скучали по Джери, что при виде ее кормушки, поводка или намордника Зойка подымала громкий плач, Юра тер глаза, а Игорь поскорее раскрывал том Пушкина с закладкой над портретом генерала Раевского.

Но время брало свое. Тем более что клуб собаководства выдал братьям взамен Джери забавного бородатого щенка эрдельтерьера, с которым надо было много возиться и хлопотать.

Но однажды к ним неожиданно влетел Вова Кромин.

«Уж не раздумал ли он менять ножичек?» — тревожно подумал Игорь.

Но Вова принес газетную вырезку, которую прочитал, не успев даже отдышаться от быстрой ходьбы.

«В бою под деревней А огневой вал противника разрушил все проволочные связи, и между частями Красной Армии на этом участке единственным связистом осталась недавно прибывшая с Урала служебная собака.

Четвероногий боевой товарищ, невзирая на свист пуль, разрывы снарядов и мин, почти вплотную прижимаясь к земле, мчался с пакетами, в которых лежали донесения от одного командного пункта другому. Последний пакет, который собака передала командиру батальона, был залит кровью. Вражеская пуля пробила ей челюсть, но отважная собака не разжала зубов, в которых было зажато донесение, до тех пор, пока не вручила его командиру.

— Эта верная собака сделала двадцать рейсов под ураганным огнем противника,— доложил о ней младший лейтенант, указывая на зализывающую свои раны собаку,— двадцать раз пробежала она сегодня расстояние свыше двух километров...

— Отличный пес,— похвалил командир батальона и распорядился отправить собаку в ветеринарный лазарет».

Ребята страшно взволновались.

— А вдруг это наша Джери? — в один голос спрашивали они у мамы.— Ведь тут сказано, что собака с Урала и недавно прибыла. Как ты думаешь, мама, может это быть?..

— Конечно, может,— уверенно ответила мать,— только важно ведь не то, чья это собака и как ее зовут, а то, что она сделала.

ОКСАНА

Какой же удивительной и страшной может быть жизнь, если получилось так, что это она, Оксана, роет в чужом саду чужую землю для спасения ненавистных ей людей...

Худенькая девушка оперлась обеими руками на лопату и с тоской огляделась по сторонам.

Как враждебно ей все, что она видит: и этот небольшой под черепичной крышей дом, в окнах которого то и дело показывается сердитая физиономия фрау Мюлле, и кривоногий сторожевой пес Рекс, и усыпанная толченым кирпичом дорожка, ведущая к виднеющейся сквозь подстриженную листву электростанции.

Хозяин Оксаны, обер-мастер этой электростанции, при сигналах воздушной тревоги вовсе выключает ток, и тогда даже слабые огни на тщательно замаскированной заводской площадке мгновенно гаснут, как зажмурившиеся в ожидании удара глаза.

Оксанин отец до войны тоже работал на станичной электростанции.

Когда дочь приходила к нему, он охотно объяснял ей сложное устройство распределительного щита и, хотя с уважением относился к ее учительской профессии, втайне лелеял надежду, что Оксана выучится когда-нибудь на инженера-электрика.

Немцы сожгли станицу, разрушили электростанцию. А эта вот, которая видна сквозь стриженные деревья, ра-

ботает... Станция работает — это значит, что переведенные сюда из Гура уцелевшие цеха военных заводов получают энергию для изготовления боеприпасов, которые, скорее всего, будут отправлены на советский фронт, против родной Красной Армии.

А в ее рядах сражается и Гриша, любимый Оксаной, веселый и ласковый Гриша...

Незадолго до насильственного угона в Германию, еще скрываясь у бабушки на хуторе, Оксана прочла в партизанской газете, как ее отец, пробравшись к важному немецкому оборонительному пункту, сигнализировал своим: «Огонь на меня», — и погиб смертью героя.

Сейчас он, как живой, встал перед ее глазами в синей спецовке с промасленной паклей в руках и приветливой улыбкой под седоватыми усами. Таким он встречал ее обычно на пороге электростанции.

Оксана прерывисто вздохнула.

— Эй, Гексе, — послышался резкий окрик, — ты работаешь или дрыхнешь стоя?

Только тупоголовая немка могла додуматься до того, чтобы из-за отдаленного созвучия переименовать гордое имя «Оксана» в «Гексе» (ведьма).

Что общего можно было найти между «ведьмой» и этой тоненькой белокурой девушкой с неизменно печальными карими глазами?

Оксана не знала немецкий язык, но скоро научилась понимать почти все окрики и приказания, какие изо дня в день слышала от своих хозяев.

Тяжело налегая на лопату, она снова принялась вдавливать ее в неподатливую каменисто-глинистую почву.

Бисерные капельки повисли на ее вьющихся у висков волосах, повлажнела под мышками ситцевая кофточка. А Оксана все копала и копала.

— Эй, Гексе, — опять зазвучал через некоторое время тот же голос, — иди сюда, Гексе!

Оксана воткнула лопату в холмик выкопанной земли и пошла на зов.

Рекс, все время не спускавший с нее мрачных глаз, поплелся следом.

Хозяева только что пообедали, и Оксана, не ожидая приказаний, взяла лохань с грязной посудой.

— Нет, прежде почисти вот это! — Фрау швырнула ей тяжелые башмаки, свои и сына, с налипшими на них комьями глины.

Четвертый раз только за одну неделю пришлось Оксане чистить эту обувь. Это означало, что за такое короткое время мамаша с сыном уже четыре раза пряталась в щель при налетах бомбардировщиков.

Едва только Оксана вымыла запачканные сапожным кремом руки, как хозяйка толкнула ее к тазу, в котором лежали перемазанные брюки Вилли:

— Стирай!..

Когда Оксана исполнила еще ряд распоряжений, фрау Мюлле налила какой-то бурдой две миски: одну Рексу, другую Оксане.

— Съешь и тогда будешь копать еще.

— Эти проклятые «томми» не на шутку повадились у нас хозяйничать, — бурчал герр Мюлле, собираясь на электростанцию.

Проходя по кухне, он велел Оксане подать ему куртку и галоши. Он говорил быстро и гнусаво, и Оксана не сразу поняла, что от нее требуют. Тогда хозяин наотмашь ударил ее по щеке.

Оксана охнула, но тотчас же до боли стиснула зубы, чтобы не заплакать.

Ей надо было работать еще часа три, чтобы выкопать земли столько, сколько было задано на этот день. Изнемогая от усталости, она продолжала работать. Она прибегла к испытанному в последнее время средству: заставила себя мысленно перенестись совсем в другой сад, тот, где под окном своей комнаты она посадила мальву, и когда высокий куст зацветал, всем казалось, что под окном учительницы горит яркий костер.

А какие песни пелись в том саду! Гриша уверял, что Оксанин голос выделялся в школьном хоре, как пение жаворонка среди воробьиного чириканья. Оксана даже сейчас затянула самую любимую:

«Нам песня строить и жить помогает...»

Хотя ее теперешний голос напоминал звук надтреснутого колокольчика, фрау услышала и грубо оборвала:

— Не вой — горе накличешь!..

Косые лучи солнца уже упали на оконные стекла, и от этого стало похоже, что в доме пылает пламя, когда до Оксаны снова донеслось:

— Гей, Гексе! Ты оглохла? — Это орал Вилли. — Беги скорей сюда, Гексе! Тебе есть письмо из Кубань. — И мальчишка замахал зажатым в руке синим конвертом.

Сердце Оксаны рвалось из груди, как будто хотело опередить плохо повинующиеся от усталости и волнения ноги.

— Хватай, лови! — дразнил ее мальчишка, как он любил проделывать это с Рексом, дразня его куском эрзац-колбасы.

Фрау Мюлле зычно хохотала над сыновней забавой, пока он не бросил, наконец, запыхавшейся Оксане измятое письмо.

Она схватила его, прижала к запекшимся губам и в изнеможении опустила на колени.

Мгновенье... И глухой стон вырвался из ее груди: конверт был пуст.

— Письмо там, письмо там, — визжал Вилли, тыча пальцем на топящуюся в кухне плиту.

И он, и его мамаша так и покатывались со смеху, глядя, как Оксана помутневшими глазами смотрела на этот уничтоживший бабушкино письмо огонь.

Этого ей никогда не забыть... Даже если она доживет до той поры, когда ее лицо, еще так недавно похожее, по уверениям Гриши, на спелую, смугло-розовую жерделку, сделается таким же морщинистым, как у бабушки.

Шатаясь, Оксана снова побрела к канаве.

Слезы, как первые капли грозовой тучи, тяжело падали на скомканный конверт. Да, он был пуст, но каракули на адресе говорили, что бабушка жива... И струйка радости проникла в продрогшую душу Оксаны. Затеplилась надежда, что придет когда-нибудь время, когда она вернется на родную Кубань, положит голову к бабушке на колени и расскажет ей, а может быть, и Грише, обо всех страданиях, перенесенных в неволе. И о самом жгучем из них, которое причинил ей сегодня Вилли.

Докопать осталось немного, но лопата поминутно валилась из рук. Тогда Оксана прибегла к уже испытанному средству: она заставила себя вообразить, что копает не убежище от бомб, а большую могилу для всех «мюлле». Это дало ей силы...

Вечером, замаскировав окна, фрау Мюлле указала Оксане на судки с кушаньем:

— Неси ужин господину Мюлле!

— Бедный папахен,— хныкал Вилли,— из-за этих свиней «томми» он не спит уже столько ночей...

— Все выискивают наш завод и электростанцию,— вздохнула фрау и совсем другим тоном рявкнула: — Беги! Скорей, Гексе, пока в небе тихо и кушанье не совсем остыло. Оно и без того не очень-то вкусно...

Это поручение было самое тяжелое.

Герр Мюлле особенно омерзителен Оксане. Омерзительны его щеки, похудевшие от голодного пайка и висящие, как брюлья у Рекса; омерзительны свиные глазки, покрывающиеся масляной пленкой, как только он оставался с Оксаной с глазу на глаз. А больше всего омерзительны и ненавистны его огромные, как грабли, руки. Ох, эти трижды проклятые руки! В напряженных схватках с ними Оксане не раз помогали ее молодые крепкие зубы.

В этот вечер герру Мюлле не пришлось откусывать старательно приготовленные для него супругой суррогатные сосиски и кухены из картофельной шелухи.

Когда Оксана приблизилась к электростанции, завывли сирены; как живые, заныли оконные стекла; людские тени заметались у жилищ. И ночная темь стала наливаясь грозным, неумолимо надвигающимся гулом бомбардировщиков.

Оксана поставила судки и осторожно заглянула через окно в помещение пульта.

На коммутационных аппаратах горели желтые, зеленые и красные сигнальные лампы. В мраморной щитовой панели, как в черном зеркале, отражался угол, где на низком табурете, закинув голову, крепко спал обер-мастер Мюлле.

Смелая мысль молнией сверкнула в Оксанином мозгу. Неслышно переступив порог, затаив дыхание, Оксана приблизилась к распределительному щиту. Ее глаза зорко всматривались в измерительные приборы и аппаратуру управления.

«Видимость шкал здесь не такая четкая, как на отцовском пульте, но удобство манипуляций, пожалуй, большее», — с каким-то особенно ясным сознанием отметила Оксана и твердо взялась за ручку рубильника.

— Огонь на меня! — прошептала она вздрагивающими от гнева губами и включила рубильник.

Яркий пунктир электрических огней в тот же миг обвел заводскую территорию и прилегающие к ней сооружения.

А еще через минуту земля затряслась от разрывов тяжелых бомб, которые, к великой радости летчиков, наконец-то накрыли так долго и упорно разыскиваемую цель.

1943



СОДЕРЖАНИЕ

К НЕВЕДОМЫМ БЕРЕГАМ (<i>Повесть о жизни и плавании полярного исследователя Федора Литке</i>)	11
--	----

ТРИНАДЦАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (<i>Повесть о героических буднях первых пятилеток</i>)	317
--	-----

РАССКАЗЫ

Праздник на улице	571
Крапива	603
Арзамасцы	621
Рано-ранешенько	629
«Небываемое бывает»	636
Клятва	649
Марнам	661
Передвижка в тайге	671
Актриса	681
От всего сердца	686
Оксана	696

Мария Марич
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор *З. Кондратьева*
Художественный редактор *Ю. Васильев*
Технический редактор *Л. Ковнацкая*
Корректор *В. Фадеева*

Сдано в набор 14/XII 1970 г. Подписано
к печати 25/V 1971 г. А 05778. Бумага
типограф. № 2 84×108¹/₃₂. 22 печ. л.
36,96 усл. печ. л. 38,203 уч.-изд. л.
Тираж 100 000 экз. Заказ 1454. Цена
1 р. 36 к.

Издательство
«Художественная литература».
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Киевская книжная фабрика Комитета
по печати при Совете Министров СССР
Киев, Воровского, 24.



1. 36
139/112

МАРИЯ
МАРИЧ

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

ДУША